

АЛЕКСАНДР МАЛИНОВСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В 2-Х ТОМАХ

II

ТОМ

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

ГОСПИТАЛЬ НА МОЛОДОГВАРДЕЙСКОЙ

Шурка давно, уже и не помнит с каких пор, живет у деда – Ивана Дмитриевича Головачева. Еще до того, как пошел в школу.

Родной отец его пропал без вести в войну, а неродной Василий Федорович лежит в военном госпитале, в Куйбышеве. Вот и получается, что у Шурки как бы два отца.

У Шурки и два отца, и два дома.

Один дом – бревенчатый с резными наличниками, построенный задолго до войны, после того, как Головачевы вернулись из Сибири, куда они бежали от голода в Поволжье. В Сибири Шуркин дед шорничал, плотничал, скорняжил – вот и скопил денег. Девятерых детей родила Агриппина Федоровна – жена Головачева, а выжили трое: Екатерина – мать Шурки, Алексей и Сережа.

Другой Шуркин дом – без потолка, саманный, крытый соломой. Пол не глиняный, а деревянный. Скрипучий, некрашенный, но крепкий. Когда Екатерина его моет, то обязательно скоблит косырём. От этого он становится желтым, а изба нарядной. В этом доме у Шурки мама, брат и две сестренки. Оба дома стоят в одном ряду на улице Центральной, заросшей травой-муравой.

Последнюю неделю в доме деда разговоры чаще всего связаны с приездом из госпиталя отца Шурки.

Слова «госпиталь», «Молодогвардейская» преследуют его всю сознательную жизнь. От них веет на него мрачной, недоброй силой, в которой сошлись воедино скрежет металла, свист пуль, вой снарядов, запах дыма огромного пожарища, поглотившего его родного отца, а вот теперь не отпускавшего и неродного.

Госпиталь на Молодогвардейской для него – пасть огромной раскаленной печи, которая только была прикрыта заслонкой, в ней бушевала еще не усмиренная стихия, название которой «война», и в этой огненной пасти металась, корежились, ломались, полыхая как сухой хворост, судьбы молодогвардейцев, красноармейцев и многих, многих людей в военной и невоенной форме. Чудовище, чудовище – другого названия этому дому не могло быть.

...В прошлом году Шурка, впервые приехав с бабкой своей в госпиталь, удивился увиденному: стоял обычный дом, почти как все. Дом двухэтажный, с большими, таких в Утевке нет, окнами. Не страшный и не грозный, а совсем наоборот: приветливый.

Когда их пустили к отцу, он удивился еще больше. Ему дали надеть как взрослому белый халат, правда, не по росту и весь в каких-то ржавых пятнах, но ему было не до них. Поразила чистота. Было много белого. И отец лежал на белой постели, прикрытый одеялом с белой простыней. Такой постели он никогда не видел; у них в доме простыней не было.

Отец лежал на спине, ровно вытянувшись.

Шевелить он мог только головой и руками, еще правой ногой. Левая была в гипсе.

Название болезни – туберкулез костей – звучало как приговор.

– Садись рядышком, – сказал отец и неожиданно улыбнулся.

Шурка сел, пожал отцу левую руку.

Он боялся расплакаться. Кто-то из ходячих больных подошел к нему и надел на голову сделанную из обычной газеты пилотку. Он тут же снял ее, повертел в руках, к общему одобрению решительно надел и почувствовал, что комок в горле исчез, а слезы, предательски готовые его выдать, пропали.

Когда вышли от отца на улицу, Шурка не сразу оторвался от этого странного дома. Он напоследок попробовал обойти его, заглянуть во двор. И там ничего ужасающего не было. Все обыденно и спокойно. И улица Молодогвардейская неширокая, а та, которая пересекает ее – Ульяновская, совсем неказистая. Правда, когда Шурка свернул на нее, вправо от госпиталя, открылась глазам Волга. Внизу, слева, справа ютились в беспорядке небольшие кирпичные и деревянные домики. Беспорядок этот смутил Шурку, он жил на деревенской улице, где избы стояли точно как по линейке, не выступая и не западая на зады. Дома в селе смотрели окнами на улицу. В них жили такие же правильные люди: дедушка, бабушка, мама – сосредоточенные и уравновешенные.

Напоследок он измерил шагами поперек, напротив госпиталя, эту самую страшную улицу Молодогвардейскую. Было сорок шесть Шуркиных больших шагов.

«Саженой пятнадцать, наверное», – деловито прикинул он, неосознанно готовясь то ли к разговору с дедом, то ли к рассказам в школе о своей поездке. Если бы его спросили, зачем он делает свои измерения, он бы не смог объяснить.

Пока бабушка в коридоре госпиталя «калякала» со своим знакомым с Черновки, Шурка измерил и длину госпитального здания. Было шестьдесят шагов. «Наша деревянная школа длиннее», – удовлетворенно подвел он итог.

Жажда знать и видеть как можно больше подталкивала его постоянно. Это отмечали в нем и взрослые. А он неосознанно впитывал в себя все, что видел, слышал, словно знал заранее: в его жизни многое из того, что происходило в детстве, будет иметь самое, может быть, главное значение...

А пока текла Шуркина жизнь обыкновенно. События и переживания случались вроде бы сами по себе, и ложились они сразу набело в его сознании. И накрепко...

На улицу вышла баба Груня, и они с Шуркой подались на Кряж, надо было засветло найти попутку до Утевки.

...Теперь Шурка, прислушиваясь к разговорам взрослых о приезде отца, вспоминает, как они долго по бездорожью в снегопад добирались домой и ему становится боязно за отца. А вдруг у него кости еще не так крепко срослись, как надо? Тогда опять беда.

ЮРЬЕВА ГОРА

Замечательная эта штука – Юрьева гора. Она начинается на задах, за избой Головачевых. Гора бывает разная. Если на дворе мороз крепкий, то политая водой, она превращается в такой ледяной желоб, что с ветром в ушах мчишься с нее в сторону стадиона и упираешься в памятник Проживину и Пудовкину – первым утевским большевикам. Их расстреляли белочехи. Шурка сидит в классе рядом с Зинкой, внучкой Проживина. Она самая тихая девчонка в классе. Даже как-то удивительно это.

Если много снега, то на горе здорово играть в городки. Она становится неприятельской крепостью, ее надо брать у противника в кулачном бою. Те, кто вверху и кто внизу, попеременно меняются местами. Выигрывает тот, кто дольше всех продержится наверху.

Если с горы съезжать сразу в бок – в огороды, то там уклон крутой и с трамплином, редко кто может удержаться, на лыжах лучше и не пробовать – гиблое дело. Салазки – совсем иное.

И еще есть одна особенность у Юрьевой горы. Бабушка Груня Шурке так рассказывала:

– На последнем месяце я уже была, иду себе потихоньку с базара, он был недалеко, около школы, и слышу: шум стоит в Зубаревом переулке, а на Юрьевой горе – какие-то чужие военные. Привели наших бедненьких, все они избитые. Не успела я понять, что готовится, как затрещали выстрелы, оба они и упали на дорогу в пыль. Я побежала к себе на двор. Не помню дальше ничего. Когда опомнились – начались роды, хорошо, что мой Иван дома был.

Только разродилась, белочехи во двор: они большевиков и сочувствующих ловили. На деда твоего кто-то указал. Он ведь убежал из царской армии под Царицыном, дезертир. Деваться некуда. Едва щеколда хлопнула, Иван – раз под кровать – и притаился.

Не знаю, как у меня сердце не разорвалось. Офицер молоденький стоял в задней избе, а в передней проверял средних лет солдат. Когда он приподнял подзорник у кровати, под которой лежал Иван, я обмерла. Но чех этот быстро опустил подзор и развел руками, что-то сказал громко офицеру, тот махнул рукой, и они выбежали во двор.

Там на памятнике год и число: «21 августа 1918» – это день расстрела Проживина и Пудовкина, но это еще и день рождения твоей матери, Шурка.

«Завтра попрошу Зинку показать мне фотографию ее деда, интересно какой он. Если они герои, значит про них и про нашу Юрьеву гору и Утевку когда-нибудь снимут кино», – так думает Шурка и ему становится радостно, как если бы он сам был участником героических дел, прославивших его село.

КОШКА АКУЛИНА

«Ночь была жуткая: выл ветер, дождь барабанил в окна. И вдруг среди грохота бури раздался дикий вопль. То кричала моя сестра. Я спрыгнула с кровати и, накинув большой платок, выскочила в коридор. Когда открыла дверь, мне показалось, что я слышу тихий свист, вроде того, о котором мне рассказывала сестра, а затем что-то звякнуло, словно на землю упал тяжелый металлический предмет... О, я никогда не забуду ее страшного голоса! – Боже мой, Элей? – кричала она. – Лента! Пестрая лента!»

Мяукнула кошка в сенях за дверью, просясь в дом. Шурка покосился, передернул плечами. Жутковато. Ходики показывали час ночи. Он и не заметил, как зачитался записками о Шерлоке Холмсе. Открыв дверь, впустил кису Акулину, недавно взятую его матушкой у дряхлой старухи Акулины Мерлушкиной.

– Шурка, будет колготиться, ложись спать.

Голос матери доносился из передней избы, и он на цыпочках шмыгнул к двери, ведущей в горницу, подsunул полотенце, прикрыв дверь плотнее, чтобы свет не проникал и не мешал спящим. Налил кружку молока, взял горбушку хлеба и вновь уселся за стол, да так, чтобы подалее от темного широкого окна, пугающего своей мрачной глубиной.

Глаза побежали по строчке:

«Сестра была без сознания, когда он приблизился к ней...»

Странная возня на шестке отвлекла его от чтения, он поднял голову и увидел неотрывно глядящие прямо на него из темноты желтые глаза кошки, черное тело ее почти не было видно, оно сливалось с темным зевом печки. Нутро добродушной днем, а теперь ставшей какой-то враждебной печи и два устремленных беспокойных взгляда пугали его. Правой передней лапой кошка начала царапать по кирпичу.

– Тихо, Акулина, – зашептал Шурка, – маму разбудишь. Я не дочитаю рассказ, ведь завтра с утра в школу, а потом с дедом ехать за соломой.

И он углубился в чтение. Но не тут-то было. Кошка одним прыжком перескочила с шестка на стол и стала драть когтями клеенку. Шурке показалось, что она приняла снежирей, изображенных на клеенке, за живых, и он рассмеялся.

– Вот дуреха, – сказал голосом, похожим на дедушкин, когда тот разговаривает запрягая лошадей, – нету у тебя нюха, что ли, ведь не пахнут они мясом, клеенкой пахнут.

Кошка спрыгнула со стола, стрелой, с невидящими, дикими, как у пантеры, глазами проскочила мимо Шурки, по отвесной стене взбежала до потолка, там ухватившись за торчащий крюк, повисла как обезьянка и глазами, страшными и большими, стала осматривать комнату сверху.

Шурке стало жутковато, хотя он не сразу бы признался себе в этом. Упруго оттолкнувшись, Акулина прыгнула на пол, сделала два прыжка и оказалась на противоположной стене вновь под потолком. В следующие минуты Шурка уже не успевал фиксировать взглядом стремительное перемещение черной молнии с двумя желтыми светящимися точками-глазами.

Кошка взбежала не только на отвесную стену, она перемещалась по потолку. Временами падала, вскакивала и вновь как заведенная дьявольская игрушка металась по стенам, по потолку...

Шурке стало не по себе. «Взбесилась, – подумал он. – Хорошо, что все спят, а то вдруг покусает».

Он распахнул дверь. Акулина, казалось, только этого и ждала – черной лентой скользнула в раскрывшееся темное пространство и растворилась в нем...

Шурка, не дочитав книгу, приоткрыл дверь в большую комнату и шмыгнул в свою кровать. Необъяснимое волнение охватило его. Черное с желтым все стояло перед глазами, наваливалось, став громадиной, пугало. Но вскоре усталость взяла свое, и он заснул.

...А утром пришедшая на сепаратор Нюра Сисямкина принесла новость: этой ночью, под утро, умерла бабка Акулина – бывшая хозяйка кошки. Преставилась бедная на девяностом году.

– Вот так да, – только и произнес Шурка. Он не знал, кому и как рассказать о ночном происшествии.

Стал искать кошку Акулину, но ее нигде не было.

«ЭЙ, БАРГУЗИН...»

– Бабушка, Баргузин – он кто?

– Как кто? Ты-то что думаешь? И что это вдруг?

Шурка сидит на пороге двери, разделяющей горницу от кухни, зажав между колен корзинку из ивовых прутьев. Из нее он набирает в кружку ягоды шиповника для чая.

Бабушка Груня чистит карасей – дед утром ходил проверять сети. Замороженные караси ожили, и из тазика, стоящего на столе, когда бабушка вынимала очередного, летели водяные брызги.

– Я не вдруг. В воскресенье, когда Венке Сухову Варьку сватали, дедушка пел про Баргузина.

Шурка вспомнил тот замечательный день, дедушку, сидящего среди гостей, и песню, которую услышал впервые. Там было новое для него слово: «баргузин». Песня лилась за столом широко, вольно и пел ее уверенно и ладно Шуркин дедушка. Захватывали бескрайность и безбрежность, разлитые в песне:

«Славное море священный Байкал...»

«Священный Байкал» – это он сразу отметил. Баргузин представился ему крепким белозубым загорелым парнем, по пояс обнажившим свое тело, и обязательно кудрявым.

– Так это ж ветер такой на Байкале.

– Да, – разочарованно проронил Шурка. – Вот дела!.. Бабушка, а про отца моего, – он запнулся, подбирая и обдумывая слова, – про настоящего, поляка, скажи что-нибудь, какой он был?

– Красивый был. Когда на базар с товарищами приходил, все девки на него оглядывались. Волосы светлые, кудрявые и голубые глаза. Смотреть умел прямо и приветливо.

– А как он оказался в Утевке?

– Провинился чем-то перед властями, вот и очутился у нас. Не любил, когда его называли Стасом. Ему нравилось имя Саша. Мы его так и звали. И тебя он наказал, если будет мальчик, назвать Сашкой.

– Бабушка, а что он говорил, когда его забирали в армию?

– Просил нас с дедом помочь воспитать ребенка, который родится, Катерина тогда на пятом месяце была. Обещал вернуться.

– И не вернулся? – выдохнул Шурка.

– Время такое. Он поляк – могли не пустить после войны в Россию. Грех на него какой-то положили.

– Но он жив? Так ведь!? – почти выкрикнул Шурка.

– Откуда ты это знаешь?

Она помолчала, потом продолжила:

– Раза два, после войны уже, приходили к нам незнакомые люди, выпрашивали о твоей матери Катерине и о Василии. Я помню, как зорко они на тебя смотрели, спрашивали: ты ли сын Стаса, и уходили ничего не сказав. А я вот чувствую своим бабьим сердцем: от него эти люди приходили, узнавали про тебя.

Вздохнув, задумчиво добавила:

– Может, он пожалел и Катерину, и Василия: ведь он уже один раз ломал их жизнь. Станислав и Катерина сошлись, когда она уже замужем была за Василием, только от него ни слуху, ни духу, от Василия-то! А когда Василий вернулся, в сорок шестом, и все устроилось, и тебя он усыновил по-хорошему, не поднялась у Стаса рука – не захотел мешать. У твоей матери один за одним от Василия родились трое. Как все поделить? Вот и получилось у тебя два отца. Один еще живой, а другой – может, и живой, да не знай где.

«Как все поделить? Как все поделить?» – стучало в висках у Шурки. Он не заметил как выпустил из рук корзинку, она опрокинулась, и весь шиповник оказался на полу. Горстями собрав ягоды, он поставил корзину на порог, а сам быстро ушел в горницу к окошку, чтобы бабушка Груня не увидела его заплаканного лица.

ДОГОВОР

Только Шурка поравнялся с чайной, как вот он, Мишка Лашманкин с уздечкой в руках из Заколюковки – самой дальней Утевской улицы. И не один – со своим дружкой Каром. Правой рукой Шурка быстренько нащупал большую белую чернильницу-непроливашку.

Мишка подошел поближе и вдруг, словно включив некую пружинку, будто танцуя лезгинку, помчался по кругу около Шурки:

Помнят псы-атаманы,

Помнят польские паны

Конармейские наши клинки.

Кровь ударила в лицо. Шурка рванулся вперед и враз оказался перед непреодолимой преградой: Мишка крутил перед собой уздечку, она со свистом и металлическим лязгом вращалась перед самым лицом. Кончик ремешка больно хлестнул Шурку по щеке.

– Слабо, да? Слабо?.. Конечно, слабо!

– Тебе слабо самому – один на один, – у Шурки нервно тряслись руки, и он уже ничего не боялся.

– Нужно больно, нам сегодня некогда, давай до следующего раза, согласен? – предложил Кар.

– А Мишка согласен? – спросил Шурка.

– А чего там, конечно, согласен. Договор дороже денег. – Мишка с напускным спокойствием перебирал в руках удила. И уже удаляясь, совсем как маленькому, а оттого еще обиднее, скорчил рожу и пропищал:

*Поляк, поляк, с печки бряк –
Растянулся, как червяк!
И не русский, и не немец
Гутен морген, гутен так.*

«Семиклассник, а такой дурень», – подумал с досадой Шурка.

МОЛОДАЯ ПРЯХА

*В низенькой светелке
Огонек горит.
Молодая пряха
У окна сидит.*

Голос дедушки ровный и красивый всегда завораживал Шурку. Сейчас его дедушка сидел в горнице, на облитом солнцем полу на маленьком чурбачке и вязал сетку, вернее – бредень, закрепив веревочки за дужку железной кровати.

– Если два выходных еще повяжу, Шурка, то, глядишь, в апреле отводом поедем рыбачить новым бреднем.

– А как это – отводом? – спросил внук.

– Долго рассказывать. Поедем – сам увидишь, – отозвался дед Иван и вновь вспомнил о молодой пряхе:

*Молода, красива,
Карие глаза,
По плечам развита
Русая коса.*

Шуркин дедушка всегда пел негромко и неторопливо. Как бы для себя, будто вокруг никого нет. Ему не нужны большие компании. Он веч-

ный единоличник, никогда не был в колхозе. А зачем ему колхоз: его постоянная должность – конюх. В больнице, в нарсуде, в райсобесе есть лошади, значит нужен и Иван Дмитриевич.

Шурка любил, когда дедушка пел в дороге, в степи ли, в лесу... Когда дорога впереди длинная, а вокруг ни души.

В прошлом году на маевку приезжал Волжский народный хор. Артисты выступали на самодельной сцене, сделанной около Осинового озера, где ровная площадка и от нее круто поднимается косогор, он и служил как бы трибунами. Вокруг луговая трава, озеро Подстепное – слева, справа – Осиновое и Лещевое, а дальше, где синева ложится большим широким пологом с белыми кудряшками на зеленую необозримо широкую ленту леса, прячется Самарка, от нее всегда исходил особый свет.

Когда объявили песню «Липа вековая», Шурка даже вздрогнул: «Дедова песня»!

Вышел бодрым шагом красивый артист и запел. Это была другая песня, вернее, слова были те же, мелодия почти та же, но – другая. Певец был напорист и резок, он будто бы с кем-то спорил, доказывал что-то. А дедушка никогда этого не делал. Он пел спокойно, ровно, чаще всего под мерный бег лошадей, сидя на телеге или рыдване, от того-то песня удобно ложилась в монотонный топот конских копыт. Дорога чаще всего была знакома, лошади свои, цель дороги впереди ясна. Тревоги не было, было умеренное, установившееся приятие всего, что есть в пути и что еще будет. Была уверенная сила, спокойная и добрая...

Певец кончил петь, все захлопали. Захлопал и Шурка, но неуверенно и растерянно. В красивых нарядах танцоров, певцов, в громких восклицаниях и припевках ему показалось что-то неестественное. Он не стал больше слушать, сел на свой велосипед и, направив его почти по прямой с откоса, вихрем независимо промчался мимо самодельной сцены и большой старой ветлы в сторону Лещевого озера – там у него стояли пять раколов, надо было до вечера их проверить и вернуться домой.

ОТЕЦ ПРИЕХАЛ

Два последних дня Шурка ждал приезда отца. Баба Груня и деда Ваня уехали за ним на Карем, уложив в сани валенки, старую бекешу и огромный тулуп.

В Самару они поехали через Кряж, а обратно планировали – через Кинель, чтобы при необходимости заночевать у лесников: в Мало-

Малышевке у Репкова, в Крепости — у Янина, дорога дальняя — под сто километров.

— Все, Шура, — говорила мать, — начинается у тебя новая жизнь. Ты уж будь умным, соображай что к чему.

— А что, мам?

— Ну хотя бы жить тебе надо бы теперь не у деда, а в своем доме, а то нехорошо как-то.

— Хорошо, мам, но только деда с бабой на меня не обидятся?

— Нет, не обидятся. Можно у них бывать, но ночевать лучше домой, ладно?

— Ладно, — соглашается Шурка, а сам знает, как будет непривычно, у деда всегда интересно: рыбалка, охота, разговоры разные, люди из соседних деревень, чтение вслух книг. Дядья Алексей и Серега — с ними всегда здорово.

— Я уж и не знаю, к лучшему это или нет, что Василия поехали забирать? Бабка твоя скомандовала: «Хватит — и все, уморят там мужика, раз вставать стал — заберем домой, скорее прилепится к жизни».

Мать пристально посмотрела на Шурку:

— Будешь его отцом звать?

— Буду.

Он уже ждал, как об этом она ему скажет. Вышло не обидно. Это Шурке очень понравилось, ему стало как-то радостно за мать: она все чувствует, понимает, только не всегда все говорит вслух, он это давно заметил. Также заметил, что в отличие от многих, и особенно от его бабушки, она старается даже из грустного сделать веселое. Вот, например, если бы его бабушка и мама в отдельных комнатах рассказывали один и тот же случай, то в той, где бабушка, люди загрустили бы и задумались, а там, где мама, — обязательно засмеялись. Такая особенность у Шуркиной мамы.

— Мам, ты мне когда-нибудь расскажешь, как так получилось?

— Что, сынок?

— Что мы с ним неродные?

— Расскажу, Шура, только немного тудылича, попозже, ладно?

— Ладно, — опять соглашается Шурка.

«Странно, — думал он. — Мы с ним неродные, а на фотографиях мы даже похожи, так разве бывает?»

...Привезли отца поздно ночью.

— Хорошо Степка Синегубый, его дружок, встретился под Крепостью, а то уже чуть не плутать начали, пурга такая, — говорила бабушка, помогая деду Ване ввести отца в избу.

С отца сняли в сенях тулуп, при свете коптюшки перед Шуркой стоял невысокий человек, которого до этого Шурка помнил только лежащим в больничной кровати во всем казенном. Сейчас он был одет в бекешу. Костыли под мышками делали похожим его на большую раненую птицу. Левую ногу он волочил.

— Принимай гостечка, хозяйка, — задорно сказал отец.

Мать широко раскрыла дверь, чтоб не мешать костылям, и он, подерживаемый дедом, вошел в дом.

— Ну вот, а говорили: нас волки съедят! Подавятся, верно, Шурка?

Шурке стало радостно от такого вопроса, от морозного запаха, от того, что все вместе. Он помогал матери снимать с отца бекешу, а отец, проведя пятерней по Шуркиной голове, добавил:

— Ну, с такими помощниками нас просто не возьмешь.

Шурка опять поразился тому, как отец просто и ясно все говорит и делает. Под бекешей у отца оказались гимнастерка и галифе. Гимнастерка задралась на поясе, и Шурка увидел глянцевую упругую кожу корсета. «Ему еще не сняли корсет, — отметил он себе, — а как же...»

Когда укладывали отца на кровать, чтобы поменять бинты, Шурка увидел гипс на левой ноге, выше колени до ступни. Пока мать с бабушкой меняли бинты, Шурка с дедушкой отошли, и он спросил:

— Деда, а как же его такого отпустили?

— Василий настоял: выписывайте. И ни в какую. Железный человек, одно слово. Да и бабка Груня твоя чего стоит!

ПОЖАР В ШКОЛЕ

Спалось Шурке плохо. Снились какие-то люди в тулупах, лошади.

Под утро случился большой переполох. Часто захлопали калиткой, дверь в задней избе. Шурка, продирая заспанные глаза, встал и пошел на бабкин голос на кухне. Пол был холодный, и он старался наступать одними пятками.

— Шурка, почему чулки не надел, иди скорее назад или коты вон возьми.

— А что случилось, баб?

— Школа горит, мужики помчались тушить.

Бабка уже растапливала печку. На шестке лежали сухие полешки, а на полу несколько котяков. В глубине печи горел маленький, как игрушечный, костерок. Пахло морозом, который прорывался временами через дверь, керосином и котяками.

Баба Груня взяла увесистую полешку, покапала на нее из бутылки керосином и ловко швырнула в затухающий костерок – печка обрадованно враз засветилась, загудела одобрительно.

– Кому сказала, что стоишь? Иди досыпай!

– Значит, в школу сегодня не идти! – обрадовано выскочило у Шурки, и он сам удивился этому.

Бабка Груня выпрямилась, взглянула в упор своими черными большими глазами:

– Разве так можно? Это ж беда какая! А? – И укоризненно покачала головой.

Ему стало стыдно, и уже не на пятках, а быстро шлепая всеми ступнями, он засеменил в свой укромный уголок.

...Утром при входе на школьный двор Шурка ужаснулся: левого крыла деревянной школы, где находился его класс и мастерская по труду, не было. Была куча хлама, гора каких-то неузнаваемых предметов и горелький запах на весь двор, от которого щекотало в ноздрях.

Учитель по труду Николай Кузьмич строгим голосом, по-военному, отдавал команды старшеклассникам, которые толпились кто с вилами, кто с лопатой на пепелище.

Все было и свое, и какое-то чужое, как в каком-то кино или во сне.

«Хорошо, что только одна бабка знает, как я обрадовался пожару со сна». Шурка не мог представить, что стало бы, если б все узнали.

...Подшла умная красивая физичка Мария Ильинична и сказала спокойно:

– Ничего, Саша, осилим.

– А где же будем учиться?

– Пока в нашей библиотеке, а с лета директор в Борск хочет ехать с десятиклассниками готовить сосновые бревна. Будем ставить новый сруб. Всем работы хватит. Вашему классу тоже.

– Да, – торопливо согласился Шурка.

Он словно боялся дальнейшего разговора. И, как бы оправдываясь, сказал то, что составляло только часть правды, но было все-таки правдой:

– Ведь там была моя парта, которую мы с Николаем Кузьмичом отремонтировали, и я ее сам красил в этом году. Жалко как!

НОВАЯ ШУРКИНА ЖИЗНЬ

С приездом отца жизнь в доме Любаевых потекла по-иному. Ничего, казалось, не ускользало от глаз отца. Как он все быстро замечал и успевал! Дня через три после приезда утром спросил Шурку:

— У нас во дворе есть глина?

— Не знаю, пап, — растерялся Шурка.

— Вот те раз, голова, кто же знает?

— Есть, Василий, за нужником, летось привозили, теперь под снегом, — вмешалась мать.

— Надо наковырять в тазик и навозу из мазанки принести.

— Хорошо, Вася, — мать догадалась, для чего. — Наверно, тряпки какие нужны?

— Нужны.

После завтрака Шурка раскопал снег, ломом наковырял и принес два ведра мерзлой глины. Мать залила ее горячей водой, и пока глина отходила, отец, не дожидаясь, начал забивать тряпками трещину в стене у печки, через которую дул морозный ветер. Он делал все стоя, садиться или наклоняться ему было нельзя, поэтому тряпки Шурка положил на приступок у печи, откуда их отец и брал. Руками он работал очень ловко. Но каждый раз, когда отец выпускал оба костыля из рук и стоял на одной ноге, прислонившись плечом к стене, Шурка боялся, что он упадет. Так и случилось. Отец опрокинулся на рукомойник, висевший в углу, и вместе с ним с грохотом повалился на пол.

— Боже мой, Василий!

Катерина бросилась к мужу. Он тяжело, опираясь на костыли, встал. Мать с Шуркой отвели его и уложили на кровать. Ложился он медленно, осторожно устраивал негнувщуюся в корсете спину.

Мать подняла левую ногу отца и, как чужую, не его, положила рядом с правой.

— Ну вот, отдыхай, мы с Шуркой доделаем.

— Да вот и беда, что вы, а не я, — досадовал отец.

...Через две недели гипс сняли, а еще через месяц Шуркин отец освободился и от корсета. Пугающе красивый из толстой темно-коричневой кожи, схваченный вдоль и поперек светлыми металлическими полосками, лежал он в сенях без надобности.

— Кать, убери его к чертям подальше, — сказал Василий. — За целый год он мне опротивел.

— Уберу, — с готовностью и радостно сказала мать. — Сейчас, Васенька, поедим, и я выкину его.

После завтрака отец взялся ремонтировать костыли. Он снял резиновые наконечники и в каждый костыль для верной опоры вбил по толстому гвоздю без шляпки.

— Так надежней, мне ведь не прогулки совершать с костылями, работать надо, значит держава, крепость нужна особенная, — пояснил он.

Теперь, когда он встал и пошел по комнате, от гвоздей оставались отметины в полу.

...А вечером приехал старый друг детства отца, Степка Сонюшкин. «Синегубый» — так его звали оттого, что все лицо и губы у него от контузии на фронте были в синих точках. Он привез две седелки, уздечки и просил за недельку подремонтировать, обещая ставить за это трудодни.

— Знаю я твои трудодни, Степан, еще до войны. Ты мне лошадь, когда надо, дашь?

— Дам, конечно, дам, — говорил Степан, глядя невидящими от ожогов глазами, тускло и покорно. — А ты сделай, у меня еще хомутишко один есть потрепанный, возьмешь?

— А потник-то есть?

— А как же! — с готовностью ответил дядька Степан. — Есть, неважнецкий, правда, но есть.

Когда ушел Синегубый, отец сказал:

— Шурка, а знаешь, я ведь ловко так валенки до войны подшивал. Если взяться за это дело, не пропадем, точно говорю.

Мать радостно слушала эти разговоры и украдкой вздыхала.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Сегодня перед уроком истории классная руководительница Лидия Петровна объявила:

— Александр Ковальский, я тебя освобождаю по просьбе Валентины Яковлевны от уроков, ты ей нужен в постановке.

Шурка встал и под завистливые взгляды одноклассников вышел.

Ничего не поделаешь, Шурка — артист.

По дороге в клуб он вспомнил, как впервые Валентина Яковлевна появилась в школе два года назад.

...В тот день вначале ему не везло. На перемене у туалетов к нему привязался Толик Юнгов, и они подрались. Так, не зло. Как бы проверяя друг друга, обменялись тумачами. Но Шурка поскользнулся и припал на одно колено, прямо в грязную лужу. Зазвенел звонок, и Толик убежал, а он остался очищать грязную штанину. Когда вошел в

класс, хмурый учитель географии Норкин Василий Иванович уставил в него не мигая свои карие, под навесом черных больших бровей глаза:

— Опять дрался? Оттого и опоздал?

— Нет, — ответил Шурка, свято веря, что они с Юнговым и не дрались. Так себе... И опоздал он не из-за драки, просто случайность — поскользнулся и попал в лужу.

— Лгать нельзя, — обидно, как маленькому, сказал учитель географии, — я все видел в окно. В наказание будешь стоять, пока не скажешь правду.

— Где? — с горечью выскочило у Шурки. «Неужели меня поставят в угол?» — подумал он.

— А где вот находишься сейчас, там и стой.

«Если видел все в окно, то что ему от меня надо? Ведь он должен понять, что все получилось случайно».

Шурка остался у двери. Незаметно продвигаясь, он оказался у подоконника. Стал смотреть на улицу. Правая рука, вернее, указательный ее палец ковырял потихоньку известку в оконном проеме.

Было обидно и неинтересно. Из окна сквозило, и Шурка два раза шмыгнул носом.

— Ты что, герой, плачешь? Так знай, коммунисты не плачут!

В классе хихикнули.

— Не смей! — грозно выкрикнул Норкин. — Не смей смеяться.

«Если я что-нибудь скажу сейчас такого, то все рассмеются и нас потащат в учительскую, надо молчать», — подумал Шурка и повернулся к стене лицом.

Разрядило ситуацию удивительное событие. Открылась дверь за спиной Шурки, и в класс вошли Лидия Петровна и с ней незнакомая женщина. Классная руководительница извинилась перед Норкиным и представила классу незнакомку:

— Ребята, сегодня у нас в гостях Валентина Яковлевна Плотникова — художественный руководитель районного Дома культуры. Пожалуйста, мы вас просим, — она как конферансье развела руками.

Шурка смотрел с удивлением на гостью. Он ее узнал, он видел ее несколько раз, но так близко — никогда. У доски стояла осанистая, крепкая женщина в светлом костюме, ярко-красной кофте с большим отложным воротником.

Шурке эта необычная женщина давно запомнилась, хотя она даже, наверно, и не знала о его существовании.

— Ребята, кто из вас хочет стать настоящим артистом, а? — с ходу спросила она.

В классе воцарилась гробовая тишина. Всех, очевидно, сразила внешность этой женщины. Тряхнув крупной головой с короткими черными кудрявыми волосами, она сказала совсем непривычное в устах взрослых в этом классе:

— Слабо? Да?

— А что нужно уметь? — спросила находчивая Ниночка Иванова.

— Желательно все, — опять энергично ответила гостя. — Но для начала надо просто записаться и в пятницу после занятий прийти для просмотра. Мне нужны артисты в драмколлектив, танцоры в ансамбль, хористы. Наш хор — народный. Мы уже записались на пластинку в Москве, приходите слушать.

Она пристально посмотрела на притихших ребят.

— Талант рождается в детстве, а может, конечно, и раньше, понятно?

Она свободно и заразительно засмеялась. Так в школе никто не смеялся.

— А я, как бабка-повитуха, помогу, как могу, если будете слушаться. Не теряйте момента!

— Вот у нас готовый артист есть, Валентина Яковлевна, — вдруг сказал учитель Норкин, присевший на первом ряду за парту, и показал жирным коротким пальцем на Шурку.

— А ты чего стоишь в углу? — удивилась Плотникова.

— У стенки, — поправил Шурка. Он берег свою независимость.

— Петь любишь?

— Не знаю. Не очень.

— А что любишь?

— Кино!

Все засмеялись.

— Приходи, попробуем в постановках. На роль Ваньки Жукова тебя попробую. Как твоя фамилия?

— Ковальский.

— А имя?

— Александр.

— Александр Ковальский! — воскликнула она, подняв левую руку над головой. — Неплохо звучит для сцены.

...Шурка пришел в ту пятницу в клуб и с тех пор уже не представлял себя без завораживающего общения с этой удивительной женщиной, без того волнения, которое он теперь всегда испытывал входя в клуб.

«ПРИДЕТ ВРЕМЕЧКО-ТО...»

Я смотрю на тебя, Шурка, и думаю: какое же это перемещение народов всяких должно было быть, вторая мировая война случиться, чтобы твой отец — песчинка в море — оказался здесь, в Утевке, и встретился с твоей матерью. И чтобы ты родился. Чудеса да и только. Как будто кому-то это надо?

Бабушка Груня сидит перед открытым полупустым сундуком, крышка которого изнутри оклеена кусками картины И.Репина «Бурлаки на Волге». Третий слева в толпе бурлак, высокий и в шляпе, очень похож на Большака, который приходит часто к Лобачевым в гости. Только у Большака нет трубки.

Шурка, продолжая разглядывать картину, просит:

— Баб, расскажи что-нибудь еще об отце.

— О каком, Василии?

— Нет, — глуховато отзывается Шурка.

Бабушка вынимает наконец-то нужный ей клубок пряжи и, не поднимая головы, не торопясь отвечает:

— Мать пусть расскажет.

Шуркина мать сидит с пряжей у окна, там посветлее. Сучит пряжу, принесенную бабушкой.

— Что тебе рассказать?

Она ловко поправляет веретено, струны вытягиваются, прялка оживает.

— Я вот расскажу тебе, чтобы ты наперед знал, больше тебе никто не скажет, кроме меня. Когда отец твой Станислав пропал, перестал писать, я взяла тебя, совсем еще крошечного, и пошла погадать в Смоленовку к одному старичку.

— Он колдун был? — Шурка сомневается, что мать верит в колдовство.

— Колдун не колдун, а людям много кой-чего угадывал. Забыла звать как его, эвакуированный. Он появился одновременно как летная школа у нас стала в селе. Издалека откуда-то.

— У нас летная школа? — Шурка удивлен.

— Да, в ней учили летать молодых ребят, ее тоже откуда-то эвакуировали, где бои были. Некоторые при учебе-то и погибли, лежат у нас на кладбище.

— А нам в школе не говорили... — Шурка озадачен.

— Мало ли чего вам не говорят!

— Ладно, мам, а что дальше?

— А что дальше? Заходим в избенку. Ты у меня на руках. На кровати сидит весь белый, как лунь, старик, слепой, в руках бобы. Так перебирает их без остановки и говорит с ходу: «Гадать пришла?» — «Да, — говорю, — погадать про его вот отца, пропал, писем нет». — «А ведь ты, дочка, не на того собираешься гадать». — «Как так, — говорю, — не на того?» Помолчал он, помолчал, руками поиграл в бобы и продолжил: «Придет, вернется к тебе твой первый муж, которого не ждешь. Жив он, но далеко». «Василий? — ахнула я. — Как же так от него ведь четыре года с фронта не было писем. Я вышла за другого — поляка». — «Не было, а вот придет. И родишь от него много детей. Жить будете долго вместе и согласно. Судьбе не противься». — «А как же его отец?» — спрашиваю я про тебя, Шурка. «И второй твой муж вернется, но только когда тебе это будет не надо, в старости. Придет времечко-то, да».

Шурка стоит у голландки, прислонившись к горячему железу, ощущая жгучий рубец у себя на спине и чуть не плачет. Хочется расспросить подробности, но боится не справится с голосом. Наконец решается:

— Мам, а первый сын от Василия, что с ним случилось?

— Умер, — односложно ответила мать. — Грудного мы его еще не уберегли, простудили. Он был Шурка, и тебя я потом назвала Шуркой — ты брат ему.

— А дальше что?

— А что дальше? — переспросила бабушка. И сама же ответила: — Пришел в сорок шестом Василий весь израненный, был в плену долго. Заходит в калитку, а ему уже кто-то сказал, пока он шел дорогой, что твоя мать от другого родила, а его-то сына нет в живых. Остановился в калитке-то, когда Катерина с тобой на руках вышла и встала на крыльце. Метнулась я на зады со двора, чтобы не видеть всего этого. Хорошо, что и деда не было. А вернулась когда, они сидят за столом и потихоньку так разговаривают, и ты при них. Она Василия-то молоком поит.

— Ни в какую я не хотела сызнова все, сначала. Но он упрямый всегда был, сладу нет. Все вещи заставил собрать и повел меня за руку к себе домой, к свекрови, где мы до войны жили. — Мать Шурки, остановив рукой колесо прялки, стала смотреть в окно.

Шурка заметил на глазах у нее слезы.

— Все сошлось, что говорил слепой старик, теперь вот чуется мое сердце: и отец твой Станислав может вернуться когда-нибудь. Придет времечко-то... так он ведь сказал, старик-то. — Бабка посмотрела своими огромными черными глазами на притихшую Катерину и совсем спо-

койно добавила: — А ты не хлюпай носом. Живи покуда солнышко светит. — И продолжила: — В последнем письме твой польский отец просил прислать фотокарточку новорожденного. Очень хотел, чтобы ты был на ней голеньким, чтобы всего было видно. Катерина так и сделала. Письмо он получил перед освобождением своего родного города Варшавы. Сообщал, что бои идут страшные и его двое товарищей, которые с ним вместе прибыли из России, погибли. Писал, что когда получил фотографию, несколько раз останавливался на дороге и смотрел на тебя, не мог поверить, привыкнуть, что он — отец. «Где мой сын — там и моя родина», — так заканчивалось его последнее письмо. Верил он, что вернется к тебе, поэтому мы фамилию не стали тебе менять, хотя Василий несколько раз об этом заговаривал.

ОСЕЧКА

У Мазилина, который живет около чайной на Центральной улице, есть страсть, о которой все знают и которая дала ему его вторую, уличную, фамилию. Он любит ружья и охоту, а вернее, любит быть, присутствовать там, где охота и где пахнет паленым пыжом. Стрелять он не умеет, но врет о своей меткости отменно. Сегодня охотники на задах стреляли в калитку огорода: пробовали одностволку Веньки Сухова. Мазилин так «раздухарился», что заявил будто на лету сбил сразу трех витютней.

— Они ж стаями и не летают, — сказал веско Венька. — Уймись.

— Что уймись, что уймись, я настоящую правду говорю, их ветром в стаю сбило над жнивьем в Ревунах.

— Ага, — продолжал Веня, — иду я полем — ни одного деревца и вдруг волки. Я — раз, не мешкая на огромный дуб, да?

Это Веня вспомнил кусочек рассказа Мазилина о его подвигах.

Эту историю все уже знают, поэтому и засмеялись.

— Ты зря, Веня, надсмеаешься, я натренировался на той неделе с ружьем-то, могу аккурат пальнуть как надо!

— Можешь? — переспросил Веня и озорно посмотрел на всех.

— Могу, — подтвердил Саня. И для надежности добавил: — Я это, Веня, гагарок влет бил, когда у брата на Севере был, а летось в Оде-яле дудака завалил.

— Говоришь, гагарок стрелял, а на лемулов в тропиках не охотился? — поинтересовался Веня.

— Чегой-то? — переспросил Мазилин.

— Давай так, — весело сказал Сухов, — на тебе мое ружье. На, на!

Мазилин неуверенно взял одностволку.

Веня окинул взглядом ровную заснеженную порошей дорогу вдоль ограды и начал отмеривать своими крупными шагами расстояние. Единственная его правая рука четко работала под строевой шаг.

– Вот, ровно тридцать метров. Так?

– Ты что задумал, Веня? – спросил Шуркин дед.

– Так, Саня? – вновь спросил Сухов.

– Ну так, так, – беспокожно ответил Мазилин.

– Слушай условия дуэли. Стреляешь мне в задницу. Если хотя бы одной дробиной попадешь – ружье твое!

– А если не? – крикнул подошедший Степка Синегубый. И его испещренное мелкими темно-синими точками лицо, освещенное обычно тусклым светом потерявших остроту после контузии глаз, неожиданно преобразилось, и он вдруг оказался таким же веселым, как Венька. Это удивило Шурку. Таким он его никогда не видел.

– А если не попадет, тогда посмотрим, что с ним делать.

Венька, широко и плавно разводя руками, театрально изобразил реверанс, повернулся спиной к толпе и, задрвав фуфайку, наклонился, почти доставая рукой снег:

– Давай, Лександр! Не бойсь! Пали!

«Может, ружье не заряжено», – почему-то обрадованно подумал Шурка, глядя на крепкие Венькины галифе.

– Венька, убери казенную часть, не дури, – сказал, похохатывая, дед Шурки.

– А если я попаду? – подал голос сам Мазилин. – Глазунья ведь получится, а? Аховый ты мужик, Веня!

– Да не тяни, там бекасинник в патроне, я устал буквой «Г» стоять. Ты знаешь, где курок?

Шурка смотрел на Мазилина и лихорадочно искал выход из казавшейся ему тупиковой ситуации. «Венька, ясно, не струсит, будет ждать выстрела, а Мазилин в тупике – ему надо стрелять, на него все смотрят и ждут. А вдруг сдуру да попадет?»

Но уже в следующий момент он заметил, что неуверенные движения Мазилина обретают какую-то твердость. Тот перебросил одностволку с правой руки на левую, как какой-то краснокожий индеец взметнул ее над головой и издал не очень громкий, но дикий и непонятный воинственный клич:

– И-и-и-ха-ха-у-у!

Все оторопели. Никто такой выходки не ждал. В следующий миг лицо и вся фигура Мазилина приобрели такое уверенное спокойствие и деловитость, что вновь всех изумило.

Он потоптался на месте, делая себе площадку в снегу, и затем медленно стал поднимать ружье. Теперь уже он не обращал никакого внимания на присутствующих. Видно было, что он действовал осознанно и по плану.

Мазилин начал основательно целиться. Но враз опустил ружье:

— Венька, постой еще чуток, я передохну. Знаешь, руки дрожат после вчерашнего: солому возили, ну и немножко того, для сугреву, теперь вот вместо опохмелки ты попался.

— Эх ты, колбаса! — совсем как пацан обозвал Синегубый Мазилина. — Трусишь?

Но Мазилина голыми руками не возьмешь. Он быстро отозвался:

— Коли б колбасе приставить крылья, лучшей бы птицы не было.

Шурка потихоньку начал понимать, что хозяином положения становится Мазилин, а не Венька. «Неужели Мазилин опять всех перехитрил? — думал Шурка, глядя грустно на Сухова. — Так уж не раз бывало, ведь он известный пройдоха».

У соседки Пупчихи закричала коза, чуть погодя у самого плетня под навесом смешно начал кашлять баран.

— Вот ведь чертова скотина... правда, Вень? Я ее терпеть не могу, потому и не держу. А ты, Вень?

— Стрельнешь или нет? — подталкивал удивительно настойчиво Сухов.

— Стрельну, конечно, стрельну, погоду чуток-то.

Мазилин поднял ружье и с каким-то чуть ли не радостным лицом, почти не целясь, нажал курок. Прозвучал сухой щелчок, выстрела не последовало.

— Осечка, — сказал бодро Мазилин. — Не судьба, значитца!

— Чего городишь, дай мне. — Венька принял ружье и ловко пальцами одной руки, скользя по цевью и ложе, переломил одностволку. Лицо его вытянулось в изумлении:

— Ну ты даешь, ловкач! — Он внимательно посмотрел на стрелявшего.

— Ловкость рук и никакого мошенства.

Сухов как-то одобрительно, что было совсем непонятно Шурке, хмыкнул и, шутя, боднул Мазилина головой. Тот громко хохотнул и объявил:

— Господа хорошие, спектакля сегодня больше не будет.

Потихоньку все разошлись.

Шурка вынул перочинный ножичек с двумя лезвиями и начал выковыривать дробь из деревянной калитки. Некоторые дробины засели глубоко, старые трухлявые доски внутри оказались крепкими, а дробь, расплющившись, трудно поддавалась тонкому лезвию, мерзли руки, хотя и было солнечно. Снег искрился, как будто тысячи серебряных мелких дробинок кто-то рассыпал по чьей-то непонятной прихоти.

— Зачем тебе это? — спросил Сухов.

— Да на грузило к удочкам, на лето.

— Приходи, я тебе дам свинца, я раздобыл недавно.

— Ладно, приду.

Веня Сухов, ловкий, стройный и добрый, уже уходил, и Шурка поинтересовался:

— Веня, а как Мазилин придумал фокус с осечкой?

— Да не было осечки, — ответил тот, — пока он нас потешал, успел потихоньку патрон из ствола вытряхнуть и валенком в снег втоптать. Находчивый черт!

— Эх, вот это да! — только и сказал Шурка.

На душе было празднично. Стояла еще только первая половина зимнего солнечного дня. Почти целый день впереди. Рядом были дед, бабушка, все свои. Веня... Такие все разные. И даже пройдошистый Мазилин воспринимался как что-то чудное, но такое, без чего вроде бы и жизнь не совсем такая, какая она может быть.

РОЖДЕСТВО

В сенях зашумели, затопали чьи-то торопливые валенки, дверь распахнулась, и в избу ввалились трое ребят: Толик Бесперстов, Димка Таганин и Мусай Резяпов.

Едва переступив порог, еще не закрыв как следует заиндевевшую дверь, нестройно, но громко и главное решительно, запели молитву:

*Рождество Твое, Христе Боже наш,
возсия мирови свет разума в нем
бо звездам служащи, звездою
учахуся Тебе кланяться Солнцу
Правды, и Тебя ведети с высоты
востока, Господи, слава Тебе!*

Молитву Шурка знал давно, много раз он славил, когда был поменьше. И теперь, лежа в кровати, ревностно и радостно слушал пение.

Слова молитвы были немножко непонятны, но жила в них, исходила от них какая-то неизъяснимая благодать, неясные созвучия были знакомы, на слуху, и поэтому, может быть, несли в душу неосознанную до конца радость и веру в жизнь.

Так наступило утро седьмого января, праздника Рождества Христова.

Когда ребята смолкли, братишка Шурки Петя вскочил на кровати, переступил, балансируя, через Шурку и в трусах, босиком пошлепал к порогу, издавая какие-то невнятные звуки.

Мать Шурки раздавала припасенные заранее конфеты-подушечки:

— Слава Богу! Слава Богу!

Когда славильщики ушли, Петя, стоя на одной ноге, поджав другую, очевидно, от холода, заскочившего через только что с шумом закрывшуюся дверь, закричал горестно:

— Опять ты, мамка, опоздала меня разбудить. Уже ходят! Бесперстов меня обогнал.

— Не торопись ты, темень еще на дворе, они самые первые. Посмотри в окно, — отвечала мать.

Шурка встал, споткнувшись о тыкву, выкатившуюся из-под кровати, подошел к окну. Отодвинул занавеску. Палисадник, широкая улица — все было завалено сугробами, ночью шел сильный снег. Несколько стаяк ребят, по двое, по трое пробивались, увязая по колени в снегу, к по дворьям.

— Зачем тебе, Петь, в такую рань-то?

— Дак я должен был еще зайти к Перовым, за Ванькой!

— Петь, да ты в своем уме? — всплеснула руками мать. — Он ведь на самом краю села живет, пусть он за тобой забегает. Хватит колдыбашить-то.

— Нет, — упрямится Петя, — он чуть не каждый день за мной заходит, когда в школу идет.

— Но ему же по пути, он в школу в центр идет.

— Я ему обещал вчера, честное слово дал, — говорит Петька, натягивая на босу ногу валенок. — Мы решили в этом году славить в Золотом конце, — приводит он свой последний и веский довод.

— Петро, не выкобенивайся, — как взрослому говорит вошедший со двора отец, — надень носки, без них не пойдешь.

Петька послушно идет искать пропавшие носки. Приподняв подзорник, лезет под кровать.

— Мать, никак меж славильщиков и татарчонок Мусай был?

— Был, а что?

— Ну как что...

— Да ладно тебе, радостный праздник для всех же, а для ребятни тем более. А ты знаешь, какой у него голос? Красивый! Чудо!

Одевшись, Петька быстренько, пока про него забыли, прошмыгнул к двери и пропал в сенях.

— Ну а ты, Шурка, что же не с ними? — спрашивает отец.

— Большой стал, в шестом классе учится, стесняется, — ответила за него мать.

Она отставила ухват к двери, обернулась к ним. И Шурка поразился, какая у них мать совсем молодая и красивая! Черные, как смоль, волосы и карие глаза, смуглость лица и живость движений делали ее ступком энергии и заразной веселости.

Он хотел было возразить маме, но не успел, она весело сказала:

— Знаете, как мы бывалыча девчонками с Надей Чураевой пели на Рождество красиво! Нас так все любили. А колядовали как! Наши колядки всем так нравились. Самый мой отрадный праздник был Рождество Христово. И все дни до самого Крещенья! Была бы помоложе, убежала бы с ними, с этими ребятами, ей-богу!

ПОЕДИНОК

По Зубареву переулку в розвальнях на буланой кобылке промчался Мишка. Снежная пыль клубилась за возком. Мишка не умел ездить медленно.

«На общий двор погнался, — отметил про себя Шурка. — Ну хорошо, посмотрим, кто слабак!» Он нырнул в сельницу и вышел оттуда с уздечкой. «Будем биться на равных, по справедливости».

Мишку он встретил у стадиона, когда тот уже возвращался домой. Странно, но противник не испугался и не удивился:

— Ждешь? — спросил он и встал метрах в двух от Шурки, застегивая на все пуговицы свою старенькую бекешку.

— Жду, — подтвердил Шурка, подвигаясь к неприятелю.

— Я знал, что ты когда-нибудь меня подкараулишь, но я тренировался и...

— И я тоже, — перебил Шурка и так ловко стал крутить уздечкой круги над головой, перед собой, слева и справа от себя, что Мишка невольно попятился.

— Тебя кто-то учил из взрослых! — выкрикнул он, невольно озираясь: то ли готовился занять хорошее местечко на дороге, то ли оробев.

– Сам! Тебе сейчас придется попрыгать, а то пятки отшибу, понял? Не будешь больше кобениться.

– Да ладно тебе, отшибу... Сам получишь по сусалам. Вот послушай.

И он пропел жидким, ужасно мерзким голосом:

Шурка-пупурка. Турецкий барабан.

Как заиграет на пузе таракан!

Он ничего, оказывается не боялся, этот узкоплечий, веснушчатый и дерзкий Мишка Лашманкин.

– Стишки твои глупые, для первоклашек.

– А у тебя какие есть? – спросил Мишка.

Стихов у Шурки таких не было. И это его немножко озадачило. Он задумался. И потерял инициативу. А противник не дремал, он кочетом бросился на Шурку и, обхватив его со спины уздечкой, стянул ее впереди, захлестнув концы.

– Ах, ты так?.. – запоздало спохватился Шурка и резко метнулся в левый бок, быстро сообразив, что в падении он может освободить из плена руки. Так оно и оказалось. Противник не ожидал при всей своей коварности такого маневра, и они повалились оба на дорогу. Изловчившись, нырком выскочил Шурка из-под неприятеля и оказался вмиг верхом на нем. Мишка извивался под седоком, а тот, не помня себя, схватил горсть грязного дорожного снега и стал размазывать его по потному лицу противника.

– Ах, ты так, так, ты так... – взвился Мишка.

Но Шурка его не слышал. Он уже ничего не помнил...

И вдруг прозвучал властный голос:

– Отставить! По стойке смирно становись!

У обочины, опершись на костыль, в желтой фуфайке стоял Шуркин отец. Две пары рук ослабили вмиг под военной командой, и противники поднялись.

И тут последовала новая команда, которая вновь заставила их подчиниться:

– Разойдись! По разным сторонам дороги! По домам шагом марш!

Дома, весело глядя на Шурку, отец сказал:

– Ты молодец, такого крепкого парня свалил. Это хорошо. Но кто же лежачего бьет? Это несправедливо. Так нельзя.

– Да я, – хотел объяснить Шурка, что они разом повалились. Но отец опередил с вопросом:

– А грязью зачем ты ему лицо мазал?

– Я не помнил, что делал, совсем не помнил...

— Ну, брат, — отец покачал головой. — Драться надо уметь так, чтобы не терять над собой власть. Иначе до беды недалеко. И еще надо знать за что дерешься. Он внимательно посмотрел на Шурку:

— Причина для драки была серьезная?

— Была, — потупившись, ответил Шурка.

— Ну раз была, то все нормально. Веселей гляди. Бери ведра, пошли скотину поить.

Через несколько минут ведра весело загремели в руках Шурки. А чуть позже призывно на калде замычала Жданка.

ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО

Шурка давно уже знал, что дядя Гриша Кочетков в войну работал в утевской сапожной мастерской с его польским отцом.

На прошлой неделе он как взрослый подошел к Кочетку прямо на улице, когда тот проходил мимо их двора, спросил:

— Дядя Гриша, расскажи мне что-нибудь про моего польского отца.

Тот не удивился просьбе, как будто они давно об этом уже говорили.

— Приходи завтра днем, я буду дома.

...Едва Шурка шелкнул шеколдой, забрехала собака. Но тут же вышел хозяин. Подойдя ближе, положил легонько руку на плечо Шурки, и они как старые знакомые пошли в дом.

Оставив Шурку, хозяин скрылся в сенях, откуда скоро вышел, держа в руках мандолину и потрепанную ученическую тетрадь.

— Дядя Гриша, у вас фотографии отца есть?

— Да нет, видишь ли, одна групповая была, да жалко запропастилась куда-то давно.

Шурка понурил голову.

— Ну да ладно, не грусти. В Куйбышеве друг живет, он на той фотокартонке стоял около твоего отца, может, у него сохранилась...

Полистав тетрадку, нашел нужную страницу, помятую и исписанную карандашом.

— Вот:

*Когда пролетных птиц несутся вереницы
От зимних бурь и вьюг и стонут в вышине,
Не осуждай их, друг! Весной вернутся птицы
Знакомым им путем к желанной стороне.
Но, слыша голос их печальный, вспомни друга!
Едва надежда вновь блеснет моей судьбе,*

На крыльях радости помчусь я быстро с юга

Опять на север – вновь к тебе!

– Это знаешь, кто написал? – спросил Кочеток.

– Нет, может, Пушкин?

– Пушкин, только польский – Адам Мицкевич, вот! Один раз, в войну, у твоей матери был день рождения. Ну мы собрались... Даже пиво было.

Отец твой прочитал это стихотворение по-польски, пересказал по-русски. Назвал автора – Адам Мицкевич. Мы признались, что не знаем такого. Он тогда очень расстроился и даже, кажется, обиделся на нас. Говорил он по-русски плохо, а тут совсем смутился, когда объяснял нам, что у них Мицкевич как у нас Пушкин. Его каждый поляк знает. Мицкевич и Пушкин, видишь ли, навроде друзей были меж собой. Я это стихотворение о перелетных птицах запомнил хорошо. Потом дочь моя, учительница в Куйбышеве, нашла книжку Мицкевича, переписала и прислала в письме.

– Дядя Гриша, мой отец – шляхтич?

– Кто тебе такую глупость сказал?

– Да меня дураки наши в школе контрой зовут, когда разозлить хотят.

– Послушай, он отличные женские туфли шил и меня научил. Может контра сапоги да башмаки шить, а? Он красивый, послушай, был. Невысокого роста, смуглый, кудрявый, а глаза голубые. Ходил в толстовке коричневого цвета. У тебя вот глаза зеленые, у матери твоей карие. Ты, значит, посерединке у них. Шляхтич, не шляхтич, но немецкий и французский языки знал, это верно. Уважительный, вежливый был, но за свое стоял. Когда я ему сказал, что вот освободят Польшу от немцев, организуют у них колхозы и Польша будет страна как наша, он стал мне говорить, что в Польше никогда колхозов не будет. Колхозы им не нужны. Так я его и не убедил. А с матерью твоей я его познакомил у Чураевых на вечерках. Не сразу они сошлись. Хоть и четыре года твоя мать не получала писем от первого мужа, а все равно – жена законная. Мы все были уверены, что Василия нет в живых. А тут еще Минька Леток раненый вернулся, сказал, что видел Василия Федоровича вроде бы на Карельском фронте, на Финской еще, попавшим под такой обстрел, что все погибли. Такая вот история с Любаевым получилась. Как тут разобраться?

Взял мандолину, как маленького ребенка, погладил ладонью, вытряхнул из отверстия посередине большой зуб от сломанной расчески и тронул струны.

Полилась удивительно красивая, грустная, незнакомая мелодия. Мандолина – это маленькое существо, даже не гитара, незаметное и невнушительное, хранила в себе и издавала такие звуки, которые могли существовать только где-то на просторе, в поле, между небом и землей, как песня жаворонка под открытым небом, в вышине, в огромном свободном пространстве, вечном и манящем...

Дядя Гриша кончил играть, Шурка не сразу пришел в себя.

– Подарок тебе – любимая музыка твоего отца, полонез Огинского. Он любил его напевать, ну я и подобрал на мандолине. Ему очень нравилось, часто просил сыграть. Он говорил, что эта музыка бессмертная, на все века. Бери мандолину, она твоя.

– Как так? – опешил Шурка.

– Я ее подарил твоему отцу – Стасу, но когда его срочно забирали на фронт, он забыл ее взять впопыхах. Она у нас потом долго в сапожной мастерской висела – на память.

– А где была ваша сапожная мастерская?

– Да в промкомбинате, который напротив школы. Во время войны, в начале, его собрали из чернолесья. Потом твой дед с бригадой работал в Борске, заготавливали сосновые бревна. Я тоже с ними был, плотами пригнали в Утевку, сделали пристрой. Дед твой овчины готовил, полушубки шили для фронта из них.

– Плотами в Утевку по Самарке?! – удивился Шурка.

– Ну да! По Самарке баржи до Куйбышева ходили.

Шурка погладил осторожно, как живое существо, мандолину и вернул Григорию.

– Нет, спасибо. Можно, она будет у вас, а я буду приходить, слушать, как вы играете?

– Смотрю я вот на тебя и удивляюсь – ты так похож на отца, может, не внешностью, а характером больше. Он тоже, когда возражал, говорил очень мягко, как бы просил, совестливый был очень.

– А кто такой Огинский? Шляхтич?

– Дался тебе этот шляхтич. Композитор, поляк. Мне о нем Стас много рассказывал, он всего много знал и любил рассказывать. Но я все уже перезабыл. По-моему, граф был, а звали Михаилом или Николаем. Такое русское имя... да вот.

– А в чем мой отец виноват был, дядя Гриш?

– Точно не знаю. Тут их несколько человек было по селам. Что-то они, по-моему, в Литве наделали, их и пригнали. Сельсоветские наши частенько спрашивали о нем. Не спускали глаз.

– А как забрали на фронт? – допытывался Шурка.

– Просто. Польскую часть формировали, и его призвали в Рязань, вроде бы в дивизию Костюшко.

– А русских он любил?

– Кто? – не понял дядька Гриша.

– Отец мой.

– О чем разговор! Мы были все приятелями. Песни наши любил. Послушай, мы с ним часто ее пели:

*Среди долины ровныя
На гладкой высоте
Цветет, растет высокий дуб
В могучей красоте.
Высокий дуб, развесистый
Один у всех в глазах;
Один, один, бедняжка,
Как рекрут на часах.*

В избу вошла Наташа Лучезарная – жена Григория. Тут же подседа рядышком и стала подпевать.

Не зря утевский народ такое прозвище ей дал. От нее веяло жаром, как от протопленной печки, какие-то теплые иголки выскакивали из ее веселых улыбчивых глаз и покалывали всех, кто был рядом. Грустная песня оставалась грустной, но все превратилось в некую забаву, и грусть стала как бы понарошку, временной.

Она обняла Григория за шею сзади одной рукой, наклонилась, кофточка белая на груди расстегнулась на две пуговички, и два бронзовых полновесных слитка заиграли перед лицом Шурки, в такт движения их шаловливой хозяйки то прячась, то выглядывая и целясь прямо в Шурку темными пухлыми сосками. Ему стало не по себе. Смутное, необычное волнение нашло на него.

А песня лилась в два голоса:

*Взойдет ли красно солнышко –
Кого под тень принять?
Ударит ли погодушка –
Кто будет защищать?*

Вдруг Лучезарная всплеснула легкими и ласковыми руками:

– Гришенька, песне-то этой конца нет, а у меня баня протопилась, голубок, давно.

– Наташа, ну обожди, допою парню еще один куплет. Когда еще так посидим?

Наташа ушла в сенцы, и дядя Гриша озорно подмигнул:

– Вишь моя полячка какая нетерпеливая!

– Разве ж она полячка? – откликнулся Шурка.

– Да нет, это я к слову. Похожа на полячку, верно?

Возьмите же все золото,

Все почести назад:

Мне родину, мне милую,

Мне милой дайте взгляд.

Он замолк.

– Вот такие дела. Тосковал он о своей прежней жизни. Это видно было. Не мог он здесь прижиться. Другой он был, не как мы.

– А как кто?

– Не знаю. В мастерскую сапожную приходил в светлой рубахе с галстуком. Так вот.

Тригорий встал, отнес в сенцы мандолину. Оттуда выпорхнула Лучезарная с тазиком в руках и в полушалке:

– Гриш, ну ты и копуха, собирайся, а то я одна уйду.

ПОЛЯКОВ ИЗ ПОКРОВКИ

Шурка, подперев подбородок левой рукой, сидит у деда в горнице за столом. Он рисует самолетики, фигуры разные на обратной стороне обрезков обоев. Скучно. Должен прийти Андрей, но его нет. Книжка «Одиссея капитана Блада» прочитана, больше ничего нет. Все взрослые на базаре, сегодня – воскресенье. Он рассеянно смотрит на стену перед собой, упирается взглядом в картину с цветами и непонятным названием «Пионы», и ему делается еще скучнее. Потом берет попавший под руку желтый карандаш и перед непонятным словом ставит большую, но не жирную (чтобы бабушка не заругала) букву «Ш». Вслух произносит «шпионы». Становится как-то понятнее, но какая связь между цветами и этим словом, он никак не улавливает, и опять ему становится скучно. Зачеркивает буквы «и» и «ы», получается: «шпон». Скучно. Зачеркивает букву «ш», восстанавливает «и» и вместо «ы» дописывает «ер», становится веселее: «пионер». Когда же убирает «п» и «ер» и дописывает «ыч», совсем хорошо: «Ионыч». Вернувшись к слову «шпон», убирает букву «ш» и в конце добавляет «т». Вот теперь, когда надпись под цветами становится свалкой букв, как у деда на верстаке, где завитушки золотистых сосновых стружек кудрявятся и шевелятся как живые, ему становится интересней.

Взгляд его падает на ружье, висящее (а скорее лежащее) под потолком на двух больших гвоздях. Оно не заряжено. Мысли сами собой почему-то начинают вращаться вокруг вопроса: «Если все говорят, что

ружье и незаряженное один раз стреляет, то когда это случится? Завтра, через год, два, десять? Нет, интересно все-таки, ведь не зря говорят? Стрельнуть должно ружье».

В сених послышалось, как кто-то обметает валенки веником от снега. Шурка радостно бросился встречать деда с бабкой. Но ошибся. В заднюю избу шагнул с мороза высокий дебелий человек и весело сказал:

– Здорово, брат!

– Здравсте, – неуверенно отозвался Шурка, а про себя подумал: «Вот и брательник у меня объявился».

– Один, что ли?

– Один.

– Все на базаре?

– Нет, дядя Леша на охоту ушел.

– Эх, мать честная, я ведь к нему, охотничий билет продлить надо и заплатить.

Он, не спрашивая разрешения и не снимая валенки, прошел и похозяйски уверенно сел на табуретку около печки. Это Шурке не очень понравилось.

Гость пристально посмотрел на Шурку и спросил, глядя в упор своими диковатыми глазами из-под рыжих бровей:

– Ты Катькин сын, что ли, будешь, так?

– Ну, так.

– Полячок, значит, – то ли спросил, то ли ответил себе дебелий.

Шурка промолчал.

На это молчание гость отреагировал странно. Он хлопнул себя ладонями с растопыренными пальцами с обеих сторон по ляжкам и с каким-то, только ему понятным восторгом подтвердил: «Полячок!». Затем встал и направился к выходу. За ним потянулись следы от мокрых, оттаявших в избе валенок.

– Ждать некогда, да и не дожدهшься быстро с охоты. Ты вот что, скажи ему, был, мол, Поляков Михаил, на базар приезжал с Покровки, в следующее воскресенье утром снова будем – пусть подождет. Ладно? Без билета нельзя. И привет большой ему от Полякова, мы вместе служили.

– Ладно, – неопределенно отвечает Шурка.

Ему вдруг начинало казаться, что этот уверенный сильный человек смеялся над ним, дразнил. Специально придумал фамилию – Поляков. Он намекает, что отец Шурки и сам Шурка немножко не такие, а как бы с порчей какой.

— Что такой задумчивый, рона* большой, веселись, пока время твое!

Неожиданный знакомый хлопнул ладонью по косяку, резко открыл дверь и вышел.

«Вдруг он все-таки смеялся надо мной, фамилию назвал такую, как же я скажу, кто к нам приходил, — пытается разобраться Шурка. — Если говорить, то надо называть фамилию. Вдруг дядя смеяться будут? Ведь это похоже на розыгрыш. Или нет?»

ПУСТЬ ПОПЛАЧЕТ

— Ты что такой смурной сегодня? — встретила Шурку бабушка вопросом.

— Я видел сегодня: мама украдкой плакала.

— Не замай, пусть поплачет. Полегчает.

— Как же так? — Шурка недоуменно посмотрел на бабушку. — Надо что-то сделать!

— А вот иди ко мне за стол, посиди, а я расскажу. Тебе пора, видать, понимать.

Шурка сел в угол на лавку, как раз под иконой, напротив бабки, чтобы видеть огонек в печи и не мешать ей работать ухватом и сковородником.

Бабушка отставила в сторону ухват:

— Не серчай ни на кого из нас и не обижайся, ладно?

— Ладно, — сказал Шурка почти машинально, и ему стало не по себе. Получалось с этим его «ладно», что он здесь главнее всех и может свысока позволить кому-то какую-то вольность. Он опустил глаза в стол.

— Третьего дня Кочеток, когда тебя не было, принес две фотографии твоего отца Станислава. Сказал, что в Зуевке нашел у знакомого — для тебя старался. Вроде бы тебе он обещал? Ну, мы с матерью, от греха подальше, вставили их в портрет у вас в передней, но только с обратной стороны, чтоб не видно было. А сегодня утром Василий случайно их увидел. Не стал слушать Катерину, порвал и выкинул. Он не знал, что Кочеток тебе их принес, думал, они там давно, она хранит ото всех. Мать в слезы, говорит ему: надо, чтобы ты в лицо отца знал, а он вскипел весь: «Раз мы договорились, что отцом ему буду я, значит точка. Не морочьте парню и мне голову». Он — кремень, и рань-

* Рона — будто, словно

ше был очень горячий и твердый, его не переубедишь. И по-своему он ведь прав, понимаешь, голова садовая?

Шурка молчал. Он всех любил. Василий, которого он звал отцом и хотел, чтобы он был его отцом, удивлял его своим характером. Поражали его поступки и манера говорить: коротко и односложно. Но зато какая сила и уверенность были во всем, что он делал, все воспринималось как маленькая часть чего-то огромного, правильного, настоящего, что только и имеет право на жизнь. Шурке иногда казалось, что его отец Василий связан, это порой ощущалось физически, с некоей огромной умной силой, с которой тот встретился и обручился то ли на войне, то ли в плену, то ли еще где. Но она его отметила, и теперь он с этой отметиной живет.

«Но при чем тут фотографии отца Станислава? — недоумевал Шурка. — Ведь это же не измена, он просто хочет знать, что и как было. И все тут. Неужели отец Василий не понимает этого?» Досада угнетала Шурку еще и потому, что напрямую он об этом не мог ему сказать.

— Ну вот, совсем я тебя расстроила, — бабушка старалась быть веселой, — не горюнься. Ты еще не вырос, может, и не надо бы мне говорить тебе, но ты об этом думаешь. Тогда пойми: он порвал карточки только потому, что Катерину ревнует, вот и все. А к тебе он очень хорошо относится. Я знаю, Катерина отдала своей какой-то подруге сбережь последние письма Станислава из Варшавы — перед ее освобождением. Три или четыре...

— Но мама плачет...

— Она плачет потому, что всех вас жалеет: и тебя, и Василия, и Станислава. Вот ведь война что наделала. А мне вас всех жалко.

Она обняла внука за плечи:

— Ты правильно пойми. Когда перестали письма приходиться с фронта, мать начала было кое-что пытаться у разных людей узнавать. И один разок зашел к нам Мишка-милиционер и мне одной сказал, чтобы мы все забыли о твоём отце и не искали — может это бедой обернуться для нас всех. Так и сказал. Что уж он такого сделал? Но он был ссыльный поляк, а к ним строго относились. Вырастешь, сам разберешься, а пока побереги себя и нас.

«Где и кто мой отец? — горестно думал Шурка. — Приехал бы, забрал меня в свою Варшаву — всем было бы легче. Но как же мои дед, мама, бабушка, Самарка, Карий... как я без них? Нет, не надо меня никуда забирать».

— Иди позови на завтрак деда, он у погребицы сети разбирает, — она легко подтолкнула его, — будем лапшатник с молоком есть.

Шурка направился к двери и вдруг у порога, обернувшись, сказал совсем неожиданное для себя, вернее, то, о чем много думал, но вовсе не собирался сейчас спрашивать, да и вообще вряд ли решился бы когда:

— Баб, я кто?

— Не поняла я? — Бабушка внимательно, так, как только она умела, посмотрела сразу на всего Шурку, отчего Шурке некуда было спрятаться, и в нем что-то упало, ему стало не по себе: то ли от того, что он спросил, то ли от того, что вот бабушка сейчас ответит, и то, что она скажет, может создать непреодолимую преграду между ним и всеми, кого он так любит.

— Ты меня о чем спрашиваешь?

Шурке уж некуда было деваться, и он повторил:

— Баб, я кто? Русский или кто?

— А, вот ты о чем.

И как-то спокойно сказала:

— А сам ответь себе... Раз мы все вокруг тебя русские, мама твоя русская, то кто ты? А?

Шурка не ответил, пнув ногой дверь, выскочил во двор. С ходу попав в окружение Цыгана и Верного, цыкнул по-хозяйски на них и побежал к погребице, где всегда пахло рыбой, мокрыми сетками и где Шуркин дедушка мог внезапно сказать что-то вроде такого: «А что, внук, не махнуть ли нам с тобой за зайцами, а заодно и сетки проверим в Подстепном, а?»

Когда стали садиться за стол, пришла мать, а чуть позже — дядя Алексей.

Шурка любил, когда за столом много людей. Это у него, наверное, было от бабушки, у которой, все знали это, была слабость: зазвать в дом и чем-нибудь попотчевать. Она любила летом сказать: «Ну что, мужики, на вольном воздухе будем есть, под открытым небом?» И все сразу соглашались, и Шурка первым брал стулья и нес их под старую ранетницу, следом взрослые несли стол.

Под скрипучей старой ранеткой Шурка особенно любил есть окрошку. Баба Груня делала ее из своего кваса, нащипывая в нее сушеную крепко соленую густеру или сапу. Было остро и очень вкусно.

...Только вчера зарезали барана. Тушка его сейчас висела в сенях на большом крюке, а голье — приготовленная к дублению шкура — в мазанке.

Баба Груня сварила щи.

Ели из общей высокой глиняной миски, поставленной на середину стола. Щи были наваристые и горячие. Ели молча и сосредоточенно. Жирные капли щей, падая из Шуркиной деревянной ложки на клеенку, тут же застывали маленькими восковыми кругляшками. Шурка щелкал по ним пальцем, и они легко отлетали на пол.

– Шурк, чать не маленький, – спокойно сказал дед, – прекрати!

Шурка быстро наелся щей и стал ждать лапшатник. Он положил свою ложку на край миски, уперев ее черенком в стол. Ложка держалась, это его забавляло.

– Убери, – сказал дед Шурке.

– Она так интересно стоит.

Но дед сразил все доводы сразу и под корень:

– Чего ж интересного? Как собака через забор заглядывает, того и гляди гавкнет. Неприятно.

Шурка молча убрал ложку.

Бабушка долила щей, все продолжали работать ложками, не трогая мяса.

– Таскайте, – как обычно, будто бы между прочим, сказал дед Шурки.

Но это была команда. Все начали вылавливать куски мяса. В этом не было скаредности. Во всем должен быть порядок, и эту негласную установку все понимали и принимали.

Шурка краем глаз смотрел на мать. Она была спокойна, и не было даже ни малейшего признака того, что она утром плакала. Он знал, и так было уже не раз, если она сейчас что-нибудь скажет веселое, все, включая и дедушку, засмеются (она так умеет говорить), и эта сдержанность за столом и сосредоточенность не от какого-то недопонимания или горя, а от уважения к еде, к хлебу, ко всему тому, что дается нелегко и не вдруг.

«А я еще со своими вопросами выскакиваю, – думал Шурка, – всем и без них несладко».

ПИСЬМО ЖУКОВУ

– Пойми ты, голова садовая: пенсия колхозника и пенсия инвалида войны – разные вещи.

Это говорил красивый дядька в черном кителе с двумя орденами и медалями на груди.

Когда Шурка пришел из школы, отец и его новый знакомый сидели в избе и разговаривали. Перед ними стояла наполовину опорожненная бутылка водки, что сильно удивило Шурку.

Гость действительно был необычный: большая кудрявая голова его, цепкие колючие глаза и уверенный тон — все говорило о том, что человек у них не простой.

Шурке незнакомец сразу понравился. Он потихоньку прошмыгнул мимо них к подоконнику, где обычно делал уроки. Мать сидела рядом, разбирала шерсть.

— Мам, кто это?

— Зуев, дядя Костя.

— А кто он такой?

— На фронте майором был, а теперь инвалид, безногий.

— Как? — оторопел Шурка.

Ему не поверилось: такой сильный, уверенный, говорит громко, бодро, заразительно.

— У него обеих ног нету, — сказала мать Шурки, — мы ему с Василием помогли забраться за стол — выше колен обрубки.

— А как он к нам попал?

— Узнал, что Василий на все руки мастер, приехал на своей трехколяске какие-то тяги ремонтировать.

— А где ж она, трехколяска?

— Да за сеньями стоит, разве не видел?

— Ты мне скажи, Василий, ты в райсобесе объяснял свои дела или нет? — говорил в это время бывший майор.

— А что я буду объяснять или так не видно? Разберутся. Получим и мы свое.

— Жди! Хрен да маленько, вот что ты получишь. Я их знаю, тыловых крыс, сталкивался не раз.

Он стукнул кулаком так, что его медали и ордена звякнули звонко и убедительно.

— У тебя когда раны открылись? — Он направил на Шуркиного отца указательный палец, похожий на дуло пистолета.

— Примерно через полгода, — сказал отец Шурки.

— Вот теперь слушай, мать твоя — кочерыжка... значит, если в течение года у участника войны после демобилизации возникает инвалидность, то он считается инвалидом войны; а ты колхозник? Колхозник. Пенсия-то у тебя должна быть раза в два больше, а не двенадцать рублей. Так жить нельзя. Я тебе обещаю — я пробью ваших районных крыс! А ты делай мне мой тарантас, договорились?

Он широким жестом разлил по стаканам водку.

— Давай, рядовой Василий Любаев, грохнем за наши победы. Черт бы всех набрал!

— Подожди, — Шуркин отец взял стакан, подвинул ближе к себе, но пить не торопился. — Я был в плену, — сказал он.

— Каким образом? — как-то очень строго спросил майор, так что Щурке стало страшновато за отца.

— В тридцать восьмом забрали на срочную в Тощие лагеря. И закрутило. Уже в сорок втором попал в армию к Власову.

— Во вторую ударную?

— Да, так точно. В плен попал еще не получив оружия, не успел.

— А ранило где?

— Это от побоев, неудачно бежал. Правда, контузило под Выборгом, еще на финской.

— А как освободился?

— Американцы в Германии, когда соседний барак с пленными уже сгорел.

— Да, дела... — почесал затылок майор. — Власова не знал, а вот маршала Мерецкова видел, боевой.

— Мам, он откуда взялся, все знает? — удивился Щурка.

— В Москве жил до войны, приехал теперь в Куйбышев к родственникам. Говорят — герой.

— Василий! Слушай мой совет: Жукову надо писать, Георгию Константиновичу, — твердо сказал Зуев.

— Что ты говоришь, товарищ майор, об этом страшно подумать. Кто я такой? — Отец Щурки безнадежно махнул рукой. — У них просить — это все равно как требовать у попа сдачи.

— Разговорчики в строю, рядовой Любаев! — грозно сверкнул глазами майор. И уже тише и примирительно добавил: — И потом — гвардии майор, разницу улавливаешь? Гвардии...

— Не дури, Константин, я был в плену — в этом весь гвоздь, меня и так органы без конца разговорами манежат — работа идет. Нас четверо всего в живых осталось.

— Ну так не тебя же обвиняют, ты чист, в чем дело? И потом — четыре года уже нет Иосифа Виссарионовича.

— Его нет, другие остались. Покоя хочу, устал. Забыть бы все, — отозвался Шуркин отец.

— Лезь тогда на печку к своей трещине и там спокойно сиди, через нее на небушко поглядывай.

Он помолчал, глядя в стол, ладонью левой руки потер о край стола несколько раз вверх-вниз.

— Подписываемся оба: рядом с твоей фамилией будет моя. Текст я сам напишу.

...Письмо написали и отправили недели через две. Дядя Костя как-то хитро свернул его конвертом и заклеил, потом вложил в другой конверт и послал его своему другу-однополчанину в Москву с просьбой вынуть главное письмо и бросить в московский почтовый ящик.

МАСЛЯНКА

В Утевке много больших красивых улиц: Крестьянская, Льва Толстого, Фрунзе. Но почему-то самые интересные события происходили все больше на маленьких и дальних улицах: в Заколюковке, Золотом конце, Тягаловке, в Исаках, Смоляновке, Лопатиновке.

На носу масленица — дни, наполненные весельем, снежными забавами. Все как бы неосознанно прощались со снегом, хоронили зиму, балуясь напоследок в преддверии весны. Радовались почти язычески солнцу, весеннему свету. Пекли блины и особенно дети радовались им, совсем не пугаясь приближающегося затем поста. Его мало кто соблюдал, больше было разговоров о нем.

Взрослые ребята во главе с Шуркиным дядей Сережей, недавно вернувшись со срочной службы, решили сладить на самой большой, центральной улице, около Ракчеева двора, маслянку. Будет и на Шуркиной улице праздник.

Непростое это дело соорудить хорошую маслянку. Перво-наперво надо было одним концом вертикально вморозить большой лом в вырытую посредине улицы лунку. Земля была мерзлая, неподатливая. Пока сделали яму чуть не в метр глубиной, умаялись. На другой конец должно было надеваться тележное колесо. Когда таскали воду для заливки в яму, у деда Проняя Васяева выпросили хороший такой толстый лом, его и вморозили, не торопясь поливая водой. За ночь мороз сделал свое дело. Наутро лом торчал посреди улицы напротив дома Ракчеевых уверенно и требовательно. Тележное колесо нашлось у Ракчеевых, оно еще с прошлого года было припрятано у них за сельницей. Колесо надели на лом, который теперь служил осью, и осталось дело за небольшим: к колесу надо было привязать длинную жердь, а на конец жерди — хорошие крепкие салазки. Две жерди метров по пять длиной принес сам Ракчеев дядя Кузьма:

– Только верните потом. Стышные будут, но ничего, сбейте гвоздями и свяжите проволокой.

Так и сделали. Забава, но помогали и взрослые, артельно все ладилось быстро. Когда же вставили колья сверху в спицы колеса и трое добровольцев с их помощью крутанули колесо, жердь, немного провисая в середине и поднимая снежную пыль, быстро пошла, как циркуль описывая пристроенными на конце салазками окружность, что уже через несколько минут образовались две четкие снежные колеи.

– Андрюха, садись! – озорно прикрикнул Кузьма.

Давний Шуркин приятель Андрей Плаксин словно этого только и ждал. Он лег на салазки животом вниз, правой ногой уперся в дальний угол салазок, левой как можно крепче зацепился за жердину дальше от себя и затаился.

– Пошла, – скомандовал Серега, и толпа уже собравшихся взрослых и ребятишек отхлынула от вычерченного снежного санного круга. Шурка еле успел отступить, как санки с его дружкой, набрав за полкруга удивительно быстро скорость, пронеслись поднимая снежную пыль.

Через три-четыре круга колесо так было раскручено, что вращавшие его сами еле за ним успевали, поддавая скорость напором на колья, вставленные в спицы.

«Разматывается Андрюха, как гирька на веревочке», – только подумал Шурка, как Андрея на его глазах сорвало с круга, и он бесформенным комом влетел в толпу зевак.

– Они чуря не знают, крутят по-бешеному, не удержишься! – сказал он отряхиваясь.

Когда еще двое тягаловских, пришедших попробовать, слетели с саней, Шурка пошел пробовать свою удачу. Он уже сообразил, как надо сопротивляться той силе, которая срывала смельчаков. Эта сила шла от колеса по прямой, по жерди через сани и навывлет, за круг. «Значит, надо, – думал он, – лечь спиной к центру, ухватившись руками не за сани, а за жердь, обеими ногами упереться в дальний угол саней». Он так и сделал. И казалось, через два круга он поймал свою удачу, но ребята там, около колеса, поднажали на свои рычаги, и он не стал различать опоясывающих маслянку людей – все слилось в сплошную черную массу. Он понял, что не удержится, его стало огромной силой отрывать от жердины, руки слабели, и вдруг его обожгла мысль: он зря так сел. Важно не удержаться на круге, главное – вовремя упасть, ничего себе не сломав. Он почувствовал, что скорость стала большой, тормозов ей нет и может случиться беда с ногами. Его уже и на самом деле отрывало и переворачивало слева направо на спину. Он сжался в

комок, поджав колени, и тут же неудержимая сила сорвала его и сквозь толпу, образовав в ней брешь, выбросила в сугроб.

— Ты молодец, — сказал Андрей, протягивая ему его шапку, — продержался десять кругов, столько, может, из наших никто не продержится.

— Тут никто не удержится, — ответил Шурка, выгребая снег из валенка, — силища здоровенная, очень жердь длинная — рычаг, поэтому результат.

— Гришка Варивон на любой удержится, проверено.

— А кто это такой?

— Знакомый один, с ремеслухи, в гости приезжает из Самары. В воскресенье увидишь, — сказал, немножко важничая, Андрей.

— Здоровый?

— Ловкий как зверь во всем. У него все коленки в рубцах.

— Почему? — не понял Шурка.

— Он дерется здорово, от ножей ногами обороняться умеет.

— Ну ты даешь!

— Увидишь сам, я познакомлю.

Подошел дядька Сергей и попросил:

— Как расходиться будем, надо бы полить круг водой, за ночь за-костенеет. Поможете?

— Конечно, — с готовностью ответил за обоих Андрей.

— Вот уж тогда-то и твой Варивон не удержится на ледяной дорожке-то, — сказал Шурка.

— Поживем — увидим, — уклончиво ответил приятель.

КАРТИНА

Эта картина Шурке понравилась сразу. Ее повесил дедушка Иван в передней на самом видном месте, над столом. В центре был изображен скачущий на гривастом огромном коне могучий всадник, такой же могучий, как каждый из трех богатырей на картине, которая висит над Шуркиной кроватью в спальне.

Шурка заметил, что все в доме любят этого всадника с таким непривычным именем — Тарас Бульба.

Он уже знал историю про Тараса. Знал, что догоняющие его поляки, желтым пятном светлеющие в углу картины, схватят этого великана, и он погибнет. Схватят тогда, когда он остановится, чтобы поднять свою люльку. «Зачем он остановился, зачем он, такой громадный, погиб из-за какой-то не приметной трубки». Незаметно, наперекор всему, Шурка

начинал верить, что Тарас так и будет скакать не останавливаясь, а то, что говорят взрослые о его гибели, неправда. «Просто они не знают всего. Вот он поскачет, поскачет, подумает и не остановится, а соберет своих казаков, и тогда они покажут этим ляхам». Привязанность Тараса к своей люльке была для Шурки мучительно непонятна.

Непонятно было и другое. Шурка давно знал, что отец его поляк, а все в доме матери и в доме деда – русские. «Но ведь Тараса Бульбу, которого все так любят в наших домах и которого я сильно люблю, погубят поляки. Так почему же все меня любят – я ведь тоже поляк? – недоумевал Шурка, рассматривая картину. – Они не должны меня любить!» И когда он подолгу глядел на скачущих всадников, ему начинало казаться, что самый первый на коне, догоняющий Тараса, его родной отец. Ему становилось жалко и Тараса, и отца, который почему-то оказался поляком, когда все вокруг русские, и себя.

«Нет, меня не любят в этом доме, а только делают вид, что любят». И он стал с болезненной подозрительностью присматриваться к своим домашним, стараясь обнаружить под их дружелюбием неприязнь. Но ее не было. И он мучился: «Как же с Тарасом, ведь его сожгли, сожгли...».

И вдруг однажды он нашел отгадку: «Если по-прежнему меня любят дома, значит, все-таки поляки не догнали Тараса, значит, он и теперь гуляет где-нибудь со своим войском по такой загадочной земле – Украине».

РЕЧКА УТЕВОЧКА

Утевочка – особенная речка. Она есть и ее нет. Когда весенние воды получают вольную волю там далеко в степи, где глазу не видно конца и края равнине, где только слева далеко-далеко виднеются на горизонте поднявшиеся по светлым тучкам летнего неба домики и церковь села Покровка, объявляется речка Утевочка.

Собравшись в один могучий поток, утробно картавя, пенясь, эти воды устремляются к селу. Подойдя к околице и резко взяв в сторону Самары, он все-таки не минует Утевку, а как острым ножом отрежет от общей краяхи села несколько улиц и прорвется к стадиону, где, благо-разумно вильнув влево, войдет в озеро Шамино, а там уж и рукой подать до озера Приказного. И напитает речка на своем пути все не только водой, но и оставит в подарок жирных карпов и карасей. И, запертые в озере Приказном, соберут они толпы рыбаков и рыбачек. И бу-

дут рыбаки и рыбачки, пойманные на кукан собственного азарта, топтать берега Приказного.

— Варька, ты долго еще рыбалить будешь?

— Нет, Нюра, парочку еще поймаю, чтоб уж на полную сковородку было.

Такие вот практичные рыбачки, не то что мужчины. Женщин частенько бывает больше в такие весенние дни у озера, до двух-трех десятков.

Веселым и многолюдным становится озеро Приказное весной благодаря Утевочке. Веселыми становятся женщины-рыбачки благодаря речке.

Огород Головачевых упирается в Утевочку и от нее не отгорожен. Шуркин дед не любит шумливой рыбацкой толпы на берегу озера. Да и к чему ему это? Если он свой вентерь или кубарь всегда поставит у себя в огороде в эту пору между делом. Между делом и опорожнит его, вывалив в тазик чумазные золотистые слитки к восторгу Шурки. Он и зимой не пойдет облавой на зайца, а добудет его здесь же, в своем огороде, деловито и с легкой усмешкой над бедолагами из охотничьей артели.

В русле Утевочки растут раскидистые ветлы и высокие тополя. Есть и осанистый дуб. В огороде деда Ивана стоит старая ранетка, такая древняя, что кажется Шурке, будто она бабушка всем деревьям, всему подлеску, который скор здесь на рост. Шурка поставил опыт: вырезал полуметровый тополиный черенок и воткнул его прямо под ногами, как рука взяла. Теперь из него за два года поднялось деревце выше Шурки. Прет здесь все из земли, что ни посади. Оно и понятно: вокруг чернозем да вода. Хотя летом Утевочки как бы нет, но копни где пониже лопатой на три штыка, и вот она — живительная влага. Разве что в самый засушливый год уйдет влага поглубже, но знает все живое окрест: весна впереди, придет талая вода из Курней, да так напитает землю, что с лихвой хватит всем и на все.

От Ветлянки, из Курней, через степные просторы, рытвины, огороды, через озеро Шамино прорывается Утевочка частью воды своей в озеро Приказное, а другой частью — в обрамленную желтыми песчаными берегами Самарку, чуть выше притягательного местечка, любимого всеми рыбаками — Платово.

Один разок Шурка рискнул проверить этот путь и больше с тех пор не решается повторить его.

Оттолкнувшись на дедовом огороде веслом от старой ранетки, он направил плоскодонку в русло Утевочки и, подхваченный потоком, со всем быстро, миновав десяток огородов, оставшихся без изгороди, оказался на озере Шамино. Все, что было слева, — залитые водой улицы

края села, протока из Шамино в Приказное – ему было известно. Вот то, что бурлило и пенилось справа, – манило непреодолимо, и он поддался собственному порыву. Загребая вправо крепким веслом, Шурка устремился пока еще по довольно спокойной водной глади к Исковской рытвине – в русло Прыгалки.

Как только лодка оказалась на гребне потока, рвущегося через Прыгалку на простор к Самарке, неистово желавшего, очевидно, соединиться с другим основным потоком – самарским и, обнявшись неразрывно, прорваться к матушке Волге, чтобы там, где-то далеко-далеко, выплеснуться в Каспий, Шурка понял: сопротивляться этому желанию невозможно и губительно.

Грозный и мощный водяной вал, похоже, мог утихомириться, только попав в Волгу.

Пенящаяся, рвущаяся масса воды, несущая в себе доски, бревна, очевидно, сорванные с мостов в верховье, вывороченные с корнем дубы, осокори и всякая другая мелочь и совсем не мелочь – вот что представляло собой русло Самарки. Надо было суметь не попасть под встающие на дыбы в воде осокори, торпедами мчащиеся бревна, не налететь на угрюмый многопудовый топляк. Вокруг все картавило, бурлило и угрожало.

Шурке все-таки удалось уйти с ревущего потока на обочину в осинник на Платово, где, отдышавшись, он устремился через огромное водное пространство назад, в Утевку.

Уже смеркалось, когда его, обессилевшего, но не потерявшего духа, подобрал бывалый Митяга Коршунов, который испытывал в тот день свою самодельную моторку.

– Чудеса, паря, – удивился скорее сам себе Митяга, – я ведь вчера хотел опробовать мотор-то, да бензина не было, сегодня, вот, получилось, едренте.

Шурка смотрел на Митягу и молчал. У него, кажется, не было сил даже говорить. Руки жгло от мозолей: вода и отсутствие варезек сделали свое дело.

Шурка впервые видел моторку. И теперь работающий мотор, Митяга, привязывающий его плоскодонку к своей лодке, голос Митяги откуда-то издалека, глуховатый и, как у деда, ласковый – все было как во сне...

«Чего он суетится, ведь я же доплыл уже», – усмехнулся Шурка и начал терять сознание.

– Чудеса, паря... ек-макарек!

Чуть позже он вновь услышал ворчание Митяги и вяло удивился:
«Где это я, и почему кругом вода?»

...Такая вот речка, Утевочка.

Сейчас зима, и речки как бы нет. Есть маленькие островочки льда.
Но это пока...

В ДЕБРЯХ УССУРИЙСКОГО КРАЯ

Шурка лежал в темноте на деревянной кровати в закутке за голландкой, и лицо его было в слезах. Жуткие грабители: Морган, Флинт, его бывший соратник отвратительный одноногий моряк Джон Сильвер со своим попугаем из «Острова сокровищ» – все они забылись, стали неинтересные. Бедный наивный дикарь из уссурийских дебрей гольд Узала, дитя природы, далекой и красивой, – он стоял перед глазами. Уже вторую неделю вечерами в дедовой избе читали эту чудесную книгу «Дерсу Узала».

Шурка убегал ночевать к деду, и мама на него сердилась. Но он не мог пропустить эти чтения вслух, когда все в избе, затаив дыхание, ловили каждое слово читающего, боясь пошевелиться.

С первых страниц этой удивительной книги он растворился в ней, как растворились в дебрях Уссурийского края Арсеньев и Дерсу Узала, органично слившись с его обитателями. Этот край манил своим бесчисленным множеством людей, рек, зверей и птиц. Ошеломляли новые слова: изюбр, рассомаха, хунхузы, вепрь, кабарга... Одних названий рек Шурка насчитал около десятка и сбился: река Кумуху, река Витухе, Улэнгоу, Дунгоу, Лефу, Сакхома, Алчан, Кулумбе, Амагу, Пия, Кусун...

Летом он прочитал «Всадника без головы», с начала зимы чуть не всего Майна Рида, озадачив своим темпом чтения библиотекаршу тетю Валю Богатыреву. Но такое с ним впервые. Амба! Уссурийский тигр! Вызывало восхищение отношение гольда к властному хозяину тайги. Поражал мир, незнакомый и манящий, в котором растворены все люди, изображенные в книге, и в который влекло и манило Шурку. «Дебри Уссурийского края». Он и раньше слышал это слово «дебри», оно всегда будоражило его воображение: «и в дебрях бури бушевали» – так часто пели в песне о Ермаке. Было в этом слове что-то необузданное и холодное. А Дерсу Узала был с Арсеньевым в дебрях как дома. Чудесно! Мощь и величие Уссурийского края покоряли.

И вдруг такой конец:

«Часа через полтора могила была готова. Рабочие подошли к Дерсу и сняли с него рогожку. Прорвавшийся сквозь густую хвою солнечный

луч упал на землю и озарил лицо покойного. Оно почти не изменилось. Раскрытые глаза смотрели в небо. Выражение их было такое, как будто Дерсу что-то забыл и теперь силился вспомнить. Рабочие перенесли его в могилу и стали засыпать землей.

— Прощай, Дерсу! — сказал я тихо. — В лесу ты родился, в лесу и покончил счета с жизнью».

Первой пришла в себя баба Груня, она всхлипнула, по-детски икнула и промолвила:

— Вот ведь везде бандиты найдутся на хорошего человека.

А Николай Большак, который приехал из Покровки за овчинами, да так и застрял из-за книги у Головачевых, заключил философски:

— Важнее человека и природы в жизни ничего нет. Писатель все правильно рассказал.

Шурка ничего не мог сказать, у него в горле ком, и он боялся разрыдаться. Хорошо, что закуток отгорожен от общей комнаты цветастой занавеской и его никто не видел.

«Ведь неверно, что Дерсу покончил счета с жизнью, не он покончил, а его убили. За это кто-то должен отвечать», — эта мысль не давала ему спокойно лежать. «И как же так в жизни получается? Людей убивают, и никто за это не наказан. Пушкина убил Дантес, все знают, и он не наказан. Дерсу убили, сколько лет прошло — никто не знает, кто его убил».

Душа разрывалась у Шурки от несправедливости, и он не знал, что с этим делать.

— Я вам другое чтение привез, тоже очень интересное, как обещал, но это толстая книга, — громко сказал Большаков.

Он шумно поднялся с пола и пошел в сени, оттуда быстро возвратился, читая на ходу:

— Александр Дюма. «Граф Монте Кристо». Эх и история!

— Нам твоя Элиза Ожешко понравилась, хоть и полька.

— А это француз, баб Грунь!

Шурка продолжает лежать молча. Ему казалось странным: как можно так быстро переключаться и говорить совсем о другом. Только все узнали, что убили Дерсу, о котором, правда, еще недели две назад никто ничего не знал, но теперь-то совсем другое дело. Ему страшно жалко Дерсу, обидно за поведение своих, которые говорят уже совсем о другом, а не об этой удивительной книге.

Но дядька Сережа и Большаков берут стоявшую у стены огромную в два метра картину и кладут на два специально для этого поставленных

стола. Шурке не утерпеть, он встает и идет к ним. На картине развеселые и разухабистые казаки пишут письмо турецкому султану.

Два Шуркиных дядьки, Алексей и Сергей, вместе с Большаком рисуют ее масляными красками по клеточкам. Рядом лежит то, с чего рисуют: репродукция, вырезанная из какого-то журнала. Прошлый раз дорисовали голого по пояс казака, развалившегося в центре картины, огромного и мускулистого, похожего на тигра Амбу. Чудно: теперь, когда Шурка смотрел на него, он казался совсем иным, чем в последний раз, еще не просохший, зависимый от движения кисточки. Чужой и необузданный, он жил своею жизнью, и она ему была важнее всего.

«Он мог бы убить Дерсу? — задал себе вопрос Шурка и вначале засомневался с ответом, а потом успокоился. — Нет, конечно же, нет: в книжке тигр Амба и Дерсу разошлись мирно, они уважали друг друга».

ИЗБА ГОРЮНОВЫХ

Совсем маленькие сестренки Любка и Надюха еще спят, а Шурка и Петя уже сидят за столом. Шурка помогает раскатывать маме большую лепешку из теста, а Петя, испачкавший лицо мукой, готовится выдавливать из нее стаканом кругляшки. Они пекут пышки.

— Мам, а изба Горюновых, она почему так называется? Она ведь наша. Потому что горюнились часто, горюшко было, да? — спрашивает Шурка.

— Все было, да прошло. Избу эту нам дед с бабой Головачевы купили. Когда вернувшийся с войны Василий увел за руку меня в дом к своей матери Прасковье, не понравилось ей это. Много девок было на селе, а он меня с тобой, с чужим ребенком, привел. Выговаривала часто мне свекровь. Я плакала, Василий терпел. Просил меня не обращать внимания. Не выдержал сам: в один день взял тебя на руки, хлопнул дверью и ушел от матери своей, а я за ним еле успевала бежать. Шли, сами не знали куда. Опомнились, когда оказались на Самарке, у воды.

— Ну что, топиться будем? — спрашиваю Васю, а сама сквозь слезы смеюсь.

И смех, и грех.

— Умру, а к матери не вернусь, — отвечает Василий.

Сели мы на желтенький песочек. Я плачу. Чудно теперь вспоминать. Смеркаться начало. Под лодкой какой, что ли, думаю, будем ночевать, больше нигде. А тут ты плачешь, маленький совсем еще. Вдруг мать моя выходит из кустов:

— Вот они где! А я обыскалась везде, обезножила.

И баба Груня скомандовала:

— Пошли к нам!

— Не пойду, — заерепенился Василий.

— Почему это? — не сдается твоя бабка, — я Ивана успокою.

Приходим в дом, дед во дворе. Увидал нас с Василием, тебя на руках, взорвался:

— Ах, туды-растуды, знал ведь, что у вас ничего не получится!

— Получится, Иван, получится.

Баба Груня выступила вперед и еще увереннее заявила:

— Уже получилось!

— Что? — не понял ваш дед.

— А вот то и получилось, что у мужа и жены должно получиться.

Понял? Беременная она.

— Я уже Петенькой ходила, — пояснила мама, отнимая у Пети стакан, в который он успел зачерпнуть муки и пытался на коленках насыпать маленькие беленькие горки.

— Ну дела с вами... — удивился дед.

— Ночью дед Ваня и баба Груня посоветовались, а наутро поехали в Кинель к Горюновым, которые недавно уехали из Утевки и их изба пустовала. Сговорились. Они купили у них дом и год за него расплачивались. Так вот мы и зажили в горюновой избе.

АКСЮТА ВАСЯЕВА

С тех пор, как Василий Федорович стал сам ходить на костылях, в избу к Любаевым зачастили. Одному надо ножницы поточить, другому — сепаратор или пахтонку отремонтировать, валенки подшить. На все хватает времени у Карася, так по-уличному зовут отца Шурки.

— Ты бы, Вася, хоть говорил, сколько стоит чего. А то меня одолевают, — жаловалась Катерина.

— Сами сообразят.

И вправду, за работу приносили яички, молоко, а то и просто обещали «подмогнуть когда надо».

— И как это он все умеет? — удивлялась Аксюта Васяева. — Мою пахтонку три мужика смотрели, а он сделал.

Аксюта забежала за углями для утюга, да невольно задержалась — поговорить охота.

— Руки у него соскучились по делам, вот и вся разгадка. Его теперь не остановить, я знаю. Семь лет в госпиталях — не фунт изюма, — отвечала мать Шурки.

— Неужто прямо все семь лет? — ахнула Аксюта.

Она приехала жить из соседней Покровки и многого не знала.

— Семь лет, но с перерывами, — поправилась Катерина. — За все время года три пожил дома, приезжал, а как раны открывались — снова в госпиталь. В пятидесятом, помню, чуть не год пробыл.

— Приезжал... — протяжно повторила она, — а то бы откуда моим ребятишкам взяться. Вон они — свидетели мои.

— Туберкулез костей, а вы такое, — округлила глаза Аксюта, — настрогали с Василием.

Отца нет в избе, он, позавтракав, ушел в свой сарайчик, и оттуда уже слышен стук его неумолимого молотка о жестянку.

Шурка смотрел на Надюху с Петькой, которые были заняты своим делом: отвоевывали друг у друга место в углу за столом — там лавка шире и рядом окошко, и думал: «Они свидетели, а я кто? Свидетель чего?»

Эта мысль возникла у него случайно, и он не знал, что с ней делать. Она крутилась и не уходила из головы. Ему стыдно. Неужто мама догадается, что он так может думать? «Только бы Аксютка, только бы она так не подумала и не спросила маму, ведь не глупая же она совсем». Он поднял голову и увидел розовое, молодое Аксютино лицо, ее озорные глаза.

— Ох, и ребятишки у тебя молодцы, все такие разные. Эти белаявые, а Шурка — чернявый, и волосы вьются. Вот погоди, годков десять: все девки твои будут, ей-богу, — говорит она заразительно, — вишь какие у тебя губы толстые!

Шурка, не зная, как себя вести, сидел молча.

— Аксютка, уйди, а то я тебя сейчас ухватом охажу, че глупости разводишь, — весело шумнула Шуркина мать.

— Все, все, всеышки, и так угли мои тухнут!

Она подхватила с шестка свой чумазый чугунок и через секунду была в сенях. А чуть позже ее голос уже доносился со двора — она разговаривала с Василием Федоровичем. И чему-то опять громко смеялась.

ЗИМНИМ ВЕЧЕРОМ

У Головачевых играли в лото. Шурка был рад, что остался ночевать у деда. Ему нравилось наблюдать эту игру, а иногда, случалось и самому участвовать. Играли спокойно и дружелюбно. За окном синел февральский поздний вечер. Замерзшие окна и подвывание ветра делали особенно уютной большую переднюю, где шла игра. Игроки сидели за

столом посредине комнаты, а Шурка лежал на кровати и наблюдал за взрослой забавой.

Сегодня пришел поиграть Сашка Мазилин, и все стало немножко по-другому. Смешливый и необидчивый, он всегда в центре внимания. Мешочек с бочонками у Мазилина.

— Козьи ноги! — зычно провозглашает Сашка.

— Говори по-людски, — сердится Пупчиха — соседка Головачевых.

— Одиннадцать, — подсказал дядька Сережа, оставивший свои учебники ради игры.

— Сашка, ты какой-то неправильный, — паникует Пупчиха, — брось люсить!

— Салазки! — продолжает «кричать» Мазилин.

— А это у нас что? — вновь переспросила суматошно Пупчиха.

— Шестьдесят шесть, — поправился Мазилин и продолжил: — Тудыль-судыль, что означает для неграмотных обнаковенные шестьдесят девять.

— Кончила, кончила низом! — радостно взметнула пухлые белые руки Пупчиха, — кончила, как ты ни хитрил-мудрил, Сашка!

У нее при ее небольшом росте розовые массивные, крепкие руки. Когда она сидит за столом, видны только ее голова, не такая, как у всех, — с кудряшками светлых, льняных волос и эти чудные здоровенные руки-клешни. Во время ее работы в пивном киоске на площади у продмага в окошечке видны только ее руки и пивные кружки.

— Плакали ваши денежки. — Она по-детски причмокнула ярко-красными губами и ладонью смахнула медяки в кружку. — Ну вот, пришла за закваской, Груня, а ухажу с пятаками, раз кислого молока нет.

— Э-э-э... — так нечестно, — вмешался Мазилин. — Объявляю ультиматум тебе, Нюра!

— Чевой-то? Ультиматом. Я и так этих матюгов-матов за день слышу — голова болит, пожалей!

— Вот ведь женщина какая ты, Нюра, некульторная, — оседлав своего любимого конька — подурочить публику, — сказал наставительно Мазилин. — Я говорю что? Или ты продолжаешь играть до последнева, или возвертай деньги на стол.

— Щас тебе! — лаконично, но непонятно сказала Нюра. И добавила: — Играйте без меня, вас народу здесь... курочке клюнуть негде.

— Да уж! — удивился Мазилин, — чураешься ты нас.

— Не замай, Сашка, — обронил Шуркин дед.

— Вот, вот, мне еще закваску найти надо, к Микляевым сбегая.

И Пупчиха выкатилась сначала из-за стола, потом из передней и пропала в задней избе.

«Как лотошный бочонок, — подумал Шурка, — всегда бодрая, радующая от удовольствия, свежая и выкрашенная лаком».

Игра в лото продолжалась. Позвали и Шурку. Он сел за стол около бабы Груни, она пододвинула ему десять копеек. Три монетки по три копейки и одну погнутую копеечку, рядом насыпала горсть тыквенных семечек, чтобы закрывать цифры на картах.

— Поиграй вместо меня, — сказала она, — а я пока паголенки надвяжу да пельмени с мороза принесу.

Семечки пахли очень вкусно, и Шурка сразу же забеспокоился: выдержит ли он соблазн?

«Кричать» пришла очередь дядьке Сереже. Он умел так быстро из горсти то громко, то тихо называть числа, что трудно было угнаться, пока не наступал по правилам игры тот момент, когда надо было доставать по одному бочоночку.

Возобновившаяся игра прервалась неожиданно. Хлопнула в сенях дверь, и в избу со сбившимся на голове платком, с краснощеким от мороза лицом вкатилась Пупчиха.

— А-а!.. — воскликнул Мазилин, — совесть заела, возвернулась.

Но Пупчиха его не слышала и, кажется, не видела.

— Ванечка, — подкатилась она к Шуркиному деду, сидящему за столом спиной к голландке, и заморгала часто своими круглыми глазами, — Ванечка, у меня в доме вор.

— Что городишь-то?

— Правду говорю. Я пришла, а замок на сенцах открыт. Я это, ну думала, что забыла закрыть сама, и прошла в сени-то, а дверь в избу приоткрыта. Чую, что-то не то, не могла я дверь-то зимой открытой оставить, верно ведь? А потом вдруг слышу: кто-то дышит там. Я на цыпочках, перепугалась: убить ведь могут... так я ходу на улицу и к вам.

— Ну что, Сашка, — сказал Головачев как-то очень спокойно, будто это привычное какое дело, — пойдем посмотрим?

Мазилин вначале как-то нервно дернулся, а потом чересчур, как показалось Шурке, воинственно выкрикнул:

— Знамо дело пойдем, ружьецо у тебя где, дядь Вань?

Он обвел избу решительным взглядом, увидел у себя за спиной высоко на стене висевшее на двух гвоздях ружье и полез доставать.

— Хошь у меня и ладанка на груди, а так надежнее!

— Да не чуди, хватит и лопаты, — усмехнулся Головачев.

— Вань, — сказала бабушка, — боюсь я.

И кротко посмотрела на мужа.

— Ничего, будьте дома, а ты, Сережа, пойдём на всякий случай.

И они втроем ушли.

Вернулись быстро. В плетне, отделявшем двор Головачевых от Пупковых, была калитка.

— Вот ведь холера какая, сиганул так, чуть кубанку с головы не сшиб, — говорил возбужденно Мазилин.

— Чего же не стрелял? — насмешливо спросил Шуркин дед.

— Да ведь я хотел, а потом он меня в снег смахнул, в сугроб, пока то да се, темнотища такая...

Из разговоров выяснилось, что когда деда Ваня вошел в сени с лопатой, вор выскользнул в открытую дверь за его спиной и был таков.

Сели снова играть. Не прошло и полчаса, как неожиданно явился гость — Борька Жабин, новый приятель Сережи. Он недавно приехал из Зуевки с родителями и начал работать на стройке подсобным.

Раскрасневшийся, он шумно разулся и подсел к играющим. Это был крепкий парень, широколицый, с темными цыганскими глазами. Волосы у него были странные: длинные и очень подвижные, они ровно лежали на Борькиной голове, словно резиновые. Когда он низко наклонял голову, они спадали вниз и закрывали лицо до подбородка. Жабин в такие моменты, привычно и не спеша мотнув, как лошадь, головой, одним движением укладывал их на место.

— Давно играете? — спросил Борька, мотнув головой и оставив ее немного в неестественно поднятом положении, стараясь удержать волосы дольше обычного закинутыми назад. Так он выглядел несколько горделивым.

— С семи часов, — ответил дядька Сережа.

— А сейчас уже девять, — подытожил зачем-то Жабин.

Игра шла своим чередом, а Жабина почему-то тянуло на разговор.

— Мороз-то на дворе какой, — ни к кому не обращаясь конкретно, сказал он.

У Шурки семечки закрыли сразу почти всю карту, близилась развязка, и он не отрывал глаз от стола, перестав наблюдать за Жабиным.

Вдруг Мазилин встал и что-то сказал Шуркиному деду шепотом в ухо, важно изобразив из левой ладони подобие рупора.

Иван Дмитриевич, ни на кого не глядя, кивнул головой. И Мазилин тут же вышел из избы.

Жабин быстро встал и направился к выходу.

— Сядь, — веско, не глядя на Борьку, сказал дед Шурки. — Ты никуда не выйдешь, дверь снаружи Мазилин закрыл на замок.

— С чего это? — нервно спросил Борька.

— Придет Мазилин, тогда скажем.

...Мазилин вернулся быстро.

— Он это, дядя Вань, он, вот стервец, явился не запылился глаза отводить, дураков нашел, — зачистил он. — Чилижным венником отходить вражину, что ли?

Выдвинув стул на середину избы, поставил на него валенок.

— Аккурат все подходит, его следы, все промерил до самых ворот. Твой валенок? — он ткнул указательным пальцем почти в лицо Жабину.

— Ну, мой, — затравленно огрызнулся тот.

— А мне и не надо было вещественных доказательств, я так сразу все понял, когда ты явился нас пощупать: узнаем мы тебя или нет. Я в спину твою чуть не пальнул, по ней тебя и узнал.

— Как оказался в доме у Пупчихи? — буднично спросил дед Шурки.

— Да просто, у нее замок никудышный.

— Зачем залез?

Шурка смотрел на вора, и ему странно было видеть обычного человека, похожего на всех, но переступившего какую-то очень важную черту, которая враз разделяет людей.

— Дядя Вань, честное слово, я хотел взять только конфеты.

Борис опустил голову, спрятав лицо под сноп своих причудливых, как водоросли, волос. И, чуть помолчав, добавил:

— Шоколадные.

— Вот дурак-то, прости Господи, — выдохнула Шуркина бабушка, — а я еще дивовалась: чтой-то он нервничает, окаянный, закалякать хотел нас. Явился, басурман.

— Дядь Вань, отпустите, — совсем по-детски вырвалось у Жабина, — ей-богу, больше не буду.

— Что будем делать, Сашка? — обратился Иван Дмитриевич к Мазилину.

— Утро вечера мудренее, пускай завтра с Пупчихой договариваются полюбовно, если простит — одно дело, нет — совсем иное, — предложил Мазилин, осанившись и поигрывая плечами.

— Слышал, Борька, пусть будет так. А теперь ступай, — согласился дед Шурки.

Жабин вскочил и бросился к выходу.

— Стой, гражданин Жабин! — усмехнулся Мазилин.

— А? — невнятно и растерянно откликнулся Борька.

— Валенки забирай, он нам здесь мешает. Зачем нам твои бебехи?

Все засмеялись.

Когда хлопнула дверь в сенях, бабушка осторожно сказала:

- Верно ли сделали, что отпустили на ночь, вдруг спалит нас?
- Это ж надо додуматься нас всех спалить? – возразил Головачев.
- Будет городить-то!

КОРОЛЕВСКИЙ СУП

У дядьки Сережи созрела идея попробовать царского или королевского супа. Он как вернулся из армии, все придумывает чудное.

- Шур, вон видишь на сельнице сидит стая воробьев?

Шурка давно заметил: последнее время воробьи тучей стали залетать к ним во двор, сидели и чулюкали на солнышке.

- Давай пальнем разок мелкой дробью.

- Зачем?

– Птица чем мельче, тем вкуснее. Все короли это знали, поэтому ели колибри, бекасов, куликов разных... смекаешь?

- Не очень.

- Режь свинец, катай самую мелкую дробь, ясно? На два патрона.

- Что, будем охоту на воробьев открывать?

- Так точно, может, они вкуснее голубей.

– Деда не заругает? – сомневался Шурка, – во дворе палить? Скотина кругом.

– Нет, мы ему объясним потом. А летом черепашьего супа хочу попробовать.

- Чего? – опешил Шурка.

– Ну, в Подстепном пошарить, а лучше в Ревунах, найти черепаху и суп сварить.

- Разве у нас живут черепахи, они же в теплых странах.

- Глупости, я уже одну находил!

- Может, кто купленную, базарскую потерял, или сама сбежала?

– Да нет, люди, как ты, ничего не знают. Живут у нас они. А нынешним летом я знаешь что видел?

Шурке давно хотелось увидеть змею-медянку, о ней ходили легенды. Но Серега удивил еще больше:

– Я видел птичку колибри, вот! – Он значительно посмотрел на Шурку, как если бы открыл новый Монблан или Эверест.

- Как? Она же в теплых...

Серега не дал договорить Шурке.

– Вот, вот, а что мне делать, если я видел, как она подлетела к цветку, сунула туда клювик и начала пить нектар?

- А может, это большой шмель?

– Нет, какой у шмеля клюв, ты это видел?

– Нет, – растерялся Шурка. – Колибри... но она же маленькая?

– Да, раза в два больше шмеля.

«Ох, и чудной мой дядька, – подумал Шурка. – Никогда не знаешь, правду он говорит или дурачится, а еще в институт готовится поступать».

ОТВЕТ ОТ ЖУКОВА

В начале апреля Василия Любаева вызвали в райвоенкомат, потом в райсобес – и закрутилось колесо! Оказывается, пришла бумага из Москвы, теперь ему срочно надо было явиться на перекомиссию. Он явился, не тянул, и оказалось, что Любаев теперь инвалид не третьей группы, а второй. И пенсия ему положена как участнику войны, а это совсем другое дело, не то, что раньше, как колхознику. А еще через неделю в райсобесе ему сказали, что он должен получить компенсацию, которая положена за то, что раньше не додали.

Шуркин отец получил сразу больше двух тысяч рублей. Было решено строить новый дом!

– Вот и нас Бог вспомнил, – радовалась Катерина, – спасибо ему!

– Спасибо Зуеву Косте, я бы сроду не решился, – признавался Шуркин отец. – До следующей зимы изба бы не простояла: стена совсем повалилась. Но ничего, будем зимовать в новой!

– Вася, а надо всего сколько – ужас?! Где мы чего наберем?

– Я все продумал. Весной сделаем саман, за лето сложим стены артельно. В лесничестве меня включили в список на вырубку делянки: там наберем каких-никаких бревен на доски: на пол и потолок. Там осина и осокорь, я знаю – это за Зимней старицей – сойдет. На делянке придется работать тебе, Катерина, и Шурке. Согласны?

– Согласны, – загорелся Шурка.

– Я поговорю, должны же принять в артель замену вместо меня, коли я не могу.

– Согласятся, согласятся, – заторопилась мать. – Отец поможет, правильно?

– С отцом твоим вроде бы мы уже стакались, он во всем обещал подмогу. С начала лета должны лесины заготовить, высушить, в августе распилить на пилораме, а к этому времени убрать развалюху и выложить стены, иначе к зиме не вселимся.

– Убрать? – выдохнул Шурка.

Как ни плоха была стена за печкой, пусть оттуда «сытило», как говорила мама, холодом, но это была изба — оплот всего, и вдруг этого не будет?

— А где же мы будем жить? — спросил Шурка.

— Шурка, да ты что, мы и под открытым небом не пропадем, чего испугался, лето же будет, — рассмеялся отец.

«Но все равно же? Печка, варить как? И все прочее...» — соображал на ходу Шурка.

Отец вел свою линию крепко:

— Корову пустим в стадо, освободится мазанка — почистим, поставим примус и живи хоть до белых мух, верно?

Шурка редко его видел таким. Он и сейчас не очень был развеселым, но глаза его и лицо светились какой-то особой радостью, не соглашаться с ним было нельзя. Да и Шурка давно понял: сопротивляться бесполезно. Он все делал по-своему, ибо всегда верил, что прав.

— Ох, развоевались мы что-то, давайте ужинать, а то совсем темнеет, — забеспокоилась Катерина.

— Начнем! Только начать надо, — задумчиво сказал отец, — а там война план покажет. Живы будем — не помрем. Так, Шурка, или нет?

— Так, пап, — подтвердил тот.

— Ну вот, мать, мы и договорились обо всем, считай полдела сделали.

— Помоги нам, пресвятая Богородица, — сказала мать.

И это очень удивило Шурку. Она так никогда не говорила.

ЖАВОРОНКИ

Шурка проснулся рано. Он не мог долго спать в такой день. Его мама гремит печной заслонкой, она собирается печь «жаворонков» — птичек из теста. Бывает это всегда в середине марта и по-разному: можно раскатать тесто, свернув валик, этот валик завязать узлом — получится ловкая завитушка. Точным движением ножа делается с одного конца птичий клювик, с противоположного — хвостик. Глазками служат головки спичек или просяные зернышки. А можно витое тельце не делать, а так: просто слепить птичку с клювиком и хвостиком.

Таковыми птичками заманивают весну и встречают перелетных птиц с юга:

*Жаворонки, прилетите к нам,
Тепло леточко принесите нам,
Нам зима недоела —*

Хлеб, соль у нас поела.

Эти слова надо пропеть обязательно забравшись на конек сарая — так всегда казалось Шурке, поэтому он и сейчас устремился наверх.

Любка стоит в отцовских валенках посередине двора и лепечет приветливые слова. А самая маленькая Шуркина сестренка, Надюха, вообще еще спит.

— Сами вы мои жаворонушки звонкие, — радуется мама. — Шурка, не бери Петю, упадет карапуз.

После песенки про жаворонков, пропетой на крыше сарая, слегка промерзнув, хорошо сидеть за столом и есть, запивая топленным молоком, горячие пышки, которые мама делает из того же теста, выдавливая их на столе стаканом из большой раскатанной лепешки. Это вам не затируха!

— Мамака, а мы зовем, зовем жаворонков, а я не видел ни разочек их, они где живут? — спрашивает Петя.

— Мам, и я не видел ни разу жаворонка, — спохватывается Шурка.

— А когда ходили к деду на бахчи, помните, слушали, — подсказывает мать.

— Помню, помню, — лепечет Петя, — но мы их не видели, они высоко в небе. Вон ласточки у нас в сарае живут, но они не поют. Папа их касатками называет.

Шурка впервые подумал: где стрижи живут, он знает. В обрывистом берегу Самарки, в норах. Там же гнездятся и щурки. Прошлым летом он обнаружил, что залиvistый соловей — на самом деле маленькая серенькая птичка — устроил себе гнездо в куче котяков на задах, за сараем.

— Мам, мы увидим в это лето жаворонков? — не понимает Петя.

— Увидите, увидите, — успокаивает Катерина, — какие еще ваши годы. Вот подрастете, побольше будете под открытым небом, на вольном воздухе — и увидите. Жаворонки любят простор, широкое хлебное поле, много воздуха, только они там от радости звонко и неутомимо поют.

Любка громко и горестно заплакала:

— Моя птичка ко мне не прилетит!

— Почему? — спросила от печки мать.

— Я голову у нее съела, одна тулбище осталась.

Петя, глядя на сестренку, захохотал. Перестав смеяться, очень серьезно заверил:

— Вырастим мы и летом вырвемся на простор! Там жаворонков встретим! Колокольчики послушаем!

ТРАНСПОРТ

— Мать, а мать? — Василий выжидательно замолкает.

Катерина, сидя напротив за столом, весело посмотрела на него:

— Придумал опять что-нибудь?

— Придумал, — не спеша отозвался тот и отчего-то очень крепко, ядрено крякнул.

— Баню строить?

— Нет, не баню.

— А что?

— Хочу сделать сбрую для нашей коровенки Жданки и рыдван — транспорт нужен в хозяйстве, понимаешь? А я только лежа могу ехать, значит нужен рыдван.

— Если что, можно лошадь взять в колхозе, у отца — Карего, председатель Шульга поможет, — робко возразила Катерина.

— Шульга теперь не поможет, — махнул рукой Василий.

— Почему же?

— Сняли его, не председатель теперь, другой будет.

— А другие что, не люди? — не сдавалась Катерина.

— Да нет, это не то. Просить надо, а они всегда заняты — лошади. Приноравливаться надо. А тут сам себе хозяин. Уедем на целый день.

— Мне Жданку жалко, — всхлипнула вдруг, как девочка, Шуркина мать.

Это так для Шурки оказалось неожиданно, что он притих, наклонив голову над чашкой.

— Да не горюньтесь вы! Всю сбрую сделаю сам. Вместо хомута будет шорка, правда, потника нет, но можно из мешковины, рыдван раза в полтора будет меньше, колеса легкие, металлические, мне Григорий Зуев обещал раздобыть. Сено и дрова будем возить понемножку. Только в хорошую погоду.

— А вдруг молоко пропадет? — Шуркина мама горестно вздохнула.

— Будет раньше времени жалковать, не враги же мы себе.

— Мне и тебя, Василий, жалко!

— А что меня жалеть? Гляди!

Он встал из-за стола, не тронув костыль, вышел на середину комнаты. Повторил:

— Глядите!

Прошелся по всей комнате, сильно припадая и держа прямыми левую ногу и спину, подошел к подоконнику, зацепился за него правой рукой.

Как-то очень весело оглянулся, отчего у Шурки что-то натянулось внутри.

— Вот вам!

И Шуркин отец, держа прямо спину и оттопырив резко в сторону левую ногу, медленно начал поджимать правую, пока она не согнулась наполовину. Он большим пальцем победно ткнул в пол.

— Видели?

И не дожидаясь ответа, продолжал:

— Теперь любой гвоздь, любой инструмент могу поднять сам с пола!

Мать подошла и ладонью вытерла отцу выступившие на лбу капли пота.

— Если потренируюсь еще, через пару недель смогу на правое колено вставать. А ходить без костылей — с бадиком. А это знаете, что значит? — И сам же ответил: — Это значит, я смогу пилить дрова, вообще работать на земле, на полу, а не только за верстаком, стоя.

Он помолчал, потом обратился к сыну:

— Шурка, мы скоро будем косить, я уже продумал, как сделать косу для таких, как я, прямых. Это несложно!

— Не сложно, — эхом отозвалась мать, — а косить-то как?

— А как все, так и мы!

Он с утра говорил обо всем решительно.

Такой день у Василия Любаева.

БЫЛО МОРЕ

Шуркин школьный учитель по труду Николай Кузьмич утверждает, что тут, где расположено село Утевка, было огромное море, и было это тысячи лет назад.

И верно, село лежит в низине, со всех сторон его окружают возвышенности, и Шурка верил своему учителю, ему нравилось, что живет он на дне давно исчезнувшего моря. Все становилось намного интереснее, значительнее, когда представишь бескрайнюю морскую гладь и одинокий парус в тумане. Получалось, что не обделено историей его село, и здесь, наверное, раньше происходили какие-нибудь исторические события. Или хотя бы пираты были...

И название села вроде бы произошло от слова «утки», которых, по преданию, было тьма. Шурка часто думал об этом, и у него получилось стихотворение, которое вроде бы он и не писал, а так как-то само собой вышло:

Кишели утки, было море —

*Так к нам в преданиях дошло.
 Моря исчезли, на просторе
 Мое раскинулось село.
 Но и опять же было море
 Людских страданий и невзгод:
 С людьми сроднившееся горе
 Стояло вечно у ворот.*

Шурка показал строчки дядьке Сереже, тот, прочитав их, прищурил левый глаз, словно приготовился выстрелить:

– Послушай, ты это не у Некрасова стянул, а?

– Да ты что, там же Утевка наша!

– Неужели сам?

– Сам.

– Ну ты, племяш, даешь! Я вот тоже сочинял, забыл, где они у меня. О нашей Утевке:

*Первый луч, пробиваясь сквозь дымку,
 Побежал по воде, по кустам.
 Осветил на Лещевом тропинку
 И взметнулся опять к небесам.
 Серебрится росой прохлада,
 Полыхнула заря над водой,
 И пастух деревенское стадо,
 Матеряся, повел за собой.*

– Называется оно «Утро в Утевке», а написал я его на второй день, как с армии пришел. Как?

Он очень серьезно посмотрел на Шурку.

– Здорово, только матерные слова мешаются.

– Вот, все чудачки и ты тоже. Их же здесь нет. Это же правда, все как на самом деле. В жизни матюги есть? Есть. А в стихах моих нет!

– Как же нет, они сразу вспоминаются, когда строчку произносишь.

Сергея обрадовался:

– В этом и фокус, понимаешь? Зато образ сразу встает, правда. Я об этом уже думал и читал – образ нужен. Валентина Яковлевна, когда я ей в клубе показал на репетиции ихней такие сихи, хохотала громко. А потом сказала, что во мне крепкий разбойник сидит и впереди у меня большая дорога. Только учиться надо.

Он доверительно посмотрел на Шурку:

– У меня в армии накопилось стихов целая общая тетрадь, и я не знаю, что с ними делать. А знаешь, матом легче писать, как по маслу идет, легко и даже красиво. И все на своем месте. У меня столько ча-

штушек таких... Если бы я со сцены пропел, околели бы все враз. Я их храню ото всех как динамит, вдруг пригодятся шархнуть от души по скукотище!

Шурка был в смятении. Душа в искусстве искала высокое, а тут Сережкины рассуждения, его горячее дыхание, озорство, которое само по себе имело какую-то необъяснимую прелесть и которое часто сопровождало дядьку.

Сережа был красив, красив в любой одежде: грязной, новой, старой. В телогрейке на голое тело, без рубахи, он выглядел так, что люди, оборачиваясь, смотрели ему вслед.

Шурке вспомнилась странная фраза, сказанная дедушкой так, как это умел делать только он один – вроде бы самому себе, но чтобы и окружающие слышали: «Дьявол, красивый! Но мой сын».

Шурке были непонятны слова дедушки, но от этого не было беспокойства, наоборот: раз дедушка все видит, значит всему свой черед. Подобное уже не раз было. Все встанет на свои места.

ВЕРОЧКА РОГОЖИНСКАЯ

Ее привела на репетицию сама Валентина Яковлевна.

– Вот вам пани Рогожинская, – сказала она.

Потом энергично тряхнула своей кудрявой головой:

– А то у нас пан Ковальский есть, а пани не было. Теперь будет, – сказала, словно поставили точку.

Шурка узнал новенькую, она из параллельного шестого «б» класса. Ее родители – врачи, недавно приехали работать в районную больницу из города. Он ее видел два раза в школе и один раз в библиотеке. Его поразило в ней все. Но самое главное то, как она на него посмотрела: в упор открытыми глазами, доверчиво, как будто они давно знакомы.

– Все! Я давно хотела поставить «Барышню-крестьянку», но некому было играть Лизу, вот теперь, слава Богу, есть! Молодого Берестова, Алексея, будешь играть ты, Ковальский, ну, Муромского отдадим Игольникову, Ивана Петровича Берестова – Петьке Демину, с остальными разберемся.

– Я никогда не играла в драмкружке, – простодушно сказала Верочка, – вовсе и не смогу, тем более классику.

Она зажмурила свои глаза и как-то очень долго подержала их закрытыми, потом распахнула ресницы и будто увидела всех впервые:

– И вообще я боюсь, – без всякого кривлянья просто сказала она.

Петька Демин хохотнул, но, увидев строгий взгляд Валентины Яковлевны, спрятался за спину Лешки Игольниковца.

— А вот и хорошо, что боишься. Наши-то уже ничего не боятся, в этом все и дело! Вот вам слова, быстренько переписывайте и учите, на следующей неделе начнем репетицию. Возьмите повесть Пушкина — почитайте. Я проверю.

Вышли на улицу, и получилось так, что Шурке и Верочке по пути — обоим надо в библиотеку.

— А что вы берете читать? — спросила Шуркина спутница.

— А что дадут.

— Как это?

— Все, что положено, я уже прочитал, теперь — что положено старшеклассникам.

— А «Королеву Марго» читали? — спросила она. — У вас тут есть такие книги?

Шурка давно уже прочел всего Дюма, но он не стал говорить ей об этом, ему не хотелось, чтобы она подумала, будто он хвастлив.

— Да, — сказал он.

— А можно нескромный вопрос?

— Можно, — охотно сказал он.

— А почему у тебя фамилия нездешняя?

Она легко так перешла на «ты».

— И у тебя тоже, — сказал он.

— Я — это другое дело.

— Какое другое?

— Я приезжая, а ты?

— Я здесь родился, разве это плохо?

— Нет, — сказала она и немножко помолчала, — я о другом. Ну, не хочешь об этом, не говори.

Она еще раз посмотрела на него в упор, внезапно засмеялась и сказала, скорее, видимо, для того, чтобы только не молчать, так ему показалось:

— Мне сказали, что ты круглый отличник, да?

— Да.

— Но отличников везде не любят, так ведь и у вас в школе?

— У нас по всякому, я тоже отличников не люблю.

— А сам?

— У меня просто так получается, я не умею зубрить.

Она посмотрела на него внимательно:

— Воображаешь?

– Нет, – сказал Шурка, и ему стало неловко.

Получалось все-таки, что он хвастался для чего-то, а ему этого и не надо было. Ему просто хотелось с ней говорить, ему нравилось, как она смотрела не стесняясь и как улыбалась сама себе.

Когда пришли в библиотеку, он намеренно отошел от Верочки к дальней полке. Ему не хотелось, чтобы кто-то видел, как она на него смотрит. Он был уверен: так смотрит она только на него.

ЧУЖАКИ

В окрестностях Утевки, Зуевки, Кулешовки обнаружили нефть. Заработали несколько скважин. Поползли слухи, что на месте Утевки или вблизи будут строить город нефтяников.

– Беда-то какая, – крестилась Шуркина бабушка на образа.

– Будет тебе, никакой беды, – успокаивал ее Федор Остроухов.

– Народу нагонят, вот и беда. Где в одном месте народу много, тесно, там всегда беспорядок, – не сдавалась та. – Избу не закрывала на замок, теперь – надо будет.

...Она оказалась и на этот раз права.

Расположившиеся в поселке Ветлянка молодые бойкие нефтяники стали наезжать в Утевку по вечерам на танцы. Часто это кончалось дракой. Свидетелем одной такой схватки оказался и Шурка. Он выходил после репетиции из клуба и увидел, как красивый, спортивного вида парень спокойно стоит у крыльца и курит. Это был чужак. Он миролюбиво поглядывал на проходивших, и весь его вид показывал, что он не желает никому зла. Не тут-то было. Невесть откуда появился маленький верткий Гнедыш и, резко подпрыгнув, сорвал с незнакомца модную фуражку, тут же, ловко держа ее за козырек, сильно запустил над головой, и она, описав большую дугу, улетела за дровяной сарай. Чужак не побежал за ней. Он резко шагнул в сторону налетчика и наступил ему на ступню, тот, пытаясь вывернуться, тащил ногу к себе.

– Принесешь кепку – отпущу, – сказал чужак.

– Больно, пусти! – неестественно громко закричал Гнедыш.

И это прозвучало как сигнал. Из-за дровяного склада вышло больше двух десятков сельских ребят, вооруженных кольями. Они выстроились в два ряда, образовав узкий коридор, куда должны были попасть все, кто выходил из клуба. В подготовленном сценарии было все предусмотрено.

Танцы закончились, народ хлынул, и приезжие оказались встреченными во всеоружии. Но не тут-то было. Чужаки были опытными бойцами. Прямо у входа в клуб начинался деревянный забор из штакетника длиной

метров тридцать. Через считанные минуты этого забора не было; мгновенно оценив ситуацию, чужаки метнулись к нему – штакетницы оказались в ловких и крепкие руках. Рукопашная, сопровождаемая треском деревянного оружия и резкими криками, развернулась вначале у клуба, затем нефтяники стали отступать по улице к своему автобусу, но без паники и как-то, удивительно для Шурки, организованно. Похоже было, что они оборонялись так не впервые...

Три последующих дня угрюмый Коныч со своим сыном восстанавливали ограду.

– Они девок делят, а я без работы не буду, – говорил он.

Эта история имела свое продолжение. Шурку мать послала за постным маслом в магазин. На дворе стояла теплынь. Была пасха. В проулке, около Ваньковых, взрослые ребята играли в орлянку, туда Шурка не стал заходить. Посмотрел со стороны на нарядную пеструю толпу и пошел дальше. Не то чтобы ему было неинтересно, просто он торопился. Но вот мимо двора Ракчевых пройти не мог. Этот двор, весь освещенный солнцем, сухой и приветливый, встретил Шурку разноголосицей большой ватаги ребятишек и парней.

Около старой травокоски, вросшей колесами в землю, на ровной площадке стояли три гири. Валерка Салтыня, сняв белую рубашку, подошел к самой большой – в два пуда. Поплевал на ладони. Не спеша поиграв растопыренными пальцами, он резко рванул железное чудовище на себя, и гиря оказалась у него на плече. И тут произошло самое главное: выбросив левую руку горизонтально в бок, правой Салтыня не спеша, монотонно и спокойно, как какая-то очень крепкая машина, выжал вес подряд пять раз. Все ахнули.

Шурке захотелось подойти и попробовать поднять полупудовую гирю, но он почему-то медлил. Его опередил Мишка Лашманкин. Он взял «полпудник», подкинул вверх, и ловко крутанув, на лету поймал за ручку.

Шурка опешил. Он не ожидал от Мишки такой ловкости и уверенности.

На другом краю двора свой интерес. Здесь чокались: крашеными луковой шелухой или чернилами пасхальными яйцами играли в азартную игру. Били тупым или острым, как стоворились, концом яйцо соперника. Если твое целое – ты выиграл.

Тут-то Шурка и пожалел, что не захватил с собой из дома писанку – крашеное на особинку яйцо. На него бы он точно выменял три, а может, и больше, яйца, на выбор. И сыграл бы.

У всех обычные пасхальные яйца: крашенки. А писанки готовили по-иному: прежде чем яйцо опускать в чернильный или луковый раствор,

его причудливо расписывали воском на свой вкус и лад. Для этого пользовались гусиным пером. Обрезав самый кончик, набирали в перо плавленный горячий воск и быстро выдавливали на яйцо. Воск застывал. Яйцо с рисунком бросали в красящий раствор, когда воск исчезал — на его месте на скорлупе возникал рисунок. Такое пасхальное яйцо ценилось вдвойне.

Только Шурка решился раздобыть яйцо, чтобы попробовать сыграть, как во двор вошел Валька Рязанов. Шурка тронул его за рукав:

— Валь, ты что так вырядился? — и показал пальцем на темно-синие галифе, в которых был его приятель. — Помереть же можно со смеху, все в шароварах уже, тепло как!

— Пойдем в огород, за сарай, объясню.

Когда они зашли за укрытие, Валька запустил руку в штанину и вынул огромный старинный револьвер.

— Во, смотри!

— Вот это да! — только и выдохнул Шурка, — откуда это у тебя?

— Понимаешь, дед умер в прошлом году, он когда-то богатым был, пряжи делал, всякие вещи из дерева, даже деревянный велосипед, а в этом году стали печь ломать, разобрали когда, я смотрю — тайник в стене в подполе, ткнулся: ящик со старыми деньгами и вот он.

— Что же теперь с ним делать?

— Не знаю, поносить охота с собой. У него пружина очень тугая или заржавела, я не осиливаю курок одним пальцем спускать. Надо разбирать и смазывать.

Шурка смотрел на покрашенный светлой краской с костяной ручкой наган и не мог отвести глаз. Вид настоящего, может, уже бывшего когда-то в деле оружия завораживал.

— Сань, может быть, из такого в Пушкина стрелял Дантес, а?

— Отец знает про пистолет? — побеспокоился Шурка.

— Нет, я только деньги всем показал.

— А патроны?

— Вот! — И Валька протянул на ладони пять патронов.

Шурка взял один. Гильза была длиной сантиметра два, сама пуля, неприятно тупорылая, оказалась короткой — всего в один сантиметр.

— Тяжелое все какое, — подытожил Шурка.

— Вот поэтому я не в шароварах, а в галифе. Шаровары спадают от него, резинка не держит. У меня Генка Афанасьев очень его просит.

— Зачем? — удивился Шурка.

— Да, говорит, поугадать, когда надо, чужаков с Ветлянки, а то везде свои порядки устраивают.

— Эх, — спохватился Шурка, — меня же мама в магазин послала.

— Ну иди, — деловито сказал Валька, — потом обсудим, как быть.

За воротами, около палисадника, Шурка увидел Димку Чураева. Вывернув оба кармана брюк, он стоял на солнышке, похожий в этой позе на странную птицу.

— Дим, ты чего? — удивился Шурка.

— Да, дурак Антон со своими дружками, я их обыграл: накокал больше десятка, все их крашенки у меня в карманах были, а они догна-ли, когда уходил, и хлопнули по ним с обеих сторон, а там всмятку были какие, одно яйцо-болтун. Кишьмишь устроили, сохну теперь.

Он шмыгнул носом и безбоязненно пообещал:

— Я им казнь придумал. Попомнят у меня!

...Шурка уже купил масло, когда вошли трое приезжих ребят, и в первом из них он узнал того красивого, спортивного чужака, на кото-рого налетел Гнедыш.

— Толик, — обращаясь к нему, сказал тот, что шел за ним, — давай побыстрее, а то нас тут заловят, по-моему, я одного видел из тех.

— Да сейчас «Беломор» купим и едем, ладно гиль нести.

Направляясь в книжный магазин, Шурка увидел Генку Афанасьева, который в прошлой стычке у клуба возглавлял нападающих. Тот метнулся в сторону мастерских.

«Он их засек, — отметил Шурка, — что же будет, этот Генка настырный».

...Когда Шурка вышел из книжного, все уже свершилось. Генка Афа-насьев лежал на весенней земле. Из его левого виска сочилась кровь. Он был мертв.

Стоявшая у пивного киоска Пупчиха, всхлипывая, говорила:

— Наши-то, дураки, впятером окружили их и давай воротники на ру-бах им рвать, а Толик-то ихний, мне все слышать из окошка, и гово-рит: «Что, слабо один на один, впятером либо всей деревней только смелые, да?» Так вот они подергались и решили по-честному. Один на один. Толик и Афанасьев, значит. Афанасьев первый ударил, да так, что энто самый Толик загнулся крючком весь. А потом вдруг, и непо-нятно мне как, красавчик этот мотнул рукой — и наш на земле на ка-рачках, то ли споткнулся, то ли как. В горячках Толик ударил его но-гой и попал сапогом прямо в висок. Нет Генки теперь.

Прибежал милиционер Вася Берлин, за ним появились еще два моло-дых незнакомых сержанта. Никто из участников стычки и не собирался убежать. Всех потрясла неожиданная смерть.

Толик сидел на пороге магазина, обхватив голову руками. Пальцы рук его вцепились в лихой черный чуб.

Пупчиха плакала. Не стирая слез с красных пухлых щек, проговорила нараспев, глотая слова:

— Обо-иих ведь жа-ал-ка, оба ду-раки. Одно-му-у-то все едина те-перича, а эттому Толику вся жизнь как в про-оо-пасть, а...а... тюрь-ма...

...Вскоре в Утевке начали поговаривать, что первый секретарь райкома Бурцев сильно против того, чтобы город нефтяников строили около села, он опасался и за село, и за Самарку, поэтому вроде бы идут споры. А потом разнеслась новая весть: знаменитый начальник нефтяников Муравленко, которого никто в селе никогда не видел, под-держал Бурцева, и решено город, название которого будет Нефтегорск, строить в степи, около поселка Ветлянка, далеко от Утевки.

— Слава тебе, Господи, — отозвалась на это бабка Груня. — Бог миловал!

И перекрестилась.

В ЛАПТАЕВОМ ПЕРЕУЛКЕ

Только-только Шурка пришел из школы, хлопнула калитка, и вошел Андрей Плаксин:

— Шурк, в лапту пойдём играть?

— Ага, а кто будет?

— Да Чугунок, Микляй, Валька Бесперстова, еще там пацаны наши. Всех соберем, кого надо.

Едва появлялись долгожданные подсыхающие поляны, ребятню неудержимо тянуло в Лаптаев переулок играть в разные игры.

Климановых, хозяев крайнего дома в переулке, давно уже никто не знал, с коих пор звали по-уличному — Лаптаевы. Их пятистенник, от-крытый окошками с резными ставнями на большую поляну, — давний сви-детель ребячьих забав. Частенько стайка ребятишек прибивалась к Лап-таеву палисаднику и гомонила там в своих заботах. В такие моменты дядя Коля степенно выходил из дому, неспешно и незлобно кшикал как на кур, отгоняя их вновь на поляну.

— А я сегодня хотел доделать свою клюшку, — спохватился Шурка.

— Новый чекмарь? — спросил Андрей.

Ему больше нравилось такое название клюшки.

— Конечно, вчера с дедом были на Подстепном, там знаешь, где большая поляна чилиги, их полно, я и вырезал две чекмары.

– Вязовые вырезал? – деловито переспросил Андрей.

– Нет, из некленника.

– Покажи, а?

Шурка пошел в сени и вынес полутораметровой длины палку, прихотливо изогнутую снизу. Эта изогнутая палка и была всегда предметом зависти всякого игрока, ибо она служила для того, чтобы гонять по траве или по льду шашку – кусок крепкого дерева или другого материала, часто консервную банку.

У Андрея загорелись глаза:

– Эх ты, а я еще не успел себе вырезать. Давай завтра сходим вместе, давай?

– На, это тебе, – Шурка протянул клюшку Андрею.

– Ты что, Шурк, – выдохнул тот, – да у меня такой сроду не было, вообще такой удобной чекмары я ни разу не видел ни у кого.

Он ошалело крутил в руках подарок.

– Ты же себе это сделал?

Шурка молча пошел вновь в сени и вернулся с палкой, похожей на ту, что он отдал приятелю.

– Это будет моя.

Андрей был сражен.

– Эх ты, – сказал он. И эта емкая фраза вобрала в себя все: и восхищение, и благодарность, и многое-многое другое, что Андрей, очевидно, чувствовал, но не имел понятия, как это все называется. И зачем ему это знать?

Вот есть друг, есть теплый весенний воздух, пахнущий талой водой, подогретой ласковым солнцем, землей, кое-где уже пробитой зеленью и есть еще после школы целая половина дня.

На Андрея напала жажда деятельности.

– Давай все для чекмары сделаем, а завтра сыграем.

– Давай, – согласился Шурка, – и начнем с шашек.

Шурка сбегал на зады, принес крепкий, толщиной в руку, обрубок татарского клена, и они поперечной пилой отпилили три шашки. Андрей тут же во дворе попробовал шашку и клюшку в деле, погоняв по земле, а затем с силой запустив шашкой в деревянные ворота. После этого он остался очень довольным. Яркий, с вельможной походкой соседский петух после удара Андрея панически, растеряв всю свою величавость, совсем по-дворовому, перескочил через плетень и был таков.

– Правильно, нечего на чужом дворе делать, совсем задолбил нашего, – подытожил Шурка.

Вооружившись лопатой, они пошли на Лаптаеву поляну. Поляна была уже почти сухая и прогретая. Только у плетней, у кучи березовых бревен лежал ноздреватый снег, покрытый сверху толстым слоем грязи.

Они быстро отыскивали ровное местечко, и Андрей начал копать центровую лунку — котел величиной не более обычного ведра. Затем надо было ровно по кругу расположить пять-шесть лунок.

Андрей присел на корточки в котле и, выставив перед собой на вытянутых руках чекмарь, скомандовал:

— Крути!

Придерживая конец выставленной клюшки, Шурка прошелся по кругу, оставляя за собой протоптанную дорожку в прогретой майским солнцем земле.

По этой окружности они и выкопали немного поменьше, чем центральный котел, шесть лунок.

Игра в чекмару состояла в следующем. Игроки, каждый из которых вооружен клюшкой, занимали по лунке. Игроков должно быть на одного больше, нежели количество лунок, не считая котла. Цель игрока, остающегося, после того, как поконаются без лунки, занять ее. Он начинал «маяться»: пытался клюшкой послать шашку в котел. Если она достигала цели, то игроки должны были мгновенно меняться лунками (конец клюшки-чекмары должен был торчать в лунке). При этом захвате лунок тот, кто «маялся», мог занять себе лунку, естественно, кто-то оставался без нее и оказывался в роли «маящегося». Сложность была в том, что стоявшие по кругу игроки отбивали шашку как можно дальше от круга, не подпуская к котлу, и за ней приходилось далеко бегать. И хитрость в том, что ловкий игрок, который «маялся», мог просто, без попадания в котел, занять лунку. Это случалось тогда, когда он, лавируя корпусом и ведя шашку к «котлу», вынуждал одного из игроков замахиваться клюшкой, и в это время оставшуюся без хозяина лунку мгновенно занимал сам, ткнув туда свою чекмару.

Андрей приплясывая утоптал игровой круг, взял клюшку, ловко пульнул шашку в котел и остался доволен:

— Чугунка до слез замаем завтра!

Шурка представил, как будет «маяться» хитрый, находчивый Чугунок, которого с четвертого класса зовут так потому, что он в тетрадке нарочно, для смеха, написал вместо «чугун» — «чгун», а вместо «кастрюля» — «кастура», и ему стало заранее весело.

«Чугунок ведь не заплачет, а, наоборот, всех насмешит только», — хотел сказать Шурка, но почему-то промолчал. Наверное, от того, что не хотелось возражать деловому Андрею.

ПОД СИНЕЙ ЮБОЧКОЙ

Саман решили делать на выгоне, за колхозным общим двором. Дядя Федя Остроухов, копнув раза три лопатой, долго и серьезно рассматривал серенькие кусочки земли на ладони, а Шуркин дедушка сказал:

— Чего ее изучать-то, вон сколько вокруг изб, уж который год стоят. Мерекаешь попусту.

— Оно, конечно, может, и так, но все-таки... — держал свой фасон Остроухов.

Едва вскрыли круг, приехал верхом на колхозном знакомом мерине дядька Сергей и привел с собой еще одну буланую кобылу. Их пустили мять эту большую лепешку.

Воду возили из Приказного.

На трех подводах Шурка, Андрей и Валька Рязанов с грохотом порожняком мчались к озеру и лихо въезжали в воду, а там веселая Аксюта и еще незнакомая одна девка, войдя по колени в воду прямо в платьях, под июньским ласковым солнцем наливали ее в бочки. Перед тем как выезжать из воды на берег, Шурка накрывал мокрой мешковиной горловину бочки, чтобы вода не плескалась. И каждый раз ему чудно было глядеть, как в бочке глупо смотрели на него крупные головастики.

А на выгоне шла своя работа. Как только Шурка подъезжал с водой, мужики вагой разворачивали бочку, и через несколько минут можно было опять мчаться к озеру.

В одну из поездок с Шуркой случилась авария. На самом конце улицы, когда он гнал рысью Карего, около палисадника из-под лавочки ветром выдуло газету, и она, разворачиваясь, поползла к дороге. Это все увидел Шурка стоя сзади бочки, левой рукой держась за отверстие в ней, чтобы она, пустая, не играла на дрожках.

В следующее мгновение, скосив дико правым глазом на газету, которая большим белым чудищем, похожим на черепаху, двигалась на него, Карий прыгнул резко влево. Шурку вместе с бочкой снесло в сторону газеты на землю. Бочка, громыхая, покатилась к палисаднику, а Шурка упал рядом со злополучной газетой. Какое-то мгновение был провал в сознании. Когда же резко вскочил на ноги, их как будто не было, и он вновь оказался на земле. «Ноги отнялись», — со страхом пронеслось в голове. Карий стоял метрах в двадцати и смотрел на него. Шуркина левая рука лежала на газете, он провел ею по странице, она выпрями-

лась, и он прочел: «Волжская коммуна». «Деда всегда ее читает», – подумал он и вяло перевернулся с живота на бок.

А к нему уже бежали люди. Помогли подняться, посадили на лавку. Пока подводили Карего, водружали бочку на дрожки, с Шуркой все прошло. Он встал с лавки, оттолкнулся от ограды и пошел к повозке.

– Матери скажи, что ушибся, ездок, – сказала ему вслед хозяйка дома.

– Ладно, – неопределенно отозвался Шурка погоняя Карего.

Въезжая в воду, к ожидавшим его девкам, он уже не думал о случившемся.

Саман смяли и начали выкладывать станки чуть поодаль на ровном месте. На жести волоком подтаскивали раствор и заполняли большие формовочные станки, уминали ногами. Затем их поднимали, а кирпичи оставляли сохнуть.

...На второй день помочей вечером все, кто помогал, гуляли у Любаевых во дворе. Шурку посадили наравне со всеми за стол на лавку, вернее – на доску, положенную концами на табуретки. Мать суетилась с закуской.

Пили «Под синей юбочкой» – так называли денатурат за его цвет. Его пили и женщины. Самогонки не было – боялись гнать. Остроухову принесли гармонь, а у Василия Любаева – балалайка. Они сели в торце длинного стола на виду у всех.

После того, как выпили, заиграли подгорную. Задвигали лавками-досками. Дошла очередь и до Аксюты Васяевой. Она выплыла в круг и неожиданно красивым, сильным голосом озорно пропела:

Повели меня на суд,

А я вся трясуся.

Присудили сто яиц,

А я не несуся!

– Вот баба, – сказал восхищенно захмелевший старый дед Проняй, – кого хочешь в косые лапти обует.

– Да ладно, она, по-моему, еще не перебабилась, – непонятно возразил его сосед.

Шурка невольно слышит весь разговор.

– Ловко она про яйца, – тянул свое Проняй, – моя тоже еще только двадцать штук сдала, молока тридцать литров еще надо сдать. А где брать-то? Дела...

– Где, где, – возражал сосед – дальний родственник Синегубого, – вон Шуркина мать выкручивается, Василий подшивает валенки, а она по-

купает масло, молоко и сдает. Шурка, тебе мать когда-нибудь масло мазала на хлеб?

— Нет, — сказал Шурка, — у нас масла не бывает, молоко съедаем.

— Вот видишь, откель масло брать, с моими глазами только валенки и подшивать, — не сдавался Проняй.

Шурка, глядя на пляшущих в кругу, думал: «И почему все люди делаются на русских, украинцев, поляков, турок и других? Нельзя ли так, чтобы все были одинаковой национальности? Все были бы равными. Все бы веселились как сейчас». Об этом он сказал дядьке Сереже.

— Ага, — подхватил Серега, — и все одного цвета бы: негры, цыгане, папуасы, англичане — все белые, нет, все черненькие, ага? И все на одно лицо. Мировая скукота.

— Да ну тебя, я серьезно.

Запели «Катюшу». Шурке подумалось, что эта песня про его мать. Только в жизни все сложнее и тяжелее, чем в этой красивой песне. Для того и песня, чтобы легче жилось.

Шуркина мать, Катерина, когда пели эту песню, никогда не подпевала, всегда только слушала глядя кротко и ясно перед собой.

...На Шурку навалилась вялость. До этого начало звенеть в голове, хотя, разумеется, он не пил спиртного. Он встал и пошел спать к деду в мазанку. Мать только и успела сказать вслед:

— Шура, ночевать приходи домой.

— Ладно, мам.

А Аксюта все веселилась: «За мной мальчик не гонись — у меня есть другой», — слышался ее разудалый говорок.

...Шурка проснулся и сразу понял, что уже поздно: в маленьком оконце мазанки света не было. Он вспомнил, что обещал ночевать дома и заторопился. В избе деда — все уже спали. Со стороны клуба, который находился метрах в двухстах, доносилась музыка. «Раз танцы не кончились, значит двенадцати нет», — определил Шурка. Легонько стукнув калиткой, он пошел по задам — так короче, метров триста. Шурка не прошел и половину пути, ноги подкосились, как тогда, днем, после падения с дрожек.

Вначале он ничего не понял, сторяча попытался вскочить, но вновь оказался на пыльной дорожке. Обожгла мысль: «Кто-нибудь поедет и задавит, как кутенка. Надо отползти в сторону». Отполз ближе к плетню, и тогда только ужаснулся: а если это навсегда? Мать умрет с горя, ей и с отцом нелегко: она его каждый день обувает и брюки помогает надевать — он сам не может. Правда, в последнее время брюки он научился надевать сам: бросает их на пол, бадиком подшвыривает шта-

нину на прямую левую ногу, крючком за пояс подтягивает вверх, а уж потом становится на прямую левую, а правая у него действует как у всех.

«Карий, Карий, какой же ты дурак!» – с горечью подумал Шурка. Под локтем оказалась какая-то кучка травы, он подмял ее под себя, стало удобнее. Боли почти не было, только жгло ушибленный локоть, где слезла кожа, и саднило в пояснице, но терпимо. Он повернулся на спину. Широко распахнувшись, на него смотрело небо. Звезды, крупные и мелкие, рассыпавшись во все стороны, светились ясно. Под этим бездонным взглядом он не почувствовал себя маленьким и убогим, а принял чистый теплый взгляд и удивился тому, как стало ему вдруг спокойно, а возросшая уверенность в себе уже толкала его что-то делать энергичное и нужное.

«Неужели там, над нами, действительно кто-то есть, раз так происходит все во мне, но о чем никому не расскажешь?..»

Шурка лежал под открытым небом. Большая Медведица, чудно наклонив свой ковш, висела как на большом гвозде.

Он почувствовал, как сильно всех любит: маму, бабушку, деда... обоих своих отцов, который есть и которого он никогда не видел, вообще все вокруг.

Замелькали летучие мыши. Пролетела, таинственно прошелестев крыльями, сова.

«Танцы кончатся, ребята направятся домой, может, кто пойдет задами и меня заметят».

В куче бревен, когда он заглянул за большой березовый комель, замерцало расплывчатое пятно. «Гнилушки светятся», – отметил про себя Шурка. Он знал, что как ни пробуй гнилушку на ладони, в кулаке, она светит, но не греет. Но сейчас ему казалось, что это светлое пятно из гнилушек, так же как и далекие звезды, гонит к нему теплый и ласковый поток. Шурка еще больше успокоился. Он вспомнил, как однажды бабушка Груня сказала ему: «Все мы под Богом ходим. За твоей спиной ангел большекрылый. Если ты будешь стараться делать добрые дела, он тебя не оставит в беде. Он твоя опора».

Шурка тогда не удивился словам бабушки. Он и вправду иногда очень сильно чувствовал огромную добрую силу, идущую издалека к нему. Чаще всего это случалось, когда он был один под открытым небом: в поле, в небольшом лесу, на Самарке у воды. Но это шло, как ему казалось, не от неба, это было земное. Сила шла, как он однажды подумал и удивился своей догадке, – от отца Станислава, из его далекого далека. Свет поддержки и надежды шел незримо, но властно и по-

беждающе. Он так себя заставил думать или это так оно и было — уже нельзя определить. Но это не был самообман. Может быть, это — врожденная жажда жизни? Ему сейчас показалось, что этот луч поддержки накрепко соединяет его с отцом. «Но ведь земля круглая, значит луч от Варшавы до Утевки, до меня, должен быть в виде дуги, — подумал он и спохватился. — Почему я думаю так, это же, наверное, бред у меня начался, и я теряю сознание. Так ведь не думают».

Музыка прекратилась. Через некоторое время послышались громкие голоса на улице, но все проходили мимо. По задам никто не шел. Кричать, звать о помощи Шурке было стыдно и он, перевалившись через левый бок на живот, пополз. Оставалось до дома метров тридцать, когда впереди замелькал слабый огонек. «Кто-то с фонариком идет», — догадался Шурка.

— Эй, — негромко позвал он.

Невысокого роста человек остановился.

— Кто там?

Перед Шуркой стоял Мишка Лашманкин, его давний неприятель.

— Коваль, что с тобой? Ты пьяный, что ли, — хохотнул было Мишка.

— С ногами что-то.

Лашманкин подошел ближе.

— Ты же весь в пыли, ты что?

— Говорю: ноги отнялись.

Мишка перевернул Шурку на спину, взял под мышки и подтянул к плетню.

— Ты как на задах в эту пору оказался? — спросил Шурка.

— Да это, лампочка увеличителя перегорела. Мы с братаном фотки печатаем, ну я бегал к дядьке, на обратном пути, дай думаю, срежу путь. Я попробую тебя понести. Вот шалыга какая!

Кое-как приподняв Шурку у плетня, он подлез под него и, взвалив на спину, покачиваясь понес.

— Меня давай в наш сарай.

— Ты что, а мать, она заругает же тебя.

— Да нет, — проговорил Шурка, — она думает, что я у деда.

— А может, в больницу?

— Не надо, днем так же было, потом отпустило. Отосплюсь — все пройдет.

— Эх ты, а вдруг нет? — засомневался Мишка.

— Давай в сарай!

Когда Шурка улегся на спину на кучке свежей травы, он сказал:

— Мать встанет корову стонять в стадо в четыре утра, она меня и обнаружит. Если все нормально, то — порядок. Если не обнаружит, ты придешь в шесть часов ко мне. Проснешься?

— Проснусь, — заверил Мишка.

Шурка спал глубоко, без сновидений и проснулся в восемь часов. Едва открыл глаза, увидел Мишку сидящим около на старом тазике.

— Ты чего сидишь?

— Будить тебя жалко.

Шурка поднялся и, как будто ничего не было, спокойно прошелся.

— Молодец, — обрадовался Мишка, — а то я вчера испугался.

— Я тоже, — признался Шурка.

У ЛОПУШНОГО ОЗЕРА

— Завтра Жданку не гоняй в стадо, — сказал вечером Катерине Василий, — поедем в Угол косить траву.

— Ладно, — покорно согласилась мать Шурки.

Она уже поняла: спорить бесполезно. Прошел месяц после того, первого разговора, когда было решено делать упряжь для коровы. И вот все готово: легонькая рыдванка с железными колесами, с проволочными реденькими ребрами вместо деревянных, стоит посреди двора. Готова и шорка вместо хомута, легкая оброть и все остальное.

Отец вывел с денника Жданку и стал подводить ее к рыдвану, корова долго не понимала, что от нее хотят, смотрела своими большими темными красивыми глазами и недоумевала.

Наконец-то шорка на шее, тонкая самодельная веревка вместо вожжей привязана.

— Ну-ка, Шурка, отвори ворота.

И уж было совсем все пошло как надо, да мать Шурки немного подпортила момент:

— Вась, а если она обидится и перестанет молоко давать?

— А куда она денется?

— Ну пропадет молоко, так бывает!

— Опять ты за свое!

Катерина отошла в сторону. Потом вновь приблизилась и виновато попросила:

— Вась, ты на нее не кричи, ладно, если что не так.

— Катя, я ж обещал тебе. — Отец повел Жданку со двора.

Он явно бодрился.

Рыдванка на удивление пошла ходко, тем более выезд на улицу был под горку, и лицо Василия осветилось радостной улыбкой. Смазанные обильно дегтем новенькие оси и колеса хотя и поскрипывали, но как-то влад и бодро. Шурка немного успокоился и за Жданку, и за мать.

У ворот отец положил в рыдванку старую фуфайку, чтобы можно было лежать, привязал косу, и они отправились в путь. Лагунок с дегтем, как маятник, закачался на задке рыдвана. Договорились, что садиться никто не будет, только отец, когда совсем устанет, ляжет в рыдван – сидеть ему никак нельзя.

Мать даже сумку с едой не положила:

– Вась, сама понесу, ей-богу, не тяжело.

Шурка приготовился подталкивать повозку сзади, но так, чтобы не увидел отец.

Он знал дорогу не Лопушное до каждого поворота, до каждой кочки. Шагая за повозкой, Шурка пояснял:

– Мам, нам надо проехать туда почти три километра. Не бойся – половина дороги жесткая и под уклон, и только за мостом начнется песок.

– Я и не боюсь.

– А можно не по дороге, не по песку ехать, а по траве, вдоль, – говорил Шурка.

– Так и сделаем, но я опасаюсь другого.

– Чего, мам?

– Корова страшно боится шершней. Слепни еще так-сяк, а шершни... С ней сразу могут случиться бызыки, бзик. Что тогда делать? Бздырит, не остановишь.

– А что? – не поняв, переспросил Шурка.

– Может либо рыдванку с отцом разнести, либо себе что поломать.

Повозка двигалась медленно, отцу было трудно идти, но он не сдвинулся. Прямая нога его почти волочилась. А Шурка шел легко. На его босые ноги были надеты сандайки, которые ему сделал дедушка прямо при нем три дня назад. Он взял Шуркину ногу, приставил к ступне колодку, померил и тут же кривым сапожным ножом на пороге вырезал из куска толстой кожи две подошвы.

По шаблону выкроил верх из кожи потоньше и сыромятным узким ремешком все прошил. Получилась желтая ровная окантовка. Потом пошарил в своем удивительном ящике, где всегда все находилось, что нужно, и извлек оттуда, как волшебник, две красивые металлические застёжки.

– Тебе берег, нравятся?

– Конечно, лучше не бывает, – радовался Шурка.

Дедушка хотел еще натереть сандальки ваксой, но Шурка отказался: «Потом, деда!» Обувка получилась легкая, мягкая, и теперь, шагая по нагретой летним солнцем дороге, увязая по щиколотки в горячей серой пыли, он не знал забот: дедушкиными умными руками вверху сандалий и по бокам были сделаны дырочки, и пыль не задерживалась в них.

За мостом съехали благополучно с горы. Отец лег в рыдван. На удивление Жданка не воспротивилась этому. Она только вначале не поняла, как идти: Василий стал управлять вожжами.

Мать, взяв за оброть, все поправила и пошла рядом.

Шурка шел сзади один. Они приблизились к Самарке, и песчаная дорога утяжелила ход повозки. Металлические колеса, за которыми ревностно следил Шурка, когда рыдван съезжал с обочины на песок, вязли. Шурка, упираясь в заднюю стойку, что есть мочи толкал повозку.

Остро пахло прокаленным солнцем песком, в воздухе, казалось, не было ни единого движения, которое хоть как-нибудь бы пригнало прохладу. И только знакомые осины, стоявшие на обочине, шевелили своими чуткими листочками.

Шурка знал, что надо потерпеть: еще один поворот – и дорога изменится. Это случится сразу за сухим вязом, в дупле которого живет, об этом знает только Шурка, удод, а по-простому – петушок. Такой смешной, забавный и неторопливый лесной житель. А напротив вяза, на полянке, – большой ровный круг зарослей шиповника. Здесь Шурка иногда прячет всякую всячину, чтобы лишний раз не таскать домой: удочки, банки с червями, весло. Никому и в голову не придет лезть в такую чашобу.

...Наконец-то дорога нырнула в заросли черемухи, крушины и не-кленника. Стало прохладно. Недалеко было Лопушное. В который раз остановились на отдых, и тут же Шурка острым ножичком срезал прямо у дороги полуметровый пустотелый зеленый стебель и сделал из этой бы-стылины дудку. Раза два со свистом дунув в нее, разудало заиграл, переваливаясь с ноги на ногу. А Шуркина мама, весело выскочив на поляночку, пошла в пляс, припевая:

Дударь мой, дударь молодой!

Самодударь мой дударь молодой!

Ее маленькие загорелые и ловкие ноги, обутые в чувяки, мелькали в ромашковом и васильковом разнотравье маленькой придорожной полянки. И вся она, в косыночке с голубыми горошками, стала вдруг веселой и озорной. Шурке тоже стало радостно, и оттого он заиграл еще азартнее и громче.

Когда он кончил играть, отец одобрительно спросил:

— Где ты так научился выкомаривать?

— Дед его подучил, — сказала мать.

Жданка тем временем не плошала и, увидев сочную густую траву в кустах, дернулась туда. Рыдванка встала поперек дороги, передними колесами подмяв кустики бересклета.

— Но... балуй у меня, — совсем как на лошадь, грозно шумнул отец, но, спохватившись, вылез через проволочные боковины из рыдвана и вывел Жданку на дорогу.

Лесные дороги, там, где ходит только гужевой транспорт, особые. В три колеи. Две от колес и от лошади; посредине дороги — третья.

Удивителен запах лесных дорог. Меж колеями изумрудная зелень не теряет своей свежести и яркости все лето, под нависшими низко ветвями ей благодатно. Влажность, исходящая от озера, питает буйство и разнообразие трав по обочинам дороги. На самой дороге обычно растет самоотверженный подорожник. Шуркина мать называет его семижильником, и Шурка несколько раз уже пользовался им, прикладывая к ранкам или опухоли.

Из двух десятков озер, которые он знает, Лопушное одно из самых интересных. Ни на Лещевом, ни в Подстепном, ни на Осиновом нет того, что есть здесь. Тут с Шуркой всегда что-нибудь происходит интересное.

В дальнем заросшем конце озера впервые позапрошлым летом подстрелил крякву. А на подходе к озеру среди черемухи растет единственная на этом берегу Самарки береза. И никто никогда — ни взрослые, ни мальчишки — не брали сок у березы, настолько она дорога всем. Однажды они с дедом вдоль озера набрали целую телегу груздей и на обратном пути негде было сидеть в ней, шли пешком.

...Когда добрались до озера и отец начал распрягать Жданку, мать Шурки, подошедшая помогать, ахнула:

— Васенька, что же это делается, а?

Шурка увидел, как из обоих передних сосков Жданки, словно из неплотного рукомойника, стекало большими каплями молоко.

— Ты ее доила утром? — спросил тусклым голосом отец.

— А как же, доила, — поспешно ответила мать, — а если она надорвалась?

— Надо подоить еще, — будто не слыша ее, сказал отец, — а ты, Шурка, стготовь костер, сварим молочный суп с лапшой. Вот вам задание, а я пойду траву посшибаю, попробую.

Шурка взял топорик и пошел высматривать рогульки для костра. Вскоре зазвучали за его спиной непривычные такие в лесу удары молочных струй о гулкое дно ведра. И он услышал, как мать сквозь слезы почти запричитала:

— Миленькая ты наша кормилица, прости нас...

ЗА СТАРИЦЕЙ

Много всего надо для строительства дома. Но после самана: бревна для теса — в первую очередь. В этом году Любаевым повезло: ордер в сельсовете дали на сенокос в лесу. Кварталы достались тощие, трава была никудышная. Однако сенокос, получается, был недалеко от делянок, отведенных под вырубку осин и осокорей. Можно было работать на два фронта. Так и сделали: попеременно то косили, то пилили. Кто как мог.

Рассортировали калек и — за работу. Венька Сухов без руки, так ему, например, проще пилить, чем косить. Он и пилит. А вот у дядя Коли Тумбы нет левой ноги почти совсем, он и косит, и пилит.

Любаев разводит и точит пилы. И потихоньку пробует косу, насаженную на черенок под таким углом, чтобы можно было работать не нагибаясь. Шурка видел, как отец пробовал косить за кустами, ближе к воде. Размеренные, выверенные движения отца при совершенно прямой спине и прерывистое передвижение его вдоль валка, волочащим за собой ногу, напоминало работу какой-то машины. Но эта кажущаяся надежность могла враз рухнуть, если не соблюдать равновесие и равномерность перемещения.

Валить громадные осокори тоже надо уметь.

— Ты сначала определяй, куда дерево глядит, то есть куда оно наклонено, — учит Венька Шурку, — как определил, так и пили с той стороны, куда оно глядит, на глубину полотна пилы. А затем уж заходи с противоположной стороны и на четверть выше давай пили. Само упадет куда задумано.

— А если дерево не «глядит» и надо чуть в сторону свалить его? — уточнял Шурка.

— Тогда берешь топор и как сделаешь первый надпил, сразу руби топором, чтобы не было зажима — можно руками или вагами толкать куда надо.

— Берегись! — зычно крикнул Тумба, и осокорь, могучий и красивый, сокрушая молодняк, не теряя величавости и осанки, повалился на траву. Земля вздрогнула, когда он упал, и стало светлее на поляне.

— Молодец, Тумба! Удачно положил! — обрадовался Шурка.

— Проще лето вот так же валили, и один рухнул на сухостой — приличную осину, а она возьми да и упади, туда, где и не ожидали, а там бабенки кружком стояли. Вот одну из них, Таню Амосову, она будто выбрала — скончалась на месте, — сказал Веня.

Первый осокорь, который подпилили Веня с Шурка, падать вначале не хотел, он чуть повернулся слева направо в комле, зажав пилу так, что Шурка с большим трудом, торопясь, выхватил полотно и замер.

— Ко мне! — властно скомандовал Веня и привлек его к себе. — Надо вбок уходить, а то сыграет и комлем долбанет.

Вагами мужики помогли великану, и он рухнул, обломав при ударе о землю себе сучья толщиной в руку, будто это хворостинки, накрыв большой муравейник.

Объявили перерыв, Шурка сладил себе удочку: крючки у него всегда были с собой в фуражке, а леску он захватил специально. Только приладил удочку на рогульке, кем-то прилаженной у коряжки, как поплавок — в мизинец сухая куга — медленно пошел под воду. Шурка привычно дернул: на крючке болтался в ладошку величиной карась. Забросил вновь — та же история. После пятого карасика насадки — безголового слепня — не стало.

— Сейчас я тебе добуду насадку, — сказал подошедший Веня, — дай картуз!

Пока Шурка ловил слепня, пришел Веня и протянул фуражку:

— Попробуй муравьиные личинки.

Шурка попробовал: такая же поклевка — и как отмеренный, в ладошку, карасик затрепыхался на траве.

— Тут кто-то хорошо приманивает, — догадался Шурка, — нормальная рыбалка.

— Это разве рыбалка... вот в Сибири — это да! — отозвался Веня.

— А откуда ты знаешь?

— Дядька мой пишет.

— Он в Сибири?

— Да, с сорок первого года. Теперь уже давно освободился.

— Он сидел?

— Да, теперь женился давно, там и живет.

— А за что сидел? — допытывался Шурка, вспомнив про Жабина, как тот забрался в дом к Пупчихе.

— Ерунда, снял с трактора магнето — поковыряться для интереса, ну, в поле, когда со стана шел. Оно ему и не нужно было. По дураости сделал.

— Ничего себе!

Много всякого увидел и услышал Шурка на этих делянках. Поразил его один разговор, который он нечаянно услышал. Не все уходили ночевать в село, по разным причинам многие оставались на делянке, спали в шалашах из веток и травы, под огромной, толщиной в четыре Шуркиных объёма, ветлой. В один из таких вечеров Шурка пошел в дальний конец озера посмотреть на уток, которые на зорьке слетались сюда. Ему нравилось за ними наблюдать. Уток почему-то не было, и он решил подождать, присев у небольшой копны, метрах в пяти от берега.

Солнце уже опустилось ниже могучих вязов, росших близко у воды на той стороне, и его лучи, пробиваясь сквозь листву, освещали задумчивую гладь озера, Шурку вместе с копной и весь берег, томно и разнеженно притихнувший после жаркого дня. Противоположный берег и гладь воды там, под вязами, были сумрачны и таинственны.

Слева от Шурки послышались шаги, а потом и голоса. Он узнал обеих говоривших: Аксюта Васяева и Ганя Лужкова! Он выглянул было и обомлел: они раздевались, намереваясь, очевидно, купаться.

— Ох, и красивая ты, Ганя, внаготку, — сказала восхищенно Аксюта.

— Красивая-то красивая... — задумчиво ответила Ганя. — Красота-то меня и ухоркала.

— Как так? — удивилась Аксюта.

Шурка вновь выглянул и поразился увиденному: на берегу стояли две совершенно голые молодые женщины. У него странно закружилась голова.

Молодая, пышущая здоровьем Аксюта стояла ближе к Шурке, белое ее тело, освещенное закатным солнцем, вызывало невольный восторг.казалось, каждая рыжая волосинка на ее теле была обласкана вечерним светом. Грудь ее, круглые и большие, вмиг начали исполнять какие-то свои замысловатые движения, когда она, подняв руки к небу, дурачась, встряхнулась всем телом и заиграла кистями рук.

— Как может красота ухоркать? — переспросила она, семена на одном месте ногами.

Ганю всю Шурка не увидел. Ее закрывала своим мощным корпусом Аксюта, но он отметил, как разительно они отличаются друг от друга. У Гани были узенькие плечи и крепкие, шире плеч, округлые бедра. Смуг-

лая кожа делала ее похожей на статую богини. Нездешняя красота Гани была таинственна и холодновата.

— Может, — отозвалась Ганя. — У меня жених уже был, и вдруг Николай появился. Инструктором райкома партии начал у нас работать, а я — секретарем райкома комсомола. Красивый он был, ладный такой. Ухажеров у меня было! А он всех отбил.

Она вошла по грудь в воду и, ойкнув, притихла.

Шурка прижался к копне, боясь, что его увидят. Он не знал, как поступить. Разговор продолжался.

— Я и раньше замечала: странно он ходит как-то, легко и в то же время на левую ногу вроде припадает. Но ничего не говорил, скрывал до времени. Оказалось, ранение у него было, в колено, а потом началось... Отрезали ему ногу чуть не всю. И закатилось мое счастье-то. Жена инвалида. А он еще и запил.

— А мне хоть хроменького, но молоденького бы муженька, — вздохнула Аксюта.

— У тебя все впереди.

— Ага, — с готовностью вроде бы согласилась Аксюта. А потом добавила: — А позади-то уже чуть не тридцать годков.

— Угробила я сама себя, за него вышла, как помutilась голова. Ведь какие вокруг меня парнины были! Дура я, — продолжала Ганя.

— Что ты говоришь, — ахнула Аксюта, — разве можно так? Он тебя любит?

— А куда ему деваться-то с культей, — зло сказала Ганя и саженьками по-мужски поплыла на середину озера.

Аксюта сложила рупором ладони и прокричала как бы украдкой (боялась, наверное, что их кто-нибудь обнаружит голыми в озере), как мальчишка, обращаясь к кому-то на противоположном берегу:

— Кто украл хомуты?

И эхо тут же ответило:

— Ты, ты, ты...

Аксюта хихикнула довольно и не спеша пошла к воде.

Вечерние лучи солнца ласкали ее крупное тело. И казалось, что это большая домашняя птица или огромный жаворонок, один из тех, которых они лепили с мамой из белотурошной муки весной, сейчас взмахнет руками-крыльями и попробует взлететь. На плечи ее упали золотистые волосы, а там, в самом низу живота, у Аксюты огоньком горел небольшой островок растительности.

«Разве такое бывает? — удивился Шурка, — рыжая везде вся!»

Его ошеломила красота и притягательность обнаженных женских тел. Такого с ним еще не было. С Аксютой и Ганей он встречался в день по несколько раз, но там они были в одежде, все в хлопотах, а здесь, оголившись сами, они вдруг обнажили перед Шуркой целую бездну ощущений. Он то проваливался куда-то, то вдруг видел, как органично они добавляли собой все вокруг, и он начинал недоумевать: как могла природа еще каких-то пять минут быть без них. То совершенно понятных и земных существ, то вдруг непостижимых, обескураживающих, заставляющих тихо сидеть, окунувшись лицом в теплый парной воздух над вечерней озерной водой с лилиями.

Греховных мыслей не было. Их просто не могло еще быть.

...Аксюта тем временем зашла чуть выше колен в воду и со смехом, поднимая крупные брызги, плюхнулась в воду. «Не перебабилась еще», — вспомнил он непонятное для него слово, услышанное за столом после помочей.

Шурка встал и, не скрываясь, пошел на стан. «Моя мама не такая, у нее язык не повернется так сказать, как сказала красивая Ганя, даже подумать не сможет», — для чего-то убеждал он себя.

ДВА ВАСИЛИЯ

— На-ка вот... Опять обмишурилась Варька-почтальониха. Шуркина мать протягивает почтовый конверт.

— Он же нераспечатанный, мам, — Шурка берет в руки серый с пятнами конверт.

— Ну и что, я вижу номер дома двадцать, а у нас — двадцать четыре, там и улица, значит, другая.

Шурка вслух читает: село Утевка, улица Садовая, дом двадцать, Василию Федоровичу Любаеву.

— Это нам, мам, все-таки!

— Да нет, грамотей, улица Садовая. Пойдешь за хлебом в магазин — занесешь.

— Ладно.

Василий Федорович, который живет на Садовой, и его полный тезка — Шуркин отец, живущий на Центральной, — родные братья. От того и путаница.

В гражданскую, когда молодой еще дядька Василий воевал у Чапаева, ранило его в легкое. Умирать приехал домой к матери своей Прасковье. Плохой был, и все решили, что он уже не жилец на этом свете. А тут у Прасковьи и Федора родился еще сын, вот и решили его назвать

Василием – в память о старшем умирающем сыне. Но старший выжил. Выжил и младший. Так у Любаевых стало два Василия, а отец Федор вскоре умер от непонятной болезни, поехав в Уральск за солью.

Когда Шурка пришел с письмом, хозяин дома сидел на пороге у сени и разбирал мокрую рыбацкую сетку, сын его Сергей тесал срубовину посредине двора. Щепки, освещенные майским ласковым солнцем, излучая теплый свет, отлетали в сторону гостя. Одна щепка упала лодочкой к Шуркиным ногам, как утица, закачалась с боку на бок и затихла, коричневенький сучочек как глаз уставился на Шурку внимательно и таинственно.

– Гость пришел! – зорко глянув на Шурку, крикнул дядя Василий. – Мать, давай нам аряны.

Вышла тетка Машурка с бидончиком кислого молока, разведенного холодной водой, который, очевидно, был у нее припасен заранее и хранился в темных сенцах.

– Держи. – Она вручила Шурке пол-литровую белую кружку с помятым краем и, помешав в бидончике большой деревянной ложкой, налила.

Шустрая оса села на край бидона, и Шурка замахнулся.

– Не тронь, она улетит, не злые они сейчас, – сказал дядька Василий и принял посудину из рук жены, аппетитно заработал кадыком.

– Ну, придудонился... Так нельзя, Вась, горло перехватит.

– Ничего, мать, не бойся, хорошо больно, – он ответил не сразу, а после того как напился и поставил подчеркнуто деловито бидончик на траву около своих ног.

– Лепота-то какая, а?!

– А что это такое, дядя Вася? – спросил Шурка.

– Что?

– Ну лепота?

– Красотища, значит, что же еще? Не понятно, что ли, чему вас только в школе учат, аль сам не чувствуешь?

– А почему обязательно сруб колодезный делают из ветлы? – перевел Шурка разговор в деловое русло.

– Не обязательно, – возразил дядька Василий, – но желательно из ветлы. Видишь ли, береза в земле не лежит, осина дает горький привкус воде, а ветла и в земле лежит долго, воды не портит, и вкус от нее лучше.

– А сруб куда?

– Как куда? Вам.

– Нам?

– Ну да. Брательник сказал: колодец в огороде будет делать.

– Вот здорово, – обрадовался Шурка.

Шурка смотрел на шуплую фигуру хозяина двора, на его прокуренные усы, неровные плечи, дырявые галоши на босу ногу, и ему не верилось что перед ним участник героических дел.

– Дядя Вась, а какой был Чапаев?

– Обнаковенный, какой... – сказал тот с ходу.

– Ну не может так быть!

– Заряженный был, понимаешь, – спохватился Василий, – понимаешь, заряд в нем большой был, большого калибра, пороху больше, чем у остальных, везде хотел быть главным, начальство сверху не любил.

– А сильный был?

– Нет, были здоровее мужики. – Помолчал, потом добавил: – Страху не ведал, али жизнь не ценил свою, а значит и чужие, не знаю, сразу не скажешь. Я в артиллерии был, нечасто его видел, но знал. В артиллерии попроще. А вот в кавалерии, брат, цельная наука. Жестокая наука.

– Почему жестокая?

– Конь обучен должен быть специально для кавалерийской атаки. Мой дружок Арсений из Осинок толк знал в этом деле. Рубака был зверский, но и он не сразу привык к резне.

– Разве бой – это резня?

– Надо уметь шашкой работать. Если казару развалить от ключицы до пояса – это одно, а если шашкой рубануть по голове – другое... мозги ажик с кровью вылетают с такой силой, что вся рука от кисти до плеча ими замазана. Арсений по первоначальному есть не мог после рубки несколько часов, а потом пообвыкся: даже руки не мыл – сел и за кусок хлеба. Все попеременно: и кровь, и хлеб.

Шурка стоял, прислонившись к завалинке, ошеломленный.

– Так было?

– А как иначе? Степи, дожди, смерть, вши, слякоть – это тебе не кино показать. Война – это пакость одна!

– А герои как же?

– Какие?

– Ну, в книгах, в кино опять?

Дядька Василий посмотрел на Шурку, непонятно улыбнулся, как бы сам себе, и ответил тоже вроде бы сам себе:

– Я про жизнь говорю, а не про кино.

– Дядя Вася, а где тебя ранило?

— Чудно ранило. Шальная навроде пуля, когда брали Белебей, в общей колготне. Когда Арсений привез меня в Утевку, я почти загибался. Но я жив, а он где-то в уральских степях лежит.

— И все?

— А что еще? Разыскал я семью Арсения чуть попозже. Беднота, она и есть беднота. Смотреть было больно. Ну ладно об этом балакать. Одна надежда на вас, вы у нас вырастите грамотными — глядишь, вылезем из грязи...

Возвращаясь из магазина с двумя буханками хлеба в сумке из кирзы, Шурка думал о последних словах дядьки Василия.

Сколько он себя помнил, всегда окружающие говорили: «Учитесь, а то всю жизнь, как мы, в грязи провозитесь...» Это стало каким-то всеобщим девизом и в школе, и дома, будто вся Шуркина деревня враз с его поколением заразилась вырваться из сельской жизни. Прорваться на другой уровень жизни: грамотный, чистый, достойный. Но когда он начинал вспоминать, сколько сильных красивых ребят, выучившись в школе, ушли в город и не вернулись назад, его охватывала досада: для грамотных, способных людей, получается, настоящая жизнь была на стороне, не в деревне, из нее надо было убежать и не вернуться. И это поощрялось родителями в открытую. Тогда как же с домом, с колодцем, со всем, что делается в деревне, — для кого это? Все временно выходит, не навсегда? За что же воевали дядька Василий, Арсений?

Он и в себе чувствовал огромную жажду учиться, безудержно влекло к театру, литературе. В сознании росло понимание, что должна где-то быть жизнь без пьянства, матюгов, непролазной грязи на улице. Убогость быта уже начала осознаваться, но она наталкивалась внутри Шурки на крепкую силу, название которой было пока ему недоступно, но была в ней несомненно обида и горечь за окружающее, кровное и родное, что держало так цепко в своих объятиях, что порой доходило до физического ощущения близости, связи кровной со всем, что дышит вокруг, говорит, поет, молчит, глядя большими глазами озер снизу, а сверху — бездонным летним небом, усыпанным пригоршнями хрустальных звезд, рассыпанных чьей-то щедрой рукой и покойно внимающих сверху вниз.

Он часто видел себя как бы со стороны в ватажке ребят, сидящих у рыбацкого костра на Самарке, то ли с восхищением, то ли с досадой, не понять, наблюдающих в ночи за вдруг ворвавшимся в ночное небо над головой реактивным самолетом — еще одним зримым доказательством того, что есть еще какая-то другая, с иными заботами, не похожими, наверное, на сельские, жизнь. Тревожащая и в то же время странно ма-

нящая. Где-то внутри Шурки, вовне ли его, он это чувствовал, работала какая-то сила, которая близила неминуемо прощание его со всем родным и близким. Было от этого тревожно и больно.

СУХОПУТНЫЙ ПУШКАРЬ

На сенокосе всегда что-нибудь происходит. Два года назад убило бастрыком Федьку — старшего сына Петянихи. Они перевозили с Митягой сено на полуторке. Осталась последняя ездка. При переезде через рытвину на ухабах мотор заглох — заднее колесо попало в глубокую сырую яму. Митяга и Федька стали помогать как могли — совали сено, бурьян в колею. Мотор натужно упирался, а когда грузовичок выскочил на твердь, так тряхануло весь воз с сеном, что схваченный сзади и спереди воза веревками бастрык не выдержал и лопнул посередине, выстрелив назад и вперед двумя осиновыми обломками. Стоявший сзади Федька получил удар по голове и скончался тут же.

Об этом забыли уже. Или просто молчат. Прошлым летом сенокосный стан был разбит на том же месте, где косили с Федей и где они с Шуркой часто вечером после изнуряющего жаркого дня около плеса сидели на вечерней зорьке на чирков... Шурка помнил сенокос прошлого года, как будто это было вчера: у костра что-то смешное рассказывал дядька Сережа из своей армейской жизни. Шурка лежал около припасенной для него дедом чашки. Когда дедушка снимал ведро с готовой «польской» сливной кашей, Шурка вскочил, намереваясь расправить завернувшийся угол одеяла, которое служило скатертью, и неволью, повернувшись, попал прямо под ведро. Ведро в руках деда наполовину опрокинулось, жидкая часть варева выплеснулась, и одуряющая боль обожгла Шурке спину. Дед снял с Шурки рубаху, и теперь он лежал на животе полуголый. Шурка крепился, хотя волдырь чуть ли не во всю спину.

И начались непривычные дни и хлопоты. Дед по несколько раз в день смазывал спину подсолнечным маслом. Подсолнечное масло — лекарство. Бутылку с этим лекарством дед отложил под рыдван, около логунка с дегтем, строго-настрого запретив использовать масло для еды.

— Хотя бы сам ел масло, а то как верблюд — в свой горб, то бишь в волдырь откладывает, — так выражает свое недовольство дядька Серега.

— И как обидно! Ему ведь тоже в рот не попадает, через кожу приходится впитывать — никакого удовольствия, — вторит дядька Леша.

Шурка с мольбой смотрит на дедушку. Остряки умолкают. Но чуть позже, растянувшись на разнотравье после еды, дядька Сережа тянул:

— А знаете, если бы мне такой волдырь на спину, я бы держался на воде как бог. Такой пузырь как спасательный круг! Красотища!

— Врите больше, — отмахивался Шурка.

Но в голове: пузырь!

Обидно, что самому нельзя посмотреть: какой он. Ведь намного же легче плавать с накаченной камерой? Может, завтра попробовать? Но его отрезвил голос деда:

— Шурка, ты уже большой, неужели всерьез слушаешь этих шалопаев? Не смей вообще купаться! Заразу занесешь — беда будет.

— Правильно, Шурка, не плавай, живи сухопутным пушкарем, — вставляет свое дядька Серега.

— Кем, кем? Каким пушкарем?

— Сухопутным, что непонятного-то?

— А что это такое? — удивился Шурка.

— А вот читать больше надо, — поучал Сергей.

— И плавать, — дополнил дядька Леня.

— Да ну вас...

— Что на вас нашло, какая муха укусила. — Дед сердито смотрит на сыновей. — Он больше вас обоих читает, я за глаза его боюсь уже давно, «Тихий Дон» проглотил за две недели.

Шурка благодарен деду, ему очень не хочется, чтобы эта кличка прилепилась к нему. Зовут же Женьку Чугунова «пожарником» с того дня, когда он в тесно набитом клубе, забравшись на лестницу у стены (негде было стоять) во время фильма «Тарзан», свалил нечаянно висевший огнетушитель, и тот, сработав, стал поливать ближние ряды зрителей. Под истошный бабий крик: «Пожар!» в темноте зала начались переполох и невыразимая давка. Напрасно завклубом успокаивал и призывал не паниковать. Могучей волной он был сметен и вынесен из зала, который в несколько минут оказался пустым. Только некоторое время спустя, когда выяснилась причина, зрители, нервно похохатывая, пошли досматривать кино. Но Генка с тех пор так и стал с чьей-то легкой руки «пожарником». Хоть застрелись!

У КУНАЕВА КЛЮЧА

Шуркины приятели заболели игрой в лянду. Вырезали из овчины кусок в виде пятака и пришивали к нему плоскую круглую свинчатку. Если у этого пятака шерсть длинная — лучше лянды не было. Играли просто: надо было подбросить лянду и, стоя на одной ноге, другой, обутой в валенок, тем местом, где шишечка, бить по оперенной овечьей шерстью

свинчатке, не давая ей упасть на пол. Ей положено летать: вверх-вниз, вниз-вверх. Надо было набрать наибольшее число ударов.

У Мишки получалось до двадцати. Он — чемпион улицы.

На прошлой неделе, когда играли вечером у Лашманкиных, Мишка попросил Шурку показать, как рыбачат на подуста:

— Мне просто интересно, наши никто не умеют с лодки, а у тебя наука от Головачевых, все говорят. Про дядьку твоего, Алексея, знаешь, как говорят?

— Нет.

— Толкуют, что он рыбу в колодце, если надо, наловит.

...Три дня назад они пригнали из-под Платово, с Коровьих ям, плоскодонку, ее оставил там, когда в последний раз рыбачил, дядька Алексей. Приковали лодку цепью чуть выше Ледянки.

И вот настал день, когда они отправились на рыбалку. До Самарки добрались вовремя, было еще только четыре часа. Остро пахло прохладным песком и мокрыми лопухами. Не торопясь Шурка откопал из песка весло и два осинового кола, которые он заранее припас. На реке никого не было. Это ему понравилось. Было еще темновато, но Шурка знал как это быстро проходит утром, в это время, и поэтому торопился; надо вовремя определить место.

— Ну что, Миш, давай с этой стороны, на перекате встанем.

— А может, с той, под обрывом, там течение спокойнее, — предложил приятель.

— Да нет, там мелкая плотва замучает, а нужен подуст, верно? На перекате наверняка будет.

— Ага, — охотно согласился Мишка.

На быстром течении надо уметь ставить кол для перетяга, это делает не каждый, поэтому Шурка все исполнил молча сам. Мишка только смотрел.

Направив лодку строго носом против течения, он быстро опустил кол в воду под углом по течению и, нащупав им песчаное дно, упирая стал расшатывать его из стороны в сторону. Течение успело повернуть нос лодки поперек реки, но кол уже засосало.

Скупые и размеренные движения Шурки Мишка оценил и смотрел на все зорко — учился.

То же проделал Шурка и со вторым колом. Привязать бечеву между кольями и установить лодку ровно поперек реки, чтобы удобнее было пускать поплавки, было уже менее сложно.

— Миш, ты где будешь сидеть, на носу или на лавке?

— На лавке лучше!

– Верно, на носу без конца будешь греметь цепью, а подуст очень пугливый, ведь глубина всего полтора метра, – пояснил Шурка. – На, разматывай удочки, обе, а я быстренько разберусь с приманным мешочком.

Мишка с готовностью подчинился. Шурка ловко намочил отруби прямо на дне лодки, скупко поливая из консервной банки воду, чтобы не разводить лишней грязи, и набил вязаный в мелкую ячейку приманный мешочек. Когда опускал за борт, на дно, муть от отрубей белым ручейком пошла от лодки по течению. Это Шурке понравилось.

Становилось уже светло, но солнечных лучей не было. Их скрывал большой лес с правой стороны, на круче.

– Все, Мишка, теперь вот мерником, – он протянул гайку с петелькой из ниток, – точно надо замерить дно, выставить поплавки и все. Только тихо, грузилом по лодке не стучать – распугаешь рыбу.

Насадив дождевого червя, Шурка левой рукой тихо опустил грузило в воду, чуть левее бечевки, на которой был привязан приманный мешочек. Поплавок, на миг задержавшись под бортом лодки, пошел быстро по течению.

У Мишки клюнуло, едва его поплавок достиг половины пути, отпущенного ему длиной лески. Он дернул прямо на себя: подуст, вылетевший из воды, ударился о борт лодки и сорвался в воду. На крючке осталась часть губы.

– Ты не так дергай, Мишка, – проговорил вполголоса Шурка. – А то ты всем губы тут пообрываешь, сейчас крупнее пойдет.

– А как?

– Вначале, когда поплавок в воде, дергай нормально, а потом сразу вбок веди, когда зацепил, и по воде подтаскивай к лодке, около нее левой рукой, около грузила, хватай леску – и в лодку.

Сноровистый Мишка все понял, и вскоре у его ног в лодке лежали три подуста, каждый с карандаш длиной.

– Шурк, а верно, подуст похож больше всего на голавля, только будто кто ему каким молоточком в морду дал – и у него так губа ровно сплющилась, а?

Шуркин поплавок бодро ушел под воду, он дернул, и в его руке притих серебристый подуст.

– Твой крупнее, – позавидовал Мишка.

– Сейчас пойдут как отмеренные, ровные, хорошо сели мы с тобой. Только бросай ближе к приманке.

В азарте рыбаки и не заметили, как дно лодки под босыми ногами стало белеть. Лучи солнца пробились через темный лес, но под кручей еще была прохлада.

Было тихо и покойно вокруг. Лишь кукушка в осиннике на левом берегу, два раза перелетев с места на место, напомнила о себе. Тишину нарушил сразу и на всю Самарку Семен Топорков. Он внезапно появился с удочкой на левом берегу, чуть пониже рыбаков, и начал быстро раздеваться. Видно было: он намеревался перебраться на другой берег, чтобы порыбачить на язя. Он – язятник.

Раздевшись догола, Семен вошел в воду по пояс и сразу окунулся с головой. Когда вынырнул, крикнул так, что раздалось на всю полусонную округу. Держа в левой руке одежду над головой, он поплыл.

– Ох, ох, хороша, ну хороша! Послушай: хороша, а! – говорил он то ли себе, то ли обращаясь напрямую к Самарке.

– Ну молодчина, а... ох... ох-хо... чудо, спасибо!

Он переплыл Самарку, положил одежду и вновь начал плескаться в воде на отмели.

Радовался и разговаривал как ребенок:

– Послушай, все дно золотое видно...а? Такая ласковая, ну спасибо, ну молодчина!

Рыбачков закрывала большая ветловая коряжина на воде, Топорков их не видел и наслаждался еще и тем, что был один при такой красоте.

– Расхулиганился наш милиционер, – усмехнулся Мишка, – такая верста, а как пацан.

Топорков тем временем вышел по пояс из воды, и его мощное крупное загорелое тело заиграло под утренними лучами солнца. Он был такой же, как Самарка, расцвеченная на отмели золотистыми песчаными берегами и темным дном. Они дополняли друг друга.

Топорков постоял под солнцем и опять с брызгами уронил себя в воду.

– Разворковался, как с девкой, – густым басом неожиданно донеслось из кустов напротив Топоркова.

– Ага, как с девкой, точно! – согласился Степан. – Ты, Сарайкин, откуда взялся?

– Бахчи караулю у Кривой ветлы, услышал тебя, пойду, думаю, стрельну курева, у меня кончилось.

– Подожди малость, я сейчас!

Сарайкин продолжал:

– Ты скажи про братана моего: из Чапаевска что есть нового?

– Судить скоро будут его, понял?

— Чего же не понять. Как думаешь, много дадут? — глухо спросил Сарайкин.

— Еще бы, судью на улице избить — десяток лет схлопочет, это точно.

Топорков вышел на берег и запрыгал на одной ноге.

— Бры... ры... бры... ыы, хорошо как!

Поднял одежду и стал в ней копошиться, очевидно, искал папиросы.

Солнце показалось из-за леса. Лучи его упали и на рыбаков. Стало жарко. Поклевки пошли реже, и Шурка предложил позавтракать.

Сидя на носу с огромным надкушенным помидором и горбушкой хлеба, Мишка поинтересовался:

— Я знаю, вы с дедом отводом рыбачите на щук, да?

— Да, но не на щук, а вообще. Правда, попадает больше щук.

— После раздополя?

— Да нет, наоборот, когда только начнется ледоход, большой воды еще нет, рыба вся жметя к берегу, вот бреднем ее и бери.

— А как, вода же холодная?

— Дед к кляче, которая идет в глуби, прибывает брусочек с гнездом, в него вставляют большой, метров шесть, тонкий шест. Этим шестом один человек отталкивает клячу от берега в глубину с берега, а другой, который идет рядом впереди, тянет по течению за веревку, привязанную к кляче.

— А вторая кляча? — допытывался Мишка.

— А что вторая? Ее тащишь около берега в сапогах.

— Ловко! — оценил Мишка, — это твой дед придумал?

— Да нет, он говорит, что еще со своим дедом так рыбачил.

Перегнувшись через борт, смешно вытянув губы трубочкой, Мишка попытался напиться.

Шурка ему помог: чуть качнул лодку, и лицо приятеля по уши ушло в воду.

Едва откашлявшись, Мишка громко и задорно засмеялся. Когда кончил смеяться, спросил:

— Шурк, отводом рыбачить пригласишь?

— Это же весной, в апреле, когда зазоры на Самарке пройдут, потом...

— Ну и что? Я подожду, — сказал бодро приятель.

— Ладно, — немножко важничая, пообещал Шурка.

ВОРОНЯЖКА

Это ягода не ягода, сорняк не сорняк. Растет сама по себе. Только взойдет картошка, она тут как тут. И, начиная первую прополку, иногда легко спутать ее с молодой лебедой, когда торчит она из теплой благодатно пахнущей огородной земли всего лишь двумя-тремя листочками. Но не тут-то было, матушка Шурки зорко ее высмотрит и после прополки, она на равных останется стоять рядышком с листочками картошки. Цветет вороняжка так же неярко, как и картошка, цветочки у нее намного меньше, незаметнее. Ягоды ее, если с чем-то сравнивать по внешнему виду, когда спелые, может быть, похожи на смородину, но только внешне, такой же величины, темно-синего цвета, но мягкие и легко в руках мнущиеся.

В знойный летний день, когда еще ни одной ягоды нет ни в огороде, ни в лесу готовой к употреблению, вот она вам – мальчишеская утеха и радость: вороняжка. Правда, ее зовут часто по-другому: «бзника». Шурка всегда конфузится, когда слышит это слово, и так не говорит, недоумевая, почему все взрослые, женщины, учителя – все зовут ее так. А бывает еще удивительнее: попадаются ягоды вроде бы неспелые, не черные, но белесые, изнутри светящиеся теплом и зрелостью – они вкуснее самых черных и броских на вид.

Приятно, прибежав на огород, упасть меж кустов вороняжки и, срывая налившиеся соком ягоды, отправлять в рот. Но ягоды ее, висящие гроздьями близко от земли, которая всегда в огороде мягкая и легкая, часто в земляной пыли, и поэтому есть их приходится не каждую. Другое дело, когда Шуркина матушка, быстрая и ловкая, проворно насобирав миску вороняжки, ставит ее, помытую холодной водой и посыпанную сахаром, на стол – не оттащишь за уши! Но самое прекрасное то, что можно приготовить из нее вареники. Вареники с вороняжкой! Они бывали разные: когда горячие, их обжигающий аромат, соединенный с холодным молоком, возбуждал и дразнил. Холодные, они становились так вкусны и аппетитны, что Шурка их ел с большей охотой, чем все то, что матушка его могла только с присущей ей ловкостью и быстротой приготовить и в свое удовольствие угостить...

Шуркины школьные друзья, когда у него бывали, с нетерпением ждали таких вареников.

...Лето в разгаре. Когда Шурке прибежал утром в огород с ведром за водой, с разных углов уже выглядывали неяркие, но светлые глазки. Они высматривали его...

ШУРКИН КОЛОДЕЦ

— Раз уж мы затеяли дела с домом, то надо и остальное подтягивать, — рассуждает вслух Шуркин отец.

— Что остальное-то? Поберегись немного, — Катерина говорит голосом твердым, а в глазах радость и одобрение.

— А я на вас с Шуркой рассчитываю. — Отец отложил шило в сторону, оставив зажатым валенок между коленями, ловко намылил дратву и весело подмигнул: — Колодец надо копать: и пить надо, и огород поливать. Без воды — никуда. А будет колодец — разведем сад; вишню, яблони, смородину... Мать, что примолкла? А то во всем селе яблони только у Светика и Карпуна. Увидите, как все подхватят.

— Не примолкла я, вспомнила, какая тут на задах до войны вишня была, все белым-бело было. А сейчас как и не было ничего, — вздохнула она, смахивая гусиным крылом сор с шестка.

— Шурка, и ты почему-то молчишь? Неужто не веришь, что сад разведем?

— Пап, я не знаю, как мы будем копать колодец, — сказал Шурка и покраснел, ему очень не хотелось, чтобы отец подумал, что он трусит, просто дело-то необычное.

Но отец не отступал:

— Во-первых, схитрим: будем копать внизу огорода, там до воды метра четыре, чуёт мое сердце, во-вторых, я Федрыча попросил уже какой-никакой сруб приготовить — поможет.

— Никак сговорились уже, — покачала головой Шуркина мать.

...Отец отбил и наточил лопаты: две штыковые и одну совковую, приготовил три жерди, выдернув их из городьбы за сараем.

— Пап, а это зачем? — удивился Шурка.

— А как же ты землю будешь с глубины выкидывать? Настелим полати, сначала на них, а потом с них уже наружу. Через метр ведь уж глина пойдет.

...Работа вначале пошла споро. Мать всегда умела работать шустро и весело.

— Василий, а вдруг хлопыстнет струя, ты нас и не спасешь, готовь веревку — вытаскивать будешь. Аль не будешь?

— Хлопыстнет... жди... Больно горячая, глубины-то еще воробью по пупок.

Шурке от таких шуток родителей было легче копать. Ему нравилась манера отца сказать как все, но немножко поправить по-своему, чтобы становилось интереснее. Ведь любой бы сказал: воробью по колено, а

только его отец сказал: по пупок. Он подумал так и невольно хихикнул.

— Что, Шурка, боишься на Америку выскочить?

— Нет, пап.

— А что?

— Боюсь промахнуться — мимо Америки проскочить.

— Ты вот что, — сказал отец, — не бери так помногу, это земля, надорваться можно, понял? Понемногу и размеренней,

— Ничего, пап, не будет.

— Я тебе сказал, а то кишка вылезет — будешь знать.

...Работа пошла еще более ходко, когда вечером на третий день пришел дядька Сережа. Он высокий, и поэтому ему можно выкидывать глину сразу наверх, не переваливая на полати, а потом с них наружу — двойная работа! Шурке нравилось все в дяде Сереже: и как он работает, и как дурачится для настроения.

— Вон Левый рассказывал: когда поисковые работы были около Кулешовки... Ну искали нефть, пробурили разок в одном месте, а потом на второй день стали вынимать трубы. — Серега для передышки завел историю, — ну и вынули!

— Что вынули-то? — не выдерживает Шурка.

— А то вынули, — отвечает неспешно Сергей, — непонятное что-то. Похожее на какие-то рога, привязанные на цветную бечевку. Все открылось, когда бабка Прасковья в поисках своей козы зашла на буровую.

— Что?

— А то вот. Оказалось, бур споткнулся о скалу в земле, повернул и вышел у бабки Прасковьи в огороде на метр в высоту. Буровики как раз дело до завтра оставили. А бабка, выйдя в огород, подумала, что это дед такой хороший кол вбил, чтобы Маньку привязывать. И привязала сослепу свою козу.

— И что дальше?

— Буровики стали вынимать бур... И вынули вместе с рогами. Крепко бабка привязала, видать, свою Маньку. — Пояснил так серьезно и степенно дядька, что стало похоже на то, будто сам поверил в свою историю, хлопнул ладонью по колену: — Только по цветной бабкиной привязи и опознали Манькины рога.

— Будет тебе врать-то, — сказала Шуркина мать. Сама громко засмеялась. — Ты вот скажи, брательник, откуда в тебе этих всяких историй на каждый случай жизни, а?

— А зачем тебе это? — удивился Сережа.

— А вот интересно мне. Со всеми случается разное, а с тобой чаще всех.

— Очень даже просто!

— Ну откуда?

— Просто самое интересное чаще всего происходит там, где почему-то нахожусь я.

— А еще потому, что любишь бодяжничать, — добавила Катерина. — Рубаху-то сними, а то всю загваздал глиной, я потом простирну.

На следующий день, после того как приходил помогать дядька Сережа, мать Шурки и вправду чуть не утонула. Она ударила в очередной раз в углу в твердую глину ломом, и оттуда начал бить родник. Быстро сбегали за стариком Остроуховым, принесли готовый «детеньш», и мужики начали его устанавливать. И тут пробил родник в самом центре.

— Катерина, ты напала на жилу, удачливая какая, — сказал Остроухов. — Сколько колодцев я вырыл на своем веку, а этот будет лучшим, помани мое слово. Все будут ходить за водой, надоедать будут.

— А мы для того и рыли, чтобы, кому надо, ходили за водой, правда, Шурка?

Шурка посмотрел на мать, лицо ее светилось. Маленькая, ниже его ростом, в сереньком в цветочек платье и измазанных глиной галошах, она была живее и красивее всех. И главное всех.

— Отец, а отец... назовем давай наш колодец Шуркиным, а то: Зинин колодец есть, Нестеркин колодец есть...

— Ну, мам... — собрался возразить Шурка.

Но отец опередил:

— Мне нравится, давайте так и назовем!

Шурка заметил, как обрадовалась своей придумке его мать. И как она благодарно посмотрела на отца, и они оба заулыбались чему-то своему общему и дорогому для них.

За плетнем, со стороны Лаптаевых, появился Мишка. Он знал, что нравится отцу Шурки, поэтому уверенно пробасил:

— Дядь Вась, кулешата приехали, футбольная команда, а Чугунок Вовка заболел, без Шурки никак.

— Правда, что ли? Это они на стадионе шумят? — повернулся отец к Шурке.

— Да, пап, первенство района среди школьников.

— Ну давай, раз так.

Не стовариваясь, Мишка и Шурка рысцой, шутя лавируя меж коровьих лепешек, припустили на стадион. По пути Шурка заскочил во двор деда, на чердаке мазанки набил полные карманы сушеной мелкой густерой, со-

рожкой, плотвой — это было как семечки. Когда вышел за ворота, кроме Мишки ожидали еще двое посыльных. На ходу теребя сушеную рыбешку, ребята заторопились на стадион.

НОЧНОЙ РАЗГОВОР

Ночь. Летняя, душная. Повозка запряжена парой. На возу в летнем разнотравье Шуркин дед, Шурка и дядька Михаил — низкорослый, удивительно сильный, отчаянно резкий и смелый человек — отец Петьки Стрепетка.

Вспоминали гражданскую войну. Михаил рассказывал, как он, то ли в девятнадцатом, то ли в двадцатом году удрал с курсов красных командиров.

— Дядя Миша, — вмешался Шурка, — это дезертирство?!

— Ага, — беззаботно согласился тот.

Шурка решил до конца прояснить мучивший его вопрос, ведь вот сидят с ним на возу два очень своих, хороших человека. И оба — дезертиры. Только один убежал от белых, другой от красных.

— Дядя Миша, но ты мог бы стать командиром, как Чапаев?!

Дядя Миша повернул свое скуластое с рысьими глазами лицо к Шурке, и тот чувствует всей кожей своей остроту его взгляда в темноте.

— Ага, мог бы, а потом рубил бы таким мужикам, как твой дед-единоличник, шеи. И в конце концов моя голова улетела бы вон в те кусты. А сейчас как-никак сено кошу, на звезды смотрю. Кому от этого вред, а?! Никому жизнь не коверкаю.

— Михайло, стоп машина, — вмешался дед Шурки не сразу понятой для внука фразой, — больно ты разговорился, ни к чему это.

— Мы же в лесу...

— Все равно. Слепая сила, но слух у нее отменный...

— Тогда я петь начну, едрен корень. Это разрешено?

Шурке непонятен лаконичный диалог взрослых его спутников. Какая сила? Где она? Он злился на самого себя от непонимания происходящего. «Как же так, — думал он, — мой любимый дедушка почему-то единоличник, не колхозник. Дядя Миша — мой кумир — и того хуже: дезертир». Мир распадался на части от таких вопросов, и Шурке становилось не по себе. Но так длилось недолго. Уже через несколько минут он забыл неожиданный непонятный разговор, замороженный чистым и красивым голосом дяди Миши, вдруг оказавшимся в песне таким грустным и даже печальным... И если его что и волновало под звуки песни в ночи, когда он смотрел в широкое ночное звездное небо, так это то, как они

будут съезжать с крутой горы у поселка Красная Самарка на мост через реку.

Из-за крутизны берега обычно в этом месте лошадь брали под уздцы, в спицы задних колес рыдвана вставляли черенок от вил, и юзом, не спеша, оставляя глубокие следы в желтом мокром песке, пытались попасть на узкий скрипучий мост. Шурка озирался на возу, смотрел: вил не было. Темная ночь, да еще мерин Карий, ослепший недавно на один глаз, постоянно забирал влево так настойчиво, что правую вожжу приходилось держать натянутой, отчего быстро уставала рука. Да и меренок Цыган, семенявший в паре, часто от этого сбивался. Но вожжи были в руках дяди Миши. Такого уверенного и прочного, и Шурке казалось, что все будет как надо...

И все-таки было жутковато: а вдруг рванет дремучая лошадиная сила Карего сослепу в сторону... и пошло, поехало...

ТЯГОМОТИНА

То, что колодец вырыт, — не значит конец всем делам. Сердце у Шурки екнуло, он только начал собираться на рыбалку в компании с Мишкой и Женькой Ресновым, а тут голос отца за спиной:

— Шурка, прекращай шалберничать, надо те три лесины, которые лежат на задах, ошкурить.

Три большущих осокоря вчера притащил волоком на тракторе Яндаев, вспоров по пути в переулке на гати залежи золы и мусора. Осокори надо еще «расхетать», как говорит отец, то есть распилить на бревна, обрубить сучки. Отец торопится, хочет все делать одновременно. Надо, чтобы дерево подсохло и можно было везти на пилораму. Обычное дело: как на рыбалку собрался — так возникает отцовское задание, словно нарочно. Неудобно перед ребятами — Шурка их подводил уже, ведь он главный в рыбацких затеях. Он пошел в мастерскую, взял топор, остро наточенный отцом и грустный зашагал на зады к осокорям. Сел на прохладный с матовым оттенком, как у свинца, большой рычаг-сучок. Было удобно, дерево такое массивное, что его трудно раскачать.

Невольно вспоминались стихи, которые он сочинил совсем недавно, после такой же примерно истории и которые еще никому не показывал, даже дядьке Сергею:

Жарко

Перекасти-поле по пыли

Катится вприпрыжку,

Дремлет стая сизарей

На пожарной вышке.
 Не шумаркнет, тихо все.
 Льетса зной тягучий,
 Пар клубится целый день
 Над навозной кучей.
 Но смотри, смотри – растет
 Тучка над детсадом.
 Эх, на речку бы сейчас!
 Да работать надо.

С некоторых пор, особенно после разговора с дядькой Сережей, стихи часто стали получаться у Шурки. Он иногда даже не знал, что с этим делать. В самый неподходящий момент: на прополке, на стадионе, на рыбалке – везде, где нужна сноровка, на Шурку находило состояние, когда он отвлекался от всего постороннего и уходил в себя.

– Ты какой-то рахманный стал, Шурка, рохлей, – сказала один раз ему мать.

– Влюбился поди, – высказала догадку бабушка Груня и засмеялась. – Пройдет, это такой возраст,

«Такой возраст, – повторил про себя Шурка, – какой возраст? Я ведь и не влюбился вовсе!» И вдруг обожгла другая мысль: «Значит уже положено влюбиться, и в этом нет ничего плохого, хотя еще не взрослый».

Пришли Мишка с Венькой с Приказного озера, где копали червей.

– Во, – сказал Мишка, – с ночевой хватит.

– С ночевой, – повторил Шурка, – а вот этого, – он показал на дерево под собой, – до завтра мне хватит.

– Что, как всегда боевое задание, – скорее подтвердил, чем спросил Венька.

– Угу, – мотнул головой Шурка.

– Вот это тягомотина! – выдохнул Мишка.

– Ерунда, – сказал Венька и как-то по-полководчески, поставив ногу на сучок, оглядел район действий. – Три дерева всего? – спросил он, ни к кому не обращаясь. – Три, – подтвердил он сам себе, – значит по одному на нос. Будем тянуть тройной тягой!

– Чего? – спросил Мишка.

– Ну ты же говоришь – тяга Мотина, а я говорю – тяга наша, троих, а не одного Мотина.

Шурка вспомнил дядьку Мотина, жившего на дальнем краю села, который развозил на дрожках горючее по полевым станам, его вечно понурю лошаденку, похожую на слепую Карюху, которая крутит колесо на

ческие шерсти в промкомбинате, самого Мотина — сонного и полупьяного, и ему стало почему-то весело.

«Тяга Мотина, — придумал же Венька в очередной раз штуковину какую. Откуда у него это?»

— Шурк, давай еще два топора, до обеда сделаем и мотнем с ночевой. Че раскис? А лучше: тащи лопаты, ими хорошо шкурить, я знаю.

— Сейчас! — Шурка метнулся к отцу, обрадованный таким поворотом дел. «Только бы Янин сегодня не успел и не приволок еще штуки три таких с делянки. Тогда никакая тройная тяга не поможет, — подумал Шурка на бегу, — а так мы быстро управимся и вечером будем на Ледянке, может, на сомят посидим».

В ГРОЗУ

— Смотри-ка, рона, бороньим зубом махнуло, — не то восхищенно, не то опасливо сказал дед Иван, показывая на огромный росчерк молнии над головой.

Не успел Шурка переспросить, как вслед за ярким светом грохнуло над головой так, что вздрогнула земля, а на небо стало страшно смотреть. На том берегу Самарки полыхнуло пламя — одиноко стоящий вяз враз надломился пополам и загорелся.

— Во дела, а я думал стороной пронесет. Сергей, мерекать? Беги к Ракчеевым на стан, они у Кривой ветлы чилигу режут, веники вяжут, попроси бредень, если они сами не будут рыбачить. Красота в грозу-то водить, непременно с уловом будем.

Серегу не надо просить дважды. Толкнул лодку — и на той стороне.

— В грозу, как и в ледоход, вся рыба к берегу жметя.

— А почему так? — Шурка удивленно смотрел, как после каждого удара грома мелкая рыба выпрыгивает над водой.

— Ну, Илья-пророк разошелся, — пристально взглянув на небо, произнес дедушка.

— Какой Илья? — тут же переспросил Шурка.

— Как какой? Заведующий небесными делами.

— Деда, ты веришь в Бога? — Шурка спросил и сам испугался своего вопроса, а может быть, ответа, который непонятно как потом что-то обязательно изменит в Шурке.

— Верь не верь, а что-то вокруг нас есть такое, что нам не дано понять.

— А что вокруг нас?

– Все, кто умер, – просто и с какой-то легкой решительностью сказал дедушка, – души их вокруг нас всех, и они мучаются. Вдруг это так?

– От того, что кто в аду, кто в раю, да? – выдохнул Шурка.

– И от этого, но я о другом. Они не могут нам сказать, что загробная жизнь есть, они не могут нам доказать, а мы не верим в их жизнь. Вот так и живем как бы на разных берегах, они нас видят, хотят помочь нам, хотят неразумность нашу поправить, подсказать задним умом, как надо правильнее жить, а не могут. Они видят, а мы слепы. В этом наша беда, может. Ну-ка, Шурка, давай уйдем подальше от стана, а то тут железа много: коса, телега... не быть бы беде, видишь, как молния-то бьет!

Они встали и ушли по отмели к красноталу. Отсюда сверху реку можно было видеть всю в ширину – до противоположного берега. Напротив, еле-еле в темноте густого леса, угадывался Кунаев ключ, летом пересыхавший, но хранивший в себе сумрачность, заболоченность и великое множество комаров. Но это Шуркой не воспринималось как враждебность Ключа к людям. В нем было много и щедрот – черной смородины и ежевики.

– Летось, вот в такую же пору, Авдей шел с вилами вечером с поля: ахнуло по железным вилам – и нет Авдея, бабенкам хоть бы хны, а он лежит почерневший весь. Одногодок мой, вместе в Царицыне служили в царской еще армии, вместе ушли домой. Так вот.

– Деда, зря, выходит, мы два дня старались с перетягами-то, сом уж точно сегодня на охоту не выйдет, а?

– Наверняка так. Не повезло нам.

Два дня назад они с дедом двумя перетягами перегородили в двух местах Самарку так, что яма, из которой выходил на плес сом, оказалась между ними. Сом приметил недели две назад Серега и подбил отца, пока сенокос здесь рядом у Самарки, попробовать счастья. У деда в погребнице всегда висели плетеные из суровых ниток, толстые в карандаш и длиной в метр, поводки. Крючки были самодельные из пружин от сиденья велосипеда, откованные покровским кузнецом. Еще засветло вчера в намеченном месте были воткнуты колья, и две перетяги заняли свое место, шумно хлопая бечевою по речной глади. Чуть позже, уже в сумерках, Серега ненадолго отлучился и принес в ведре с водой мелочь: сорожку, карасей. Оказывается, в старице заблаговременно была поставлена сетка. Наживку поехали ставить втроем, и Шурка, сидя на носу лодки, видел все таинство действия.

Бечеву пропустили через нос и корму, лодку течением потянуло вниз, перетяга поднялась над водой и, натянувшись как тетива, держала лодку поперек течения реки.

Не спеша прямо в лодке дедушка ловкими движениями привязывал поводок к перетяге. Сережка насаживал живца, бережно и одновременно решительно прокалывал крючком чуть ниже спинного плавника. Четырех самых больших карасей, по полкило каждый, по два на перетягу поставили в самом глубоком месте — в десятке метров от противоположного берега. Получилось по пятнадцать поводков на каждой перетяге. Совсем уже ночью Серега поджарил на углях ворону и тоже нацепил на поводок.

— Для запаха, и вообще, — он щелкнул языком, — только ленивый чудак не возьмет нашу наживу.

Но сом не брал. Он вообще лишь в первый вечер дал о себе знать один раз: так ухнул меж двумя перетягами, что мелочь шарахнулась в разные стороны. И все. Будто засвидетельствовал свое присутствие, а там как хотите. Вторые сутки нажива была не тронута.

— Теперь понятно, почему сом не гуляет, — нарушил тишину дедушка.

— Почему? — торопливо подхватил Шурка.

— Ты же видишь погода какая разгулялась. Не по его натуре. Напрасны наши труды. Он не выйдет на охоту, ему нужна светлая, спокойная ночь. Обычно сома ждут три ночи. Если не выйдет охотиться, на то обязательно своя причина.

Бороний зуб, про который говорил дедушка, так снова царапнул по небу, что оно как будто все загорелось от этой спички, и враз все содержимое внутри этого большого и необъятного пространства, заключенного в обычно покойную днем оболочку, рванулась со светом и чуть запоздало звуком вниз на землю: на Самарку, рыдван, Карего, который рванул с места, и стреноженный, громко заржал. И из этого ада, из невероятной череды яркого света и густой тьмы появился Серега с бреднем на плече:

— Живы?

— Как Ракчевы там?

— Хотели сами рыбачить, да тетя Мариша не разрешила, боится за них. Пошли? А то уйдет гроза.

— Мне кажется, что уже уходит в сторону Кротовки.

Шурке и хотелось попробовать порыбачить, и все-таки не верилось, что дед решится.

— Держи, Шурка, мешок, будешь рыбу собирать, а ты Сергей вглуби пойдешь?

— А чего мне, пойду, — Сергей шагнул к воде.

Быстро размотали бредень, расправили мотню, и вниз по течению потащил клячу, дедушка брел по колено в воде, намеренно далеко отставая от Сереги. Удивительно для Шурки: чуткий и быстрый подуст, которого обычно ловили с лодки дном со всеми мерами предосторожности, сейчас сам шел в бредень на мелководе, вода от него, когда он шел стаями, казалось, кипела. Три раза вывели бредень, и Шуркин мешок отяжелел от бели. Было там и несколько раков, которые оказались совсем некстати: кололись — нельзя мешок взгромоздить на спину. Но он их не выбрасывал. Шурка уже представлял себе, как, едва взойдет солнце, будет варить раков в котелке, пока дед точит косу.

— Никак зацепился? — крикнул приглушенно дедушка, и Шурка побежал к рыбакам.

— Наверно, топляк здоровенный, — сказал глухо Серега и, подтащив клячу к берегу, воткнул ее и направился к мотне. И в тот же момент — там, где ожидалась коряга, в самой мотне что-то взбурлило, зашевелилось огромным пугающим комом, и Серега закричал:

— Сом, сом-голубчик, вот он!

Сверкнула молния, и Шурка совсем отчетливо увидел Серегу и под ним огромное черно-белое чудище. В следующий момент подоспевший дедушка схватил вместе обе клячи бредня, стараясь свести крылья бредня воедино, чтобы преградить выход сому, споткнулся и упал в воду. Серега метнулся на берег, увидев в высверках молнии воткнутый на песчаной отмели белеющий осиновый кол. Это и решило исход схватки.

Шурка подошел совсем близко. Серега выволакивал по мели спутавшийся напрочь бредень, спеленавший огромную рыбину.

Около костра Шурка лег рядом с сомом. Рыбина оказалась намного длиннее его тела — на целую вытянутую руку.

— А как вы думаете, это тот, которого мы хотели поймать?

— Здорово было бы, если это его младший брат! — засмеялся Серега.

— Я днем отвезу рыбину, а вы понаблюдайте, и все станет ясно, перетяги пока не снимайте, — распорядился дедушка.

И только он это сказал, на реке знакомо ухнуло так, что Серега даже вскочил.

— Мать честная, да ведь правда, их два. Вот дела!

— Вот ведь какой коленкор, — сдержанно удивился дедушка и почесал затылок.

НА ПИЛОРАМЕ

Стены избы Любаевых поднялись удивительно быстро. Народ собрался дружный, на помочах это самое главное. Командовал, конечно, Василий Федорович. Отец не указывал пальцем, не махал руками — он просто и спокойно говорил, как и что нужно делать, и все с охотой подчинялись, удивляясь его смекалке.

— Василий, тебе бы командармом быть или председателем нашего колхоза, а ты таишь в себе эту жилу, — сказал не умевший долго молчать шкодливых Андрей Бесперстов.

— Не балабонь и не мучай кирпич, а смахни под ним на четверть штыка горбушку-то земляную с левого краю, он и ляжет, — отвечал Василий Федорович.

— Я еще только примеряюсь, — оправдывался Андрей, укладывавший с напарником в траншею первый ряд самана.

Шурка с отцом только вчера наметили размеры дома. Он по команде отца вбил колышки по всему периметру, отметив тем самым, где копать траншею под стены, а сегодня утром дружная команда все быстро сделала. Прямоугольник из траншей был готов: девять метров в длину и шесть в ширину. И теперь изба росла прямо из этой траншеи. Раствор для кладки делали тут же, внутри будущей избы из той самой земли, которая должна была остаться под полом, добавив немного глины.

У Шурки была своя обязанность: он подтаскивал с задов и распределял по периметру кладки хворост. Его использовали для связки.

...Прошла неделя как стены стоят, а вот прорваться на пилораму все не получается: то она сломана, то лесхоз своим сотрудникам пилит. Но дошла очередь и до Любаевых.

Ошкуренные и подсушенные осокори привезли на распиловку за поллитровку водки; отец сходил к чайной и подрядил одного бойкого парня и на грузовике все за два раза доставили.

Пилорама — первая серьезная машина в жизни Шурки. Правда, он бывал на ческе шерсти в промкомбинате, где по кругу ходит флегматичная буланая лошаденка, приводя в движение механизмы, бывал на паровой мельнице. Но это же не сравнить с тем, что он увидел. В огромном деревянном сарае, стены которого были сбиты из широченных досок, стояла загадочная машина, хотя и черного цвета, но очень похожая на большого кузнечика. Механизмы машины, затягивающие в себя бревна, похожи были на ноги кузнечика с высоко поднятыми коленками. И визг, и скрежет пилы тоже чем-то отдаленно напоминали этих сельских повсеместных обитателей.

На пилораме царил запах дерева. Вороха опилок, весь воздух в сарае пропитаны лесом, песком, Самаркой. Шуркины осокори лежали уже под навесом справа от тележек, катающихся по рельсовой дороге. Команда из трех человек: Василия Федоровича, Степана Синегубого и Шурки ждала своей очереди. «Все как на паровой мельнице: очередь и опилки вокруг, как мука, лезут за шиворот», — подумал Шурка и засмеялся.

— Ты чего, Шурк, развеселился? — спросил отец.

— Да так, я вспомнил, как мы с дедом на мельнице ждали своей очереди, сидя в телеге на мешке с пшеницей-белотуркой. Впереди нас лошадь у дядьки сорвала шапку с головы, он перепугался, еле отобрал шапку — завязка между зубов у лошади зацепилась узлами, и он просил у лошади отдать, а хозяин лошади матерился.

— А чего ж он матерился? — лениво переспросил Синегубый.

— А чтоб завязки нормальные были у шапки.

— Хорош мужик. Его б к нам на фронте старшиной, цены б не было, — констатировал Синегубый и, чуть помолчав, снова спросил Шурку: — Ну как, это братское кладбище нравится?

— Какое? — Не понял Шурка.

— Ну, пилорама? Жили-были деревья. Раз — и нет их, есть опилки и доски. Доски постоят два десятка лет и сгниют. Все прахом полетит. А были деревья: зеленые, птицы в них пели.

— Чего ты, Степан, голову дуришь парню, делать нечего? — строго сказал Шуркин отец.

Шурка опешил от рассуждений Синегубого. У него тоже такая мысль была. Она обожгла его там еще, на делянке, когда пилили с Веней эти самые осокори. Но тогда, глядя на жизнерадостного Веньку, он отогнал эту мысль как глупость, подумав, что такое может прийти в голову только случайно и не взрослому. Шурка же хотел быть взрослым. Но вот и Синегубый, воевавший, раненый, контуженный, закаленный, тоже думает об этом.

— На, Шура, будешь подсоблять класть бревна на катки и подавать на распил, — отец протянул толстый с кольцом сверху лом. — А ты, Степа, близко к машине не подходи, от греха подальше, здесь твоим глазам видней, тут будешь.

Василий решил все осокори прогнать на «двадцатку» для теса на крышу.

Без рукавиц работать ломом, да таким тяжелым, было непривычно, но Шурка при каждой загрузке старался делать все ловко и ритмично.

Ему нравились отточенность и определенность движений. Но он быстро понял, что надолго его не хватит — выдохнется.

— Дядя Вася, у вас дома беда, — с ходу выпалил Колька Зинин, появившийся в широком проеме ворот пилорамы, там, где начинались рельсы узкоколейки.

— Говори, — властно сказал Любаев.

— Ваша Надюха объелась белены, я спотыкошки прямо к вам, тетя Катя послала, ее всю колотит.

«То куриной слепоты наберет, то вот теперь белена... Эх, Надюха, Надюха», — только и успел подумать Шурка.

— Бесамыга такая, — обронил Василий. — Степан! Тут без меня с Шуркой продолжите дело? Мне идти надо.

— Отчего же не продолжить? Продолжим... — отозвался тот.

Любаев, поменяв лом на бадик, ушел.

В РЕВУНАХ

Головачев этой осенью подрядился на пару с Гришей Ваньковым сторожить бахчи в Ревунах. Ревуны — это цепь озер за поселком Красная Самарка в сторону Малой Малышевки.

Говорят, что Ревуны — бывшее русло отступившей от этих мест влево Самарки. Разбухающие весной от полой шальной воды, соединяясь в единую реку, они шумят и ревут, неся мутные потоки до тех пор, пока там, в верховьях Самарки, на чистом степном просторе, иссякнет запас водной лавины.

И станут Ревуны на лето тихим убежищем для уток, выпи, лысух и всякой мелочи, летающей, порхающей и бегающей. И будут глядеть из-под крутых берегов через заросли на небо озера своими тихими сузившимися зрачками.

...Больше всего нравилась Шурке дорога на бахчи в Ревунах. Чаше всего в гости к деду Шурка добирался на велосипеде. Путь не длинный, но не из легких: за Самаркой песчаные дороги особенно тяжелы, колеса вязли в песке, и часто приходилось останавливаться. Но зато какие подарки щедро дарила дорога. После моста, когда Шурка ехал из Утевки, едва взобравшись на крутой берег Самарки и еще как следует не успев насладиться простором, избытком синевы неба и воды, нырнул он в глубокий овраг, дорога пересекала его строго поперек, обрамленная слева старым лесом, а справа — талами, скрывающими ответвление дороги на лесной кордон в Моховом.

На одном дыхании дорогу через овраг Шурке одолеть еще не удалось. Каждый раз он преодолевал его пешком. После прохладного песчаного оврага вновь подарок – большущий песчаный плешистый курган. Здесь, на подъезде к кургану, Шуркина душа каждый раз вздрагивала, и он начинал невольно озираться, как бы пытаясь найти опору, за которую он, зацепившись, удержался бы и не упал в какую-то пропасть, которая так или иначе связана у Шурки со словом вечность. Эта опора сама собой появлялась лишь только тогда, когда он вплотную подъезжал к кургану и переставал его видеть издали; вблизи курган закрывали деревья, дедушкин шалаш на бахче, предметы быта, омет, заботы разные... Только здесь уходило ощущение, что он завис где-то, на каком-то ненадежном канате над бездной, и она его готова проглотить.

...Совсем другое дело дорога назад с бахчей в Утевку. Шурка любил, миновав овраг, выбраться на ровное место, где он намеренно брал резко влево к Баринову дому. Перед глазами возникало удивительное зрелище: внизу слева направо от Покровки и, оставляя слева от себя Утевку, уютно лежала, как домашняя кошка, река Самарка, поросшая по берегам чаще всего осинником и талами. Подсвеченные золотистым песком, воды ее отражали и излучали добрый свет и солнечную радость.

Село Покровка – прямо под Шуркой, с высоты птичьего полета можно смотреть на красивую, облитую лучами закатного солнца церковь. Утевка – там, далеко, за Самаркой, за полоской леса, за редкими прямыми столбами дыма рыбацких костров, до нее километров пять, но церковь хорошо угадывалась. В отличие от Покровской, купол ее – светлый, кряжистый – излучал такую светоносную волну, что она ощущалась физически.

Когда Шурка стоял здесь наверху и видел эту манящую даль, коршуна, реющего в свободном полете там, внизу над Самаркой, ему иногда казалось, что стоило только неосторожно шевельнуть руками и он тоже воспарил бы над этим простором. Что чудо заложено где-то здесь, оно во всем, что его окружало, и была только совсем незаметная грань, которая вот-вот нарушится, и тогда все, признав это чудо, начнут ликовать, как ликовало Шуркино сердце...

Было еще одно чудо в этих Шуркиных местах: незамерзающий родник, который выходил из-под кручи вниз к Самарке, не поддаваясь самым лютым морозам.

В Утевке и около нее мало берез, считанные единицы, а здесь, начиная с Баринова дома, стояли вначале колки берез, а затем они переходили в сплошной березовый лес! К этому Шурка привыкнуть не мог.

... Шурка на бахче второй день один – взрослые уехали домой. Дядя Гриша – на какую-то комиссию, дедушка – за продуктами, но почему-то задержался.

Шурка решил сварить суп из добытой вчера кряквы. Сев на чурбачок и поставив у ног тазик, он начал ощипывать задеревеневшую тушку.

Залаял Цыган. Шурка обернулся: со стороны оврага из зарослей выходили двое, оба с ружьями. У одного, смуглого – ружье в руках. Шурка метнул взгляд на шалаш, там лежала его одностволка. «Не успеть, – мелькнула мысль, – рядом уже... что же ты, Цыган, прозевал, подвел?» Незваные гости подошли к Шурке, и он враз успокоился. По всему было видно, что это серьезные охотники. У обоих были рюкзаки, каждый опоясан, набитым богато патронташем.

– Что, один? – спросил чернявый и огляделся вокруг.

– Один, – ответил Шурка и насторожился вопросу.

– Тогда примешь, хозяин, гостей? – вновь сказал чернявый.

– С ночевой?

– Да нет, парень, перекусить да чайку попить, – ответил уже тот, что постарше и посветлее.

И хотя Шурка больше не успел ничего сказать, чернявый похозяйски притулил ружье к двери шалаша и, сняв рюкзак, повалился на землю:

– Весь день прошлялись и ни фига, это надо же, а пацан кряквой забавляется, а Андрей?

Шурку кольнуло то, каким тоном было сказано о нем, и он буркнул:

– Сейчас ветер дверь тронет, и ваше ружье будет на земле, в пыли.

Тот, которого называли Андреем, вдруг весело рассмеялся:

– Алик, получил?

– Да... – протянул Алик, – уважай мастера. Он встал и повесил ружье вверх стволами на сучок дверной дубовой сохи.

Они рылись в рюкзаках и переговаривались.

– И все-таки, чтобы закончить нашу тему, скажу, Андрей, она талантливая актриса, но нельзя же так... – Он помолчал, очевидно подбирая нужное слово. – Нельзя же делать такие, понимаешь, чикибрики, хоть ты и нравишься многим, включая и главного режиссера.

– Да, да, понимаешь, в этом есть что-то возрастное, переходное... Пройдет. Но главная роль все равно как будто только для нее написана. Да? А ты почувствовал, какая она партнерша на сцене?

Шурку прошиб пот. Перед ним были артисты и не какие-нибудь, Шурка сразу понял по манерам, по тому, о чем они говорили и как, насто-

ящие, из серьезного театра. Видеть живых артистов так близко, с ружьями, на бахчах! Разговаривать с ними? Это было как сон. Он слушался, не зная, как себя вести.

— Можно же на столике разложить, зачем на земле, — сказал он нерешительно.

— Ах да, конечно, спасибо. — Андрей поспешил исправить свою оплошность, положив на стол завернутый в марлю кружок черного городского хлеба.

«Ну охотники-то из них не ахти какие, должно быть», — немного приходя в себя, подумал Шурка.

— А мы вот без пера, — живо сказал Андрей, — может, еще на вечерней зорьке душу отведем.

— Как же на вечерней, если вы ночевать не собираетесь?

— Собираемся. Тебя как звать? — откликнулся Алик.

— Александром, — неожиданно для самого себя ответил деревянным голосом Шурка.

— Ну вот, Александр, у нас на кордоне у Репкова машина, а сами мы из Самары, на кордоне и ночуем. Ты нас не бойся.

— С чего вы взяли, что я боюсь? Я вот думаю: почему вы до сих пор арбуза не просите, — осмелев, сказанул Шурка.

Алик так громко захохотал, разинув широкий рот и сверкая белыми, безукоризненно ровными зубами, что Шурке показалось: это не очень нормально, будто бы он так сделал специально, чтобы ослепить Шурку белизной своих зубов, или прорепетировал смех на всякий случай.

— Если угостишь арбузом, покажу и научу, как есть его. Пойдет?

«Вот нахал, научит есть арбуз... тоже учитель!» — подумал Шурка, но ноги сами его подняли и понесли на арбузные ряды.

А в спину летел гортанный голос Алика:

— Александр, для всех надо два арбуза!

Шурка вернулся к столу с двумя «победителями». Гости уже разложили свои запасы на столе. Непривычно для Шурки крепко пахло копченой колбасой; о ней он только слышал, но никогда не ел. Он вообще не мог вспомнить, когда ел обычную колбасу, а тут такие запахи.

Андрей, взглянув на Шурку, отрезал солидный кусок колбасы и положил перед ним:

— Мы попробуем твоих арбузов, а ты нашу еду.

Шурка смотрел на его руки и думал: «Как у деревенского мужика, только очень чистые. Интересно, откуда он родом, может, родители, как у меня, — деревенские?»

— Я суп хотел варить, — опомнился Шурка.

— Да ладно, не надо — это долго, — сказал Алик, — мы хотим на вечерней зорьке посидеть.

Колбаса лежала рядом, Шурка смущался, начиная сомневаться: а вдруг она почищенная уже, а он начнет чистить, ведь не видно кожурки-то, вдруг они засмеются. Он выждал, когда Андрей начал очищать кусок, и только тогда потянулся за своим.

— И часто ты крякву бьешь? — спросил Алик.

— Каждый раз, — сказал Шурка.

Гости многозначительно переглянулись.

— А как ты охотишься? — поинтересовался Алик.

— Просто, — успокоившись, отвечал Шурка, — в одежде и сапогах, чтобы не порезаться, захожу в озеро и иду из конца в конец. Они днем в камышах прячутся. На взлете, когда крылья вразмах, а скорости нет, — только и бить. Так надежнее, не спутаешь с лысухой — заряд сбережешь. Обычно беру с собой один, ну два от силы патрона, чтобы не жунять бестолку заряды. Тут, в Ревунах, их много, но надо спугнуть из зарослей.

— Молодец, — сказал Алик, — ты нам свою науку преподавал, а мы тебе свою за это.

«Вот бы нечаянно заговорили про театр», — со слабой надеждой подумал Шурка. Но Алик взял нож и, разрезав арбуз пополам, положил одну половину перед Шуркой, ножом почикал несколько раз яркую красную мякоть.

— Деревянная ложка есть? Бери и ложкой с черным хлебом ешь как из миски.

Шурка зачерпнул ложкой мякоть вместе с соком и попробовал. Было вкусно, удобно и необычно.

Они доели свои порции быстрее, чем Шурка свою. И случилось то, чего он так не хотел: гости стали быстро собираться на дальний конец Ревунов, на большой плес на зорьку.

— А чай? — растерянно спросил Шурка.

— Хозяин, ну какой чай после арбузов, — Алик уже стоял на тропе. — Спасибо за хлеб-соль. Привет от солнечного Азербайджана.

— На, возьми, тебе, я знаю, надо, — сказал подошедший Андрей и положил на похолодевшую ладонь Шурки три новеньких бумажных патрона. И артисты скрылись в зарослях боярышника.

ЧИВЕР И ГОЛУБИ

Мать Шурки через день готовила поросенку Борьке болтушку: смесь отрубей, остатков еды и травы заливается в баке горячей водой и потом хорошо размешивается скалкой.

— Шурка, нарви мне тазик жирнухи, я сделаю Борьке болтушку.

Шурка покорно взял в сельнице выдавший виды тазик и пошел мимо поросенка Борьки, умиротворенно хрюкающего в пыли за сенями.

В проулке, за гатью, поставив тазик в самую гущу лебеды, Шурка рвал отяжелевшие макушки запыленной со свинцовым оттенком травы и целыми пригоршнями бросал в тазик. Неожиданно как из-под земли вырос перед ним Мишка Лашманкин.

— Подкараулил? — первое, что пришло в голову, сказал Шурка.

— Не бойся, Коваль, — миролюбиво ответил Мишка, — мне нужна твоя помощь. Неужели, думаешь, буду драться?

— Чего еще, — не понял Шурка, — я тебя никогда не боялся.

Мишка сел около тазика и с не свойственной ему растерянностью в лице, пошарив в карманах, вынул пачку «Севера». Щелкнув пальцем по ней, протянул Шурке выскочившую наполовину папиросу.

— Я не курю.

— Ну ладно, как хочешь.

— Говори, что надо.

Шурка все еще осторожничал и поглядывал поверх травы: нет ли где спрятавшихся Мишкиных друзей, готовых врасплох напасть. Ведь одно дело, что он помог ему, когда была беда с ногами, другое дело сейчас.

— Дай мне ружье на один только вечер. У тебя есть, я знаю.

— Зачем тебе?

— Вернулся Илья Бедуар, ну, отсидел два года. Знаешь такого?

— Еще бы! Только он — Бедуар, а не Бедуар.

— Какая мне разница, — сплюнул смачно Мишка. — Он подсылает ко мне Чивера.

— А кто такой Чивер?

— Есть такой. Генка Горбунов, в том приходе шурует со своей гоп-компанией, они на побегушках у Бедуара. Я должен был три дня назад отдать им Гривуна, которого купил в Покровке, — они же голубятники заядлые. Не отдал, а спрятал. Теперь сегодня придут домой вечером — всех заберут.

— А родители?

— Они в Бариновке, на свадьбу поехали.

— Ружье не дам, — твердо сказал Шурка, — нельзя на людей с ружьем.

— Они грабители, а ты — «нельзя». Ты просто боишься, да? Выручи, я только пугну, а за это должок будет за мной, другом буду. Этих гавриков нельзя пускать в наш конец, всех потом подомнут, понял? Стоит один раз струсить, и потом... Я ведь тебе помог тогда на за-дах.

Шурка задумался.

— Когда придут?

— Наверняка перед танцами в клубе, часов в восемь.

— Хорошо, я сам приду с ружьем.

— Не обманешь?

— Слово даю.

У Шурки созрел план. Весь его опыт общения с охотниками, взрослыми, которые, не стовариваясь, доверяли ему иметь свое ружье, говорил ему, что нельзя делать того, о чем просил Мишка. И он нашел, как ему показалось, выход.

Придя домой, он взял два заряженных патрона, выковыряв бумажные пыжи и вытряхнув дробь, пошел на кухню. Насыпав на ладони из стеклянной поллитровой банки соли, внимательно осмотрел серый бугорок на свету и остался недоволен: соль была мелкая, и не верилось, что она может заменить дробь в патроне. Высыпая соль обратно в банку, споткнулся взглядом о мешочек с пшеном. Это и было то, что нужно. «Конечно, я стрелять не буду, — успокаивал себя Шурка, — если уж на самую крайность, то в воздух».

...Он подошел к дому Лашманкиных в половине восьмого вечера.

— Вот здорово, — ликовал Мишка, — я всегда тебя считал мировым парнем!

— Я стрелять в людей не буду, — возбужденно сказал Шурка.

— Да и не надо, пальнем по верх голов и то хорошо.

Трое подростков появились с дальнего порядка улицы и шли уверенно и нагло.

— Они, — возбужденно сказал Мишка, — я прятаться не буду, — нельзя, а ты встань за плетень и пригнись.

Шурка зашел за плетень, отделявший двор от огорода, потоптался и присел за кустом сирени.

Во двор они вошли с форсом. Чивер, его Шурка сразу определил по нагловатой ухмылке и по тому, как заискивающе вели себя перед ним двое остальных, с ходу поддел консервную банку у входа, и она, сделав вираж, опустилась едва ли не на голову Шурки.

– Конец тебе, Мишка, – сказал тот, что был ближе к сирени, – сейчас козлиную смерть тебе будем делать. Не принес Гривуна, пеняй на себя.

Шурка видел, как побледнел его приятель, но остался стоять на месте. Страшная эта штука – козлиная смерть. Ее делали обычно так: двое держали провинившегося, а третий указательными пальцами с двух сторон начинал как шилом давить за ушами прямо за мочкой, в углублении. Чем сильнее жмут, тем нестерпимее боль.

– Неси Гривуна – и делу конец, – по-хозяйски сказал Чивер. – Некогда нам рассусоливать, колготу разводить. Он это не любит.

Чивер сказал «он», и от этого тень где-то живущего на том конце села Будуара стала угрожающе большой.

– Гривуна нет, – твердо сказал Мишка.

– Где он, говори! – почти по-военному, властно сказал Чивер и в один ловкий прыжок оказался вплотную с Мишкой, мгновенно заломив ему правую руку за спину.

– Ребя, вали его саманную голубятню, чего цацкаться, хватит ему люсить!

Шурка выскочил из-за сирени, положил одностволку на плетень и скомандовал:

– Отпусти Мишку!

– Еще чего? А хо-хо не хе-хе?

– Стрелять буду, – возбужденно выкрикнул Шурка.

– Кишка тонка стрелять, – сказал Чивер и выставил впереди себя Мишку,

– По ногам жажну, – подтвердил Шурка и, взведя курок, направил ружье на того самого, который обещал козлиную смерть. Глаза их встретились.

– Чивер, он пальнет – это точно, – взвизгнул тот, затравленно оглядываясь на калитку,

– Ладно, кина не будет, – оттолкнув от себя Мишку, сказал Чивер, – но не попадайтесь теперь на глаза!

Когда они скрылись за калиткой, подошедший к плетню Мишка сказал, кивнув в сторону Чивера:

– Отошла коту масленица, екорный бабай!

– А что это такое?

– Что? – не понял тот.

– Ну, екорный бабай.

– А я откуда знаю? Так Бедуар говорит, – ответил Мишка, и они оба расхохотались.

Когда смех прошел, Шурка спросил:

— А что это за голубь — Гривун?

— Ты не знаешь? — удивился Мишка.

— Нет.

— Гривун — это чистобелый голубь. Такую породу вывел еще граф Орлов. Он очень красивый, на загривке треугольник коричневого либо красного цвета. У моего коричневый.

— Ты это все не придумал? — засомневался Шурка.

— Да ты что, обижаешь, я тебе его покажу, только чуть позже. Ладно?

— Ладно, — согласился Шурка.

...Оба они понимали, что на этом дело не кончится. Быть им битыми и жестоко. Но все обошлось как-то по-странному просто. Через неделю, собравшись на рыбалку, они пошли на Приказное озеро за червями. На Приказное можно идти двумя путями: мимо школы и вдоль магазинов, где слева от продмага стоит пивнушка. Вот этой, мимо магазинов, дорогой они и двинули. Когда до пивного ларька оставалось метров пять, от него отделились три фигуры.

— Что делать, Коваль?

— Поздно, иди как шли.

— Стоп, команда! — сказал неожиданно звонким голосом Будуар.

Они продолжали путь. Шурка бросил взгляд на ларек, у которого стоявшие парни заинтересованно стали смотреть на происходящее.

Остановившись, Шурка краем глаза заметил, как Мишка отстегнул с пояса широкий ремень с тяжелой бляхой. «Ни к чему это, — успел подумать он, — даже смешно».

Чивер выскочил вперед, но его остановил Будуар.

— Погодь, — отстранив его рукой, сказал он. — Кто был с ружьем?

— Ну я, — выдохнул Шурка и почувствовал, как задрожали руки.

— Стрельнул бы тогда?

— Не знаю, — овладев собой, ответил Шурка. — Как бы дело пошло, так я и сделал бы.

— Ишь ты какой, не ожидал, — сказал Будуар, покосившись на толпу у пивнушки, куда подошел бойкий Петька Стрепеток в окружении трех рослых парней из Золотого конца. Со Стрепетком Шурка в прошлом году был на сенокосе в одной артели. Тот зорко глянул на Шурку, потом на Будуара и вмиг понял, что происходит.

— Коваль, привет, пиво пьем?

— Нет, — неуверенно ответил Шурка.

– Правильно делаешь, а мы вот жажнем по парочке кружек. А ты, Будуар? Пошалберничаем? Стервецы, – обратился он к своим приятелям, – занимаем очередь!

И подошел в самое ее начало, «стервецы» последовали за ним.

– Будуар, пиво у Пупчихи киснет, не тяни.

«Вот где талант пропадает, – подумалось Шурке, – его бы к нам в драмкружок к Валентине Яковлевне. Как он ласково пугает этих дураоломов!»

– Чивер! – властно, по-хозяйски произнес вожачок Будуар.

– Я, – откликнулся на все готовый его подручный.

Будуар выдержал глубокомысленную паузу и изрек:

– Ты этих ребят не трожь и своим скажи.

Он еще раз осмотрел с ног до головы подростков и сказал с особым значением, чтобы слышали у пивнушки:

– Это наша смена!

И отошел довольный собой. За ним игриво зашагал Чивер, припевая: «Он вошел в ресторанчик чекулдыкнул стаканчик и велел всех ребят напоить».

– Ничего себе оценили нас, – хихикнул неуверенно Мишка, когда они уже копали червей. – Кто мы теперь с тобой?

– Будуарчики! – ответил Шурка, не задумываясь.

Им почему-то вдруг стало весело. Мишка притворно упал на зеленую кочку и дурашливо завопил:

– Ой, держите меня, а то упаду. О кочкарник ушибусь.

Он умел шумно радоваться. Шурке это нравилось.

В КЛУБЕ

С тех пор как Шуркина мать устроилась уборщицей в клуб, а вернее, в РДК – районный Дом культуры, забот прибавилось. Помещение большое, и хлопот с ним немало.

На его долю выпало помогать матери: поздно вечером, после сеансов, подметать полы в большом зале, перед тем как она их будет мыть. В слякотную погоду грязи на полу под сиденьями невпроворот и ее трудно выметать, так как все ряды кресел крепко прибиты к полу.

Еще досаднее Шурке выметать шелуху от семечек, которой иногда набирается почти полное ведро. Особенно, если сдвоенные сеансы в 19-00 и 21-00. Шурка не понимал, как можно во время киносеанса грызть семечки. И не от того, что ему приходилось выметать шелуху или он считал это некультурным. Просто, сидя в зале, он ни о чем не думал,

кроме действия не экране. Для него неинтересного кино не было. Кино для Шурки – чудо, к которому он привыкнуть не мог.

Вчера вечером был двухсерийный фильм, поэтому с утра у Шурки работы достаточно. В фойе, как обычно, было несколько человек: кто пиликал на баяне, кто смотрел подшивки журнала «Сельская жизнь», кто просто не знал, куда себя деть. Шурка помнил, что должна быть репетиция духового оркестра, поэтому решил быстренько выполнить свои обязанности и послушать музыку. Он взял ведро с веником и вошел в полутемный зал.

Зрительный зал и сцена его волновали всегда. Здесь чувствовалось присутствие какой-то тайны. На полуосвещенной сцене стояло пианино, которое как живое, элегантно, таинственное, божественное существо, манило и пугало Шурку. В отличие от своих сверстников он не мог запросто подойти к нему и пытаться извлекать звуки. Его охватывал трепет перед этим существом, которое представляло собой часть того неизвестного, таинственного и завораживающего мира, который зовется музыкой.

Ему, как никому, представлялась возможность попробовать потрогать клавиши, ведь он иногда приходил совсем один, открывал клуб и подметал пол. Но он этого не делал. И это не было робостью. Ведь не робел же он, когда выходил на сцену играть в постановках перед целым залом, который вмещал триста человек. Его публика выделяла. Он не терялся на сцене, что было даже для него самого удивительно. Его заряжало присутствие народа, и что-то подталкивало делать так, как ему казалось необходимым. Когда он забывал текст (а это было редко), он с ходу вставлял свои слова и так же ловко помогал выпутываться партнеру, которого внезапная фраза выбивала из строя. Он видел всю пьесу, всю ее продумал, его герой ему был понятен, поэтому часто догадывался, что мог бы еще сказать его персонаж, но не сказал.

Однажды после такой игры Валентина Яковлевна подошла к нему, прижала его к груди, отчего Шурка чуть не задохнулся, и, театрально воздев руки вверх, сверкая своими красивыми цыганскими глазами, громыхнула:

– Посмотрите на него, это не Шурка Ковальский – это будущий великий артист.

И поцеловала смачно в губы.

Всем известно, их худрук полумер не знала. У нее все либо гениально, либо: «не то, не то, не то, дьяволы, черти гадкие». Но все же Шурка и сам чувствовал, что в нем, когда он выходил на сцену, начал гореть какой-то непонятный ему огонь, он в это время соприкасал-

ся с чем-то большим и магическим: то ли это правда, которую надо сказать людям, сидящим в зале, то ли истина, без которой все в округе, если они ее не поймут, будут обездолены, то ли кусок чьей-то жизни, о которой обязательно надо поведать другим людям, иначе тот, кого он играет, будет обездолен — его не услышат, о нем не будут знать. Зачем же тогда он жил?

Так часто думал Шурка, ему было интересно, почему он становился на сцене таким отчаянным, не похожим на себя в обычной жизни. И кто же он и какой на самом деле? И как другие люди к себе сами относятся? То, что совсем недавно стало случаться ночью, и чему он много позже, уже студентом, узнал название: «поллюции», обескураживало его. Он не знал, что это такое и как к этому относиться. Урод он или так бывает у всех? Было как бы два Шурки: один неосознанно стремился к чистому и красивому, и другой — тот, который пугался и не знал, что с ним творится.

Похожее с ним было. Но вспомнив об этом, он теперь только улыбался: в первом классе Шурка был потрясен, увидев свою первую учительницу, красивую и справедливую Нину Николаевну, выходящей из обычного школьного туалета. Это его тогда убило. И он долго не мог этого принять.

...Шелухи от семечек в этот раз оказалось много. Шурка намел в ведро больше половины, а всего-то прошелся по половине зала. Решив передохнуть, он сел в кресло и грустно повел глазами. Зал был большой. С обеих сторон сцены висели огромные из красного материала плакаты с ленинскими изречениями. Слева от сцены было написано: «Самым важнейшим из всех искусств для нас является кино». Справа: «Искусство принадлежит народу — оно уходит своими глубочайшими корнями в самую толщу широких народных масс...» Шурка уже хотел встать, как вдруг на сцену легко выпорхнула Верочка Рогожинская. Как-то по домашнему, запросто села к пианино. И не успел Шурка опомниться, как на сцене зазвучала мелодия, звуки которой, он это физически чувствовал, сначала заполнили сцену, оттуда перескочили через оркестровую яму и полились на него одного, сидевшего в полутемном зале. Конечно, Верочка не знала, что кто-то сидит в зале, а уж тем более не ожидала увидеть здесь его. А ему это как раз было не надо.

Он забыл обо всем. Он видел и слышал только ее.

Ее легкие белые руки, нет, вся она, освещенная ярким светом, исторгала такие прекрасные и нежные звуки, которых он никогда не слышал. Он забыл обо всем. Ведро с шелухой стояло около его ног, и он невольно задел его, оно чуть звякнуло, это Шурку привело в ужас, но

на сцене все было по-прежнему: милая, прекрасная и незнакомая музыка. И вдруг на мгновение музыка прекратилась, Верочка откинулась на спинку стула, опустила руки вниз и так забылась на некоторое время. Она была красива, прекрасна! Это Шурка понял и не скрывал от себя. Такого лица, таких рук, такой музыки Шурка никогда не видел и не слышал. Такого в селе его не было. Это было оттуда, из той, далекой от села жизни, которую он пока не знал и которая была таинственной и чужой. Так ему казалось.

Верочка вскинула руки и легко и плавно опустила на клавиши. Шурка не сразу понял, что случилось. В следующую же секунду он оказался во власти чарующей, завораживающей светлой, но грустной до слез мелодии. Тревожно-торжественные звуки будоражили его. Верочка играла полонез Огинского. Как и тогда, во дворе у Кочетковых, Шурка вновь почувствовал необъяснимую тоску, недостижимость мечты, неизбежность утраты. Музыка лилась в зал. Пустой зал вбирал ее и обрушивал на одного-единственного слушателя – Шурку...

Музыка растрогала и растворила его. Он забыл обо всем. Он видел, уже как в тумане, красивую девочку на сцене, вернее – силуэт ее, тонул в звуках необъяснимо прекрасной мелодии, и все это было недостижимо и сказочно, и все проходило мимо – мимо его жизни, он это чувствовал. Он заплакал. Слезы сначала не давали ему отчетливо видеть, потом стало трудно дышать. Он не понимал, почему плачет. Да ему было и не до того. Он вновь задел ведро, оно, звякнув дужкой, опрокинулось и покатило вокруг Шуркиных ног, просыпав полукругом содержимое. Он, спохватившись, поймал его, но было уже поздно.

Верочка перестала играть, встала и подошла к краю сцены перед оркестровой ямой. Близоруко оглядела затемненный зал, и вдруг их взгляды встретились.

– Александр, ты?

– Я, – непонятно почему, виновато сказал Шурка.

– А что ты здесь делаешь один в зале? У нас репетиция вечером.

Шурка молчал. «И чудовищно глупо говорить ей, которая умеет так играть, что я подметаю здесь пол», – усмехнулся он про себя, только бы она не спустилась со сцены, иначе все увидит.

Но Верочка не спустилась к Шурке. Она взмахнула своей легкой ручкой и попрощалась:

– Ну, пока! До репетиции!

И засмеялась. В ее смехе Шурке не послышалось ни превосходства над ним, ни насмешки.

ВЕНЯ СУХОВ ЗАСТРЕЛИЛСЯ

Эту печальную весть принес Шуркин дед, вернувшись с базара. У Вени была новенькая одностволка «тулка», в отцовском амбаре он выстрелил картечью из нее себе в рот.

— Ваня, что же он глупый думал, когда делал это, а? — Бабка Груня стоит у печки, доставая ухватом закопченный казанок.

— Отец не отпускал его в Сибирь жить, да и жененка его, Варька, тоже не хотела. А у него с детства мечта такая.

— Шурка, ты будешь зайчатину, с вчерашнего осталась?

— Ага, буду, — только и ответил Шурка машинально. Перед его глазами стоял красивый кудрявый светловолосый Веня, который еще на прошлой неделе, когда приходил за Барклаем, показывал ему, как привязывать на леску из конского волоса крючок замысловатым узлом с восьмеркой.

— Вот дядю его родного насильно сослали, а Веня добровольно не смог уехать, — задумчиво проговорил дед.

— Они, может, и правы, Ваня, все-таки с одной рукой в чужих краях тяжело. Зря, может, втемяшилось ему.

— Вот это его и стубило, что все без конца говорили, что он инвалид. А он не инвалид, любой мужик на охоте против него ничего не стоил. Все со своими ижевками двенадцатого калибра ничто против его шестнадцатикалиберной одностволки. Он же артист от природы. А чутье у него какое? Как у собаки. Его и на фронте спасла охотничья жилка. Он рассказывал мне.

Шурка лежал на печке, где у него своя библиотечка, щеки его все в слезах. «Как непонятно, — думал он, — был веселый шутник Веня, ничего такого горького внешне в нем не было и вдруг — застрелился. Выходит, в каждом из окружающих кроме видимой жизни есть такое, о чем можно не знать, но именно оно управляет поступками и жизнью человека».

Ему вспомнилось почему-то, как он работал на делянке за старицей, когда они валили осокори для досок на крышу и пол для дома, как наловили вместе на яички муравьев почти полное ведро карасей, а потом наварили ухи на всю артель. Тогда еще Шурка опростоволосился. Когда сажались есть уху в круг на разостланный большой брезентовый плащ, Шурка в приподнятом настроении от того, что именно он сегодня кормилец, так как наловил столько карасей, сказанул:

— Чего вы все как татары в шапках сидите за столом?

После его слов воцарилась мертвая тишина, а потом лесную поляну огласил дружный хохот, потому что единственный татарин, всеми уважаемый степенный Равиль, сидел и ужинал без головного убора, а все русские — в фуражках.

Равиль только сверкнул по-молодому озорно одним своим карим глазом, а второго Шурка не увидел, он был завязан белой тряпкой.

— Эх, голова садовая, — сказал Венька чуть позже, — сначала думай, потом говори, а то ведь влопался.

И вот теперь Веньки нет.

ЧИРКИ

Пришедшая за пахтонкой Нюра Сисямкина сказала:

— Сейчас, с утречка, ходила в Тяголовку к Машурке за овечьими ножницами, там в рытвине так много уток диких, сроду такого не было.

— Дак вчера открытие охоты было в Ильмене, городские канонаду устроили, — откликнулся отец Шурки, выходя из своей шорни, — вот они и попрятались по укромным местам.

— Я тоже разок видела, они хитрые, садятся ближе к дворским, чтобы не выделяться, — подтвердила Катерина.

— Что, Шурка, слабо тебе со своей тулкой?

— Отец, будет тебе. Зачем парня будоражишь, — возразила мать Шурки.

Но Шурка уже загорелся: «Мать честная, у меня один патрон всего заряженный, заряжать некогда, успеют распугать. Рискну!».

Через минуту выводил из сарая велосипед. «На рамке» с седла он педалей не доставал.

— Поосторожней, кругом там люди, скотина, — беспокоилась Катерина.

— Ладно, мам, маленький, что ли?

Шурка выехал со двора. Доехал он быстро. Уток заметил сразу. Их было много, десятка три.

«Чирки, — определил с досадой Шурка, — хотя бы одна кряква была».

Он решил подъехать как можно ближе.

Утки не взлетели. Они потихоньку несколькими табунками спешили уплыть за изгиб рытвины — прятались, не поднимались на крыло, очевидно, напуганные пальбой в Ильмене.

Шурка положил велосипед и хотел разломить одностволку, чтобы вложить патрон. Однако это ему не удалось, запал боек и, высунувшись маленьким язычком, стопорил ствол. Погнувшись, он заклинил намертво.

Наставив отвертку на упрямый язычок, Шурка ударом ладони по рукоятке пытался выпрямить боек. Это ему удалось, но он, неловко повернувшись, ткнул стволом о велосипедную раму. Металл звякнул — этого было достаточно, чтобы утки шумно взлетели и нестройно подались к Ильмену.

Шурка отбросил отвертку, положив ружье на траву, лег рядом. Он решил, что потерпел неудачу и принял ее спокойно. Но странное дело: утки вернулись. Прошелестев огромной стаей над Шуркой, они сели метрах в сорока от прежнего места, под обрывом.

Он встал, зарядил ружье и пошел, пригнувшись, к обрыву. Уток было много, это он видел, когда они летели. Но то, что он обнаружил, подкравшись к обрыву, его изумило! Такого скопления чирков в одном месте он никогда не встречал.

Шурка спокойно улегся на краю обрыва. До уток было метров тридцать. Выбрал тщательно место для локтя, примяв для этого кустики пырея. Взвел потихоньку курок, чтобы не щелкнуть.

Под Шуркин резкий свист утки суматошно поднялись с воды, и он выстрелил, не целясь, не в какую-то одну, а наугад — в кучу.

Он разочарованно смотрел на добычу: на воде неподвижно лежали всего три утки и один подранок — нырок скрылся, как поплавок, под водой. Невесть откуда взявшийся сарыч, не снижаясь, закружил над ними.

— Классный выстрел, — совсем неожиданно прозвучало над ухом у Шурки.

Он оглянулся. За его спиной сидел Андрей Плаксин.

— Хуже не бывает. Дробь мелкая, только прошелестела по крыльям, не взяла. И далековато было, — уныло отозвался Шурка, — я думал, что не менее десятка будет — их же туча сидела.

— А я давно за тобой следил, но, чтобы не мешать, молчал, хотел посмотреть, как ты стреляешь, — отчего-то радостно докладывал Андрей.

— А как оказался здесь?

— Я за Гнедым пришел, вон он спутанный, отец послал.

— Эх ты, — удивился Шурка, — а я Гнедого и не видел.

— Не видел? — еще больше удивился Андрей. — Уток видел, а Гнедого нет?

— Нет, — подтвердил Шурка, — одни утки были в голове.

– Ну ты, Дерсу Узала, даешь! А вдруг это был бы не Гнедой, а Амба?

ПИКОВАЯ ДАМА

Два дня дядька Сережа самозабвенно трудился: рисовал красками портрет Пушкина. В сенцах на сундуке, обшитом цветастой клеенкой, разложены кисти и краски. На стуле лежал уже законченный портрет. Шурка сел на порог сеней и восторженно следил за движениями дядькиной левой руки.

– Зачем тебе второй портрет? – спросил он.

– Попросила бабка Прасковья нарисовать. Сегодня обещала прийти. Вон уже идет.

...Большими потрескавшимися и темными, как корневище, руками бабка Прасковья взяла на колени в голубой рамке портрет. По-детски вслух удивилась:

– Как это... несколько строчек, линий и – вот он, Пушкин!

Лицо ее, клеклое и серое, делается строгим и печальным:

– Сережа, а это он написал про пиковую даму? Очень хочется почитать, ты достань мне книжицу, а? Мне Германа жалко, а старуху нет. Достань. Я несколько раз слыхала по радио, как он поет, а вот почитать хочется про него самой, бедняжка он.

Сняла с головы белый в горошек платок, осторожно завернула портрет.

– Спасибо тебе, Сереженька, за подарок.

Направилась к калитке. Остановилась, о чем-то задумавшись, вернулась к порогу:

– Ты, Сереженька, береги свои способности, это редкость редкостная. За мои восемьдесят лет у нас только два таланта случились: Коля и Ванечка Рожковы. Теперь музыканты, в Москве али в Ленинграде, Евдокия сказывала, живут. Может, и у тебя талант. Редкость редкостная.

– Кто такие Рожковы? – спросил Шурка у Сережи.

– Уже дядьки пожилые, я их видел в позапрошлом году, с филармонией к нам приезжали. Интересные. Когда все чужие артисты уехали, они остались на побывку, а жить негде, родных уже нет никого. Первую ночь ночевали в клубе, потом мама к себе позвала. Они с отцом потом сидели выпивали и так здорово играли на балалайке и баяне, что страх. А на другой день сильно были грустными и оба плакали.

– Почему?

— Ходили на могилки и не нашли, где мать лежит. Все изменилось. Ни креста, ни какой приметины.

...Дядька Сережа быстренько собрал краски и понес в погребницу. Он в последнее время все делал быстро. И тому есть причина. Наступавшая осень несла перемены в их дом. Алексей женился на приехавшей учительнице. У нее казенная квартира от школы, он собирался переехать туда. А дядька Сережа неожиданно для всех успешно сдал экзамены в строительный институт и через неделю уезжал на учебу в Куйбышев.

Шурка грустил, хотя не сразу и сказал бы отчего. Что-то менялось в его жизни, уходило безвозвратно.

Из избы вышла баба Груня:

— Ты что пригорюнился, а?

— Да так.

— Приходи вечером, будем читать книжку про Мюнхгаузена, чудная такая.

— Хорошо, приду, баб!

РАЗГОВОР ДВУХ МУЖЧИН

С приездом Верочки Шурка на некоторые вещи стал смотреть по-иному. С легкой руки Валентины Яковлевны его в прошлом году записали в танцевальный кружок, и там он стал солистом. Теперь он танцевал национальные танцы. Все шло хорошо, ему нравились костюмы, дотошное изучение разных движений незнакомых танцев, радостный всплеск аплодисментов, которыми всегда награждали танцоров. С танцевальной группой он уже был в Покровке, Кулешовке, выступали под открытым небом на полевых станах.

Но однажды радость от всего этого померкла. В большом классе в школе, когда шла генеральная репетиция, танцевали молдавский танец. В самой середине танца он вдруг увидел Верочку. Она сидела у окошка, ее смуглое лицо было освещено наполовину ласковым сентябрьским солнцем, она шурилась и прятала свою голову, прикрывшись тетрадкой, и когда их взгляды встретились, она отвела глаза, губы ее приоткрылись: как будто она хотела что-то сказать, но не сказала, только подумала, и ироническая улыбка тенью скользнула по ее лицу. У Шурки что-то оборвалось внутри.

Когда репетиция кончилась, он хотел подойти к ней, но не успел — она вместе с другими убежала в спортзал. «Я понял, я все понял, — твердил он про себя, — ей смешно было смотреть, как я танцую, я вы-

глядел смешно, ведь все девчата выше меня ростом, они за этот год вымахали на голову выше меня, а я, чудак, все танцую». Он и раньше ревностно ловил взгляды ребят, не смеются ли они, что он меньше всех, а солист, но все было вроде бы нормально. А не оттого ли так хлопают ему зрители, что он просто маленький и это всех забавляет? Но то было раньше, а теперь все видит Верочка Рогожинская. «Не буду больше танцевать», – решил он.

Но все оказалось намного сложнее. Когда классная руководительница, сухая и подозрительная Лидия Николаевна узнала о его решении, она ударилась в панику.

– Нет, Ковальский, ты просто зазнался, с тобой везде носятся как с писаной торбой, вот ты и возомнил... Это надо же – вся программа рухнет – там пять танцев с твоим участием.

– Не рухнет, возьмите Женьку Рязанова, он вам что хотите станцует. И лучше меня.

– Ты что, смеешься надо мной? Он же вечерник, ему семнадцать.

– Ну и что?

– А честь класса? Ведь ты же представляешь – на торжественном концерте весь наш класс.

– Ну и что?

– Как ты не понимаешь, это же праздничный концерт, посвященный седьмому ноября!

– Ну и что, Лидия Николаевна, не буду я танцевать!

– Скажи причину.

– Мне разонравились танцы, – упирался Шурка.

– Ты не можешь так говорить, ты не один, ты не вправе подводить коллектив.

Уговоры ни к чему не привели, и на следующий день с утра Лидия Николаевна объявила Шурке, что его вызывает директор школы после первого урока. Шурку это не очень сильно напугало, он уже понял, что так просто его не оставят в покое. Очень не хотелось ему, чтобы вызывали в школу родителей: отец все равно не пойдет, а маму было жалко, ведь никто ничего не поймет.

...Когда он вошел в кабинет директора, Николай Николаевич – большой, грузный со смешными длинными бровями, которые, как усы, торчали в разные стороны лица, – говорил по телефону. Когда закончил, сказал:

– Ну как дела, народный артист?

Шурка молчал.

— Ну да, брат, — примирительно сказал директор, — я того, не остыл, не то говорю, не обижайся. Что молчишь, садись вот на стул.

Шурка сел. «Он что, со всеми так? — подумал Шурка, — тогда что же его все боятся, он же все понимает и, по-моему, обо мне все знает, и про Верочку тоже».

Зазвонил телефон, но Николай Николаевич трубку не взял.

— Не дадут поговорить, понимаешь, вот дела.

Шурка следил краем глаза за всеми движениями хозяина кабинета. То, что тот не взял трубку, ему понравилось.

— Видишь ли, ты еще молодой, — он сказал молодой, а не маленький — это Шурка отметил. — Может, поймешь попозже — нельзя так пренебрегать коллективом, только свой каприз лелеять. Это тебе будет в жизни мешать, понимаешь? Ты что, вообще не будешь танцевать больше?

— Нет, буду, — ответил не задумываясь Шурка.

— Тогда в чем же дело?

Шурка помолчал и решился:

— Если вырасту нормально, хотя бы среднего роста, — буду.

Николай Николаевич все понял. Это Шурка увидел по его глазам. Они не улыбались, они не были строгими, они были задумчивым.

— Для тебя это важно сейчас? — спросил он медленно.

— Очень! — сказал Шурка, нисколько не робея.

— Да, это причина уважительная, брат, но только ведь, скажу тебе прямо — рост не самое главное для мужчины. Вот в истории очень много было мужчин маленьких ростом, но великих — Наполеон, например, Пушкин! Понимаешь?

— Понимаю, — сказал Шурка, — вырасту с Наполеона, потом посмотрим, что делать.

Того, что случилось дальше, развязки такой Шурка не ожидал. Николай Николаевич икнул после Шуркиных слов, завалился на стол всей своей громадиной и неожиданно тонким голосом заливисто засмеялся:

— Ну завидую я Лидии Николаевне, у нее такие ученики, а она все ноет, вот баба проклятая. Вырасту с Наполеона... Неплохо! Неплохо!

Шурка от этих слов несколько растерялся, из уст директора школы такого он не ожидал.

— Александр, давай мировую с тобой заключим, а?

— Смотря какую, — теряясь, сказал Шурка.

— Я уважаю твою причину, но и ты пойми — ведь сорвется праздничный концерт. выступи последний раз, а там как хочешь. Сам себе голова, я скажу Лидии Николаевне... по рукам?

Он протянул Шурке свою огромную руку. Шурка встал и подал свою.

— Вот и порешили, понимаешь ли, вот и весь вопрос, — громыхал директор.

Когда Шурка вышел из кабинета, он никак не мог сообразить, кто из них двоих оказался победителем. «А что если бы Верочка слышала весь наш разговор, как бы она отреагировала? — подумал он. — Слабак я или нет?»

КРАСНОТАЛ

В новый дом Любаевы перебрались из мазанки, где прожили больше лета, в конце октября. И не успели отпраздновать новоселье, как в начале ноября перед праздниками случился пожар. У соседей Сисямкиных ягнилась первеньким овца, и тетка Маня, забегая посмотреть, обронила коптюшку.

Кроме дома у соседей сторело все дотла, от Любаевой мазанки остались только глиняные стены, она стояла впритык с сараями Сисямкиных.

Прибжавшая из клуба с танцев молодежь не смогла ничего путного голыми руками сделать. Больше мешалась. Отчаяннее всех действовала баба Груня. Она стояла на новой тесовой крыше Любаевых и принимала ведра с водой от организованной наконец-то из молодежи цепочки. Выручал Шуркин колодец. Бабушка Шурки поливала накалившиеся доски водой, чтобы они не вспыхнули. Крыша со стороны бушующего пламени парила, но не загоралась. Наконец приехали деловые пожарные. Василий Любаев действовал с мужиками в самом пекле, у сельницы. На нем загорелась гимнастерка, на него тут же выплеснули два ведра воды из живой цепочки и огонь на спине затушили.

Когда у сельницы обрубали топорами на крыше жерди и растащили часть соломенной крыши, соединенной с соседской, огонь остановился. Сельницу спасли, а с ней и весь двор. У отца Шурки сторел бадик

...Впереди были праздники. После торжественного собрания 6 ноября в районном Доме культуры состоялся концерт.

Шурка танцевал и читал стихи о советском паспорте. Его чтение так понравилось районному начальству, что, когда закончился концерт, за кулисы пришла строгая нарядная дама, которую видел Шурка раньше в райсобесе, когда был там с отцом. Она от имени зрителей вручила Шурке подарок — пятнадцать рублей. Оказывается, это их она собирала у сидевших на первом ряду в зале. Он видел...

— Гордись, артист! — сказала Валентина Яковлевна, — сам Безуглов Иван Иванович, первый секретарь райкома, все организовал. — И больно потрепала за чуб.

Дама крепко пожала руку и ушла. Шурка держал деньги и не знал, что ему делать. Он никого не видел вокруг. Не глядя в сторону Верочки, силился понять, что она думает обо всем этом. Он не решался пошевелиться, вокруг суетились другие артисты, и ему было неловко, что его так отметили.

— Вот чудак, у тебя есть что-нибудь с собой? — спросила Валентина Яковлевна.

— Нет, — отозвался Шурка.

— Тогда вот так, — сказала она. И, забрав мятые бумажки, сунула их ему в карман. Затем крепко по-мужски прижала его к своей груди, и он, попав лицом в глубокую душную впадину между двух тугих живых холмов, почувствовал, что задыхается. Отбросив далеко от себя назад правую ногу, он, обмякнув, повис на руках и груди своего худрука, изобразив ласточку.

— Комедиант несчастный, — театрально воскликнула Валентина Яковлевна и легонько оттолкнула его от себя.

— Не комедианты мы, мы — артисты! — гордо и громко подхватил Шурка.

Кругом одобрительно засмеялись.

— Ну, раз артисты, то ваше место в буфете, — величественно проговорила Валентина Яковлевна и, увидев подходившую заведующую районо, пожаловалась: — Вот ведь никудышное дело, играют как взрослые, даже талантливее, а выпить с ними нельзя — пион-нэ...ры!

У заведующей районо, жеманной Лилии Григорьевны, глаза были круглые, как пуговицы, а теперь они вообще, кажется, готовы были выкатиться из глазниц, повиснув на ниточках.

Валентина Яковлевна расхохоталась.

«Это мне на мою бедность или действительно я заслужил как артист?» — думал, выходя из клуба, Шурка.

— Саша, подожди, нам по пути?

Он обернулся, на пороге стояла Верочка. На ней было светлое пальто и легкий голубенький шарфик, каких он никогда не видел раньше.

— Стал богачом и зазнался, — сказала она.

Шурку не обидели эти слова, она умела говорить так, что сказанное обычными словами приобретало для Шурки иной оттенок, иной смысл.

Сейчас это звучало так: «Подожди, не убегай, мне приятно погулять с тобой!»

— Вы все про одно: зазнался, зазнался. Хочешь, я эти деньги отдам первому встречному? — почему-то неожиданно для самого себя заявил он.

— Нет, что ты, я, может, неудачно сказала так.

Они пошли по улице, вдоль домов.

— Саша, знаешь, ты вправду очень хорошо танцуешь, как-то очень радостно от этого.

— Спасибо.

— Ну вот, ты кажется на что-то обижаешься?

— Нет, — сказал торопливо Шурка.

До дома Шурки оставалось метров пятьдесят, и он с ужасом думал, что вот сейчас они дойдут до него, и все будет кончено: она уйдет, а он останется. В этом была прямо-таки чудовищная для него несправедливость, и он решился:

— Вера, пойдем завтра вместе в кино?

— А какое? — спокойно, не удивившись, спросила она.

— Не знаю, — выдохнул Шурка. Он действительно не видел афиши.

— Ты, Саша, немножко чудной, — сказала она тоном взрослого человека.

— Почему? — спросил он лишь бы не молчать.

— Станный иногда и очень нетерпеливый.

— Ты тоже не такая, как все, — упав духом и потеряв контроль над собой, сказал Шурка.

Она остановилась, внимательно посмотрела и засмеялась, опять сама себе, но он заметил: по лицу ее пробежала какая-то тень, она чего-то как бы недоговаривала. Широко раскрытые светло-серые глаза ее были печальны.

— Вот и твой дом, — сказала она.

И Шурке показалось, что она даже немножко обрадовалась этому. Про кино он второй раз не стал спрашивать, а она сама ничего не сказала. «Она не могла забыть, она специально не ответила», — подумал он.

— А вдруг твой отец настоящий объявится и заберет тебя в Варшаву? — неожиданно спросила Верочка, — поедешь?

— Нет, — ответил Шурка, удивившись тому, что она знает про его отца.

— Что, не поедешь?

— Не появится пока, нельзя ему.

— Почему так, ведь он твой законный отец?

Шурка ответил не сразу, решая про себя: надо ли дальше говорить на эту тему. Сказал не спеша:

— Нельзя, тогда же вся наша семья переломается пополам. Так уже было: сначала один отец, потом другой. Он так не сделает. Он маму пожалеет.

— Да! — удивилась Верочка ответу. И замолчала, глядя пристально в упор на Шурку так, что тот смутился. Они прошли некоторое время молча. Шурка не решался заговорить.

— Если твой отец живой, то у тебя могут быть где-то братья, сестры. Так ведь?

— Не знаю, — огорошено ответил Шурка, — я об этом даже ни разу не подумал как-то.

— Эх ты, голова садовая, — сказала Верочка, и Шурка видел, что говорит она одно, а думает о другом. И он говорил не о том, что думал. А о чем думал, говорить не мог. Это нельзя было сказать несколькими словами, вдруг, сразу.

— Ну что ж, до свидания, — сказала Верочка, когда они поравнялись с Шуркиным домом.

— Я смогу проводить дальше, — запинаясь сказал он, и ему стало еще более неловко, словно он просил одолжения, заранее зная отказ.

— Нет, здесь же рядом, — неестественно бодро ответила Верочка и улыбнулась: — До свидания, Саша! Ты очень хороший.

— Да, — выдохнул Шурка, — до свидания.

И только уже во дворе опомнился: репетиция-то у них через три дня, но она сказала «до свидания»... она ошиблась или согласилась пойти с ним в кино?

Дома его ждал сюрприз. Во дворе около крыльца лежал целый ворох краснотала, того самого, что растет вдоль Самарки и который еще зовут вербой. Он был разный, Шурка это заметил: меньшая часть покрупнее в комельке, толщиной сантиметра полтора, а остальная — в карандаш. Шурке припомнилась присказка, связанная с красноталом:

Верба хлест, бей до слез,
вставай рано, бей барана, бей до слез.

Или:

Верба бела — бьет за дело.

Считалось, что если весной на вербохлест побьют рано утром кого-то вербой, тому суждено быстро расти и быть здоровым, поэтому никто не обижался, когда под смех домашних утром засоню поднимали с постели таким способом. Но обязательно должен быть краснотал, набухший

красным соком и облепленный почками, похожими на мышинные глаза. Так бывало в Вербное воскресенье. В Утевке церковь не работала, поэтому освятить прутья можно было только в Мало-Мальшевке.

— Вот, Шурка, — сказала, встречая его, мать, — работенка тебе нашлась, будешь кошелки плести.

Шурка призадумался, для него это было неожиданно.

— Вишь какое дело, в колхоз на общий двор кошелки нужны, ну я и говорю Карпычу: вези материал, мы с Шуркой сделаем, — пояснил отец.

— Пап, а я ведь ни разу не пробовал...

— Попробуешь, не велика хитрость, я все покажу. Тут на полу, видишь ли, надо работать, я долго не могу, а ты сможешь.

— Василий, ты хоть договорился, как он платить-то будет?

— Мать, это все потом. Дело будет — заплатят.

— Заплатят как за хомуты? Ты его слушай, он говорить-то — Москва!

— И за хомуты заплатят. Ты как, Шурка, думаешь? Осилит?

— Конечно, осилит, — сказал Шурка и увидел, как мать радостно улыбнулась.

Он вдруг вспомнил о своей премии.

— Мам, а вот у меня что есть, — и протянул деньги.

— Откуда? — удивилась мать.

Шурка рассказал все, как было.

— Вот те да ну, — сказал отец с расстановкой, — кормилец растет, а мать? Скоро мы не угонимся за ним. За такие деньги надо целую неделю валенки подшивать!

...Вечером Шурка не мог долго заснуть. Вспоминались все встречи, которые были у них с Верой. Почему-то мысли кружились все больше вокруг одного разговора, который случился на большой перемене. Он стоял в коридоре у окна, она подошла и запросто спросила, как будто это для нее было самое важное:

— Саша, а ты когда-нибудь коров, ну, или овец пас?

— Конечно, — не понимая ее, ответил он.

— И гусей? — засмеялась она.

— И гусей, — машинально ответил Шурка, — гонял на озеро Приказное, а что?

Он вдруг испугался, что она над ним смеется, вот так, напрямую.

— Да так, — улыбнулась она, — не похоже на тебя это.

— Как? — Он все еще пытался сообразить, чего она хочет: обидеть или чего-то понять.

— Разве не смешно это — гусей пасти?

– Это ты серьезно?

– А, если бы да?

Шурка почувствовал, что летит куда-то в пропасть. Что он никто для этой горожанки. И он неожиданно для самого себя дурашливо протянул:

– А я еще и барана заколоть могу, шкуру снять. – Ему показалось, что в сказанном недостаточно дерзости, и он чикнул себя по горлу ребром ладони: – Р-раз вот так – и нет бедненького!

Она сделала большим и указательным пальчиками своей беленькой ручки колечко и посмотрела вроде бы шутя сквозь него, как через увеличительное стекло, на Шурку и серьезно сказала:

– Зачем ты кривляешься?

«Не знаю, не знаю, я, наоборот, хочу давно сказать что-то хорошее и важное, но не решаюсь и не знаю что», – так хотелось ответить Шурке, но он молчал. Что-то мешало этому. Какая-то невидимая преграда вдруг встала между ними. Шурка ворочался на кровати и гадал: «Забыла она мои глупости или нет?»

МЕЛОДИЯ

– Ну что, свет наш барин молодой, Алексей Иванович, ускакала наша Лизочка!? – так встретила Валентина Яковлевна появление Шурки на репетиции в клубе.

Шурка ничего не мог понять:

– Кто ускакал?

– Ну, Верочка Рогожинская. Уехала учиться в Куйбышев. Плакала наша «Барышня-крестьянка», другой такой Лизочки, как наша пани Рогожинская, у нас не будет. Такая постановка! Разбойница, а не Верочка! К новому году теперь спектакль не поставить.

У Шурки внутри все оборвалось: «Как уехала? А как же я? Разве так бывает?» И тут же находился ответ: бывает, бывает. Сколько уехало из Утевки, и никто еще не вернулся. Но она так просто не могла, она же все видела, она так все понимала без слов. Она так всегда смеялась сама себе в его присутствии. И он верил этому смеху, он чего-то ждал.

– Ее отец, ну настоящий Муромский, русский барин, говорит, что учиться надо в городе, в селе не тот уровень. А, каково, Шурка? Мы с тобой, значит, не тот уровень для них, вот черти!

Валентина Яковлевна шумно возмущалась, но Шурка видел, что это она играет для него. Ей его жалко.

– Вырастешь, станешь великим артистом. Все о тебе будут говорить, вот поверь мне – она тогда пожалеет о молодом Берестове. Везде будут говорить о тебе, а ей нечего будет сказать в свое оправдание. Так вот!

– Валентина Яковлевна, не надо так, – сказал Шурка.

– А как? – переспросила она, – а, ну да ладно, непедagogично, да, да, конечно. Бог с ним, то есть с ней.

Помолчала, глянула черными глазищами, в которые Шурка не мог пристально смотреть:

– Думаешь, дурачусь, да? Может, великим артистом не станешь... допускаю. Но только, думаешь, успокаиваю? Нетушки! Никому бы не сказала, тебе скажу. В тебе что-то сидит такое, чего я сама не знаю. Ты себя цени, береги, на тебе отметина есть. И все мы за тебя еще порадуемся. Я очень хотела бы увидеть тебя взрослым, дожить, удивиться, что не ошиблась. Ну иди, иди куда-нибудь, на тебе лица нет.

Она легонько подтолкнула Шурку, и он, открыв дверь, оказался в зале. Вялым шагом подошел к тому креслу, в котором сидел, когда Верочка играла полонез Огинского. Шурка сел. В зале был обычный полумрак, а на сцене все тот же яркий свет, и элегантно черное пианино поблескивало холодновато и враждебно. Все было на своем месте. Не было только легкого, почти воздушного загадочного существа, которое теперь, так ему казалось, и не должно было быть здесь. Или оно было здесь совсем случайно. И этого больше не будет. Никогда!

Казалось, зал этот не имел права вообще на все то, что здесь произошло совсем недавно. И звуки полонеза Огинского тут оказались так случайно и некстати, будто они только на время нарушили обычный ход вещей и отлетели далеко-далеко, в те края, которые называются родиной этой волшебной мелодии, и которой вроде бы и дела нет до Шуркиной незаметной такой почти никому жизни...

Зрительный зал казался пустым и холодным. Шурка грустными глазами смотрел на освещенную сцену, на две громадные голландки, стоявшие по краям в зале: все казалось мрачным и равнодушным. Когда же он повернулся и посмотрел на противоположную сцене стену, то, как будто получив толчок в грудь, ощутил уверенную силу. Она исходила от трех богатырей с огромной картины Васнецова, которая висела почти под потолком, такая же картина, но намного меньше, висела дома у него над кроватью, нарисованная дядькой Сережей. И ничего в ней особенного вроде бы уже и не было. Шурка к ней привык. Дома картина висела с большим наклоном вниз, и, ложась спать, Шурка всегда чувствовал на себе взгляд богатырей. Но здесь картина была высоко и всадники смот-

рели непривычно мимо, по верх головы, как будто и они силились понять: что же там, в иной жизни, за горами, за долами. Им было не до него.

Казалось, только один, крайний справа всадник, Алеша Попович смотрел на него и как-то очень похоже на то, как это делал дядька Сережа, подмигивал и, кажется, говорил словами бабушки Груни: «Ничего, Шурка, твое все с тобой, придет и наше времечко». Да и лошадь у Поповича, как показалось сейчас Шурке, была не такая, как у других богатей: похожа больше на конягу с общего колхозного двора. Смирная и надежная. Своя. Ему от таких наблюдений стало немного спокойнее, он встал и пошел в малый зал, там должна была начаться репетиция. Он всегда боялся опоздать.

Когда он вошел в фойе, из висевшего слева от косяка старенького динамика послышались тихие звуки. Вначале Шурка не обратил на них внимание, но вдруг его будто что-то подтолкнуло. Еще не понимая, чего он хочет, он резко добавил громкости, и в зал полились волшебные звуки полонеза Огинского. Все почти враз повернули головы в сторону Шурки. На лицах были восторг, восхищение, удивление. Равнодушных не было. Шуркино сердце наполнилось радостью и благодарностью ко всему окружающему, спокойной уверенностью, что все еще впереди, все и вправду только еще начинается. Все-таки будет светлое и хорошее.

И обязательно будут когда-нибудь эти две ослепительные встречи: с отцом Станиславом и Верочкой Рогожинской.

...А удивительная музыка, заполняя зал, лилась властно и всепобеждающе, не признавая границ ни во времени, ни в пространстве.

1995-1996 г.г.

ЗЕЛЕНЬЙ ЧЕМОДАН

1

Первые дни зимних каникул в десятом классе для Шурки Ковальского начались с неожиданной потери. Уезжала из Утевки в Кинель художественный руководитель районного Дома культуры Валентина Яковлевна Плотникова. Для Шурки это был удар. Они только что начали репетировать «Гамлета», Шурка уже почти все слова знал наизусть. «Но, что ей Гамлет? – уныло думал он, – и что ей я – Шурка Ковальский?» Быть или не быть? – чудной вопрос. Быть! Но кем? Он кисло улыбнулся, вспомнив ее обещание «сделать» из него артиста.

Слухи о том, что Плотникова долго не задержится в Утевке поползли давно, да на то и были основания. Художественный руководитель начала пить. Постепенно шепоток о ее «художествах» начал перерастать в сплетни. И уже не понятно было: где ложь, а где правда. Многие говорили, что она зазналась после поездки в Москву, но Шурка чувствовал, что это не так. Была причина серьезнее, по его разумению.

Разлад с начальством у Валентины Яковлевны, как заметил Шурка, начался после того, как Утевский хор занял первое место на областном смотре художественной самодеятельности. И закрутились местный и областной маховики культпросветских властей, к объявленному на апрель Всесоюзному конкурсу в Москве решивших образовать на основе Утевского хора сводный областной, куда должны были войти все лучшие самодеятельные районные хористы. На деле оказалось совсем другое: утевских стали быстренько менять на профессиональных. Из Волжского народного хора определили несколько артистов.

Однажды до репетиции в фойе Шурка был свидетелем разговора худрука Плотниковой с величавой дамой из райкома, которую он видел часто вместе с Лилией Григорьевной, заведующей районо.

– Понимаешь, чурки мы осиновые, если так будем поступать. Володька Пудовкин – парень очень чувствительный, он сломается. И у меня потом не будет лучшего гармониста. Не хочу!

– Ну, какая вы, честное слово, Валя, максималистка, все равно ведь сопротивляться бесполезно. И потом сам руководитель Волжского хора Милославов тоже одобрил: Григорий Пономаренко – баянист, что надо, а ваш Пудовкин, хоть и хорош, но ведь молоденький еще и растеряться может, десятиклассник всего-то.

– Да идите вы все к черту, – не сдавалась Валентина Яковлевна. – Я ему говорить не буду, что он не поедет, устраивайте своих подстав-

ных сами. Футбол какой-то. Марионетки, – почти как на сцене перед зрителями, гневно и красиво сказала Плотникова.

– Ну, Валечка, – как-то даже жалобно возразила дама из райкома, – какая же я марионетка, – она, похоже, даже всхлипнула или у нее был насморк, – ну, мы же давние подруги с тобой!

Она посмотрела на Валентину Яковлевну, словно фиксируя, какую реакцию произведут ее последние слова.

Плотникова стояла, набычив свою косматую голову, смотрела на нее молча, как на насекомое.

– Меня же выпрут из отдела, – вдруг то ли догадавшись, то ли испугавшись, а может, и то, и другое вместе, вполголоса, как-то четко и звонка сказала дама из райкома.

– А я вам что тогда говорила? Он же кровожадный... Теперь не успеет он слово сказать, а вы все зададали. Ясно же: кто в кресло лисой прорвется, тот волком потом там будет – не слушали!

– Валя, ну, что поделаешь теперь... У нас везде теперь так.

* * *

...– На вот, тебе Яковлевна записку передала.

Шурка удивленно взглянул на мать.

– Вчера, когда вечером убиралась в фойе, она пришла малость пьяненькая. Села в зале в первом ряду и долго так молча сидела, смотрела как-то вроде впервые все видела. Стала рядышком около нее мыть пол, она на меня уставилась своими глазницами красивыми и говорит: «Зверюги мы...» Я не поняла, говорю с перепугу: «Кто мы?» «Мы все, – отвечает, – топчемся, грызем друг друга, аморалку мне пришили. Выродки». Ничего не поняла из ее слов. Она не хотела говорить. Но вдруг тебя вспомнила и очень хорошо про тебя сказала, я не повторю сама. И вот – передала тебе записочку.

Шурка развернул сложенный вдвое листочек из календаря. В нем размашистым почерком было написано совсем мало: «Шурка Ковальский! Будь собой, из тебя выйдет толк. А меня прости».

...Рано утром следующего дня Плотникова уехала из Утевки. Увез ее на грузовике сосед Костя Зинин. Все так просто. Об этом Шурка узнал уже днем, в школе.

...Позже стали доходить слухи, что в Кинеле она стала пить все больше и больше, но он не верил слухам, а, если точнее, не хотел верить...

После отъезда Верочки Рагожинской – это была вторая страшная потеря в Шуркиной жизни. Подрезались корни, но странно: случившееся давало некую иную волну, которая непонятным образом усиливала желание узнать жизнь еще больше и безогляднее там, за селом, в иных краях.

2

Не только уезжали замечательные люди из Утевки – появлялись совсем неожиданно такие, которых сельчане потом долго помнили. Особенно учителей и врачей.

Залитая вешним светом чистенькая школьная учительская. В ней двое.

– Я, Валентина Дмитриевна, хочу вас попросить: поговорите с мужем. Я Николая Николаевича никак не отловлю.

– О чем? Я готова, – завуч Валентина Дмитриевна, сидя напротив нового директора слегка улыбнулась. – Я сама его не каждый день вижу.

– Да, вот о чем: развернулся он крепко с садом-то яблоневым, – не то спрашивая, не то размышляя, проговорил директор. И уже прямо деловито спросил: – Большой сад-то будет? И где? Мне, приедем, всего пока враз не охватить, тут столько событий у вас, не ожидал...

– Он затеял его на четыреста гектар под Ветлянкой.

– Четыреста? – переспросил директор. – Вот это размах!

– Да. Ему хочется, как первому директору здешнего Утевского гослеспитомника Бочарову Василию Петровичу, приложить руки к озеленению Утевского района. Сад-то уже весь почти посадили.

– А что, разве Бочаров Василий Петрович здесь начинал? Я его не знал, правда, близко, но видел в райкоме пару раз.

– Да, здесь. А сверху ему помогал наш земляк Росляков Николай Ильич – управляющий трестом плодопитомнических совхозов. Росляков был одним из первых комсомольцев нашей Утевки. Часто он приезжал в Утевку, у него много здесь было друзей. Они по-комсомольски и начали действовать в пятьдесят четвертом году. Добились, чтобы всех сельчан обязали заводить около домов палисадники. Начали закладывать парки. На Центральной улице, напротив здания райкома партии – это все они заложили. Их парки. А руководил посадкой бригадир питомника Сорокин Павел Егорович. Сельчане, наши ребята с удовольствием помогали. Питомник еле успевал доставлять посадочный материал.

- Где озеро Лещевое, от него на взгорье с правой стороны, где Осинное озеро, - питомник. Он всегда там был?

- Да, с самого начала. Вы меня разволновали. Конечно, неслыханное дело: в полустепном Заволжье такой оазис. Я уже попривыкла, сначала очень гордилась работой мужа. Но забот потом у него столько оказалось... Днюет и ночует там. Зато все, кто не ленивый да повеселей душой, сады разводят. Все село в яблонях!

- Так, Сорокин же, по-моему, и сейчас там работает?

- Да! Кстати, это его идея и он ее внедрил: лесополосы от Утевки до Покровки.

- Замечательно, Валя, - сбился со сдержанного тона Михаил Дмитриевич. - Я человек новый тут, помоги мне привлечь наших старшеклассников к посадке сада. Весна же на дворе - скоро посадка пойдет! Понимаешь, исторический момент:

Я верю: город будет,

Я знаю: саду цвести!

Это же Маяковский сказал и про нас с вами. Какой воспитательный урок! Понимаешь, ребята сажают сад. Не садик, а сад в четыреста гектар. А рядом растет, поднимается город нефтяников. Через пять-десять лет ребята вернуться и глазам не поверят: новый город и рядом огромный цветущий сад! Ты понимаешь, о чем я говорю. Это как кино. Нарочно не придумаешь! И начальник управления Макк - молодец. Он в Нефтегорске и Ветлянке тополиные аллеи высадил.

- Михаил Дмитриевич, вы поэт?! - с удивлением спросила завуч.

- Да нет же, нет, Валя, не то: мы с вами воспитатели, педагоги, понимаешь. Твой муж Полянский - он мудрец, он уловил то, что сейчас самое важное.

- Что?

- Надо суметь не уйти от земли, надо о ней помнить. Индустриализация грядет. Она неизбежна.

- А раз неизбежна, зачем сопротивляться?

- Да не сопротивляться, о чем речь? Быть терпеливее и бережливее. Вон мне рассказывали: до войны в вашей школе арестовали и посадили ученика Петра Гриднева, он был поэт, а Петра Ковалева, он читал Есенина - еле сберегли.

Он замолчал, молчала и Валентина Дмитриевна.

- Слепы мы порой отчего-то, затмение находит.

- Михаил Дмитриевич, вы любите Есенина?

- Да, но вопрос не в этом, а в том, что крестьянство - это как бы некая Атлантида, некая цивилизация, но она за себя никогда не

умела сказать так, как она это чувствовала, и вот появились ее глашатаи, ее сыны, которые за всех пытались сказать: Николай Ключев, Сергей Есенин, Клычков, Петр Орешин и многие другие. А их всех потихонечку... Не стало их. Духовность крестьянства исчезает – и умелость, и основательность. А тут вдруг среди наших ребяташек вновь возникнет Есенин, а?

– Вы как будто не математик вовсе, – задумчиво произнесла завуч.
– Все очень здорово, конечно, и... неожиданно.

– Да, да, – проговорил директор. – В сущности мне хотелось, чтобы ребята поработали на посадке яблоневого сада.

Он встал и подошел к окну.

– Вы деревенский? – спросила завуч неожиданно для самой себя.

– Нет и да. Я со станции Тихорецкая, отец был железнодорожником, дед с Кубани, казак.

«Вот ведь, уже чуть не год у нас новый директор, и думать не думала, что он такой. Очки и лысина делают его похожим на какого-то немца-арийца, а тут столько эмоций, правда, сумбурных и странных для такого сухого, но отличного математика, как он».

– На посадку сада надо ездить километров за десять от Утевки, а у мужа в питомнике, я знаю, одна машина «ГАЗ-51».

– Ну, я с властями попробую договориться, найдем выход.

– Приходите сегодня к нам, вдруг муж приедет ночевать, вот и поговорите, а не приедет – я вас завтра с шофером Шулеповым Александром Ивановичем отправлю. Он-то обязательно вечером на машине возвращается.

...Получилось, что директор питомника домой не приехал.

Рано утром следующего дня, еще не было и семи, директор школы и Шулепов уже пропылили на стареньком газике мимо школы и выехали за село. Плодопитомник был недалеко.

После моста, на выезде из Утевки, три дороги. Крайняя слева – к Самарке, крайняя справа, прямая и широкая, ведет к старинному селу Покровка, а вот средняя, которая вдоль старицы, она-то и идет к озерам Осинное и Лещевое. Здесь, около этих глубоких родниковых озер, и расположилось хозяйство Полянского.

Директор школы был человек молодой. Хотелось делать жизнь, хотелось значительного и нужного дела.

«Как это замечательно и грандиозно, – думал он, – четыреста гектаров сада! Как она так сдержанно может относиться к тому, что намечается», – удивился он, вспомнив, как его завуч сказала о своем муже: «Да у него энергии избыток, вот он и размахивается так широко, а

психология – это дело, очевидно, наше с вами, мы – порченные люди, все у нас, у педагогов, с большим смыслом. Жить надо. Нормально жить. А он со своим садом дома не бывает».

«Поймут после. Осмыслим много позже. Где мы были, какие и куда придем». С директором Полянским они обо всем договорились. Домой из питомника он шел пешком один. Он так захотел. Хотелось почувствовать себя растворенным в весеннем теплом ласковом воздухе.

«Интересно, на земном шарике столько народу, у каждого – сердце, голова, душа: кто и что думает? Думает ли и чувствует кто-то сейчас то, что я? Не я же один думаю о саде, о будущем, кто-то где-то, которых миллионы, думают и испытывают подобное. Конечно, я чужак. Я непрактичный человек вовсе, за всю жизнь не посадил ни одного дерева, так получалось. Я в долгу у многих, если не у всех. Но я хочу быть полезным. Молодцы Любаевы и Головачевы. Они уже на своих огородах посадили яблони».

...Он пришел в село в сумерках, не заходя в школу, направился домой.

Ночью спал крепко, что бывало с ним в последнее время крайне редко. Проснулся вовремя и шел в школу в приподнятом настроении, радостно встретив взглядом у входа в школьный двор стайку первоклашек.

3

Были и другие пришлые люди...

Появившиеся около Утевки, бригады буровиков взбудоражили окрест устоявшуюся размеренную сельскую жизнь.

Майские праздничные дни украсились не цветами, а грязными брызгами рвущегося и беснующегося фонтана. За околицей села, ближе к поселку Чапаевский, вырвался этот черный бес из скважины и который день и ночь поливал окрестность. Оплошали при бурении рабочие, и газ с нефтью заявил о себе непредсказуемо и дико.

Многометровой высоты фонтан за несколько суток превратил веселые дома поселка, лес со стороны Самарки, саму землю, в нечто темно-серое, мрачное и неживое. И даже то, что, к счастью, не возник пожар, как-то не очень успокаивало, все едино: то, что было поселком, превратилось в ничто.

...Шурка и Мишка Лашманкин примчались за околицу Утевки на велосипедах.

Они не узнали ни поселка, ни леса, ни ильменька.

Все было, как в дурном сне.

Ребята положили свои велосипеды на траву, сбоку от дороги, а сами пошли поближе к поселку со стороны ильмена.

Стайка крупных кряковых уток, вернувшись к себе на гнездовье, два раза прошелестела над головой, над кругленьким ильменьком и, не решаясь сесть на бурую со свинцовыми проблесками гладь, потянула к Самарке, в сторону Лебяжьего.

В прошлом году Шурка с отцом здесь, вокруг ильменька, косили сено. Разная тут была трава. Но чаще всего и гуще эти пойменные луговины зарастали лисохвостом. Шурке нравилась эта трава, высокая, около метра, серовато-зеленая, украшенная султанчиками. И косить лисохвост легко, и скотина его любит. В мае он уже цветет. Если лисохвост скосить пораньше, то он скоро вновь отрастает и цветет. Можно косить заново.

...От неуспевших еще расцвести верхушек и до ползучих корневищ лисохвост был теперь забрызган бурой непривычной влагой, как и все остальное вокруг.

Отыскал взглядом Шурка и чистюлю рогозу, небольшими кулижками поднимающуюся было в воде вдоль берегов. И она выглядела поникшей.

Сюда они часто с братом Петром приезжали нарвать ее коричневых и плотных початков. Выживет ли теперь все тут, трудно было поверить.

Когда они шли назад к велосипедам, Лашманкин все продолжал смотреть вверх на фонтан. А Шурка не мог отвести глаз от земли, от травы. Все было загажено.

Подорожник, листочки которого мать Шурки часто привязывала к воспаленным и ушибленным местам ребятишек, сам сейчас на обочине затравевшей было дороги выглядел ушибленным. Его время цветенья – середина мая – еще не пришло, но теперь уже и трудно было предположить, что в этом аду появятся его бледно-розовые просвечивающие венчики...

Лишь осот, от которого не отобьешься и косой, с длинными горизонтальными корнями сорняк, колючими зубчатыми листочками своими щетинился, словно вгрызаясь в землю.

...Татарник, непокорный обычно и жизнестойкий, лежал вдоль земли, надломившись под корень. На него наступил тяжелым ботинком у Шурки на глазах высокий и грузный начальник в новенькой плащпалатке, прибывший из областного центра на аварию.

Жизнь, связанная с нефтью, начиналась для Утевки непросто.

Бьющую фонтаном нефти и газа скважину в конце концов усмирили. Жителей поселка переселили кого куда; остались мертвые дома, четыре дерева и мутно и угрюмо сверкающие на солнце огромные нефтяные лу-

жи... Дыхание этой новой жизни, принесенной техническим прогрессом, химизацией, о которых так часто говорили по радио, писали в газетах резко и неожиданным образом, коснулась теперь и Шуркиной жизни. Пока еще вроде по касательной, вроде бы не трогая напрямую, и была в ней, в этой новой жизни некая неотразимая... притягательность. Она захватывала, звала к себе... Несмотря на свою неукротимость.

...Подъехали на подводе Синегубый и незнакомый седой старичок.

- Новая жизнь, она не сразу в руки дается, вишь, ее объезжать надо, как молодую кобылу, - сказал незнакомый. - Но зато - новая она... прогресс!

- Ага, - отозвался Синегубый, - один прогресс мы еле пережили.

- Какой?

- А у нас колхоз назывался «Новая жизнь» - тоже красиво. Сначала хотели назвать «Прогресс».

- Но это ж, второе Баку у нас под боком, мы на нефти с тобой живем, понимаешь? Это ж богатство какое! Весь край Утевский оживет. Утевка, поверь мне, через десяток лет образуется в город. Непременно. Я читал в «Ленинском луче»: ограмаднейшие запасы нефти. Загудит здесь скоро новая жизнь, - седой старичок говорил уверенно.

- Посмотрим, коль не помрем, - отозвался Синегубый и часто заморгал своими почти невидящими глазами, обратив рябое лицо свое к теплому утреннему солнышку: - Я к брату ездил в Чапаевск на той неделе. Дак они давно уже там зачервивели...

- Ты знаешь, из чего нефть состоит? - спросил Мишка.

- Из разложившихся останков животных, - неуверенно ответил Шурка.

- Во-во, точно, хотя и другая теория есть, мне мой дядька рассказывал.

- Он кто? - поинтересовался Шурка.

- Строитель. Сейчас строит нефтеперерабатывающий комбинат в Новокуйбышевске. Начинал с кольшкков. Он много кой-чего знает. Там работал знатный строитель Иван Миронов, он с ним в одном тресте был. Когда они погибли, взорвались в подвале, дядька был с ним, только уцелел.

- Ты не прав, - обращаясь к Синегубому, сказал его попутчик. - Первый колхоз в Утевке образовался под названием «Гигант», по первоначалу в него вошло почти все село.

- Добровольно, что ли? - уточнил Синегубый.

Наступила пауза. Старичок неспешно достал из левого кармана темного опрятного своего пиджака пачку папирос «Беломорканал», щелкнул

по ее тыльной стороне, из двух выскочивших папиросин губами ухватил одну и попросил у Синегубого огня.

- Кто это такой аккуратненький да ладненький? - спросил Шурка своего друга.

- Кузьма Емельянович Данилов, бывший директор нашей школы. Давно на пенсии, лет уже пятнадцать. Он историк-краевед, мужики зовут его «Дотошным».

- Иль ты не знаешь, как было добровольно-то? - сминая мундштук папиросы, ответил старичок. - В 1928 году из Самары прибыли первые уполномоченные для организации колхозов, а с ними и представители ОГПУ. И закрутилось: при сельском совете организовали штаб, который имел право раскулачивать кого надо. Амбары с хлебом у зажиточных крестьян опечатали, их самих вызвали в штаб для агитации. Не все сразу поддавались добровольно. Твою родственницу, Степан, Евдокию Союшкину активист Мишка Власов крепко ударил, когда она отказалась отдать свою корову.

- Так все и отдали в колхозы? - не утерпев, спросил Шурка.

- Да нет, - повернувшись к нему и глядя зоркими, колючими глазами из-под мохнатых бровей, отозвался старик. - Видишь ли, много зажиточных успели уехать до колхозов, на ихних дворах и начали размещать общественный скот. Раскулачивание началось в двадцать девятом году и саботажников начали выселять.

Порывы весеннего ветра усилились и брызги нефтяного фонтана стали долетать до зевак. Крупные капли буровой жидкости упали прямо под ноги Шурки в весенний, прогретый уже майским солнцем, песок. Не успели они с Мишкой попятиться, как это сделали остальные, - крупное, рыжее пятно враз село на Шуркино голубую футболку и стало расплываться, превращаясь в своеобразный орден, чуть ниже ключицы с левой стороны груди.

- Во, гляди, Ковальский, тебя одного отметило. Это не просто, это судьба, ребята, - заволновался старик Данилов. - Это знак, помните мое слово, новая жизнь пришла в наши края, плохо это или хорошо, время покажет. Я - историк, и скажу: этот фонтан, нефть - лишь начало чего-то такого, что определит надолго многие судьбы, а уж утешцев-то само собой.

Шурка снял майку с бурым пятном, попробовал отжать влажное место. Маслянистая жидкость отдавала в нос знакомым запахом керосина.

Они все вчетвером, отступив от дороги, давая пройти зевакам, стояли на обочине. Смирная кобыла спокойно выщипывала траву, обнажая желтые, крупные зубы, позвякивали свободные удила.

- Про колхоз-то доскажи, Емельяныч!

- А что досказывать? Развалился, как и должно было быть. Колхозники спервоначала коллективно хозяйство вести не умели. Село разделили на бригады, бригадирами назначили коммунистов, комсомольцев. Закрепили ответственных за скот. С кормами-то осечка получилась, их старые хозяева уничтожили, а новые запастись не сумели. Пошел падеж скота. Коров вернули колхозникам, кто остался. А «Гигант» разделили в тридцать втором году на три колхоза, потом раздробили уже на семь. Колхоз «Новая жизнь» возглавлял Лобачев Дмитрий, твой, Ковальский, родственник, брат твоей бабки Груни, слышал?

- Нет, - признался Шурка. - Откуда все так знаете? - Шурка взглянул на Данилова и вновь встретился с его колючим и каким-то дремуче-далеким взглядом.

- А вот живу долго, интересуюсь всем...

- Он книжку об Утевке пишет, «На крутом повороте» называется, переписывается с писателями. К нему из Свердловска даже известный журналист Девиков приезжал, интересовался нашим Григорием Журавлевым, безрукими художником.

- Ты-то откуда все знаешь? - в который раз удивился Шурка.

- А слышал, что сказал Данилов: живу, расспрашиваю...

- Да ладно, - хлопнул Шурка друга по плечу. Тоже мне историк нашелся.

А между Синегубым и Даниловым шел свой разговор:

- Был один у нас, еще до войны, в коллективизацию, Минька Гришаев, шалапут, громче Мазилина. Такой же, токма белявый, а не черненький. Он за обчими лошадьми приглядывал и заодно им всем клички выдал. Была у него Бомба, Кусачка, нашу, помню, Карюху переименовал в Матрену, отец мой тогда ругался на него. А одна была под названием Индустрия.

- Что-то больно серьезное название, - отозвался Данилов.

- Дак у него жена еще серьезнее прозывалась: Интервенция, ага! - Он помолчал, пожевал губами и продолжал: - Вот эта лошадка - Индустрия - крепкая была, вроде б надежная, а так однава ему в пах лягнула, что он, Минька-то, валялся. Когда отошел, они малость вроде бы подружились и ничего бы, опять работенка у него пошла, но еще разок она ему чуть выше виска саданула, помню, рассекла кожу, черепок целым остался, а под глазом образовался огромный синяк, страшный. Долго ходил так с ним. Ушел он с конюхов-то. Не поладили они.

- Ты это к чему? - старик Данилов, улыбнувшись, посмотрел на Синегубого.

- Да уж больно случай похож на нынешний. Уж Миньки нет, лошадки той нет, а история продолжается. Обратно Индустрия лягнула и вон, смотри, все иссиня-коричневое вокруг стало. Лица нет. Это только у нас, здесь...

- Да, брат, крепок ты на аллегии, даже не ожидал, - загадочно проговорил Кузьма Емельянович.

- Чего? - не понял сказанного Синегубый.

Но старик его не слышал или не торопился отвечать. Он думал свою думу, и она сейчас была для него важнее разговора с Синегубым.

...Старик Данилов, конечно, был прав, когда говорил об огромной роли добычи нефти для преобразования Утевского района. Но мог ли он предполагать, что нефть и газ скоро будут так глобально определять судьбу всей страны? А через сорок с небольшим лет вокруг черного золота и голубого топлива в стране и в мире будет много крови, стрельбы, возникнут настоящие войны.

Не догадывался и Синегубый, какая судьба ждет его первого внука, ставшего потом для него непонятно кем - топ-менеджером одной из нефтяных фирм, и которого с прострелянной головой привезут в морозный день перед самым новым девяносто пятым годом хоронить из Москвы в Самару.

Он не будет этого видеть по простой причине. Контузия, полученная под Курском, довершит дело: Степан Сонюшкин к тому времени ослепнет совсем.

...Старик Данилов немножко опаздывал, говоря о рождении новой жизни в майский день шестидесятого года, наблюдая нефтяной фонтан у поселка Чапаевский.

Еще в пятидесятые годы нефтеразведчики открыли Кулешовское месторождение нефти, оно и положило начало Южно-Куйбышевскому нефтегазоносному району.

Именно в 1958 году буровики разведочной конторы № 4 треста «Куйбышевнефтеразведка» заложили скважину под номером пятьдесят, а двадцать девятого апреля пятьдесят девятого года с глубины 1817 метров скважина, пробуренная нефтяниками Абросимовым и Филипповым, дала фонтанный приток нефти с суточным дебитом 100 тонн.

И начал раскручиваться маховик индустриализации степного края. Его машинное дыхание чувствовалось все сильнее.

В сентябре пятьдесят девятого был создан участок по добыче нефти и нефтепромысловое управление. Из Сызрани привезли первые домики (вагончики), расширялась материально-техническая база поселка Ветлянка, появилась первая улица нефтяников.

Уже не далек был тот день, 10 июня шестидесятого года, когда Облисполком выделит землю под строительство поселка нефтяников нового типа – Нефтегорска, которому позже суждено стать городом и центром всего Нефтегорского района.

То ли годы несли взрослеющего Шурку в водоворот событий, то ли сами события неминуемо должны были задеть его, но он чувствовал – судьба его скоро резко изменится, и мощный поток новой жизни увлечет его.

Много нового шло из степи, от нефтяников, из поселка Нефтегорск. Жизнь и работа, которая текла там, удивительным образом задевала и преображала жизнь его села, его, Шуркину, жизнь. В поселок, в степь, туда, где только что начинали проявляться нормальные условия труда и жизни, строиться новые дома, двинулись люди, и не только с Утевского района.

Промышленные объекты были разбросаны по необъятной, казалось, степи, дороги как таковые отсутствовали. Не было – асфальтированных до города Куйбышева, до станции Богатое, откуда шли грузы для работы нефтяников.

Новая жизнь рождалась в бездорожье, в весенней и осенней распутице, в зимних морозах. Но люди не сдавались. На тракторах, телегах, пешком добирались до буровых. Над головами Шурки и его односельчан зашумели самолеты и вертолеты, которые здорово выручали нефтяников.

Строительство дорог становилось первостепенной задачей. Формировался новый промышленный район. Зазвучали фамилии руководителей. Во главе промышленно-производственного комитета стоял Железняков Виталий Андреевич и его заместители Постников Александр Васильевич, Ильин Алексей Михайлович и другие. И хотя Утевский район входил в состав Кинельского, затем Волжского, все же сама жизнь определила, что быть ему Нефтегорским.

4

Новая жизнь притягивала к себе многих. Апрель 1961 года. Полупустой зальчик автовокзала в Куйбышеве. К окошку справочного бюро пробирается крепко сбитый парень, смуглое лицо его украшают щеголеватые черные, как смоль, усы.

– Красивая, скажи, как добраться до Кулешовки?

– Если повезет с попуткой, сначала до Осинок, потом на «кукурузнике», – ответила «красивая» и, изучающе посмотрев на парня, спросила: – На работу, из Сызранского нефтяного техникума?

- Так точно, - удивился парень. - Откуда знаете?

- Да ваших вчера трое было, никак не могли уехать. Но куда-то делись.

- Какой тебе «кукурузник» сейчас, - пробасил стоявший рядом парень. - От снега одни клочки остались - кругом грязища, какой тебе самолет?

Евгений обернулся. На него в упор смотрел парень, сильно похожий на артиста Бориса Андреева.

- Дуй до Кряжа, потом попуткой до Дмитриевки, а там как повезет...

...Евгению действительно повезло с попутками. До поселка Ветлянка добрался на тракторной тележке с оборудованием. Городок из вагончиков и несколько щитовых бараков встретили непролазной грязью выпускника Сызранского нефтяного техникума Евгения Разлацкого. Позади была армия, техникум. Совсем недавно в Астрахани, где они жили, умерла мать. Ничто не удерживало его и в Сызрани, а что ждало в этой необъятной степи он и не ведал.

Прошла первая ночь, а наутро радость - встреча сразу с четырьмя такими же выпускниками, жаль, правда, что не сызранскими.

Разместили вновь прибывших в «офицерский» барак, где уже жили инженерно-технические работники бурения и промысловики. Прибывший чуть позже, приветливый и основательный начальник НПУ Иван Макк пообещал вначале кровати, а, когда будет построен город Нефтегорск, - квартиры.

- «Когда будет построен город» - это звучит! - смеялись ребята-буровики.

А уже на следующий день оператор по добыче нефти Евгений Разлацкий был назначен в первую бригаду к мастеру Рему Ивановичу Вяхиреву, который лично проводил инструктаж всем новичкам.

В поселке Ветлянка уже была столовая, клуб, контора разведочного бурения, транспортная контора и нефтепромысловое управление с двенадцатью нефтяными скважинами.

...На голом степном месте начинал расти город Нефтегорск, уже стояло четыре дома. Сами строители жили в селе Семеновка.

Единственным бревенчатым помещением был «Универмаг», единственным транспортом для доставки на работу весной и осенью были тракторы, а в Нефтегорск курсировал от плотины до огромного водохранилища «Ветлянное» трактор и прицеп к нему, оборудованный бортами из досок.

Непростое это дело обслуживать закрепленные за тобой скважины. Оператору Разлацкому приходилось, неся на плече противогаз, сумку с

ключами и сальниковой набивкой, мерить расстояния между скважинами собственными ногами.

События неслись стремительно. Вскоре заработала механическая мастерская, нефтекачка начала откачивать нефть насосами, приведенными в работу дизелями. Уже в шестьдесят первом году буровики отмечали миллион добытой нефти.

Пройдет совсем немного времени, добыча нефти возрастет, будет построен нефтестабилизационный завод, и первым директором его станет инструктировавший Евгения улыбчивый человек мастер Рэм Иванович Вяхирев, будущий глава российского «Газпрома».

...Евгений же вскоре начнет трудиться оператором-инженером в отделе капитального строительства. Штаты всех контор располагались в Ветлянке, от которой пошла асфальтировка дороги до Нефтегорска. В первые годы жители Нефтегорска и Ветлянки знали друг друга – почти каждый. Радость и горе были общими.

Новый город, как магнит, притягивал людей. Много предстояло встреч Евгению впереди, будет у него и встреча с Шуркой Ковальским...

...И поселится он временно на одной улице с ним, рядышком с его нарядным домом.

* * *

Приближаются майские праздники. Катерина Любаева сегодня с утра, как только растеплилось, моет окна. Василий еще вчера, после дежурства в клубе, не спеша выставил рамы. С одними оконными рамами в избе стало сразу намного светлее.

Вторые рамы обычно ставили на зиму где-то в сентябре. Между ними Катерина прокладывала бугорки из ваты, предварительно заклеив все щели бумагой или ленточками из белых тряпок. Вместо клея она всегда брала мыльный раствор. На ватные бугорки между рамами хозяйка насыпала мелко нарезанные кусочки цветной бумаги и блески от новогодней клубной елки. Было красиво. Шесть окошек – четыре на улицу и два во двор – украшали избу Любаевых. Окна еще и оттого были нарядны, что Василий сам сделал резные наличники и выкрасил их в белый цвет.

На крайнее окошко со двора и на одном уличном, на том, где всегда было радио, Катерина поставила по большому горшку с цветами. И теперь эти два окошка постоянно встречали и провожали Шурку, когда он приходил и уходил из дома, – нежными огоньками приветливого взгляда приبلудившейся дочери Южной Африки – комнатной герани.

И не одного Шурку, а и брата Петра, и двух их сестер Любку и Надюху, от которых всегда было шумно в горнице с геранью.

Ловкие руки Любаева умели из ничего делать конфетку.

Дом Любаевых – их саманная изба – всегда была приветлива. В нее каждому хотелось войти. Все окна имели распашные рамы, их сделал сам Любаев. Каждое окно готово было распахнуться, и веселая хозяйка или забавные девчата – позвать в гости.

Дом Любаевых не похож был на саманный. Василий наготовил дощечек, обрезок ото всего разного деревянного, остатки тарных ящиков, которые он брал в магазинах, и, провозившись кропотливо всю зиму в своей мастерской, к весне, в прошлом еще году, заготовил материал для обшивки дома. Василий, Шурка и Петро обшили избу деревом быстро. Ножовка у отца всегда была разведена и наточена отменно, материал – легкий и удобный, гвозди заранее выпрямлены и подобраны по размеру: пятидесятки – для досок, сотки – для прожилин. Почему же не работать слаженно и весело?

Дощечки набирали не торопясь: елочкой на стене, а углы обрамили и заключили в деревянный корсет из горизонтальных досочек, чуть покрупнее тех, что были на стенах. Получилось солидно.

Оказалось, что не хватает обшивки на глухую полную стену от соседки Мани Сисямкиной, и отец решил оставить ее отделку до следующего года.

Мать два раза старательно, в лад отцу, прошлась по этой стене хорошим слоем глины, намешанной с порциями конского навоза и песка. Глину она с Шуркой привезла специально от моста, что за Пашенькой безумной, на Саратовской улице.

Просохшая стена сразу всех порадовала. Она была ровной, нарядной. Ее светло-рыжий цвет оттенял дом с улицы, а потом Василий с Петром выкрасили ее светло-голубой краской.

И это еще не все – той же прошлой весной появился ровенький аккуратный палисадник. Изгородь его, хотя и была из тонких осиновых штакетин, которые напилит Василий на пилораме, на свой манер, но стояла ровно и достойно.

Осенью Шурка посадил в палисаднике справа под окном с улицы сирень и клен, который он принес от озера Лещевого в мокрой рубашке. Слева уже росли два больших карагача, с той поры, когда закладывали большой парк на Центральной улице от столовой до Лаптаева переулка. И над всем этим широкое утесское небо, которое Ковальский всегда чувствовал, его глаза всегда отдыхали и наполнялись светом, когда он смотрел в него.

...А во дворе отец подсказал посадить две яблони: китайку и московскую грушовку. Александр так и сделал, съездив за саженцами в питомник, привез их домой на велосипеде.

- Пап, у нас не дом, а резиденция! - сказал Петро, когда они подкрашивали наличники.

- Это что такое будет? - поинтересовался Любаев.

- Ну что, красивый дом такой.

- Откуда такие слова знаешь?

- Да вон, - он махнул в сторону брата, - у Шурки в словаре прочитал, у него - толстый такой.

...Они любили свой дом.

Чуть ли не метровой толщины стены из самана держали отменно температуру, тому способствовал и плотный завалинок, словно скатанный полушалок, охвативший все три стены дома. А четвертую стену защищали сени, сложенные из широких деревянных плах, толщиной сантиметров в пятнадцать.

Зимой в доме было тепло. Печь стояла на кухне - ее Катерина топила не каждый день. Выручала голландка, стоявшая слева на входе в горницу - элегантное сооружение из кирпича и жести, покрашенной в черный цвет. Большая, от пола до потолка, круглая тумба приветливо гудела, когда топилась. И яркие, красные огоньки высвечивались через неплотности чугунной дверцы топки - манили к себе.

Катерина любила в зимние вечера, вбежав с морозного двора, постоять около топившейся голландки, осторожно приблизившись к ее темному круглому телу, и что-нибудь рассказывать. Отец обычно ложился на кровать с краю, а ребятишки располагались кто где, Шурка с Петром на самодельном, обтянутом дерматином, диване, девочки в закутке спальни.

Катерина часто начинала рассказывать сходу. Обжигая руки о голландку, она держала их за спиной, смотрела в окошко и произносила чуть ли не строго:

- А вот еще разок мы с бабой Груней...

У всех ребятишек сразу были «ушки на макушке», они знали, что расстояние от того, когда их мама серьезная, и до хохота со слезами очень маленькое, надо успеть...

...А летом изба всех выручала своей прохладой. Если выгнать мух и завесить окна чем-нибудь плотным - лучшего места для отдыха не найти. Палящее летнее солнце, раскаленный воздух и знойная пыль - все это оставалось где-то там, кажется даже, совсем-совсем далеко.

Так изба старательно защищала своих жильцов, так благодарила за любовь к ней...

С тех пор, как отцу определили пенсию, связанную с инвалидностью, полученной на фронте, после постройки своей избы, жизнь Любаевых растеплилась. А вскоре Катерина и Василий стали работать вместе в клубе, Василия приняли туда ночным сторожем. Полегчало. А то жили постоянно под нуждой.

* * *

Катерина Любаева собирает обед.

- Петро, а, Петро?

- Че, мам? - семиклассник, брат Александра, только что пришел из школы, раздевается.

Катерина хлопочет у печки, достает еду. Василий объявился во дворе, и она готовит обед.

- Ты не зови Шурку-то поляком, нехорошо.

- А я и не зову, мамань, - быстро говорит Петро.

Катерина выпрямилась, посмотрела на него, он снимал валенки и одновременно махал рукой, пытаясь попасть шапкой на крючок вешалки.

- Ты когда-нибудь будешь хоть что-нибудь нормально делать? - сказала она больше для порядка. - Зовешь ведь. Вчера, когда калду от навоза чистили, назвал.

- Мамк, ну. Его ж все в школе так зовут и ничего.

- Пусть зовут, а ты не надо, дома тем более...

Петро задумался на секунду.

- Я уж придумал, как мне звать моего братана, - уверенно доложил он, наконец сняв и второй валенок и водрузив шапку на место: - Коляк!

- Чего еще придумал? - мать даже присела к столу.

- Ну, это, мам, ничего, даже красиво. Понимаешь, Ковальский и поляк. Если взять немножко и оттуда и отсюда - получится Коляк. Тудыль-судыль.

- И зачем тебе это надо?

- Да всех как-нибудь зовут.

- А зачем ты Мишку Лашманкина зовешь Вшивиком? Нехорошо-то как?

- Ну, он, мам, это, правда, как вшивый, дергается и дергается.

Вот поэтому.

- Он уши тебе оболтает, будешь знать. Это тебе не брат Шурка.

- Ага, правда, - соглашается придумщик Петро. - Наш Шурка и не дерется в школе, и матом не ругается. Как не свой. Коляк!

- Петък, эх, ты и бестолочь неумная: а Перова почему зовешь Перпухом?

- Ну, Перов пух, он как одуванчик, белый же и легкий такой, как второклашка...

Мать покачала головой и скомандовала:

- Иди отца крикни на обед, обязательно чеботы одень, а не галоши.

Только Петька выходить - дверь открыл, сестра Надя как тут:

- Анна Ильинична вздумала собрание проводить - вот и держали.

Когда сын вышел, Катерина спросила:

- Они Шурку там, в школе, поляком так и зовут, дураки?

- Да нет, мам, малышня там да Петька иногда, а так - нет. Его любят.

- Что так?

- Да с ним интересно, водится со всяким. Он такой правильный. У нас в пятом тоже есть, как он: Витька Зенин, только он заболел. Мамак, ты не слышала, - она осторожно взглянула на мать, - протащили его?

- Как это?

- Ну, в газете, в стенной.

- За что?

- Да он, Шурка, понимаешь, в футбол гонять любит. Там у них как-то получилось, то ли он нарочно, то ли ошибся: увел целый класс на стадион играть в футбол, а учитель-то истории оказывается выздоровел, пришел в класс, а никого нет. Пошли за ними на стадион.

- Беда-то невеликая, - сказала Катерина. - Этот учитель больно уж часто болеет.

- Ага, - согласилась дочь. - А Шурку нарисовали во всю газету, как он меняет комсомольский значок на футбольный мяч. Цветными красками, мам.

- Ну, куда они пропали? - вспомнила Катерина про сына с мужем, глядя в окно.

- Мамака, а Шурка с Любой, я их не видела по дороге в школу, вторая смена уже прошла.

- Да, они у бабы Груни, она их перед школой просила зайти чего-то помочь. - Вспомнив рассказанное про сына, спросила: - Не отберут значок-то? А то, как тогда, осенью.

- Да нет, мам, там все утихло уже.

Катерина вспомнила, как осенью четверо десятиклассников съездили в поселок Ветлянский и подстриглись под модную «канадку». Это было в школе необычное явление. И хотя их никто особо не ругал, не проработывал вроде бы, но им будто шлея под хвост попала. Взбрыкнули: взяли и постриглись опять вчетвером наголо. Это перед самым-то приемом в комсомол. Их тогда не стали принимать – перенесли срок. И вообще оставили в покое, чтобы не спровоцировать еще на что-то более отчаянное.

Тогда родителей вызывали в школу, но Любаевы не пошли.

– Не маленькие, сами разберутся, – отреагировал Василий. – На то они и учителя.

– Мы только хотели сказать вам, Катерина Ивановна, – говорила вежливо, нестрого чуть позже встретившаяся у клуба Валентина Сергеевна, – что будут себя так вести, могут быть не приняты в комсомол, а без комсомольского билета, знаете, трудно будет поступать в институт.

– Чать они не ошалапутили, ребята ведь хорошие, – сказала тогда у клуба Любаева.

Учительница вздрогнула. Она не поняла, кто это «не ошалапутили». На том все и закончилось.

– Мам, папка ведь у Росляковых, – объявил вернувшийся Петька, потирая замерзшие руки.

– А чего он там забыл?

– Поросенка зарезали, а паяльная лампа у них не работает, его позвали посмотреть.

– Садитесь тогда вы, его не дожدهшься вечно.

* * *

...Головачевы тоже обедали.

– Иван, Шурка-то какой взрослый стал, – сказала баба Груня и вздохнула, доставая из печи бывший когда-то зеленым закопченный чайник.

– Растет, чай, вот и взрослый, – ответил Головачев, ломая хлеб на мелкие кусочки и бросая в суп.

Совсем стало плохо с зубами у Ивана Дмитриевича. То глаукома нашла на левый глаз, то теперь вот другое наказание.

Он не любил, когда она так вздыхала: начнет потом свое...

Баба Груня знала, что он не любит ее вздохов, но продолжала:

- Ты еще веришь, что Станислав-то вернется? - спросила она осторожно, а сама все думала и про сына Сергея, уже третий месяц его не было дома и письма нет - как пропал.

Они жили уже третий год одни без сыновей и тосковали. Каждый по-своему. Иван Дмитриевич старался не показывать этого. Ему проще - у него рыбалка. Уехал на озера и думай там свою думу, а ей...

- А помнишь, как Станислав тогда нам сказал: «Жив буду - вернусь к сыну». Он так верил, что сын будет. По его получилось ведь.

- Уж больно годов-то сколько прошло.

- Теперь бы хоть одним глазком посмотрел на Шурку - вылитый ведь он, и кудрявый, правда, немножко, не как он. Еще глаза серо-зеленые, а у отца были голубые. Катькины карие, наверно, перемешались... - И совсем неожиданно: - Иван, ну, давай я поеду к Сергею-то денька на два, хоть знать будем, что да как, город ведь как никак? Яичек прихватчу с собой.

- Делай, как хочешь, - сдался Головачев, - а я думаю, Сергей сам скоро приедет. Чую.

- Может, оно и так, - согласилась баба Груня, - но ноне ночью, когда я ходила теленочка посмотреть, куры с насести слетали - беды бы не было какой, знак нехороший.

- Да ладно наговаривать-то.

- Ей богу, - продолжала свое баба Груня, - инно кто их палкой сшиб с жердочек-то. У меня сердце ажник упало.

Дед Иван ребром ладони левой руки провел несколько раз по столу, собирая хлебные крошки в кучку и постарался перевести разговор в другое русло:

- Ты лучше скажи, куда зипун мой делся, хотел поправить немножко у него спинку, растрепалась.

- За мазанкой, где оглобельник, там видела вчера, там и есть наверно. - Бабе Груне не до зипуна. Куда он денется? - Ни одна так не было у нас с курами-то. А у Макарычихи-то, когда золовка гостевала ее, они дрова пилили, помнишь, было - вот она и хлебнула горюшка-то со своим Феденькой: ему бензопилой ширкнул по ноге муж ее - разведенец, который из Ташкента в гости приехал.

И она опять вздохнула. Хотела удержаться и не смогла.

- А хошь, я расскажу тебе, как я первый раз ходил со своей будущей женой Зинулей в городе в кино? Я тогда после училища только что

начал работать на стройке. Парень был хоть куда. На Куйбышевской в кинотеатр «Ленинский комсомол» взял два билета – и мы в фойе. Все было в порядке, если бы черт не дернул меня угостить мою даму сердца сладким. Я попросил в буфете двести грамм конфет. Крашенная дамочка заявила, что конфет нет. Меня аж взорвало: «Как нет, все витрины ломятся от конфет». «Это же бутафория», – отвечает. Смотрю на этикетки, названия не разобрать, а цена четыре с полтиной. Ну нет, думаю, мы не слабаки, нас ценой не напугаешь, тем более такое название красивое. А дамочка так испытующе на меня смотрит. Был я парень фасонистый. Девчонка рядом. Ну, думаю, знай наших. Отвечаю небрежно: «Ну и что, коли бутафория, у нас деньги имеются. Пожалуйста, быстренько полкило бутафории отпустите...» Думаю, крепко нам повезло, что зазвенел звонок и под общий шумок моя Зинуля быстренько меня за рукав утащила в зал.

– Дядя Петя, расскажи лучше о своих нынешних городских делах, – просит Мишка.

Шурка стоит рядом около огромного вязового, изуродованного несколькими попытками его расколоть, чурбака – забежал на минутку к Мишке за резиновым клеем.

– Садись, Шурк, – сказал приветливо его друг, – это мой родной дядька, – заважничав, доложил он. – Строитель, да еще известный, с Мироновым работал, геройским человеком.

Александр непонятно было, о чем говорит его друг. Дядьку Мишки он видел в первый раз, хотя много о нем слышал, даже в газетах областных о нем писали. А фамилия «Миронов» не попадалась.

– А, Ковальский, садись, брат, я тебя помню и отца твоего немного знал.

Шурка сел на шершавый массивный пенек, обхватил впереди обеими руками ручку увязшего в сучках колуна, торчавшую как ружье.

Он во все глаза смотрел на гостя. Плотный, широкоплечий с красивыми залысинами на крупной голове, тот вовсе и не походил на своего родного брата, отца Мишки, Григория. Его будто кто подчистил, поскоблил, будто прогнал на каком-то станке. И фигура его, и манеры, и цвет лица были другими – городскими.

И лишь на левой стороне лица от уха до самой ключицы, выглядывавшей из расстегнувшейся на две пуговицы сверху рубахи, было огромное пятно, грязно-коричневого цвета с множеством рубцов – след, очевидно, давнего ожога.

– Ты, Петро, скажи, с Василием Марфиным-то получается? – Григорий пыхнул беломориной и выжидательно посмотрел на брата.

- А ни хрена, ничего не получается, братишка. Трудное это дело оказалось – доброе имя восстановить.

- Но ведь были же свидетели, кроме тебя.

- Были, но что вышло: теперь и улица Миронова в городе есть и улица Сафразьяна, а он, как преступник, только оттого, что именно он зажег спичку тогда в подвале бытовки. Он забыт напрочь. Не только забыт, он – основной виновник. Но ведь спичку мог зажечь и я, я был почти рядом тогда.

- Как же все-таки он умудрился, зачем, а? Ведь бывалый человек, – удивился Григорий.

- У него – насморк и температура около тридцати девяти; ему бы дома лежать, но Сафразьян, видишь ли, бывший военный, член коллегии министерства нефтяной промышленности, приехал с инспекцией из Москвы. Осмотр объектов начался около шести утра. Попер он в эту чертову бытовку и нужды-то в этом не было... Василий с января пятьдесят первого года руководил строительством нефтеперерабатывающего завода близ станции Липяги – крупнейшего в Европе. Все вопросы к нему. Они все вместе и были, в том числе начальник Марфина Петр Игнатьевич Миронов. Хотя они с Василием не очень ладили. Независимым был очень Марфин. Щепетильным, я уважал его за это. Но это другой разговор.

- Закурили? – не выдержал Мишка.

- Да нет, – горько махнул рукой дядька Петро, и на лице его была такая боль, как будто это только что случилось, а не 11 августа 1954 года, около шести лет назад. – Не закурили...

Помолчал, посмотрел чистыми синими глазами на Мишку и сказал:

- В подвале бытовки было темно, спустились, сгрудились, я был повыше, поближе к выходу. Слышу Сафразьян приказывает: «Зажигай спички!» Кто-то в ответ: «Здесь газ!» Сафразьян вновь Марфину: «Зажигай! Или испугался?» Многие чувствовали газ, простуженный Василий – нет. Под окрик он и зажег. Произошел взрыв. До машин мы дошли сами. Некому было и помогать-то. Время раннее. У медсанчасти вышли из машин – вереница почти голых людей. У Василия было девяносто пять процентов ожога. Ему не было и пятидесяти. Он держался. Первыми умерли Сафразьян, Миронов, затем Вдовин – главный инженер. Самоотверженные все люди. Но вот так получилось. Газеты сделали тогда, после взрыва, свое дело – в памяти всех осталась причина трагедии: «зажег спичку». А ведь Василий Марфин был одним из первостроителей промышленности СССР, строил заводы в Грозном, Майкопе, Ярославле, Москве, Уфе, Орске и вот последний – в Новокуйбышевске. Мы с ним

многое вместе пережили. И институт один в Москве кончали, только я на пять лет позже. Потом судьба в Ярославле соединила.

Шурка смотрел на говорившего и не верил сам себе: перед ним сидел, казалось бы, простой человек, утесский, брат Мишкиного отца, колхозного конюха, и вдруг такие события, города, имена незнакомых, но героических людей. Его внимание не споткнулось остро на той боли, которая была в дядьке Петре от несправедливости по отношению к незнакомому ему Марфину, это была как бы часть большого целого, а целое было нечто такое, что можно было назвать: героический труд, самоотверженность – все то, что было в конце концов победоносным и значительным. Еще не пришло его время, когда он задумается об этом так же остро, как этот красивый, спокойный и уверенный в себе, но придавленный несправедливостью, человек. Задумается над ценой, которая стоит за героическими и самоотверженными делами.

– Мне через три года будет шестьдесят, – проговорил задумчиво Петр. – Пока еще я кое-что значу, пока я не только заслуженный строитель СССР, но и просто строитель, мне надо реабилитировать Василия. А стану через три года пенсионером, никто слушать не захочет. У меня есть выписка из заключения по несчастному случаю, там указан в виновных член комиссии Сафразьян, давший приказание зажечь спичку в подвале бытовки нефтеперерабатывающей установки.

– Дядь Петь, нам с другом интересно, что сегодня делается, – настырно напирал Мишка.

– Нынче? – переспросил старший Лашманкин. Зорко посмотрел поочередно на обоих и, помолчав, сказал: – Я, браточки, нынче нахожусь там, где ворочается пока в пеленках огромадный младенец, который скоро окрепнет и заявит о себе.

– С какой загазулиной говоришь, – усмехнулся Григорий.

– Точно, брат, – быстро отреагировал Петро. – Когда нефтеперерабатывающие заводы строил, так не думал, то ли моложе был, общий порыв, то ли крепко нефть, бензин, керосин стране нужны были – не рассуждал. А вот нефтехимия пошла – задумался. Больно мы круто бежим в искусственное, синтетическое. Так ли надо? Ну да ладно, это для меня вопрос пришел, а вам... каждому свой срок...

– Сейчас-то чего строишь? – переспросил Григорий.

– В марте прошлого года сдали в эксплуатацию цехи фенола и ацетона, альфа-метилстирола на заводе синтетического спирта, заканчиваем строительство производства полиэтилена. Это будет огромный завод и интересный. Ступенью выше нефтепереработки. Здесь поселок Нефтегорск – центр местной нефтедобычи, там Новокуйбышевск – будущая сто-

лица нефтехимии области. Первая очередь спирта освоена в пятьдесят седьмом году, в пятьдесят девятом директору завода, женщине, присвоили звание Героя Социалистического Труда. Федотова Анна Сергеевна ее звать. Замечательный человек.

– Мужики, вы так ладненько сидите калякаете, а я все жду: щербу разливать или нет? – Мишкина мать выглянула из сеней.

– Разливай, разливай, – закивал головой Мишкин отец. – Заговорились.

– В избе есть будем или во дворе?

– Давай, брат в избе, солнце печет, – поежился знатный гость.

– А, может, вон под карагач стол поставить, там тень? – предложил Мишка.

– Ага, во это будет здорово, – подхватил Григорий. Гость не возражал.

Когда все встали, Шурка и Мишка пошли в мастерскую искать клей.

– Может, останешься, мамка сказала, на уху?

– Не, Мишь, я так давно ушел, там велосипедная камера зачищенная осталась на пороге. Куры теперь затоптали.

...Шурка быстро шел вдоль переулка, а перед глазами стоял гость из Новокуйбышевска. Будоражили слова его: фенол, альфа-метилстирол, ацетон. Размах и масштаб деятельности удивлял. Рядом совсем ворочалась огромная машина: в Нефтегорске, в Новокуйбышевске, Ставрополе. Вершилось небывалое и захватывающее. И в этом небывалом участвовали бывшие жители Утевки.

Ему вспомнились снова слова дядьки Петра: «...А я многих к себе тогда перетянул строить Новокуйбышевск, строителями сделал. Если б твой, Александр, отец не был инвалидом – и его бы забрал. Я отца его хорошо помню, Федора, крепкий и смекалистый был, ему образование получить, и он как минимум мог быть управляющим трестом. Даже мужик самостоятельный был. Азоркин, Берлин, Кувшинов, Чураев – они все в город подались».

«Если б не инвалид! Если б да кабы! Отец мой и здесь не пропадет. С тех пор как он стал сторожем в клубе, все кресла отремонтировал – в зале, столы, стулья – в фойе. Даже вешалку в гардеробе и ту сделал по своему, сам. Ему постоянно не хватает работы. Он ее ищет! За ночь помогает матери: подметает пол во всем клубе, заправляет дровами большущие голландки. Когда надо выгребают и выносят золу. Его в клубе зовут, кто ночным директором, кто домовым».

Любаев удивлял всех, кто бывал с ним рядом, хваткой в работе. Казалось, он торопился утолить свой аппетит, помнив то, что он не

доделал, пролежав около семи лет в госпитале. У него были ко всему свои мерки. Так в паре с Катериной они и работали в клубе: сторожили и отапливали очаг районной культуры, потихоньку став как бы неотъемлемой частью его. Менялись директора дома культуры, художественные руководители, а Любаевы оставались при исполнении своих обязанностей. Такая вот работенка да скотина во дворе помогали им растить своих ребятишек. «Не тот богат, у кого много, а тот – кому хватает», – говорил, бывало, Василий Любаев, бодрясь.

Но, по правде говоря, чтобы «хватало», надо было крутиться безостановочно. А что делать?

Все это напряжение матери и отца, их стремление, не жалея себя, одеть и обуть детей, накормить и непременно дать десятилетнее образование приводило Шуру Ковальского к трепетному и безоговорочному уважению своих родителей... Он давно выработал себе установку: подчиняться и не возражать даже там, где они порой, казалось, были и не правы.

Всю физическую работу, которая выпадала на его долю и которую сам успевал находить, исполнял как обязательную. Александр был старший из детей и постоянно об этом помнил.

Мать часто помахивала опущенными руками – ломили кости от ведер с водой, от тяжелых дров, от мытья полов в клубе, но сама всегда была веселой. Когда она заходила в магазин, где был народ, либо в другое место, большинство приветствовало ее и тут же завязывался какой-нибудь шуточный разговор, сопровождавшийся смехом. Этому он всегда удивлялся. Удивлялся тому, как мать сходу начинала разговор, который почему-то враз превращался в такой необходимый для большинства. И его тема будто только и ждала вмешательства Катерины Любаевой...

Он уважал своих родителей безмерно. Кто заложил в него это? Школа? Но там главенствовал менторский тон учителей, который больше отпугивал. Кино, книги? Да, отчасти, может быть. И только. Сами родители? Но им некогда было воспитывать, им надо было работать. Да и образование у них – на двоих три класса...

...А Мишкин дядя Петя этим вечером пошел посидеть на Шум, сомят пощупать, как он сказал, да и мольберт захватил, «вдруг настроение будет: то местечко с березкой, которое облюбовал в тот раз, зацепить».

Большой груз свалился с его плеч. Производство полиэтилена, которое они строили в Новокуйбышевске, комиссия приняла, теперь уже шли пуско-наладочные работы и можно было отдохнуть, что он и делал, вырвавшись к брату Григорию в деревню. Такая возможность была очень

редкой. Он порой просто тосковал по Самарке. «Старею, – признавался сам себе. – К земле потянуло, у городских это позже приходит, если вообще приходит, а тут корешки-то дают знать».

Последний год Петр Сергеевич стал задумываться над самыми, казалось бы, простыми вещами.

– Вот полиэтилен, – говорил он своему заместителю, – это все прекрасно, но ведь это не только прогресс, рывок вперед, но и отрыв от натурального. Все скоро будет подчинено тому, что отрывает, уносит нас дальше и дальше от природного к синтетическому. Будет ведь скоро и язык синтетический, вернее, на эсперанто начнем говорить. Вон немцы, которые вели шеф-монтаж на полиэтилене, они же за это. А что им – лишь бы технологии свои у нас внедрить, на нас заработать, а там хоть на каком языке, деньги они все оправдают, по-ихнему.

Петр Сергеевич вспомнил, как рассмеялась директор завода Анна Федотова, когда он ей после одной из строительных планерок сказал о своих думах.

– Да ты, Сергеич, оппортунист чистой воды, ей богу. И мне с тобой строить, когда ты не веришь в то, что делаешь?

«Не зря она еще в девятнадцатом вступила в партию, а в двадцатом служила в ЧК. Стойко уверена в себе и в своем деле, но я ведь тоже...» – подумал он и хотел было уточнить свою мысль, но ему на помощь пришел его начитанный умница, заместитель Рошупкин.

– Я помню, один из великих сказал: когда кто-то идет не в ногу, не спеши осуждать его, возможно он слышит звук другого марша!

– Что? – удивилась Анна Сергеевна. – Нам надо вкалывать, а ты предлагаешь чужую музыку слушать, – наигранно-грозно чуть не вскрикнула она. – Ну, вы и демагоги, у вас же у обоих рабоче-крестьянское происхождение?! А вы, чужую музыку слушать, какую?

Она вскинула голову и ее коса дернулась на груди... Рассмеялась, показывая, что и она включилась с пониманием в эту игру-розыгрыш и продолжила:

– Слышите марш инквизиторов? Которые сжигали ученых, не позволяя науке двигаться вперед, а раз науке, значит, и обществу в целом!

– Мы о чем-то говорим не очень ясным, по-моему, – улыбнулся Рошупкин. – Я попробую сформулировать то, куда мы попали в своем невольном разговоре. Мы начали искать смысл, ну вы, Петр Сергеевич. Если говорить о смысле нашей конкретной деятельности, строительстве производства полиэтилена, то тут все ясно – не построим, получим кроме всего по партийной линии. И крепко! Это определено. – Он хихикнул совсем по-мальчишески, и Петр Сергеевич, глядя на него, поду-

мал, что наверняка его заместитель в молодости был большой философ и спорщик. – А вот в плане общего смысла. Поиск общего смысла тянет человека, извините, в болото, ибо в конце концов можно уверовать в бессмысленность всего вообще. Остановитесь, не ищите смысла. Его не найдешь. Его поиск так же нелеп, как и поиски сухой воды.

– Ты, брат, увел разговор в заоблачную высь, воспарил, а я конкретно о технизации, не погибнем ли в ней? – уточнил свою позицию Петр Сергеевич.

– Мужики, я боюсь, глядя на вас, вы так задумались, что вообще ничего с вами не построишь, – расхохоталась директор. – Дурите меня, старую, что ли?!

...«А вот построили, да еще досрочно, и областные газеты уже раструбили об этом», – улыбаясь подумал Петр Сергеевич, пристраивая длинное удилице между двумя ивовыми прутьями, как раз напротив омутка, который он быстро нашел наметанным глазом опытного рыбака.

6

У Мишки Лашманкина дядька известный строитель, а у Ковальского его двоюродный брат Володя Пудовкин – летчик. Пока, правда, неизвестный и молодой.

– Послушай, что я тебе скажу: будущее за образованными людьми, понимаешь? Рабочий и колхозница хороши, но надо, чтобы в стране была интеллектуальная сила. Ее всегда, эту силу, давили, но за ней будущее. Понял, голова?

Александр слушал Владимира, но не вдумывался крепко в его слова. Было и так вроде все понятно: надо учиться и все тут.

Они сидят вдвоем на мыске Ледянки на Самарке, где случайно встретились – Ковальский ехал домой с сенокосного стана за продуктами – и разговаривают. На круче сверкают в закатных лучах два велосипеда. За их спинами, за Полоузном ключом, ближе к Кунаеву пошумливают приглушенно голоса. Наверное, рыбаки с ночевкой.

– Родители только ради нас живут, ты видишь?

Да, самоотверженность его родителей не давала Александру быть бездеятельным. Он всегда чувствовал себя так, будто что-то где-то не все сделал, что мог. Не так помог. Поэтому ему нечего было возразить, он только согласно кивнул головой, своему случайному наставнику. Не так уж часто они виделись, а тут приехавший на два дня летчик сидит с удочкой, как самый простой мужик в простой фуфайке, говорит тихим голосом и постоянно улыбается.

Александр мысленно порадовался тому, что Владимир сказал то, о чем он в последнее время часто думал и сам. «Значит, и Володя Пудовкин ищет объяснения». Это было важно, но он ни с кем на эту тему еще не говорил. Да, и с кем говорить об этом?

«Откуда у моих родителей, – думал он сейчас, – да и у большинства живущих на селе, кого я знаю, но особенно у тех, кто работает на земле, такое неистребимое стремление сохранить и вывести в люди своих детей? Это что-то на биологическом уровне? И только сельский тяжелый быт так резко высвечивает это? Или война определила цену жизни? То самое главное, что было и есть – жизнь и благополучие детей – продолжателей того, что не смогли, не успели родители?

Или – сам уклад деревенской жизни, всей вообще жизни, требует продвижения вперед к лучшему, светлому, более достойному, а это может свершить только новое поколение? И помогать ему – долг родителей?

Все родственники мои по материнской линии прожили свою жизнь в фуфайках. В неграмотности и косноязычии. В вечной возне с хомутами, навозом, киззяками... Все как должно быть... но ведь есть что-то и еще, что делает жизнь привлекательнее и достойнее...

И кто виноват, что это не так?..

Каким чудом всегда для деда, бабы Груни, мамы, отца становится новая картина, новая книга. Но книги, картины и все, что связано с культурой, знаниями должно быть более доступно, должно быть нормой! И не должно же быть так в жизни, что все благосостояние и надежность жизни определяется тем, есть ли дрова, сено для буренки и картошка в погребе на зиму? Даст ли завтра лесник покосить сено в доступном месте или нет и выделит ли председатель колхоза лошадь привезти сено? Хорошо, если Синегубый, по дружбе, выкроит на полдня своего, закрепленного за ним, задерганного мерина.

А одежда для школьников? Фуфайка спасает всех. Стеганка на вате обновляется только соразмерно выросту. «Куфайка» достойна того, чтобы ей поставить памятник.

Хорошо, если есть у тебя зимой валенки, пусть подшитые, латанные-перелатанные, но – валенки! А весной: взрослым – чесанки с галошами, ребятам – литые резиновые сапоги. Если так обстоят дела – это верх всего. Надежно.

А мама моя? Я не знаю, когда она спит. Днем не спит никогда. А утром каждый день встает в четвертом часу, чтобы подоить и пустить Жданку в стадо под утренний пастуший рожок. Как она выдерживает?»

Задумчиво глядел он на бурлящий речной поток, омывающий каменистый мыс Ледянки, на шумевший осинник на той стороне.

«Сколько видела Самарка всякого на своем веку? Если бы она имела память», – подумалось ему.

Он смотрел на серебристое течение Самарки до Ледянки и после нее – спокойнее и ровнее, и ему подумалось, что река похожа на магнитофонную ленту, вращавшуюся на огромном диске и диск этот – Земля. И возникла у него совсем детская мысль: найти бы способ озвучить, снять звук с этой ленты, какие бы ожили голоса!?

Александр видел на той неделе у Романа Лихоносова, приехавшего из Москвы, магнитофон и теперь часто вспоминал об этом. Завораживающая штука.

– Где учиться? – неожиданно даже для самого себя спросил Александр. – Я не знаю сейчас, чего хочу. Уже одиннадцатый на носу класс, а я не знаю. Ребята в классе как-то определилась, а я все хочу, мне все интересно, понимаешь? А надо втиснуться во что-то одно. Но знаю, летчиком не буду, вон Виктор Ночуйкин будет, военным хочет.

– Почему? – удивился такой определенности Пудовкин.

– Зрение посадил на книжках, очки мне прописали.

– А-а... – неопределенно произнес Владимир. – Это бывает.

– А ты что кончал?

– Училище в Бугуруслане, мы из Утевки двое там учились, еще Виктор Скудаев.

– Моя мать всегда радостно смотрит, когда ты на своем У-2 «кукурузнике» круги нарезаешь над Утевкой, тебя мы сразу узнаем. Ты каждый раз круги даешь?

– Каждый раз, по три, я ни разу не нарушил.

– Но иногда же кругов нет, – возразил Александр.

– Значит, это не я прилетел, нас часто по области гоняют, летаю еще и на Ан-2.

Не знал Александр, что была еще одна причина, кроме непреодолимой привязанности к своему селу, по которой Пудовкин давал круги над Утевкой на «кукурузнике». Виной тому была Валентина Сергеевна Асекретова – учительница химии. Учительница чаще всего в школе, где ей еще быть, а школа – посередине села. Вот и получался такой циркуль, и острие этого циркуля было направлено в сердечко молоденькой химички. А в Володиной горячей груди клокотали бури, которые пока еще ему удавалось удерживать...

Александр испытующе посмотрел на собеседника, тот не особо интересовался своей удочкой, ему было радостно оттого, что он просто си-

дит у воды. Это было видно по всему. Александр решился со своим вопросом:

- Вот ты говоришь, интеллектуалы нужны, высшее заведение надо кончать, а сам училище только. Почту возишь, бабулек в город, и это все?

Послышался шум, они огляделись. Прямо посередине Самарки плыли три плоскодонки. В каждой по два-три человека. Когда первая поравнялась с мысом, на котором сидели рыбаки, Александр узнал Митягу и его многочисленных детей.

- Володя, здорово, надолго приземлился?

- Да нет, дядь Мить, на два дня всего.

- Не женился еще?

- Нет, дядь Мить.

- Молодец, а то быстро тебе крылья обкарнают, как мне вот - кузнечиком сделают. Ага.

- Будет тебе болтать, обкарнаешь вас, - наигранно возразила его жена, сидевшая на носу, свесив руку за борт в воду.

- Дядь Мить, это у вас столько рыбы? - удивился Александр, когда лодка уже проплывала мимо.

- Да нет, - он показал рукой на белую кучу в середине лодки. - Это очищенные ракушки, мясо для свиней, на отмели набирали весь день да чилигу на метлы жали.

Лодки уплыли.

- Говоришь, почту вожу, - продолжил Владимир разговор с Александром. - А давай договор заключим: я обязуюсь поступить в Ульяновской училище, переучиться на Ту-154, а ты в институт прямиком, лады?

- Ладно, согласен, - невольно поддался его напористости Александр. - Я чувствую сейчас себя около какого-то большого потока, он уходит мимо, как вот Самарка, унося на моих глазах многих, а я в заводи сижу, - задумчиво произнес Александр. - Никто не знает свою судьбу заранее, и я тоже.

- Ну, ты как старичок-философ какой, прямо. Поток, рок, судьба, - рассмеялся Владимир. - Надо смелее действовать. Слушай, ты прав в одном: свой встречный поток надо угадать, понял, голова садовая. А разгон, рывок за тобой - тогда и взлетишь. Проверено.

- Владимир, можно один вопрос?

- Конечно.

- А как с баяном дела, тебя так всегда хвалила Валентина Яковлевна. У тебя же талант был, она говорила.

- Играю - для себя, для ребят в отряде в Смышляевке, всем нравится, - сматывая удочку легко ответил тот.

- И все?

- А что еще?

- Да нет, я так, - задумчиво произнес Александр, явно решая про себя какую-то важную задачу.

«Талант был и вдруг его как бы нет - разве такое бывает?» - этот вопрос кружил в голове у Александра. Но он промолчал.

...Вечером после дойки мать послала отнести бидончик с вечерошником через улицу Зотовым:

- Я им должна за сепаратор, отдай.

Когда он вошел в низкие сени Зотовых, то столкнулся с только что приехавшим Андреем, который учился в городе в речном техникуме. Разбитной. Удачный парень. Торопливо причесываясь на ходу, он выходил во двор.

- Андрей, - нерешительно обратился Александр, - у меня один вопрос есть, можно?

- Валяй, только быстрее, мне в центр надо.

- Да, я... - смешался Ковальский. - Да вот сейчас, отдам молоко.

...Когда он вышел во двор, Андрея не было, он сидел на лавочке у ворот.

«На низком старте уже, - подумал Александр. - Разговор не получится».

Но в ответ на вопросительный взгляд Андрея сел на лавочку у палисадника рядом с будущим речником.

- Я в город хочу уехать, буду поступать в институт. Как там, в городе, жить?

- А, - протянул тот, - ты вот о чем, - свистнул пару раз в свистульку, только что сделанную из стручка акации и быстро спросил: - Твой отец сколько пенсии получает?

- Сейчас двадцать семь рублей, - ответил Ковальский.

- А маво давно нет уже, - как на счетах шелкнув, сказал Андрей и вновь спросил: - А мать в клубе сколько получает?

- Двадцать пять, она еще там кое-что убирает, - пояснил Александр.

- А моя - двадцать, - вновь шелкнул костяшками счетов Андрей. И продолжил: - Вас четыре, пацанвы. И нас - четверо. Вот и вся жизнь - и в селе, и в городе.

- Я вот... - начал было Александр.

– Как все, так и ты будешь в городе вертеться, а куда деться? А?.. Помогать нам некому. – Он покосился на открытое окно, выходящее в палисадник и сказал скороговоркой, будто мурлыча себе под нос: – Я, извиняюсь, идешь к б..., ну, да, к бабе, не для этого дела, – он привстал будто кучер на дрожках с вытянутыми руками, дергаясь взад-вперед, а – поесть как следует. Вот моя жизнь в городе. Примеряй на себя. Нельзя быть рохлым.

Он хлопнул Александра по плечу и, соскочив со своих «дрожек», скрылся за палисадником.

Около своего дома Александр присел на лавочку. Над головой была такая же акация, как у Зотовых. Такой же почти клен, склонившись над изгородью, прислушивался в сумерках к тому, что было вокруг, к тому, что думал и решал Ковальский, пытая Володю Пудовкина, летчика, и этого шалопутного, брызжущего здоровьем и энергией Андрея.

«Почти ровесники, с соседних улиц, у обоих отцы одинаковые – а совсем они разные с Андрюхой. Откуда у Володи его интеллигентность? От кого? Она передается или ее обретают? Или надо просто иметь такой ум? Он в любой одежде, и в фуфайке, красивый», – отметил невольно Ковальский.

7

Последние дни августа приносили всегда Александру легкую досаду.

Лето пролетало быстро в заботах, отец, если даже успевали дров заготовить и сена – сколько надо, все равно обязательно находил неотложные дела, и они съедали оставшиеся дни летних каникул. Желание порыбачить вдоволь, для души, всегда оставалось неутоленным. А тут еще начиналась обычная уборка картошки! Не до рыбалки. Александр пробовал приспособиться к жесткому отцовскому режиму. Коли некогда рыбачить днем, так он решил ставить на ночь подпуск, и рано утром снимал улов. Чаще всего он ставил два подпуска. Снасть нехитрая: на бечеве метров в тридцать длиной через каждые два метра он привязывал поводки длиной сантиметров пятьдесят с хорошим крючком, чтобы выдержал солидную добычу. Один конец бечевы привязывал к колу, воткнутому прямо у берега в воду, растягивал по берегу против течения свою снасть и насаживал прямо на мокром песке наживу: мелкую рыбешку, лягушат или личинок майского жука.

Особую сноровку надо было иметь при забросе снасти в воду. Лучше него этого никто не мог сделать. Надо было натянуть вдоль берега, приподняв левой рукой за груз, привязанный на противоположном конце

бечеvy всю снасть так, чтобы почти не было слабины и все поводки с насадкой повисли, не путаясь в воздухе и, полуобернувшись лицом к реке, бросить. Но так, чтобы бросок был на расстояние чуть меньше длинны бечеvy, тогда снасть не оборвется и поводки не закрутятся на натянутой в воздухе бечеve. А когда снасть ляжет на дно, они не станут путаться. Если же бросок будет значительно меньше длинны снасти, поводки, когда путаясь еще в воздухе и на дне – помешают друг другу.

Важно, чтобы груз падал в воду от рыбака по прямой линии, близкой к перпендикуляру, это давало больший охват водного пространства.

Александр вначале учился бросать бечеvu с грузом без поводков, потом с поводками. Несколько раз менял длину подпуска! Но слишком длинная бечеva давала большее количество неудачных забросов, и он определил себе свою длину снасти в тридцать метров.

Можно было бросать и правой рукой, но тогда необходимо от кола с привязью тянуть снасть вниз по течению и кидать сильнее, ибо пока груз шел на дно, бечеva ослабевала больше.

Поставить снасть лучше в сумерках, чтобы никто не видел, иначе обязательно украдут, а проверить нужно ранним утром.

...Александр поставил два подпуска. Оба, как ему казалось, очень удачно и, поднявшись на песчаную кручу по холодноватому для босых ног песку, присел около своего велосипеда. Снасти были уже в воде, колья притоплены, и он был спокоен – никто до утра их не обнаружит, некому будет.

Он сидел на крутом берегу и смотрел на Самарку. Это место, как раз посередке между Полоузным ключом и Ледянкой, он любил особенно. Здесь Самарка, как подкова, изгибалась в сторону Утевки, и с того места, где он сидел, с середины изгиба, были видны обе ее части: и верхняя, и нижняя вода.

«Это же не подкова, это натянутая тетива, – подумал Шурка. – Вот-вот она стрельнет в сторону села своим осинником, вплоть подступившим на песчаной отмели к воде. Он любил прислушиваться к реке, особенно вечером. Казалось, так много видала, так много слышала она на своих берегах, плесах и заводях.

– Сидишь, рыбачок, – раздалось за спиной, и Александр, невольно вздрогнув, обернулся.

– Дядя Коля?

– Так точно, по уличному Кочеток. Что сидишь-то, поехали домой. Никто твои подпуски не снимет, ты что, в ночь караулить хочешь остаться?

– Да нет, – протянул Александр, – вы видели, как я ставил их?

- Конечно, шумел на всю Ледянку, я чуть выше сидел на язя, за тем кусточком, где коряжина в воде.

- И как? - спросил Ковальский.

- Да плоховато, одного вот взял.

Александр подошел, заглянул в сумку, висевшую на руле велосипеда.

- С килограмм будет?

- Да, наверно. А мы пацанами подпуски всегда заплывали и бросали. Груз точно, как надо, ложился.

- Да нет, заплывать хуже, - мотнул головой Ковальский.

- Почему хуже, нормально, только в воду лезть, но вечером вода теплая.

- Мы с братом Петром один раз так ставили, и он заплывая, попался на крючок, хорошо, что за трусы, не за тело, иначе бы худо было...

- И как же, отцепил?

- Нет, пришлось трусы снять и оставить до утра. У него трусы были красные такие из ситца, мать берет старые плакаты в клубе, транспаранты, смывает лозунги и шьет трусы из них. Самое чудное, на утро поехали проверять, на крайнем, около трусов, крючке килограмма на три соменок попался.

- Да ну? - удивился Николай. - Схвастал поди...

- Нет.

- Ну, это он на лозунг какой-нибудь попался. Ага!

- Так трусы были уже без лозунгов, - засмеялся Александр. - Значит, на цвет. Поехали, ладно, а то уже поздно.

И они поехали. Кочеток впереди, Ковальский за ним. Когда на подъеме слезли с велосипедов и пошли рядышком, Кочеток сказал:

- А мы делали это все равно проще. После последнего поводка до грузила было еще метра три просто веревки без крючков для безопасности и плыви спокойно.

- Да? - удивился Александр. - Просто. А мы как-то не додумались.

- Учись, пока я жив, - засмеялся Кочеток, а потом - уже серьезно: - Шурк, я что к тебе подошел-то, знаешь?

Ковальский приостановился, и приотставший Кочеток ткнулся колесом велосипеда в ногу Александра.

- Прости, - уважительным тоном произнес Кочеток. - Я вот что: разговорились мы с Кузьмой Даниловым, знаешь его, о тебе, ну, о твоём родном отце и у него какая-то мыслишка есть, как его поискать. Он сказал, что хорошо, если бы ты пришел к нему домой. Ты сходи, он

краевед, историк. Дотошный такой, авось, а? – сказал Кочеток, обрадовавшись чему-то при последних словах. – Сходишь? А то мне обидно, не могу ничем тебе помочь. Живой я, вот он – а дела нет по твоей части.

– А когда можно?

– Да хоть завтра. Он всегда дома. Десять лет поди уже на пенсии.

Они давно вышли на ровную песчаную укатанную дорогу и, когда сели на велосипеды, то покатали почти не слышно, только шло еле слышное шипенье из-под колес, да во встречной тишине раздавался редкий глухой кашель впереди едущего Николая. Это напоминало Ковальскому то время, когда он рыбачил или охотился вместе со своими дядьями. Ему не доставало теперь на рыбалке или охоте кампании. Он привык с детства к артельному труду. К артельным рыбалкам, охоте. Промышлять одному было интересно, в этом была своя прелесть. Но долго в одиночку, как тот же Сашка Мазилин, в последнее время Ковальский не мог.

А Мазилин Сашка целыми днями пропадал на рыбалке. Его лодка с высокой широкой кормой постоянно теперь маячила чуть ниже Ледянки, он даже шалашик себе в осиннике соорудил от солнца. Большой. Если бы не ночные дежурства, он бы и ночевал, наверное, в этом шалаше.

...К Кузьме Емельяновичу Данилову Александр решил обязательно сходить до начала учебного года.

...Он тронул слегка крепенькую калиточку, и она лишенная какого-либо запора, охотно подалась и впустила Александра в уютный узенький дворик.

Не успел Александр сообразить: постучаться ли в дом или пройти в огород, где через редкий досчатый забор просматривались две женщины, собирающие картошку из кучки в ведра, как из крохотной мазанки вышел сам Данилов. Он был в жестком фартуке поверх фланелевой рубашки и с большим ножом в левой руке.

«Похож на моего деда, когда тот собирается резать барана, а во все не на бывшего директора школы, – подумалось Александру. – Только дед крупнее фигурой и тоньше лицом. И брови не мохнатые такие...»

– Давай, заходи, я вот в погребе клетушку под картофель поправлял – сейчас поговорим.

Он пошире отворил дверь, та, со скрипом поддалась, и Александр вошел в мазанку Кузьмы Емельяновича. Сразу бросились в глаза два больших сундука, стоявших друг за другом вдоль стены. Никаких ларей, ящиков с зерном, дробленкой. Помещение было похоже на кабинет. В свободном углу справа радовала глаз горка полосатых арбузов. На стенах – полки, на полках – книги и папки с тесемочками.

– Это все мои архивные дела, в доме не помещаются, моя сноха сюда меня спровадила. Садись вот на скамеечку.

Ковальский сел, продолжая оглядываться.

– Я ведь обнадежил и тебя, и себя. С Кочетком-то поговорив. Не нашел адрес я, вот беда в чем!

– Какой? Отца? – выдохнул Ковальский.

– Да нет, что ты! До адреса отца, увы, далековато еще.

– А кого же? – не терпелось Александру узнать.

– Расскажу, потерпи, тут дело неспешное.

– Кузьма Емельянович, а вы сами моего отца не видели, тогда в сорок третьем году? – поспешил спросить Ковальский.

– Да нет, – как показалось, слишком торопливо ответил Данилов. – Меня тогда не было в Утевке.

– А потом? Ведь какой-то слух должен был быть, он не один же был? – добавил Александр.

– Нет, польская тема меня как-то тогда не трогала, вот так и получилось, что все сбочь меня. – Он замолчал, потом без всякого перехода спросил: – У меня был адрес Петра Котова, не знаешь такого? – Сам ответил: – Конечно, не знаешь. Я еще, пошевыряюсь в сундуках, а ты посиди, посмотри вот хотя бы это.

Он протянул пачку листков. Ковальский принял пачку и стал рассматривать первый листок сверху.

На нем было от руки написано четким крупным почерком стихотворение.

– А ты прочти вслух, – заглядывая через плечо, сказал Данилов. – Стихи вслух надобно читать.

Ковальский, подчиняясь, негромко прочел:

Домашка

*Забывшая давно свои истоки,
Начало потерявшая свое,
Она к Самаре подползла широкой,
Самара к Волге вынесла ее.*

*А Волга, непокорная по нраву,
Крутой волною к Каспию летит...*

*И потому сказать имею право:
Мой тихий дом на Каспии стоит!*

– Как стихотворение?

– Хорошее, красиво хотел автор сказать. Я бы так не стал.

- Как? - Старик Данилов замер, выпрямившись во весь рост, это ему вполне можно было сделать в его приземистой мазанке.

- Ну, он подравнивается, что ли, в одну линию со всеми. Все под Каспий далекий и не совсем наш: утевский и домашкинский. У нас на Волге и Самарке свое, на Каспии - свое. И наши истоки забыты, и начала. Хорошо ли это?

Старик зорко посмотрел из-под пугающих, диковатых бровей и крикнул, а потом засмеялся:

- Ну, брат, не ожидал. Ты пишешь стихи?

- Иногда, когда они сами рождаются.

- Да, брат, ты меня обрадовал, может, у нас в Утевке свой поэт будет. В Домашке вот есть же.

Ковальский вновь взглянул на листок, под стихотворением стояло: Петр Гриднев.

- Что? Он из Домашки?

- Да, а ты не слышал такого имени? Я в библиотеке переписал из «Волжского комсомольца». - Он продолжал перебирать листки в крайнем от Александра сундуке, присев на низенький чурбачок. - Сейчас, по моему, работает ответственным секретарем газеты в Новокуйбышевске. А забирали его из нашей утевской школы - в Домашке десятилетки не было.

- Из школы - сразу на фронт?

- Ага, из школы, только не на фронт, а из десятого класса прямоком в исправительно-трудовую колонию. Где у меня папка его? - сам себя спросил старик. - Ага, вот!

Он взял с полки над самой головой Ковальского голубую папку, перевязанную шпагатом. Раскрыл ее, перевернул несколько листков.

- Вот: ученик десятого класса Утевской школы Гриднев Петр Яковлевич был арестован 19 марта, а 28-29 июля 1941 года осужден военным трибуналом по статье пятьдесят восемь пункты десятый и одиннадцатый на пять лет лишения свободы с лишением избирательных прав на два года. Отбывал он свой срок, бедолага, в Колтубанской исправительно-трудовой колонии № 2 Бузулукского района Оренбургской области.

- У вас как в каком учреждении, все точно и аккуратно, - удивился Ковальский. - А за что его посадили?

- А ни за что, - спокойно ответил старик Данилов.

- Как? Из школы, в начале войны, когда надо на фронт, а его в лагеря? Ни за что?

- Потом реабилитировали, вот сейчас... Ага... Года три назад... «реабилитирован в декабре 1957 года», - прочитал он на обороте желтого листочка, согнутого пополам вдоль. - У него вышла книжка стихов «В путь» в 1958 году. У меня ее нет. По печати знаю.

Данилов захлопнул крышку сундука и сел сверху.

- Все, не знаю, где ту книжечку больше искать, в том уже все перерыл, и в этом ее - нет. Куда ж она делась? Сколько раз говорил, что надо все переписывать в отдельные папки, нет тебе. Память уже не та. Я был в прошлом году в Самаре и случайно встретил Михаила Макридина, он мне свой адресок-то и дал, я возьми да и запиши его на книжке о садоводстве, которую купил в ту поездку на Ленинградской. На задней обложке, с тыльной стороны записал. Помню только, что улица Фрунзе.

В мазанке враз стало темно. Ковальский обернулся, в дверном проеме стояла крепка на вид старуха в белом платке, с раскрасневшимися отвислыми щеками.

- Отец, мы ссыпать картошку готовы, ты-то как сам?

Кузьма Емельянович ядрено крякнул:

- Мать, давай перерыв сделаем на обед, пока ты готовишь, мы договорим с Александром, нам важно это, когда он еще придет. А картошка пусть еще посушиться, день больно хороший ноне.

- Тебе видней, дай-ка мне вон ту арбузиху, которая поодаль, я помою и порежу вам.

- С удовольствием!

Ладный их разговор, неспешные движения нравились Ковальскому. Домовитость была в стариках и основательность - качества, которые он всегда ценил.

Когда Данилова ушла, Александр спросил:

- А зачем вам адрес Макридина?

- Видишь ли, в чем дело, может, нас выручит и Гриднев, если его разыскать, но Михаил - важней.

Кузьма Емельянович вновь сел на свой сундук, в задумчивости провел ладонью по коричневой крышке, пристально глянул и продолжил:

- Мне восьмой десяток, мало ли чего, сам в своем архиве не найду, что надо, а вдруг меня не будет, все перепутают и развеется все. Давай я тебе расскажу то, что может тебе помочь в поисках твоего отца. У тебя жизнь большая, не сразу, а вдруг и разыщешь. Сейчас только пороюсь в бумагах еще. Да вот они. Человек не долговечен, а бумаги, они могут пережить всех нас по нескольку раз. Тут вот мои записки. Ага, вот. Иван Макридин и Петр Котов учились в свое время вместе в Абду-

линском педучилище. А Иван Макридин и Петр Гриднев друзья с детства, земляки. Они жили в селе Домашка. А вот Петр Котов и Петр Гриднев никогда знакомы не были вообще. Ни очно, ни заочно. До одного времени. До суда, который состоялся 28 июля сорок первого года. Дело называлось громко: «О троцкистско-бухаринской группировке под руководством Ивана Макридина и Петра Клыкова».

Ковальский смотрел на старого учителя, уже совсем старика, на убогую обстановку в мазанке и удивлялся несообразности того, что видел и о чем говорилось. Стены мазанки раздвинулись: начало войны, аресты школьников, «троцкистско-бухаринские группировки» – у нас тут, в Утевке, Домашке? А школьники Краснодона из «Молодой гвардии»? Какое несоответствие. Какая дикая пропасть! Разве могло быть так: там – школьники-герои, а здесь – группа предателей, в самом начале войны, далеко от фронта, от всего, что могло сломить дух советского человека. Такое разве могло быть?

– Кузьма Емельянович, неужели такое было, что могли быть предатели?

– Да нет, ну, что ты. Если кратко: все они пострадали за излишнюю любознательность. А остальное манипуляции органов, дело шитое белыми нитками. Первые аресты были в Оренбургской области, кажется, 4 декабря 1940 года. Арестовали Павла Пушкарского, уроженца села Домашка, учащегося третьего курса Абдулинского педучилища, и школьного учителя Петра Клыкова. В Эстонии, в армии, арестовали 29 января 1941 г. двадцатилетнего Ивана Макридина, в марте – Петра Котова – на Украине, Василия Куликова арестовали в Риге – все они когда-то были товарищами по педучилищу, а Василий Куликов и Иван Макридин – земляки.

– А Петр Котов откуда?

– Да с села Покровки Абдулинского района Оренбургской области. Из крестьян. Родился – вот есть, сейчас... Ну да – в 1919 году 25 сентября.

– Сколько же их было? – спросил Ковальский и в который уже раз встал и, не находя места, чтобы пройтись, сел, привязанный прочной привязью к старику, сидящему на сундуке.

– Пять человек из Оренбуржья и пять – из Домашки. Многие из них даже не были знакомы. Такая вот подпольная конспиративная сеть. Сплошная выдумка и все. Но суд был беспощадным. Петр Клыков умер в тюремной больнице до суда. Ивана Макридина приговорили к высшей мере – расстрелу. Павел Пушкарский, Петр Котов и Яков Ягодкин – осуждены на десять лет заключения в исправительно-трудовых лагерях каждый.

Михаил Турков, Василий Куликов – на 7 лет. Иван Кротков, Михаил Макридин и Петр Гриднев – на пять лет.

– А мой отец? – спросил Ковальский.

– Что твой отец? – переспросил Данилов, потом спохватился. – Ну да, я все клоню к твоему отцу, но хочу, чтобы ты знал в какую цепочку имен и событий я тебя подключаю, чтобы потом меня не осуждал.

Он отложил папку на угол сундука, обвел взглядом утлую мазанку, почему-то поднял глаза под крышу, где спокойно ворковали голуби, и произнес:

– Можно было бы всего этого тебе и не рассказывать... По крупцам собирал... Хотя и реабилитированы, а лишнего никто не говорит... Так вот я про Котова. Многие из них писали стихи. И Гриднев, и Котов, и Макридин Иван. У Ивана Макридина в Домашке дома при аресте было изъято тридцать тетрадей стихов и прозы. Петр Харлапиевич Котов после окончания срока в начале пятидесят первого года был выслан на вечное поселение в Сибирь в Красноярский край. Там он познакомился с интернированной полькой Анной. Они поженились. Потом у них родились две девочки. После реабилитации уехали жить в Польшу. Понимаешь, какая возможность открывается, если с ними списаться. Михаил-то Макридин с Котовым переписывается. Он сейчас учится в Варшавском университете на факультете русской филологии. Через наших чиновников тебе трудно будет разыскивать отца. А вот ему написать, Котову. Так он сам в Варшаве смекнет, что да зачем.

– Нате, вот вам.

Жена Данилова, вновь заслонила собой свет, вошла, вернее, протиснулась в мазанку и подала Александру большую чашку с ноздреватыми ломтями арбуза.

– Переспелый? – сказал хозяин.

– Да, немножко, но сладкий ужасть.

– Александр, а ты выноси на вольный воздух, там и попробуем арбуз, и договорим.

Ковальский послушно вынес чашку во двор и поставил на широкую лавку около крыльца. Старуха ушла в избу.

– Вот у тебя какие пути-дороги, – с пол-оборота завелся Кузьма Емельянович, сплевывая большие арбузные семечки в пригоршню, – первый, или один из них: все официальные каналы, ведь отец твой ничего противоправного не сделал, раз призвали в Войско Польское, и он освобождал Варшаву, так?

– Так, – согласился Александр.

– И второй, – продолжал Данилов, – поступишь в институт, будешь жить в Куйбышеве, разыщи либо Гриднева, либо Михаила Макридина, возьми адрес или через них пошли письмо Петру Котову. У него судьба, как у твоего отца, только наоборот: он – русский прибился в Польшу, а твой – поляк, но жил в России. Такой человек как Котов должен помочь. Русский, поэт. Он там пишет стихи и печатается.

Когда Ковальский уходил, прощаясь у калитки, Данилов поднял многозначительно указательный палец на уровень виска:

– Я краевед, понимаешь, по опыту знаю: иногда маленькая зацепка дает результат больше, чем усилия десятков людей. Ну, ладно, ты понял, да?

– Я понял, – подтвердил Ковальский и, чуть поколебавшись, спросил: – Все говорят о каком-то солевом тракте в наших местах, вы знаете о нем что-нибудь?

– Ну как же, Александр, ты обижаешь меня, знаю, я собирал матерьял... подожди – я сейчас!

Он вернулся быстро.

– На вот. Я никому не даю свой экземпляр. Но тебе – дам. Перепиши, если надо, и верни. Три листочка всего, а собирал я матерьял по разным источникам очень долго. – Помолчал, посмотрев зорко, и сказал, будто сам себе: – Можно ведь чуть не в кустарник изродиться в житейских заботах-то. Стоять в чащобе со всеми, как все, в общем табуне, и хиреть... А можно стать кремлевым деревом, крепким и деловым... Это как сам поведешь себя. Те ребята, о которых я тебе рассказал, могли стать такими.

«Кремлевым деревом, крепким и деловым», – эти слова старика крепко запали в душу Ковальскому. О кремлевом дереве он слышал впервые. И ему показалось, что старик Данилов сам такой породы.

Расставаясь, пожали друг другу руки. Старик первый подал свою. Ладонь была жесткая и крепкая. Не стариковская.

«Когда давал мне листочки, да и раньше еще, выглядел так, будто чем-то виноват передо мной, может, что скрывает старик», – невольно подумал Александр.

...Придя домой, он прочел то, что было на трех больших страницах.

Оказалось, соляная дорога, о которой давно хотел узнать подробно, имеет свою непростую историю. Она пролегла от города Самары, через Струков мост и дальше – до села Домашки, на Бариновку через сырт между Утевкой и Трофимовкой, между Кулешовкой и Зуевкой на Андреевку, Гаршино, затем вдоль верхнего течения реки Бузулук до Илец-

ка, выросшего из небольшой крепости Илецкая защита, охранявшей соляной промысел, налаженный в XVIII века в Оренбургской степи на реке Илек. Впервые в Самару этим соляным путем, проложенным в 1811 году полковником Струковым, доставил соль управляющий промыслом Петр Рычков во второй половине XVIII века. Расстояние от Самары до Илецка было 360 верст.

Предполагалось вывозить каждое лето до трех миллионов пудов соли. Два миллиона до Самарской пристани, один – до села Домашки, а далее – по Самарке на Волгу и выше по Волге до Рыбинска. Оказалось, что село Бариновка основано в 1822-1825 годах солевозами из Тамбовской и Курской губерний. В то время солевозы приглашались со стороны. Было учреждено сословие пришлых крестьян-солевозов в десять тысяч человек. Соляная дорога перестала окончательно существовать где-то около 1870-х годов, когда усилился подвоз более дешевой чипчанской и баскунчакской соли по Волге и по железной дороге.

Александр не только прочитал несколько раз все, что принес от Данилова, но переписал себе в толстую тетрадь, куда постоянно заносил свои наблюдения. Пряча тетрадку на верх этажерки, подумал: «Надо химичке предложить сделать доклад или пусть сама в классе прочтет ребятам – сведения же исключительные. А Кузьма Емельянович не человек, а наше общее утесское достояние. Как этого не понимают окружающие!»

Об отце он не то чтобы забыл, нет он записал в ту же тетрадь, пока помнил, три фамилии – Петр Гриднев, Иван Котов, Михаил Макридин и сделал небольшие к ним пояснения, дав себе слово: как только станет студентом и будет в городе, сразу начнет поиски. Но это ведь еще когда будет? И будет ли? В любом случае – не раньше двух лет.

На другой день он сходил в библиотеку. Там на стене за стеллажами книг висела карта Куйбышевской области. Он давно ее приметил. На ней и выверил написанное Даниловым про соляную дорогу. Почти все названные села нашел. Нашел и село Гаршино. Он удивился своей находке. Казалось, его можно было и так найти на карте, но ему важна была доказательность. Значит, это оно, то самое село, где по рассказам в начале века отец Василия Любаева Федор Любаев с мужиками из Бариновки поехал по солевой дороге в город Илецк, да где-то за Гаршино в верхнем течении реки Бузулук в башкирской степи и помер. Там его и закопали.

К удивлению он обнаружил исток Самарки на карте недалеко от села Логачевка на Меловом сырте. И насчитал несколько ее притоков: Бузу-

лук, Ток, Боровка, Съезжая, Большой Кинель. И другие еще более мелкие без названий.

...Утром следующего дня, когда Василий Любаев пришел из клуба с дежурства, Александр сказал ему про село Гаршино.

- Ты его нашел? - удивился отец.

- Точно, пап, чего же проще, оказывается дед наш по старинному солевому пути поехал, он давно заброшен, но когда-то бариновские мужики занимались перевозом соли, они были при царе приписные солевозы, кто-то помнил из потомков и ездил этим путем.

- Ну, ты голова, давай сходим сегодня в библиотеку, на карте посмотрим, мне тоже интересно стало. А то ведь вообще все как в воду кануло, а тут...

Когда отец ушел в свою мастерскую, Александру вдруг безо всякой связи, казалось, пришла неожиданная мысль.

Он вспомнил, что Василий, когда-то обнаружив фотографию отца Александра - Станислава и четыре письма, не раздумывая, порвал их на мелкие куски и выбросил.

Так все, с бабы Груни слов, и думали, что это Василий сделал из-за ревности к настоящему польскому отцу Ковальского.

«Да нет же, нет, - шептал Александр, вспоминая рассказ Данилова об «антисоветских заговорах» домашних и покровских ребят. - Нет, просто отец Василий опытнее всех, он так сделал, чтобы не получилось глупости какой и беды нам с матерью из-за поляка, мало ли что кто еще вздумает...»

Вспомнились слова Пудовкина, сказанные им совсем недавно на Самарке: «...надо, чтобы в стране была интеллектуальная сила...»

«Надо ли? Кому надо? - кружились в Шуркиной голове вопросы. - Если эту силу, по рассказу старика Данилова секут под корень. Десять молодых парней, поэтов и комсомольцев, пострадали не понятно за что? Они бы на фронтегодились эти парни, а после войны, если б уцелели? Они же не Мазилыны были? Они как раз и были или могли стать этой нужной всем интеллектуальной силой...»

Ему во многом хотелось разобраться.

«При следующей встрече, - решил он, - надо обязательно поговорить на эту тему с Даниловым, это ж его поколение косило таких парней, как Макридин».

Он наивно полагал, что принадлежность к своему поколению дает ключ к пониманию того, что и по какой причине вершилось этим поколением. И не только понимание дает, но и ответственность...

Но он уже начинал догадываться, что об этом надо думать как-то по-другому... Нужен либо опыт, либо большие знания. Либо нечто такое, что приходит невесть откуда... Как прозрение... Им двигала страсть знать как можно больше. Откуда, отчего рождалось это желание, Ковальский и сам бы не сказал. Но он и не задумывался пока над этим. Но, кто знает, может такие люди, как Данилов, и разжигали потихоньку ту страсть, которая потом приведет Ковальского в институт, заставит заниматься наукой. И то, что он станет через тридцать пять лет доктором наук и академиком, будет иметь свою закономерность. Может быть...

8

У соседки Любаевых Мани Сисямкиной появился постоялец. Александр впервые обратил на него внимание в клубе, да и трудно было не замечать рослого, смуглого парня со щегольскими усиками и прической «канадка», под которую стригли только в одной единственной парикмахерской в поселке Ветлянка. Парень этот, как казалось Ковальскому, сильно смахивал на Гришку Мелехова из «Тихого Дона».

Странное дело, но он совсем не боялся местных ребят, ходил один вечером и, что совсем непонятно было, особнячком от своих приезжих нефтегорских держался на танцах. Он и с утевскими особенно не сблизился, вел себя ровно и независимо, — был как бы между теми и другими, сам по себе. Александру показалось — он стал недосыгаем и невовлекаем в любые разборки, которые так часто случались в клубе потому, что его щегольская внешность и спортивная фигура так разительно отличаются ото всех. И вот теперь он живет по соседству с ним.

— У тебя шило есть? — спросил в первый же вечер этот симпатичный парень, свесив свои крепкие руки через низенький дощатый забор, поигрывая крепкими бицепсами. Его, словно литая, грудь, загорелые руки и чубастая голова были на Любаевой стороне, остальное все — на Сисямкиной.

— Зачем тебе шило? — спросил Александр, удивленно всматриваясь в красавчика.

— Штаны, боюсь, упадут, дырку в ремне сделать, купил у вас тут, велик оказался, — будничным голосом объяснил постоялец.

Александр принес из отцовской мастерской шило и подал парню.

— Меня звать Женя. Евгений Разлацкий, а тебя как? — улыбаясь просто так, от избытка силы или хорошего настроения спросил постоялец тети Мани.

- Саша... Александр, - назвался Ковальский.

- Александр Любаев, да?

- Да, - не стал уточнять Александр.

Евгений отошел от забора, у которого теперь уже был Александр, и, стоя посреди двора, ловко на себе сделал две дырочки в ремне. Заправил ремень, довольно хмыкнул. Пружинистой походкой подошел к забору. Бронзовая его грудь, обтянутая белой майкой, закрыла собой перед Ковальским весь двор Сисямкиных. Протянул руку с шилом.

- Спасибо. На танцы идешь? - как равного, запросто спросил Разлацкий.

- Нет, - сказал Александр почему-то растерянно, не понимая сам, оттого ли растерян, что так запросто ведет себя с ним этот уже взрослый, хлебнувший - это видно - жизни на стороне, парень, или потому, что он не может ему составить компанию.

Он стеснялся ходить на танцы, и причина была в том, что его отец Василий Федорович часто приходил раньше дежурства в клуб, постоянно там что-нибудь делал, у него все на виду, и Александру от этого было неловко. Он понимал, что это странно, но переломить себя пока не мог.

- Ну, как хочешь, дело твое, а я иду.

И опять при этих словах Ковальский не почувствовал ни снисходительности, ни усмешки. Ему нравилось, что теперь рядом живет такой человек. «Но почему он в Утевке, ведь буровики почти все устроились либо в Кулешовке, либо на Ветлянке? Оттуда ездить ближе на работу, а здесь хоть и пустили вахтовый автобус, но далеко же?» - думал Александр и не находил пока ответа.

Ответ пришел совсем простой через несколько дней. Александр вечером делал уроки, сидя на диванчике у окна. Отец дремал на кровати перед ночным дежурством в клубе.

- Вась, а, Вась, - проговорила Катерина, трогая отца за плечо, - а ты знаешь про Нину Свечникову?

- Ты о чем? - спросил отец спросонья.

- Ну, ведь она же с этим Женькой, нашим соседом встречается. Он поэтому и жить перебрался в Утевку.

- Я знаю, в клубе все на виду.

- Знаешь? - удивилась мать. - И молчишь?

- А что я должен делать?

- Ну, как что? Беды бы не было. Сергей, брат, еще, видать, не знает, - прерывисто говорила мать.

- Узнает - разберутся, дело молодое. Раз она сама - кто ж ее приневолит к нему вернуться?

- Но ведь он, Сережка-то, жениться вроде б собирался, - чуть не всхлипнула мать. - А этот поиграет и уйдет. Чужой ведь.

- Раз-бе-рутся, - протяжно повторил Василий Федорович, - кому на ком жениться.

Александр все слышит, он сидит тут же, в этой комнате. И он не знает, что делать. Как же так, ведь Нинка - невеста Сереги. У них, вроде, было все договорено. Сергей учится на четвертом курсе. Как только он закончит институт, они поженятся и уедут в Сибирь, так Сергей говорил. И родители с обеих сторон обо всем знают. Ее родители так любят Сергея.

...Развязка событий произошла с катастрофической быстротой и без особых перепитий, казалось так...

В одно из воскресений Александр шел по Центральной улице и в Ваньковом переулке увидел толпу взрослых парней. Часть ребят была из Нефтегорска. Среди них Евгений Разлацкий. Он деловито вытряхивал пыль из коричневого ботинка. В этом переулке раньше пацаны играли в орлянку. И шустрый Стрепеток частенько разгонял уже взрослых ребят хворостинкой. Удержу ему не было. Никто не решался связываться со взрослым мужиком.

Но когда это было. Что же сейчас здесь? Он вдруг вспомнил, как убили случайно Генку Афанасьева и почувал недоброе. Когда от толпы отделилась щуплая фигура Сашки Мазилина, спросил тревожно:

- Дрались?

- Да нет, боролись один на один. Такой уговор был.

- Кто?

- Вот тот, что ботинок трясет, смазливый и Сергей Головачев.

- Ну и что? - подался к нему Ковальский.

- Да что? - досадливо сморщился Мазилин. - Деревня мы и есть деревня, сила неумная, а все бестолку. У это же все чин-чинарем. Два раза схватились и оба раза городской верх взял. Он обученный, понимаешь. Науку в нем видно. Как циркач. Раз, раз и Серега на земле. Ихние ребята говорят, что он какой-то чемпион в городе у них. Жуть досадно как. Самба - против нее не попрешь, - изрек деловито Мазилин. - Я сам несколько приемчиков знаю, - не преминул он похвастать.

- А где Сергей?

- Пожали, как американские дипломаты, друг дружке руки, и он ушел. По-моему, домой. Эти, с поселка, предлагали в чайную пойти, мировую закрепить. Сергей отказался, шибко распереживался.

«Еще бы, это ведь не просто борьба, это дуэль, знают ли они об этом?» – думал Александр, обожженный волной горечи и обиды за своего дядьку.

Он огляделся, посмотрел, непонятно зачем для Мазилина, во двор Ваньковых, боясь увидеть Нинку Свечникову, не желая всем сердцем, чтобы она была свидетельницей произошедшего, и спросил:

– А никого больше здесь не было, из девчат, ребят?

– Да нет, – не понимая подоплеку вопроса, отвечал тот. – Кто тебе еще нужен?

– Да так.

Он запомнил Нинку Свечникову после того, как она начала ходить в клуб на спевки. Жила она где-то у церкви. Крупная, с плавной походкой, даже величавая в костюме для пения в хоре, Свечникова ему не приглянулась. Очень уж сонный и с поволокой был у нее взгляд. Она ему казалась похожей на большую куклу.

Александр уже было собрался уходить, как услышал обрывки разговора между Разлацким и подошедшими к нему двумя парнями с папиросами.

– Ну, и зачем мне эти подвиги нужны были? – спросил Евгений.

– Но ведь ты и уклониться не мог, мы бы дураками выглядели.

– Да идите вы к лешему, я вам что, игрушка?

– Ты, как с Нинкой этой встретился, другим стал...

...Сергея Ковальский ни вечером, ни на следующий день не видел. Баба Груня сказала, что он встал рано утром, около шести и ушел на большак, ловить попутку. Уехал в Куйбышев. Даже ружье свое, тулку, не забрал у Любаевых. Накануне ходил в Ильмень на охоту, зашел повесил в сених и забыл. Такого с ним никогда не было.

...В Утевке почти одновременно с Разлацким появились еще три новых человека. Художественный руководитель Владимир Антохин вместо Плотниковой Валентины Яковлевны и две культмассовички, как бы довески к молодому хударуку: черненькая, шустренькая Галина и вальяжная стройная блондинка Марина. Обоим лет по двадцать.

И пошла самодеятельность по новому руслу. Владимир тут же организовал духовой оркестр, в котором сам играл на трубе. Девчата начали ставить злободневные интермедии. Про хор и драмкружок будто забыли. Они собирались самостоятельно.

Галина с Мариной временно поселились у Головачевых.

– Как жалко, что у сына мово, Сергея, – говорила баба Груня им сразу обоим, – уже есть невеста, а то он любит черненьких-то.

Кульмассовички переглянулись и весело засмеялись. Улыбалась и баба Груня. Она еще не знала норова этих новеньких девчат. Черненькая вскоре «связалась» с разведенным гулякой Матрохиным, а другая – сразу не с одним...

Еле отделалась баба Груня от своих постоялиц. Кому надо такое. Шуму от оркестра Антохина и «самодеятельности» массовичек было предостаточно.

Но «недолго музыка играла».

Та дама, которую видел перед отъездом Плотниковой Александр в клубе проявила власть. И будто бы приутихло пока...

* * *

– Кшу... Кшу... Кшу!

По широкой Центральной улице со стороны Золотого конца бежит растрепанная женщина. Кричит, подняв вверх руки:

– Кшу... Кшу... Кшу!

Высоко в небе огромный коршун плавно, не спеша летит вдоль порядка домов. Там в вышине он недоступен, он хозяин положения, потому так и свободен его полет.

– Цыпленка утащил, гад, второго, – причитает женщина. – Это ж куда годиться – второго, батюшки мои...

Возвращавшийся из школы Александр рванулся к дому. «Картечь, забыл где лежит картечь», – вспоминал он лихорадочно.

Но опередил брат Петро. Он выскочил из калитки, прислонился к столбу для крепости и, когда коршун оказался почти над головой, выстрелил без суеты, деловито. Коршун упал посередине Лапатьяева переулка, сбочь дороги на траву.

Когда женщина, ей оказалась Клавка Подлипнова, первой подбежала к хищнику, он еще шевелил головой, это Александр видел. Потом птица затихла.

– Хорошо, что ружье Сергея у нас оказалось, из нашей одностволки не достал бы, старенькая, – Петро потрогал коршуна ногой и деловито констатировал: – Конец – летать не будет!

Но, чудо! Из-под птицы выскочил маленький желтенький цыпленок и притих рядом.

– Подстрелил и его, – определила Клавка, – в когтях был ведь.

Она дотронулась рукой до желтого комочка, и цыпленок вдруг смешно, однобоко побежал. Она ловко и осторожно схватила его сразу обеими руками и начала рассматривать. Цыпленок был невредим.

– Здорово, парашютист, – приветствовал его Петро.

Но «парашютист» не реагировал на внимание Петра – своего спасителя, будто тот здесь, в этой ситуации, был совсем посторонний. Он спокойно смотрел мимо всех.

– Важная персона, – предположил Александр.

– Не отудобил еще, в себя не пришел, – пробовал ставить диагноз Петро.

– Это ж надо, Петро, как ты ловко, а? – удивился подошедший муж Клавы.

– Не привыкать, – ответил Петр и почему-то залиvisto засмеялся.

– Все равно отцу расскажу, – в ответ на его смех погрозил рослый и белобрысый мужик лет сорока Леонтий-«Клавикин муж» – так его прозвали в Золотом конце улицы.

Они все прошагали к лавочке у дома Любаевых. Клава несла в руке на ладошке, как девочка, цыпленка, Петр, небрежно за одно крыло, – свою добычу.

Из ворот вышел Василий Любаев.

– Ну, ты поняешь, прощаю я твоего архаровца.

Любаев, далеко от себя отставив бадик, ответил:

– Ему спасибо надо говорить, а ты прощаешь?

– Ага, – живо отозвался Леонитий. – Спасибо говорить? Скажу, но ты послушай сюда. – Его словно прорвало, он начал быстро говорить: – Твой-то, его Соколиным глазом зовут пацаны, этот вот, размахай-расстреляй из поджига чуть меня не угробил.

– Как так? – не спеша удивился Любаев и, увидев, что сын пытается бочком улизнуть в калитку, загородил проход бадиком. – Обожди, Петр.

Петр встал поближе к воротному столбу и начал усердно рассматривать перья на хвосте птицы.

– Как? А по причине моего полного присутствия в сортире, – продолжал Леонтий.

– Чего? – не понял Любаев.

– Ну, по причине моих законных естественных потребностей я... на заднем дворе...

– Что он говорит? – недоумевал Любаев вслух.

– Спроси его, – Клавикин муж махнул рукой на Петра, – опуриться можно.

Любаев вопросительно взглянул на сына и бесстрастно согласился:

– Ну, докладывай, не занекивай.

– Ну, это, ну...

- Не запряг, чать, нукать-то, говори как в школе. Коршуна не сбердил, сшиб, а тут!..

Петро попробовал говорить «как в школе»:

- Пальнул я из поджига в нужник на их задах, это Генка пристал: пробьет жесть или нет?.. Там у них толстая висит.

- Пробил? - даже с интересом спросил Любаев.

- Поняешь, не только пробил, пробил, - бестолково горячился Леонтий, - дырища в жести как от снаряда, разбабахал. Такая, поняешь, история с географией...

- Чем стрелял, гвоздями? - допытывался отец.

- Нет, пап, пульками от мелкашки, - деловито начал отвечать Петр, - но баллистика не та...

- Баллистика? - переспросил отец, пытаясь понять смысл.

- Баллистика? - как эхо повторил Леонтий, глядя бессмысленно на свою удаляющуюся уже за переулок жену.

А та, обернувшись, командно прокричала:

- Ничего рассусоливать-то там, домой давай, Леонтий!

- Да, я, вот, Клав... Ага, сейчас, - продирался ее кубовастый муж до осмысленного ответа. - Чин-чином.

- Смотри у меня, по дворам не шастай! - придя в себя, строго наказала Клава.

Леонтий в ответ чуть слышно, только для себя, произнес какое-то одно короткое слово.

- Пуля кособоко полетела - пробоина большая получилась, - пояснял Петро.

- Вась, ты представляешь, про-бо-ина! Я пулю-то из кармана фуфайки вынул!

- Эх, я и дам тебе, Петро, когда-нибудь такую баллистику. Вон, Витька Левый прострелил себе правый глаз и руку поджигом, тебе тоже хочется? - отец Петьки мотнул своим бадиком и чуть не задел Леонтию по руке.

Тот попятился боязливо.

- Где прячешь свою пукалку? - спросил Любаев.

- Не поджгом, пап, а пугачем, - уходил тот от прямого ответа.

- Тебе не одна фарья, Петро. Кумекаешь?

- Ничего себе - пукалка, - все еще удивлялся Леонтий. - Цельна мортира. Кумекает он, Василий, еще как, я своего Генку допросил как следоват: Петро-то твой чудеса вытворяет: такие пистолеты делает, что с десяти метров в спичечный коробок на спор попадает. - Он из рахманного, на сколько его хватило, превратился в непохожего на се-

бя, в оскорбленного, гневного пострадавшего, щеки его напряженно зарделись.

- Петро, так? - спросил отец.

- Да ну... вот так, - согласился Петро и, продвигаясь вдоль ворот, закрыл собой несколько сквозных пулевых отверстий в досках. Вчера они с проболтавшимся Генкой пристреливали его новую конструкцию.

- С пяти метров в коробок три раза подряд без промаха могу, - добавил он, очевидно, очень важные для него, как конструктора, обстоятельства. Конкретный человек.

- Патроны-то где берешь? - присев на лавочку, допытывался отец у Петьки.

- Ну, пап, их же свободно можно купить в ДОСААФ, у Доны.

- И тебе, и Доне уши бы оболтать хорошенько.

- Я пошел, - говорит Леонтий, - цыпленок - цыпленком, а, Василий, отбери у него все эти причиндалы, ага?

- Ладно, - обещает Василий и, помолчав, добавляет: - А ты цыплят береги. Хватит пигать, - и усмехается.

Леонтий важно пообещал:

- Само собой, я Клавке инструкцию сделаю.

Петро с Александром, переглянувшись, улыбаются. Александр берет тулку, Петро птицу. Отец встает и идет во двор, на ходу через плечо нехотя бросает:

- Черти, пошли арсенал показывать. Мужика в сортире чуть не угрохали, ну разве это дело? Как маленькие.

Школа, в которую ходили утевские ребята, теперь стала называться «средняя школа с производственным обучением». И впервые был введен одиннадцатый класс. Одиннадцать классов решились заканчивать немногие. Классы стали рассыпаться, когда объявили о введении реформы. Уходили после девятого в десятый вечерний, чтобы не терять в одиннадцатом целый год. В девятом классе было двадцать восемь учеников, в десятом дневном осталось двенадцать. А первого сентября в одиннадцатый пришли восемь человек: четыре парня и четыре девочки. Вот это класс! Уже в десятом была дана слабина. Похоже было, что программу десятого поделили на две половины и обе разбавили уроками растениеводства для девочек и машиноведения для ребят. Понедельники были полностью отданы растениеводству и машиноведению. Началась полоса

невнятных школьных реформ, которая крепко скажется и на судьбе Александра Ковальского. Он еще думал и выбирал про себя возможные варианты, а жизнь вокруг так все выстраивала, что активный и любознательный, тянущийся к конкретике, он невольно был вовлечен в круг развивающихся вокруг событий.

Все производственное обучение в школе свелось для ребят к изучению трактора. Преподаватель машиноведения имел слабость: любил играть в настольный теннис. Поэтому понедельник для ребят были приятными днями: частенько занятия плавно переходили в тот класс, где стоял теннисный стол.

Из четырех парней одиннадцатиклассников только один Сашка Чапайкин знал, что устройство трактора ему надо будет знать досконально – он твердо собирался поступать в сельскохозяйственный институт в городе Кинеле. Остальным, зачем это?

Виктор Ночуйкин хотел быть летчиком, а Ковальский пока одно знал: навряд ли он будет трактористом.

Девочки все собирались стать учителями.

Чтобы как-то оживить производственную программу химичка Валентина Сергеевна повезла ребят смотреть «большую химию» в Новокуйбышевск. Совхоз выделил автобус, и в десятом часу они были уже на заводе.

Поехали не только те, которые учились в дневном одиннадцатом, но и учившиеся в десятом вечернем и десятом дневном классах. Были и те, которые уже работали, окончив вечерний десятый класс. Такие как Олечка Козырева. Всем было интересно.

То, что они увидели, не могло не заворожить. Их как-то быстро через проходную провели к строящемуся цеху полиэтилена, вернее, трем цехам. Оказалось, что производство закуплено в Западной Германии. В Советском Союзе такой технологии еще не было. Огромное, около ста метров длиной и более тридцати метров высотой, здание вмещало в себя блок полимеризации этилена и обработку получаемого полиэтилена. Сотни аппаратов, хитросплетение бесчисленных трубопроводов и кабелей: силовых, телевизионных, всяких – поражало воображение. И везде – надписи на немецком языке. Передовая техника!

В цехе шли полным ходом монтажные работы.

– В основном осталось смонтировать несколько центрифуг, реакторов, а там и до пусконаладочных работ рукой подать, – давал пояснения ребятам заместитель начальника цеха Яков Розенберг – невысокий, худенький, кареглазый, нервно подергивающий левым плечом, человек.

Их провели почти по всем основным этажам строящегося цеха.

- Приезжайте через год - цех заработает - будем давать стране наш полиэтилен, - весело прощался с ними молодой заместитель начальника цеха.

- Яков, вы уже освободились? - прозвучал спокойный уверенный женский голос.

Ковальский оглянулся. К ним подходили двое мужчин и женщина. Женщина была невысокого роста, с прямыми волосами, приветливо и свободно улыбающаяся.

- Это директор завода Анна Сергеевна Федотова, - успела сказать негромко, но все услышали, Валентина Сергеевна.

- Да, Анна Сергеевна, я освободился и, как договаривались, готов вам все показать.

- Хорошо, - одобрила энергично Федотова.

- Анна Сергеевна, - загорелась вдруг Валентина Сергеевна, - мы столько слышали о заводе, о вас, приехали из района, может, с ребятами поговорите. Случай такой! Это им так надо сейчас, - привела, как она понимала, очень веский аргумент.

- Надо говорите? - переспросила Федотова. Посмотрела на стайку ребятшек и сходу решила: - Я сейчас минут сорок буду занята, а вы, - она обратилась к инженеру отдела кадров, сопровождавшему ребят, - вы, Галина Васильевна, ведите их ко мне в приемную, ждите там. Расскажите пошире им дорогой о нашем с вами заводе.

...Директор сдержала слово. Легкой походкой уже одна, без тех двух мужчин, вошла в приемную. На ходу весело удивлялась:

- Вас, по-моему, стало больше или это моя приемная не рассчитана на столько! - И пригласила в свой кабинет.

В директорском кабинете стояло два стола. Один небольшой, за который села она, и другой, обставленный с обеих сторон стульями, длинный и узкий. За него она посадила ребят.

Олечке Козыревой место досталось прямо около директора, рядом с Козыревой сидела и школьная химичка. Ковальскому - самое дальнее, но, наверное, как он думал, удобное место, в конце стола, в самом торце его. Он видел сразу всех вместе и каждого в отдельности.

Директор была далековато, но ведь кабинет был небольшой и голос у нее оказался звучный.

- О том, ребята, какое огромное значение для нашего общества имеет нефтехимия можно судить хотя бы по одному факту, - начала она сходу. - Пленум ЦК КПСС в мае 1958 года принял Постановление «Об ускорении развития химической промышленности и особенно производства синтетических материалов и изделий из них для удовлетворения потребностей

населения и нужд народного хозяйства». Вы знаете все нынешний лозунг: «Коммунизм – это советская власть плюс электрификация и химизация всей страны». В августе, через три месяца после Пленума, мы встречали дорогих гостей у нас в Новокуйбышевске. К нам приезжали первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев, секретари ЦК КПСС, члены Президиума Центрального Комитета партии товарищи Леонид Ильич Брежнев, Михаил Андреевич Суслов. Они побывали и у нас на заводе. Эта встреча окрылила наш коллектив. К осени 1959 года, намного раньше намеченного срока, завод освоил проектную мощность. На сегодняшний день у нас вступили в строй цехи получения фенола, ацетона и альфаметалстирола. В следующем году мы готовимся к пуску производства полиэтилена, которое закупили в ФРГ. Через год завод станет крупнейшим в стране изготовителем полиэтилена низкого давления. Вот так!

Шурка смотрел на худошавую пожилую женщину и ему не верилось, что она, такая неброская, руководит заводской машиной. Он мысленно поставил ее рядом с огромной Валентиной Яковлевной Плотниковой. И удивился разнице. Эта так говорит, будто читает газету, сухо и официально, Валентина Яковлевна всегда говорила отрывисто, часто сумбурно, но это-то как раз и действовало. «Значит, здесь что-то другое, – думал Александр. – Но что? Знание дела? Грамотность? Наверное, ведь не зря же она Герой соцтруда. Дела какие, масштабы! Одно название продукции, полиэтилен, спирт для каучука и ракетного топлива.

Еще недавно, до десятого класса, ему нравилась сдержанная манера говорить, академизм. Он этим восхищался. Дед его в последнее время работал конюхом в народном суде, и Александр взял в привычку ходить слушать судью. Его завораживала речь судьи. Официальная, ровная, аргументированная – она, своим непохожим на повседневную речь слогом, заставляла быть собранным, целеустремленным. Но так продолжалось недолго. До тех пор, пока вдруг он внутренне не ужаснулся: ведь за каждым красивым, выверенным словом судьи стоит судьба осужденного. И как только он так подумал, вся красота и привлекательность «судейской речи» рассыпалась в пух и прах. Жизнь, получалось, зависела от красивых и выверенных слов, которые опирались на какие-то сложные законы. А если законы не верны, ведь их писали люди? Или не те законы применяют? А если вообще человек не виновен, так бывает? А она так правильно говорит, так уверенно.

Шурка перестал ходить в суд. И стал с тех пор подозрительно относиться к людям, которые гладко, как по писанному, говорят. «Кто говорит гладко, у того мысли не свои, чужие», – такую он вывел для

себя формулу и многократно проверил ее справедливость на себе. Получалось, как только он забирался мысленно куда-нибудь в глубину какого вопроса, то начинал говорить косноязычно и – наоборот.

...Он глядел на женщину с несколько раскосыми глазами, с незажженной папиросой в руке, и невольно вспоминал услышанное в приемной: «Она у нас казачка, с Дона, из бедняцкой семьи, это ее третий завод после Академии народного хозяйства».

«В чем сила таких людей?» Но такой вопрос здесь задавать было неуместно. И все-таки, думая о своем, он задал свой вопрос, когда директор замолчала.

– Анна Сергеевна, а вы Марфина и Миронова знали лично?

– Да, конечно, мы были знакомы. Миронов был крупная фигура!

– А Марфин? – уточнил Александр, перебирая в памяти рассказ родственника Михаила Лашманкина.

Строгая женщина удивленно посмотрела на Александра и проговорила подчеркнуто уверенно:

– Хороший был работник.

Александр показалось, что она поняла, почему он так спрашивает. После еще нескольких вопросов Анна Сергеевна вдруг рассмеялась совсем неожиданным для директора простодушным смехом и, став похожей на мать Александра, провозгласила:

– А теперь: марш в столовую! Соловья баснями не кормят, час дня уже пошел. Я сейчас распоряджусь. – И она нажала на кнопку к секретарю.

...На обратном пути Александр не переставал думать об увиденном. Все было необычно: и огромность завода, новые слова и названия, люди и среди них – эта необычная женщина, умеющая быть и официальной, и такой простой.

Володька Орешин, когда уже подъезжали к селу, вполголоса сказал Александру:

– А я читал о приезде Хрущева в Куйбышевскую область в нашей библиотеке в подшивках «Волжской коммуны». Его забросали тогда помидорами на главной площади. Об этом, конечно, в газете не было, но мне старший брат говорил, он учился в то время там. Хрущев не только на этот завод приезжал, сначала приехал на нефтеперерабатывающий.

Говоря эти слова, одноклассник Александра отчасти был прав: глава государства приезжал в Куйбышевскую область в первую очередь на открытие Волжской ГЭС. Доставил его в Куйбышев поезд «Москва-Новокузнецк», к которому были прицеплены три специальных вагона. Встречал его на границе области первый секретарь обкома партии Миха-

ил Ефремов, в тех же вагонах высокий гость отправился в Жигулевск. На машине он ехать отказался, боясь покушения. В Жигулевске – перерезал ленточку, символизируя пуск ГЭС и выступил на митинге, где заявил, что тепловые станции лучше гидравлических, чем, конечно, обидел строителей.

...Митинг на площади в областном центре был сорван. Желавших посмотреть живого Хрущева было слишком много. Случилась давка, некоторые начали падать в обморок. Из толпы полетели в сторону трибуны помидоры. На что глава государства среагировал по-своему: «Как горчишниками были, так и остались». Горчишниками до революции в Самаре называли хулиганов.

После поездки в Новокуйбышевск Александр стал усердно следить по газетам за строительством нефтехимии и нефтепереработки.

А следить было за чем. Возросшие потребности страны в синтетическом каучуке, наличие сырьевой базы дали возможность в 1962 году начать строительство Новокуйбышевского нефтехимического комбината, в будущем одного из самых крупных предприятий не только в стране, но и в Европе.

...В степи под Утевкой продолжало развиваться и расширяться «второе Баку». В пятидесятые годы разведчики глубинных недр открыли Кулешевское месторождение нефти, положив начало Южно-Куйбышевскому нефтегазоносному району.

10 июня 1960 года был произведен отвод земли для строительства поселка Нефтяников нового типа, без временок, с четырех- и пятиэтажными домами с изолированными квартирами.

Нефтяники жили в поселке Ветлянка или снимали квартиры у колхозников в селах, а по мере сдачи домов переселялись в новый поселок – будущий город.

Об этом Александр читал, роясь в подшивках местной газеты «Ленинский луч». Библиотекарь Богатырева Любовь Николаевна уже привыкла к своему постоянному посетителю. Ей нравился Ковальский, она любила смотреть, как он играет на сцене, даже частенько приглашала его участвовать в утренниках, которые организовывала в своей библиотеке. Она видела его интерес и готовила ему информацию.

...Здесь, под Утевкой, рождалась нефтедобыча, рождался новый город, будущий районный центр Нефтегорск, а у станции Липяги, в двух десятках километров от областного центра Куйбышева, закладывались основы нефтехимии. И город Новокуйбышевск в недалеком будущем станет ее центром. С пуском новой очереди завода синтетического спирта родилась большая химия Средней Волги.

...Когда ребята ушли из кабинета, Анна Сергеевна, вспомнив утренний телефонный разговор с одним из работников отдела промышленности, покачала головой: «Пусть эти обыкновенные чинуши, как хотят, так и думают, они договорились до того, что, мол, я и Героя Социалистического Труда получила только потому, что приехавший в область, а потом и на завод Никита Сергеевич Хрущев вдруг вспомнил, что мы вместе учились в одной Промышленной Академии, и это сыграло главную роль. Но я ведь построила завод, один из трех, — таких больше нет в Союзе. И он имеет огромное народнохозяйственное значение. Досрочно пустили. Такой коллектив. Чудо люди. И где это видано: мы делаем спирт, который стоит дешевле газировки... Долго мне здесь работать не дадут, слишком я независимая, это многим не нравится. Придется мне возвращаться в Москву, а так не хочется от живой работы, от моих заводчан. Они-то без меня сдюжат, молодые, я без них, без завода — никто. Как это мои шестьдесят лет быстро подкатили?.. Ни мужа у меня по-настоящему нет. Ни любовника не завела. Странная я для них баба. Непонятная».

Она встала, подошла к окну. «Давно ли еще здесь были курятники, там вон за пожаркой — пивнушка, странно даже вспоминать, а сейчас стоят махины — колонны как огромные свечи... — Она усмехнулась: — Надо думать, кого вместо меня, если, конечно, спросят об этом директора. — Закурила «Беломор». — Зинин — начальник цеха, он крепок. Его можно, пожалуй. Надо готовить его».

Федотова признавала, что своей масштабностью она не вписывается в карликовые рамочки требований местных бюрократов.

Она вернулась к столу, стряхнула по-мужски пепел в черную круглую пепельницу, села в кресло.

«Эти белобрысые пацаны, приехавшие из дальней, за сто верст, деревни, как ее там — Утевки, хорошие, видать, ребята. Раз интересуются — будут новые поколения крепких нефтехимиков. Такие ведь масштабы». Она была молода духом. В ней еще был задор молодой отличницы рабфаковки, которая в 1925 году была секретарем агитпропа ячейки ВКП (б) на московском заводе «Клейтук», а с тридцатого года — директором предприятия.

Ей невольно вновь вспомнилось первое назначение директором завода в тридцать лет. При ее всего-то десятиклассном образовании. Не столько пугали трудности совершенно неведомой работы, сколько огорчала, даже удручала необходимость оставить партийную работу. Ей тогда казалось, что ее назначают директором предприятия только потому,

что она, вероятно, оказалась недостойной для парторботы. Вот ведь как...

«Вот ведь как все обернулось. Оказалось-то, что вот оно мое главное дело – завод. Пыхтящее, гудящее, сопящее и удивительно родное, как ребенок, существо».

Она без ложной скромности понимала и отдавала себе отчет, что отныне и очень надолго завод, только что родившийся и заявивший о себе на всю страну, будут связывать с ее именем. Ведь столько всего здесь преодолено на пути. И какой ценой?

Домашние не очень понимали ее. Для многих такие объекты, работа на периферии на передовых стройках были своеобразным трамплином, возможностью получить приглашение на работу в столицу. Она же, четверть века прожившая и проработавшая на руководящих должностях в столице, без сожаления уехала строить завод в голой степи. Она любила братья за новое дело, ее азартная натура не поддавалась старению и ей нужна была независимость, она двигала, была стимулом.

Муж, Михаил Матвеевич, работавший в Министерстве легкой промышленности на весьма высоком посту, так и не привык к ее бесконечным длительным командировкам. Повязанная своими директорскими обязанностями, она редко бывала в семье. Ни таланта, ни времени обустроить свою личную жизнь, домашний быт, увы, – это она теперь понимала – у нее никогда не было. Муж ее уже давно проживал отдельно от семьи. Дочка Майя не была похожа на мать. Она не понимала партийного фанатизма матери, ее преданности порученному ей делу.

Со смешанным чувством, смотрела Анна Сергеевна, когда приезжала в Москву, на внука и внучку. «Ох, ребятушки мои, какими же вы будете, неужто равнодушными, как многие сейчас... не может быть, ведь в вас же кровь моя, казацкая...»

...Вспоминалось детство. Их бедняцкая крестьянская семья еще как-то перебивалась в станице Урюпинской Хоперского округа Донской области, пока не утонул отец. Ей тогда не было и года. Мать вспомнилась. Вечная труженица, она скончалась в 1936 году. Много мелькнуло перед глазами. «Да, сладкого было в детстве мало».

Но вот какое дело, все нелегкие перипетии ее детства и юности не подавили, а, наоборот, укрепили в ней твердость и решительность. Этим она отличалась везде, где бы не работала. А испугать ее решительно было нечем. Еще в тридцать седьмом году, когда Федотова была директором одного из московских заводов, у нее арестовали четырнадцать руководящих работников. Очевидно, им грозила гибель, предприятие же захромало. Федотовой удалось попасть к Сталину на прием. То-

гда арестованных не освободили, но они продолжали работать под охраной. Жизни людей были сохранены.

В нефтехимии, которая только зарождалась, такие случаи были не редки.

Будущие авторы единственного тогда в мире кумольного способа получения фенола-ацетона Р. Удрис, Б. Кружалов, П. Сергеев были арестованы и несколько лет провели на нарах. В заключении, в «шарашке», они и разработали этот процесс. Теперь он заработал на заводе у Федотовой в многотоннажном варианте.

«Откуда у этого человека столько энергии и уверенности?» – часто думала Анна Федотова, наблюдая за своим главным инженером Валушко Иваном Андреевичем, забывая, очевидно, о своем характере. Отчасти удивлялась она неосознанно по той простой причине, что знала: Валушко около двадцати лет провел в ГУЛАГе, а ей повезло. Ее не тронули.

На заводской площадке под Куйбышевым Валушко появился в октябре 1956 года. Плотный, подвижный, среднего роста, он говорил с украинским акцентом, жестикулируя. Украинец Валушко вырос в Донбассе, в семье шахтера. После школы поступил в институт в Харькове, но вскоре понадобились кадры для промышленности синтетического каучука. Он – из рабочих, тогда это было очень важно, и его пригласили на переподготовку в Ленинград. А дальше – совсем просто. По направлению приехал работать на Ярославский завод синтетического каучука. Рос как специалист быстро. Ему не было и тридцати, когда стал главным инженером. Предшественника его обвинили как врага народа виновным во всех заводских авариях. Он успел поработать всего около трех месяцев. «За сколько и когда втянул тебя во вредительство твой бывший начальник – главный инженер», – таков был первый вопрос следователя. Так оказался Валушко на Колыме. Два года махал как каторжный обушком, но выжил. Когда началась война, его направили на завод, назначили начальником технического отдела. У него работали лучшие специалисты страны, но гордости этот факт не приносил. После войны расконвоировали, он женился. А уже после XX съезда КПСС его подчиненные, работавшие теперь на высоких постах в нефтехимии потребовали пересмотра дела. Так Валушко реабилитировали. Он прилетел самолетом в Москву. И выбрал строящийся в Новокуйбышевске завод. Интеллигентный и деликатный, имеющий огромные знания, он дополнял этими качествами Федотову как руководителя.

«Конечно же, директором можно и надо бы ставить Ивана Андреевича Валушко, но его уже нет на заводе, – рассуждала мысленно Анна Сергеевна. – Да, Зинин. Михаил Васильевич должен стать директором, ведь он

начальник главного цеха на заводе, а главным инженером – Смирнова Антонина Андреевна, работающая начальником цеха. Да, да, – обрадовалась она своей находке – теперешний главный, Зорислав Николаевич Поляков, не удержится, уйдет в науку, а вот Смирнова – и светлый ум, и волевые качества. И тонкая душевная настроенность. Все есть для специалиста нового времени. Мы-то были и есть поглубее».

Приняв окончательное решение, она невольно успокоилась. Завод был для нее как ребенок и передать его надо было в надежные руки.

Да, ей довелось учиться когда-то, в 1932 году, вместе с Н. С. Хрущевым в Промышленной Академии. Она училась на химическом факультете. Он тогда еще был секретарем парторганизации. Учились там и жены Сталина, Молотова, с которым она хорошо была знакома. Федотова окончила Академию в 1937 году, когда развернувшийся в стране террор выкашивал и укладывал не на земельку, а глубже порой самых лучших. Стране нужны были новые люди, нужны были руководящие кадры. Она была назначена сразу на две должности: директором завода «Пластик» и руководителем Московского научно-исследовательского института резиновой промышленности. Так Федотова, начиная с 1925 года, проработала в Москве на руководящих должностях до самого 20 февраля 1950 года, до своего пятидесятилетия, когда была назначена директором строящегося в Новокуйбышевске завода синтетического спирта.

...Если бы сейчас Александр Ковальский вернулся и вошел в кабинет, он, скорее всего, не узнал бы ее. Воспоминания размягчили Федотову. За столом спокойно сидела раздумчивая сидящая женщина с серыми усталыми глазами. Одета в привычный свой серый костюм, с зачесанными назад волосами, собранными в косу...

И сейчас она вовсе не была похожа на директора первого в Среднем Поволжье завода нефтехимии. Скорее всего, ее можно было принять за учительницу или врача. Но это была она – Анна Сергеевна Федотова, ставшая легендой в нефтехимической отрасли страны.

Знать бы Александру, как сложится его судьба через пять-семь лет, он, с его дотошностью, на многое бы посмотрел по-иному на заводе, но откуда ж он мог предположить, что будет работать на нем, и не малое количество лет. Знать бы ему наперед. А, может, и хорошо, что не знал. Так жить интереснее.

...Раздался звонок «вертушки». Анна Сергеевна, слегка усмехнувшись, подняла трубку. Когда вернула трубку на аппарат, закончив короткий разговор, провела зачем-то в задумчивости ладонью правой руки по столу, словно раздвигая кипы залежалых бумаг, и вновь улыбка пробежала по ее лицу. Ее приглашали к заведующему промышленным отделом.

- Раз приглашают - поедем, - произнесла Анна Сергеевна. - Мы люди дисциплинированные.

...Под открытым небом Средней Волги раскручивался маховик химизации земель волжского Левобережья, и Анна Сергеевна Федотова была одним из тех «винтиков» огромной российской индустриализации, которые давали изначально движение этой огромной машине.

...Утевские ехали назад весело. Обнаружилось, что химичка Валентина Сергеевна знает очень много песен. И русских народных, и студенческих. Пели почти всю дорогу, а, подъезжая уже к Бариновке, Сашка и Лашманкин Мишка вдвоем запели, осмелев, «Там вдали за рекой...»; остальные вполголоса подпевали, не мешая им. И всем очень понравилось.

На обратном пути Ковальский сидел в автобусе с Олечкой Козыревой. В темноте Олечка два раза «со значением» пожала Ковальскому руку. И хотя он уже догадывался, что Олечке по природе досталось коварное и сильное оружие - кокетство, но удивлялся: откуда у нее это, ведь она же еще совсем девчонка. А порой, с такими ее поступками, казалось, что она знает и умеет страшно многое. Будто - опытная, как Элен Курагина из «Войны и мира».

Раньше он даже не делал попыток ухаживать за ней, но постоянно попадал в ее ловушки, выстроенные, то из слов, то из нечаянных прикосновений и взгляда темных красивых и умных глаз; в таких случаях летел куда-то в пропасть. А она то легонько приближала его к себе, то отталкивала. Он догадывался, что это может быть просто ее игра. А вдруг нет? То при встрече в клубном коридоре, одними глазами говорила, что будет не против его откровенных ухаживаний и пусть знают об этом все, то он слышал: «Как ты на меня смотришь, увидят же!» - и убегала. Оставляя за собой право вроде бы на что-то, а на что он и сам не знал. Олечка Козырева будто владела каким-то мощным оружием воздействия. После таких встреч он чувствовал, что его будто ведут в какой-то капкан и он сам, совсем порой не сопротивляясь, а наоборот, готовенький быть одураченным, пусть, но верящий: «А вдруг она действительно во мне что-то видит такое... что я сам не могу знать. И с нами может произойти то, чего мы оба не можем предположить... но нам это суждено».

В неопытной душе его не было места лукавству и хитрости. Ему казалось, что их и не должно быть. Но когда чувствовал игру Олечки с ним, да еще такую тонкую, ее лукавство и томительные недомолвки, начинали его завораживать. Игра эта манила своим таинством и открывающимися смутными возможностями. Он уже давно обнаружил, что влюб-

чив и очень, и относил это к своим недостаткам. И старался этого никому не показывать.

10

В юности всегда найдутся две-три молодки, которым без тебя – тоска, да и все тут – жизни нет. Не миновало это и Ковальского. Но он был не готов к этому.

Александр чувствовал, что приходит время, когда он оказывается в перекрестье девичьего внимания. Он видел, как Мишка Лашманкин, который был всего на год старше его, совершает «подвиги» на любовном фронте. А сам не торопился. Достаточно было решиться сделать всего лишь небольшое движение... чуть притвориться... порой и этого не требовалось, чтобы встать в один ряд с теми, кто хвастался своими победами.

То, что они первые одиннадцатикласники, то есть как бы по обычным меркам уже и не школьники, к чему-то уже вроде бы обязывало...

– Один раз только и всего, а потом стесняться не будешь, – поучал шустрый Лашманкин. И даже как-то при этом застенчиво улыбался. Но потом, не выдержав роль, начинал ржать как молоденький жеребчик.

Олечька Козырева, с тех пор как они вместе ездили в Новокуйбышевск на завод, периодически напоминала о себе. Она кончала вечерний десятый класс и готовилась в плановый институт. Работала в поселке Ветлянка в какой-то гаражной бухгалтерии.

И хотя они и не учились вместе, так получалось, что они часто попадали на одни мероприятия, где не общаться было просто невозможно.

В мае на одной вечеринке она напилась. Как-то так все решили, что Ковальский должен отвести Олечку домой. Он согласился, тем более, она висла на нем и, икая, согласно кивала головой. Он еле довел ее...

Когда присели на лавочку около дома, она вначале уронила голову ему на плечо, потом что-то невнятное сказав, выпрямилась и, задрав голову к небу, с закрытыми глазами продолжала сидеть. Ковальский терпеливо ждал, когда ей станет лучше.

Резко повернувшись, он взглянул на нее и... встретился с совершенно трезвым взглядом открытого ее левого, косящего на него, глаза.

Оказывается, она была трезвой! Она притворялась, провоцировала его.

Александр засмеялся. Он был изумлен ее выходкой и выдержкой в своих проделках, но дал ей тогда доиграть роль до конца.

Покачивающуюся, подтолкнул ее в калитку, помог подняться на крыльцо, держа ее обеими руками за талию и испытывая при этом невольное волнение.

...Еще в десятом классе он по очереди влюблялся едва ли не в каждую из одноклассниц. А было их шестеро. Влюбляясь, внешне он никаких признаков своего «великого» чувства не выказывал. Все было внутри его. Но проходил месяц, второй и он разочаровывался в своей привязанности. Через некоторое время все повторялось...

В конце концов он решил, что в Утевке нет той, в которую он мог бы влюбиться по-настоящему. Приняв это, он успокоился, поверил: его женщина его ждет. Откуда это у него взялось, он не понимал, но твердо знал: настоящая его женщина у него уже есть. Они обязательно встретятся. Они встретятся, когда будут готовы к этому. Тогда и узнают друг друга.

А то, что и случится у него до того, до нее, это не в счет, это как бы черновой вариант личной интимной жизни.

* * *

...Яблоневый сад в степи сажали дружно.

Директор школы появлялся часто среди работающих. Худой, высокий, в соломенной шляпе и всегда веселый, он выделялся, как подсолнух среди картофельного поля.

Он, оказывается, ловок был в работе этот учитель-очкарик. Школьники это сразу определили. И потом он много говорил неожиданно смешного.

И бригадир Аксюта Васяева была под стать ему – в карман за словом не лезла.

– Я тебя, Аксюта, взял бы в школу завхозом, больно ты ловкая какая, – восхищенно говорил директор, не ожидая подвоха.

– Я б не пошла.

– Почему так?

– Больно парней много у вас там симпатичных – дисциплину б расшатала.

– Не надорвалась бы? – спрашивал он невинным тоном.

Закладка сада велась не первый сезон. Большая часть яблонь была уже посажена. И прошлой весной, и сейчас, осенью, три класса: девятый, десятый и одиннадцатый трудились наравне со взрослыми.

Взрослые и дети Утевки, Покровки и Красной Самарки с удовольствием работали в питомнике. По первому разряду платили 9 рублей 83

копейки, а за третий и четвертый разряды 14 рублей и 16 рублей за норму. Таких денег нигде в округе не платили. И был заведен порядок: на второй день утром на видном месте вывешивались ведомости, где было видно, кто сколько заработал.

Уже после первой весенней посадки ребята так хорошо заработали, что в школе появилась штанга для кружка тяжелоатлетов и теннисный стол. Все впервые, к общей радости.

Аксюта оказалась властной начальницей. И толковой. Все у нее было по распорядку. Всем она успевала разъяснить, что и как. А что ей оставалось делать при бестолковом-то муже... Аксюта Васяева все время при посадке была на виду. Ее кумачовый платок мелькал то там, то здесь.

- Веселей, друзья-комсомольцы! Представьте, что мы строим коммунизм и каждая яблонька в нем - кирпичик большого здания.

И комсомольцы старались. Даже дед Проняй, совсем старый, возивший в бочке воду для работающих, и тот пыхтел - тоже строил будущее. Ему Аксюта нравилась давно. Он старался с ней при любой возможности заговорить.

Сажали и верили: будет огромный сад. Без веры нельзя. И дед Проняй верил. Только один раз он засомневался малость, в короткий перерыв, пока подвозили саженцы:

- Ветрищи поднимутся, степь гольная. Ломать ведь будет все. Разгуляй-поле.

- Ты, дед, не гундось, - уверенно сказала бригадир Аксюта, - ты уже отработанный матерьял - еще при капитализме родился, а туда же.

Даже директор Михаил Дмитриевич не ожидал от нее такой прыткости. Он закашлялся и чуть не обжегся папиросой, но не засмеялся, как и Проняй.

Засмеялись все остальные. И Аксюта вместе со всеми.

Проняй посмотрел на нее вяло и махнул, было, неопределенно рукой, чуть не выронив незажженную папироску, которую он только что «стрельнул» у директора. Помолчал. Но, поправив не торопясь папироску между пальцами левой рукой, он все же решился выправить заодно и свою пошатнувшуюся репутацию:

- Отработанный матерьял, говоришь? А сама боишься со мной ехать за водой. Не спроста чать...

Он усмехнулся незлобиво и прислонился к своей бочке на дрожках, расслабившись. Старик не ожидал ответного удара, решив, что дело он свое сделал: поставил Аксюту на место - знай наших.

- Да не тебя же боюсь, а твоего рысака, - быстро нашлась Васяева.

- Чевой-то так? - вежливо спросил Проняй.

- Разнесет: куда какие моталыжки полетят и все остальные части. Не срамись, дедуля! У тебя чертежи какие есть? - деловито, сделав строгое лицо, спросила Аксюта.

- Какие такие чертежи? - не понял дед.

Ребята затаились в молчании, уже смекнув, в чем дело, а Аксюта вполне поучительным тоном продолжила:

- Вот, видишь, дед, не охватываешь ты всю сложность момента. Нас потом без чертежей собирать как будут? И перепутать запросто могут. А зачем мне, к примеру, твои износившиеся части, а?

Никто не ожидал такого ответа.

- Во шельма, вот окаянная, - забуркал удивленно дед Проняй.

Но его не было слышно: взрыв хохота опередил старика.

Александр удивленно смотрел на Аксюту. А она, как ни в чем не бывало, вальяжно поправляла крепкими слегка полноватыми загорелыми руками свою красную косынку. И смотрела голубыми большими глазами сразу на всех не мигая. Яркие губы ее едва шевелились в улыбке.

- Вот мастерица, девка, обшивала старого, нечего лезть! - восхищался шумно водитель автобуса Виктор, крепкий коренастый парень.

Проняй посмотрел на него, на директора школы и усмехнулся себе в усы. Он подумал и оценил ее выходку по-своему: «Все вы тут мастера голой задницей гвозди дергать». Подумать-подумал, но не сказал. Он стеснялся говорить такое вслух при учителях и учениках. «Это ж никуда не годиться. Поживите с мое. Аксюте что? Она от молодого задора. А мне с чего?»

Не знал из них, смеющихся, никто, что когда-то в поселке Лебяжьем без его разудалых песенок-частушек не обходилась ни одна вечерка. Что весельчак Пронька был в таких делах заводилой. И у девок - всегда на примете. А когда перебрался в Утевку и женился - и тут были молодки, которые его высматривали. Похлеще Аксюты. Ревновала его Спиридоновна жуть как, а все сходило с рук. Такой шустрый был и веселый. И не хвастался, а про себя гордился, что знает женскую породу.

«Вишь она какая, - шурясь на Аксюту, обстоятельно кумекал про себя дед, - как кобыла. Все становится задом - норовит лягнуть. И мужичка-то нет у нас ей вровень».

Он задумался, наконец раскурив папиросу и, скользнув локтем по мокрой бочке, чуть было не упал, но вовремя ухватился рукой и устоял. Надо было держать свой фасон любимым макарон.

Проняй всегда хотел иметь много детей, но Бог дал одного. Синенького такого сначала, лет до семи, сына. Назвали его красиво, всем на удивление – Аркадий. И вот штука какая: из него, как говорил сам Проняй, «случилась большая даже шишка» – главный инженер огромного авиационного завода. У Проняи чуть не у самого первого появился в избе телевизор. Сын подарил. Этим Проняй про себя очень гордился. И старался поведением своим соответствовать удачливому сыну.

Проняй для Ковальского был свой – он доводился дальним родственником Головачевым.

...Александрю нравилась четкая организация работ в питомнике. Много было не как в колхозе. Оказывается, можно без мата, под шуточки и песни делать тяжелую, но радостную работу. Да и не так тяжела была посадка. Лунки готовили за день до посадки. Для этого был «Беларусь» с буром. Красивые ядреные саженцы привозили перед самой посадкой. Все без суеты, спешки. Стройные «многоточия» пустых лунок встречали ребят с утра, а вечером глаз радовали стройные ряды «антоновки», «аниса», «китайки золотистой ранней», «московской грушовки». Сад рос и ширился. И каждый думал, что когда-нибудь он придет под эти яблони.

– Ребята, а давайте договоримся встретиться здесь лет через двадцать пять, а? – это сказала во время общего перерыва Тамара Заречнова.

– Девочки! Вы все старухами будете уже, – среагировала сходу Аксюта.

– Да, ну, что вы, Аксюта, ради бога! Прекрасная идея, ребята! – загорелся директор Михаил Дмитриевич. – Как я не догадался!

Он даже встал, чтобы его все видели.

– Ребята, через двадцать пять лет – в 1986 году встретимся. Понимаете, будет новый город Нефтегорск и наш с вами сад. Прекрасно, а?

– Ура! – закричал Сашка Чапайкин. – Кто за встречу? Поднимите руки! – Он оглядел присутствующих. – Ковальский, руку поднимаем без помидор. – Повернувшись к директору, доложил: – Единогласно.

– Ребята, это превосходно, – Михаил Дмитриевич говорил негромко, мягким голосом, – не каждому это дано: заложить сад в юности, да потом в зрелом возрасте вернуться в него. Ведь ясное дело: большая половина из вас уедет из своих сел, вы молодые. А память? Вот она!

- А я еще придумала, - как-то даже виновато сказала Тамара Заречнова. - Можно в дополнение?

- Давай, - разрешил, опередив директора Чапайкин.

- Надо еще встретиться здесь, в саду, осенью 2000 года.

- Какого? - удивилась смуглая и шумная девятиклассница Ниночка Таганина.

- Ну, понимаете, - пояснила Тамара, - рубеж: конец второго тысячелетия и начало третьего - это же исторический момент. Мы с вами шагнем в третье тысячелетие.

Воцарилась тишина. Видимо было, что тысячелетия как-то придавили присутствующих, никто такого не ожидал, тем более от Тамары.

- А мы жить тогда будем? - робко решила прояснить ситуацию Маня Останкина, пышногрудая и голенастая девка с большим родимым пятном на левой щеке.

- А куда ж ты денешься, приспичит и будешь жить, - нарушил вязкую тишину водитель «ГАЗ-51», на котором возили саженцы.

Все разом охотно засмеялись.

Было решено собраться и осенью 2000 года. После этого перерыва Ковальский и Тамара Заречная несколько раз во время работы встретились взглядами. У них затеялся разговор глазами с той вечеринки, с которой он провожал Ольгу Козыреву. Тогда Ковальский дважды танцевал с ней.

Глаза у нее были очень спокойные и внимательные. Как у его мамы. Тогда она сказала всего несколько слов. Но ему почему-то казалось, что разговаривали они весь вечер. Он постоянно ощущал ее присутствие и между ними будто шел некий неспешный диалог. Ему казалось, что она о нем все знает. Она не пригласила его, когда объявили дамский танец. И он это оценил. Он не хотел, чтобы на них смотрели, когда они вместе. То хрупкое и ломкое, что образовалось между ними, они не желали выставлять напоказ. Она и на посадке яблонь сама не подходила к нему. И он не подходил. У них как будто был заговор. Это его необычно волновало.

Ко многим вопросам, мучившим его, добавился теперь и этот: как быть? Он не знал, что делать и поэтому решил не торопиться.

Она была доверчива, он чувствовал это. И это обезоруживало его, нечего было преодолевать. Он догадывался, что возможно она его себе придумала. Он не такой, каким она его себе видит и, когда это обнаружится, он невольно окажется виноватым. Александр не хотел для себя такой роли, был не готов к этому.

Но он понял: это не Олечька Козырева. Что-то цельное и настоящее встало у него на пути. Такое, с чем нельзя было просто так играть. И он опасался сделать неверный шаг...

11

Валентина Сергеевна упорно вела профорientацию, как умела, и неплохо получалось. Объявленная встреча с буровиками два раза откладывалась почему-то, но сегодня перед началом занятий было вновь сказано, что нефтяники будут после пятого урока второй смены.

Их приехало трое. Спокойный, основательный старший инженер Николай Степанович Денисов, щеголеватый Евгений Разлацкий и инженер-строитель Агафонов.

Было тесно. Пришли ученики из других классов, некоторые учителя и даже школьный сторож Мазилин. Он сел почти около Шурки Ковальского. Оказывается, многим было интересно услышать «первопроходцев второго Баку» – так назвала гостей учительница.

Гости отличались от утвцев, даже от учителей школы. Все чисто одетые, в светлых рубашках и галстуках. Говорили убедительно, но не назидательно. Как-то душевно. Не как школьные учителя. Шли легко на диалоги. Хотя, по правде сказать, вопросы были неуверенные и, видно было, легкие для гостей. Им было приятно рассказывать и тут же отвечать по ходу и на те вопросы, которые иногда аккуратненько задавала химичка.

Но все коряво переиначил Сашка Мазилин своим первым же вопросом:

– Все калякают: второе Баку, второе Баку! А не получится как с первой?

– А что с первой, то есть с первым? – переспросил Разлацкий.

– А вы, извиняюсь я, были там? – прищурился Мазилин.

– Нет, – несколько растерялся Разлацкий.

– Значит, ты не видел, как утыкали их Баку вышками, ажник у некоторых во дворах. У меня дружок там – вместе воевали – два раза у него был. Повидал.

– А что там видел? – недоуменно спросил тот, что постарше. – Я был в Баку.

– Это не парней наших бороть самбой. Туточки мозги нужны. Аж... – Мазилин запнулся, – государственного масштабу. Вон был поселок Чапаевский, и – нет его. А у мово брательника там, окромя дома, огорода, был такой колодец и самый лучший погреб, яблоки до весны в нем

лежали. Красивейший поселок был. Таньку свою я там сосватал, свою тропинку протоптал от Утевки до Чапаевского.

- Ну и что?

- Что? - удивленно переспросил Мазилин. И вновь: - Где сейчас все это? Все нефтью залито. До сих пор не пройдешь.

- Ну, это случайно получилось.

- Случайно? - удивился Сашка. - Нет, это не так. У моего дружка-то отец в Баку грузчиком в порту до войны работал, дак они, двое пацанов, ложками из бочки на кухне икру черную ели. Другого ничего не было, а икры сколько хошь! А потом что стало? Столько нефти пошло в море, что пляж из города Баку перевели. Я ездил смотрел. Рыбки не стало. И икры тоже. Случайность. Да? Нашу Самарку или зальют, или выкачают.

- Вы за что же агитируете, товарищ? - подал голос коренастый в клетчатом пиджаке Денисов.

- А мне что агитировать? Вон агитнули уже - Ковальский на химию учиться хочет.

Шурка вздрогнул: «Откуда этот чудила все знает?»

- Это же газ в дома, не пройдет и пяти лет - дрова не нужны будут. Лес вдоль вашей Самарки останется цел, - вновь попробовал привести здравые доводы для непонятливого Мазилина, тот, который назвался Денисовым.

- Кумекаешь, дорогой человек, - продолжал он, обращаясь прямо к Мазилину, который даже привстал из-за парты, очевидно, понимая важность диалога или от простого азарта, который толкнет его на какую-нибудь еще выходку.

«С него станется, - думал Ковальский, наблюдая, как тот улыбочиво, с ехидцей смотрит на однофамильца героя-партизана. - Он такое может выдать - за школу будет всем стыдно!»

- Видишь ли, в прошлом, шестьдесят первом году, мы дали стране уже миллион тонн нашей нефти, через пару лет дадим десять миллионов, еще через два - может, уже пятьдесят. Такая махина раскручивается! Будут здесь через пару лет нефтестабилизационный и газостабилизирующий заводы, наконец, фильтрационная насосная станция.

- Да ладно, - почему-то упорствовал Мазилин, даже не обращая внимания на вошедшего директора школы и присевшего тихонечко на первой парте. - Фильтрационная насосная, масштабы, может, не бурить надо землю-то, а как наш Полянский - директор питомника, сады на ней разводить, а? Яблони ведь скоро в степи зацветут под Ветлянкой, а вы - ковырять.

- Александр Иванович, - директор школы строго повернул голову к говорившему за его спиной сторожу и уверенным голосом человека, чей долг ставить все на свои положенные места, покачав головой, обронил: - Опять философствуете, а тут - жизнь, мы же с вами разговаривали: в споре победителей не бывает. Давай, если уж говоришь, то по жизни.

- Дак я не спорю, я про жизнь. Вот навтыкаем вышек, начнем, понимаешь, план давать по нефти на всю страну, а она и провалится враз!

- Кто? - выдохнула химичка Валентина Сергеевна.

На задних партах ребята сдавленно хихикнули.

- Кто-о? - переспросил Мазилин и сделал паузу, так как он умел, чтобы враз стать центром внимания, и уж не на химичку смотрели все, а на Мазилина. - Земля не провалится? Такие тонны из нее выкачивать будем, если? - с ударением на последнем слове сказал Мазилин и, не взирая на, казалось бы, нелепый вопрос, уверенно развернул плечи и прямо посмотрел на Разлацкого.

- Да ну, о чем мы говорим? - досадливо махнул рукой Евгений под утвердительный кивок Денисова, как бы разрешающего вести диалог именно ему, Разлацкому. - Не провалится, мы же закачиваем воду.

- А кто проверил, сколько ты нефти выкачал, а сколько воды закачал? Моя хата не рухнет? Брательник-то в поселке Чапаевском лишился своей. Смотрите, вы ребята молодые, задорные...

Валентина Сергеевна, Шурке это было хорошо видно, разволновалась не на шутку. Не будь в классе директора школы, она, очевидно, взяла бы на себя обязанность вывести разговор на прямую и правильную дорогу. А он молчал, посапывая, теперь уже всем корпусом развернувшись с первой парты, смотрел, пожевывая губами на Мазилина, по каким-то своим непонятным меркам определив допустимость такого странного разговора и такой непоследней роли в нем всего-то на всего школьного сторожа и истопника, инвалида войны Мазилина.

- А вы откуда воду берете для закачки? - вдруг встрепенулся Мазилин и даже привстал из-за парты, выволакивая свою не совсем послушную правую неудачно после ранения сросшуюся ногу. - Из Самарки. - И его бойкая головушка на тонкой прямой шее зашаталась, как скворечник на худой жердине.

- А откуда же? - спокойно согласился Разлацкий.

- Да вы что? Она же иссохнет вся? Милльон выкачать и милльон качнуть! Вы что, рехнулись?

Дело принимало такой оборот, когда необходимо вмешательство начальства, иначе Мазилина не остановить. И начальство вмешалось, но как-то странно, это заметили многие.

- Саша, - будто позабыв вообще о присутствующих, как если бы они были одни, обронил директор, - мы поговорим с тобой как-нибудь обо всем этом, но потом.

- Да, на нефть все загляделись, а мы - люди - побоку?

Кто это «мы» Мазилин не сказал, но получалось, будто это не только он один. В установившейся тишине внятно и веско прозвучал голос Разлацкого:

- Нас пригласили, по сути дела, рассказать, а тут диспут устроили: бурить - не бурить. Дичь какая-то.

На некоторое время установилась тишина и этим не преминул воспользоваться неугомонный Мазилин. Не обращаясь ни к кому конкретно, он внятно, словно стараясь очистить свою совесть, произнес:

- Женщину обманешь - она родит ребенка, а землю обманешь - она тебе ничего не родит. Просто ведь все. Главное - проверено уже.

У химички в который раз уже вспыхнули румянцем щеки и она, вдохнув воздух в молодую грудь, решившись прямо взглянуть в лицо Разлацкому, проговорила, стараясь держать официальный тон:

- Евгений Викторович, вы нас простите, ваш рассказ и то, что поведали (она почувствовала, что надо бы сказать какое-то другое слово и запнулась, не нашла и продолжала) что поведали ваши коллеги, это очень интересно, мы...

«Интересно, есть у нее кто? Такая хорошенькая и совсем еще видно глупенькая», - мелькнула шальная мысль, и Разлацкий сам себе усмехнулся.

Учительница поймала его усмешку и потерялась было, но собралась внутренне и вновь подхватила увядшую фразу:

- Мы, мы рады очень...

- И мы, - сказал, вставая Денисов, - мы тоже были рады, - он открыто и доверчиво улыбнулся.

- Ну, вот и хорошо, - пробасил директор. - Спасибо вам, спасибо от ребят, от нас, не часто ведь такие встречи. И дорога еще, по темноте...

Когда уже шли по коридору к выходу, Сашка Мазилин сзади в ухо Шурке пульнул напоследок:

- Шурк, твой дед сейчас ловит карасей у себя в огороде, а после этих, - он кивнул на гостей, - и воды не будет, Утевочка убежит, ее вместе с карасями в скважины ульют. Ага, такая уха будет. Глядишь,

воды не дольют в скважины сколько надо и провалимся мы в ад крошечный. Этот Разлацкий там, в классе, сказанул как в золу пукнул: «Закачаем сколько надо воды». Вот чудило ветлянский. Я б сказал ему там, да педагогика не позволила.

...Когда Александр пришел домой и рассказал своему деду о вечере и странных словах Мазилина, Головачев не удивился.

- Да ладно, - сказал он, - Мазилину только бы какую загогулину в мозгах у народа сделать, это он любит, а больше ему ничего не надо. Городит, почем зря. Ученые люди, чать, этим всем заведуют, они знают, что делают.

- А он говорит, что у него чутье, и он опасается неладного, - вспомнил Александр один из последних доводов Мазилина.

- Какое такое чутье, - махнул дед Иван рукой, - глядишь, жизненка в наших местах будет полегче, вот где резон.

Ковальскому понравилось, как ловко Разлацкий сказал: «по сути дела», - и ему тоже показалось, что все продумано где-то там далеко, в ученых верхах. Все там понятно. Только не все доводы известны, но даже это «по сути дела» разве может уступить мазилинскому: «а может, они наобум там пальцем макают»? Конечно, нет!

* * *

...За ужином Мазилин рассказал жене о школьных гостях, о разговоре про нефть. Он любил ей рассказывать о себе.

- Да ты что, Сашка! - ахнула полногрудая, источающая как всегда крепкий потный дух, шустрая кареглазая Татьяна.

- А что я? - удивился Мазилин. - Они думают, что я шалолай, но я не всегда им бываю.

- И вислоусый был? - думая о своем, спросила жена.

- Кто это?

- Ну, учитель физкультуры? Захар Селедков?

- Нет.

- Все равно узнает, - обронила Татьяна.

- Ну и что?

- А ты забыл или не знаешь, в какой он милиции служил? - пронзительно стрельнула глазами Татьяна.

- Нет, - задумчиво протянул Мазилин, - не забыл. Турнули его за дебош оттуда. А что, с работы загремлю?

- А может, и не только с работы. У него дружков много везде.

- Да ладно тебе, времена не те уже.

– Нечего ладить. Прямо голова заболела.

– Да ладно тебе. Голова болит – заду легче, – как умел пошутил Сашка.

Когда он уже ушел на «вахту», она села за стол к окошку. Раздумчиво, невидящими глазами смотрела в окно. «Ведь клещ какой этот Селедков! Проходу не дает со своими приставаниями, как кобель. Ноги все оттоптал, паразит. И вправду говорят: человек в страсти пуще зверя. И Саша еще дома ночами не бывает. Все к одному».

Она встала и начала убирать посуду со стола.

«Неужто твой хроменький нам всегда мешать будет? – вспомнила она слова Селедкова и его наглую ухмылку. – Я бы его в свое время упек так далеко...»

12

Выйдя из школы, гости направились в разные стороны. Николай Степанович пошел пешком к своим родственникам, живших недалеко, сразу слева за мостом, решив заночевать у них, а утром с вахтовым автобусом уехать на Ветлянку. Старший инженер производственного управления НПУ когда-то три последних класса школы заканчивал в Утевке, приехав из соседней Зуевки, где не было десятилетки. А жил у своей тетки Ани, у которой своих сыновей было трое. Она теперь одна – все сыновья были в городах.

Агафонов на газике поехал на Ветлянку.

Разлацкий пошел по Центральной улице на квартиру к Мане Сисямкиной. Размышлял на ходу: «Странно все как. Вот Агафонова взять. Закончил Московский институт. Мог остаться в Москве. Отслужил в Белоруссии, работал там, а все равно вернулся, как он говорит, на «родимую сторонущку». А сторонущка-то? Деревянные сараи снесли, закладываем новые жилые дома, степь голая кругом ведь. Лесопосадки и то кое-где, вдоль дорог пока что и есть. Рэм Вяхирев тоже тутошний, из Кулешовки. Денисова взять... Получается, лишь некоторые издадека, а так сами они строят свою жизнь да еще как. В прошлом году уже при мне пущена механическая мастерская, нефтеперекачка откачивает нефть насосами, приводимыми в работу дизелями. Тоже кругом местные мужики работают. Сашка Безухов – мастер, Николай Мочальников, много других».

Его порой захватывали масштабы разворачивающейся стройки. Кажется, весь степной край стал громадной строительной площадкой. Все знали: нефти здесь надолго, значит, нужен город. И строили город для

себя. По ходу преображались и села вокруг. Выдвинули лозунг: «К каждому селу дорогу с твердым покрытием». А пока что только на картах были кварталы города «А», «Б», «Г», а там, где должен был появиться красивый проспект нефтяников, население поселка ходило в резиновых сапогах.

Разлацкий и сам быстро рос. После месячной стажировки Николай Денисов содействовал назначению его оператором-инженером отдела капитального строительства, взяв с него твердое обещание, что он, Разлацкий, обязательно начнет готовиться к поступлению в институт. Он раньше и сам подумывал об этом, да как теперь все свяжется.

Ребята хорошо к нему относятся. Упросили организовать секцию борьбы. Он согласился. Он понимал их – молодые, силищу девать некуда, даже тяжелая работа, грязь непролазная и прочие бытовые неудобства не гасили избытка энергии. Его навыки перворазрядника очень дажегодились. И не только ему.

Евгению было все интересно. Родители его были астраханские и родители родителей – тоже. Почти все речники. Особой связи с деревней не было. А тут, что ни шаг – все свое, своеобразное. Вот хотя бы этот Мазилин. Ведь не дурак, а дурачится. И школьный директор не прервал, почему? Все как-то на особинку, не поймешь каждого. Сколько съехалось ребят – ведь хорошее дело делать съехались, а в клуб утесский зайти небезопасно для многих – поколотят.

Когда он дошел до дома Зининых, внезапно выросли в полутьме две фигуры.

«Нарисовались», – усмехнулся он про себя.

– Слышь, – сказала фигура повыше, – закурить дашь?

«Ну, начинается, – досадливо подумал Евгений. – Лишь бы ножа или ломика какого не было, а так грязи накушаются сейчас...»

Он оглянулся, соображая далеко ли им до штакетника (ведь обязательно ломать будут). Дуроломы деревенские.

– Кончилось курево, – сказал он твердым голосом, – и притом у тебя папираса в руке горит, видно.

– А?! – то ли вопросительно, то ли радостно сказала фигура поменьше и Евгений узнал Саньку Конюхина, дежурного зачинщика многих драк. – Это же Разлацкий – мировецкий мужик, Петь, свой.

– Ну, свой так свой, – колыхнулась в сторону из-под кустов акации фигура, и Евгений увидел скуластое рысье лицо и смелый наглый взгляд крупноголового парня.

И они разошлись.

Евгений уже давно, в отличие от остальных приезжих, позволял себе ходить в одиночку по селу в любое время, без вызова, без оглядки. Как положено нормальному человеку. Его не трогали. Был он заразительно ладный и бесконфликтный. Только угадывалась в нем сила и ловкость, но он их особо не показывал. Когда же его способности побороть любого вдруг обнаружались, его вовсе зауважали. Все это быстро разнеслось по деревням. На него будто легла метка – не трогали.

...Деревня для него во многом были противоречива и порой непонятна. Появляющиеся, например, телевизоры в селе были приняты не одинаково всеми. Когда он предложил хозяйке тетке Мане купить и поставить в горнице телевизор, она замахала руками:

– Вместо икон в передней избе – ящик с чертями, нечистой силой поставить хочешь, ни за что! – Возмутилась тетка Маня. – Помни, не к добру это.

Он опешил: «Боится, что много электричества буду жечь? Так я заплачу же ей?»

Но этот вопрос так и остался неразрешенным, тетка Маня телевизор в дом не пустила.

– А ты, как относишься к телевизору? – спросил он Шурку Ковальского, когда они встретились с ведрами у колодца.

– Как? – переспросил Ковальский, не понимая вопроса.

– «За» или «против»? – продолжал Разлацкий.

– Я – «за», – повеселев, ответил Шурка. – Нам с мамой легче стало.

– Как это? – удивился сосед.

– Ну, меньше народу в клуб стало ходить, все кто где: в парткабинете смотрят телевизор, в школе, по домам. Меньше в клубе народу – меньше мы с мамой после кино шелухи от семечек и мусора выметаем. Прямая пропорциональная зависимость. Культура выше стала в клубе, – усмехнулся Ковальский.

«Опять дичь какая, – удивился Разлацкий. – Но почему этот вдумчивый парень, так порой непохожий на своих односельчан, всегда внимательно на меня смотрит и безо всякой враждебности, – не раз думал Евгений, – я ведь вломился между Ниной Свечниковой и его дядькой Сергеем. По сути, расстроил женитьбу, а он сдержан так. Он ведь не боится меня, он очень самостоятелен. В нем есть какая-то убедительность. Отчего она у него? Он ведь моложе меня и ни шиша еще ничего не видел? Одну деревню свою. И дед его – Головачев, больше молчит, но будто разговаривает порой сразу со всеми «одними глазами».

Он вспомнил обрывки разговора между Головачевым и его женой бабой Груней и усмехнулся.

– Вань, ты куда пошел-то? – бабка Груня через низенький забор смотрела в спину удаляющемуся Головачеву.

– Дак, телевизор пойду посмотрю, давно не ходил к Лексею.

– Ты, Вань, получше там посмотри Куйбышев, может, Сережу увидишь где там. Мало ли! Не едет и не едет. Что же это за забота у него в городе такая?

– Ладно, буду смотреть, – покладисто согласился Головачев.

«Как дети, ей богу, порой, а порой – мудрее людей нет. Нате вам, специально вашего Сергея покажут! По областному телевидению. Чудеса!» – улыбался в темноте Евгений.

Уже засыпая в маленькой каморке на цветной подушке тетки Мани, он пришел к главному своему неудобному вопросу: что же делать? Нину я отбил, вернее, она сама ко мне ушла, я потерял голову – в этом надо сознаться, но это же на виду у всего села, и эта глупая, дешевая борьба в пыльном переулке, лицо Сергея, парень-то стоящий. Крепкий и не злой...

«Но нам-то что делать? Жениться? Но рано же...» Жениться он не собирался... Но тут не город... Смотрят все кто как...

Сон обволакивал его, мысли уже не цеплялись друг за дружку, дремота парализовала волю. Почему-то промелькнуло красивое лицо школьной химички и внезапно тревожно стало...

«Потом, потом, не все сразу», – вынырнула спасительная мысль в одиночку ото всех остальных и он, делая усилие над собой, чтобы не наткнуться на другую такую мысль до утра, потянулся весь к ней с надеждой заснуть и не замечать той страшной духоты, которая стояла в избе и от которой не спасала одна-единственная форточка на кухне, которую хозяйка занавесила серой марлей.

...А сорокалетняя «тетка» Маня ворочалась за занавеской на кухне. «Почему он так на меня смотрел, когда сегодня пришел вечером, я ему кто, девочка что ли?» – думала она, вспомнив, как под пристальным взглядом постояльца у нее загорелись щеки, и она произвольно прикрыла полами легкого халатика свои с крепкими лодыжками ноги.

...Евгений наткнулся на новую мысль. Она была безопасная для сна: «Надо посмотреть столярку в избе и поменять, что надо». С этой уютной мыслью он и уснул.

* * *

Февраль. Лютые морозные дни. Похоже небесная канцелярия запланировала потепление на март.

А у школьной канцелярии свои порядки: расписание выдерживается строго. Если занятия по практическому вождению трактора запланированы на двадцатые числа месяца, будьте добры, товарищи одиннадцатиклассники, вы уже взрослые люди: выполняйте.

Четверо выпускников учатся водить трактор. Через день по двое. Ковальский попал в пару с Александром Чапайкиным. Два Александра. Метода простая: за околицей от общего двора в сторону Ветлянки тракт, вот по этому тракту можно гонять, как хочешь, набивая руку.

Тракторист Митька Проживин, к которому прикреплены два Александра, жметя с сигаркой от ветра и мороза к сараю, но старается глаз с ездоков не спускать: мало ли чего?

...Ковальскому уже надоела езда. Он все попробовал: взад, вперед, разворот налево, направо, резкая остановка, разворот на одном месте по часовой, против часовой стрелки. Все, что смог придумать, он выполнил по нескольку раз. Специально глушил двигатель. Вновь запускал. Старенький ДТ-54 не подвел Ковальского.

- На, - сказал Александр нетерпеливому тезке и остановил трактор, - с меня хватит. - Он пересел, уступив место товарищу. Потом добавил: - Отвези меня к Митьке, там теплее.

До Митьки было метров триста. Чапайкин вроде бы вначале погнал по прямой. Но потом, как Ковальский, начал делать разные разности. Нового ничего у него не было, а расстояние до Митьки не уменьшалось, а даже наоборот - выросло.

- Все, Коваль, все, - успокоил Чапайкин, поймав вопросительный взгляд товарища.

Они поехали по прямой, и Ковальский, откинувшись на спинку, закрыл глаза.

...Страшной силы толчок сорвал его с сиденья. Он не успел открыть глаза, как почувствовал сильный удар. Трактор стоял мертво на месте. Голова Ковальского оказалась просунутой в пробитое отверстие лобового стекла наружу, напротив выхлопной трубы. Резкая боль была вокруг рта и одеревенел, ничего не чувствовал нос.

Когда он вынул осторожно голову из пробоины и спрыгнул на снег, все вокруг него заалело. Кровь шла из разрезанной в двух местах стеклом верхней губы и носа. Не спеша, он вынимал мелкие осколки стекла изо рта и губы.

– Коваль, что случилось-то? Я решил попробовать на полном ходу выжать оба фрикциона, и левый, и правый. Ручные и ножные. Что будет, посмотреть?

– Дура!

Звериная ярость волной поднялась в Ковальском, толкнула к Чапайкину. Он резко замахнулся и... увидел беспомощное, бледное лицо Чапайкина. Тот даже не закрыл лицо рукой. Глаза его часто моргали. Александр опустил кулак. Кровь из носа и губы потекла под рубаху. Ковальский почувствовал, что майка липнет уже на животе.

Он попробовал лечь на спину возле трактора и прикладывать к разбитому лицу снег. Течь не останавливалась.

– Давай в больницу, живо, – скомандовал он Чапайкину.

– Ага, – с готовностью отозвался тот.

Уже когда ехали, Ковальский заметил: Проживина у сарая не было. «Замерз и удрал в курилку в мастерской», – усмехнулся он.

Раны оказались не опасными. Врач Михаил Семенович не стал их даже зашивать.

– Я не хочу тебе на всю жизнь губу портить, попробую заклеить, раз такой везучий. Мог глаза изуродовать.

Он обработал раны и на глазах у Ковальского долго шарил за тумбочкой – искал клей. Наконец достал темную поллитровку без этикетки.

– Вот она, родимая, – ласково говорил он, а Александру казалось, что он успокаивает его, Ковальского, чтобы поверил в эту пыльную, бутылку.

Михаил Семенович перелечил всех болевших жителей Утевки и авторитет у него был в селе абсолютный. Поэтому Ковальского совсем не удивило, он не заподозрил ничего необычного, когда тот отыскав чилижный веник у порога выдернул из него одну чилижинку, подрезал кончик ножом, распушил его и получил, таким образом, первоклассную, в данных условиях, кисточку.

– Не пройдет и недели, все будет ровненько, – успокаивал он, нащупывая этой своей кисточкой в бутылке клей. – А уж до свадьбы то, что и говорить...

...Когда ехали на тракторе домой, обида за нелепость случившегося была сильнее, чем все остальное. Носу было больно, и он смотрел в бок. Большая часть удара пришлась на него. Три дня Ковальский не ходил в школу. Все прошло. А в начале марта всем четвертым одиннадцатиклассникам вручили удостоверения трактористов-механизаторов широкого профиля третьего разряда. Александру это удостоверение досталось дороже всех.

По словам Валентины Сергеевны получалось, что в дореволюционный период Самарская губерния славилась запасами сланцев и серы и была чуть ли не единственным поставщиком отечественной серы. Интенсивнее всего ее добывали во времена Петра I, делая из нее порох. Но монополия «сицилийской серы» сдерживала разработки новых месторождений. Такие, как Водинское и Алексеевское, были не тронуты.

Александрю это показалось интересным, что не ускользнуло на уроке химии от Валентины Сергеевны, и она поручила ему сделать доклад, пообещав дать соответствующую литературу. Это был первый такой доклад у Ковальского, и он постарался. Сам материал оказался настолько для него любопытным, что он с головой ушел в него, просиживая на кухне, когда все ложились спать, над старыми брошюрами.

Что получалось? Самыми первыми химическими предприятиями были два завода, созданные еще до первой мировой войны. Построены они были при разъезде Иващенково, между станциями Томылово и Безенчук. Один завод вырабатывал серную кислоту, и им владел какой-то Ушков, а второй, выпускающий взрывчатые вещества, был приписан к Казенному ведомству.

Серная кислота, оказывается, была «хлебом» всех химических производств. Командовал строительством завода генерал Иващенко, оттого и поселок позже получил его имя. Оказывается, во время нэпа в Самарской губернии был «Союз химиков» и он располагался в городе Троицке (ныне Чапаевск), потому что больше нигде в губернии «химии» не было, если не считать изготовление спичек, свечек, мыловарения, изготовление колесной мази, чернил и всякой такой мелочи. В «Союзе химиков» на 1925 год было зарегистрировано 3629 человек. Город Чапаевск, выходит, был центром химии. О нефтехимии нигде и речи не могло быть, ибо не было главного для этого – нефти.

XIV съезд ВКП(б), состоявшийся в декабре 1925 года определил генеральную установку на неуклонную индустриализацию страны. Но полномасштабная индустриализация Средне-Волжской области была немыслима из-за отсутствия топливной и энергетической базы. Были брошены силы на геологоразведочные работы.

Углубившись в материал, Александр даже начал теряться. Столько будоражащей мысли информации! Как все спокойно изложить в виде доклада? Ему показалось, что это будет даже потруднее, чем написать сочинение на свободную тему. Начиная с десятого класса Леонид Григо-

рьевич Лобачев, учитель литературы, терзал их такими упражнениями, но у Ковальского все выходило с сочинениями успешно, а тут эмоций возникло намного больше. Они не давали сосредоточиться. Очевидно, он все же был, в силу своей дотошной привязанности к конкретному факту, больше техник, чем гуманитарий. Но он заметил в себе и другое. Оказывается, чем больше эмоций, тем мысль работает лучше. Вначале это ему показалось неожиданностью, но, поразмыслив, он согласился, что так оно и должно быть. Очевидно, только в известных рамках.

Основной сырьевой базой, как понял Александр, для химической индустрии тогда были сланцы. Горючие сланцы позволяли производить креолин, парафин, ихтиол, фенол и другие вещества. Предполагалось, что сланцы позволят решить и энергетическую проблему, а значит, и индустриализацию края. Тем более, что к 1929 году было выявлено: запасы горючих сланцев в Среднем Поволжье достигают 11 миллиардов тонн, что составляло 90% всех имеющих промышленное значение сланцевых запасов СССР.

Разработка горючих сланцев в области началась давно, еще с 1919 года, в селе Кашпир. Но многое решила одним махом разработка и добыча нефти в районе «второго Баку». Какие проблемы принесет с собой это направление развития индустриализации края, особо никто не обсуждал. Слишком велика и грандиозна была поступь нефтедобычи и захватывающи перспективы развития химии и нефтехимии на ее основе. И велико было желание строить новую достойную жизнь.

Может, написание этого доклада и подготовило окончательное решение Ковальского стать химиком? Ему страстно захотелось окунуться в эту атмосферу.

А где страсть, там чаще всего много решительных действий. Он стал искать информацию о химических факультетах страны.

* * *

...Последнее время Валентина Сергеевна ловила себя на том, что думает о Ковальском чаще, чем о ком-либо другом из своих учеников. Его спокойные манеры, улыбка, чаще всего возникающая как бы не вовремя, заставляли ее задумываться, кто перед ней: ученик или ее сверстник, не по годам, конечно, по восприятию жизни и окружающих. Иногда ей казалось, что он опытнее ее, что он успел уже что-то понять такое, до чего ей еще идти, оттого и эта его улыбка самому себе. Она любила как бы подталкивать своих учеников к мысли, к поступкам, а потом с радостью и удивлением наблюдать, как волна, которая

пошла от нее, задевая других, возвращается к ней, иногда обнаруживая совсем неожиданное...

...Она видела, как между Ковальским и Олечкой Козыревой прихотливо и капризно выстраивались отношения и не удержалась, спросила напрямую:

– Саша, у тебя от Козыревой голова кружится?

«Боже мой, так ли я спросила и вообще надо ли затевать разговор. Но он уже в одиннадцатом классе, взрослый парень, – оправдывалась она сама перед собой. – Уж не влюбилась ли я в него?» – Она почувствовала, что щеки у нее начинают гореть.

На удивление ей, Александр не смутился вопросу. Они шли из школы, им было по пути, как когда-то по пути ему было с Верочкой Рогожинской. И это совпадение сейчас больше удивило, чем вопрос молоденькой учительницы. Он впервые вдруг подумал, что его учительница химии – это выросшая Верочка. Та же легкость походки, легкая и неопределенная улыбка, те же глаза: то серые, то голубые, меняющие свой цвет то ли от погоды, то ли от того, на кого они смотрят.

– Временами кружится, но я знаю, что у Олечки все неискренне.

– Молодец, – невольно вырвалось у Валентины Сергеевны. – Ты, Сашенька... не надо с ней, она кокетливая и лживая, она тебе голову заморочит. Она из тех, кто своею любовью будет мучить до гроба. А ты для чего-то серьезного создан...

«Боже, может быть, так говорить учительница не должна?» – спохватилась она.

– Я не женюсь до тридцати, это точно, – сказал Александр, глядя прямо и улыбочиво на свою учительницу.

– Так определенно знаешь? – удивилась она и подумал: «Он на меня сейчас смотрит как тот щеголь Разлацкий в школе, откуда у него это?.. Или так мне кажется, я теряюсь...»

– Я учиться хочу много и долго. Насмотрелся на женатиков. Каторга!

– Может, ты и прав, – нараспев согласилась Валентина Сергеевна, больше думая о чем-то своем, – скорее всего, прав...

«Как он похож на Алексея, – догадалась она. – Только не блондин, а говорит так же. Уверенность, несмотря на отсутствие опыта, та же. Та же, казалось бы, невесть на чем основанная, уравновешенность, когда все еще призрачно, неопределенно. Порода, что ли, такая есть? Или это особый духовный опыт, независимый от возраста?»

Они продолжали идти рядышком по протоптанной тропинке вдоль порядка.

- Тебе надо быть химиком. Когда доклад готовил, осознал перспективы?

- Да, - согласился Александр, - очевидно, следующие десятилетия крепко изменят все вокруг нас. В стране изменят.

- Я тебе, если захочешь, помогу по химии подготовиться, у меня и специальные сборники задач есть для поступающих в вузы. С решениями...

- Меня Плотникова собиралась артистом сделать, причем очень известным, теперь вы - Ломоносовым? - вырвалось у Александра, и он пожалел, что так сказал. Смутился.

Она подошли к дому Ковальских и его учительница, точь-в-точь, как когда-то Верочка Рогожинская, легонько коснулась его плеча одним пальчиком, словно боясь обжечься и обронила:

- Думай. За тебя этого делать некому.

- До свидания, Валентина Сергеевна, будем думать на переменах, вы так нас всех загрузили. Продыху нет.

- Неужто так?

Она взглянула на него, он на мгновение увидел в ее зрачках себя, так они близко оказались друг к другу, и невольно первым перевел взгляд чуть правее, мимо розовой мочки аккуратного, будто воскового, уха и отступил в волнении.

Она, кажется, не заметила легкого замешательства, думая о своем следующем вопросе. И не замедлила его задать:

- Я вижу, ты давно охладел к самодеятельности и не ходишь в клуб.

- Драмкружка не стало, вот и не хожу.

- Но там же ставят разные интермедии.

- А как они играют? Вы обратили внимание?

- Да, обратила. На злобу дня сценки гонят.

- Халтуру гонят, - с досадой сказал Ковальский. - Те, кто раньше ни за что не попал бы на сцену, сейчас захлеб с нее шумят в зал.

- Да, новый худрук - это не наша Плотникова Валентина Яковлевна, далеко до нее.

- Он не хочет всерьез-то работать.

Она чувствовала, что их диалог затянулся, нехорошо перед окнами парочкой так вот стоять долго, но все равно спросила для себя важное:

- Александр, а ты вообще охладел к театру или к нашему драмкружку только?

Он понял, о чем она спрашивает.

- Да, Валентина Сергеевна, - деловито ответил Александр, - в актеры я теперь не пойду.

- Почему? Без Плотниковой не решишься?

Ковальский прижавшись спиной к палисаднику, ответил раздумчиво:

- Я еще не сформулировал причину... но меня смущает то, что артисты должны быть циниками и нахалами.

- Как? - растерялась учительница.

- Просто! Сыграл трагедию и пошел в буфет пить пиво, а человека, которого играл, оставил - как хочешь. Чтобы сыграть другого человека, надо прежнего забыть совсем, иначе не сыграешь хорошо. И играть совсем другую роль.

- Что ты говоришь? - не понимая, воскликнула Валентина Сергеевна. - Это же роли, персонажи пьесы, а не живые люди!

- Все равно. И еще. Играя других, надо забыть о себе самом. И не иметь своего «Я», перетекать, как вода из сосуда в сосуд, принимая только ту форму, которую тебе предлагают, а где мое «Я»? Я ведь тоже человек. У меня своя судьба. Ее мне не сыграть, а прожить надо. А когда?

«В голове-то у него ералаш какой-то, - с удивлением подумала учительница. - Но сам продирается на свет. Это уже хорошо».

Вслух она предположила:

- Ну, так рассуждать можно, если ты, твое «Я» больше твоего героя.

- А если меньше, то его и не сыграешь таким, каков он есть, - неспешно возразил Александр.

- Ты говоришь о таких вещах, я никогда об этом не думала. Ты с кем-нибудь говорил об этом?

- А с кем я могу говорить? Когда была в Утевке Плотникова, я об этом не думал, а теперь... Если судьба героя придумана, зачем на нее тратить себя, нужна правда, понимаете?

- Понимаю, - смутившись, согласилась Валентина Сергеевна.

«Боже мой, я чувствую себя побитой, мы учителя привыкли вдалбливать ученикам в головы свои мысли, а у него в голове такие, до которых мы и не дотягиваемся... Откуда у него это?»

Ученик не настаивает на своей правоте, он пробирается через чащу, а педагог не знает, где просвет, и не может помочь.

- Оставим эту тему на потом? - предложила она.

- Конечно, - сказал Александр, будто знал, что она не готова к разговору.

И они разошлись.

Александр бодро шелкнул щеколдой калитки, а красивая Валентина Сергеевна зашагала вдоль порядка по сухой утоптанной дорожке чуть не на самый конец улицы. На какое-то время она забыла, что идет мимо окон домов, что ее многие видят, многие уже привыкли к ее спортивной фигуре, элегантному серому костюму. Привыкли, что она всегда на виду.

Встреча с Ковальским и попутный их разговор разворошил в ее памяти то, что она дала себе слово не тревожить. Это было для нее неожиданно.

«Он сказал то же, что Алексей два года назад: «Я до тридцати не женюсь, это для меня гибель».

Она тогда оскорбилась и несколько дней не разговаривала с ним, хотя жадно ждала встречи. А когда встреча случилась, то оказалось, что все порвалось. Он показался ей чудовищным эгоистом.

Его рассказы, которые печатали потом в «Волжской коммуне» она собирала, передачи областного радио о нем слушала, но понимала, что все у нее с ним в прошлом. Они не переписывались. И не встретились. Она уже смирилась, что ей суждено быть сельской учительницей, здесь она, наверное, все-таки выйдет замуж, а там дальше: скотина – без этого в селе не проживешь, деревенские заботы, огороды, картошка... А ему? Она совсем недавно узнала, что ее бывший однокашник поступил на Высшие литературные курсы в Москве, что вышла, но она пока не видела, кинокартина по его первой повести, сюжет которой они когда-то горячо обсуждали в общежитии пединститута в Куйбышеве.

«Какой уравновешенный, даже бесстрастный мальчик, – думала она о Ковальском. – Это хорошо, что бесстрастный? А может, умеет уже скрывать чувства. А это разве плохо? Страсть чаще всего пагубна. У Алексея его писательство сейчас – страсть. Это, наверное, нормально. Книги будут. Слава будет! А где сама жизнь? Ничто даром не проходит и не дается. За все потом приходится расплачиваться. Он не понимает, мой и теперь уже давно не мой, Алеша. А свою голову ему не приставишь».

Она в задумчивости шла к дому, где снимала квартиру.

«Он меня разыгрывал, – думала учительница о Ковальском, а не об Алексее, подходя к темной калитке. – Или он искренен? Конечно, он искренне говорил, – соглашалась она, вновь забывая на время про Алексея. – Александр Ковальский совсем мальчик еще, не похожий на всегда самоуверенного, с размашистыми манерами начинающего успешно самарского прозаика». Но такой обособленно самостоятельный – Ковальский все стоял у нее перед глазами. И что тут поделаешь?

...Она бодро нажала на щеколду, калитка резко скрипнула. Едва успела она перешагнуть через порог, пружина потянула калитку назад – щеколда вновь четко прозвякнула, точно так как у калитки, в которую вошел Ковальский.

Не мудрено. Эти обе, и не только эти щеколды, делал один умелец, отец Александра: Любаев Василий Федорович.

* * *

Приехав по распределению в Утевку, Валентина Сергеевна невольно стала и свидетельницей, и участником преобразований в этом крае. Она кое-что уже знала из истории села, знала о людях, ясно улавливала их настроения. Но, конечно же, ей не дано было в полной мере осознать ту роль, которую сыграют изменения, происходившие здесь.

Она была преподаватель химии. Все, что связано с добычей нефти, ее переработкой ей было интересно. Подталкивая Ковальского к нефтехимии, поражавшей ее своими возможностями, она может быть неосознанно желала утолить свою любознательность, – быть там, где ей не пришлось оказаться, хотя бы через восприятие ученика.

...Ей очень нравились поездки на посадку яблоневого сада. А идея встретиться в яблоневом саду сразу привела в восторг. Но она подумала, что хорошо бы встречаться через каждые пять лет. Она об этом не сказала тогда. Не хотела глушить самостоятельности ребят.

* * *

...Почему? По какому-то наитию? Либо случайно тогда, там, в степи, под сентябрьским, уютным ласковым небом, скромная и молчаливая десятиклассница Тамара Заречнова вдруг определила две даты для встречи ребят в поднявшемся яблоневом саду? В Утевской степи под растущим новым городом Нефтегорском. Тогда никто по-настоящему не мог предвидеть тех судьбоносных событий, которые захлестнут огромную и казалось бы непоколебимо сильную державу в восьмидесятых годах, а потом и на рубеже тысячелетий.

...При директоре Полянском Николае Николаевиче рабочих в питомнике не хватало, их привозили даже из Мордовии. Построили восемнадцатиквартирный дом и пять одноквартирных, коровник, телятник. Развели сто самых высокоудойных во всем Утевском районе коров. Молоко сдавали нефтяникам.

На двадцати гектарах выращивали арбузы и возили их в город. По тем временам стали жить богато. Заложили вишневый сад...

В неуютной суховеистой степи люди создали оазис. Такого в этих краях не было. Они будто делали эксперимент и верили в успех. Но непонятные силы и обстоятельства, сплотившись и соединившись, так все выстраивали потом, чуть позже, что недолго шумел сад, недолго яблони цвели...

...Тяга к укрупнению, к масштабности коснулась и яблоневого сада, и всего остального.

В 1964 году совхоз «Ветлянский», в который уже входили питомник и сад, объединили с совхозом Нефтегорский, занимавшимся зерновыми и животноводством. Укрупнили.

Так питомник и сад оказались на правах пасынков. А в 1968 году совхоза «Ветлянский» не стало и второго отделения его, которое находилось в Утевке. Не до сада было. Все дальше уходило от земли. Бурно рос город нефтяников Нефтегорск. Яблоневый сад – дело рук Полянского и ребят окрестных деревень, увы, остался бесхозным...

...Участники его закладки потом, в конце восьмидесятых, встретятся в своем саду юности. Но что это будет за встреча?..

Я знаю – город будет

Я знаю – саду цвести,

Когда такие люди

В стране советской есть!

Город вырос, но сад одичал.

Даже старик Головачев не почуял опасности, исходившей от накатившей индустриализации. Не предвидели ее и высокие чины, где-то там наверху...

Чуял опасность для земли Сашка Мазилин. Но кто такой Мазилин? Кто ему поверит? От него всякого можно ожидать. Таких «мазилиных» в каждой деревне можно сыскать добрый десяток...

...Город Нефтегорск принесет исключительно много доброго и славного в развитие района. Чего стоила хотя бы только массовая газификация сел. А воплощенный в жизнь лозунг: «К каждому селу дороге с твердым покрытием!» Это был рывок!

Целое поколение родилось и выросло на нефтегорской земле, связав свою судьбу с нефтедобычей. Нашло свое счастье. Район из сельскохозяйственного быстро превратился в промышленный.

Буровики работали сплоченным коллективом. Станки вначале были примитивные, раствор готовили вручную, для тяжелых работ главный са-

мый инструмент – кувалда. Но дело у них ладилось. Люди выполняли и перевыполняли планы, строили бескорыстно свое светлое будущее.

Было удивительно и плодотворное сотрудничество с предприятиями сельского хозяйства района. Шефы из промышленных предприятий помогали строить и ремонтировать животноводческие помещения, создавать уборочно-транспортные звенья и бригады.

В 1963 году, когда Ковальский уже будет учиться в институте, страна получит десять миллионов тонн нефтегорской нефти, через два года – пятьдесят, а в 1969 году – рекордные сто миллионов.

...Но пройдет виток взлета по добыче нефти и наступит... обвал...

Это случится много позже, когда станет известно даже простому обывателю, что доходы огромной страны в целом от экспорта и газа составляют три четверти доходной части бюджета.

Начиная практически с середины семидесятых годов страна будет жить на средства от продажи углеводородного сырья за границу. Мыслимо ли это?

Ведь для России нефть и газ с учетом ее масштабов и суровым климатом – основа жизнеобеспечения.

...Экономика целой страны, зависящая напрямую от продаж за границу, от неблагоприятной внешней конъюнктуры, от колебаний и скачков мировых цен на нефть и другое сырье, обречена на нестабильность. Такая прямая зависимость угрожает быстрой сменой взлетов и финансовых крахов.

Случится то, что трудно было представить в самом фантастическом кошмарном сне: падение цен на углеводородное сырье за границей явится одной из основных экономических причин начала развала СССР.

На устах и слуху людей возникнет много имен, чья деятельность тесно будет связана с топливно-энергетическим комплексом. Среди них будет и бывший первый бригадир буровиков в поселке Ветлянка, у которого начинал когда-то работать в бригаде оператором по добыче нефти Евгений Разлацкий. А позже – руководитель нефтестабилизационного завода под Нефтегорском, в последствии глава Российского «Газпрома» – Рэм Иванович Вяхирев, родители которого будут похоронены на нефтегорской земле.

...Придет время и ТЭК – топливно-энергетический комплекс – локомотив, тащивший всю промышленность страны, начнет давать сбои. Локомотиву потребуется самому огромная помощь...

...Впервые тревожные сигналы о накапливающихся в комплексе проблемах и негативных возможных последствиях возникнут в середине семидесятых годов. Но наши специалисты «не пророки в своем отечестве».

«Гролом среди ясного неба» прозвучал некоторое время спустя прогноз ЦРУ США о том, что советская нефтяная отрасль находится на пике своих возможностей и в середине восьмидесятых годов начнется необратимое снижение добычи нефти.

В середине восьмидесятых, когда прогноз ЦРУ практически подтвердился, и добыча нефти в стране впервые сократилась, на короткий срок удалось приостановить долговременный спад. Но с конца восьмидесятых годов снижение приняло необратимый характер. А впереди еще были структурные преобразования российской экономики. Они еще более усугубят положения в топливно-энергетическом комплексе.

...Да, это будет потом, далеко в будущем, в тех сроках, которые определила случайно Тамара Заречнова, а сейчас... сейчас, в самом начале шестидесятых годов, страна, не осознавая грядущих бед, бодро, не замечая того, пышущим, крепким еще телом, увы, садилась на нефтегазовую «иглу»...

14

Экзамены Ковальский сдал легко. Сказалось и его усердие, с которым он занимался в зимние каникулы, штудировав ответы на вопросы по выданным билетам.

Неожиданней всего получился у него экзамен по литературе. Он часто писал сочинения на свободную тему, ему нравилось это. И получал, как правило, «хорошо» или «отлично». Когда на выпускном экзамене написали темы сочинений на доске и среди них свободную: «Коммунизм – это молодость мира и его возводить молодым», Ковальский вначале не обратил на нее особого внимания. Казалось, нет конкретного материала, цитат. Он сидел, не торопясь раздумывая, когда взгляд его упал на газеты, которыми были застланы все парты. Учителям казалось, что так парты выглядели понаряднее. Областные газеты «Волжская коммуна», «Волжский комсомолец» и районная «Ленинский луч» пестрели заметками о передовиках производства и в городе, и в селе. Фразы из передовиц просто просились цитатами в сочинение. И не надо опасаться, что допустишь ошибку – пиши прямо с первоисточника. Он начал шуршать газетами, на него стали посматривать учителя и он подумал, что они поймут сейчас его затею и уберут газеты с парты. Он притих. Сидел мол-

ча, не шевелясь. Не переворачивал газет. Решил использовать только тот материал, который доступен.

Он прочел все, что можно было использовать в сочинении. Получилось солидно: тут тебе и удои, и материалы по посевным делам, промышленность, успехи областной нефтехимии. Комсомольские стройки страны. Вспомнил про Разлацкого, Денисова, строящийся Нефтегорск и получалось, что если начать с Павки Корчагина, Алексея Мересьева и после них выстроить ряд имен, фамилий областного масштаба, районного, тех, кто рядом, и Разлацкого, и остальных, то получится, что дела их и жизнь – это и есть то самое, что двигает всех вместе к светлому будущему. Он выстроил план сочинения, выписал из газет в черновик все, что нужно, и, улучшив момент, сделав равнодушное лицо, перевернул поочередно каждую другой стороной.

В какой-то момент убоился, что ему поставят экзаменаторы в вину этот его прием написания сочинения и может получиться казус. Но решил рисковать.

За три часа Ковальский написал и сдал свой труд.

...Он получил «отлично», и его ставили в пример. Говорили, что при хорошем слоге у него удивительно обширные знания местного материала. Отметили это и в районо. Будто трудно было догадаться, откуда у него это знание материала. Но школе тоже нужны были свои легенды... Это Ковальский понимал.

Заминка получилась на экзамене по английскому языку. Конечно, на «отлично» Ковальский не знал предмет, но не это подвело. Когда он рассказывал «эбаут май фэмили» – «о моей семье» – он не мог на английском языке пояснить, почему у него два отца. А только про одного, любого, он и хотел говорить.

«Инглиш хоз», так все звали высокую доходягу англичанку, что обозначало «английская лошадь» стала, не совсем сходу, ему подсказывать. Все осложнилось, и он замолчал.

– Инаф, инаф, – доброжелательно реагировала Нина Ивановна, а он и не возражал. Он хотел скорее закончить этот бестолковый разговор. Так получил единственную на выпускных экзаменах четверку.

Заскочили ему в аттестат еще три четверки и все, как он полагал, случайно. Вот хотя бы по астрономии. В школе никогда не было преподавателей по астрономии. Но вдруг появилась пухленькая такая с блестящими глазками круглолицая учительница по астрономии.

Она провела первый урок, выдала задание на следующий и на этом, на втором уроке, отвечал один-единственный он – Ковальский.. ему по-

нравился предмет, он с удовольствием готовился. Она поставила ему четверку.

Других желающих отвечать не было. Она не настаивала. Третьего урока уже не было. «Звездочка» уехала из Утевки, ей не очень понравилось в селе. Так у Ковальского, одного из класса, оказалась законная четверка по астрономии. Когда заполняли выпускные документы, всем поставили такую отметку, которая как бы соответствовала общему среднему балу, а ему менять оценку не стали – она была, ее исправлять вроде бы не положено. Медаль Ковальскому «не светила», он и не волновался на этот счет.

* * *

После выпускного вечера в школе они еще веселились дома у Ивановых. Танцевали, пели, вспоминали школьные истории. Пробовали то ликер, то водку. Потом гуляли по селу всю ночь. Вновь пели, ходили по улицам. Притихшие сидели на берегу озера Приказного, там где ивы склонились на крутом берегу, со стороны Самарки. Александр пришел домой в пять часов утра.

А в семь вернулся из клуба отец и разбудил его. По планам Василия выходило, что надо обязательно сегодня начать крыть дом шифером. Старую тесовую крышу они с отцом разобрали еще на майские праздники и доски давно лежали около сельницы.

Перечить отцу Александр не мог. Молча повиновался. Когда он вышел на залитый утренним солнцем двор, его пошатывало. Есть не хотелось. Хотелось пить.

Влез на крышу, и ему показалось, что долго он на ней не пробудет – упадет. Вяло подумал, что будет очень даже некстати.

Но мало-помалу расшевелился, и дело не ходко, но пошло. Отец будто ничего не замечал. Или делал вид, что не видит его состояния. У него были свои непоколебимые установки. Он им сам подчинялся. Он сам был во власти того, что задумал. Любаев не менялся с годами.

...Когда Катерина вышла из кухни во двор и поглядела на Шурку, она спохватилась и тут же объявила перерыв, предлог она нашла быстро.

– Вась, ведь Николай Степанов два раза уже приходил за овечьими ножницами. А ты так и не наточишь; они сегодня стричь своих будут – сделай, мне уж неудобно, Танька его вчера в магазине мне выговаривала тоже...

Она знала, как уговорить отца. Когда Любаев включил точильный станок в своей мастерской, Шурка был вновь в сельнице.

Вскоре резкие визжащие звуки доносящиеся из мастерской куда-то отодвинулись далеко-далеко, будто за село, в Ильмень, стали похожи на шипенье домашних гусей. Потом эти гуси почему-то стали делаться большими. Александр видел с закрытыми глазами, как они стали увеличиваться до размеров крупной белой лошади, на которой ездил лесник Николай Степанов. Шипящие гуси росли на глазах, как тогда, когда они с матерью прошлой осенью ходили в поле за семечками и их застал туман – этот туман тогда сильно удивил Ковальского: все росло в размерах и искажалось. Марево окружило их со всех сторон и они, став маленькими, тонули в окружающем. Гуси огромными, белыми драконами высились, маячили рядом, спереди, сзади, вокруг...

Катерина тогда напугалась, а Шурка, поняв, в чем дело, смеялся тихонько, чтобы не обидеть мать. Оптический обман. Проваливаясь в сон, он увидел и лицо отца в мастерской, ему показалось, что он тоже потихонечку, чтобы Шурка не обиделся, улыбается. Отец всегда видит многое, но не торопится вмешиваться.

«Сейчас придет Степанов и они, наверное, будут говорить о сенокосе в это лето. Интересно: где будем косить. Косить начнут, наверное, уже без меня, у меня институт на носу...»

...Он проспал до вечера.

Разбудил его брат Петька, сказав, что за ним приходили одноклассники, звали в школу. С их слов Петька узнал, что повеселились выпускники неплохо. Отличился Сашка Чапайкин по причине полного отсутствия меры и опыта в выпивке.

Будто и хозяйка дома, где они были после школьного вечера, мать Маши Ивановой, приходила и рассказывала Катерине:

– Вчера я его, Чапайкина, все выталкивала на улицу. А он – ни в какую. Все мотался бедный, как подсолнух в задней и в снях... Ну, он в ларь в снях и... вырвало его. Молоденький еще. Я утром обнаружила такое дело. Пышиница в ларе сверху вся в винегрете. Что делать? Стребла и во двор выкинула. А потом смотрю куры наши пьяные ходят. Наклевались. Солнце поднялось, их разморило. А соседский петух, который нашего все забивает, важно так смотрит на всех, но никак колоду с водой не обойдет, все поперек нее лезет. И смех, и грех! Чуть не утонул в ней. Как у людей, у курей-то. Пьяный петух очень похож на Мазилина, он такой бывает.

Петька говорил, что мать очень смеялась, а отец не слышал, ушел куда-то с лесником Степановым.

...На следующий день Александр взял у отца в мастерской две метровые доски и смастерил в сельнице на двух, врытых в землю ножках, стол. Отыскал и крепкую широкую табуретку. Надо было готовиться к вступительным экзаменам в институт. В избе не дадут – бывает много народу. А тут свободнее, хотя кругом живность всякая: пыхтит, квохчет, хрюкает, мычит под боком, но зато свежий воздух и разговоры не отвлекают разные...

15

Самарка – река по весне взбалмошная. Рвет полый водой с высоких песчаных круч и около Утевки и в верховьях по ходу своему дерева. Несет их по течению. Многие оседают в песчаном дне и годами торчат коряжинами из воды, смущая купальщиков и рыбаков, путая сетки и бредни. Если застревает в воде дуб, то он становится со временем черным как уголь. Василий Любаев зовет такие дубы мореными.

Несколько таких дубов он обнаружил около Полоузного ключа и решил их расхатать, как он говорит, на дрова. Чтобы не ездить в дальнее Моховое, на ту сторону Самарки, махнув рукой в сердцах на возню в сельсовете с затянувшимся выделением делянок для инвалидов войны. Он взял у Степки Синегубого меренка, запряженного в дрожки и без всякого предупреждения, как всегда, скомандовал:

– Шурка, едем ноне пилить дрова, а то и так задержка получилась, скоро уедешь поступать в город, с кем я тогда?

У Александра были совсем другие планы, но перечить в таких делах, он не мог.

– Пап, а давай соседа Евгения позовем с собой?

– Чтой-то вдруг?

– Да он мне раза два говорил, что хотел бы с нами куда-нибудь съездить по делу. Ему интересно. Он ничего парень. Говорит, село ему нравится.

– Ничего? – переспросил Любаев и пристально посмотрел на Александра.

«Сейчас он что-нибудь скажет про его борьбу с Сергеем в проулке и про их дела», – промелькнула мысль.

Но отец сказал другое:

– Я инструмент приготовлю, а ты посмотри: там мать поесть собрать должна. И зови соседа, коли ему хочется.

– А Петьку возьмем?

– Не к чему, у него еще болячка на ноге не сошла, не трогай его.

...Евгений проснулся рано. Было воскресенье и торопиться вроде бы некуда, но не спалось. Натянув фланелевую рубашку на голое тело, он вышел во двор. У Любаевых была уже звонкая жизнь. Василий Федорович что-то точил в приземистой мастерской. «Когда он вообще отдыхает, этот хромой крепыш?»

Евгений через реденький забор не раз видел, как тот, голый по пояс, бодро фыркая, мылся около дребезжащего рукомойника, прикрепленного к сохе у забора. И каждый раз опытным глазом спортсмена отмечал крепость коренастого инвалида. Сила этого человека чувствовалась даже на расстоянии.

Когда Александр вышел из избы, Евгений уже разминался с двухпудовой гирей. Ковальский подошел к забору.

– Привет! – Он подумал, что поздоровался суховато. Ему хотелось, чтобы Евгений не отказался от поездки и он добавил уже мягче: – Мы сегодня едем пилить дрова на Самарку.

– Когда? – спросил сосед, забыв ответить на приветствие.

– Да вот, лошадь у ворот стоит, отец уже собирает, что надо.

– А он не возражает?

– Да нет, я спросил.

– А надолго это?

– Может, и надолго. Как отец, как дело пойдет.

– Тогда надо что-нибудь поесть взять.

– Да не надо, я маме уже сказал, она еще бутылку молока налила и там яички, помидоры есть.

– Ага, тогда я мигом.

Перед самым их отъездом Надя, как маленькая, стала хныкать:

– Пап, возьмите с собой, я так давно на Самарке не была.

Отец отмахивался. И Надюха упростила бы, все знали, что отец, когда его по-хорошему просят, тем более кто-нибудь из дочерей, редко отказывает. Сестра уже было победно посматривала на Александра, но все враз определила вышедшая на крыльцо мать. Она слышала разговор.

– Куда тебе, у них же мужицкая артель, не выдумывай у меня. Пойдешь со мной полоть в огород.

Все лицо Надюхи сделалось тяжелокаменным. Она встала и пробежала мима брата в избу. Он видел, что сестра боялась расплакаться, и ему стало жалко ее.

...На дрожках ехать удобнее, чем в телеге или фургоне. Свесить ноги легче. И Федору Любаеву на дрожках проще. За последние два года его нога и позвоночник окрепли. Хотя не стибаятся, но и не болят, как раньше – и он на дрожках уже давно ездит: раза три-четыре до Са-

марки останавливался и шел подолгу, не спеша, пешком, держа лошадь в поводу, и это, как он говорит, «мировой прогресс».

– Я смотрю, вчера ты с дружкой своим в сумерках гирю, по-моему, задами со двора вашей учительницы английского тащили. Сбондили, что ли, украли? – весело спросил Евгений, мотая поджатыми ногами, чтобы не задеть земли.

Отец посмотрел, услышав сказанное, искоса на сына.

– Люди добрые, ну, ответьте мне, – мотая головой с закрытыми глазами, проговорил Александр, – зачем красивой такой учительнице английского языка двухпудовая старая гиря, а?

Василий Любаев и Евгений разом дружно засмеялись.

– У ее хозяйки сын гирьку тягал, но еще весной уехал в Кинель учиться.

– Тебе бы тренера, у тебя, Александр, данные природные отличные, ты бы мог хорошие показатели иметь в тяжелой атлетике, ты крепкий.

– Сейчас приедем на место, я вам покажу, где проявить себя. Вот там тяжелая вам атлетика и будет. Погляжу на вас обоих, – весело пообещал Любаев.

– У нас есть штанга в школе. В десятом классе купили, когда работали в питомнике. – сообщил Ковальский.

– Ну и что?

– Я третий разряд в полулегком весе уже сделал.

– Да ну! – удивился сосед. – Это же здорово!

– Отцова тренировка, он нам с братом Петром такие нагрузки дает, что я по жиму уже на второй тяну.

– Ладно, – проговорил Евгений, – специально штангой я не занимался. Но вот по борьбе я тебе кое-что покажу и боксировать поучу малость...

Они ехали не спеша, раза три Василий метров по сто прошел пешечком, а так все на дрожках. Евгений и Александр больше шли, чем ехали.

– Как жизненка-то там у вас, на Ветлянке? – спросил Любаев Евгения, усаживаясь после очередной своей «проходки» на фуфайку и трогая меринка.

– Да ничего, обустройстваемся.

– Нефти-то много обнаружили?

– Очень много. На десятилетия работы.

– Да, дела, – неопределенно высказался Любаев. – А ты скажи, Евгений, в Африке нефть есть или в Бразилии какой?

- Не знаю, - ответил тот. - Вот сахар в Бразилии есть, кофе тоже есть.
- Как так не знаю? - удивился Любаев. - Может, они лучше нас до-
бывать умеют ее.
- Ну нет, у нас - техника! - неуверенно возразил Разлацкий.
- Эка! - удивился Любаев. - А они что? Пальцем делают дырки в
земле?
- Нет, - резонно возразил Евгений и добродушно рассмеялся.
- Смейся, смейся, голова садовая, - поучительно сказал Любаев. -
Но раз ты ученый. То должен соответствовать, правильно?
- Он обернулся, посмотрел на обоих своих спутников и тоже весело
засмеялся.
- Сдаюсь, - сказал миролюбиво Разлацкий, - положил на лопатки.
Но только я ведь всего-то техник.
- Техник - не техник, а мотай на ус. Техник - это мастер, - уве-
ренно произнес он. - Надо все знать, голова.
- Знать все нельзя, Василий. Не осилить.
- Все в своем деле я так понимаю, - уточнил, не оборачиваясь Лю-
баев.
- В селе, может, можно все знать, в сельском деле, - неосторожно
порассуждал вслух Разлацкий.
- Э-э-э, - тут же отозвался Любаев, - вот это общая ошибка у нас
в России.
- Александр слушал полушутливый разговор и не торопился вмешивать-
ся. Он никак не ожидал, что его отец и Разлацкий так быстро найдут,
о чем поговорить.
- Сдаюсь и здесь я, наверное, не прав, я ведь городской, и отец,
и дед были горожане - я многого не знаю. Но вопрос, Федрыч, можно?
- Отчего нельзя, давай, - сбивая ловко вожжей надоедливого слеп-
ня с потного меринка, согласил «Федрыч».
- Вот соловей, какой он на вид, а?
- Что-то вдруг про соловья-то?
- А у нас, у хозяйки же, да и у вас на задах стоят, ну, эти, как
пирамиды, кучи кизяка.
- Стоят, - великодушно согласился Василий.
- Там по утрам соловей поет, и я долго караулил его - посмотреть.
- Это когда от Таньки-то возвращаешься?
- Ну, допустим, - мотнул головой Разлацкий. - Но все же, какой
он на вид?
- Серенькая такая птичка, поменьше воробья.

- Верно, - обрадовался чему-то своему Евгений. - Маленькая и серая. Совсем неприметная. - Помолчал и добавил: - Как поет! А живет в навозе.

- Не в навозе, - попытался поправить Александр, - в кизьяках, которые из навоза.

- Да все равно.

Александр никак не ожидал такого от Разлацкого. Спортивный парень. Ловкий. Все деревенские ребята признали его и завидовали похорошему. Жесткий с виду и неприступный - вблизи оказался таким простым. Или это присутствие Василия Любаева так на него подействовало?

...Они уже подъезжали к Самарке. Летом запахи на Самарке особенные. У Полоузного ключа: намешанные на каленом желтеньком песочке, лопухах и осиннике. Такой запах не спутаешь с другим каким. Это когда ты на рыбалке, если повезло со временем или просто приехал быстро искупаться. Если же ты работаешь на Самарке в артели - дело другое. Запах пота и мат гуляет вокруг тебя. Работа бывает больно тяжелая, вот и матерок нелегонький, а как вага, с помощью которой любое бревно поднять легче. Но это в артели, с отцом же, когда работаешь или с дедом, такого не бывает. И без мата как-то ловко все получается.

Александр всегда этому удивлялся: с дедом все делалось красивее и неспешно. С отцом - азартно и результативней. У него была на все своя придумка и во всем своя линия, порой такая твердая, что перечить было нельзя да и не к чему - всегда эта линия выводила куда надо.

...- Ну вот она и работенка, - сказал Любаев, указывая на два огромных бревна, торчавших из воды, когда они подъехали совсем близко к обрыву метрах в пятидесяти ниже Ледянки.

- А с десятков еще в воде. Их пригнало, наверно, этой весной. Не было раньше. Или вылезли, смотри, обрыв куда ушел.

Втроем они спустились к воде. Разлацкий и Александр, раздевшись до трусов, начали обследовать дубы. Они оказались на удивление ровными, почти одинаковыми по толщине, сантиметров по семьдесят, и уходящими в глубину, видимо, комли там были крепко заилены на дне.

- Саш, ты иди распряги лошадь. Расхомутай, но не пускай, а привяжи к кустам пока.

Поперечная пила была загодя наточена и разведена, но уж больно тверды были дубы, невесть сколько пролежавшие в воде. Пилить было тяжело, да и зажимало пилу часто, приходилось подкапывать лопатой песчаное дно под деревом.

Пилили кряжинами примерно по метру-полтора. Когда сделали восьмой рез и восьмой кряж, как чугунная литая чушка, плюхнулся глухо на сыроватый песок, Любаев скомандовал отбой.

– Я такой работы никогда не видел, – отдуваясь, устало выдохнул Разлацкий и сел повыше на горячий песок, грея пятки. Достал часы из кармана висевших на осинке брюк. – Час времени.

– Эх, мать, давайте тогда перекусим, ребята, как? – предложил Любаев.

– Мы – за, – сразу за обоих ответил Александр.

Решили обедать у воды, не поднимаясь на кручу. Александр расстелил мешок и достал из сумки провизию. Вскоре Александр и Евгений, держа в руках по бутылке молока, восседали над кучкой яичек и помидор. Любаев лежал на старенькой куртке. Сидеть на земле он не мог. Хотя и был конец августа, солнце палило крепко. Александр накрыл майкой голову, отец – в стареньком выцветшем картузе.

– Может, запасмурит на денек, марит очень, – предположил Любаев.

У обрывистого песчаного берега сновали в воздухе юркие, нарядные щурки. У них в норах гнезда, оттого берег весь похож со стороны воды на пчелиные соты. А над разноцветной полянкой, поросшей по краям дикой вишней и чилигой, совсем рядом, в летнем мареве повисла, словно на невидимой длинной нитке, как заводная игрушка, пустельга. «Странная птица, – думал, глядя на хищного ястребка Евгений. – Умеет подолгу висеть в воздухе на одном месте, почти не шевеля крылами и высматривать свою жертву на земле бесшумно и зорко. Почему она так создана и для чего? – И чуть позже лениво подумал: – Каждый высматривает свою добычу. Так все устроено».

Было светло и спокойно на реке. И только он хотел сказать Александру о пустельге, как сонный воздух прорезал бодрый насмешливый голос:

Из-за острова на стрежень,

На простор речной волны...

Сашка Мазилин на своей плоскодонке, вынырнув из-за мыса Ледянки, мчал прямо по стремнине, по урчащим утробно и угрюмо воронкам.

– Кого я вижу, Василий!

– Давай, ушкуйник, греби к нам, – деловито сказал Любаев.

– А я сюда и греблю, то ись – гребу, – объявил веселый Сашка. – Вы, че же, лешие, дубье попилили, а я хотел их тоже разделить.

– Опоздал, значит, – констатировал Любаев. – Хотя один остался еще. Как раз для твоей грыжи.

- Да ладно, - отмахнулся Сашка, - я повыше там нашел еще, они поспособне, тоньше. Этими надорваться можно.

Он причалил, чуть ниже комля оставшегося в воде дуба. Когда лодка ткнулась в песок, привстал в ней - худой как весло.

- Надо же распарило с самого утра, а!

Раскинув руки, потянулся, выдавая виды тельняшка прилипла к телу, обозначив Сашкины ребра. Он стал похож на забавную пичужку.

- Ты своей тельняшкой всю рыбу распужал, наверно, - сказал Александр. - Светлая же она.

- Да нет, Шурк, вот смотри!

И он вытащил из-под сиденья на корме схваченного за жабры поводком большого с полметра голавля.

- Стервец-красавец, на лягушку попался, я на носу лодки удочку пристроил. А так на подуста сидел с утра раннего. Я со своей бутылкой молока к вам, можно?

Он мог и не спрашивать, тем более уже позвали; Мазилин в кампании - находка.

- А что за рыба, подуст? Я слышал, но не видел, - спросил Разлацкий.

- Я только сейчас узнал, ты - постоялец, сосед Любаевых, да?

- Ага, - по-свойски, расслабившись, ответил Евгений.

Глаза Мазилина сверкнули, он словно прицелился в Разлацкого правым глазом, прикрыв левый и смешно выпятив нижнюю губу, как это он часто делал, когда начинал дурачиться, пояснил:

- Подуст, я извиняюсь, он как ты: ловкий, прогонистый, мускулистый. Но только по губе верхней ударенный... по сопатке самой, значит.

Александр и Любаев переглянулись тревожно. Удивительно, Евгений полулежа снисходительно снизу вверх смотрел на говорившего. Лицо его было спокойно.

- Ага, - продолжал Мазилин, будто дразня, - ему будто кто хлопбыстнул однажды по ней, по сопатке всей.

- Сашк, он наших деревенских парней запросто так кладет на лопатки, ты знаешь? - предупредил Любаев.

Но Мазилина понесло, непонятно с чего:

- И не только парней, Василий, и девок - запросто на лопатки. Вру, конечно, сами они...

- Покажи! - бесстрастно, но внятно сказал Разлацкий.

- Чего? - не понял Мазилин.

- Подуста.

- А-а, подуста, - переспросил, что-то соображая Сашка, - пойдём к лодке.

«Сейчас они подерутся», - спохватился Ковальский, не зная, что делать.

Разлацкий встал и они пошли было, но четкий голос Любаева, как тогда, давно, когда однажды Шурка дрался на дороге с Мишкой Лашманкиным, остановил их:

- Женька, останься, Мазилин тащи своего подуста сюда.

Мазилин стрельнул глазами в Любаева:

- Да ладно тебе: сапоги всмятку.

Когда Мазилин отошел, Любаев спросил Разлацкого:

- Ты что, тронул бы его? Он же безобиднее мухи. Плюнь и разотри.

- Но жжужит, - засмеялся Евгений. - Не тронул бы. Он чуть не в два раза старше меня. Забавно просто.

Мазилин задержался у лодки, а Разлацкий, к удивлению Ковальского, сказал вполголоса, только для Любаева:

- За мной следит. Все видит. Сторожил бы лучше женушку свою, Татьяну.

- А что? - нехотя удивился Любаев.

- Да трется около нее этот ваш учителяшка, Селедков, прохиндей страшный. И около дома я его видел ночью. Подсказать бы еще как.

- Да не лезь ты в эти дела.

...- На смотри, - спокойно сказал Мазилин и протянул две рыбины. Разлацкий принял и стал сосредоточенно рассматривать.

Ковальский поднялся наверх посмотреть лошадь, а Мазилин, не обращая внимания на Разлацкого, проговорил:

- Ты знаешь, Любаев, я когда на тебя и Шурку твоего смотрю, вот ей бо... давно хочу сказать, он как твой родной сын - похож очень. Тут какая-то может быть медицинская загадка, да, он, может, правда, твоим быть. Наука откроет когда-нибудь.

- Чего, Сашк, городишь-то. Вот своих заимеешь, будешь калякать, - беззлобно отмахнулся Любаев.

Мазилин сморщился, и долго стоял с таким лицом. И было непонятно, то ли он жалеет Любаева, то ли ему наступили на жало, которым он хотел с досады ткнуть в Василия, но не получилось.

Он не простой был, этот Мазилин.

Вскоре рыбак уплыл и они начали вытаскивать напиленные короткие, но толстые и тяжелые, бревна-чушки на высокий берег. В самый разгар работы Евгений тронул молча плечо Ковальского:

- Смотри, кто это?

- Ласка, - вполголоса удивленно произнес Александр. - И не боится.

Он попридержал меринка за повод, чтобы притих. Любаев вопросительно глянул на сына, но увидев шустрога зверька, тоже стал наблюдать. На их глазах к тому месту, где они только что обедали, юркнул удивительно подвижный зверек - ласка.

Белая зимой, она на лето меняла цвет своей шубки на коричневый и делалась на речном песчаном берегу малоприметной. Ласка обнюхала с интересом объедки от помидора, они ей не понравились. Легко перескочила на другой край разостланной для обеда мешковины. Затаилась, когда большие существа там у воды шумно уронили что-то огромное и тяжелое на мокрый песок, а потом продолжила осмотр остатков еды. Она лизнула белую жидкость, капелькой повисшую из свалившейся на бок почти пустой бутылки. Молоко ей понравилось. Но больше капелек не было. Лизнула горлышко бутылки своим остреньким язычком и... рядышком увидела недоеденное куриное яйцо всмятку. Это ей было знакомо. Она любила выпивать птичьи яйца. Но тут было немножко другое. Попробовала - понравилось, ловко зацепила зубами ломанный край скорлупы и потащила в лопухи, туда, где над головой были шуркины гнезда. Запасливая дамочка!

- У вас в деревне прямо какой-то открытый зоопарк, всего насмотришься, - позавидовал Разлацкий.

...Четыре первых бревна чубарый меринок вытянул тяжело, но успешно. Сыпучий песчаный крутой берег плыл под лошадиными копытами. Меринок тянул захваченные кряжи удавкой, что было сил. Вожжи, привязанные к гужам, натягивались струной до звона, вот-вот готовые лопнуть. Часто лошадиная сила шла вбочь, и тогда темная кряжина зарывалась в песок.

Александр помогал меринку, как мог, управляя поводом. Разлацкий подталкивал бревно, не давая зарываться. Любаеву с его ногой было просто опасно подходить, да он и не мог - склон был слишком крутой.

Мерин старался изо всех исл, пена повисла на губах и удилах. И все косил своим глазом, налитым кровью вниз на неподатливые кряжи и недобро ржал. Казалось, он недоумевал: было же видно - одной лошадиной силой не превозмочь затеянное. И лишь жесткие команды Любаева подстегивали его.

На шестой ходке вожжи лопнули, литой кряж пошел вниз, встав на попа, опрокинулся и в один момент оказался у самой воды. Лошадь, с проворностью, похожей на собачью или кошачью, вытянув шею вдоль кру-

чи, потеряв свою природную осанку, выскочила на кручу и скрылась в кустах.

– Шурка, беги – перехватить, иначе она убежит на общий двор.

В одних трусах, мокрый и в песке, Александр кинулся наверх. Меринок уже бежал по дороге, не останавливаясь, мелкой трусцой, казалось, не слишком быстро, но когда Александру все же удавалось догнать, он делал либо рывок вперед, либо в бок и поводья вместе с обрывком вожжей уходили почти из рук. Несколько раз меринок, похожий на Карего, того, который был у деда, но поменьше ростом, вроде бы спохватывался и останавливался – ему, словно становилось стыдно за свое дезертирство. Он стоял и смотрел, но когда рука Александра уже готова была схватить повод, либо вожжу, лежавшую на земле, не выдерживал, снова бежал, виновато оглядываясь и не в силах остановиться. Что было в голове у меринка в эти минуты, кто его знает.

Когда они добежали до крайних домов села, Александр спохватился, что был в одних трусах. Ему показалось глупым бежать через все село в таком виде, и он остановился. Потом уже, сообразив, что ему в любом случае надо будет пройти мимо дома классного руководителя, химики, он снова упал духом. О преследовании Карего-II, как он окрестил его на бегу, не могло быть и речи.

Он пошел назад на Самарку.

...Отца встретил в леске, на полпути к селу.

– Не догнал, – совсем вроде без досады сказал Любаев.

– Не давался. Хитрый. Наш Карий был сознательней, свой.

– Ладно, я пойду потихоньку, там разберусь. Отложим все до завтра. Вы с дрожек все спрячьте в кустах и идите домой.

...Они с Разлацким все так и сделали. Пилу закопали в песок, зубьями вниз, чтобы вдруг кто не напоролся. Лопату и все остальное недалеко от пилы схоронили в кустах шиповника – кому взбредет в голову лезть в такую чащобу. И пошли налегке домой.

У Лопушного озера из кустов вышел на дорогу Мазилин. Он был пьяненький.

– Ты как домовый или леший, – незлобно, словно легко обороняясь, сказал Александр.

– А кто ж я? Может, и леший какой, кто знает обо всех все. Немножко принял, ну и что?

– У тебя где зарыто, что ли, было?

– Запасливый лучше богатого, – уклончиво ответил Мазилин.

Они пошли вместе.

Узнав, что случилось, Сашка пожалел и тут же посоветовал:

– Не пугайте в бредень – не пугайте карасиков.

Его спутники рассмеялись.

– Во, видите, не так все плохо. Я вам скажу, что они, животные, очень часто выделывают неожиданные пакости человеку, прямо на ровном месте. Хотите расскажу историю, короче дорога будет.

– Валяй, – разрешил Разлацкий равнодушно, – ври.

Ковальский подумал, что Мазилин обидится, но тот начал почти патетически:

– У других цельная бадья вранья, а у меня гольная правда, – он передохнул и продолжал: – Приобрел я, эдак лет пять назад, котенка. Желтенький такой, да. И ласковый вроде. Но стал подрастать и сделался агрессором каким-то. Потом мне сказали, что он такой породы особенной. У бабки Акулины брал его. У нее, по-моему, все породы перемешаны. Но признаки породы были, точно. Однажды вдоль моего двора две собачищи огромные, правда, молодые, бежали и он им на дороге попался. Я у ворот стоял. Они на него – он на них! И такую дугу из своей спины изобразил, хоть вашего мерина впрягай, он враз чуть больше этих собак не стал и зашипел: ну, Змей Горыныч, не меньше. Бляха-муха... Сбердили собаки. Поджали хвосты и в переулок. Я тогда котяру своего зауважал сильно даже.

Рассказчик затих. Прошли в тишине с десяток шагов и Мазилин продолжил:

– Но он к Татьяне моей стал приставать, ага. Ноги драть ей стал. Меня не трогает, а ей царапает и кусает ноги. Я его начал шлепать, а он противится. Шипит на меня. Вроде бы и не я в доме хозяин, а он, котяра окаянный. Потом выдумал к нам в постель ложиться, я еще тогда днем работал. Вечером ложимся спать, кот тут как тут – промеж нас. Ревнует меня к ней. Она его защищает. Ах, нахал! Я его за ухо и на кухню. И так несколько раз. Вроде образумился, не стал лезть. А то ведь спишь, бывало, и боишься ночью его задавить. У себя в постели как в гостях. Все вроде у нас дома стало в норме. Только стал я замечать, что по утрам Татьяна моет мои ботинки. Чуть не каждый день. Я не придавал значения, до поры... А потом случай вышел. Надо мне было утром раненько к директору школы явиться. Торопился. Еще дорогой чувствовал, что какой-то запахок на улице есть, ну, как на ферме какой, ветер, что ли, думаю, такой ноне, ага... откуда-то несет... Ну, прибежал я и скорее в учительскую. Директор, может, уже ждет! А его нет. «Вы присаживайтесь, Александр Иванович, говорит завуч Валентина Дмитриевна, – подождите, директор сейчас придет, очевидно». Она такая у нас интеллигентная, пример всем. Ну, я и присел. Сижу и чув-

ствую, что учительки, которые там были, начали носами кривить. Я сам принюхался, комната небольшая, запах тот уличный, что за мной гнался, всю комнату захватил. Чувствую, что-то не то. Чтобы как-то разведать обстановку, говорю: «Воздух какой-то здесь, непонятно...» Все молчат, а этот ехидна, Селедков, физрук, говорит: «Так точно, Мазилин, запах-с присутствует, а до вас, извините, не было». Ну, я его, конечно, понял, этого стервозу. На улицу выскочил, а запах-то со мной же. Едренте в копалку – ботинки мои того, разносят аромат. Домой пришел – все прояснилось. Татьяна не успела ботинки помыть – мой Тарзан в отместку мне по утрам в мои ботинки того... писал, ей бо! А она это знала, но жалела его и каждый раз, чтобы скрыть его проделки, мыла ботинки. Он мстил мне, пакостник такой, а она покрывала его, будто и правда между ними чего-то как бы было... Пришли почти, – Мазилин мотнул рукой в сторону села. И признался, как покался: – Грех на душе моей: около Малюгиных колодец старьй, я его с кирпичиком сбросил, чтоб не царапался... и все прочее.

Когда уже в селе шли мимо дома Игольниковых, Мазилин подступил неожиданно в Разлацкому. Пошатываясь, то ли от усталости, то ли от волнения, прошептал, но Александр слышал:

– Ты только учительку не трож, понял? Валентину Сергеевну. Кружит Вовка над ней на своем самолетике и пусть кружит. Он парень замечательный.

– Это тот, который баянист? – удивился Евгений. – Вот не знал.

– Теперь знай, я тебе говорю... тоже мне – Жан Маре.

– Да я...

– Перестань. Лиса и во сне кур считает, – сказал Сашка, не глядя на Разлацкого.

Александр поразился тому, что слышал. «А она как к этому относится? – это первое, что он успел подумать, – что Володя кружит над ней».

Мазилин свернул к своему дому и Ковальский с Разлацким остались одни, Евгений сказал беззлобно:

– Я уж говорил: промеж Мазилина и его Татьяной еще один кот объявился, Сашка не знает. Того, усатого, в колодец не спихнешь.

Ковальский промолчал. Он не знал, что говорить.

Шуркин дед моторизировался. Сергей привез ему из Куйбышева мопед, который и стал верным другом Ивана Головачева вместо Карего.

Давно он уже перестал конюшить, не стало во дворе лошадей, сбруя тоже как-то потихоньку стала исчезать со двора. Разве ж небольшой логунок висел на плетне с Пупчихиной стороны, да старый рыдван, как скелет огромной рыбины, возвышался над лебедой. Былые силы покидали Ивана Дмитриевича. Не стало прежнего запала. Ружье он уже давно забросил. Осталась одна отрада – рыбалка.

...После того, как уехал учиться в строительный институт Сергей, Алексей, старший сын Головачевых, тоже покинул родителей – женился и переехал жить на соседнюю улицу к жене. Даже свое ружье и рыбацкие снасти забрал на новое место.

Александр все эти перемены переживал тяжело. Порой заботы деда, когда он был конюхом были тяжелы и для него, внука, приходилось много работать, но без этого жизнь стала беднее. Уклад жизни Головачевых даже по сельским меркам – слишком патриархален. Некоторые механизаторы, шофера позволяли себе не держать коров, а значит, большая часть забот отпадала и для их детей. Они, сверстники Ковальского, зачастую имели больше времени на все, что связано со школой. Александр видел и чувствовал, как меняется жизнь села на глазах. Он и радовался этому и печалился. Александр порой себя стеснялся, своей привязанности к дедовым заботам на земле. Ковальский наполовину, очевидно, был Головачев. Дедов взгляд на мир, его заботы – все вошло в кровь и плоть внука. И внезапная измена деда своему укладу была понятна внуку. Жизнь кругом менялась. Да и сердце у него стало пошаливать, все чаще он хватался за грудь, все чаще смотрел спокойными и грустными глазами поверх головы внука.

Выделывать овчины он стал все реже и реже. Гости с соседних деревень еще заезжали по старой привычке к Головачеву, но часто просто переночевать, шкуры ему уже не возили. Многие за бесценок, ругаясь, сдавали их татарам, засевшим в «заготсырье».

Долгие зимние вечера уже не коротали чтением вслух интересных книжек. Иван Дмитриевич все чаще ходил теперь к сыну Алексею смотреть телевизор. В селе их уже было десятки.

...К своему удивлению Александр заметил, что хотя везде теперь тяжелая техника, сварка, а плетни у деда стояли аккуратнее и ровнее. Веревки из лыка, которое он драл вместе с ним около Самарки, держали изгородь крепче и надежнее, чем совхозная сварка...

Вон Аксютин забор из металлических прутьев, но стоит неровно, все «пляшет», вернее пританцовывает, как и сам хозяин забора, спивающийся на глазах Чемоданов, хороший когда-то тракторист, а теперь «подай-принеси» на ферме у доярок.

Аксюта Васяева давно «перебабилась». Она теперь Чемоданова. Выходила-то она замуж за красивого и ладного парня. Да вот какое странное и страшное дело: спортивный парень, он умер у нее на глазах, слезая с велосипеда, от внезапного кровоизлияния в мозг. Осталась она с маленьким годовалым Сашкой одна, да ненадолго. Сошлась с Чемодановым Генкой, а у него своих двое желторотых. Жену его и младшего сынишку придавило тракторной тележкой на маевке два года назад. Все бы ничего – да попивать начал Чемоданов. Вот и пошло-поехало все у них с Аксютой через пень-колоду.

Шурке вспомнилось, как старый дед Проняй, тогда на помочах, когда делали саман для избы Любаевых, говорил восхищенно об Аксюте: эта любого в косые лапти обует. А она теперь, чаще задумчивая, чем веселая, тащила на себе трех ребятишек, а вечно пьяный муж ее, Чемоданов, совсем еще молодой парень, с такими же тусклыми, кроличьими глазами, как и у его отца, ошивался около чайной.

Он никак не мог смириться, глядя на потускневшую теперешнюю Аксюту в засаленной фуфайке с переменной, которая произошла у него на глазах.

– Тебя не дождался, Саша, вот и понесло меня, – пошутила она при встрече у колодца, гремя ведрами.

Но в ее шутке уже не было озорства и улыбка показалась натуженной, не по-настоящему веселой, и Александру стало еще тоскливей. Он давно заметил за собой, что тяжело переживает, трудно расстается с тем, что было когда-то с ним, вокруг него. Его память какая-то неуспокоенная. Ему хочется, как ребенку, собрать всех дорогих людей вместе, и чтобы они были рядом, около него, не уходили подольше и были веселы.

Все куда-то уходит. В никуда уходит...

Он иногда не совсем понимал себя. В прошлый выходной приезжал дядька Сергей из города. Дядья взяли его с собой на охоту. Было много смеха, шуток. Дядья, соскучившись, от души больше дурачились в Ильмене, чем охотились: сидели на зелененькой лужайке, рассказывали истории всякие, небылицы. На вечерней зорьке сшибли всего двух чирков и тому были рады.

...Вроде все было как прежде, но что-то уже не так. То же открытое небо над его головой, так же замороженно Александр смотрел в него, задрав голову, но на земле... на земле... было не так...

* * *

...Когда, возвращаясь с охоты, подошли к пятистеннику Климановых, дядья решили перед тем, как разойтись, выкурить по папиросе.

Стояли около палисадника. В темноте громадной нависала крыша избы. Лампочка на столбе, к которому прислонился Александр, давно не горела. Покуривая, дядья продолжали деловито, как ни в чем не бывало, обсуждать всякие новости. Их тулки мирно стояли у завалинки, патронташ с двумя чирками, схваченными удавками за шею, сполз с завалинки и лежал около их ног. Шурке надо бы шагнуть поближе и поднять уток, чтобы не затоптали, но он не мог. Он молча плакал. Его душили слезы.

«Сейчас они договорят и разойдутся каждый к себе: Сергей к деду, Алексей к жене в новый, чужой, кирпичный, крепкий дом, а он, Александр – к себе домой. И все. Все в разные стороны, а не как раньше – все к деду, в одно место... Как одна семья... Одна общая жизнь... – так думал он, стараясь, чтобы дядья не заметили его слез. – Наверняка засмеются».

Выходило так, что артельные чтения про Дерсу Узалу, Шерлока Холмса, рисование маслом картин по вечерам в доме Головачевых, взбалмошно веселая игра в лото долгими зимними вечерами, все то, что неуловимо, но надежно связывало многих людей, заставляло жить одной жизнью, вдруг враз куда-то уходило. Бесследно. И как бы незаметно. Как отвалившаяся вешка от большой красно-желтой тыквы. И никто будто бы этого и не замечал, а тыква начинала подгнивать...

Многое уходило куда-то. И нельзя было остановить. Все вроде бы делалось правильно, как должно быть...

Отлетают же осенние листья, и с этим ничего не поделаешь. «А почему они отлетают, листья? – вдруг подумал Александр. – Почему? Деревья сбрасывают их для чего-то или сами листья покидают ветви – кто из них прав? Где здесь целесообразность? Несправедливо это для кого-то из них или закономерность. – Так он подумал и сам подивился тому, что путается, очевидно, в простых вещах. – Но почему я путаюсь? – подумал Ковальский. – Раз это так все просто...»

А дядья уже прощались. И в этом прощании для Александра было что-то таинственное и безнадежное... Они первый раз расходились при нем так – по разным домам.

Когда они пошли в разные стороны, Ковальский оттолкнулся спиной от приглушенно гудящего столба и тоже было направился домой. Но вдруг что-то заставило остановиться, он повернулся к тому месту, где только что стояли Сергей с Алексеем, будто отыскивая взглядом кого-

то, кто понимает, что произошло сейчас. Но в темноте никого не было. Лишь старая изба Климановых смотрела подслеповато. Лунный свет отражался в ее окошках, и от этого она казалась сторбившейся, сиротливой, будто не Шурку, а ее оставили одну, предоставленную себе самой. А ей ведь еще стоять и стоять под непогодой на углу переулка. Долго стоять...

...От собственного бессилья, от неспособности сделать хоть что-то, чтобы жизнь была попримечнее, чтобы окружающие не мыкались от нужды и вечных трудов из-за куска хлеба, ему становилось порой тоскливо. Почему-то получалось так, что жизнь загоняла в тупик самых хороших интересных людей. Таких как Плотникова, Аксюта и того незнакомого Марфина, о котором рассказывал родственник Мишки Лашманкина.

Сашке Мазилину уже давно все почти понятно в жизни. «Жизнь она, известно дело, как слепая бодливая корова, пырнет, того гляди своим рогом без разбору, – говорил он. – Мне многое видать, в отличии от всех, я живу около чайной, насмотрелся, наговорился с кем ни попадя... Мои университеты...»

И хотя Мазилину нельзя вроде было верить, но получалось, что он прав.

И почему так: всего за сто километров в Куйбышеве, в Новокуйбышевске идут стройки, в Новокуйбышевске – всесоюзная комсомольская. Так все красиво вокруг, люди красивые. Женщина – директор, Герой Социалистического Труда, все вершат великие дела, а здесь люди надрываются, чтобы только прокормить себя. И ни в какую...

Не Аксюта, а ее в косые лапти обули. И кто? Сразу не скажешь. Вроде бы не к кому предъявлять претензии... Жизнь...

«Может там жизнь устроена более справедливо и осмысленно, – думал Александр, – ведь не везде же так, должно быть все разумнее. Надо бы ездить, надо смотреть мир».

* * *

«Может, помрем, потом там пойдем, кто вразумит, для чего копошились», – так сказал старый Головачев, словно отвечая на непроизнесенный вслух внуком вопрос, смахивая ладонью пот со лба. Ему уже тяжело стало выполнять любую работу, которая раньше была привычной.

Еще не успели они и половину воза сбросить на землю сухого нектенника в руку толщиной, заготовленного с прошлой осени и только что сейчас летом привезенного, а Иван Дмитриевич уже усталый присел на крылечко во дворе.

- Ты, Шурка, когда последний раз бывал на Бариновой горе? - спросил он.

- Давно, в прошлом году.

- Вот и я давно, мой мопед в гору не идет, я пробовал, это не Кариий наш... - он неожиданно весело засмеялся.

Раньше они часто и по делу, и просто так поднимались на Баринову гору.

...Стоит только по шаткому деревянному мосту перебраться на правый берег Самарки и взять вправо вдоль реки, как ты попадаешь, на ту дорогу, песчаную, поднимающуюся незаметно в гору, на высоту птичьего полета над Самарской, которая ведет к Баринову дому.

Дорога у самой Утевки грунтовая, темная от чернозема - за околицей и постепенно, по мере приближения к реке, то бурая, то совсем желтая и песчаная - около Самарки и выше ее.

Пройдет совсем немного лет, и почти ко всем селам и поселкам развернувшиеся деловые нефтяники проведут твердые дороги. Стрельнет и от Утевки до Покровки ровная и красивая асфальтовая лента, а вот поселок Красная Самарка останется со своими старыми. Неперспективным оказался поселок, сбочь от столбовых направлений. И потянулся народ, кто на центральную усадьбу в Утевку, кто в Покровку, Мало-Мальшевку. Да мало ли куда понесет человека, коль он стал как верблюжья колючка, сорванная лихим ветром времени. И потихоньку остались в поселке только старики да старухи...

Надо не ошибиться и не проехать Баринов дом, ведь самого дома-то давно и нет - только приметы усадьбы: фундамент, ямы от погребов, заросшие лесной травой, да зелень бывшей усадьбы: спутанные заросли акации, сирени, черемухи, и все это на светлой лесной поляне, обрамленной слева по ходу березняком, а справа - огромным косогором, спускающимся вниз к самой Самарке. А уж там, за речкой, кошкой в истоке растянувшейся между осинником и тальником - купола Покровской церкви. Понять прелесть фразы «с высоты птичьего полета» Ковальский смог только стоя на этой радостной возвышенности. Пустельга, коршуны, орланы парили здесь под ногами, внизу, над лентой реки. Здесь у самого расправлялись крылья.

Дорога, ведущая к Баринову дому, Покровская церковь, сам Баринов дом были связаны даже геометрически, это Александр открыл еще в детстве и попытался объяснить своему деду.

Вначале, когда они с дедом открыли это красоту, поднимаясь в гору и наблюдая Самарку и село Покровку с правой руки, Шурка боялся прозевать и проехать дом барина, который оставался несколько незаме-

ченным слева. Но однажды он вдруг обнаружил: не надо крутить головой, а достаточно остановиться на горе строго напротив церкви. Перпендикулярно от церкви к дороге катет прямоугольного треугольника длиной километра три укажет на усадьбу Барина дома по левую руку. А вот гипотенуза пролегла километров на семь-восемь, начинаясь с Покровской церкви и заканчиваясь на Троицком храме в Утевке.

Иван Дмитриевич только усмехнулся на это его открытие и ничего не сказал. Но Шурка ликовал: он открыл, как ему тогда казалось, некую таинственную закономерность. Внутри треугольника заключалось так много: Самарка, две церкви, три села, мост. А кроме того, еще под кручей у моста было несколько родников, незамерзающих даже зимой. Они с дедом, когда ехали мимо, всегда набирали из них воды.

Не попадал в треугольник старый курган, мимо которого Шурка не мог спокойно проезжать, и вот теперь – оживившийся поселок Ветлянский с его нефтью. Но в этом была, наверное, своя справедливость, так думал Шурка. То, что легло в треугольник, для него стало как бы заповедной землей...

Там, за гипотенузой проходил старинный солевой тракт. Мало теперь, кто помнил, где это – а он знал.

...Дед и внук любили посидеть на горе, особенно вечером в ясную летнюю погоду, когда солнце освещает Покровскую церковь. Молча любоваться всем, что было доступно глазу. Панорама – вот слово, которое подходило для названия открывающейся здесь картины.

Было одно местечко на самом верху, Шурка даже вначале сделал отметку, где, сидя под развесистым могучим дубом, можно было видеть внизу крутой изгиб Самарки. Речка резко брала вправо. На том берегу обнажалась песчаная коса и отмель. Там на песке почти всегда плескались утки. Маленький островок, покрытый зеленью, брошенный, словно полушалок, всегда манил уток. Они смешно и суетливо копошились, шли сначала по мелководью, потом по песочку, часть из них непременно забиралась на верх островка, ближе к зелени.

Иногда кто-нибудь выходил из осинника купаться, и тогда утки шумно взлетали, но не улетали далеко, а садились тут же, рядом – чуть-чуть поодаль, пониже течения, где тоже был островок, но гуще – поросший ивняком. Сверху им с дедом это было видно.

Весь крутой поворот реки с обеих берегов покрыт густым лесом. Далее слева и выше по берегу шли перелески. Несколько лет подряд на полянке, недалеко от воды, лежало огромное высохшее дерево, с высоты оно казалось большой белой костью, торчащей из песка, как это бывает на кургане.

Песчаное дно Самарки просвечивалось через воду мягким теплым светом. Лесное разнотравье здесь, на прогретом воздухе, бушевало своими запахами. Стоял гул медоносных пчел и всякой маленькой беззащитной, но такой самостоятельной летающей забавной твари, охочей до сладкого...

Светло-пурпурные цветки буквицы, собранные в метелочку, повсюду выглядывали из зарослей, обдавая сильным своим духом, и стоило только попробовать на зуб, сладковато-приторно горчили. Сиреневато-розовые колокольчики вереска, обильные в цвету, манили к себе не только пчел. Так и хотелось их тронуть рукой – вдруг зазвенят мелким дробным медовым звоном. Пушисто-шершавая душица цвела здесь с июня и чуть ли не до октября. Ее цветочки в щитовидных метелках фиолетово-розовыми мелкими огоньками всегда здесь встречали деда с внуком. Красновато-бурые плоды тоже хотелось потрогать. Четырехгранные красноватые стебли с темно-зелеными листочками Шурка любил гладить. В зарослях бересклета и чилиги здесь по всему косогору желтыми звездочками соцветий манили к себе рослые ветвистые стебли зверобоя. Его терпкий дух чувствовался, не смешиваясь с бодрящим запахом дубравы. Зверобой здесь рос даже на обочине дороги, давая пряную приправу к щекочущему ноздри запаху раскаленного за день песка и конского навоза на дороге.

«Интересно, – думал Александр, глядя на могучую крону дуба, – кто изобрел такое красиво величественное слово «дубрава»? Все человечество пользуется этим словом, но был же человек, который впервые произнес это гениальное слово. Кто они, где они такие люди? Я прожил уже пятнадцать лет, а на моих глазах никто подобного не сказал. И я ничего не изобрел такого. Люди другие сейчас? Или надо очень много прожить, чтобы что-то придумать такое?» – подобные раздумья преследовали Ковальского.

...«Здесь на этом необъятном и светлом просторе, обласканном легким с медовым запахом ветерком должны рождаться и расти люди для больших и хороших дел. Люди сильные и прямодушные», – эта мысль пришла к Александру внезапно, и он взглянул на деда. Иван Дмитриевич сидел молча, лицо его, выразительное обычно, было усталым и взгляд притухшим. «Почему он так захотел в этот раз приехать сюда? Для меня, для себя? Или для нас обоих?»

Он чувствовал, что спрашивать ни о чем сейчас нельзя. И Александр не спрашивал. Он слушал пространство, то, в котором, казалось, растворился сейчас его дед...

Это было прошлым летом, в августе.

«Будет ли такой август в этом году?»

...Посидев под дубом, Головачев с внуком, обычно пешком спускались по крутой дорожке вниз. Съезжать на подводе они не решались. Да и никто по ней на лошадях не ездил. Вела эта дорога к Самарке. Но им надо было другое. На полпути к реке, там, где стоят огромные неохватные и для троих крупных мужиков две белотелые осины, в темном овражке, заросшем длинноствольной, ровной ольхой, бьет родник. Ведет к нему узкая, малоприметная тропиночка. Вряд ли больше десятка людей знают этот радостный источник. Здесь, сморившись от жары, они пили таинственную воду, сидели в тени. Дед больше молчал. Внук думал. Уже тогда думал над теми вещами, на которые потом, и состарившись, не найдет ответа. И в этом было не бессилие его. В этом была своя правота созданной кем-то такой короткой, как высверк молнии, человеческой жизни.

* * *

Как-то неожиданно быстро женился дядька Сергей. Жена городская, жила с родителями на улице Венцека, недалеко от площади Революции. Эту площадь Александр смутно помнил.

На свадьбу ездили дед Иван с бабой Груней да брат Алексей. Больше никто. В Утевку молодые не приезжали. После свадьбы объявился один Сергей. Пробыл полдня и уехал. Перед отъездом оставил Александру адрес родителей жены, где он теперь намеревался жить. Для верности даже нарисовал на половинке листка из ученической тетрадки схему, как добраться от Смышляевки, если Александр полетит самолетом, до незнакомой улицы Венцека. В Смышляевке – аэропорт. Александр там тоже никогда не был.

– Приезжай, как только надо будет сдавать экзамены в институт. Я про химико-технологический все узнаю: где, что и как. Обязательно поступишь. Кого ж тогда брать, если не таких, как ты. А поживешь первое время у нас, – определил дядька.

17

Разлацкий оказался прав: не укараулил Мазилин свою жену.

...Захар Селедков крадучись пробрался через двор к сням и быстро шмыгнул в приоткрытую дверь, когда Татьяна поздним вечером несла из колодца с задов ведра с водой. Она, было, заметила чью-то тень во дворе, но подумала, что ей это показалось. Одно ведро она поставила

у денника на лавку для скотины, а второе понесла в избу. Держа ведро в руке, она другой гулко стукнула засовом, закрывая входную дверь на ночь. Захар, забравшись в чулан на кухне, затаился, словно зверь. План его был прост. И придумал он его уже давно. «Мышеловка захлопнулась, сама захлопнула, – ликуя и страшась, отметил молча Захар. – Она сама, я ее понял вчера у магазина, когда мы случайно столкнулись, она сама колеблется, я чувствую, меня не проведешь...»

На кухне тем временем шелкнул выключатель, и свет погас. Но тут же возник вновь, неяркий, и он отметил в своем чулане: «Зажгла в большой комнате, сейчас будет укладываться...»

Когда свет погас, он осторожно отдернул занавеску и, ступая бесшумно в одних шерстяных носках (заранее снял свои желтые ботинки в чулане), пошел в большую комнату, где только что тихонечко поскрипывала кровать.

– Саш, ты че, – суматошно выкрикнула Татьяна, забыв, что она закрыла дверь изнутри, и вскинулась с кровати, увидев Захара. В первый только миг, кажется, испугалась, но тут же все поняла. – Подкараулил все-таки, усатый черт.

На ее лице уже не было испуга. Была дерзость. И это он сразу заметил.

– Ага, – напористо ответил он и тоже, как ему хотелось, посмотрел дерзко. Ощерил, как жеребец, крупные редкие зубы и сказал: – У вас детей нет, может, у нас с тобой получится, – и стал не спеша снимать чистенький, не как у Мазилина, пиджак.

– Пройдоха ты... прилип, как банный лист.

– Пусть он в клубе кино про любовь смотрит, а мы тут с тобой, а? Верно?

– Сашку не тронь, слышишь, – она зверьком уставилась на него острыми карими глазками. – Он весь покалеченный с войны, ему досталось.

– Ладно, не бойся, не трону, – успокоил он ее, не в силах оторвать взгляд от ее дразнящих полных грудей, томящихся под легонькой ситцевой ночной рубашкой в горошек. Она их и не торопилась прикрыть хотя бы чем-нибудь...

– Свет потуши, с улицы впрямь как в кино, – насмешливо сказала Татьяна. Она спокойно сидела на кровати, свесив полные розоватые ноги.

– Ага, – с готовностью повиновался Селедков.

...С той первой ночи частенько стал Захар заходить к Татьяне. Тихонечко стукнет в окошко из палисадничка, когда стемнеет, и – был

таков! Ловкий черт. А она деловито шла и открывала дверь. И уж непонятно было: боится ли она его или сама ждет не дожидается этого осторожного стука в окно? Так перевернулось все в ее бабьей натуре...

...Известно давно: страсть и беда часто ходят рядом друг с другом. А чаще всего в обнимку. И правды в страсти не сыскать.

Долго бы безнаказанно ночничал на такой манер Селедков, да заминка вышла – дождался Сашка Мазилин его около двери в своем дворике, когда тот утречком приморившийся потихонечку выскользнул от своей зазнобы.

...И черенок-то березовый отвил был не ахти какой, но крепче он оказался предплечья Захара. Поторопился он обернуться на тихий свист за спиной. Как по крылу, по приподнятой правой руке приложился Мазилин, и получился прерванный полет. Перелом, вернее, перешиб обеих костей.

...Но если бы такие меры помогали. А то ведь и после того, как Захар выздоровел, жена Мазилина, нетерпеливо вздыхая поздними вечерами, сама ждала тайного стука в окошко чаще, чем блудливая рука Селедкова касалась заветного оконца... Известно же, на всякую беду страху не напасешься.

...Отлежал положенное, скрыв истинную причину увечья, неказистый с виду Захар, а Мазилин запил, «от невозможностей видеть и быть трезвым около неверной супружницы», – так он говорил себе, а с другими он эту тему не обсуждал. И никто не мог понять, на его примере, почему люди так быстро становятся пьяницами.

«Хоть бы белогвардейцы какие или белочехи снасильничали, тогда понятное дело, а тут сама себе любовь неудержимая образовалась, тьфу ты, загибайте мне марковину-хреновину, не верю в любовь такую. И если, как она говорит, уйдет к нему, все равно – не верю», – маялся бедный Мазилин.

Селедков ничего Татьяне не говорил о Мазилине, не грозил. Наоборот, старался помалкивать. Но злобу затаил крепкую... Он не любил прощать.

Хитрый Селедков был даже порой, как он считал мудрым. «А мудрый, чем отличается от остальных? Известно чем, – мурлыкал себе под нос Селедков, поправляя свои большие, будто приклеенные, усы перед зеркалом в учительской. – Он, мудрый, не будет у всех на глазах лезть в драку со своим врагом. Зачем самому погибать салазки? Он сделает так, чтобы спокойно сидеть на завалинке, греться на солнышке, а в это время мимо него пронесут гроб с его врагом, вот как... Не я это придумал».

Он по несколько раз в день подходил к зеркалу и смотрел на свои усы. Приглаживал их рукой и бормотал себе... Селедков любил, чтоб все было чисто и аккуратно...

18

Александр иногда чувствовал, что он, как щепка, которая вот-вот попадет, или уже попала, в огромный водоворот, названия которому он не знал. Окружающие его люди об этом внятно не говорили или, поглощенные повседневными заботами, просто не успевали об этом думать и говорить. Как попал он однажды весной в разлив в седьмом классе на утлой своей плоскодонке в вешний поток Самарки, которая безумно и безудержно понесла его неизвестно куда, так и сейчас он понимал, что лодка его, пока он прикован к своей школе, к одиннадцатому классу, плывет себе спокойно, как бы по надежному руслу. Но как только он закончит школу, поток подхватит его и самое удивительное, он, как и в седьмом классе, в то половодье, сам готов рвануться, по сути, не зная куда. А будет ли хватать силы рулить самому... Этот поток так силен!

Смутил его вчерашний разговор с Тереховым, бывшим главным бухгалтером плодопитомника. Вернее, больше говорил Петр Ильич, а Александр, как обычно, слушал.

- На земле уже теперь никого не удержишь, либо вглубь ее лезут, либо в небо. Ты заметил, Шурка, из деревни большинство норовят в летчики или моряки, а теперь вот в нефтяники еще, а хлеб сеять и убирать кому? Коммунизм, говорят, это плюс химизация! А хлеб забыли сеять кому поручить. Может марсианам? Все скудеет, земля забрасывается, это даром не пройдет нам. Я несколько лет занимался в питомнике, яблони да вишни выращивал, думал самое красивое и главное делаю! А ведь никому не надо теперь. Только, было, земля зацвела кругом нашими садами, ан нет. Перетягивает прогресс канат в свою сторону - вышками утыкали землю и замазучили. А насколько этой нефти тут? Кто считал? Годов через тридцать кончится, кто где работать будет, назад к земле повернется? А она вся изгажена будет, разве не так? Да и уметь на ней работать уже не будут. Меня вот не будет, деда твоего и отца не будет уже. А ты кто будешь тогда? Инженер. Тоже на земле чужак. Рыдванки все погниют, лошадей переведут... Нельзя от земли отворачиваться. Цивилизация может погибнуть!

Александр не возражал. Он не мог возражать этому седому умному с виноватым взглядом человеку. Когда он говорил, Шурке всегда каза-

лось, что то, что он говорит, все – правда. Но остальные люди всего этого, казалось, не замечали, события вершились как под напором большого, гигантского мотовила – неотвратно, уверенно. И наивно было оборачиваться назад, искать истину в прошлом. Все рвалось вперед: какие там лошади, логунки, рыдваны. Чудно даже казалось как-то. Этот разговор Терехов затеял, встретившись с Ковальским случайно около продмага.

– Я старый уже человек, люблю цифры. Ты знаешь, сколько было по переписи в тридцать шестом году лошадей в Утевском районе?

Александр только поежился от такого вопроса.

– Где я могу это прочесть?

– А я помню: лошадей было 2372 головы, точно помню, не вру. Сейчас же лошадей с гулькин нос.

– А народу сколько было? – поинтересовался Ковальский.

– Что-то около семнадцати тысяч человек.

– На каждые семь человек – лошадь! – удивился Александр. – Так получается.

– Но это ведь не простая арифметика. Это показывает, как человек был связан с природой. Он косил, возил сено, ухаживал за землей с помощью лошади. Быт был связан с лошадью и природой. Я до сих пор лошадей люблю до смерти. Зимой запах конского помета на дороге – как он в нос шибает! С детства вошло все в меня. Не вытравить. Я почему тебе это говорю. Ты все понимаешь. Э-эх, – махнул он рукой, – понимаешь, но все равно сделаешь по-своему. Не пойдешь в агрономы-то? Зря и спрашиваю, не пойдешь! Сын мой Колька и тот подводником стал, офицер. Сейчас в Баренцевом море плавает.

– Не знаю, – чтобы не обижать старика, сказал Ковальский.

– Ладно, ладно, не знаю! Знаешь ведь, что в агрономы не пойдешь. Ну, да ладно, на вас на всех поветрие нашло, вас не переменить. Вас много, а я – один, – махнул рукой Терехов и похромал в сторону Троицкой церкви, домой.

«Кого нас много? – думал, шагая по пыльной дороге, Ковальский. – Он ведь не меня одного ругал и не моих только одноклассников, он всех сразу, всех нас, сегодня живущих, все наше поколение. Но ведь на лошади теперь далеко не уедешь, тут он не прав. А в чем-то, главным, может, большем, прав он? Я не понимаю».

...Как-то так получилось, что и мать и отец после десятого класса Шурку стали чаще звать Сашей. В школе другое дело. Там: или Саша, или Александр. Но дома – это для него было неожиданно. А к окончанию

школы мать с отцом загорелись шить ему костюм. Первый в его жизни. Он никогда не просил и не думал о костюме.

«Они это делают, поняв, что скоро я уеду из дома, вот и готовят меня. Прав Терехов: все давно решено, здесь я не останусь, в каком-то смысле уготованная судьба».

Он вспомнил слова бабы Груни, сказанные ей вроде бы на ходу, а получалось, будто они говорили о чем-то долго, и эти слова были продолжением прерванного диалога:

– Шура, ты не думай, что выучишься в своем институте и все сразу хорошо будет у тебя там, в городе. Я не знаю городскую жизнь, но ведь и враги будут, и болезни, и глупые люди. Все будет. Учись быть готовым ко всему, так-то ведь!

«Моя бабка стратег, все – дальше думает. Видит через костюмы, отъезды, учебу в институте жизнь мою, – удивился мысленно Ковальский. – Странно, мне уже шестнадцать лет, а я не знаю, на что потрачу свою жизнь. Неизвестность сама по себе влечет. Но ведь в конце концов конкретная цель и дело стоят всей жизни. Что лучше вообще: наука или искусство? Я не знаю. Но не только хлеб насущный зарабатывать. Этого оскорбительно мало. Я этого не хочу. Надо сделать решительный шаг. Война план покажет...»

Но чуть позже снова начинал размышлять: «Конечно, агрономом быть замечательно и красиво, и полезно для всех. Степь, поле – твое рабочее место. Под открытым небом! И на утевской земле, что еще нужно?.. Хотя...»

А через несколько дней Валентина Сергеевна поймала его в школьном дворе и пригласила в класс.

– Ты знаешь что-нибудь о великом французском ученом Бертло, химике?

– Нет, не знаю. Был такой?

– Был и, оказывается, еще в 1897 году такое заявлял!..

Она сидела около окна, солнечный свет падал на ее мягкие каштановые волосы, на руки, тонкие, легкие, неприученные совсем к сельскому быту. И она сама светилась под этим взглядом нежаркого майского солнца и казалась тоже выпускницей.

– Он еще тогда говорил, что придет время, когда не будет ни пастухов, ни хлебопашцев, а продукты питания будут создаваться химией. Не надо будет ни шахт для добычи каменного угля, ни горной промышленности вообще. Самая главная проблема человечества – что? – спросила она почти весело.

- Сразу не скажешь, - положив руки на парту, как примерный школьник, отвечал Ковальский.

Он сидел на первой парте среднего ряда, около учительского стола и сам, не зная чему улыбался. Скорее всего, может, просто от душевного здоровья.

- С какой точки...

Она не дала ему договорить:

- С точки зрения науки, - и, не дожидаясь, продолжила: - Основная задача науки в том, чтобы найти неистощимые источники энергии - основу жизни человека. К примеру, чтобы использовать внутриземное тепло, он утверждал: достаточно вырыть скважину в четыре-пять тысяч метров глубиной. В таких скважинах вода будет нагреваться и достигать такого давления, что ее можно использовать для привода в движение машин. Земное тепло станет неисчерпаемым источником термоэлектрической энергии. Понятно?

- Да, - ответил Ковальский. - Вполне.

«Вы будете сейчас убеждать меня пойти на нефтяной факультет в буровики, а вчера только что говорили: надо в нефтехимики». Он помолчал и совсем непонятно для самого себя добавил:

- Уже есть буровики, вон - Разлацкий.

Эта фраза ее несколько смутила, но она тут же выправилась:

- Нет, Саша, я про химию: при наличии такого источника энергии человечеству легко и экономично можно производить химические продукты где хочешь: в Америке, у нас, в Африке. Днем, ночью. Зимой, когда хочешь. Понимаешь, - уже с пафосом говорила она, - решать самую важную экономическую задачу: производство продуктов питания. Ведь синтез жиров и масел уже осуществлен, синтез сахара и углеводов почти уже, остается научиться получать азотосодержащие продукты. Если будет получена дешевая энергия, станет доступным синтез продуктов из углерода, из водорода, из азота и кислорода.

- Но их же тоже надо получить и много? - спросил Александр, больше думая не о том, что сказал, а об увлеченности и уверенности, с которой говорила учительница.

Ковальский был прав. Эта ладненькая, крепенькая, молоденькая женщина умела убеждать. Она и сама знала об этом. У нее уже был опыт. И один из них, увы, для нее печальный. Она первая подтолкнула Алексея писать рассказы, а потом усиленно его поддерживала во всем, что касалось его писательских дел. Там, в общежитии на улице Максима Горького, в ее комнатке они и обсуждали его рассказы. Иногда вместе с соседками по комнате, чаще вдвоем...

Писатель из Алексея, кажется, получится, а муж – нет. И скорее всего, по причине его писательства. В нем проснулся другой Алексей, которого она совсем не знала... Очевидно, и он сам тоже не знал.

– Александр! Получать же простые элементы системы Менделеева проще: углерод из углекислого газа, водород из воды, а азот и кислород – из атмосферы. Была бы энергия. «Власть химии безгранична», – это сказал Бертло.

Она передвинулась от окна на край парты, бессознательно стараясь ближе быть к собеседнику. Он невольно отметил, когда она слегка наклонилась, в вырезе ее белой кофточки волнующую клинообразную ямку между двух точеных холмиков и старался больше туда не смотреть.

Гибкая фигура ее с развитыми в меру бедрами, упругой талией и руками тонкими и длинными притягивала к себе взгляд. Заставляла вспоминать об Аксюте. Они были во многом похожи. Но с одной разницей. Аксюта будто вышла из березы, которую неслыханно искушенный мастер сработал с любовью на свой деревенский лад топором. А молодую учительницу после этого умельца-волшебника еще поманежил художник более тонким инструментом. И порода была – не береза, а что-то такое же красивое, теплое, но не сразу узнаваемое, оттого и притягивающее взгляд.

– Та работа, которую делают растения с помощью энергии солнца, будет скоро осуществляться человеком, понимаешь? Человечество открывает себе новую перспективу: крахмал, сахар, синтетические жиры будут производить наши химические заводы в огромном количестве независимо от дождей, засухи, мороза. В них, этих продуктах, понимаешь, не будет содержаться болезнетворных микробов. Никто сейчас не понимает в полной мере и не осознает коренного перелома, который может наступить. Ты, Саша, понимаешь это? – она в упор посмотрела на своего ученика.

– Я то, может, и понимаю, тем более я уже решил поступать на химико-технологический, но вы бы попробовали убедить, что химия – это все, хотя бы одного Петра Ильича Терехова.

– Бухгалтера питомника?

– Он не бухгалтер только, он по призванию агроном. Мечтал Утевку садами окольцевать.

– Да, замечательный человек, но что он говорит?

– А то, что если мы хотим уйти в химию, как вы говорите, забросить землю – будет беда. Земля пропадет.

– Сашенька, не так, я верю великому французу. А он говорит, что, если землю прекратить использовать для выращивания продуктов сельского хозяйства, она вновь зазеленеет первоначально: покроется трава-

ми, цветами, лесами. Это будет огромный сад, орошаемый подземными водами. Это будет сад во многие тысячи раз больше, красивее и полезнее, чем наш, который мы с тобой, все вместе, сажаем под Ветлянкой. Это революция!

- Когда жил этот Бергло? - спросил раздумчиво Ковальский.

- Во второй половине девятнадцатого века.

- Так давно, а что же ничего не изменилось?

- Ну, как, Саша?! Во-первых, нужен был высокий общий уровень техники - раз. Во-вторых, уже многое есть искусственного. А в-третьих, тормозит инертность нашего мышления.

- Чья инерция? - переспросил Александр.

- Всех нас, человечества всего, - просто ответила она.

Александр удивленно посмотрел на свою учительницу.

- Видишь ли, синтезированная пища - это не значит ненатуральная. Она натуральная, ибо она «сконструированная» из самых натуральных продуктов. Но люди психологически не готовы...

Открылась дверь, и в класс вошел учитель литературы Лев Николаевич.

- Извините, я услышал ваш голос, там директор собирает нас у себя. По-моему, уже все, кроме нас с вами...

- Да-да, идемте! - Она поднялась. - Видишь, какую я тебе дала информацию, я сама недавно наткнулась на нее. Ее преступно держать в себе. Тем более я не собственница. Просто информация, - повторила она, - а там, как хочешь. Я поняла, что твои одноклассники давно все определились, кто куда, ты один остался.

- Один, - согласился Ковальский и спросил почти всерьез: - Валентина Сергеевна, выходит, самый главный двигатель прогресса не дешевая энергия, а косность человечества в целом, и нас с вами в отдельности?

Но она не стала отвечать. Когда они вышли из класса, по коридору за учителями уже шел посыльный: физрук Селедков, он, как глухонемой, делал им вполне понятные жесты.

* * *

Чтобы справить Александру костюм, родители решили продать телку Зорьку, самую дорогую для Василия Федоровича собеседницу во дворе. Разговаривал он только с теми во дворе, кого любил. На остальных покрикивал.

Овец не любил за то, что они противно кричали. Он их терпел на калде, куда денешься: шерстяные носки на ребятке будто горели. Не любил он и уток за их прозорливость. Утки гадили во дворе больше и противнее всех. «Утка – это ходячая прямая труба вдоль земли, с одной стороны глотка, с другой – выброс», – говорил он. И качал головой, сетуя на несовершенство конструкции пернатой твари.

А с Зорькой Любаев разговаривал так:

– Ты почему сегодня грустная, невесело выглядишь? Из-за того, что молоко у матери твоей горькое? Глупая, это мы с Сашком проморгали: сено такое накосили напротив Кунаева ключа, там много было полыни. Когда делили в артели, мне две таких копешки досталось. Чего теперь нам? А?.. Не серчай на нас.

Он любил ей гладить шею с низу и трогать ее маленькие, с огурец-пупленок рога.

У ее матери Жданки был сломан левый рог и один сосок недоразвит, не доился. Продать ее было трудно. Кто ее купит? Отец думал ее заменить на Зорьку. Но теперь вот планы менялись.

– Ничего, – решил он, – пусть еще Жданка поживет свое, она ведь хорошо дает молока пока. А деньги нужны и на костюм, и на все остальное. Шутка ли, в новую жизнь отправляться-то в одиночку.

– Ага, – соглашалась Катерина, вздыхая. – Я и не знала, как без Жданки буду. И по Зорьке жалковать буду, конечно...

– У Синегубого их Звездочка наглоталась гвоздей с сеном, теперь вот-вот околеть может – вот беда, а наша-то пока ничего.

– Как же это так? – ахнула мать. – Все каждый раз у них нескладуха, – вспомнив, что прошлым летом у Сонюшкиных корова объелась зерна, четыре буренки из стада сдохли, а Синегубый оказался сметливым: ночью в мазанке, когда корова стала пухнуть – зерно в животе распарилось и начало увеличиваться в размерах, он поливал почти безостановочно свою коровенку холодной водой из колодца, остужал ее. Отошла коровенка, отудобела, а нынче вот другое несчастье.

– Шалапутная она у него, вот что, – вынес приговор Василий Федорович.

Зорьку продали в один день, лишь вывели на базар. Все знали ее по матери Жданке.

И теперь у Александра появился первый в его жизни костюм. Всего-то и было две примерки, а сидел он ловко. Когда одел его, дома все ахнули.

– Шурка, ты как Тихонов! – засмеялась сестра Люба.

- Ага, - согласился брат Петр, - нос у него такой же, из-за угла видно.

- Ладно придумывать, - запротестовала мать. - Какой еще вам Тихонов, Соньки Марлушкиной сын, что ли? Наплетете мне. Он хоть и ученый агроном, а по-моему, неправильный какое-то.

- Да нет, - заливалась смехом Надя, - киноартист Тихонов!

- А какой он из себя? - спросила недоуменно и весело мать.

- Да ну, «Дело было в Пенькове» видела?

- Голова, голова, - вклинился отец, - все кина почти со мной сидишь смотришь, а не знаешь.

- Ты-то еще, ладно, - возразила Катерина, - вспомнила я, вспомнила. - Сказала и засмеялась.

А на другой день, как только Александр пришел из школы, мать позвала их обоих с отцом в переднюю комнату.

- Сейчас сюрприз будет, - объявила она весело.

Когда они вошли в комнату, она нагнулась и, ловко выдернув из-под кровати, поставила посередине комнаты большой зеленый чемодан.

- Ну, как? Хорош?

Ей нравилась покупка, она такую делала впервые.

- Катя, хорош-то хорош, но, наверно, по приметам, еще экзамены не сдал... рановато.

Шурка посмотрел на свою мать. Ее это не обескуражило.

- Я давно спланировала, себе зарок дала - сюрприз сделать. Шурка у нас (она сказала - «Шурка») ни в какие приметы не укладывается, у него все по-своему, он все сдаст и все сделает, как надо, правда ведь?

Василий Федорович смотрел на них обоих и улыбался. И мать улыбалась. Шурка любил их видеть такими, ему всегда от этого становилось светло на душе. И он не думал сейчас о себе, о чемодане, о том, что он скоро куда-то поедет. Ему было радостно за них: у них был праздник... Как тогда, давно уже, когда они рыли Шуркин колодец в огороде и ударила сильная родниковая струя всем на радость.

- Шурка, бери нас всех в этот чемодан с собой в город, - сказала вдруг Катерина. - Мы тебя защищать будем.

- И мне лететь с вами? - удивился Василий.

- А что ж, и тебе, - засмеялась Катерина. - Самолет доставит.

- Надо тогда и корову с собой забрать, кобеля Цыгана, мало ли чего еще. Избенку нашу, без нее в городе мы не проживем. Чтоб взять все не хватит никакого чемодана, - подытожил отец. И спросил неожиданно: - Ты что, Сашка, сбердил?

Александр, чтобы не продолжать нелегкий для всех разговор, прошел за перегородку в крохотный закуток, который служил им с братом спальней, и оттуда уже успокоил:

– Все будет нормально, не я первый.

А про себя подумал: «Я сам – большой зеленый чемодан, в котором умещается очень многое, без чего нельзя никак: и родители мои в нем самые главные. И Самарка, конечно, и дед с бабой Груней. Всего не перечесать!.. И в нем все копится и копится. Особенно в последнее время, перед дорогой...»

...Если взять и пройти пешком по Самарке от Кунаева ключа и до Шума, удивишься: Самарка одна и та же, а везде разная. Ничего вроде удивительного нет, все много раз увиденное и услышанное, а нет: везде своя особинка за каждым мыском или плесом – свое. Так и Шуркина жизнь. Ничего необычайного вроде бы она и не имела. Таких ребят сколько родилось и выросло на утевской земле, сколько их падало с гриватых, горячих коней, расшибая в кровь носы, объезжая строптивых и непокорных, а куда-то они все подевались. Утевка отпускала их, а они, почувствовав свободу, выскакивали на какие-то высокие и невысокие, но далекие, чужие орбиты. И пропадали. До поры. Время от времени объявлялось страшное.

...«Город жесток, непонятно отчего, к сельским, – думала Катерина, молча раскатывая для лапши тонкие лепешки. – Летось же привезли Женьку Чугуевского, первенького сына подружки Насти Соболевой из города мертвым. Выбросили городские на каком-то сто шестнадцатом километре на ходу с электрички. И парень-то смирный был. А может, оттого, что смирный, так и получилось? Кто знает, как надо в чужой стороне себя держать? Город он и есть город: кругом чужой народ и непонятно, у кого что за душой. Как в табуне затопчут, а там ищи-свищи виноватого. И этот дружок его, Коршунов, молчит и все тут. Знать и сами, может, виноваты в чем, промашку дали. Простодырые, чего они видали-то, кроме родителей да речки с лесом?»

Она не удержалась и смахнула слезу рукой, тут же спохватившись, обернулась на Василия. Он возился с сепаратором, придвинувшись к окошку. Не видел.

Сколько их деревенских парней с такими, либо похожими, зелеными чемоданами уходили в свое время из села навстречу испытаниям. Но Шурка был своя кровинушка – второй ее Шурка, такой уже взрослый и так похожий на отца своего Станислава. Что делать? Как не тосковать? Она и думать не хотела, что с ним может случиться что-нибудь плохое. Но так все далеко – не на глазах материнских...

Катерина часто теперь не спала ночами. Жалковала. А так, с виду, была почти как всегда – веселая...

19

Александр Ковальский видел только небольшую часть тех изменений, которые пришли в его край с развитием химизации страны.

Все более нарастал дефицит инженерно-технических работников химического профиля. Этот кадровый голод почувствовался задолго, поэтому Куйбышевский совнархоз обратился за помощью к ректорату индустриального института. Химический факультет взялся за переквалификацию старшекурсников. В нее были вовлечены и преподаватели, и студенты. На кафедрах органической химии и химической технологии своими силами были спешно оборудованы лаборатории по технологии основного органического синтеза и синтетического каучука.

В начале 1959 года, когда Ковальский был еще девятиклассником и не ведал вообще о существовании института, группу студентов пятого курса перевели со специальности «Химическая технологи», где давали общую химическую подготовку, на специальность «Органический синтез и синтетический каучук», продлив срок обучения на шесть месяцев. Так рождались первые выпускники со специальной подготовкой для производств, дающих стране мономеры для каучука и отечественный каучук для автомобильных шин. Многоголосый нарастающий поток отечественных автомобилей требовал резиновой обуви.

Нелегко было и преподавателям, и студентам, особенно этого первого выпуска. Был большой разрыв между общей и специальной подготовкой: органическую химию изучали на третьем курсе, а органический синтез – на пятом и шестом. Учебные программы перестраивались на ходу. Для чтения лекций по специальным предметам приглашали инженеров-производственников, специалистов НИИ и совнархоза.

Среди первых в области будущих технологов органического синтеза был и Валентин Семенович Сафронов. Высокий, вдумчивый, с огненно-рыжей шевелюрой студент с утра до ночи пропадал на монтаже установок и отработке методов анализа. Один из первых выпускников новой специальности, он впоследствии войдет в ряд главных специалистов Куйбышевского завода синтетического спирта, а затем возглавит кафедру общей химической технологии и будет проректором этого института по учебной работе.

Судьбы Ковальского и Сафронова пересекутся совсем скоро, через каких-то три года, после защиты Сафроновым диплома в шестидесятом году, и причудливым образом одна повлияет на другую.

Сафронов защитился в январе шестидесятого года, выполнил дипломный проект без отрыва от практики, работая на пуске второй очереди первенца большой химии области – заводе синтетического спирта, дающего сырье – спирт – для получения резины.

Первую государственную комиссию по новой специальности возглавил директор Новокуйбышевского филиала НИИ синтетических спиртов и органических продуктов Дмитрий Калинин. Того самого, который задумала и все-таки создала в Новокуйбышевске, в очередной раз предвосхитив события, неутомимая Анна Сергеевна Федотова.

Этот филиал вскоре стал ведущим в стране по исследованиям в области производства фенола-ацетона. Когда еще не было готово его здание, Федотова заботливо «расквартировала» специалистов у себя на заводе в центрально-заводской лаборатории. Далее ее неутомная энергия выплеснулась еще плодотворнее. В городе возник научно-исследовательский комплекс: к действующему нефтехимическому заводу и институту добавились проектный институт гипрокаучук и опытный завод.

* * *

В выделенном когда-то в начале августа 1930 года институту четырехэтажном здании в центре города Куйбышева, кипела работа. Теперь здесь был химико-технологический факультет. Это здание было построено еще в 1912 году в архитектурном стиле модерн и вовсе не было похоже на институт. От него исходил холодок банковских офисов, административных кабинетов.

...Шурка в один из приездов в госпиталь к отцу в Куйбышев проходил мимо здания. Он даже обратил внимание на белую козу – герб Самары – в его декоре. Но ничего не понял, он не знал герба Самары. Они шли с матерью из парка имени Горького, где коротали время перед посещением отца в госпитале, и мысли его были заняты предстоящей встречей. Он и в парке вел себя рассеянно, оживившись один только раз, на радость матери, когда вдруг увидел ряд огромных осин, таких же, как у родника на Бариновой горе, и обрадовался, сияя светлой улыбкой, как при встрече со старыми знакомыми.

Если бы он знал, что через несколько лет будет учиться в этом холодноватом, чопорном с виду здании, с каменной козой на фасаде, он бы обязательно, с его-то дотошностью, внимательно его осмотрел, и к

каменной козе присмотрелся бы. Что за коза? И почему она взобралась на фасад здания? Он знал одну такую козу, у Мазилиных. Она всегда забиралась на сарай и, стоя на пологой крыше, внимательно наблюдала за прохожими.

В этом здании, под руководством профессора, доктора химических наук Дмитрия Николаевича Андриевского шла активная научно-исследовательская работа.

В 1961 году на кафедре появилась аспирантка Светлана Леванова. И обрушился целый каскад имен молодых ученых: защитила кандидатскую диссертацию Леванова. Затем Александр Рожнов, Кабо, чуть позже Шаронов, Чуркин, Липкин, Стулин. И все они были учениками доктора химических наук, профессора Путохина Николая Ивановича – основателя кафедры органического синтеза. Это по его настойчивому ходатайству старинное здание было передано студентам. И именно он приложил много сил в далеком 1930 году по созданию в городе химико-технологического института.

Все они внесут свой вклад в развитие нефтехимии области и подготовку кадров. И не только для местной промышленности. Выпускники факультета станут гордостью российской нефтехимии и нефтепереработки.

...Когда Александр Ковальский поступит на химико-технологический факультет индустриального института, здесь уже будут свои традиции и свои легенды.

20

Захватившая Александра и его одноклассников неумная страсть – игра в настольный теннис не отпускала их и после выпускных экзаменов. Наоборот, теперь, не имея возможности играть днем, они пользовались благосклонностью школьного учителя физкультуры – играли вечерами. Но им не хватало и вечеров. И окна школьного спортзала светились иногда за полночь. Физрук покачивал головой:

– Разбаловал я вас, не провалили бы экзамены в институт.

Сегодня они играли особенно жарко, с ними остался худрук Амосов, а он игрок опытный и азартный, потому и разошлись только в два часа ночи.

Александр спешит домой – идет знакомым темным переулком. Там, впереди, справа от дома Любаевых, ночная Венера источала свой томный свет, мешая его с запахом сирени в палисаднике Климановых, а слева, за огородами, около стадиона на крыше Ивановых высилась длинная труба, сверкая новой белой жостью. Недалеко от колодца Зининых – но-

венький сруб для бани тускло мерцает своими ребрами из ошкуренных ветлы и осины. Этот сруб стоял сейчас как раз на том месте, где когда-то Ковальский упал и лежал с непослушными ногами, пытаясь доползти до своей сельницы.

...Дойдя до двух бревен, лежавших поперек друг друга, очевидно, пацаны катались на них днем, Ковальский остановился.

Кругом царство тишины и лунного света. Далеко за Красной Самаркой, на той стороне реки, на горе, свет автомобильных фар мелькнул не так ясно, как в осенние ночи. Хотя и нечеткие, но направленные лучи света побежали к Утевке. Как большой жук со светящимися зрачками, грузовик пошевелился и затих.

И снова тишина. И в этой мгlistой тишине Ковальский услышал сначала какую-то возню в баньке, затем как будто бы, так ему показалось, там пробежал ежик... И все стихло. Но на мгновение.

Раздался приглушенный женский смех и снова возня... Тишину, разлитую под луной, около баньки легко и нежно начал раздвигать волнами грудной, невыразимо томный женский голос:

- ...а... а... а... а...

Этот голос похоже подчинялся непонятно откуда исходящему ритму.

Прошло несколько мгновений и нежный грудной голос покори́л уже не только пространство баньки и около баньки. Звук от него, кругами расходясь, покинул баньку, где ему стало тесно, и поплыл дальше к седым ветлам над речкой Утевочкой.

Сколько так продолжалось, Ковальский не помнил. В первый момент, когда послышались эти звуки, он вначале подумал, что кого-то душат. Александр вскочил с бревна, толкнув его пяткой ботинка и хотел броситься в дверной проем, но вдруг понял, что там происходит. Не решаясь себя обнаружить, замер.

- ...еще, еще... мне так хорошо!

- Не могу больше...

Голоса были знакомые.

«Это же Аксюта Васяева и Лашманкин, они же там... - Он испугался своей догадки. - Это же Аксюта так...»

Он метнулся в сторону, боясь, что его увидят. В голове стучала мысль: «Ну, Мишка ладно, он на все способен, а Аксюта?»

Александр долго не мог уснуть у себя в сельнице. Пахло свежим сеном; они с отцом косили в лесу вдоль Самарки в тальнике, где всегда много земляники. Он прямо из навильников, когда копнили, выбирал целые кисти ягод.

Ему вспомнился тот летний давний вечер, когда Аксюта и Ганя голые купались на старице, а он случайно оказался рядом. Помнил восторг, который вызвало у него белое, крупное, «булотуршное» тело, излучавшее здоровье и свет. Как она тогда сказала Гане: «А мне бы хоть хроменького, но молоденького бы муженька...» Эти слова он помнил почему-то так отчетливо, как будто они были сказаны вчера. Он и сейчас помнил тот теплый парной воздух над темной озерной водой с лилиями и белую большую птицу – Аксюту, словно только что опустившуюся с неба на озеро.

«Вот и перебабилась вовсю теперь», – непонятно для самого себя, то ли осуждая, то ли горюя, подумал Ковальский.

...Спал он без сновидений.

А дня через два, встретившись с Лашманкиным у клуба, спросил, потупясь:

– Это ты был ночью в баньке?

– Какой такой баньке, не знаю? – всегда ко всему готовый отозвался Мишка.

– Ну, за Зининой избой...

– А, да это ж и не банька, – тянул Лашманкин.

– С Аксютой был? – Ковальский и сам не понимал, почему он вдруг затеял разговор, его что-то будто подталкивало.

– Надо же, застучал, Коваль! – белозубо удивился дружок.

– Надо мне было, вы там на всю округу шорох навели... Как ты мог? С Аксютой?

Мишка, сделав губы дудкой, присвистнул протяжно и удивился:

– Ты че, Коваль? Она ж сама. Жаловалась, что год уже ходит девочкой. Муженек ее в пыль стерся давно. Теперь спился вот. Не может и все тут... А ей страдать? – спросил он и сделал из ладони левой руки козырек над нахальными глазами. – Ей нудно с ним.

– Она так тебе и говорила?

– Конечно, а чего? Дело простое же...

– И давно вы так с ней... вот, – он не хотел говорить грубо, а по другому не мог, и замолчал.

– Коваль, ну, че ты, как следователь. Хочешь я тебе такую же найду на Ветлянке, в нашем гараже одна есть...

– Давно? – упавшим голосом переспросил Александр.

Лашманкин ответил:

– Да еще с маевки на Самарке, там первый раз чмокнулись... ландыши были, – помолчал и, озорно сверкнув глазами, добавил: – Практику прохожу.

– Чего?

– Практику, понял? Думает, что она у меня первая. В люди меня выводит, – он довольно хохотнул, обнажив ровный ряд мелких зубов.

– Это она тебе так говорит? – резко спросил Александр.

– Нет. Я так думаю.

– Практикант хренов, ты же семью развалишь ей.

– Не-е, наоборот. Укрепляю. Муж Колька не может... крепить, так я помогаю.

– Но ты же с Зинкой встречаешься?

– Одно другому не мешает. Аксюта знает. Она, Зинка, не троганная. И Аксюта не велит, я ей, Аксюте, зарок дал: Зинку не трогать до армии. Зинка мне стихи читает, а я слушаю. Этого, Асадова, – скука.

– Ты артист, Мишка, – проговорил Ковальский, не зная, как вести себя с Лашманкиным. В голове у него была каша. И зарябило в глазах.

А Лашманкин поучал:

– Да ей, бабе, за тридцать лет. С любым мужиком это дело – как поцеловаться, никаких проблем. Я их знаю. – Он помолчал и, глядя на Александра, не мигая, кто его поймет всерьез или так крепко лукав, сказал: – Она призналась, что ты ей давно нравишься, но она тебя боится. Больно, сказала, ты серьезный.

Эти Мишкины слова особенно сильно резанули Ковальского. Он зло посмотрел на Мишку, ему впервые показалось, что его дружок сильно похож лицом на какого-то зверька.

...У Мишки Кирсанова, по уличному – Лашманкина, в последний год стало много друзей-приятелей. Он кончил вечерний десятый класс и работал на Ветлянке автослесарем. Осенью его должны были забрать в армию. Поступать в институт он не намеревался.

Александр шагал вдоль серых штакетов, огораживающих клубный скверик. Он думал об Аксюте. Из-за угла внезапно появилась его мать, Катерина, возвращавшаяся из магазина. Он резко нырнул под нависший над забором приземистый карагач. Ему не хотелось, чтобы его видели таким. Он чувствовал, что лицо у него ненормальное.

«Красивая Ганя, Аксюта! Красивые, а счастья нет? Аксютин муж дядька Коля – добрый, но беспросветная пьянь». И Ганю видел вчера с приезжим пьяненьким мужиком, видел, как гордая, красивая Ганя стеснялась своего шумного спутника. «Это – жизнь, – вспомнил он Мишкины слова. – Жизнь, – повторил Ковальский. – Но почему она так не справедлива? Даже к тем, кто ни в чем не виноват?»

Он видел вокруг и раньше много грубого, но случай с Аксютой его выбил из колеи. Потом, чуть позже, подумалось: «Но Аксюта, она то-

гда, ночью, так смеялась! Тихо и счастливо. И этот ее шепоток, на который Мишка глуховато отвечал что-то. И грудной такой голос ее?..»

21

Подходило время сдавать документы. Александр не знал, где находится институт, но у него был адрес дядьки Сергея. Он был уверен, что через него все и отыщет.

Через два дня, во вторник, должен был прилететь Пудовкин на своем Ан-2, решено было лететь в Куйбышев с ним.

...Провожать Александра пошла мать и брат Петро. Сестры были в поле. С отцом, бабой Груней и дедом Иваном он простился у ворот дома. До площадки, где садился самолет, было километров два. Оказалось, что самолет берет на борт всего двенадцать человек, а у кассы набралось желающих двадцать. Мать Ковальского заволновалась было, но Александр оказался как раз двенадцатым, и она успокоилась. А то уж хотела бежать к самолету просить помощи у родственника.

– У тебя чемодан солидный какой! – удивился Пудовкин, когда началась погрузка пассажиров.

Ковальский промолчал, улыбаясь, а Катерина пояснила:

– А зачем маленький-то, туда и костюм можно сложить и рубашки. Удобнее так. А там, где ни того, под кровать его.

Видно было, чемодан для нее предмет особой гордости. Дался он непросто. В него была вложена часть Зорьки. Катерина выглядела печальной. Александр это видел и не знал, что делать. Но брат Петро случайно или нарочно – он умел так говорить – «подсуропил»:

– И самолет Ан-2 зеленый и чемодан зеленый – получается какой-то зеленый десант, прямо!

Александр показалось, что сейчас вокруг засмеются, но все заняты были собой. Шла посадка. Катерина улыбнулась и погрозила Петру пальцем.

Потом она поцеловала Александра поспешно один раз в щеку, Петро ткнул в бок энергично кулаком, и Ковальский шагнул к самолету.

...Когда самолет взлетел, всем раздали серенькие бумажные пакетики. Александр удивленно спросил:

– Что это?

Старушка напротив пояснила со знанием дела:

– Гигиенические пакеты.

Ковальский не понял, но взял пакет и положил его в карман. Понял он, для чего эти серенькие штуки, только когда в полете добрую половину пассажиров начала мучить рвота.

...Владимир и на этот раз не изменил себе. Он делал свои три круга над Утевкой. Самолет с первого круга сразу взял в сторону села Покровки, не долетев до леска у Самарки, он повернул влево и пошел вдоль реки. Александр припал к иллюминатору.

Будущим биографам Ковальского, если бы он стал знаменитым артистом, было бы удобно и красиво писать: учиться в Куйбышев Александр Станиславович из Утевки прилетел на самолете... Красиво звучит, если не уточнять, конечно, на каком самолете... И эти гигиенические пакеты...

...Видно было в окошко и озеро Лещевое, и Осиновое. И даже продолговатое узкое Подстепное, в котором утонул неделю назад Мазилин. Слушок был, что не сам он утонул, помогли. «Ведь пил здорово и всегда около воды – мог и сам», – резонно говорили одни, вещи-то все целы. А другие, которые были не согласны с этим, помалкивали...

...«Скоро и Разлацкого в Утевке не будет, все-таки он решил жениться на Нинке Свечниковой и уехать на Север», – вспомнил Ковальский.

...Синегубый Степан стал почти совсем слепым. И, когда в последний раз приходил к отцу Александра – плакал.

Но эти изменения остро Ковальского уже не трогали. Он сам удивился этому.

Новые предстоящие встречи и события надвигались на него стремительно, и он больше думал о них, хотя и не мог знать, что за события и что за люди будут его окружать вскоре. И будет ли это на гражданке, если он все-таки поступит в институт, или в армии? Кто знает?

...Увидел он сверху и дом Олечки Козыревой. Но не восторгалось сердце – спокойно смотрел он на новенькую ограду палисадника, у которого они недавно сидели. На кусты акации и сирени под окнами, на зеленую лужайку у дома с кучей бревен посередине. На бревнах возились ребяташки, а рядышком на площадке парни резались в волейбол через сетку.

...Вот когда ему на глаза попался дом Аксюты, он невольно вздрогнул. Аксютка стояла посередине двора, заросшего травой-муравой с младшим своим, родным сынишкой Шуркой и смотрела в небо – на самолет. Ему даже показалось, что они встретились взглядами. Она сорвала косынку и помахала ею, высоко подняв левую руку, оголенную по плечо. Даже сверху, из самолета, видно было, какая она вся ладная и креп-

кая. А маленький Шурка ее что-то кричал, наверно, громко и весело, махая обеими руками, но Александр не мог слышать его голоса.

Ковальский спохватился. Эти же круги свои Владимир «нарезал» вокруг школы, ради химички Валентины Сергеевны. Она в серединке всего! Где она, школа?

Он тут же ее отыскал. Взгляд его поймал большое деревянное П-образное здание под шифером в густой зелени кленов. Край левого крыла школы золотился под утренним солнцем – сруб был недавно собран из новых сосновых толстых бревен, а крыши пока не было... Эти сосны они, десятиклассники, привезли в прошлом году из Борска. Везли и знали: они строят свою школу.

Успел он напоследок выловить взглядом и дом своего деда. Двор Головачевых был пустынным.

В огороде мелькнула старая ранетка, которую еще прошлой осенью дед Иван хотел спилить...

...Но все под самолетом становилось меньше и меньше. Все уходило вниз и оставалось позади. Александр будто смотрел в бинокль, только с другой его стороны – уменьшающей.

Круги кончились.

Самолет набирал высоту...

2000-2001 г.

СОВМЕЩЕНИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Трудяга – самолетик АН-2, управляемый двоюродным братом Ковальского Владимиром Пудовкиным, удивительно быстро долетел до аэропорта в Смышляевке.

Сам не зная почему, Александр не торопился к автобусу. Дождался, когда появится в сереньком здании молодой, но такой основательный его родственник-летчик.

– Ты еще не уехал? – удивился подошедший Владимир.

– Да вот... – мялся Ковальский.

– Негде пристроиться жить?

– Есть вроде бы, у дядьки Сережи.

– Сам найдешь, как добаться?

– Конечно, – отвечал Александр.

Владимир Пудовкин со своим «кукурузником», на котором летал часто в Утевку, сейчас был последним, кто соединял Ковальского с его прежней жизнью. Александр вдруг почувствовал себя ступившим на незнакомый материк, который надо непременно освоить. Пролетев всего-то сто километров от села до города, он словно преодолел огромную, важную межу, разделяющую непостижимо многое!..

...Пудовкин куда-то торопился. Владимир не хотел обидеть Александра, но он уже был в своем привычном потоке, который властно нес его, счастливчика. И он, улыбчивый, доверяясь этому потоку, доверял и верил самому себе. Это было видно по всему. Его ладная фигура, розоватые щеки, какая-то домашняя уверенность в поведении: на летном поле, здесь, в этом помещении, где с ним приветливо здоровались такие же, как он, крепкие парни – все говорило об основательности, серьезности того, к чему сумел прикипеть его удачливый двоюродный брат. За ним было большое, огромное дело – аэрофлот, которого хватит ему на всю жизнь, только не ленись – работай.

– Ну, тогда давай, ни пуха тебе. Я еще тут к начальству должен явиться.

Пудовкин протянул, белозубо улыбаясь, крепкую, как рычаг, руку и так сжал ладонь Александру, что тот изменился в лице. Поняв это по своему, улыбчиво сказал:

– Ничего-ничего, привыкнешь. Теперь ты сам тебе голова, не забывай о нашем уговоре: ты должен стать инженером, я – пересесть на реактивные со своего «кукурузника».

— Еще поступить надо, — сказал Александр, думая совсем о другом.

— Это как минимум, — то же, очевидно, думая о своем, ответил Пудовкин. — Иду, иду, — быстро отреагировал он на вопросительный взгляд проходившего мимо рослого, красивого парня. — Ну, Коваль, расстаемся на время? Давай! — Он энергично взмахнул рукой и ушел.

«Пудовкин — фамилия, кажется, не совсем подходящая для летчика — тяжеловатая. Зато сам Володька легкий, веселый и надежный. А Покрышкин, Кожедуб — тоже фамилии какие-то странные для летчиков... Ладно, надо держать слово: коли он выучится все-таки летать на реактивных, то я обязательно должен окончить институт. Договор дороже денег».

Ковальский не спеша пошел к автобусной остановке.

«Я иду и всем до лампочки, какой ценой достался мне мой зеленый чемодан. Мое приданное, как пошутила мама. Ценой Зорьки — рыжей годовалой телки, которую родители одним махом в первый привод продали на базаре... Я первый в нашем роду еду поступать в институт. Первый! Выходит, я как бы представитель всех, кто был и есть в нашем роду. Я как посланец тех сельчан-родственников, которые не успели выучиться, погибли на войнах, стали убогими от нужды и изнурительной работы. Не могли даже окончить десять классов. И не по своей воле. Так жизнь складывалась. Предыдущие поколения не могли себе позволить, чтобы дети учились... А мне выпала карта? Мне повезло, что у меня такие родители. Самоотверженные. И ведь, если я не поступлю, никто слова в упрек не скажет. Давно все привыкли, что многое не доступно сельским. И не только сельским. Не протиснешься. Кем-то и как-то так определено или так в головах засело: где уж нам, без нас в очередь выстроились не такие, как мы».

— Того это... — задумчиво перед отъездом говорил у калитки Любавых Синегубый, — не высокогато ли замыслил, вон лучше бы как Ванька Гладилин — поступал на летного радиста в училище, сразу тебе и одежка форменная, и харч — тепло и не голодно.

Мать с отцом молчали. Александр знал: если он согласится, они не будут возражать. Им важнее всего, чтобы была надежность. Но он молчал, не принимая правоту Снегубого. И родители молчали. Они доверяли ему. Они ждали справедливости. Ведь есть же она где-то, есть! А раз есть, то почему бы ей не показать себя на Шуркиной судьбе.

«Мир должен быть справедливым, — думал Ковальский. — А если так — тогда дело только в тебе самом».

Он верил в себя.

На чем держалась эта вера? Уж не на наивности ли? Но что тогда наивность, коль так она толкала к решительным действиям? И не его

одного, целое поколение вырывалось из деревни, неосознанно подчиняясь внутренним толчкам, преодолевающим, будто сконструированный кем-то и надежно работающий, разъедающий душу механизм собственной неполноценности.

«Сами себе роль папуасов отводим, ерунда какая».

Он едко, что на него было не похоже, усмехнулся.

И все-таки не наивность, а надежда рождала в нем энергию. Энергия, выработанная надеждой, питала не только Ковальского. Русский человек, как никакой другой, способен брать энергию из надежды. Надежда позволяет русскому человеку думать: завтра жизнь будет лучше. Вот пройдет пять лет, тогда... Пусть десять... Ведь есть же справедливость на свете, а значит и жизнь есть более достойная, удачная, счастливая... Надо жить, работать и надеяться...

...Он пропустил свою трамвайную остановку. Нужный дом оказался за спиной. Ковальский, не торопясь, ступил на тротуар, осмотрелся. Перекресток улиц оказался весь изрезанным трамвайными линиями. Было непривычно для глаз. Александр постоял, потоптался и, увидев совсем недалеко от себя площадь, невольно рассмеялся. Лицо его, до того сосредоточенное, просветлело и стало веселым.

«И тут надул, — подумал он о своем дружке детства Мишке Лашманкине. — Вот шельма». Вспомнился хвастливый рассказ Мишки после того, как два года назад тот ездил в Куйбышев и якобы на полном ходу обогнал на своих двоих трамвай. Бегал Мишка и впрямь быстро. Быстрее всех, кого знал Ковальский. Но чтоб обогнать трамвай на полном ходу?

— А че слабо-то? — уверенно возражал тогда Мишка. — Он, трамвай, знает себе, мчит к Волге под уклон, прям мимо памятника Ленину в кепке, ну, а мне под гору — в самый раз. Только пятки сверкают. Я его еще на берегу малость потом подождал, трамвай-то. Он запыхался, за мной стараясь поспеть, искры из-под него аж в разные стороны — а все равно слабо меня обогнать. Я ей фигу на ходу показал — девка за рулем была.

После таких подробностей: Ленин, кепка, Волга, фи́га, девка за рулем... оставалось Мишке только верить.

А тут оказалось, что и бежать-то мимо памятника Мишка не мог. Рельсы круто поворачивали влево и уклона никакого к Волге с рельсами не было.

Ему захотелось посмотреть и памятник, и площадь Революции, которую дядька Сергей ему нарисовал на клочке бумаги. Площадь была изображена на рисунке похожей на большую грампластинку.

...Он присел на скамеечку под липой. Наступил уже полдень. Не-обычно пахло нагретым асфальтом. На площади было людно.

Сидя под липой внутри скверика перед памятником лобастому и ру-кастому вождю революции, он разглядывал площадь. Она была действи-тельно похожа на огромную грампластинку. Меньший круг пластинки — аккуратненький скверик с памятником в центре, недалеко от которого сидел Ковальский, а больший — тот, который озвучен потоком пестрых существ: людей и машин. Они слетали с черного диска, пропадая в че-тырех отрезках улиц, подходящих к «пластинке». Эта масса людей и ма-шин, попавшая на диск, рождала непривычную для Шуркиного уха город-скую мелодию.

Он вообразил памятник, стоявший в самой середине концентрических окружностей, а вернее, кругов, чем-то вроде оси патефона. Внутренний круг этой пластинки, в отличие от серого внешнего, был коричневато-красного цвета. Вращалась эта причудливая штука вокруг оси — неболь-шой фигурки вождя, крепко стоявшего на массивном, раза в два по вы-соте превышающем его рост, пьедестале.

«Если площадь — пластинка, — подумалось Ковальскому, — то я та самая игла на ней, которая снимает эти звуки».

Вспомнился немецкий патефон из детства, привезенный его отцом Василием. И блестящие патефонные иголки.

Патефон Шурка несколько раз разбирал из любопытства. В конце концов он сломался и занемог. Потом замолчал совсем. Иголки куда-то затерялись.

Ковальский сидел на удобной синенькой скамеечке со спинкой, со-всем забыв про свой чемодан. Про то, что ему надо было еще отыскать дом, в котором проживал дядька Сергей.

...Осмелевшие голуби, сизари, больно какие-то уж гладкие и кра-сивые, проворно бегали в тени лип. Временами голубки, делая замысло-ватые круги, выскакивали на асфальт к зеленому чемодану. Но быстро опять ныряли в темную тень, где тут же попадали под внимание двух самцов-сизарей, которые, приблизившись к ним, враз приобретали гор-деливо-галантную осанку. Шейки их с переливающимся дымчато-сизым от-тенком становились солиднее, сами самцы — осанистей и подвижней. А самки, в этот момент став заметно элегантней и изящней, семенили в разные стороны. Эта любовная их игра забавляла Ковальского.

...Он посмотрел вверх перед собой, на памятник. «Ленин, если бы он был чуть похудее и повыше, и не держал руку в кармане, здорово был бы похож на моего деда Ивана. Голова в фуражке очень похожа».

...Непроизвольно оглянувшись на шум голубиных крыльев, Ковальский увидел двух подозрительных типов. По всему было видно, что их интересовал – и очень – зеленый чемодан.

Александр демонстративно пододвинул чемодан к ногам и в упор взглянул на парней. Те, как призраки, оба в темном, в тени широких лип, отшатнулись и пошли по кругу пластинки в разные стороны. Он видел, как один из них, совсем еще подросток, остановился и, оглянувшись, смотрел на Ковальского, нагло улыбаясь.

«Они что, пасут меня? С моим чемоданом? Уж больно среди бела дня, дерзко как-то».

Александр еще чуть посидел для порядка, не желая выказывать своего беспокойства, затем встал, чувствуя, что находится под прицелом цепких и безжалостных глаз.

Он пошел не назад, как ему надо было, а туда, где открывался большой просвет неба. Такое небо могло быть только над Волгой.

Пересек кольцо площади около углового дома с барельефом совсем еще молодого Ленина. На стене было объявлено, что в 1892–93 годах в этом здании работал помощник присяжного поверенного самарского окружного суда В. И. Ульянов–Ленин. «Рука не в кармане», – отметил Ковальский. Еще чуть пройдя в глубь улицы, Александр поставил чемодан на тротуар. Он его не утопил, просто ему захотелось постоять и посмотреть еще раз на площадь со стороны.

Когда взялся за ручку чемодана, намереваясь направиться к Волге вниз по крутому спуску, неожиданно услышал:

– Издалека прибыл, землячок?

Он обернулся. И сразу все понял. Около него с обеих сторон на тротуаре стояли те двое, что мелькнули на «пластинке» под липами. Еще двое, ухмыляясь, стояли на проезжей части, чуть отступив от края тротуара.

Позволить себе лишиться своего чемодана Ковальский не мог. «Да и дурь какая: среди бела дня? Они что полоумные? Я же одному да сворочу голову, раз на то... а потом, – соображал он быстро, – карманники и вот эти – они же, кажется, так грубо не действуют? Что-то не то... Пужают скорее... черти... Свои дворовые законы тут».

Вопрос задал тот, что был всех постарше. Он стоял обочь тротуара.

Ковальский ответил неопределенно:

– Не очень издалека.

– А надобно что здесь?

– Да так, дом ишу один, – сказал Александр.

— Не этот вот? Приспичило, а? — сказал тот же парень, указывая на табличку у двери в дом.

«Мне ровесник, наверное. Этот у них старшой. Остальные мелкота», — мелькала мысль.

«Мелкота» прыснула от смеха:

— «Награды» привез? Тут те подлечат! Ага, — это сказал худой и узкоплечий с большими отвислыми ушами, стоявший слева.

Александр ничего не понял. Только почувствовал, что, если будут бить, этот, узкоплечий, начнет первый. Жженный очень.

Он быстро взглянул на табличку и уразумел причину их смеха. Дом был необычный. В нем размещался кожно-венерологический диспансер.

— Дураки, — зачем-то, сам не поняв, расслабившись, сказал Ковальский. И свободно рассмеялся.

И тут услышал то, что мгновенно мобилизовало его.

— На баш! — тихо, но внятно произнес «старшой», глядя на узкоплечего.

Это была команда. Ковальский знал такой прием: «на баш» — когда тебя тупо, тараном бьют головой в живот. Но у него был и свой навык. Надо было успеть резко отступить от нападающего, когда тот торпедой ринется вперед. И, сцепив обе руки в общий кулак, как обухом сверху ударить по шее. Проверено: нападающий не устоит на ногах — уроки Разлацкого, нефтегорского квартиранта соседки Мани Сисямкиной.

Александр повернулся от стены дома на пол-оборота, чтобы было куда отступить и замер, держа наготове полусогнутые в локтях руки с разжатыми пальцами.

Он увидел усмешку «старшого» и ждал.

...Сзади что-то гулко стукнуло. Ковальский, готовый ко всему, резко обернулся.

Открыв массивную дверь, на улицу из вышеозначенного пикантного заведения вышел розовощекий, с белыми усиками плотный, улыбающийся старшина милиции.

Продолжая улыбаться, огляделся не спеша и вяло удивился. Обращаясь к «старшому», как ни в чем не бывало, буднично спросил:

— Маркельч, ты совсем того, что ли?

— А ты че, Санек, пострадал? — «старшой», оказавшийся Маркельчем, кивнул на вывеску.

— Я те дам: «пострадал». Убирай своих, а этого с чемоданом отпусти.

— Да идет он пляшет, кому он нужен? Пускай гуляет... до следующего раза... — отвечал Маркелыч. — Верно, ребя? — Он взглянул на своих. Те по-клоунски улыбались

— Вот-вот, — охотно согласился было старшина, но спохватился. И, почти сделавшись настоящим начальником, сказал: — Я те дам «до следующего раза»... прекрати, как ты говоришь, свой фокстрот...

...Ковальский к Волге не пошел, расхотелось.

«Почти как у нас», — думал он, вспомнив сельского милиционера Ваню Антошкина. Тот, когда случалась драка около клуба, всегда приводил «наиважнейший» довод для умиротворения сторон, обычно говоря просительно:

— Ребята, ну, ладно вам, чего вы? Прекратите это дело. А то и вам, и мне достанется.

Странно, но иногда парни прекращали «это дело», утирая красные сопли.

...Через полчаса Александр добрался до нужного ему дома. Дядька Сергей был еще на работе.

Он решил идти в институт подавать документы завтра утром, а пока, поставив чемодан в коридоре, пошел искать известное своей необычной архитектурой здание драматического театра.

«Раз на Волгу не посмотрел, то хотя бы драмтеатр увижу», — решил он.

Ему не терпелось узнавать новую жизнь. Да и не хотелось оставаться одному с неработающей дядькиной тещей. Она смотрела на ново-явленного родственника колючими глазами. Будто он уже в этом доме жил и крепко когда-то набедокурил. И вот опять... явился...

...Такой получился для Ковальского в его первый городской день «фокстрот».

Неласково, выходило, встретил Ковальского город.

А он другого и не ожидал.

* * *

На следующий день Ковальский сдал в приемную комиссию документы на химико-технологический факультет.

Уже выходя из спортзала, в котором находилась комиссия, узнал, что конкурс на этот факультет самый большой — восемь человек на место среди школьников. Для тех, кто уже отслужил в армии — два человека на место.

Он вернулся к столу, где главной была видная статная женщина, окруженная деловито копошащимися вокруг нее помощницами. Александр хотел забрать документы и передать их на нефтяной факультет, на котором общий конкурс был полтора человека на место. Но постоял, потоптался и передумал.

Уточнил, когда сдавать первый экзамен и вышел.

ГЛАВА ВТОРАЯ

...Как ни странно, но самым тяжелым экзаменом для Ковальского оказалось сочинение по литературе.

Этот экзамен был последним. Александр, совсем не волнуясь, вошел в большой темный класс и сел во втором ряду у окна во двор. Там в свежей зелени кленов чирикали воробьи. Их голоса доносились сверху. Он поднял голову — над ним висела, скосбочившись на одной петле, дряхлая форточная рама без стекла. «Грохнется на голову — нечем будет писать сочинение», — невесело подумал он и чуть отодвинулся от стены.

Дама в комиссии быстро посмотрела на него и отвела взгляд в сторону: она была готова не видеть, как он будет списывать, очевидно, полагая, что парень с густой копной волос и в клетчатой рубашке ищет удобную для этого позу. «Миленькая ты моя, да у меня ни одной шпаргалки по литературе нет, по физике были. Так вот получилось. Зря стараешься».

Он оглянулся. Вокруг него: шуршало. Парень справа положил на левое колено небольшую записную книжку. Листая, искал неторопливо цитаты, наличие которых решительным образом влияло на выбор темы. Он сидел прямо, картинно, выпятив грудь, похожий на большую гордую птицу. Зоркие глаза этой птицы и пальцы левой руки деловито шарили по страницам. Рядом с парнем — девица, с красивыми, как у коровы Жданки, глазами, и рыжими волосами, собранными в прическу «вшивый домик» — это название он услышал вчера в деканате, не стесняясь, рылась правой полной рукой у себя в юбке у пояса, оголив с синеватым отливом, ногу. Никто вокруг себя, казалось, не видел ничего. Шел лихорадочный поиск своей темы. Сразу же за «жданкиными глазами» сидела смуглая красивая абитуриенточка. Она беспокойно поворачивалась в обе стороны, как бы ожидая помощи, выбирая к кому обратиться. «Если бы какая из них сейчас разделась до гола, никому бы дела не было, кроме, разве, комиссии, — усмехнулся Ковальский, настолько все были по-

глощены собой! – Жен-тель-мены, где вы, ау, спасайте дам!» Он сочувственно смотрел на обеспокоенную смуглянку.

Его личное спокойствие объяснялось просто. Как только он прочел название темы – «Образы коммунистов в романе Михаила Шолохова «Поднятая целина», так понял: нечего суетиться. Материал он знал, тему готовил еще дома. Это было самое простое, что можно придумать: писать о героях Шолохова.

...За полтора часа он успел написать четыре страницы и несколько раз проверить текст. Стало скучновато.

«Жданкины глаза» дописывала третью станицу, положив найденный в своей широкой юбке подсобный материал прямо на парту, под пухлую свою с беленькими пушистыми волосками руку. «Цапля» – парень справа рядом – сумел выписать все нужные цитаты и они у него на вполне законном основании теперь лежали аккуратно и открыто сбоку. Он увлекся цитированием и обронил свою записную книжку на пол. Она лежала домиком, раскрывшись около его громадного ботинка. Но ее можно было запросто накрыть, наступив на нее. Если не ему, то Ковальскому. «Вот бы написать, кто как списывал. Мог бы успеть, еще почти четыре часа осталось, и – бухнуть в комиссию, анонимно. Они же все бывшие студенты – посмеялись бы вдоволь».

Он встал и понес свое сочинение в комиссии.

– Как, уже? – удивилась та самая дама, которая отметила его в самом начале.

– Да, – спокойно ответил Ковальский.

– Давайте ваш черновик.

– У меня нет черновика.

– Как нет черновика, чудите...

– Ну нету...

Она посмотрела листочки.

– Черновика нет, и такой почерк...

– Какой почерк? – Александр невольно посмотрел на свое сочинение.

Дама не ответила, какой почерк. И так было ясно, какой: наклон в обратную сторону.

– Разве таким почерком нельзя писать сочинение? – не удержался Ковальский.

Но в комиссии почему-то, и этого никак не ожидал Александр, не расположены были к шуткам.

– Вам все равно: поступите вы или нет?

Это спросила женщина намного старше и суровее, чем первая.

Ковальский не нашелся, что ответить. С одной стороны, полная свобода со списыванием, с другой – такая строгость.

– Мне можно идти? – спросил Ковальский, не зная, как поступить.

– Идите, – последовал совершенно рыхлый, не говорящий ни о чем ответ.

И он вышел. Александр почувствовал себя проигравшим там, где мог с блеском выиграть сражение. Он вдруг почувствовал страшную опасность. И пожалел, что поторопился с написанием текста, что вышел первым. Но дело было уже сделано.

Ноги сами понесли к Волге. Он прикинул по памяти, что, на пути его должен быть парк Горького, в котором они однажды были с матерью. Александр вспомнил, что там стояли огромные осины и ему захотелось их увидеть.

Он уже знал за собой особенность быстро сходиться-родниться с деревьями, домами. Встретившись даже один раз, он привязывался к ним и принимал их в круг своих знакомых. Таких знакомых у него было немало. Особенно вдоль Самарки. Были деревья, о существовании которых знал только он один. И каждый раз навещаясь к ним, радовался встрече.

...Смутная тревога охватывала его. Гуляла информация, что проходное число баллов на химико-технологическом факультете тринадцать. Он их набрал по профилирующим дисциплинам, получив по химии «пятерку», а по математике и физике – «четверки». Получалось так, что он уже как бы поступил! А тут эта литература. Непрофилирующий предмет, а может оказаться решающим, если будет «тройка». Или того хуже – «неуд». «Но такого не должно быть, – напряженно думал Ковальский. – Что с того, что я просидел бы еще три часа. Ошибок в правописании вроде не должно быть. А содержание? Тоже не мог подкачать... И все же? Ведь надо же кого-то отсеивать. На последний экзамен по литературе пришло много абитуриентов. Отсеялась лишь какая-то треть с начала вступительных... Что там будет за отбор?»

Александр шел по парку, в котором то там, то здесь сидели большими группами люди. Здоровенные мужики играли в шахматы и домино. Среди бела дня. Вот так беспечно. Летом. Такого Ковальский никогда не видел в своем селе. «А как же с работой? Сено, дрова, скотина? Чудак, ее здесь нет – такой работы-заботы, деревня ты, деревня», – спохватился он. На площадочке, чуть глубже в тени деревьев, играли на двух столах в теннис.

Он постоял, посмотрел несколько минут и отошел. Обе пары играли слабовато: ни подрезки, ни темпа.

Он спохватился и поднял голову. Большие, огромные деревья стояли ровно в ряд вдоль асфальтированной дорожки. Но это были не осины, а тополя. «Тополя? – удивился Ковальский. И пошел вдоль них, от одного к другому дереву. – Я что же тогда, пять лет назад, когда был здесь, ошибся? Принял их за осинки, не может быть». Он прошел медленным шагом, останавливаясь и осматривая каждое дерево. Тополя были без пуха. Пройдя так метров сорок, он все-таки нашел осину. Она стояла крайней. Рослая и крепкая. Он подошел и приложил ладонь к глянцевой теплой коре. Дерево будто вздрогнуло, как Карий, к которому он тоже любил так вот – всей ладонью прикасаться, к его крутому лошадиному боку, к лоснящейся подрагивающей коже. Вокруг Карего всегда были слепни да мухи. А здесь, по тугой с крупными наростами, особенно внизу у корневища, коре, ползали деловито осы.

«Что они нашли у тебя тут, ты же горькая?» – подумал Ковальский.

– Крупнотелая и горькая, как утевская Аксюта, – сказал вслух в задумчивости и остановился, оглядываясь вокруг. Ему показалось, что его слышат.

«О чем ты, голова, думаешь? Об экзаменах надо думать. Влепят «неуд» и – «ты меня провожала в солдаты...»

...Около воды он разделся. Волга была широкая, полноводная. Когда сказал про себя «полноводная», то почувствовал это слово как бы заново. Лег на песок. Воды, когда теперь взглянул на реку снизу, стало еще больше. Необъятная гладь ее, казалось, готова была растворить его. Такого ощущения, когда Александр бывал на Самарке, у него не было.

«А что же тогда чувствует человек на «море-окияне»? – подумал он. – И что чувствует казах или туркмен или «друг степей калмык», добравшись до такой воды? А что чувствуют тогда вечно живущие около огромной воды поморы? Все наши чувства, выходит, относительно. И не только те, что связаны с водой. А и с лесом... снегом... любовью, ненавистью, радостью, гордыней... У каждого общее и все же сугубо свое. И каждый борется за свою долю, то есть за свое право чувствовать так, как он чувствует, видеть и знать так, как он может видеть и знать... Человек отстаивает свое право на свою долю. Плохая она или хорошая, но это его доля жизни на земле. И он хочет эту долю испытать. Не просто место под солнцем он ищет себе, а заявляет свое право на долю жизни, которая как-то случилась на земле. Раз он родился, то она принадлежит и ему. Я забрался куда-то далековато от моей доли на учебу в институте», – спохватился Александр. Ему показалось, что он вступает в некую дуэль с теми дамочками, которые при-

нимали у него листочки с сочинением, начав строчку за строчкой, слово за словом, восстанавливать в памяти написанное. Он пытался обнаружить возможные ошибки. «Три ошибки и — хана». Сомнительных мест, было как раз три. «Если бы была бумага, было бы проще найти возможные ошибки, написав текст», — думал Александр с горечью. И снова начинал «читать» свое сочинение.

...Потянувшись на песке, лежа на правом боку, он черпанул правой рукой сыпучий песок и враз сжался от страшной боли. Судорога сковала часть левой ноги: от колена до пальцев. Мышцы так напряглись и стянулись, что, казалось, готовы были лопнуть. Ногу нельзя — ни согнуть, ни разогнуть.

«Хорошо еще, что случилось это не в воде», — успокаивал себя Александр.

Проходившая мимо парочка, он и она, увидев неладное, остановилась.

— Послушай, чем-нибудь помочь? — грузноватый парень в широченных черных штанах и майке, внимательно смотрел на Александра.

— Да нет — пройдет, наверное. Я сам, — срывающимся голосом проговорил Ковальский и махнул рукой. Ему не хотелось в присутствии женщины выглядеть беспомощным.

Она такая ладненькая, в светло-зеленом закрытом купальнике стояла рядом. Ноги у нее Александру казались очень длинными и прямыми. А у парня в черных брюках — короткие с маленькими ступнями. В этом было какое-то несоответствие.

Ковальский махнул еще раз рукой, прося оставить его в покое. Парочка пошла своей дорогой. Но парень, оглянувшись, увидел, как Александр вновь задержался от боли. Сделав пару шагов назад, он пробасил:

— Послушай, давай я тебя...

Он не договорил, его спутница опередила:

— Женя, ну что ты привязался к пьяному? Он же лыко не вяжет, а ты...

Женя с короткими ступнями как-то очень быстро повиновался своей спутнице, у которой были красивые, очень длинные ноги. И они ушли.

Судорога вскоре отпустила... Не веря в это, Ковальский осторожно вытянулся на спине, прикрыв от солнца лицо рубашкой.

Он пролежал так недолго. Послышались рядом шаги. Александр привстал.

— Послушай, я узнал тебя, думаю, вдвоем веселей, можно?

Перед ним стоял парень, которого он заметил в числе сдававших экзамены. Он был какой-то весь легкий и веселый. И сдавал почти на все «пятерки». Без шпаргалок.

— Иннокентий, — протянул рук парень. — Рамазанов.

Александр, встретив узкую крепкую руку в своей, назвал:

— Ковальский, — И чуть помедлив, добавил: — Александр.

— А я вслед за тобой вышел, вторым. Накатал — и ходу. — Он разделся и сел. Крепкий, поджарый. Разбитной, видно по всему. Наступила пауза.

— Я заметил, ты без шпор сдаешь? — проговорил Ковальский.

— Ага, — отозвался парень, глядя на проходящий с музыкой вверх по течению белый теплоход.

— И литературу? — уточнил Ковальский.

— А ее-то уж со шпаргалками стыдоба сдавать, — уверенно проговорил Иннокентий.

— Как, а цитаты?

— Я их сам придумываю, сходу.

— Как сам? — не понял Александр.

— Так, сам. Я прием изобрел. В прошлом году сдавал в радиотехнический, использовал его.

— Тебя отчислили?

— Нет, бросил, — неинтересно.

— А на химико-технологическом интересно? — Ковальский повернулся всем корпусом к собеседнику. Он его удивил. Пижонится или нет?

— Посмотрим, шуму много. Кругом химия. Похимичим.

— Ну ты, даешь, — не удержался Ковальский. — Ты какую тему писал?

— Маяковского.

— И как все-таки с цитатами?

— Кое-что вспомнил, кое-что мое...

— Например?

— Вот вам, — и он произнес почти торжественно: — Долорес Ибаррури писала о великом советском поэте: «Феномен Маяковского в том и состоит, что его мощная, исполинская натура художника вибрировала от малейших нюансов, тончайших душевных переживаний, преломляя все в грандиозную масштабную лирику». Каково, а? — и он вельможно взглянул на Ковальского. — А главное в том, что нельзя ошибку сделать. Где хочу, там запятые и ставлю. Автор-то я. Пойди проверь.

— А если все-таки проверят?

— А что и как проверять-то? Они что побегут в библиотеку искать труды Долорес Ибаррури? Пусть найдут попробуют и проверят знаки препинания. Кому это надо? А содержание цитаты железное. Верно ведь?

Ковальский смотрел на своего нового знакомого, на этого заразительного пройдоху и удивлялся.

— А если бы ты писал по Шолохову, чтобы придумал?

Иннокентий на минуту прикрыл глаза ладонью.

— А вот вам, пожалуйста! Константин Симонов сказал: «Это самородок огромной величины. И истинную цену ему определит будущее поколение. Его «Судьба человека» сильнее всего Хемингуэя».

— Ну ты, хватанул — Хемингуэй! Симонов так мог говорить?

— Да ладно, кто из них сообразит-то? Они столько же читают, сколько и мы с тобой. Или еще меньше. Учителки же. Из обычных школ...

Он тряхнул лобастой головой с непокорным, вздрагивающим над левым виском чубчиком. Резким рывком, встав с песка, пошел к воде.

— Знаешь, как я придумал эти штуки с цитатами? — крикнул он уже из воды.

— Не, не знаю.

— Когда мой старший брат с другом своим поспорил на ящик пива, что напишет в своей пояснительной записке к дипломному проекту, что у него какой-то там подшипник, он инженер-механик, из березы. Так и напишет: «материал — белая береза», — и никто не заметит. И не заметили. Ящик пива он выиграл. А защитился на отлично. Не трусь. Институт — это как трамвай: главное вскочить на подножку, а там пять лет, как пять остановок пролетят, — так мой брат говорит — не выпадешь, если не оболтус.

— Но ты же выпал из радиотехнического, — несмело возразил Ковальский.

— Я не знаю, чего хочу, мне все охота, неохота пять лет на ненужную мне профессию угробить!

Он присел по подбородок в воду. Охнул громко, поднялся во весь рост и бросил себя, раскинув руки и ноги, в воду. Его долго не было видно, но потом он бесшумно показался. Над водой виднелась одна голова. Не спеша голова продвинулась метров на двадцать по течению и вновь надолго ушла под воду.

«Вот нырок-то, — наблюдая за ним, думал Ковальский. — Не простой парень, занятный».

Новый знакомый ему понравился. И имя его тоже нравилось. Оно завораживало. Иннокентий! Такое имя не всякому дают.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Те «ребя» с площади Революции, которым он попался на глаза в первый день приезда в город, не забыли про Ковальского. Выследили его. Или он случайно попался.

Они вышли на него с ракетками для настольного тенниса. Вроде бы безобидные штуки, а в умелых руках – чуть ли не саперные лопатки.

Ковальский их узнал сразу. И понял: попытаются бить.

Один из них пошел из-за угла дома, в котором Александр жил у дядьки. Другой – сзади из ворот тесного проходного двора напротив. Его Ковальский почувствовал за своей спиной и обернулся.

И время-то вроде еще светлое. И прохожие идут на той стороне улицы. Но все было отработано четко. Видно, не впервые.

Тот, который появился спереди, шел прямо на Ковальского. Было видно его лицо. Это был узкоплечий ушастик.

«Где нож?» – мелькнула мысль. Ковальский искал глазами нож и не находил. Была только несерьезная ракетка. «Тогда у этого, который со спины. Его надо стеречь!» Он повернулся и ждал его. За спиной парня замаячила еще фигура и Ковальский отвлекся, соображая: это еще один из них или просто прохожий, а значит его, Ковальского, возможный помощник?

Ударил, мгновенно приблизившись, тот, который оказался теперь за спиной. Его Ковальский упустил на миг. В последний момент, почувствовав опасность, Ковальский отвернул голову влево. Удар ракеткой пришелся по касательной выше виска, в густые волосы. Кровь потекла обильно и он почувствовал сильную боль. Рванулся было за тем, который ударил его. Парень не спеша, натренированно, играючи, как на баскетбольной площадке, сделал выпад влево, еще влево, потом легко вправо к стене. Мгновение, и оба налетчика скрылись в темном дворе.

Он дернулся было к проему, но опомнился: «Зачем бежать мне за ними, когда, может, что-то серьезное с головой, сильная боль такая...»

Вся левая сторона лица и воротник рубашки были в крови. Кровь была уже и под рубашкой. При тусклом освещении, вся в крови, ладонь левой руки казалась безобразной.

«Если серьезное будет что-то с головой, привезу свою одностволку и перестреляю их, – лихорадочно, сторяча думал он. – Уж больно обнаглели. Форс давят. Я ведь им ничего не сделал».

Он прислонился к кирпичной стене спиной. Голова кружилась.

— Ты как?

Ковальский вздрогнул. Перед ним стоял мужчина средних лет, видно еще крепкий. Коренастый такой.

— Я видел все, шел сзади. Хорошо сделал, что не побежал во двор за ними. Там тукнут из-за угла гирькой или чем-нибудь еще.

Подошли еще двое: мужчина и женщина. Кто-то вызвал «скорую помощь». Женщина все охала да охала. Бестолково кому-то грозила.

В трампункте выяснилось, что череп у Ковальского цел. Рассечена только кожа. Ему обработали рану и забинтовали голову от виска до подбородка.

Врач собирался звонить в милицию, Ковальский попросил его этого не делать.

— Как так? — удивился тот.

— Да так, лучше не надо.

Он подумал, что на вызов может приехать тот самый белобрысый старшина милиции, Сашка, кажется, похожий на утевского милиционера Антошкина. Или кто-то из таких же, и все пойдет по известному сценарию. Все бестолку. «Через два дня и повязка будет не нужна», — думал Ковальский.

...Городских родственников он упросил домой не сообщать о случившемся: переполошатся зря.

Дядька Сергей все порывался пойти походить по улицам посмотреть «этих гадов», но его не пустили.

«Хорошо, что это случилось не во время экзаменов», — нашел для себя утешительную сторону в случившемся Ковальский.

Через три дня после последнего экзамена должны были вывесить списки поступивших. Оставалось ждать один день.

...Его фамилии в списках не оказалось.

Вообще в списке на букву «К» не было ни одной фамилии. «Невезучая, наверное, буква», — уныло думал Александр, отходя в сторону от доски с объявлениями.

...За сочинение он получил «хорошо». И выходило, что Ковальский должен быть принят, у него была необходимая сумма баллов — тринадцать. Но оказалось, что проходная сумма баллов равна теперь четырнадцать. Это был высокий балл. На других факультетах он оказался значительно ниже и можно было попробовать туда передать документы. Но это уже не химико-технологический факультет. Да и в той суматохе, которая царила в деканатах после экзаменов, вряд ли можно было понять, что лучше предпринять. Он решил, что самое лучшее действие — полное бездействие.

Ковальский ушел на набережную Волги. Долго неприкаянно болтался там. Когда надоело, пошел в общежитие. Но и там не найдя никого из тех, с кем сдавал вместе экзамены, уехал к дядьке.

Получалось, что Ковальский будто выпал из общего потока. Все куда-то умчались. Он же застрял в какой-то заводи на улице Венцека. А тут еще синяк под глазом, который образовался на другой день после случая с ракетками.

...Его отыскивали через два дня посыльные из деканата. Александру, оказывается, предстояло пройти собеседование.

Когда он вошел, декан был один в кабинете. «Похож на нашего бывшего директора, ушедшего на пенсию», — отметил Ковальский и от этого ему стало спокойнее. Было любопытно. Он впервые видел живого декана. Не совсем понятно было, что это такое — декан. Новые слова притягивали: абитуриент, аудитория. Они ему нравились. Декан — слово звучное.

— Ну, ты чего же «четверок» нахватал и на экзамене по литературе пижонился? — спросил декан неожиданно буднично. — Мне рассказали наши.

Ковальский молчал. Он не знал, как отвечать. Ответы были. Они сразу возникли у него, привыкшего к анализу. Но какой из них нужен этому седому, крупному человеку? И что он хочет от него?

— Да ладно, не напрягайся, можешь не отвечать. Вот скажи: спортом занимаешься? И каким?

Ковальский ответил: штанга — третий разряд, футбол, волейбол — был капитаном, настольный теннис.

— Рисуешь? — мягко перебил декан.

«Если скажу «да», замучают, как в школе, со стенными газетами, оформлением классов, скажу «нет» — а вдруг это важно». Он уже понял, что идут в некотором роде смотрины.

— Немножко, — ответил Александр уклончиво.

— Знаешь, кто нарисовал «Утро стрелецкой казни»? — неожиданно спросил декан и показал на картину, висевшую на стене.

— Суриков, — чувствуя некую неловкость, ответил Ковальский.

— А кто автор картины «Грачи прилетели»?

— Саврасов. Это же все хрестоматийное. — Сказал Александр и умолк. Ему показалось, что он ходит по лезвию ножа. Дерзить глупо. А его «хрестоматийное» может показаться дерзостью.

— Ну-ну, — добродушно сказал его собеседник, — ты не обижайся.

Он оглядел Ковальского с ног до головы и многозначительно хмыкнул.

Александр посмотрел на свои ноги, обутые на босу ногу в летние сандалии, которые все звали «плетенками» и поджал их под стул. Ему показалось, что декан не одобряет его обувки. «Вот ведь, не оценки могут решить судьбу, а Суриков. Или мои «плетенки», будь они неладны».

— Понимаешь, разбавить надо, — почти доверительно проговорил декан.

— Не понимаю, — осмелился ответить Ковальский. Он действительно не сообразил: что разбавлять, чем и зачем? И причем здесь он, Ковальский?

— Четыре группы набрали. И в каждой только по пять-шесть ребят, вот беда: девки всегда лучше учатся, потому и сдают успешно. А кто на заводах работать будет? Она — раз и вышла замуж. И родила. И сидит дома. А химия — производство непрерывное, его не остановишь. Кто работать будет? — произнес он, глядя на Ковальского и усмехнулся.

— Разбавлять надо, — согласился Ковальский.

— Вот! Понимаешь, государственную задачу решаем. — Он неожиданно засмеялся.

Улыбнулся и Ковальский.

— Но ты смотри, гадкий, — кандидатом берем, сверх лимита. По результатам первой сессии решим: будешь дальше учиться или нет. Понял?

— Понял, товарищ декан, — чуть не по-военному ответил Александр. Ему показался ответ сухим, и он попытался исправить его: — Понял, товарищ Иван Григорьевич.

— Иван Максимович, — поправил декан. И продолжил строго: — Раз понял, скажи: кто синяк-то тебе посадил под глаз? Не смотришься ты с ним как-то. Не серьезно, понимаешь? А тебя принимать надо.

— Понимаю, — согласился Ковальский.

— Что понимаешь? Я спрашиваю: кто?

— Долго рассказывать, — замялся Ковальский.

— Иди, — мотнул рукой декан. — Ты мне еще попадешься — смотри!

Выйдя из деканата, он пожалел, что оказался таким неуклюжим в разговоре. «Подумает, что заискиваю перед начальником, а от меня сроду этого не добьешься. Тут совсем иное — он должен понять».

На главпочтамте, порывшись в карманах, дал телеграмму родителям. Она получилась как выкрик: «Ура! Поступил!!!». Он намеренно поставил жирные восклицательные знаки. Знал, что можно в телеграмме без них. Но это было бы совсем не то. Да и денег у него на эти знаки хватало.

«Сколько же будет сиять у меня этот фонарь под глазом? – раздумывал Ковальский, выходя на улицу. – И как от него быстрее избавиться?»

Ему очень не хотелось возвращаться домой в таком виде. Из города в деревню – с синяком?..

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Хрущевские реформы дотянулись и до высшего образования. В деканате было объявлено, что с 1-го сентября первокурсники на три недели едут убирать картошку. А после картошки нефтехимики будут направлены на учебу в Тольятти и Новокуйбышевск в филиалы института на вечерние отделения. Предстояло работать на нефтехимических заводах в цехах, а вечерами учиться. И так – полтора года. И только после этого они должны вернуться в Куйбышев на дневное обучение. Но не на второй курс, а на первый.

Такая подготовка специалистов называлась совмещенной. А студентов стали звать соответственно – совмещенниками. Ковальский оказался среди первых совмещенников.

Реформы, получалось, съедали у тех, кто закончил одиннадцать классов в шестьдесят втором году, целых полтора года.

Лишний год Ковальский до этого проучился в средней школе с производственным обучением. Результатом этого было полученное им удостоверение тракториста-машиниста широкого профиля третьего разряда. И три небольших шрама над верхней губой, оставшиеся после аварии в степи при работе на тракторе. Но то – мелочи жизни...

Вторая часть реформы: совмещение обучения с работой на нефтехимическом заводе была значительней. И должна была дать многое. Но закончится ли с этим совмещением работы и учебы для Ковальского его личное «совмещение»? И закончится ли оно для него в институте? Сколько усилий потребуется ему, чтобы «совместить» в себе его деревенское с городским, неопытность со зрелостью, русское с польским, веру с безверием? Долго ли пронесет в себе тягу к технике, безоговорочную уверенность во всемогуществе технического прогресса, как панацеи от всего?

Всему свой черед.

Немало предстояло Ковальскому преодолеть. И не в один год. И не в пять лет. И не без потерь. Хватит ли жизни на остальное? И по плечу ли?

...Картошка всех сдружила. В далеком татарском селе первокурсники проходили суровую школу чиновничьего равнодушия и безалаберности. Спали на соломе. На необозримых картофельных полях не было ни одного нужника. Их заменяли небольшие овражки в конце почти стометровых рядов картошки.

Ковальскому эти неудобства были знакомы. Вспоминалась посадка яблоневого сада под Нефтегорском. Но там было все более-менее по-людски. Были все свои: учителя, работники питомника.

На уборке картофеля – совсем иное. Даже почва и то здесь была другая: чернозем, который при моросящем дожде становился вязким, обувка мокрой и тяжелой... А местное начальство было недостигаемо при любой погоде. Казалось, все, что касается уборки картофеля – дело только приезжих и никого другого...

...А под Нефтегорском была темно-коричневая песчаная почва. Податливая и привычная. Да и посадка велась в бодрые, солнечные дни, рождавшие в душе радость и волнение не на один день...

...Жили совмещенники, вернувшись с картошки, в рабочих общежитиях на красивой и праздничной от обилия молодежи улице имени Юрия Гагарина. Гуртаев, Ковальский и Иннокентий Рамазанов поселились в одной комнате. Инок – так в группе звали Рамазанова – редко бывал в общежитии. Он оказался женатым и уезжал в Куйбышев к своей жене Ольге, которую никто из группы пока не видел. Гуртаев и Ковальский быстро сдружились, несмотря на разницу в возрасте. Староста группы Гуртаев уже успел и на производстве поработать, и в армии отслужить. Это не мешало им быть на равных.

Была одна особенность у комнаты, в которой поселились совмещенники: четвертым жильцом был веселый душа-парень Михаил Оборин – рабочий, уже бывалый оператор. Он был родом из села Мало-Малышевки. Той самой, в которую Шурка с дедом всегда заезжали, когда бывали на сенокосе в тех краях. Оборин знал и лесника Репкова. Рассказывал о нем смешные истории. Общение с земляком, самое даже обычное, согрело душу Александру.

Оборин успел закончить техническое училище, поработать в городе Грозном на химическом заводе. А теперь его пригласили, как опытного специалиста в цех получения полиэтилена. Он участвовал в пуске сушильного отделения.

Сразу после знакомства у Оборина возникло неодолимое желание побороть Ковальского. Они схватились несколько раз подряд, но Оборин терпел поражения. И каждый раз деловито, без обиды, пытался понять, почему проиграл. Эта его дотошность притягивала окружающих. Он гро-

могласно объявил в комнате, что берет социалистическое обязательство через полгода побороть Ковальского.

Ковальский пообещал, что будет за него переживать, но не более. А Гуртаев взял исполнение обещанного на контроль.

Куйбышевский завод синтетического спирта был в Поволжье первенцем — первым в создании новой, никому до того неведомой здесь отрасли отечественной промышленности — нефтехимической. Такие процессы, как органический синтез, полимеризация, гидратация, впервые стали осваиваться на заводе, куда прибыла группа Ковальского на стажировку.

Предприятие стало школой подготовки необычных профессий, производственной лабораторией по выпуску кадров не только для Поволжья, но и всей страны. И здесь совмещенникам предстояло освоить профессию аппаратчика нефтехимического производства.

Ковальский один из всех почему-то попал в цех производства полиэтилена. В тот самый, где он был около года назад на экскурсии с группой утевских школьников.

Цех только что пустили, еще были в нем немцы, проводившие шеф-монтаж. Что-то не ладилось. Много было непривычных слов: гранулят, нитка полимеризации, центрифуги, аппараты Наута — и всякого другого.

Он будто оказался посреди муравейника или улья с пчелами. У каждого здесь — своя роль, свои обязанности. Он же в первые дни был никому не нужен.

Его определили в смену «Б», которая, как он услышал в курилке, была самая крепкая. Александр сидел в операторной и читал инструкции. «Нитка обработки», так называлось его рабочее место, пока еще не была пущена. Таких «ниток» в цехе всего шесть. По одной «нитке» на каждый реактор. Вначале из газа этилена получали раствор полиэтилена и на «нитке» в центрифугах отжимали из раствора полиэтилена жидкую фазу, получая порошок. Обработка — процесс полуавтоматический. Вокруг световые указатели, блокировки, сигнализация. Рабочий щит — как живой. На нем все время что-то происходит. «Загрузка», «фильтрация», «подвод ножа», «выгрузка» — эти надписи чередовались: то гасли, то зажигались. Техника — самая передовая. Технология немецкая, оборудование немецкое. Когда Ковальский спросил: «Почему так, почему все немецкое?» — ему снисходительно пояснили: «Так у нас, русских, нет своего — ни того, ни другого».

...Он быстро изучил инструкции и готов был сдавать экзамен, недоумевая, почему заместитель начальника цеха тянет с назначением дня приема. Наконец, и этот рубеж Александр преодолел. Через два ме-

сяца с момента появления в цехе ему присвоили третий разряд аппаратчика узла обработки полиэтилена.

Помогало вживаться во все подробности цеховой жизни и то, что в его смене работал Михаил Оборин, охотно дававший необходимые пояснения.

...Открытия преследовали Ковальского на каждом шагу. И не только в технологии. Он совсем случайно в курилке узнал, что у аппаратчика их смены, весельчака Виктора Брусничкина, капитана цеховой сборной по волейболу, отца, попавшего во время войны в плен, сослали в лагерь и он там умер.

— А что же он такой веселый? — непроизвольно обронил Ковальский, узнав об этом.

— Чудак ты человек, — ответил ему расторопный Косолапов, которого все звали Медведем и у которого стажировался Ковальский. — Вот если бы у тебя такое, ты что, сидел бы всегда как на похоронах? Ведь жизнь-то идет!

— Да, идет, — глуховато согласился Ковальский. А про себя подумал: «Мой отец, поляк, может, давно бы уже вернулся в Союз, а его — в Сибирь...»

Многое теснилось в голове: рассказы об отце, встречи в Утевке с Кочетком, который работал с отцом в мастерской, советы бывшего директора школы Кузьмы Емельяновича Данилова — попробовать найти следы Мокридиных.

«Что же мне делать?» Поразмыслив, он решил заняться вначале поиском своей одноклассницы Верочки Рогожинской, уехавшей так неожиданно вместе с родителями из Утевки в город. «А потом по ходу дела посмотрим».

...Приехав после уборки картошки в город, он почувствовал заметную перемену. Там Александр выделялся. Это он чувствовал и сам; был и сноровистее, и выносливее многих. Сказывался деревенский навык делать изнурительную работу. Он ведь и среди деревенских-то выделялся умелостью работать — дедова и отцова выучка.

...Те, кого было не видно, не заметно на трудной работе в поле, кто не торопился или не успевал там — почему-то стали бойчее и увереннее. Убедительнее. И к Ковальскому стали относиться заметно прохладнее. Словно, не стовариваясь, не прощали его превосходства на грязной, вязкой земле, с растоптанной ботвой, мокрой осклизлой картошкой. Не прощали его умение быстро и расторопно уладить самое непростое дело. Будто молча говорили ему: «Твое же место там, на картошке, почему ты здесь?» Словно брали реванш за свое унижение на

колхозной земле. «Отчего это так? — думал он. — Ведь я же начитан, кое-что умею, знаю. И потом у меня ни к кому нет претензий. У каждого есть право быть самим собой». Но, оказывается, это право ему никто не гарантировал. Это он почувствовал скоро.

* * *

Первая группа вывалилась после вечерних лекций на улицу. Большая часть направилась в общежитие. Человек десять со старостой пошли на площадь к фонтану напротив ресторана «Дружба».

Шли, болтали. Кто о чем. Ковальский молчал. Но когда Еськов — самарский разбитной парень, заявил, что поймал в воскресенье на рыбалке голавля в метр длинной, Ковальский со знанием дела высказал сомнение.

— Голавли такие очень редко бывают. Это не голавль, очевидно, был... — сказал и сказал, совсем не желая обидеть говорившего. Разговор-то пустяковый совсем.

— Да ладно! Ты там, в своей Клоповке, в щели запечной сидел, ничего не видел. А туда же... Хвалишь свою деревню, как кулик болото. Мы уже наслушались. И видели на картошке, какая она, деревня ваша.

Ковальский не ожидал такого откровенного наезда.

Он в упор взглянул на говорившего. Маленькие карие глазки на упитанном, загорелом лице бегали жуликовато. «Да он же наглец, еще тот наглец», — подумал он и поправил с расстановкой:

— В Утевке, в селе Утевке...

— В Утевке, Клоповке — все одно. «Лапти да лапти, да лапти мои», — вдруг по-скоморошечьи пропел Эдик, выбежав вперед всех и картинно подбоченясь. Потом задергал плечами и добавил: — «Валенки ды валенки, ды не подшиты стареньки, ды!» Все собрал в кучу.

Ковальский понял: это проба. Но такая явная, безоглядная, самоуверенная... Это же тот Эдик из детства его, притеснитель и хам. Как две капли... Даже не верилось, что так можно при девчатах. Прimitивно. Служнявить было нельзя. Он резко метнулся вперед.

В следующий момент, этого никто не ожидал, его крепкий кулак ловко приложился под глаз смуглого Эдика. Рука сработала как поршень. Еськов оказался под молоденькой липой, смешно задрав выше головы левую ногу в коричнево-темном ботинке.

— Ты что? — Староста Гуртаев схватил Ковальского за кисть и попытался заломить руку. Но не тут-то было — Александр вывернулся. Он был готов ко всему.

Вскочивший Еськов, с налитой злобой глазами, как резвый, готовый на все бульдог, втянув шею, бросился в атаку. Гуртаеву удалось схватить его поперек туловища обеими руками за пояс. Он весь, расставив ухватом ноги, напрягся, еле удерживая Еськова.

— Вы что, чумовые? — взвизгнула Влада Чарушина и загородила Ковальского. Остальные, отступив, сбились в кучку.

— Да я ж его, салагу, я его... — Еськов готов, кажется, был заматериться, но не решился.

Пока сдерживался, потерял запал. Староста успел перехватить его еще крепче.

— Давай-давай, сначала сопли убери красные, служивый, потом драться будешь, — с расстановкой проговорил Ковальский, отстраняя рукой Владу.

Он видел, как обидно было Еськову, как он, отслуживший в армии, не может поставить на место неслужившего его. «Мы таких уже видели», — подумал, но не сказал Ковальский. Он вспомнил борьбу молодого городского парня из Нефтегорска, квартировавшего у соседки Любаевых — Мани Сисямкиной, Разлацкого и дядьки Сереги на задах, в Ваньковом переулке. Тогда Разлацкий, а с ним и город, победили. Но не теперь... Помнил он и про ракетки на улице Венцека.

Влада все-таки оттеснила подальше Ковальского, Гуртаев отвел в сторону Еськова. И так, двумя группочками, они ушли с площади.

— Ты что, так всегда поступаешь? — спросила Влада. И не дождавись ответа, обронила как будто себе под ноги. — Ну, прям, дикарь какой-то!

— Нет, не всегда. Когда надо, — спокойно отвечал Александр, осторожно трогая губами кулак. — Долго будет свои «лапти» помнить.

Он понял, что один и перед этой горожаночкой Владой. И надо держать оборону до конца. Дело чести, как перед Эдиком.

— Скажи, когда ты последний раз дрался? — не унималась Влада.

Ковальский молчал. Проговорил нехотя:

— Этим летом мне досталось.

— Представляю. Сам поди напросился.

Александр молчал.

— Ты в городе не веди себя так, тебя могут поломать крепко. Я — запанская. Есть такой в Самаре хулиганский район. Видела кое-что.

— И я видел, — ответил Александр.

— Вообще, брось эти привычки деревенские. Иначе уроки тебе будут обеспечены. Этот Эдик из шпаны, видно, — не унималась Влада.

— Кое-какие уроки мне уже дали, — сказал незлобно Александр, имея на уме борьбу Разлацкого с Сергеем в пыльном переулке. — Но я деревню в обиду не дам.

— Что ты говоришь? — удивленно воскликнула Влада.

— Народ сельский не дам оскорблять!

— Прям, какой-то Робин Гуд. Ты наивный такой, ей-богу... Тебе либо кости переломают, либо турнут такого из института. — Она замолчала, потом добавила: — Подумай, ты же от своей слабости дерешься.

— Как? — не понял Ковальский.

— Ну, кулаками верх хочешь взять, а есть ведь голова? Можно сказать хлеще, чем ударить. Это у тебя есть? А ты враз как бы признаешь себя побежденным — и за это мстишь кулаками. Словами победить слабо?

Ковальского это покорило.

— Таких словами победить можно? Он же прохвост? Видно. — Помолчал и добавил: — Сравнила тоже. Робин Гуд был головорез. Он отрубал головы противников и сажал на кол. Жил в конце тринадцатого века, партизанил против Эдуарда второго в Шервурдском лесу. Масштабы! Король, наверное, тип был еще тот. Все Эдуарды, которых я знал — бандиты. Этот Эдуард второй, наверное, был не исключение.

Влада даже остановилась при последних словах.

— Боже, гремучая смесь какая-то. Дикость. И в тоже время — основательность особая. Ты, бог знает, кем можешь стать. У тебя неудержимый, оказывается, характер. Где ты рос?

— Как, ты разве не слышала где, вон тот, с разбитой физией, уже объявил: я — из Клоповки.

— Перестань. Нельзя же сразу и меня в лицо кулаком. Или у вас все такие? На картошке были: грязь, неразбериха, всего вдоволь, но драк же не случилось!

— А вот, если бы тебя обозвали какой-нибудь калчужкой?

— А что это такое?

— Не знаю, мама моя так называет тех, кто чересчур несуразный.

Она оглядела его с ног до головы бесцеремонно, даже насмешливо.

— От тебя шип идет.

— Что за шип такой?

Она пояснила:

— Это когда шкворень горячий в воду опускают. Он шипит. Вот и ты здесь, в городе, стал таким. А на картошке был уравновешенный. Ловкий и отзывчивый. В тебя же там чуть не все наши девчонки влюбились. В грязи, в суматохе ты выигрываешь, а где все вроде бы нормально —

тебя корежит. Я не первая заметила. Асфальт под ногами ровный, а тебе на нем непривычно. Спотыкаешься.

Он шел рядом молча. Она говорила то, о чем он сам часто размышлял. В душе Александр во многом был согласен с этой миниатюрной, открытой и бойкой горожаночкой. Понимал, что предстояло в институте не только «грызть гранит науки», но и осваивать новый материк — городскую жизнь, быт ее. Слишком лихо десантировался он в новую, другую жизнь. Даже вот она, Влада, поучает его. Чувствует свое превосходство.

— Мы пришли.

Он и не заметил, как дошли до женского общежития.

— Пока! Не унывай. Ты у нас в группе родинка на самом видном месте. Заметная. — Она ни чуть не смутилась, сказав это и махнув рукой, пошла к подъезду.

«Какая родинка и где?» — смешался Ковальский.

Он шел по тротуару, на теплом асфальте которого лежали желтые листья и невесело подводил итог начала своей городской жизни. Поразмыслив, подумал, что, может, она и права, эта запанская девчонка. Ведь Разлацкий, нефтегорский буровик, оказавшись один среди утесских, не дрался, а его принимали за своего. Не трогали. Он не дрался — он боролся. У него похожая ситуация. Только тот — горожанин — был в деревне. А он — сельский — попал в город.

«Ладно, попробую драться только тогда, когда с кулаками на меня сами полезут, — дал он себе слово. — Попробуем другое оружие...

А новый материк, городскую жизнь, надо осваивать. Куда деваться? Да и не только городскую. Просто жизнь — необъятный материк, в нем неделима жизнь — деревенская и городская... Неделима!»

На другой день, когда он пришел на лекции, оказалось, что его за драку осуждают не все.

— Здорово ты ему врезал, не ожидал, крепкий ты парень, я это оценил, — признался староста Гуртаев.

— Я и тебе хотел врезать, когда ты на меня попер, — сознался Ковальский.

Староста как-то чудно икнул и разразился смехом. Тихо он смеяться не умел. В аудиторию они вошли оба весело улыбаясь.

* * *

...Ковальский, к своему удивлению, оказывается, не знал элементарного: в первый раз в столовой он не сразу сообразил, что «гарнир»

— это всего-навсего каша, картошка, рис, только с чем-нибудь еще основательным, вроде котлеты, колбасы...

У них в селе, дома, такого слова не было. А в книгах не попадалось.

...Две белые простыни на койке в комнате: одна на матрасе, а другая — к байковому одеялу вместо какого-то пододеяльника, которого он никогда не видел, приводили его в тихое восхищение. Ему нравилось по утрам застилать кровать, оставляя сверху прямоугольнички байкового одеяла, обрамленные аккуратно свернутой вдвое простынею. У них в доме простыней не было. «В пионерском лагере, наверное, были, — рассуждал Александр. Но он никогда в лагере не отдыхал. — Кто же, если уедешь в лагерь, дома дела делать будет? Даже чудно?»

Он впитывал все новое, как губка. Порой было так обидно не знать простых вещей. Хотя и понимал, что это естественно в его положении, но часто чувствовал себя униженным. Как объяснить это горожаночке Владе и другим? Да и надо ли объяснять свои проблемы? Влада совершенно не принимает той половины его натуры, без которой он не Ковальский. Куда ему девать эту половину, если она есть. Эти половины как сиамские близнецы.

«Развивать и крепить знания, интеллект. Прав увы, брат Петро, сказавший у самолета при посадке, что я — десант очень зеленого пока цвета. Начиная с моего чемодана... Я больше чувствую, чем знаю. А так нельзя в городе».

То, что Влада Чарушина явно к нему равнодушна, Александр узнал, еще когда они были на уборке картошки. Она сама призналась, что обратила на него внимание, когда писали сочинение на вступительном экзамене.

— А когда мы оказались в одной группе, — говорила она, — то поняла, что пропала.

Ее прямота была для него необычна. Он не знал, что с этим делать. Она слишком торопилась занять на него какие-то права, на глазах у всех. Его это настораживало. А она только смеялась и продолжала вести себя с ним так, что он порой ее сторонился. Слишком она была инициативна и не скрывала ни перед кем своих намерений. Права оказалась бойкая землячка Аксюта: Ковальский был приметный парень.

И он был влюбчив.

...Когда он наконец-то добрался до своего общежития, то не пошел к подъезду, а свернул в скверик напротив. Где была школа и пестрели за изгородью ребяташки. Ему еще надо было кое-что додумать.

Он вспомнил наставления Владимира Пудовкина, которые тот давал ему, на Ледянке, убеждая в необходимости учиться дальше, и усмехнулся:

— Вот он — я, частичка будущей интеллектуальной силы России, а многое вижу впервые. В свои-то восемнадцать лет... Ничего себе разгон?!

Как все-таки быстрее узнать городскую жизнь?

Он уже успел записаться в областную библиотеку.

В библиотеке настоящую жизнь не узнаешь. Это Александр понимал. Но там наткнулся на такие вещи, которые раздвигали слежавшуюся пластинами обычную жизнь.

Накануне, в прошлую субботу, в его руках оказалась книга, которая ошеломила его. Широта охвата того, чем сейчас была заполнена его жизнь, явилась неожиданной. Александр отложил книгу. Вышел в город и купил большую общую тетрадь в клетку, решив, что будет заносить в тетрадь все то, что касается его будущей профессии.

— Ты сразу министром, что ли, хочешь стать, сдай сначала на четвертый разряд. Торопись малость, — шутили соседи по комнате.

Это его не смущало. Наоборот. Он нашел источник, который питал его, двигал вперед.

В тот первый день, когда он купил общую тетрадь в клетку, в ней появилась первая запись: «Настоящей книгой авторы пытаются восполнить тот пробел по вопросам химии и технологии получения полимеров, который имеется в ряде пособий для учителя». Так писали авторы книги: доктор химических наук, профессор В. Е. Гуль и доктор экономических наук, профессор Н. П. Федоренко.

Первая глава этой бесценной сейчас для Ковальского книги открывалась словами Никиты Сергеевича Хрущева: «Наш народ гордится успехами в развитии отечественной химической промышленности, которая по существу была заново создана за годы Советской власти. По производству химической продукции Советский Союз занимает первое место в Европе и второе — в мире, а в 1965 году по выпуску важнейших химических продуктов СССР вплотную подойдет к уровню производства их в США».

Шла осень 1962 года. Цех по производству полиэтилена был пущен 14 сентября 1962 года. Все только начиналось. И начиналось на глазах Ковальского.

Александр встал со скамеечки и направился в общежитие.

...В следующий раз он записал в своей тетради: «За семилетие должно быть построено в стране заново или закончено строительство

более 140 крупнейших химических предприятий и свыше 130 предприятий должно быть реконструировано... Около половины всех ассигнований на развитие химической промышленности будет направлено на строительство предприятий по производству пластичных масс, искусственных и синтетических волокон, синтетического каучука и спирта».

Был упомянут синтетический спирт и Ковальский понимал, что речь идет и о заводе, где он работает. Ведь таких заводов-то в СССР было всего три: в Новокуйбышевске, Уфе и Грозном. Он это уже знал от начальника цеха Валентина Сафроновича Самарина.

«Потом покажу свои записи школьной «химичке» Валентине Сергеевне. Ей на уроках тоже понадобится», — думал он, делая эти записи.

* * *

Будучи один, Ковальский проявлял удивительную работоспособность. Стоило ему попасть на глаза Влады, он тушевался. И она порой к этому подталкивала сама.

— Ты слишком закомплексован, ты весь в себе... очень сосредоточен, иногда желваки ходят ходуном — выдают тебя. У тебя проблемы?.. Ты — то веселый и открытый, то угрюмый, страх какой. Как с перебитым крылом ходишь. У тебя неудачная любовь была?

При этих ее словах он усмехнулся. Уже в который раз подумал: «Стану разве рассказывать, что я с одного материка шагнул на другой. И там, на сельском материке, столько осталось дорогого и неизбежного, что порой бывает невоготу от одной мысли о неповторимости этого. А может, мне надо было поступать на нефтяной факультет? Тогда работал бы на земле, а не на этом гладком асфальте, где и люди другие и я непонятно какой... На земле надо трудиться, вот где мое. Интеллигентом, но на земле...»

Мысль о том, что надо поменять факультет и уйти в нефтяники, чтобы вернуться на землю, еще несколько дней занимала его. Но потом сошла на нет. Как-то забылась. Много было событий разных. Они захватывали новизной, а Ковальский все же был азартным. И любил конкретное дело! И результат своего дела любил видеть. Это заметили уже и в цехе, где он работал.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Просматривая месяца через два после начала учебы расписание занятий, висевшее в коридоре второго этажа, Ковальский увидел знакомую фамилию. Это было так неожиданно, что он вначале не мог поверить. Изумленно прочел несколько раз и фамилию и номер аудитории, где Рогожинская А. С. читала будущим механикам начертательную геометрию.

...Рогожинская А. С. оказалась полноватой седой женщиной, улыбающейся и приветливой. Не верилось, что она читает механикам такую сухую дисциплину как «начерталку».

Александр подошел к ней сразу после лекции.

— Анастасия Сергеевна, извините, мне по личному вопросу можно к вам? — волнуясь, произнес Александр.

Она вскинула голову и он увидел... Верочкины глаза: большие, голубые. Только на другом лице, взрослом. Но очень похожем. Эти глаза смотрели даже приветливей и открытей, чем у Верочки. «Неужели это ее мать?»

Александр сейчас должен был задать вопрос, ответ на который для него так много значил. Она смотрела на него знакомым, запавшим в душу с детства взглядом.

— По какому личному? Пересдача зачета? Я вас что-то не помню?

— Да нет, — проговорил с расстановкой Ковальский, — я по другому делу.

— Ну, говорите же, я слушаю. — Она сказала эти слова безо всякого нажима: хотите, мол, говорите, хотите нет. Но раз уж...

— Вы знали Верочку Рогожинскую? — решился Александр.

Тень пробежала по ее лицу. Это он заметил.

— Она моя племянница, дочка моего брата.

— Да? — выдохнул Александр.

Он уже понял, что эта женщина напрямую связана с Верочкой. Но все так неожиданно. И ошеломляюще просто. Еще одна-две фразы и все! Встреча с Верочкой вполне реальна! С Верочкой, о которой так много думал! Которую так ждал! Более того, это он мог сказать себе вполне определенно: предстояла встреча, для которой Александр берег себя.

— Мне надо бы знать где она, — произнес он.

— А вы кто?

— Ковальский, — ответил Александр и пояснил: — Она с родителями жила когда-то в Утевке, потом уехала. А мы с ней... — он запнулся. — Мы... я учился в одном классе... с ней.

— Я знаю, Верочка часто вспоминала о вас. Вашу фамилию я помню. И то, как моя племянница говорила про вас, помню. — Она печально улыбнулась.

— Да!.. — невольно вырвалось у Александра.

— Давайте перейдем в пустой класс, здесь шумно, — предложила Анастасия Сергеевна.

— Да, — с готовностью согласился Ковальский.

...Из класса он вышел пошатываясь.

В каком-то вязком тумане светилось в его сознании лицо Верочкиной тетки. И пока он спускался по лестнице, слышался издали откуда-то ее голос, говоривший одно и то же несколько раз. До боли в голове: утонула... утонула... Все услышанное только что, давило, теснилось в голове: «...Она влюбилась в него, в Олежку, а он был байдарочник, увлек этим и ее. Вера десять классов кончила, не одиннадцать, как вы вот. После первого курса пединститута и выскочила замуж. Он на электротехническом учился у нас... Она ведь и плавать не умела. Такая домашняя вся... Его отец генерал был. Заместитель командующего ПриВО. Перевели в Ленинград. И они с ним — туда».

«...Она влюбилась в него... она влюбилась в него...» — отдавал ему этими словами в затылок каждый его шаг по лестнице. У него кружилась голова.

Когда спустился на первый этаж и шел мимо вахтера, старенькая Клара Петровна внимательно посмотрела на него и молча покачала головой. Ковальский ее не видел. Он никого не видел.

«...Привезли Верочку в цинковом гробу... Я как чувствовала: отговаривала не ходить в этот странный поход, но меня не слушали: река Белая — тихая, спокойная река, — все мне говорили. Вот и тихая. Вода она и есть вода... И речка-то для нас всех оказалась черной».

Как вышел на улицу, Ковальский не помнил. Лицо было все в слезах. Александр не знал, что делать, куда идти. Он видел перед собой под ногами грязный асфальт. Кто-то шел мимо: туда-сюда. Люди серыми картонными силуэтами передвигались вокруг. «Куда они все идут?» Ноги сами привели его на пустырь за заводским общежитием, где было нечто похожее на стадион.

Он присел на скамейку. Все футбольное поле было перед ним. А он видел сейчас только серое ноябрьское небо. И Верочка в нем ясно виделась ему улыбающейся и безголосой. Звук ее голоса не доходил до него. Или его не было — ее голоса. А был только беззвучно открывающийся странный большой рот...

Ковальский тяжело переносил потери. И знал это. Порой обычное расставание, «пока-пока, до свидания» у автобуса его выводило из равновесия. Он сторонился провожаний.

Потери его рвали изнутри на части.

В нем странным образом соединялись стремление держать дистанцию в отношениях с окружающими и эта черта — прикипать накрепко к тем, кто был около него.

...У него появилась резкая боль в висках и он почувствовал, что правый глаз не так видит, как обычно. Александр подумал, что виной тому слезы и промокнул платком, держа его в нескладных пальцах. Нет, глаз лучше видеть не стал...

Ковальский никому не сказал о своей трагедии. И кому что скажешь? Не было у него такого человека.

...Прошло всего несколько дней, как он узнал о смерти Верочки. За эти дни он резко изменился. Повзрослел и окончательно простился с детством, в котором так много было Верочки.

Чуть позже Александр узнал у Анастасии Сергеевны, где похоронена Верочка. Оказалось недалеко от поселка Кряж, мимо которого он ездил. Александр решил съездить на кладбище. Он взял отгул. На улице у старушки купил букет астр и пошел было к автобусу. Но передумал. Отошел в сторону. Сел на скамейку. Почувствовал, что не может ехать на кладбище. Не будет сил смотреть на могилу. В нем все протестовало против смерти Верочки. Все его существо сопротивлялось тому, что Верочки нет. Слишком долго он ждал встречи с ней. Это ожидание было в нем постоянно. Оно таилось, жило в нем, и Александр всегда это сознавал. Он не принимал такой встречи, какой она получилась теперь.

«Лучше бы она вышла замуж и уехала куда-то насовсем или что-то другое, но только не это. И почему она так рано выскочила замуж... Она же была не бойкой и не торопливой?..»

Букет астр он отдал вахтерше в общежитии. Она поставила его в двухлитровую стеклянную банку с водой у себя на столе, около постоянно звонившего телефона.

Потом он пожалел, что так поступил. Каждый раз, проходя мимо вахты и увидев цветы, он невольно вздрагивал. Но астры как-то быстро завяли. И их не стало... Как и Верочки...

Но и от этого легче не сделалось. «Живая жизнь обречена на смерть, так просто все? — думал Ковальский, еще не веря в то, что отчетливо понял и принял — вот хотя бы цветы эти... — Но как тогда жить: сознание неизбежной смерти не дает полноценно жить. Как люди соединили в себе несоединимое, несовместимое в своем сознании? Как

живут, зная это? Или угроза смерти торопит жить? Нет, кажется, что нет... Но что же движет всем, что живет, коль смерть впереди неминуемая?..»

Жизнь и смерть не совмещались в сознании Ковальского в единое, в один поток. Это соединение было для него непостижимо. Как будто он и не знал, не ведал этого ранее? Сейчас не видел и не знал, что смерть всегда рядом. Рядом с жизнью.

Но это была смерть Верочки. И была — его жизнь.

* * *

Александр еще не начал приходить в себя, а тут новые события. Может к лучшему? Они уводили от горьких мыслей, возвращали к реальности.

В деканате о случившемся между Ковальским и Эдиком Еськовым все-таки узнали. Кто-то постарался.

Ковальского вызвал к себе декан Калашников Иван Максимович. Уже одно то, что его выдергивали для объяснений из другого города, ничего хорошего не предвещало.

Ковальский рассказал декану по его просьбе, как было, стараясь быть немногословным.

Декан слушал и похмыкивал. Его колючий и цепкий взгляд глубоко посаженных под густыми седыми бровями глаз не позволял расслабляться. Ковальский ежился под этим взглядом. Вылетать из института из-за одной, даже не драки, а так себе «стычки» — нашел в разговоре спасительное для себя название случившегося Ковальский — было глупо.

— Не институт же благородных девиц? — сформулировал он отношение вслух к своему поступку и замолчал, размышляя про себя: «Кажется, не заносчиво, но и не раболопно. По другому нельзя».

Декан посапывал и тоже молчал. Потом как-то странно несколько раз, как механическая игрушка, посмотрел то на Александра, то в окно на голые деревья, ворон, сбившихся в стаю, как студенты. Заговорил тихо, с явной издевкой, что не шло ему. Это бросалось в глаза сразу.

— Ну, серьезный ты парень! Главное — идейный и конкретный. Стиранием граней между городом и деревней можно назвать твои боевые действия, вполне в духе времени. Р-раз — и кулачищем в морду. Вполне интеллигентно. Не первый раз дерешься. При поступлении уже приходил с синяками.

— А что оставалось делать? Меня приперли к стенке, — скорее удивился, чем спросил Ковальский. И совсем было пал духом, увидев, как дернулась левая щека у декана.

— Припрешь тебя, — декан запнулся на миг, подыскивая нужное слово — не нашел и махнул рукой: — такого! — Потом, кажется, нашел нужное ему слово: — Хулиган ты, хулиган! А я тебе давал испытательный срок, гадкий. — Он развел руками: — Как поступать с тобой?

— Но ведь это не относится к учебе, — упавшим голосом произнес Александр, боясь, что любое возражение может обрушить хрупкое равновесие, которое, кажется, еще было.

Декан глядел в окно и качал головой.

— Ты сейчас, Ковальский, как зубчатое колесо в огромной коробке передач. Но у твоего колеса зубцы другие. Они пока не совмещаются без скрежета. И замедляется движение, твое — в первую очередь.

— Как же мне быть? — произнес Александр.

— Вот и я говорю: что с тобой делать? Что-то надо. Думай и сам. Но бить в лоб — не самое лучшее.

«Они что, с Владой стоворились?» — уныло подумал Ковальский.

— В общем-то, — декан непонятно улыбнулся, — ты — совмещенник. Вот и совмещай свое и общее. Тебе чуток потруднее, чем некоторым. Но куда деваться? Приперло к стенке, как ты говоришь.

Ковальский молчал.

В затянувшейся паузе глухо зазвучал его голос. Он говорил будто сам с собой:

— Я иногда чувствую себя рыбой в аквариуме: смотрю на жизнь из него, словно на мерцающий экран телевизора и досадно становится: вокруг жизнь рвется, кажется, во все стороны, а я застреваю со своими допотопными шестеренками в этой тесной коробке передач. А вокруг все несется куда-то.

— У тебя не допотопные шестеренки. У тебя они свои, собственные, — не спеша произнес декан. Зоркий взгляд его ободрил Ковальского. — У каждого свои.

— Как же мне со своими, такими, жить? — не удержался Ковальский.

— Грызи гранит науки. Кулаки побереги. Впереди сессия. Завалишь ее — шестеренки твои полетят вдребезги из института. Понял?

Ответа не последовало.

— Что еще? — сам себя спросил декан и ответил: — Как только закончится работа на заводе и переедешь в Куйбышев, приходи на кафедру ко мне. Будешь работать в моей лаборатории. Тебе наукой надо заниматься. Грузить тебя надо делом. Мозги чище будут! Понял?

— Понял, — вяло ответил Александр.

— Ну, а раз понял — это уже полдела.

...Из деканата Ковальский вышел криво усмехаясь: «Пронесло, — думал холодно, как не о себе. — Мы шестеренками должны быть все. Одинаковыми. Тогда — порядок».

А через неделю после разговора с деканом к ним в рабочее общежитие в Новокуйбышевске явился плотный лысеющий крепыш — их «классная дама» — преподаватель Перепитуев Андрей Андреевич. Перепитуев ходил по комнатам, разговаривал с ребятами, с заведующей общежитием, с вахтером. Многозначительно хмыкал и ежился. Было похоже, будто ему дали какое-то поручение, а оно ему не очень приятно.

«Неужели его Калашников прислал? Не может быть», — размышлял Ковальский.

Оживился гость, когда увидел двухпудовую гирию в комнате, где жили Гуртаев, Ковальский и Инок. Умело и спокойно он вытолкнул на вытянутую руку двухпудовку над головой пять раз кряду и довольный уселся на стул, цепко поглядывая на всех сразу.

— Саш, — усмехнулся Гуртаев, — покажи, что можем. — И вельможю повел рукой.

Ковальский уже привык, что на старосту иногда находило. Любил он кураж. То серьезный очень, а то — словно другой человек.

— Да... — вяло возразил Ковальский. Ему не понравилось предложение старосты. Сидит: то ли разведчик, то ли доносчик? Показывай ему.

— Попробуйте, — согласился вежливо крепыш, с интересом глядя на невысокого подтянутого Александра.

Ковальский выбросил гирию десять раз для ровного счета и решил, что хватит. Спокойно и аккуратно поставил снаряд под кровать. Гость восхищенно смотрел на Александра.

— Какой же у тебя вес?

— Шестьдесят девять кэге, — ответил Александр.

— И давно занимаешься?

— Я не занимаюсь. Гирия эта по наследству к нам перешла от прежних жильцов.

— Да-а, — сказал удовлетворенно Перепитуев. — Вернетесь на дневное отделение, поведу вас к Синельникову — тренеру по тяжелой атлетике. Он заслуженный мастер спорта. У тебя преотличные данные. Держись за институт.

Когда «классная дама» удалилась, Гуртаев произнес;

— Шэ-пэ!

— Не понял? — произнес Ковальский.

– «Швой парень», что надо! – пояснил староста.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

...В городе нефтехимиков кипела молодая жизнь. Возрастающие потребности огромной страны в синтетическом каучуке, наличие сырьевой базы, развитой инфраструктуры, водной и железнодорожной магистралей позволяли в 1962 году, как раз в год приезда Ковальского в Новокуйбышевск, начать строительство здесь еще и нефтехимического комбината – одного из крупнейших в Европе.

А до этого в марте 1961 года заработали всю цехи получения фенола, ацетона и альфа-метилстирола на заводе синтетического спирта, который чуть позже станет одним из крупнейших в стране.

Трудно было и вообразить теперь, что там, где раскинулись корпуса огромных современных заводов, была когда-то голая степь, а красивый кинотеатр имени XX партсъезда стоит на месте бывшего колхозного полевого стана. Четко сработал принятый 22 февраля 1952 года Президиумом Верховного Совета РСФСР Указ, гласивший: «Преобразовать рабочий поселок Ново-Куйбышевский в город областного подчинения, присвоив ему наименование – город Новокуйбышевск».

Тогда сразу же была созвана городская партийная конференция. Первым секретарем городского комитета партии был избран Сергей Константинович Корнейчик. Председателем исполкома городского Совета – Дмитрий Кувшинов, выходец из Утевки. Ковальский тогда еще не слышал о своем известном земляке.

Знал Ковальский, что на заводе, где он работает, уже нет директора Анны Сергеевны Федотовой, так поразившей и восхитившей его, когда они всем классом приезжали сюда смотреть большую химию. Поразившей и, может быть, решительно повлиявшей на окончательный выбор им профессии.

В октябре того же 1961 года, когда утевские ребята приезжали на завод, Анна Сергеевна прощалась с заводчанами. Уезжала с горечью в Москву. На прощание передала в заводскую библиотеку все свои книги, накопленные за двенадцать лет (столько она прожила в Новокуйбышевске). Двухкомнатную половину коттеджа, в котором жила, оставила семье молодого парня, полностью потерявшего зрение при срыве крыши у щелочной емкости...

...Прошло всего десять лет, как вышел Указ о преобразовании поселка в город, а Новокуйбышевск уже заявлял о себе во всю мощь. Молодежные стройки притягивали к себе. Молодежь, съезжавшаяся со всех

концов страны строить предприятия нефтехимии, несла свою особую энергию.

В 1961 году из ста пятидесяти всесоюзных ударных комсомольских строек в стране ЦК ВЛКСМ объявил в Куйбышевской области три: Куйбышевский завод синтетического каучука, куда уехала параллельная группа нефтехимиков, 2-ую очередь Куйбышевского завода синтетического спирта, где теперь предстояло осваивать рабочие профессии Ковальскому, и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.

Город был переполнен молодежью.

Кто бывал на подобных комсомольских стройках, жил в городах, иммигрантами, знает, что это такое.

Новокуйбышевск, как большой котел или чан, бурлил от огромных дел. Кипел. Жил во всю комсомольско-молодежную жизнь. Была уже построена и пущена 1-ая очередь завода синтетического спирта. Стройные кварталы новых домов росли зримо и торжествующе. Много еще строилось, достраивалось. И вновь начинало строиться.

Улица Миронова порой становилась такой многолюдной, что было трудно пройти, не задев кого-то локтем. Обилие парней и девчат, наличие «наверху» улицы молодежных общежитий, а «внизу» – клуба и танцплощадки в парке, делало ее путепроводом – большим, длинным коридором, который называли «Бродвеем» или «Бродом». Мелькали особой моды рубашки: перекаршенные в черный либо ярко-красный цвет китайские сорочки, высокие девичьи прически, чаще всего под названием «Бабетта». Модными были туфельки на «манке», у ребят – на высоком каблуке. Перекрашенные рубашки ничто, если не приподнят воротничок, а на голове отсутствует прическа «канадка». Осенью ребята щеголяли в светлых фуражках, которые не так легко было приобрести. Зимой – в цигейковых пирожках, боярках. Вошли в моду шалевые воротники.

Чуть ли не эмблемой, конечно, неофициальной, города сделался забавный человек со странной фамилией Доминов. Он появлялся везде. Был вездесущ. Смуглое лицо с бородкой, большая лысеющая голова с внушительным лбом венчали его худое узкоплечее тело, облаченное в перекрашенную, чаще в красный цвет, рубашку, одетую на голое тело. Брюки – не иначе как в «дудочку», в обтяжку. Одеть их можно было, наверное, только на намыленные ноги. На ногах – внушительные, вернее даже, огромные, на толстенной подошве ботинки.

Голоса Ларисы Мондрус, Майи Кристалинской, Ирины Бржевской и только что объявившегося Муслима Магомаева будоражили молоды сердца.

В декабре в Новокуйбышевск приехал Махмуд Эсамбаев, названный в зарубежной прессе «Колумбом в мире танца». Он уже был известен по

картинам «В мире танца» и «Я буду танцевать». Всем хотелось посмотреть на живого артиста.

Группа Ковальского, те, кто был свободен от работы, кто смог подмениться на работе в смене, человек десять, прорвались во Дворец культуры.

Все было прекрасно. Одно тяготило Александра. В отцовском, великоватом ему полупальто «москвич», тяжелом, с огромным воротником и большими карманами — он чувствовал себя чудовищем. На фоне франтоватых, разных цветов пальто с цигейковыми и каракулевыми воротниками, шалевыми и обычными, его одежда годна была разве для того, чтобы стоять где-нибудь в лютый мороз в валенках около сторожевой будки или ездить за соломой в поле.

Он был бесконечно благодарен отцу, который в последний приезд Александра в Утевку отдал ему на первую его городскую зиму этот, как он говорил, «пинжак». По понятиям отца, полупальто было чуть ли не сокровищем. И Александр не мог ничего сказать кроме искреннего «спасибо, пап». Отец не видел, во что одевалась хорошо зарабатывавшая на химических заводах новокуйбышевская молодежь.

Все бы ничего, да рядом была Влада, одетая нарядно и модно. Ковальский чувствовал себя пугалом.

— Ты чего такой кислый был всю дорогу, пока шли из ДК? — спросил Гуртаев уже в общезитии.

— А ты видел меня сегодня в моем пальто? — вопросом ответил Ковальский.

— И шапку твою видел затрапезную, ну и что?

— Да ничего, — ответил Ковальский. — Если бы Эсамбаева одеть в мое пальто хоть на полчаса, он бы застрелился. В Куйбышев приезжает Евгений Матвеев, Влада предлагает съездить, а куда я такой?

— Послушай, сходи в ателье, тебе его обрежут, будет лучше. Маркис — зря скис!

— Не могу, — после короткого раздумья ответил Александр.

— Почему?

— Это пальто моего отца. Оно ему очень дорого. Хотя он его почти не надевал. Оно у него выходное.

Белесые брови старосты группы слегка поднялись. Он энергично почесал всей пятерней свою рыжую бороду.

— Вот так? Тогда у меня есть другое решение.

— Какое еще решение?

Староста не ответил.

А через два дня Гуртаев потихоньку ото всех затащил его в магазин одежды. Там чуть не силой заставил Ковальского примерять одежду. Они приобрели драповое темно-коричневое пальто с шалевым воротником и такого же цвета головной убор: модный «пирожок», смахивающий на зимнюю солдатскую пилотку. Вся эта красота стоила сто пятнадцать рублей.

— Мы же все начинаем получать нормальные зарплаты аппаратчиков, — пояснил староста. — Я одолжил у рабочих в цехе. Отдашь, когда сможешь.

Он довольный стоял у зеркала и улыбался. Улыбались, глядя на них, и молоденькие симпатичные продавщицы. Они слышали разговор покупателей и смотрели теперь на Гуртаева, как на фокусника.

Полупальто «москвич» и шапку девочки аккуратно завернули и перевязали бечевкой. Гуртаев все это забрал, а Ковальского заставил облачиться в новое.

Когда вышли из магазина, довольный староста группы провозгласил, совсем не обращая внимания на прохожих:

— Ну вот видишь, ты красив теперь, как Бог!

В уличной толпе враз на это откликнулись.

— Товарищи уважаемые, вы с какого Совнархоза будете? — оглядывая Ковальского, пробасил высокий элегантный прохожий. Он остановился, глядя на узконосые туфли Ковальского, синие брюки, красный шарф и только что купленные обновки.

«Чего ему еще надо, шел бы себе», — конфузливо подумал Ковальский.

Но старосту так просто не возьмешь.

— Естественно, со Средволгхимснаббурмашстройкомплектромаикопыта, а что? — И ядрено довольный рассмеялся.

— А?! — удивился элегантный и поднял вверх руку в красивой коричневой перчатке: — Я рад за вас ребята!

— От винта! — держал свой фасон рыжебородый староста.

Окружающие дружелюбно и понимающе улыбались.

Гуртаев мог быть не только строгим старостой...

...После сдачи на допуск к самостоятельной работе Ковальский стал получать по сто рублей в месяц. Это были для него приличные деньги. Уже через три месяца он вернул свой долг.

Так реформа в высшей, вменявшая студентам первого курса обязательную работу на предприятии, дала возможность Ковальскому, да и всем ребятам-совмещенникам, безбедно начать свою студенческую жизнь.

Те, кто учился на дневном отделении первого курса получали в это время стипендию в три раза меньше, чем они зарабатывали.

«Хвала реформаторам во веки веков!»

...Бережно упаковав «москвич», Ковальский в один из выходных отвез его в Утевку. Этому отцовскому полупальто не было и для него цены.

...Экзамены за первый семестр Александр сдал без троек. Получилось, что он выполнил условие, которое ему поставил декан Калашников.

Один Иннокентий Рамазанов получил «неуд» по начертательной геометрии. Но на другой же день в зачетке у него появилась оценка «хорошо». Он, как фокусник, с удовольствием показывал зачетку, являя для обеих групп пример нестигаемого оптимизма и непотопляемости. Иннокентий к тому же оказался и отчаянным шутником. Об этом они узнали вскоре.

Вечер. Улица Миронова. По направлению к общежитию идут трое: Гуртаев, Ковальский и Рамазанов. На противоположной стороне улицы из переулка, метрах в пятидесяти, выходят два молоденьких милиционера. Увидев их, Иннокентий выхватывает из кармана пальто пистолет и картинно прицелившись делает два выстрела.

— Братва, тикаем кто куда! — зверски выпучив глаза, бросает он своим спутникам.

Подъехавший к остановке маршрутный автобус, остановился и закрыл собой милиционеров.

...В общежитии Иннокентий появился последним.

— Балда, заскочил в какой-то подвал, все брюки испачкал, — как будто о чем-то обычном поведал он.

— Где пистолет взял? — сурово по-командирски спросил староста.

— Где-где, в спортивном магазине, — ответил Инок и ехидно засмеялся. — Обычный стартовый спортивный пистолет.

— Дурак, — веско сказал Анатолий и на его щеках заиграли желваки, а лицо его пошло пятнами. — Я те...

— Интересно было проверить ментов, — пояснил Рамазанов, будто не видя состояния старосты. И добавил, нахально глядя исподлобья: — И вас проверил. Шустрые вы мужики, однако. В разведку с вами ходить можно.

— Обрато дурак, — сказал староста группы. — А если б догнали?

— А где доказательство того, что я в них стрелял, а? — Инок смотрел своими круглыми глазами навывкате, не моргая.

— Но они же видели, милиционеры эти.

— А может, я в воздух?! Где пуля-то? Пуля-дура, где? Ее нет! Вот где доказательства, что я не стрелял. А мало ли чего кому покажется. Вам вот показалось, вы и дернули с улицы. — Он сделал дурашливое лицо.

— Ну, вы, мужики, даете, — не выдержал молчавший до сих пор Михаил Оборин. — Не думал, что студенты такие шалопутные. Как вас не загребли? — Отложив газету, приподнялся на кровати. — На танцах в индустриальном техникуме, я был свидетель. Один такой все ходил и постреливал у себя в кармане пиджака из спортивного пистолета, стартового. Примчались менты. Забрали. Он долго потом выпутывался. Не знаю, чем кончилось.

— Анатолий, — обратился к старосте Ковальский, — давай ему первое и последнее строгое предупреждение вынесем, чтоб подобного не вытворял. Бить будем, если подобное натворит.

— Я «за» мужики, очень гуманное предложение поступило, — гоготнул Инок и поднял руку.

— Ты вот что, — Гуртаева трудно было сбить с толку, — вали из комнаты. Три дня чтоб глаза мои тебя не видели, понял?

Иннокентий понял. Видел: старосту не остановить. Закипело.

— Хорошо, — чересчур даже покорно согласился он. — Пойду к девчонкам в общежитие. Причина есть опять же: староста велел.

Когда он ушел, Анатолий сказал нервно:

— Страна ждет героев, а ей рожают чудаков. — И собрав грязное белье, отправился вниз, в прачечную.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

— Ты меня будешь помнить светло и всегда!

— Почему ты так думаешь?

— А ты сам должен догадаться, миленький мой!

— Скажи.

— Я ведь у тебя первая женщина, уже этого хватит! Я не принесу тебе ни досады, ни хлопот. Я старше тебя на четыре года. У меня семья — все определено. Никаких посягательств на твою судьбу. Ведь тебе нужна свобода, да?

— Не знаю, — не находил что ответить Ковальский.

— Нужна! Зачем тебе жениться сейчас? Тебе надо крылышки обрести. Тогда тебе цены не будет. Всего-то годик как из дома выпорхнул. Одна зима. — Анна посмотрела на него. Обхватив его голову руками, приблизила глаза к глазам. — Не женись, слышишь, лет пять!

— Почему? Так ревнуешь?

— Нет, жалко тебя. Маята стубит. — Помолчала и призналась: — Сейчас ревную меньше.

— А когда больше? — спросил он.

Она весело рассмеялась.

— А когда ты был влюблен в Растошинскую. Не отказывайся — я видела.

— В Рогожинскую? — переспросил он. — Верочку?

— Ну да, я подзабыла ее фамилию, полячку эту, панночку пухленькую. Ты ее любил, я знаю... Меня, свою пионервожатую, ты не замечал вовсе. А я терпеливая. Я ждала, когда ты вырастишь.

Они лежали на скошенной, уже подвяленной траве, дразнившей своим запахом их обоих, уставших и счастливых. Луна освещала их лица. Освещала осинник чуть слева от них, ленту речки. Всю поляну.

...Был конец июля. В траве была спелая земляника.

Запах лесной ягоды, матовый свет идущий от тела Анны, ее слова — пьянили. У него кружилась голова...

* * *

«Как я хотела — так и сделала, — уже лежа дома у матери в своей маленькой комнатке, думала Анна. — Бог мне судья, если забеременею — буду рожать и это будет моим счастьем. Никто ничего не будет знать. Это моя любовь и моя тайна...»

Во дворе пошумливали мать. Разговаривала то ли с курами, то ли с теленком. Скрипел колодезный журавель.

«Наверное, хохлушка красивая пришла за водой в своей красной кофте. Водичку сейчас понесет своему любименькому конопатенькому Петру. Счастливая такая!»

Разворачивался в своем нехитром действии новый день. Для кого-то очередной и обычный, как все. А для нее освещенный с вечера такой родной то смущенной, то озаренной улыбкой Ковальского. «Сашенька, Сашенька, уеду я через день потихонечку. Неправду сказала тебе. На день раньше уеду. И тебе, и мне легче будет. Уеду — как придумала», — сказала она вновь себе решительно. Ей хотелось быть решительной. Да она такой и была.

Анна потихоньку начала погружаться в сон. Обволакивающая волна тепла откуда-то пришла к ней и она заснула.

Она лежала на спине, ровно вытянувшись под сиреневым байковым одеялом. Утренний свет легонько трогал ее слегка смугловатое лицо с

красиво очерченными носом и губами. Лицо само светилось изнутри и давало маленькой комнатке свой свет, спокойный и умиротворенный.

Анна уехала в Куйбышев, а затем в Пензу, как задумала, не простившись с Ковальским.

Всю неделю Александр после отъезда Анны жил в каком-то лихорадочно-возбужденном состоянии. Для него все произошло поразительно быстро.

...Ковальский всегда отмечал Анну на танцах в клубе. Потом узнал, что она приходила в клуб, только когда там бывал он. И никогда больше. Она редко приезжала из своей Пензы. Первый раз Александр проводил ее с танцев в прошлом году, в августе, после поступления в институт. Он хорошо помнил тот вечер. Теперь все встречи, все разговоры с ней вспоминались ему до мельчайших подробностей. Странное чувство охватило его. И тогда, в те минуты, в которые не принадлежал себе, а растворился в ней, Анне, и теперь — он не мог собрать себя по кусочкам. Те несколько минут, полчаса, час на берегу Самарки разлили в нем такую всеохватывающую небывалую нежность и доверие к ней, что Александр сейчас для Анны мог, наверное, сделать все, что угодно. Он как будто с тех самых первых минут, когда случилось все, уже не принадлежал себе. Анна завладела им полностью, хотя, казалось, и не делала для этого никаких видимых попыток. Ковальский ей принадлежал теперь не только телом. Его сознание готово было соединиться с ней и быть в ней. Это было для него совсем новое состояние: не принадлежать себе — не противиться этому. «Мы ведь были раньше далеки вроде бы. Почему это враз накрепко нас соединило? Так всегда бывает?»

* * *

С год назад, в самый первый их вечер, Александр решился ее проводить после танцев. Они шли темной улицей на окраине села и Анна говорила о себе:

— Теперь я пензячка. Муж мой строитель. Выскочила зачем-то. Знала заранее, что не получится у нас. Он настоял. Преподаю литературу в школе. Правда, сейчас — нет. Дочка болеет. А у мужа футбол, хоккей, вечные компании. Я долго терпела, потом стала возражать. Но его не переломишь. Потом у меня появилась новая радость — Лермонтов. Тихая радость.

— Какой Лермонтов? — не поняв сразу, переспросил Александр.

— Михаил Юрьевич, — засмеялась в полутьме Анна. — Великий поэт.

Они обогнули большое круглое озеро Приказное и углубились в еле заметный переулочек. Надо было идти на ее Дачную улицу, на окраину села.

— Там же в Тарханах его усадьба, — продолжала она.

— Разве это не в Тамбовской области?

— Да нет, я в селе у родителей мужа сейчас живу с дочкой и вот заразилась донельзя. Глубоко, как я поняла, несчастный он был.

— Кто? — вновь не успевал за Анной Александр.

— Лермонтов, — сказала она просто. — Не путай с моим мужем — он доволен. — Она засмеялась. — Лермонтов был человеком демонического склада. Кто знает, пережив в себе максимализм с годами и дух отрицания, возмужав, он, может быть, стал бы величайшим прозаиком. Мог возвыситься, как горная вершина, опередив Толстого и Достоевского. — И помолчав, добавила: — Я думала и поняла. Лермонтов очень гордый был, гордыня его погубила. Гордыня — большой грех. Это верующие знают. И для гениев тоже — вред.

— Поясни, — попросил Ковальский.

— Он признавался, что готов был полюбить весь мир, но был непонят и научился ненавидеть. Понимаешь, в этих словах очень многое... Всех сразу легче любить. Ближних труднее.

Ковальский поразились ее мыслям и словам.

— Его жизнь и вообще жизнь в тархановском доме складывалась несчастливо. Постоянные ссоры. Кроткая Мария Михайловна — мать поэта. Вспыльчивый, но добрый отец — Юрий Петрович. И властная бабка Арсеньева. Они не могли долго жить вместе. Мать его умерла. Ей было около двадцати двух лет.

— Ты так все помнишь? — вновь удивился он.

— Это профессиональное, — ответила она сдержанно.

Они прошли самое темное место в переулочке, где трудно было видеть друг друга отчетливо. Он не видел ее лица. Из темноты она спросила:

— Стихи почитать? Нешкольные... я помню, ты любил Лермонтова, — и не дожидаясь ответа, начала:

*Я родину люблю
И больше многих: среди ее полей
Есть место, где я горесть начал знать,
Есть место, где я буду отдыхать,
Когда мой прах, смешавшийся с землей,
Навеки прежний вид оставит свой.*

Это он написал в шестнадцать лет. Представляешь? Он не мог быть другим. Он родился в таких условиях, которые все предопределили...

Люди любят только самих себя. Такова их природа. Его Демон признавался: «Жить для себя, скучать собой». Это говорит о многом.

Ковальский слушал ошеломленный. Он не ожидал в женщине такой глубины и ясности.

Расстались они у калитки легко и непринужденно. Как давние знакомые.

«В ней что-то есть от Верочки, но она, конечно, другая. В нее проваливаешься весь куда-то...» — так думал он, возвращаясь домой по той же тропиночке вдоль дворов, по которой они с Верочкой не раз возвращались из школы. И было это так недавно...

Потом были еще встречи с Анной...

...В этот раз они ехали в Утевку в одном автобусе, так случилось. Когда она выходила, шепнула:

— Я приду сегодня в клуб в девять часов, ладно?

Он с готовностью кивнул головой.

Она радостно улыбнулась, осветив весь автобус. Ковальский невольно оглянулся на пассажиров.

...Когда они после танцев подошли к ее дому, было уже за полночь.

— А слабо к Самарке сходить? — вдруг сказала она, когда уже тронула рукой калитку. Надо было выбирать: либо присесть на большое высохшее на солнце бревно, лежавшее вдоль всей ограды палисадника, либо потоптавшись неопределенно, идти домой.

— Нет, не слабо, — отозвался Александр.

Александр отчетливо запомнил, как он смутно в тот вечер догадывался, что должно произойти что-то неожиданное. Он видел, как засветилось лицо Анны, когда она приблизилась, почувствовал ее ближе и томительнее, чем в клубе на танцах. Он потянулся к ней. Она легонько отстранилась:

— Я сейчас. Только на минуточку забегу домой.

Когда Анна вышла, ее светлая нейлоновая кофточка в темноте колыхнулась перед самым его лицом. У Ковальского кружилась голова. Пока они шли к Самарке, она все что-то говорила. Александр слушал... Анна прижалась к его плечу и он не мог сдержаться: осторожно положил ей обе свои руки на талию. Они остановились.

Они были уже на крутом берегу реки. Он крепко, не сознавая того, сжал ее талию. Она гибко прогнулась, расправив грудь. Александр не заметил, как кофточка растянулась, только почувствовал: словно волна пошла от нее к нему. Его будто облучило. Скосив взгляд вниз,

он задыхаясь попытался спросить, словно зафиксировать важное для него сейчас обстоятельство:

— Ты без... — Александр не смел сказать слово «лифчик».

— Да, это же я для тебя сбегала домой и сняла. Я знала, как будет. Потрогай меня, ну... — Она подалась к нему.

У Александра стучала кровь в висках, он провалился куда-то. И не помнил себя от ее смелости.

— Ну, миленький мой... посмотри, какие они у меня!

Подрагивающие от возбуждения руки стали смелее... Губы жадно и неодолимо припали к набухшему, вздернутому кверху, смелому ее соску.

...Мощный природный инстинкт неудержимо толкал к действию. Но он был совсем неопытен.

— Миленький ты мой, не горячись. Я никуда не денусь. Я помогу тебе...

Ее слова горячили еще сильнее. Александр не помнил себя. Говорить он не мог. Да и не знал еще, как об этом говорить. Для этого у него еще не было нужных слов.

...Льняные длинные волосы Анны разметались по траве. Ее груди, когда она уже нагая лежала перед ним, резко выделялись своей белизной на загорелом теле. Они были странно белы. Ему слепило глаза!

...Потом, сморившийся, устало ткнувшись носом ей подмышку, он слышал, как она говорила:

— Я тебя буду любить всегда... Я знаю, для мужчин эти слова — скука. Им через месяц-другой это постоянство надоедает. Но ты потерпи, я тебя не обременяю. Я — опытная.

— Опытная? — переспросил он вяло.

— Ну, нет, я не так сказала. Я думала об этом много и, кажется, кое-что поняла. — Она повернулась к нему, оторвав лицо от бездонного неба. — Давай, Сашенька, голыми искупаемся! Ночь же! Кто нас видит, а? — Она встала, подала ему руку, вся светящаяся изнутри, с травинками на бедре. — На ту сторону давай, а? Там мелко и песок, ты знаешь.

Она говорила весело и тоном заговорщицы. Анна сейчас была совсем не похожа на замужнюю женщину.

...Они потом еще два раза спускались по крутому берегу голыми к воде. Переплывали к песчаной косе. Там она шептала ему горячо в ухо, словно боясь, что ее кто-то услышит:

— Миленький ты мой, я так рада, что первая женщина у тебя — я. Я к тебе всегда хотела. Но ты же глупенький еще был. Теперь вот подрос, — она шаловливо провела рукой по его мокрым волосам. — Я тебя

мучить не буду. Тебе, миленький, повезло. Я старше тебя. Замужем. У меня все определено. Ломать себе не буду жизнь. И тебе не буду, – повторялась она. – Нам так счастливее будет.

Они, как пьяные, и от быстрого течения, и от бурливших в них чувств, барахтались в воде. Она его обнимала и целовала, как маленького ребенка. Теплая вода и лунный теплый свет, казалось, были только для них одних. Да, так оно и было! Они были одни на реке. Ни костерка, ни постороннего человеческого шума не было вокруг. Только нет-нет да доносился шум с того берега. То ли вышли сомы на ночной промысел – уж больно светла ночь была, то ли круча, подмываемая водой, обрушивалась в омут. Речка подступала все ближе и ближе к одинокой ветле. Уже обреченной. Следующее половодье наверняка она не выдержит, эта ветла.

...Теперь, когда Анна внезапно уехала на день раньше, не попрощавшись, Александр все думал: «Опытная – это какая?» Ему нестерпимо хотелось видеть ее вновь. Хотелось дотрагиваться до нее еще. Не так, как в первый раз, суматошно. По-другому. Как? Он не знал. Но те удивительные мгновенья, когда он принадлежал не себе, а только ей, страстно хотелось вернуть.

...Он стал обдумывать свою поездку в Пензу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Непростое это дело: набивать сетки на барабан центрифуги. Сетки две: одна несущая, другая фильтрующая. Через какой-то промежуток времени, обычно через дней двадцать, находясь внутри барабана центрифуги, они забиваются полиэтиленовым порошком.

Их-то и надо менять.

Не всем это доверяют; не каждый это хорошо умеет делать.

Пробравшись через люк внутрь центрифуги, вначале необходимо, выдергивая шнуры, которыми в пазах по окружности барабана защемлены сетки, извлечь их. Затем очистить стенки барабана и начать поочередно устанавливая новые фильтрующие полотна. Предстоит расстелить сетку, проследив, чтобы края ее ложились ровно по пазам с краев барабана. Потом деревянным молотком и клином, загоняя шнур в пазы, растянуть полотнище, как на пяльцах.

Вся ситуация сходна с положением белки в колесе. Барабан вращается под напором ног работающего медленно, в зависимости от того, с какой скоростью идет набивка шнура. Аппаратчик при этом согнут в барабане под главным валом так, что лишний раз не пошевелиться. А тут

еще неудобный шланговый противогаз, без которого никак не обойтись. Так что нефтехимия – это не только молекулы в колбах и белые халаты на красивых мальчиках и девочках.

...Сначала всем прибывшим на работу в заводских цехах совмещенникам особо трудно давались ночные смены. Четыре дня работы по восемь часов в дневную смену, четыре в вечернюю и четыре в ночь: таков график смен. Особенно тяжело переносить подряд четыре смены в ночь. После них следовал один день «отсыпной» и потом – выходной. Они уходили, как правило, на занятия. Меж этих рабочих есть день выходной – его зовут «бешенный». Это – день перед выходом в ночь. Перед ночной сменой требовалось найти часа два, чтобы поспать перед работой. Но ведь надо и на лекциях быть, и днем успеть сделать лабораторные работы.

После ночной смены Ковальский обычно заходил в буфет на первом этаже общежития, съедал наскоро полстакана сметаны с пирожком, не более, чтобы лучше спать, и часа на три проваливался в сон. Больше себе не позволял. Старался не спать долго и в свой «отсыпной». Если ему удавалось вообще не заснуть в этот день, он радовался: еще один день не спячки, а жизни. Александр был жадный на время. Ему его не хватало всегда. И тратить на сон? Вынужденная роскошь...

Сложная техника и технология давались нелегко. Но было интересно постигать новое. Правда, в производстве полиэтилена, несмотря на автоматизацию процесса, было много и рутинного. И небезопасного для работающих. Часто по причине неопытности и горячности молодых ребят. Кто-то из остряков даже пустил крылатую горькую шутку, которая гуляла по всему цеху: «Не было, не было – и вдруг опять...»

На второй «нитке» обработки полиэтилена Вячеславу Шаламову в последнюю ночную смену перебило шибером левую руку, чуть ниже локтя.

Александр узнал об этом сразу же. «Нитка» Вячеслава – система обработки – была соседней с той, где работал Ковальский. Причины несчастного случая оказались до дикости простыми.

Порошок полиэтилена плохо выгружался из сборника. Открыв шибер с пульта управления и дав задание на «выгрузку», Вячеслав пошел на нижний этаж к аппарату, чтобы посмотреть и определить причину. Разобрав фланцевое соединение и сняв резиновый компрессор, он обнаружил уплотнившийся слой порошка при открытом шибере. Сунув руку в отверстие, Вячеслав попытался пробить кулаком плотный слой. Нетерпеливый напарник Шаламова сверху, этажом выше, с пульта решил «подергать» шибер – большую, величиной с суповую тарелку заслонку в трубе. Вручную переключив несколько раз с «открыто» на «закрито» и наоборот на

пульте, он добился движения заслонки. Все бы ничего, но заработавший шибер зажег руку Вячеславу.

В справедливости выражения цехового инженера по технике безопасности: «Инструкции по безопасности пишутся кровью», — Александр убедился лично. И неоднократно.

...Последняя ночная смена. По графику центрифуга на рабочем месте Ковальского должна быть остановлена и подготовлена к вскрытию для ремонта и для замены сеток. И все это проводится в дневную смену. Его же, Ковальского, задача: продуть остановленную центрифугу от остатков паров изопропилового спирта, других углеводородов азотом с выбросом в атмосферу, чтобы не возникло загорания.

Ковальский выполнил все как следует за час до окончания своей смены. Когда начал разбалчивать люк-лаз и ослабил несколько гаек, почувствовал резкий запах: центрифуга не была как следует продута. Он подтянул гайки и открыл снова кран на подаче азота.

С напарником достали из стола инструкцию по подготовке к ремонту системы обработки и нашли нужный раздел:

— «...подключенную центрифугу к потоку азота продувать перед вскрытием не менее 3-х часов с выбросом газа на воздушку...» — читал вкратце напарник Терехов. — Ну, мы так и сделали, продували почти пять часов с тобой. Но она не продулась? Я полгода на обработке. Раз за два мне уже приходилось готовить к ремонту — такого не было.

— Может, давление азота мало либо «воздушка» на выбросе заби-лась? — высказал предположение Александр.

— Да вон манометр: давление обычное, три атмосферы.

Не успели они прийти к какому-либо общему заключению, как появился старший аппаратчик горластый Конюхов.

— Голуби, уже шесть утра, скоро смену сдавать, а вы задание не выполнили. Спали, что ли? По очереди тогда бы уж... Депримирую к лешему.

— Все? Или еще говорить будешь? — спокойно отозвался Терехов. — Начальником-то стал недавно. Горлышка не хватит надолго. Не шинованное.

— Он уже обленился, а ты-то чуть не инженер, совестно ведь... — Конюхов в упор смотрел на Александра.

— Ее опасно вскрывать, — возразил Ковальский. — Может, мы виноваты в чем, но она не продута.

— А, ученые хреновы. — «Бугор», так звали в сменах всех старших аппаратчиков, махнул рукой: — Точно депримирую!

Он схватил гаечный ключ и без рукавиц начал вскрывать люк. Но вскоре зачесал затылок.

– Да-а... действительно газит.

– Не горячись, Бугор, – проговорил подошедший Михаил Оборин. – Отравиться можно.

– Да ты еще тут! Советчик, иди на свое рабочее место, разберемся.

– Ну-ну, разбирайтесь, только с головой.

– Азот сперва перекрой, начальник! – посоветовал Терехов.

– А-а... ладно, сдавайте по смене, там разберутся! – И «Бугор» побежал на следующую «нитку». Руководить.

...Взрыв прозвучал часов в десять утра, когда Ковальский уже спал. Задрезжали стекла по комнатам. Ковальский в полудреме подумал: «Опять на полигоне под Чапаевском грохают». Там часто велись подрывные работы.

Когда встал, по общежитию уже гулял слух: на полиэтилене был взрыв, погиб парень. «Мой сменщик Конкин, – ужаснулся Ковальский. – Он, сомнений не может быть. Другой «Бугор» сбил с толку – заставил вскрыть люк с центрифуги».

Вернувшиеся в общежитие с завода ребята из дневной смены подтвердили догадку Ковальского: погиб Конкин. Взрыв произошел, когда тот залез в центрифугу снимать сетки.

Придя после выходного на свою «нитку», Александр увидел обгорелую краску на центрифуге, закопченный напротив приборный щит с разбитыми стеклами. Было горько от того, что все это произошло по глупости.

Он видел, как два раза за его смену на место аварии приходил начальник цеха Самарин. Как он интеллигентно и академично давал пояснения членам комиссии по расследованию. Ковальского никто ни о чем не спрашивал. Очевидно, все было понятно.

– Все ж просто и ясно, – пояснял инженер по технике безопасности, – был бы газ, а искра всегда найдется.

Комиссия определила, что источником искры явилась обувь Сергея Конкина. Подошвы его ботинок были пробиты железными гвоздями.

На следующий день Конкина хоронили. Молодого, послушного и исполнительного парня, только что отслужившего в армии. Бездумная послушность стоила ему жизни.

В инструкцию по подготовке центрифуги к ремонту внесли добавление: «продувку азотов вести до отсутствия углеводородов. Результаты анализа вносить в вахтовый журнал». Инструктора по технике безопасности отстранили от должности. И все.

Несчастные случаи происходили не только с молодыми да горячими.

В дневную смену один из опытных ремонтников провалился внутрь смесителя Наута — большой емкости для сбора порошка полиэтилена. Емкость не была освобождена от продукта смешанного с циклогексаном — токсичным и ядовитым веществом. Пострадавший потерял сознание. Механик цеха Лев Демидов, не желая терять драгоценные секунды, сознательно не воспользовался шланговым противогазом. Бросился на выручку. И сам тут же потерял сознание. Спас их старший мастер по ремонту оборудования, энергичный и находчивый Юрий Купцов.

...Находчивость старшего мастера позволяла отличаться ему во многом. Чуть позже, ведая опытными работами, Юрий Купцов впервые в стране получил промышленные партии высокомолекулярного полиэтилена особого качества.

* * *

— Я не знала, что так получится, больно боялась, что проеду остановку на Гагариной улице. Вот и сидела у окошка автобуса — жевала бумажку какую-то. А они вошли, контролеры: «Ваши билетики?». Я ахнула. Вынула остаток бумажки изо рта — а это билет. Вернее, что осталось от него. «Я все, — говорю, — оформила его». «Как оформила?» — не понимает проверяющая. «А так, — говорю, — нет его: съела я билет». И смех, и грех!

Александр вошел с улицы в общежитие в самом начале рассказа. Стоит молча. Слушает. Хотя самого распирает радость: за столом вахтера сидит мать и весело смеется. Вахтер Феня сидит рядом. Банка смородинового варенья открыта. Пьют чай. Несколько жильцов и комендант Серафима Трофимовна стоят рядом.

— Ну и как же? — спрашивает Феня. — Дальше?

— Кондуктор вступилась и народ в автобусе. Они подтвердили, сказали, что видели, как я билет покупала. А то бы забрали куда, ей-боженьки...

Александр подал знак: кашлянул, так потихонечку, в кулак. Мать тут же повернулась к двери.

— Саша, наконец-то, а мы тут тебя ждем. — Она обвела веселыми глазами всех присутствующих. — Мне уже тут сказали, что ты в совете общежития начальник какой-то. И портрет твой на доску почета собираются повесить. Прямо герой.

Все вновь заулыбались.

— Мам, может, в комнату пойдём?

— Чай допьем и пойдем.

— Э-э, подождите уходить, — возразила комендант Серафима Трофимовна. — У нас не каждый день такие интересные люди бывают. Катерина, — она обратилась к матери Ковальского, как будто знала ее всю жизнь, — ты говорила, что две потери приключилось. Вторая какая?

— Какая-какая? — улыбалась Катерина. — В том же автобусе. Когда сходила со своим багажом, все мне помогал молодой такой человек. Симпатичный! «Гражданочка, гражданочка, осторожней», — и сам сзади меня за талию поддерживает. Вот, думаю, какие в городе молодые люди культурные. А сошла, стою на остановке, пощупала: батюшки мои, кошелька-то нет моего в кармане. Когда он меня за талию брал, я и прозевала. Туда-сюда по сторонам, а его след простыл.

— Ну, Ковальский, у тебя мать прямо артистка какая-то, — смеялась комендант. Смеялись и все вокруг.

— И много денег-то было? — спросила Серафима Трофимовна.

— Да нет, я будто знала, что в городах такие «культурные». В кошелек положила мелочь. А остальные в платочек и вот — в нагрудный карман.

У стола вахтера вновь раздался веселый смех. Ковальский заметил, что так непринужденно и весело на вахте никогда не было. Простодушие его матери всех делало домашними, своими.

— Шура, тебя все знают тут и хвалят, молодец, — говорила чуть позже Катерина, расставляя на столе домашние гостинцы. — Я, эта, шла от остановки и заплуталась. А тут просто все, а теперь и люди все свои. Абнаконовенные, как в Утевке у нас.

Она подошла к кровати и потрогала сверкающие белизной пододеяльник и подушку.

— И так вот у всех тут?

— Конечно, мам. И через десять дней меняют.

— А кто ж вам меняет-то? — Она не выдержала и заглянула в шкаф с одеждой.

— Сами ходим к кастелянше — относим и берем чистое.

— А она кто, вот эта, констелянша такая?

— Ну, мам, как кладовщица. У нее все постельное белье.

— Любота-то какая. — Она присела на краешек стула и положила свои большие темные руки на стол. Большой палец ее на правой руке, раздвоенный пополам и похожий на клешню, подрагивал.

— Мам, палец до сих пор болит, да?

— Да нет, он такой стал просто беспокойный, а так — нет. Я уж привыкла к нему. После операции-то уж полгода целых прошло. Угроз-

дило меня в клубе, когда мыла пол, на гвоздь напороться... Живете в тепле. Свет, белая постель — чего еще надо! Учитесь в институтах! Жизнь-то какая пошла, а? — Она все осматривалась в комнате, все ей было интересно. — А кто ж с тобой живет-то? Еще ведь три кровати?

— Двое таких, как я, учатся в институте. А один — рабочий парень, Василий Оборин из Мало-Мальшевки.

— Нашей Мало-Мальшевки? — переспросила она. — Надо же! Я ведь там тебя крестила в войну. Пешком с бабой Груней шли в оба конца. А где твои товарищи-то? — безо всякого перехода спросила она. — Покормить бы их, чать голодные.

— Ну, мам, не голодные. А если б ты не приехала?

Она встала и подошла к окну.

— Саш, а почему это из форточки мясом каким-то тухлым пахнет. И когда по улице шла, тоже было. Я тогда подумала, что мне это повержилось.

— Мам, это с завода запах идет такой. Фенол, ацетон так пахнут.

— А как же вы там работаете? Такие все грамотные и такой вонючий запах. Так все чистенько, хорошо и — на тебе, криматория какая-то. Мне сказывали об этом. Я не верила. Как же так: цельный город нюхает?

— Это, мам, временно. Пока идет пуск цехов, а потом лучше будет, — поспешил пояснить Ковальский.

Мать попала в уязвимое место. Он сам думал частенько об этом: «Хорошая зарплата, приличные условия жизни, красивый город — все здорово. Все видимо и зримо. Но эта «червоточина жизни» (как он ее назвал): загазованность? Дрянной воздух — это же незримо действует и влияет не просто так, а в массовом масштабе. Сразу на целые города: Новокуйбышевск, Чапаевск и другие. Технический прогресс и достойный уровень жизни достигается за счет самой жизни? Насколько все это опасно для человека? Это же кто-то должен оценить? Или это боязнь — реакция неподготовленных людей. Таких, как мама моя. Весь мир не боится отравиться, развивает нефтехимию. Общий гипноз или обоснованная уверенность, что это не страшно?»

Будто угадывая мысли сына, Катерина проговорила со вздохом:

— А как все вроде хорошо-то. Я заглянула, когда вошла, в буфет у вас. Там такие парнины стоят в очереди. Берут еду в комнаты. И там за столиками, как в столовой, едят. Все ломится: горы пирожков, рыба жареная, яички. Молоко в таких бутылочках хорошеньких. Газировки сколько хочешь — гора ящиков...

...В каждом крыле этажа было по три общественных комнаты: туалет, кухня с двумя газовыми плитами и умывальная с несколькими раковинами. Он все это показал матери. Она была довольна увиденным.

— Надо же, горячая вода! — Она несколько раз открыла-закрыла кран, пробуя рукой то холодную, то горячую воду. Удивлялась: — Какую хочешь, такую и делаешь! Чудеса!

Он посторожил у входа. Она зашла и в туалет. Когда мыла руки, вдруг спохватилась:

— А это? Чай, уж они не соединяются!

— Кто, мам?

— Ну, трубы эти? Из туалета и вот эти? Откуда я мою руки и попила уже.

— Как! — опешил Александр. — Они не могут соединяться: там канализация, а это водопровод.

— А кто вас знает, — вполне серьезно махнула она рукой. — Понаделали такое, что не разберешься: вон в буфете красота, а в форточку тухлятиной несет. Тоже люди делали, как и тут. А соединили...

Вечером он повел ее смотреть город. Шли по улице Миронова и она удивлялась, глядя на толпы людей:

— Шура, я когда ехала к тебе, думала и сейчас вот тоже: это ж сколько вам тут всем надо яичек и молока! Это кто же столько напасется-то. Вы ж только едите, а ничего не делаете. Вон посмотри, сколько народу — тьма! И каждого накормить надо.

— Мы делаем одно, а кто-то другое, — отвечал сын.

— Чтой-то я не верю, что это так долго продержится, лопнет где-нибудь чего-то — и обвалится все. Нельзя такие тысячи кормить долго. Где столько продуктов делают? В Утевке нашей? Покровке, Бариновке? Нет. Оглянись вокруг. Мне не понятно.

...В универмаге им повезло. Катерина купила отцу и себе глубокие резиновые галоши. Она вслух радовалась. Александр, конфузясь перед молоденькими продавщицами, помалкивал вначале. А мать, нисколько не стесняясь, что ее слышат не только продавцы, но и покупатели, со смехом тут же рассказала, как у нее такие же галоши выпросила директора клуба — уж больно они ей понравились.

— Она молоденькая такая, как вы вот. Только приехали с мужем из города. Огородик у них — она там одни цветы посадила. Цыплят взяли — они у них околели тут же. Я ей галоши — а она меня на денек отпустила с работы. Вот я и приехала к Саше-то.

Две пары галош, которые они купили, были последними, и девочки охотно пообещали, как будут, отложить для нее. Александр заберет.

Когда мать с сыном уходили, им все продавцы в магазине улыбались. Мать так просто становилась своей, ей всегда так легко шли навстречу незнакомые люди...

Ужинать они зашли в столовую «Весна» наверху улицы Миронова. Она не хотела идти: «Я столько привезла, посидим в общежитии, ребят покормишь...» Но Александр настоял. Столовая ей понравилась. Еда — нет. Поковыряв вилкой рагу из баранины, она разочарованно спросила:

— И ты часто ешь эти кости? Тут же нет ни капельки мяса?

Вечером, когда они пили чай всей комнатой, пришла Феня и доложила, что комендант общежития распорядилась отдать для ночлега Катерине Ивановне комнату на первом этаже, где обычно селили важных гостей.

На другой день, утром, Александр проводил мать до автовокзала в Куйбышеве. А на пути обратно в Новокуйбышевск все помнились последние слова матери:

— Саша, ты своего родного отца ищешь?

— А что?

— Кузьма Емельянович Данилов приходил к нам, интересовался. Думал, что ты дома. А отец сразу все понял, о чем разговор. Вспыхнул. Не стал говорить даже — ушел со двора. Данилов-то старенький уже, не соображает, что делает.

— Я не могу пока ни за что зацепиться. Макридина искал — не нашел. Куда-то уехал, — отвечал сын.

— И не надо пока искать-то.

— Почему?

— Отца — пожалей. Попозже, потом как-нибудь, ладно? Не вороши сейчас.

Когда подошли к автобусной остановке, она погладила ему своей шершавой рукой щеку и глаза ее были необычно грустные. Ему было непривычно. Она его так даже маленького не гладила.

...Он поразмыслил и решил пока прекратить всякие попытки разыскать своего польского отца — Станислава Ковальского.

Всю неделю после отъезда матери Александр был сам не свой. Ему не хватало в теперешней жизни того, что было у него до приезда в город. Той жизни не хватало, которая была до института. Что-то оборвалось. И не соединялось...

И как теперь быть, он не знал.

Курилка в цехе – особое место. Ковальскому нравится бывать в ней. Но неудобно сидеть просто так, без папиросы. Некурящему не с руки вроде быть здесь. Потому-то Александр стал покупать сигареты. Они у него всегда лежат в кармане рабочих брюк. С собой в общежитие он их не берет. Да и в курилке часто забывает про них.

В ночную смену в курилке обычно свет потушен. Можно без курева посидеть, послушать, как травят в темноте. В крошечной тьме одни голоса. И огоньки папирос.

...Ковальский вошел и присел в теплом уголке недалеко от бойлера с горячей водой. Его «нитка» сегодня на ремонте. Можно расслабиться. За ним следом, знакомо покряхтывая, вошел сержант пожарной службы.

– Опять впотьмах сидите, энергию экономите!

– Кузьмич, не надо – не включай, – хриловатый голос прозвучал из дальнего угла. – Дай спокойно посидеть.

– Ну-ну, – неопределенно отозвался Кузьмич и присел прямо против Ковальского, – придет «Бугор», сметет вас всех с насеста.

Наступила пауза, и незнакомый голос попросил:

– Ты бы рассказал что-нибудь, Кузьмич, новенького нам про пожарную вашу жизнь, больно в прошлый раз забавно было.

– Где ж я вам каждый раз веселых историй наберу. Пока еще не случилась веселая. – Прикурил, осветив носатое свое лицо с рыжеватыми усами, делающими его хищным и беспокойным. – Заботка вот тут одна у меня есть: разыскиваю одного полячка.

При этих словах Ковальский от неожиданности вздрогнул.

– Какого такого полячка? – спросил Витька Белохвостиков, аппаратчик полимеризации. Его Ковальский давно выделил среди других. Ходил он в нерабочее время непременно в красной рубашке с погончиками. И всегда первый смеется в курилке, когда рассказывают смешное.

– А такого. Землячка моего, с одного села. Он поступил в институт дневной, а их прислали к нам на практику. Брательник из дома написал мне.

«Это ж Матвей Кузьмич, как я не узнал в прошлый раз его, двоюродный брат Синегубого», – догадался Ковальский. Но объявиться не спешил, притушил сигарету.

– Где-та сдся работает или на нефтеперерабатывающем, с осени прошлого года, да...

– А как он попал из Польши к вам в село-то? – вяло спросил Белохвостиков.

– Да не он, а в свое время отец его.

– Они, поляки, в войну были и наши, и не наши, – веско сказал Саня Березин и сплунул смачно, громыхнув ботинком по полупустому бойлеру. – Кто только не вертится вокруг русских. Немцы, вот нам поговаривают, всучили старый проект полиэтиленовый. От того и на всю нужную мощность не выйдем никак. В войну положили сколько наших! А теперь еще и на нас зарабатывают... А поляки в семнадцатом веке брали Москву, пировали тогда ясновельможные паны в Кремле. Потом их пригладили в следующем веке, по-моему, и Суворов отличился... – продолжал обнародовать свои познания Березин. – Я вот сейчас гляжу на немцев, которые в цехе работают и руки иногда чешутся. Он мне, фриц этот, шариковую авторучку давал, я не взял. Вишь, диковинка. Ну нет пока у нас таких, но мы же не папуасы.

– А я, когда Мюллер вчера на центрифуге наклонился, хотел свиснуть у него авторучку шариковую трехцветную – она торчала у него из кармана штанов, да передумал, – пожаловался Белохвостиков.

– Че ж ты передумал? – спросил Кузьмич. – Побоялся?

– Да нет, под зад захотелось дать хорошенько, да не решился. Все вот и перепуталось в голове, ногу уже приготовил. А не решился. Нога затекла – опустил.

Курилка огласилась дружным хохотом. Под шумок Ковальский встал и боясь, что его узнают, вышел.

«Олухи, с немцами сравнили, не понимают, что ли? Они догадались, что Кузьмич молотил про меня или нет?»

Александр прошел через коридор в цеховую молочную попить молока и встретился с Владой Чарушиной. В ее цехе не было раздаточного молочного пункта и она бегала к ним.

– Тебя что-то на занятиях не видно? Мы по тебе соскучились, – непринужденно объявила она громко, ни на кого обращая внимания. И остановилась, поймав его за руку.

– Да смены все как-то меняются. То в одну, то в другую переводят.

– Ты уж как-нибудь приходи, – сказала она и усмехнулась сама себе.

Ее пухлые яркие губы, казалось ему, были одни на ее лице. Он вспоминал их теперь часто.

На последней вечеринке в женском общежитии она сама, требовательно взяв его за руку, увлекла в соседнюю пустующую комнату, завалянную одеждой и стала, хмельная, целовать.

Он и тогда, и после не знал, что с этим делать. Особенно теперь, после того, что случилось у них с Анной. Он все полагал, что то была хмельная блажь Влады. Все забудется.

Но она, он видел, не хотела забывать...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

— Послушай, Валентин, как это здорово получилось, что ты оказался на волне большой химии. Это прекрасно! Перспектива! Дух захватывает, — так говорил высокий стройный человек с черными большими глазами.

— А что же так долго не ехал в гости? — улыбнувшись, спросил Самарин, в упор глядя на своего бывшего школьного товарища. — Вы, Зацепины, все, как разлетелись после школы, так и не заманишь в родные места.

— Понимаешь, семейные дела у меня непростые. Москва крутит. Есть еще кое-какие обстоятельства... Москва — не Чапаевск или Новокуйбышевск, — пытался объяснить Зацепин. Он рад был, что все-таки приехал и прямо на завод.

— Ну так переезжай к нам, раз говоришь, что вы, художники, идете в передних рядах борцов за большую химию.

— Так-то оно так, но пока надо быть ближе к столице, пока... а к тебе я буду ездить. Твой полиэтилен — это ж то, что надо сейчас и нам. Правление Союза художников РСФСР вместе с министерством культуры обсуждает вопрос об организации государственного заказа на создание образцов предметов, изделий из современных, новых синтетических материалов. Потом будет проведен республиканский конкурс.

— Специально будете создавать предметы быта? Вы, художники? — усомнился начальник цеха.

— Знаешь, у нас в России около десяти тысяч художников. Надо, чтобы ни одна бытовая вещь не шла в народ без того, чтобы прежде над ней не поработал художник, — пояснил Зацепин.

— Новая кампания? — иронично обронил Самарин.

— Да нет же, нет! — горячо возразил художник. — Не кампания, а план художественной деятельности нашего Союза на многие годы. Это раньше говорили, что прикладников не ценят. Сейчас иное время. Художник-прикладник — незаменимая фигура в промышленности, в оформлении быта.

В кабинет, постучавшись, вошла стройная, в опрятной, ладно сидевшей на ней спецовке молодая женщина:

– Валентин Сафронович, на пятнадцать тридцать намечали собрание в смене. Вы просили напомнить...

– Да-да, я буду, еще час почти в запасе...

Когда женщина вышла, Зацепин воскликнул:

– Какая женщина, а? Лицо какое!

Самарин удивленно и насмешливо посмотрел на приятеля.

– Валь, я о чем? Типаж! – поспешил тот почему-то с пояснением. И продолжил уже спокойно: – Наше правление организует сейчас творческие командировки на предприятия стройки большой химии – вроде вашей. На зональных выставках будут экспонироваться портретные галереи «Люди большой химии». Будут созданы плакаты, эстампы, рисунка на темы жизни и труда героев химической индустрии. Мы в струе!

– В струе? – переспросил Самарин и иронично, в который уже раз усмехнулся: – А моя струя – вон, вытащить и закрепиться на проектной мощности по выпуску полиэтилена. Иначе головы лишат.

– А что? Большие сложности? – тонкие брови художника энергично дернулись.

– Как в любом живом деле есть проблемы, здесь же: новое производство, а технология не отработана.

– А что же немцы?

Самарин ответил не спеша.

– Немцы торопятся и очень, они не сдадут нам цех, как положено...

– Почему? Так может быть?

– Может. Очень много в цехе вращающегося оборудования: газодувки, грануляторы, очистители, расфасовочные машины, насосы, весы. И все немецкое, западных немцев...

– Ну и что? Они же обязаны сдать.

Начальник цеха продолжал, будто не слышал:

– Чтобы все работало безотказно, они меняют быстроизнашивающиеся детали, хотя они еще в хорошем состоянии. Но мы так долго не сможем, у нас валюты на запчасти очень мало. Два года назад на электродвигателе главного привода гранулятора выскочил импортный подшипник. Заменяли его по каталогу на отечественный. Но он тут же вышел из строя. А их восемь грануляторов таких... Ну ладно, подшипники уже везут. Морока и с остальным оборудованием. Чертежей на запасные части немцы не дают. Такие, если и есть, то они «слепые». Немцы так хитро внесли погрешности в них, что изготовленные по ним детали непригодны для работы. Мы уже пробовали. Порой среди немцев проскакивают откровенно недружелюбные отношения.

– Даже так! – удивился художник.

– Да, но есть и доброжелательные. Например, Вернер Герман – гармотный специалист, правда, по-русски говорит с трудом. Так вот он считает, что когда немцы уедут, мы года два продержимся, а потом производство развалится.

– Разве такое возможно? Тогда не надо принимать у немцев не достигшее проектной мощности производство. Или я чего-то не понимаю?

– Понимаешь, но не берешь в учет одно обстоятельство.

– Поясни.

– Нам надо, чтобы производство вступило в ряд действующих в намеченный и записанный в самых верхах срок. А им – как можно быстрее уйти с площадки.

– И так будет?

– Скорее всего.

– А как же?.. Потом-то?..

– На завод приезжал Алексей Николаевич Косыгин. Я думаю, скоро дела поправятся. И валюта на запчасти будет, и мы кое-что сейчас уже придумали. Потихонечку начинаем готовить свои чертежи на оборудование. Будем сами делать, нашли на стороне заводы-изготовители.

– Ну, это все притрется, все уляжется, – проговорил уверенно Зацепин. – Кто же позволит, начав такую раскрутку, вдруг затормозить объективный процесс: химизацию целой страны? Прорвемся. После приезда Косыгина сдвиги есть?

– Конечно. Во многом. В том числе и в строительстве жилья. Он распорядился о возведении двух пятиэтажек для тех, кто живет здесь, на территории завода. Дома уже начали строить.

– Вот видишь! – Художник возбужденно прошелся по кабинету. Наткнулся на стул. Кабинет ему был тесен. – Может быть, я не вижу частностей, но я вижу целое! Я вижу цель! Какой всплеск развития, а? Не могу привыкнуть. Как это могло произойти! Не ожидал здесь, в Поволжье!

– Толчок дали решения майского 58-го года Пленума ЦК КПСС, – обстоятельно пояснял Самарин. – Его называли у нас пленумом по химии. Намечено создание новых районов химической промышленности. Одним из них должна стать наша область. Задумано ввести в строй целый ряд химических и нефтехимических заводов. В том числе в Ставрополе и в Новокуйбышевске. Потом пуск последнего агрегата Волжской ГЭС – это тоже способствовало развитию региона. Ты это должен знать, – Самарин посмотрел на товарища и приветливо улыбнулся.

– Да, конечно, – отвечал Зацепин. – Но я, когда уехал жить к тетке в Москву, перестал быть в курсе. А ты в гуще всего этого оказался.

– Когда ты заходил ко мне, столкнулся у входа с парнем, заметил его? – спросил Самарин.

– Да, я обратил внимания, молоденький такой.

– Ковальский – студент вечернего института, вернее, поступил на дневной, а потом вот направили к нам на завод. Таких теперь сотни. Они, прошедшие первые полтора года практику на заводе и те молодые рабочие, которым открыли дорогу в институт, будут развивать нашу нефтехимию. Все, кого я знаю, удивительно целеустремленные ребята. Многое у Ковальского может получиться. Чувствую, далеко пойдет, если помеха какая-нибудь на пути не встанет. Уже освоил два рабочих места, сейчас готовится сдавать экзамен на третье.

– Послушай, Валентин, – нетерпеливо перебил художник, – ты получил диплом с отличием. Знаю, что тебе было сделано предложение поступить в аспирантуру, а ты отказался, почему? Ты выбрал инженерную работу, считаешь так правильнее?

– Все по тому, что здесь сейчас интереснее. И я не зря перешел с фенола на полиэтилен. Это такое глобальное направление – полиэтиленовые пластмассы. А совмещение науки и практики сейчас очень важно. Кафедра «Технология органического синтеза, синтетического каучука и пластмасс» во главе с профессором, доктором химических наук Дмитрием Николаевичем Андреевским очень хороша. Кстати, это – первая кафедра, открытая на химическом факультете. Но здесь, на заводе, короче путь до практического внедрения.

– Ты же так увлеченно работал в науке, в институте?

– Я и сейчас работаю в науке, на заводе.

– По полиэтилену?

– Нет, занимаюсь проблемой получения стирола. Очень важное направление. Хочу сам внедрить новый процесс. У меня на кафедре Андреевского есть помощники: Александр Рожнов, Светлана Леванова. У них светлые головы.

– По-моему, мне говорили, ты стал одним из первых совмещенников, вроде этого Ковальского.

– Ну, что-то похоже. Неофициально. В 1960 году я, Валентин Кузьмин, Сергей Баранов делали дипломные проекты без отрыва от практики. Мы работали на пуске второй очереди нашего «Синтезспирта». После двух месячной практики решили не возвращаться в институт и не брать положенных пятнадцать недель для выполнения дипломного проекта. В

начале эксперимента руководство факультета пошло на этот шаг. Да, мы были первыми в этом деле. — Самарин вышел из-за стола. Провел рукой по рыжей шевелюре, задумался глядя на Зацепина. Сказал с расстановкой: — Работы здесь на всю жизнь, интересной работы! Нефтехимия — промышленность наукоемкая. У меня уже есть кое-какие соображения по одному из процессов. Кажется, может быть, значительная вещь. Освоим окончательно мощности, займусь наукой плотно.

— Послушай, нам по тридцать лет всего! Столько можно сделать! Я известности хочу! Художнику без этого нельзя. — Зацепин поколебался и закончил фразу: — И, конечно, славы хочу — не улыбайся.

— Вот возьми, прочти, — Самарин протянул художнику газету «Волжский комсомолец». Показал пальцем заметку «Наступление на сроки».

Виталий Иванович прочел вслух:

— «Новокуйбышевск — город большой химии. Какие подарки готовят молодые строители приближающемуся Пленуму ЦК КПСС, обратились мы по телефону у секретарю комитета ВЛКСМ треста Владимиру Берлину. «Никогда еще на Всесоюзных ударных стройках нашего города не было такого трудового подъема, как в эти дни. Коллектив СУ-6 дал слово закончить строительные работы на пусковом цехе пищевого спирта не к 20 декабря, как предполагалось, а ко дню открытия партийного пленума. Инициатором соревнования за сокращение сроков строительства на этом объекте выступила комсомольско-молодежная бригада А. Романова».

Когда художник кончил читать, Самарин посоветовал:

— Вот возьми и нарисуй одного из наших первенцев, этого Романа, а может, Ковальского. Хочешь, познакомлю? У него судьба интересная. От поляка в конце войны в Утевке родился. Кто знает, может быть, он своим портретом тебя и прославит. А? Приглядишься к нему!.. Там и характер, и мужество просматриваются. Познакомить?

— Конечно, познакомь, — проговорил Зацепин. — Это верно — не газгольдеры и колонны надо рисовать, а людей. Постой, — проговорил он безо всякого перехода, — мы что, скоро будем пить ваш спирт? Из нефти который? Тут написано — «пищевой».

— Вполне возможно. Но здесь торопиться нельзя. Это ж все непонятно как аукнется, — проговорил задумчиво Самарин.

— Я закурю.

— Валяй.

— Ты так и не научился курить? В таких заботах-то?

— Нет, некогда было.

— В Москве есть завод «Полиэтилен», знаешь? — спросил Зацепин.

— Я там был. Хороший завод.

— Да? Так вот, на нем сделали из полиэтилена десятилитровый бочонок для вина. Сверху он расписан под деревянную бочку. Понимаешь, попытка стилизации полиэтилена под изделия из дуба — антихудожественна. Надо идти к глубокому постижению новых материалов, чтобы выявить особую красоту, которая свойственна именно пластическим материалам. Именно синтетическим материалам, а не подделываться под них.

— Ты нас, производителей, обвиняешь в том, что мы хотим наделать таких синтетических бочек, наполнить их синтетическим пищевым спиртом и поить народ, да?

— Я понимаю, ты намеренно огрубляешь, но... — Он прошелся по кабинету, поискал взглядом пепельницу. Не найдя ее, остановился и убежденно проговорил: — Пластмассы, синтетика ждут своих поэтов. Таких, которые влюблены в новые материалы, так же, как мастера скульптуры любят мрамор, дерево, гранит, медь, бронзу. Важно для будущего, чтобы в прикладном искусстве появились большие художники. И дело рук человеческих, и сам человек в большой химии — это все интересно настоящему художнику.

Он замолчал. Молчал и Самарин. Им не о чем было спорить. Они оба были обуреваемы жаждой деятельности. И оба хотели понять глубже то, чем каждый занимался.

— Эта женщина, ну, которая заходила... — начал Зацепин.

— Ирина Гражданкина, — подсказал Самарин.

— Наверное, она интересный человек. Как она попала в цех?

— Когда вышло обращение ЦК комсомола к молодым, они вдвоем с другой Любой снялись с насиженных мест и приехали на стройку.

— Вновь характер! И мужество! Мы, художники, должны принять самое активное участие в пропаганде решений декабрьского Пленума, разъяснять их глубокий смысл и необыкновенную перспективу, которую открывает большая химия перед нашим обществом.

— Ты, Виталий, стал художником и остался комсоргом, — констатировал Самарин.

— Да! — отозвался с готовностью собеседник. — Остался. Но не в этом дело. Дело в том, что искусство не должно быть аполитично. Ведь не зря же партия провозгласила, что коммунизм — это советская власть плюс электрификация и плюс химизация народного хозяйства. Это политически очень верно! Это прогресс! Это прорыв! Наша партия поняла, где передовой рубеж преобразований общества.

Начальник цеха, чуть покачивая головой, сказал, очевидно, больше самому себе:

— Каким ты был, таким ты и остался — казак.

— Художник должен быть идейным, — с ходу завелся Зацепин. — Я не понимаю, почему ты не в партии до сих пор? Тебе же надо расти. А если так — то вне рядов партии... сам понимаешь!

Самарин не торопился с ответом. Ему было здесь все понятно. И он был рад видеть своего друга детства. Рад, что тот много хочет. Он был честолюбив, этот будущий народный художник. И не скрывал этого. Ему хотелось известности. В молодости кто не мечтает быть великим?

— И еще, Сафроныч: Сергей Эйзенштейн считал, что в точке пересечения природы и индустрии лежит искусство. Он это сказал на докладе в Кембриджском университете. Кажется еще в тридцать первом году. Ты понимаешь, в каком времени мы с тобой сейчас живем?! И где мне повезло оказаться? В какой точке пересечения! — Он замолчал, но не надолго. Добавил, как само собой разумеющееся: — Все пропитано по сути идеологией, партийностью. Как, впрочем, и твоя работа начальником цеха. Ты согласен?

— Да, с тобой, как и раньше, трудно спорить. Ты как-то всегда оказываешься прав.

— На моих — пятнадцать десять. Тебя, начальник, ждут на собрание.

— Я сейчас пойду, давай отмечу пропуск. Сегодня уже не увидимся. Ты когда в белокаменную?

— Через четыре дня. Давай я к тебе послезавтра в четверг приеду вечером в Чапаевск, к матери твоей. Часов в восемь вечера. Как раньше, посидим под яблонями. Идет?

— Идет.

Когда они вышли из кабинета, внизу в красном уголке уже слышен был шум молодых голосов. Дневная смена технологов и механическая служба, очевидно, были уже в сборе.

— А может, к нам на собрание, — неожиданно для себя предложил Самарин. — Так сказать, искусство в массы, а?

— Да ну, что я там, как... Мое дело — не твое. Твое — не мое...

— Ладно, — махнул рукой Самарин. — Увидимся, комсорг.

* * *

Это был первый приезд Александра к Анне в Пензу после их лунной ночи на Самарке. Он долго обдумывал, как организовать их встречу. Оказалось это несложным. Сестра Анны Мария жила одна. Она-то и уступила им на два дня свою комнату. Сама ушла к подруге.

Анна прибежала к нему украдкой несколько раз в эти дни. И этот их заговор, двоих против всех, обжигал его. Он не представлял себе, как он может уехать от нее? Как она может остаться одна, без него?

Анна тонко чувствовала его настроение. Это его поражало. К нему снова явилось чувство тихого светлого восторга и ликования, которое было в их первую ночь на Самарке.

Уже в первый день, когда он едва задумался на минуту, забыв о ней, она спокойно глядя ему в глаза, спросила:

– Саша, ты о чем думаешь?

– Да так, – спохватился он. – Так себе. Не беспокойся.

– Но я вижу. У нас с тобой проблемы?

– Да нет, не у нас. У меня. Трясина какая-то.

– Ты о чем? – спросила она и придвинулась плотнее к нему, прижавшись щекой к его плечу. Кровать в такт скрипнула. – Мария нам счет предъявит, если она рухнет, – весело рассмеялась Анна.

Он думал, что она забудет о своем вопросе, но Анна вновь проговорила:

– О чем ты, Саша?

– Трясина какая-то... – выдохнул вновь Александр.

– Сашенька, мне непонятно.

– В городе я не свой – деревенский. И в России вроде бы не свой – поляк.

Он не спеша рассказал ей о случае в курилке.

– Саша, ну что ты говоришь? Маленький мой. Это же шелуха! Ты слишком восприимчив. Все пройдет.

– Каким образом?

– Надо преодолеть!

– Как?

– Просто. Пройдет годик и ты станешь в городе другим. Вся Россия из деревни вышла. Не ты один такой. А сейчас особенно города, как магниты, тянут к себе молодежь. – Она продолжала лежать, прижавшись щекой к его плечу. – Ты себя русским чувствуешь?

– А кем я себя еще могу чувствовать? Я не видел ничего другого. Я крещен в православной церкви.

– Ну, тогда в чем же дело? Ты слишком чувствителен. Я это знаю. Надо быть чуть позащищеннее.

– Как и чем защищаться? – Он слегка гладил правой свободной рукой ее голову, как ребенку. Она покорно не шевелилась. – Я тогда из курилки потихонечку в темноте вышел и все. Вот моя защита. Не знаю, как себя защитить активно.

— Сказать как?

— Скажи, — он приподнялся слегка и недоверчиво посмотрел на нее. Она почувствовала это, но не стала реагировать.

— У каждого должна быть своя религия. Пусть твоей религией будет технический прогресс. Я тебе на эту веру благословляю! Но этого мало. Ты должен иметь успехи! В учебе! В работе, в жизни! Ты должен очень многое уметь делать в жизни хорошо! Или лучше, чем хорошо! Это панацея от всего. — Она говорила, а он все доверчивее глядел на нее. — Ты можешь так много сделать! — Она, спокойно и просветленно глядя на него, продолжала: — Будь уверен в себе. И тогда ты всем докажешь. Но — делами! Докажешь, что ты и деревенский, и городской. Всякий! А что ты русский — само собой видно будет. Русские всегда будут впереди всех!

— Аня! — произнес он полупшепотом.

— Да? — с готовностью отозвалась она.

— Ты моя пионервожатая, да? До сих пор?!

Вместо ответа она так крепко (не ожидала сама) схватила его нос двумя своими крепенькими пальцами, что он вскрикнул. Она сама испугалась и разжала пальцы.

Привстав на коленях и уронив на него свои длинные легкие волосы, стала целовать его лицо. И все спрашивала:

— Ты не обиделся, правда? Тебе не очень больно?

А он притворно сердито молчал. Сколько мог.

Потом уже, когда сидели за столом, покрытым красивой розовой скатертью, Анна безо всякого перехода, видно, что она об этом не переставала думать, начала говорить. Он слушал, почти не перебивая. Его, в который раз, завораживала уверенность и убедительность ее высказываний.

— Эти две веры: вера, что ты русский, и вера в технический прогресс, где ты больше всего преуспеешь по складу своего характера, пусть будут твоим стержнем. Ты осознай важность этого. Он в тебе уже есть, этот стержень, эта вера! Но осознай их. И берегись безверья! Зацепись за этот якорь! И пусть это будет твоей загадкой для других. Верь в себя — и ты добьешься многого. И не надо никому ничего доказывать. Люди живут серыми от того, что не знают, кто они и чего хотят. А ты — знай! Мой незаметный никому отец выжил только потому, что у него была своя вера.

Эта несколько непонятная последняя фраза не смутила его. Он отозвался:

– Да, мне надо трудиться прилично, – согласился он простодушно. – Школа дала мало. То ли от того, что сельская? А в институте на лекциях – рутина. Техническую литературу подбираю самостоятельно, сверх той, что дают в институте. Записался в Публичную городскую библиотеку. А она, конечно, не то, что у нас в Утевке. У меня там голова кругом идет, когда приезжаю. Но нету системной основы. Я не разбираюсь в религиях. Историю знаю очень плохо. Не чувствую время. Художественную литературу читаю урывками. Но Лермонтов постоянно теперь со мной.

При этих словах она признательно ему улыбнулась:

– Видишь, какой ты! Впитываешь с ходу.

– Это ты мне такие толчки даешь. Я до тебя Лермонтова в общем-то не знал. А теперь его «Выхожу один я на дорогу...» всегда пою, как только оказываюсь где-нибудь на просторе, где никого нет.

– Молодец! – обрадовалась она искренне.

– Это от того, что ты почти всегда правильно понимаешь меня.

– А это от того, что я тебя люблю! – сказала как выдохнула Анна. Она примолкла и добавила почти шепотом: – Маленького моего люблю!

Александр молчал. Он вновь растворился в ней. И не хотел сопротивляться этому своему чувству.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

...В Утевке жизнь кучерявилась на свой манер. Сисямкина тетя Маша сдалась все-таки и разрешила Разлацкому, своему квартиранту, поставить в большой комнате под образами телевизор: «Теперь куда уж деться, у всех кругом бесы поселились по избам, не схоронишься». Так еще одна антенна, как большая кочерга, поднялась на Центральной улице села...

Замелькали во дворах сельчан красные баллоны с газом. Любаевы тоже оборудовали газовую плиту на кухне, сбочь от печки. Печи в селе пока никто не трогал.

– С газом-то любота, – радовались утевцы. – А печи пусть себе стоят. Мало ли чего? Ахнет где-нибудь что-нибудь – и нет газа, что тогда?

– Жизненка, – как говорил Иван Головачев, дед Ковальского, – к лучшему накренилась чуток. Полегчало немного.

В свои короткие приезды домой Ковальский видел эти изменения и радовался. Но были и грустные события. Их Александр переживал как личные. Не у каждого жизнь кучерявая... Чаше всего о грустном он

узнавал из писем от матери. Письма были написаны неразборчиво. Но в них был такой свет и отрада, что у него всегда при чтении увлажнялись глаза.

Вот и сегодня вечером в общежитии его ждало ее письмо. С волнением он надорвал конверт и, стоя у окна в своей комнате, достал из него листок ученической тетрадки в клетку.

«ПИСЬМО ИЗ УТЕВКИ

ЗДРАСТИ НАШ ДОРОГОЙ САША.

ХОТЕЛА ЕХАТ КТИБЕ НЕПОЛУЧИЛАСЬ ОЧИМ ТВОЙ ЗАБОЛЕЛ ГРИБОМ ВОТ ИСТОРИЯ».

Дальше она сообщала, что Иван Зуев умер «В КУЙБЫШЕВОМ», что приезжал Сережа «ХУДОЙ КАК ЖЕРДЬ» и «ЕЩЕ КУРИТ КАК ПАРАВОС И МОЛЧИТ. СОВСЕМ НЕ СМЕЕТЦА КАК РАНЬША, ЗАБОЛЕЕШЬ СМОТРЕТЬ НА ТАКОВА ВАШ ГОРОД СИЛЫ СОСЕТ КУДА ЧЕВО ДЕВАТЦА СМОТРИ КАК СЛЕДОВАТ ТАМА».

Таких уже четыре письма лежали у Ковальского в чемодане под кроватью. Это пятое.

Странное совпадение. От Анны тоже было четыре письма. Он хранил их вместе, эти письма: от матери и от Анны. В своем зеленом чемодане.

Каждое письмо Анны начиналось для Александра обжигающей фразой, к которой он не мог привыкнуть. Эта простенькая фраза притягивала своей искренностью. «Миленький мой Сашенька», — так к нему никто и никогда не обращался.

Эти письма похожи были тем, что писали их любящие женщины. Почерк у Анны был мягкий и ласковый. Буквы в словах сплетены в одно кружево. А мать каждую букву в слове писала отдельно. Каждая буква давалась Катерине нелегко. Она написала в одном письме: «НАПИСАТ ПИСЬМО ТИБЕ ДОЛЬША КАК НА СИПАРАТОР СХОДИТЬ МОЛОКО ПРОПУСТИТЬ».

Ковальский отвечал на письма матери обстоятельно и терпеливо. Приходилось писать печатными буквами, чтобы мать читала сама, так хотелось ему.

Когда пишешь письмо печатными, отдельно друг от друга стоящими буквами, немисливо ошибаться. Каждое слово значительно и важно. Как проверка самого себя. Александр уходил в красный уголок и в уединении, чтобы никто не мешал, писал ответ. Он про себя называл это: «сходить на сепаратор». Ходил Ковальский «на сепаратор», наверное, еще дольше, чем его мать. Он не мог торопливо писать ответ. Знал, что каждое слово его будет прочитано и обдуманно несколько раз и боялся сфальшивить.

Письма матери и его ответы и вправду, как сепаратор, очищали его. Они и приходили-то как раз тогда, когда надо было. Катерина как будто каждый раз чувствовал это.

В одном из писем она вдруг стала просить, чтобы он осторожнее переходил улицы и опасался попасть под «ТРАНВАЙ». Он был поражен: за два дня до письма он соскочил с подножки «ТРАНВАЯ» на ходу и неудачно. Замешкавшийся долговязый парень загородил проход и, упустив момент, Александр спрыгнул, когда вагон уже, после обычного притормаживания на повороте, набирал скорость. Он тогда упал на колени и до крови рассек его.

Ушиб был незначительный.

Но мать его почувствовала!

* * *

В прошлую субботу в читальном зале областной библиотеки Ковальский сделал выписку, которая показалась для него очень важной. Она оправдывала безоговорочно его выбор профессии:

«Производство искусственного и синтетического волокна по сравнению с волокнами естественного происхождения требует меньших затрат.

1 т. натурального шелка стоимостью около 550 тыс. руб. можно заменить синтетическим волокном стоимостью около 50 тыс. руб. за тонну. Костюм из чисто шерстяной ткани «люкс», «метро», «ударник» стоит 1900–2000 руб., а из штапельной костюмной ткани 600–700 руб.

Шапка-ушанка из натурального каракуля стоит 367 руб., а из искусственного каракуля стоит около 60 руб.; шуба, пошитая из овчины, стоит около 1600 руб., а шуба, пошитая из искусственного меха, не уступающего по своему внешнему виду и по прочности натуральному меху, будет стоить примерно 1000 руб.; дамское меховое пальто, пошитое из специально обработанной овчины, стоит около 4000 руб., а дамское пальто из искусственного материала будет стоить примерно 1000 руб. Затрата на сырье, из которого изготавливается искусственный мех, в четыре раза ниже стоимости натурального меха, а срок службы в 4–5 раз дольше.

Цены на натуральные волокна за последние 35–40 лет выросли в 2–3 раза. На искусственный шелк цена понизилась примерно в 3–4 раза.

«Деду Ивану приеду – покажу, ясно будет, какая у меня в будущем профессия. И разноцветных гранул полиэтилена надо привезти. Никто же не видел никогда такого», – так он довольный думал, делая эту запись.

А вскоре в тетради появилось стихотворение:

*Как намокла рубашка!
Путь проселком нелегкий.
За спиною Домашка –
Полчаса до Утевки.*

*Путь проселком нелегкий,
Да не надо мне легких.
Путь один из Утевки,
Остальные в Утевку.*

Эти стихи он написал в том же читальном зале областной библиотеки неожиданно для самого себя. Вспомнился поэт из Домашки Гриднев, его строчки: «Мой дом на Каспии стоит», – и захотелось своего. Почему «путь один из Утевки, остальные в Утевку»? Он сам отчетливо не понял. Но это не было позой. Было иное. Предчувствие того, что ничто уже роднее в жизни не будет. Это навсегда.

...В поселке Кряж есть перекресток. И указатель, греющий душу Ковальскому. Там на синей табличке две стрелки, указывающие направления. Одна на – Москву, другая – на Утевку. И все! Каждый раз собираясь домой, он говорил в группе:

– Еду в мою столицу – Утевку!

* * *

Чаще всего попутки через Кряж шли до Ветлянки или Нефтегорска. В таких случаях Ковальский сходил у поворота на Утевку и шел пешком. Он любил этот отрезок пути. Широкая прямая дорога с лесопосадками с обеих сторон. Тишина и огромное небо над головой. Этот путь часто приходилось преодолевать поздним вечером. Либо уже ночью. Это ему очень нравилось.

...Александр шел в сумрачной гулкой тишине, читая на память из «Мцыри» Лермонтова:

*Меня могила не страшит:
Там, говорят, страданье спит
В холодной вечной тишине;
Но с жизнью жаль расстаться мне.
Я молод, молод... Знал ли ты
Разгульной юности мечты?
Или не знал, или забыл,
Как ненавидел и любил;*

*Как сердце билось живей
При виде солнца и полей
С высокой башни угловой...*

Ковальскому еще перед вступительными экзаменами в школе впервые попался том с поэмами Лермонтова 1828-1841 годов. Теперь же, после разговоров с Анной, он был у него под рукой постоянно. Александр большими кусками держал в памяти поэмы «Сашка», «Тамбовская казначейша», «Мцыри», «Демон». Но читал вслух только когда был один. Ему не нужны были слушатели.

Он, как и Лермонтов, готов был воскликнуть: «Я родину люблю». Настолько было растворено в нем все то, что окружало его. Когда Александр шел широкой дорогой к дому, многое вставало перед глазами из того, что было с ним в детстве на этом радостном просторе. Не любить все это он не мог.

«Такие простые слова: «Я родину люблю». Просто и ясно звучат. Их мог сказать спокойно, не оглядываясь на других, великий человек. Свободный ото всего и ото всех, кроме своей любви. Он и Родина. И все! А мы, как в наше время живем? Боимся признаться, что мы, деревенские? Что у нас тоже есть своя родина. И не «малая», как ее иногда называют, а еще и настоящая – огромная Россия...

Мы же не стесняемся признаться в родстве со своей матерью. Кто же мы тогда? Когда я врезал Еськову, по правде сказать, никто серьезно меня не понял. Почему это так? Сельские ребята молчат: стыдятся себя? И горожане почему молчат? Дороги ли им городские корни? Держатся ли они за них? Или любовь к селу и любовь к городу, где родился – это разные несравнимые вещи? Почему большинство писателей и поэтов из деревень? Вот Лермонтов, он же деревенский! Вырос-то в деревне. С крестьянами. Среди полей и равнин. Засверкал вершиной, словно снежные горы Кавказа. Но он же наш, равнинный? Откуда такая высота и величие? Что же дает право на свой голос? Если я завтра в группе скажу: «Я Родину люблю», – наши оболтусы рассмеются. И не над тем, что я присвоил слова великого поэта (они наверняка этого стихотворения не читали). А над другим. А вот, если бы Лермонтов в своем лейб-гвардии гусарском полку приятелям сказал: «Я Родину люблю»? Что бы было? Он не торопился так вести себя. Не ждал от них понимания? Писал стихи с матерными словами, дрался на кулаках и с солдатами, и с офицерами. Двойная жизнь? Скрывал свою такую нежную и огромную любовь? Зачем? Чтоб выжить? Или просто презирал. Не доверялся никому? Что же, жизнь одно, а литература – другое? Каждое само по себе? Или тут сложнее все?»

– Выхожу один я на дорогу,
 Сквозь туман кремнистый путь блестит.
 Ночь тиха, пустыня внемлет богу
 И звезда с звездою говорит, –

пропел Ковальский и удивился сам себе, как торжественно прозвучало: ему казалось, будто поэт видит сейчас его шагающего в ночи и думающего о нем. «Все еще до меня давно угадано, узнано, понято, пережито». Становилось жутковато от этого.

...В село Александр входил обычно легкой походкой. И на душе было после такой дороги светло. Это была его дорога.

Даже если транспорт шел до самой Утевки, все равно чаще всего он выходил на перекрестке и шел своей дорогой пешком. Часто под недоумевающим взглядом проезжающих мимо.

Ему нужна была эта дорога. Она выравнивала в нем ту кособокость и устраняла расстроенность, которые вез в себе из города. В его характере было многое от матери. Ему обязательно требовался выход на светлое, радостное, жизнеутверждающее, уравновешенное. Александр любил улыбку, а не угрюмство. Ему и «Тамбовская казначейша» поэтому нравилась необычайно. Александр и ее читал на этой дороге. Он даже пытался сравнивать Аксюту с Авдотьей Николаевной, нарисованной Тропининым. И находил много сходства. Но не стал бы никому об этом говорить.

* * *

Последние дни часто болела голова. Неделю назад, в смену на его «нитке» лопнул резиновый компенсатор, соединяющий между собой два аппарата. При пневмотранспорте порошка трубопроводы вибрируют. Вот эту вибрацию труб между жестко установленными аппаратами и гасят резиновые вставки диаметром около сорока сантиметров, закрепленные металлическими хомутами на трубах. Выход из строя компенсатора всегда сопровождается большим выбросом полиэтиленового порошка. Весь пол помещения после этого становится белым, как в первую раннюю порошу. В воздухе тогда гуляет запах изопропилового спирта и азота.

Ковальскому очень хотелось быстро заменить компенсатор, и он не пошел за противогазом, оставленным на щите управления. То, что азот – веселящий газ, слегка наркотического действия, он знал из инструкции. Но вот убедился теперь впервые. Действительно – веселящий. Орудя на двухметровой высоте у горловины дышащего газами аппарата, он почувствовал, что губы его начинают непроизвольно растягиваться в

беспричинной улыбке. Свести их вместе, в нормальное положение нет никаких сил.

«Вот картинка: сейчас кто-нибудь явится, а я на аппарате сижу с глупейшим лицом. После вся курилка от хохота дрожать будет».

Он не понял, как его сорвало вниз. Очнулся на полу в белоснежном порошке. Вскочил с первой мыслью: кто-нибудь видел? Нет, в помещении он был один. Быстро, как мог, чувствуя, что не в состоянии четко координировать свои движения, пошел к раскрытой двери на лестничную площадку. Там, на свежем воздухе, отдышался. Не спеша, сходил за противогазом. Монтировал компенсатор уже со старшим аппаратчиком.

Они потом докопались до причины выхода компенсаторов: часто она была чисто техническая – при передавливании азотом содержимого в аппаратах-разлагателях почти одновременно открывались и закрывались спаренные шиберы. Такое недопустимо. Подводила хваленая немецкая техника.

Ковальский никому о своем падении с аппарата не сказал. Зачем?

...Сейчас, подходя к дому, он не чувствовал никакой боли. Дорога к дому лечила от многого.

Когда вошел во двор, там никого не было. В открытую дверь сеней виден был непривычный замок.

Соскучившийся кобель Цыган бросился под ноги и не давал пройти к сеням. Терся об ноги, заглядывая в глаза. Когда же Александр добрался до сеней и вошел в них, над головой справа на гвозде на большой белой тесемочке увидел ключ. Его ждали дома постоянно.

* * *

– Саша, я давно тебя все хочу спросить, да никак не решусь...

Александр сидит за столом, ест из чашки кислое молоко с хлебом. Молоко холодное, только что из погреба. Вкусно. Катерина знает, чем угощать сына. Она стоит у печки, делая вид, будто что-то рассматривает на загнетке.

– Что, мам? – совсем неготовый к серьезному разговору спросил сын.

– Ну, вот в клубе сказывают, что ты провожал с танцев какую-то замужнюю женщину...

Александр чувствует, что лицо его начинает гореть. Он понимал: родители все равно узнают, не утаишь. В клубе, где мать и отец работают, обо всех все знают. Но прямой вопрос застал его врасплох.

Катерина взглянула на сына и сказала, будто подумала вслух:

— Мало девок, что ли? Чужая жена — не твоя жена. Это надо знать. Вошел со двора отец. Притулился около рукомойника свой бадик. Взглянув поочередно на обоих, обронил:

— Что-то вы притихшие какие? — и загремел соском пустого рукомойника.

Не услышав никакой реакции, зорко посмотрел на сына:

— Стучилось что?

Сын ответил не спеша:

— Мать, наверное, считает, что случилось, а я нет. Ну, не очень случилось... — Он не знал, как говорить и что.

— Мать, а мать? — произнес Василий, наблюдая, как Катерина наливает в кружку шиповный отвар из зеленого прежде, а теперь закопченного в печке чайника. — Ты, может, скажешь тогда? Я...

Катерина вздохнула. Подняла на уровень груди свои большие не по росту руки, сжав их в один кулак. Не знала, что с ними делать.

— Да мы про Аню Бочарову... — сказала и замолчала. Спихватившись, понесла кружку воды к рукомойнику.

«Они и имя, и фамилию знают», — отметил про себя Александр. — И, конечно, знают больше того, что я ее просто провожал...»

— Жизнь поломать можешь ей? Ты это понимаешь? — сказал отец безо всякого нажима. — У нее же дочь, муж...

«Встать и уйти, — вдруг мелькнула у Александра мысль. — Ведь я ничего внятного ответить не могу, кроме того, что я не могу без Анны. Она имеет надо мной власть, Анна меня удерживает около себя и крепко. Говорить вслух сейчас это — смешно. Я буду выглядеть куклой. Тут словами не объяснить. Мои не знают Анну. Муж ее — не знает. Я знаю больше всех, кто она! Какая она!»

— А ты молоденький еще, — вставила мать и примолкла, выжидательно глядя на отца: говорить ли дальше что или не надо?

Тот, перехватив ее взгляд, молчал. Молчали все. Потом Василий сказал намеренно буднично:

— Мать, это его мужское дело. Ему подумать надо. — И ушел с большой кружкой чая в переднюю. Вроде бы к динамику, шумевшему на подоконнике голосом Мордасовой, которую Ковальский терпеть не мог.

...Когда Александр вышел во двор, разговор между Катериной и Василием продолжился.

— Дипломат, а дипломат? — войдя в горницу и остановившись около голландки, проговорила Катерина. — Вдруг он загорится жениться на ней?

— Да ладно тебе — жениться... Его силком не женишь, вот увидишь. И у нее муж живой...

— Задурит парню голову — женится. Я видела ее: она видная такая. Красивая. И учительница. — Она присела у окошка и вздохнула. — Вот Тамарка Заречнова, какая пригожая! Я наблюдаю за ней. Мне сказывали в клубе: она гонится за ним. Только больно уж робкая такая. А он, наш Саша-то, слепой. Не видит.

— Да, рассказывай кому: слепой, — не согласился Любаев и ядрено крякнул.

Катерина молчала. Молчал и Василий Федорович. Затянувшаяся пауза тяготила. Первой не выдержала Катерина:

— А ты где так пинжак-то загваздал, весь рукав в глине.

— Откель я знаю.

Голос у мужа был ровный, не тревожный. Она немного успокоилась.

* * *

Ковальский вышел из сельницы, где спал, и не спеша пошел в огород. Было часа два ночи. До начала выгона коров еще далеко. Село окутал сон.

Он подошел к колодцу, достал воды, громыкнув цепью. Раздувая гнилушки, попавшие в бадью, редкими глотками напился.

Ночь была светлая.

В Утевочке-реке в конце огорода виднелся высокий тополь, словно покрашенный белилами. Щемяще поскрипывал журавец.

У соседей Зининых мукнул теленок. Во дворе Лаптаевых шумно вздохнула корова.

Не выходил из головы дневной разговор с родителями.

«Я не в силах оставить Анну. Нас связывает что-то такое, что сильнее моей воли. Она самоотверженная и преданная натура. Я не могу ее предать. — Мысли его переходили от одного к другому. — Но она попала не в те условия. Они ее уродуют. Ей, может быть, случилось жить не в то, не в свое время... А наша связь?! Она и намека не имеет на плохое... Кто мы друг для друга? Мы ни разу на эту тему не говорили! Любовники? Этого мало. А кто еще? Друзья? Нелепо. Этого тоже мало для нас. Конечно, я виноват. Я создал такой тупик. Анна не при чем. Ищу оправдания своим поступкам. Но их нет. А мне так хочется оправдать себя. Быть хорошим. Поверить, что даю Анне только радость. Но это ведь, может, и не так. Я многого не знаю. Она одна со своими проблемами. Мы же видимся раз в полгода».

Он вдруг впервые подумал о том, какие муки она терпит, оставаясь женой своего мужа и ужаснулся, представив это в подробностях. Мелькнула обнадеживающая мысль: «А может, все-таки все не так! Вдруг для нее я — главная радость в жизни? Может, она правду говорит! Тогда как? Люди различны. Один и тот же поступок может быть злом для одних и добром для других. Так бывает. Так как же поступить, чтобы было правильно? Люди поступки других оценивают не объективно. Это известно. И мать с отцом мои далеки от истины. Они не поймут меня. Но я не в обиде. Слава богу, они не знают того, что мы как муж и жена. И я не вижу никого для себя ближе, чем Анна».

Александр думал, что один не спит. Катерине тоже не спалось. Она сидела на кухне и задумчиво, в который раз, перекладывала испеченные с вечера тонкие лепешки для лапши. Со стороны можно было подумать, что она занята неотложным делом. Но в такую рань-то, какая нужда?

...Ковальскому вспомнилась притча, которую Анна ему рассказывала, когда он приехал к ней в Пензу второй уже раз.

Он смог тогда взять на двое суток номер в гостинице, и она со всеми мыслимыми и немыслимыми предосторожностями всего два раза смогла ненадолго прибежать к нему. Какие это были для него дни! Сколько Александр передумал и перечувствовал!

Она сидела в одной ночной рубашке рядом, а Ковальский в полудреме вяло слушал, не думая, что сказанное ею так крепко ему когда-нибудь пригодится.

— Старик и внук-подросток шли своей дорогой. У них был небольшой ослик, на котором они поочередно ехали, — говорила она. — Когда ехал старик, а мальчик плелся следом, прохожие насмеялись: «Дряхлый и ненужный старик, жалея себя, губит мальчишку». Слыша такое, старик слез с осла и заставил вместо себя сесть внука. Толпа зашептала: «Здоровый ленивый мальчуган не жалеет дряхлого старика». Мальчишка упросил старика сесть на осла вместе с ним. Они ехали теперь оба. Возмущение прохожих становится еще сильнее: «Слабое животное задавили два больших лентяя». Что поделаешь: старик и внук сходят и идут рядом с ослом. Насмешки еще острее: «Двое ослов, жалея третьего, не берегут себя»

Она тогда не стала комментировать эту притчу. Рассказала и все. Знала, что ему многое надо будет понять. Он вспоминал ее рассказ часто. Александр полагал тогда, что Анна говорила и думала о себе. Оказалось, что и о нем тоже. Выходило и впрямь: нельзя было рассчитывать, что окружающие могут объективно воспринимать твои поступки. Объективного восприятия, объективной оценки вообще не может быть.

Каждый человек оценивает твоё поведение с позиции своих интересов, исходя из своего миропонимания. А оно у каждого своё. Каждый проживает свою жизнь не понятый другим. И к этому надо быть готовым. И это надо уметь прощать другим, ибо субъективность замешена в человеке, это его сущность...

...И не важно, родители это или совершенно чужие люди. Каждый человек – загадка?!

Все, наперечёт, короткие встречи с Анной давали так много Александру, что остальные знакомства казались ему удручающе бедными. Ему было скучно с другими. Он не находил того, что было у него с Анной. Это было как наваждение.

...Утром, пока мать собирала на стол, Александр наспех, боясь забыть, записал карандашом на листочке отрывного календаря строчки, которые сложились у него ночью в огороде, когда он сидел у колодца. Эти строки не давали ему теперь покоя.

*И мне бы жизнь осточертела,
Была никчемной, как и вам,
Когда б меня Любовь и Дело
Не поднимали по утрам.*

*Они мой двигатель могучий:
Мои Дела, моя Любовь.
Любое зло, любые тучи
Я с ними одолею вновь.*

Стихотворение это начало у него прорезаться ещё в прошлую вечернюю смену на работе. Первые строчки преследовали всю смену. И потом, когда он вернулся в общежитие, и после, когда добирался до дома. Потом они куда-то делись. И только этой ночью вновь пришли откуда-то и привели с собой остальные, удивившие его.

«Моя Любовь – это Анна? Или это все, что я люблю в жизни? И сама жизнь?..»

– Саша, отец заждался тебя на задах у рыдвана, а ты не ел ещё, живее... Я в рукомойник налила – иди умывайся быстрее.

Он свернул крохотный листок вдвое. Передумав, развернул и написал название стихотворения: «Мой двигатель».

«Какое-то машинное название, – засомневался он. И сам себе возразил: – Зато точное».

По приезде в город, Александр переписал это стихотворение в свою большую тетрадь рядом с его записями о способах получения натурального и синтетического каучуков. Он сделал это наспех, торопясь жить.

Совсем не ожидая, что к записям о каучуке потом вернется всего лишь единственный раз. А это свое стихотворение будет помнить всегда.

«Научное сообщение о свойствах каучука, способах его получения и применения было сделано де ля Кондамином в 1736 году, участвовавшим в экспедиции Парижской академии наук для измерения дуги меридиана, пересекающего Южную Америку. Примерно тогда же, в 1746 году, были высказаны предположения о возможности применения млечного сока каучуковых деревьев для изготовления в Европе водонепроницаемых тканей и других изделий из каучука... Среди каучуконосов основное практическое значение имеет бразильская гевея, из млечного сока которой получают каучук...»

Эти выписки он сделал из небольшой книжечки В. Е. Гуль и Н. П. Федоренко в розовой обложке под названием «Полимеры». Ковальский первоначально был зачислен на отделение по специальности «Высокомолекулярные соединения» – ВМС, но, подумав, перед началом первого курса добился, чтобы его перевели на ТООС – «Технология основного органического синтеза». Ему казалось, что эта специальность более широкого профиля. Но совмещать он попал, однако, на производство полиэтилена, то есть на производство ВМС.

Его интересовали не только процессы и технологии, но и люди! Гуль, Федоренко, Макинтош, де ля Кондамин, а потом – Лебедев, Вызов. Кто они? Какими они были и как пришли к тому, что стали во главе такого грандиозного дела: создание каучуков и пластмасс.

Он видел разных людей в жизни. Одни умели рубить пятистенники, рыть колодцы. Другие – ремонтировать комбайны, автомашины, шорничать, плотничать. Великие труженики. Но они делали обычное дело. А были еще люди, стоящие во главе таких значительных дел, которые глобально влияли на жизнь.

Не правители, не политики интересны были ему.

Его привлекали к себе люди, умеющие делать конкретное Дело. И обычное, и значительное!

...Он теперь работал и получал лично на своей «нитке» до одной тонны полиэтилена в час.

А в соседнем цехе выпускали синтетический спирт, который служил сырьем для получения каучука. Выходило, что и он сумел прикоснуться к значительному Делу в жизни.

Они мой двигатель могучий:

Мои Дела, моя Любовь.

«Любовь ко всему вокруг и к Делу своему тоже, — пытался расшифровать свое стихотворение Ковальский. — Вера в свое Дело, как в религию — вот мое». Он мысленно разговаривал с Анной и с собой.

Его будто кто закодировал этим стихотворением в лунную светлую ночь у колодца, так похожую на ту, в которую они с Анной были на Самарке. О похожести этих двух лунных ночей, о том, что они непонятно как, но сильно воздействует на него, он думал потом часто. В те ночи что-то с ним было такое, чего Александр не уловил, не мог уловить, что, может, не дано человеку понять. Дано только случайно догадываться, что находишься во власти того, что не зависит от людей. Но воздействует на них сильно. И тогда говорят вокруг: он просто такой. Родился таким. «Кто знает, эти силы, могут, наверное, воздействовать на человека еще и до его рождения», — думал Александр.

Ковальский часто видел и наблюдал себя со стороны, но и эта его способность не давала ему понять себя. Понять так, чтобы быть спокойным...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Вечером к Любаевым пришла химичка Валентина Сергеевна и попросила Ковальского выступить в школе перед ребятами десятого и одиннадцатого классов. Рассказать об учебе, о заводе. Александр согласился.

Он зашел в чулан, достал привезенные в прошлый свой приезд разноцветные гранулы полиэтилена. Их набралось две пригоршни. И пошел в школу.

«Про полиэтилен надо начать с азот, — думал он, — с химии». И тут же пожалел, что нет у него с собой его тетради. Как она бы ему пригодилась. Там записи как раз к такому случаю.

Он вспомнил две противоречивые записи в своей тетради и задумался: как говорить? Записи эти Ковальский помнил слово в слово. Они были сделаны им из разных книг.

Одна гласила: «Реакция полимеризации олефинов была открыта А. А. Бутлеровым в 1873 году, изучавшим полимеризацию этилена, пропилена и изобутилена».

А вторая утверждала свое: «Впервые жидкие низкомолекулярные полимеры этилена были получены Густавсоном в 1884 г. при каталитическом воздействии бромистого алюминия».

В институте им еще не преподавали специальные дисциплины. Спросить было не у кого. Собирался подойти к начальнику цеха Самарину, да все как-то не получалось.

— Куда ты торопишься? — искренне удивлялись его коллеги на смене в цехе, глядя на его большую тетрадь. — Всего знать нельзя.

— Непонятно. Кто же первый? — говорил Ковальский. — По годам понятно, вроде бы, а по сути?

— А какая тебе разница? Смотри за своей центрифугой. Обслуживай объект — это твоя прямая обязанность. Гони продукцию. А с реакцией разберутся, кому надо! — так понимал этот вопрос мастер смены Новицкий.

Ковальского это не устраивало.

«Скажу только о Бутлерове, он по годам выходит первый все-таки», — с этой мыслью он и подошел к школе.

— Ребята, — начала свое выступление в классе Валентина Сергеевна, — каких-то всего два года назад, вот в этом классе нам рассказывали нефтяники о своей работе. О перспективах, которые возникли в связи с разработкой Кулешовского месторождения нефти в нашем районе. Много они, нефтяники, сделали с тех пор! Одним из слушателей тогда был в классе вот Саша Ковальский, — она показала рукой на Александра. Ребята захлопали в ладоши. Он почувствовал себя артистом-гастролером — его это покорило.

— Саша поступил, — продолжала химичка, — на химико-технологический факультет. Он студент второго курса.

«Да они же знают меня, как облупленного, чего она распинается?» — поежился Ковальский.

— Мы как бы сейчас с вами поднимаемся на уровень выше: нефтехимия идет вслед за нефтедобычей и нефтепереработкой. Эта отрасль более наукоемкая и ближе к быту человека. Ее продукция совсем скоро займет главенствующую роль в нашей жизни. Ну, может быть, бензин — продукт нефтепереработки — будет с ней соперничать, а так... Да вот Саша вам все расскажет...

Она жестом пригласила Ковальского к столу. Ковальский поднялся из-за парты и пошел к столу. «Зачем она говорит, что я «все расскажу» — смешно. Я сам так мало еще знаю. Ладно, буду говорить больше о полиэтилене».

Он высыпал из кармана пиджака гранулы полиэтилена. Разноцветные бусинки заиграли на столе. Синие, оранжевые, белые, черные, красные — они оживили просторную плоскость стола. Александр огляделся. Ребят в классе было человек двадцать. Все заинтересованно и приветливо

смотрели на него. Александр был для них и свой, и не свой уже. Из другой, неизвестной им жизни приехал.

Он рассказывал спокойно, особенно не волнуясь. Видел, что всем интересно слушать, как студенты осваивают новое производство. Какая она вообще жизнь городских нефтехимиков. Слушали его внимательно.

Внезапно дверь открылась и в класс вошла Аксюта.

Она села на задней парте и оттуда уже, когда их взгляды встретились, слегка кивнула Ковальскому. Аксюта была все такая же, как и прежде. Голубая кофточка на груди была ей тесновата. Чувствовалось, что покатые крепкие плечи могли враз затрястись от заливистого смеха. Ей учебный класс не помеха. Если смешно, она будет смеяться, как на картофельном поле или при посадке яблонь. Он вспомнил, мать говорила, что Аксюта теперь работает завхозом в школе. Ее все там любят. Уважают за расторопность и за то, что ко всему относится по-хозяйски. Как у себя в доме.

«Она сидит на месте Мазилина, как на том памятном вечере, когда школьный сторож задавал свои неудобные вопросы нефтяникам. Она, как Мазилин, сейчас начнет меня вопросами «щупать», — предположил Александр. — Мне даже интересно, как она это будет делать».

Не успел Ковальский оправиться от появления Аксюты, вошла Тамара Заречнова. Он на какой-то миг растерялся. Сбился с мысли. Чтобы не показать этого, стал стгребать ладонями гранулы со всего стола в середину, делая так, как будто это было необходимо для чего-то в его дальнейшем рассказе. Когда поднял голову, Тамара уже сидела на втором ряду слева. Недалеко от него. Видно было, что она заметила его замешательство. Улыбнулась ему открыто. Эта улыбка его успокоила. Александр продолжал рассказывать.

Когда закончил, пошли вопросы. Но все они были просты и незначительны. Не хватало в зале Мазилина!

И только напоследок Аксюта, как ни странно, без азарта и напора, буднично заговорила:

— Саш, а вот летом нефтяники загадили Самарку — на той стороне вдоль берега вода неделю шла с пленкой. Блестящая такая. Говорят, за Покровкой где-то, что ли, водозабор у нефтяников сломался или еще что? Ваш завод ведь тоже поди не всегда хорошо работает? Волгу, как Самарку, потихоньку губите? Волга, конечно, не Самарка, но и заводов скоро станет десятки, верно?

Ковальскому не хотелось сразу соглашаться с тем, что заводы нефтехимии губят Волгу. Но и врать не мог. Он не знал истинной картины. Не было у него возможности знать. На заводе он работал в своем

цехе аппаратчиком. Конечно, учился в институте, но все же был рабочим. Александр так и ответил, чувствуя, что несколько теряет свой «авторитет».

— В моем цехе, на моем рабочем месте в Волгу прямых сбросов нет. Может, они где-то там дальше, по технологической цепочке цехов...

...После встречи со старшекласниками он пошел Тамару провожать. Шли вдоль затравевшего берега озера Шамино, и она рассказывала о том, что знала.

Оказывается, химичка Валентина Сергеевна выходит замуж. За писателя из Куйбышева. Дело решенное: она уезжает из села, как только директор школы найдет замену. Мужа химички Тамара видела.

— Он когда приезжал в последний раз к ней, выступал в школе. Как ты вот сегодня. Говорил о своих книжках, а все получалось о себе. Ничего дядька. Но скучновато говорил. Важничал: «...этот образ у меня метафорически достаточно непростой...» Такие слова у него были. Говорят, знаменитость.

— А что-то не было видно физрука школьного? — спросил Ковальский. — Ушел из школы?

— Тут целая история была. Он сошелся с женой Мазилина, помнишь? Который был сторожем в школе, инвалид.

— Конечно.

— Она стала пить. И так быстро спилась. И он укатил из села.

— Сколько мы не виделись с тобой? — спросил Ковальский.

— Почти два года, — ответила Тамара, будто была готова давно к такому вопросу. Уточнила: — Как уехал в Новокуйбышевск — так и пропал. А что?

— Так, — ответил он, слегка волнуясь. — Время как летит!

Не мог Александр сходу сказать, что она стала такой совсем взрослой и красивой.

Когда подошли к ее дому, Тамара, взглянув на него, по-детски призналась:

— Вот бы хоть одним глазком посмотреть на наш сад! Помнишь? Ведь у нас есть сад, который мы посадили. Не забыл?

— Так это ж можно, — ответил он. — Вечером на мотоцикле стоняем, если хочешь.

— Очень-очень хочется, — подтвердила она. — Но на каком мотоцикле?

— У моего отца есть.

— У твоего отца есть мотоцикл, как же он ездит?

— Да вот, приспособился. Руками заводит, руками скорость включает. А ногу прямую приловчился устраивать, сделал скобу специальную.

— А милиция? Его же сразу остановят.

— Да нет, отца все знают. Не останавливают. У него и прав нет, ему их никто не даст. Милиция тоже знает это. Зеленый свет.

— Но ведь есть же специальные машины для инвалидов, он мог бы получить.

— Нет, ему не положена машина. Она ему противопоказана медицински — нога и спина не гнутся — какая тут машина?

— А где же он взял мотоцикл?

— Собрал из всего, что под рукой. Называется агрегат «Иж-планета». Там даже, кажется, детали есть от трактора «Беларусь». Отец сделал и коляску самодельную к нему. Ему же надо, чтобы устойчивость была. Корпус коляски сварил. Колеса нашел где-то.

— И мы доедем на таком мотоцикле до сада?

— Обижаешь! Даже назад вернемся.

Она весело смеялась, как маленькая. Его это забавляло.

Когда шел домой, невольно мысли возвращались к школе, химичке, к Аксюте. Ковальский видел, как Аксюта бочком вышла из учительской, глянув сразу мельком на него и Тамару — она одобряла молча их сближение. Ковальский не понимал, правильно поступает или нет. Не мог и не торопился разобраться в своих отношениях с Анной, Владой. А тут Тамара, к которой тянуло давно, но рядом с которой он робел. Робость и нерешительность были от боязни сделать ей больно.

И еще одно обстоятельство смутно беспокоило. Русло или поток, в который он попал теперь, нефтехимический поток, проходил как бы мимо и Утевки, и Нефтегорска, и Куйбышева. Он только частью захватывал их. Целиком же в него попадали Новокуйбышевск, Тольятти, Чапаевск. Поток нес эти города вместе с населением в особую даль, в особую среду обитания, где так много опасностей для здоровой жизни. Но он об этом ни слова не сказал в школе. Почему?

«Потому, что сам не понимаю масштаба этой опасности. Не могу оценить, а значит, не могу внятно говорить о проблеме. Я только чувствую эту опасность и все. Как зверь чувствует», — оправдывал он себя мысленно.

Никто не ведал о сомнениях Ковальского. Тихи еще были и голоса таких, как недавно стинувший его земляк Мазилин, с первых дней почувявший опасность безоглядного увлечения химизацией. В селах «Мазилиных» не слышали, в городах таких, как он, пока еще не было видно. Да и странно было бы появление таких «Мазилиных» в проектных институ-

тах, научно-исследовательских лабораториях. Там свои планы, свои проекты. Время еще не пришло. Не проснулись «Мазилины» в тех, от кого во многом зависело будущее Воды, Воздуха, Земли...

В сад Александр и Тамара поехали на следующий день. На небольшой степной равнине казалось и намека не было на то, что искали, — их яблоневого сада.

И когда они уже забеспокоились, найдут ли его — он открылся им внезапно. Огромная низина распахнулась перед ними ровными рядами деревьев. Сад только готовился вовсю распахнуть свою зелень. Апрельское солнце подсушивало землю, а дорога была уже пыльной.

Как-то не верилось, что сад — это дремлющее существо, готовое вот-вот ожить многолистно и многошумно — посажен и школьниками, которых теперь и не соберешь вместе как раньше. Большинство из которых, уже, может, и позабыли о нем.

...Где-то, наверное, километров в пяти за садом ворочался, как большой зверь, газоперерабатывающий завод. Чуть поодаль от него — новый город Нефтегорск. Город и завод не было слышно. Но их присутствие необъяснимо чувствовалось даже здесь, в саду. В той части, куда они подъехали, сад не был огорожен. Степь и сад были как одно целое.

Тамара Ковальского удивила. Она помнила, где школьники сажали деревья. Тот участок сада, где они с Ковальским впервые заговорили, — помнила. Тамара даже нашла антоновку, на которой оставила приметку: на медной проволочке висела голубенькая пуговичка от ее кофточки. Она радовалась, как ребенок. Перламутровая пуговичка чуть потускнела. Медная проволочка тоже. Но все держалось крепенько. За четыре прошедших года с того времени яблонька выросла. Проволочка врезалась в кору ветки, на которой висела. Они вместе освободили ветку от проволочки. На месте ее, в коре, остался по всей окружности, как от ножовки, след.

Тамара потрогала легонько кончиками своих длинных подрагивающих пальчиков ранку и прислонилась к ней губами.

Александр стоял с проволочкой в руках рядом с Тамарой. Чувствовал ее дыхание. Видел зрачки ее глаз, когда она, подняв лицо, взглянула на него.

— Бедненькая моя яблонька...

— А я? — выдохнул он.

— Что ты...

Она не договорила. Он приблизился и так же тихонечко, как она к веточке, приник к ее губам. Она не отстранилась и не подалась к

нему. Между ними была эта раненая веточка, и у него в руках проволочка с застрявшей посерединке пуговичкой.

Она в любой момент могла уйти от поцелуя. Он сознательно давал ей эту возможность. Но она не торопилась уклоняться от его губ. Александр сам отстранился и взглянул на нее. Глаза ее были закрыты. Он тронул ее рукой меж лопаток, и она, вдруг вся вздрогнув, подалась к нему. Ковальский шагнул за ветку. Их губы вновь встретились. Александр чувствовал, что она вся в его власти. Но не решался идти дальше. Что-то мешало. Сдерживало. «Что мне с этим со всем потом делать?» – колола мысль. Рядом под яблоней в соседнем ряду, словно дразня, лежал развалившийся стожок сена. Еще одно движение, один шаг... На какой-то миг он отчетливо увидел перед собой лицо Анны. Стало не по себе...

Овладев собой, убрал руки с ее спины. Обмякшая, с закрытыми глазами, она осталась стоять одна, потом, словно пробудившись ото сна, сделала полшага в сторону и спросила неожиданно:

– Проволочку с пуговицей мы потеряли?

– Нет, – как ни в чем не бывало отвечал Ковальский. – Вот, – и вынул их из кармана пиджака.

– Давай повесим ее, только с запасом еще лет на пять.

– Не хватит длинны проволочки.

– Ну, тогда на сколько хватит. И приедем сюда.

И стали вместе прикручивать проволочку. Помогая, она слегка касалась его пальцев своими и не скрывала нежности, переполнявшей ее.

Потом, когда на полдороге домой остановились около небольшого канальчика с водой отдохнуть, она, ополаскивая, не стесняясь его, крепкие смуглые ноги в холодной воде, спокойно, чего он не ожидал, спросила:

– У тебя были женщины? Много?

– Почему ты так спрашиваешь?

– Можно я промолчу? – ответила она.

– Как хочешь, но какая разница, много или мало? Любой мой ответ можно толковать по-своему.

– А все же? Если можно, скажи?

Она немного приподняла юбку, ступая глубже в канальчик, и он, как замороженный, смотрел на обнажающееся тело, которое только что могло быть его. Ее движения, игра с холодной водой в канале начинали казаться любовной игрой с ним. «Понимает она или нет, что делает? Я же не железный».

– Скажешь?

— Ну, были. Но не так, как ты, наверное, думаешь.

— А как?

— Я терял голову. Этим и оправдываю то, что потом было... Все искренне...

— Ты такой влюбчивый? — удивилась Тамара. — А ведь недоступным кажешься.

Ковальский пожал плечами и промолчал. Лег на спину и стал смотреть в синее чистое небо. Подумал. «А у нее по-настоящему был кто или нет? Она так невинно сейчас со мной говорит. Или это изощренная игра? Не может быть, чтобы так сильно повзрослела с той поры, когда мы сажали сад. Такого или подобного разговора тогда и позже с ней никак не могло быть. А я сам? — прервалась мысль. — Неожиданная связь с Анной сделала меня иным. А Влада? Ее то затухающее, то вспыхивающее внимание ко мне, что оно для меня? Где же мое настоящее?»

— Эй, ты где? Пора ехать!

Он взглянул на Тамару. Она все-таки намочила юбку. И теперь пыталась отжать то спереди, то сзади. Поворачивалась, словно в медленном танце. Голубые с бархатными ресницами глаза смотрели на него снова доверчиво и по-детски. Нежно играющий румянец щек, стройная и гибкая фигура, длинные руки и эти пританцовывающие маленькие ножки с изящно выраженными икрами — все было как будто где-то уже виденное, зафиксированное памятью... И теперь враз проявлялось так определенно! Это его влекло сейчас к себе неодолимо.

«Где и когда со мной так было? В какой жизни? — Мысли его путались. — Будто мне это было дано уже когда-то, будто было со мной. И теперь все просит только повторения, а точнее, возвращения к себе. Наваждение! Она меня совсем сбила с толку... сейчас подойду и пусть все случится».

Александр зорко и хищно осмотрелся. Вокруг ни души — голая степь. Казалось, неодолимая сила толкала к ней.

Но он не поднялся и не подошел.

...Когда ехали домой, она сидела сзади, держась обеими руками за его талию. На поворотах плотно прижималась к нему. Ее грудь обжигала лопатки. Она не могла этого не чувствовать. В такие минуты она смеялась, и он не мог понять: то ли это игра такая продолжается, то ли действительно ей самой страшновато от того, что происходит. И она смехом заглушает свою боязнь...

* * *

А у деда Ковальского, Ивана Головачева, свои вопросы:

— Полиэтилен понятно для чего делают, ты мне прошлый раз разъяснил, а вот спирт синтетический? Цельных три завода — у нас, в Грозном и Уфе. Его куда столько? Он же из нефти?

— Вот как раз потому, что из нефтяного сырья, точнее из газа, он намного дешевле того, который делают из зерна, картофеля или свеклы. В этом его достоинство.

Ковальский сидит за столом около аккуратной стопки газет. Дед лежит на кровати.

— И сколько же он стоит? — допытывается Головачев.

— Ребята заводские говорят, что цена стакана газировки и стакана спирта одинакова — четыре копейки.

— Ты не путаешь?

— Нет, помню хорошо. Огромная экономия зерна и картофеля получается. В год экономия зерна составляет до тридцати миллионов пудов. Я недавно на заводе читал в газете.

— Тридцать миллионов! — удивился Иван Дмитриевич. Он помолчал, покачал головой. Спросил, не удержавшись: — Ну, сделали спирт, а дальше его куда, раз говорил, что пить нельзя? Или все-таки в питье?

— Есть заводы в Ярославле, Ефремове, еще не помню где — они перерабатывают спирт в дивинил. Продукт такой. А потом из дивинила делают каучук.

— Каучук? — переспросил Головачев. — Это что?

— Резина, — поспешил ответить Александр. И добавил: — Ну, а из резины понятно, что делают: в основном — шины, то есть покрышки и камеры для автомобилей, тракторов и всякой техники.

— Из спирта делают покрышки, — повторил Головачев. И не то чтобы высказал сомнение, а сделал вывод: — Сложная химия штука. И важная, видать. На вот, — дед Иван протянул газету. — Про твою химию везде пишут. Такие большие дела: ажник трудно представить. Посмотреть охота.

Александр взял газету. Да, на страницах ее звучал гул огромной напряженной жизни, той жизни, из которой он приехал. Было даже странно слышать этот гул здесь, в тиши около кровати деда. Неуютно чувствовать себя раздвоенным.

В газете писали, что первые партии полиэтилена низкого давления, которые так нужны были советской промышленности, были получены на заводе в сентябре 1962 года. А уже в августе текущего года была вве-

дена вторая очередь производства синтетического спирта. Ковальский с интересом воочию наблюдал эти события. Пиролизные печи, цех газоразделения второй очереди – весь муравейник был на виду.

17 декабря газеты опубликовали приветствие ЦК КПСС и Правительства труженикам первенца большой химии на Средней Волге. За восемь лет и четыре месяца построены и запущены в работу обе очереди предприятия. На стройке трудилось порой до девяти тысяч человек.

Ковальский не удержался и, вернувшись на завод, сходил в заводской музей.

Оказывается, строительство производства полиэтилена началось в апреле 59-го. Масштабы поражали. Строителями было за время стройки переработано почти треть миллиона кубометров грунта, чтобы вынутую из котлованов землю перевезти одним рейсом, потребовалось бы триста тысяч МАЗов. Построено около семидесяти восьми тысяч квадратных метров автомобильных дорог и производственных площадок. Смонтировано почти пятьдесят тысяч кубометров бетонных и железобетонных конструкций и шесть тысяч тонн металлоконструкций. Уложено почти четыреста километров труб и около трехсот семидесяти километров кабелей. Поразил Ковальского и тот факт, что в комплектовании пусковых цехов оборудованием и материалами участвовали пятьдесят шесть совнархозов страны. Вся страна, получалось, строила Новокуйбышевский полиэтилен!

* * *

Закончилась последняя зимняя сессия совмещенников химиков-технологов на вечернем отделении. Их теперь переводили на дневное обучение в Куйбышев.

В газетах и по радио много говорили о социалистических обязательствах на 1964 год. Звучали призывы добиваться в шестом году великого семилетия новых успехов в развитии промышленности и сельского хозяйства. Все ярче и ярче, как утверждалось, горели огни всенародного соревнования на берегах Волги.

Минувший год был годом большого строительства. Большая часть капитальных вложений пошла в химизацию и нефтяную промышленность. Были введены мощности по производству фосфорной кислоты, триполифосфата натрия на Ставропольском химическом заводе, активной сажи на Сызранском сажевом. Советский Союз обогнал Соединенные Штаты Америки. И вышел на первое место в мире по производству железной руды, угля, кокса, цемента, сборного железобетона, шерстяных тканей!

Новокуйбышевцы брали обязательство выполнить годовой план по выпуску нефтехимической продукции к 28 декабря, а план строительства нефтехимических производств к 25 декабря. Намечалось освоить проектные мощности второй очереди производства синтетического этилового спирта, построить опытно-промышленную установку высокоскоростного пиролиза.

Ковальский, сидя за столом в комнате общежития, читал длинный список социалистических обязательств.

— Новокуйбышевск у нас — прошедший этап. Через неделю нас здесь не будет, — Гуртаев весело взглянул на Ковальского. — Рубеж прошли!

— Но это надо знать! — откликнулся Александр.

— Да ладно, гляди вперед, командор! Там у нас столько рифов впереди...

— Михайло, — внушительно обратился к только что вошедшему Оборину Гуртаев.

— Так точно — я, господин староста! — звонко отозвался тот.

— А ты выполнил свои социалистические обязательства?

— Не понял?

— Ты обещался побороть Ковальского. Слабо?

— Да я... — голос у Михаила потускнел. — Я...

— Не выполнил. Константирую, — Гуртаев намеренно коверкал слово. — Значит, как только силенку поднакопишь, приезжай к нам.

— Я обязательно приеду, — пообещал Оборин. — Мне без вас скучно будет.

По поводу рифов староста был прав. Он знал, о чем говорил. Да и Ковальский понимал это. С переходом на дневное обучение ломался отлаженный ритм жизни: завод — институт. Надо было решать вопрос с жильем. Было объявлено, что свободных мест в общежитии нет. Еще надо было суметь после рабочей зарплаты прожить на стипендию. Так начиналось дневное обучение. Закончилось совмещение учебы и работы на заводе. Продолжалось совмещение других составляющих жизни.

Комнату Ковальскому и Гуртаеву снять сразу не удалось. Не помогла и записка Михаила Оборина к своей дальней родственнице. Она сдала комнату двум студенткам планового института.

Иногородних в их группе было раз-два и обчелся. Поэтому нашли временный выход. Жили, уплотнившись в общежитии у знакомых ребят. Но комендант пошумливал, и вахтеры часто не пускали непрописанных студентов в корпус. Приходилось хитрить по-разному. Ковальский брал подмышку буханку хлеба и уверенно шел мимо вахты. Часто сходило — принимали за своего.

Инок стал жить у родителей жены Ольги. Приятели побывали у него в гостях, в коммунальной квартире.

Комната, которую занимали Инок и Ольга, была небольшая. Но Иноку хватало места: на самой большой стене в натуральную величину он нарисовал рогатую бордовую корову, а напротив, на стене, усеченной шатким шкафом для одежды, — трех черных, метровых кошек. Ольга жаловалась, что родители очень протестовали против нововведений зятя, но Иноку надо было засвидетельствовать свою независимость. И он это сделал. Такая независимость стоила ему полведра краски. Всего-то!

Месяца через два Ковальский и Гуртаев сняли комнату совсем рядом от корпуса института — на улице Челюскинцев. Недалеко от Шанхая — района с весьма сомнительной репутацией. Хозяева — милые, спокойные люди: тетка Сима и дядя Яша — портные. Затравевшая по-деревенски улица, водопроводная колонка перед домом и яблоневый садик — все это в сторонке от шумных улиц, от Ново-Садовой с трамвайной линией и толпами людей. Идиллия. Лучше не бывает. Здесь и предстояло прожить им около года без прописки, на птичьих правах.

Как-то быстро кончились деньги, которые скопились, когда они работали на заводе. Чтобы выкрутиться, на Арцебушевской в ломбард положили костюмы, совсем еще недавно купленные в Новокуйбышевске.

Подрядились ремонтировать веранду в домике недалеко от драмтеатра. Заработали денег и выкупили костюмы. Но дали себе слово: без денег не оставаться. Стыд и срам ходить в ломбард.

На поляне Фрунзе в наступившую весну перекопали с десятков дач и стали своими во всей тамошней дачной округе. Студенты просто полюбили дачи. За день можно было заработать треть месячной стипендии.

Из четырех групп набралось до десятка деятельных ребят и удачно сколотили бригаду. Начали с разгрузки вагонов, а вскоре перешли к строительству гаражей. Удалось договориться с кем надо, и у них появился на время небольшой подъемный кран «Пионер». Это организовал Иннокентий. Такого от него никто не ожидал, хотя уже и знали: если за что берется, то обязательно удивит. По-другому ему было неинтересно.

* * *

Первая группа нефтехимиков успевала многое. Староста был заводной. Его огненная борода примелькалась многим в институте.

Когда еще холодновато, и Волга не совсем очистится ото льда, они готовились к зачетам на желтеньком песочке у воды. На Ново-Садовой

вышел из общежития, спустился до улицы Лесной – и ты у Волги. Всего-то ходьбы пять минут, не больше.

...Прекрасный апрельский денек. Солнышко греет так ласково и зазывно, что трудно сидеть в общежитии. Да и зачем, когда есть Волга! Такое солнце! И десяток веселых беспечных ребят рядом!

Плывут последние небольшие льдины, как обмылки зимы. Ушла суровая старушка! Вода еще холодная. Те, кто осмелился войти в нее, выскакивают на берег, бодрясь и отфыркиваясь. Долго приходят в себя! А купаться хочется!

Цену такому удовольствию Ковальский понял только после того, когда сам, разбежавшись, нырнул в воду. Сильнейшая боль в коленках. Такая, словно пилят ножовкой пополам. Резь внизу живота – нестерпимы. Теперь-то он понял ухмылки тех, кто уже побывал в воде и зазывал купаться остальных на глазах у своих развеселых подруг, играющих в подкидного, не подозревая, какой пытки подвергают себя их рыцари ради того, чтобы выглядеть молодцами.

Кучка развалившихся на рыженьком песочке студенток оживилась, когда двое цыган, на ходу снимая рубахи, направилась к воде. Один почти подросток, весело крутился, выдергивая из штанов подол рубахи. Второй, похоже его отец, нес свою красную рубаху в правой руке, и она развевалась, как флаг. Он был привлекателен, этот цыган. Большая кудрявая голова и черная борода делали его удивительно похожим на основоположника учения о загнивающем капитализме. Крепкий литой торс был смугл, будто он только что прибыл со знойного юга. Красив, как бог, – это можно было сказать и о нем.

Все разом повернулись к нему. Он это принял как должное. Его походка, особенно когда он прошел мимо кучки студенток, объединив их в одно безмолвное мифическое оцепенение, стала еще пружинистой. И вообще это была уже не походка, а поступь.

Он, видимо, наблюдал за тем, как ребята купались. Их улыбки и показная бодрость подбили и его на этот мальчишеский, показательный поступок. Если не подвиг?!

Метрах в пяти от девчат цыган стал прямо-таки грациозно, видя, что все любят им, снимать брюки. Один миг – и он оказался в подштанниках. Они легко раздувались на легкомысленном весеннем ветерочке. По лицам девчат пробежала была легкая усмешка, но его это не смутило. Он был величав и в подштанниках. И твердо в это верил.

Будто на показательных соревнованиях, крупным прыжками, словно в тройном, в миг одолел расстояние до воды и метнул послушное тело сбочь от проплывающей льдины.

Девичьи личики, как одно, были повернуты туда, где скрылся этот бронзовый мускулистый слиток.

То, что последовало дальше, ожидать было трудно. Страшная резь от холода в коленях и внизу живота, и ниже живота, явилась такой пружиной, что она выбросила цыгана из волн на берег. Семеня ногами, не успевающими за движениями всего тела, наступая на собственные кальсоны, он выскочил и из них, как выскочил из волн. И устремился в кучку вальяжно лежавших студенток в чем мама цыганская родила. Он не видел их – бордовое лицо его покрывали бурые водоросли. В последний момент, вильнув в сторону, все-таки миновал студенток.

Одевался цыган далеко от берега, не глядя в сторону великой русской реки. Столь резкое крушение величественного обескуражила всех, кроме Влады. Она одна смеялась, не обращая на остальных никакого внимания.

Александр весь день потом помнил этот случай и все не мог оценить реакцию Влады. Жаль бедолагу-цыгана. Но ведь и смешное тоже было... «Факт», – как говорил незабвенный Давыдов из его многострадального сочинения по Шолохову. Раскованность Влады нравилась Ковальскому. Это он отмечал не в первый уже раз.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Все-таки удивительная пора – студенческие годы! Эти слова уже тысячи раз произнесены многими, но от этого не становится меньше прелести в студенчестве. Наоборот!

Есть особенно острое ощущение пути в эти годы. Это, может быть, самое важное в жизни чувство. Даже не пути, а ощущение взлета – тем, очевидно, и дороги они. Но эти взлеты порой чередуются с провалами. Правда, в эти годы многое быстро проходит.

...Ковальский прямо-таки в классической форме споткнулся на сопромате.

Обычно Александр к экзаменам готовился по лекциям. Если их не было, брал у кого-нибудь. И все дела! Под ревнивые взгляды по чужим лекциям легко сдавал. Если же не было и чужих лекций – брал учебник, делил на равные по числу дней, отведенных на подготовку к экзамену части, минус один на повторение и – вперед... «броня крепка и танки наши быстры»! Важно было занять место лицом к стенке в красном уголке общежития. Это было почти определяющим моментом. В одиночку с карандашом в руке, делая заметки по ходу чтения материала на бумаге, он быстро осваивал предмет.

Ковальский давно заметил: как только готовился к экзаменам в компании, коэффициент полезного действия падал в разы. Он не мог отказать и объяснял приятелям материал, который уже сам освоил. Из чувства товарищества не мог вырваться вперед и ждал отстающих, теряя и форму, и время.

...Материал в этот раз Ковальский учил добросовестно и полагал, что положительная оценка будет в любом случае, ну, а если повезет чуть-чуть...

Из общежития в Овраге подпольщиков, куда в новое здание недавно вселили химиков-технологов, поехали на экзамен гурьбой, терпеливо дожидавшись своего трамвая номер «5». Трамвай под номером «2» сегодня не годился. Суеверие дело сомнительное и, конечно, пережиток проклятого буржуазного прошлого... но мало ли что?.. «Чем черт не шутит, пока декан спит». На самой середине пути Ковальский вдруг обнаружил, что забыл зачетку и направился к выходу.

— Сашк, да брось, возвращаться назад — примета перед экзаменом хуже не надо. Мы подтвердим, что ты почти отличник у нас. Не суесться!

Слово старосты — большое дело! Так и поступили.

Ковальский не суетился. Он любил обычно заходить где-то в середине экзаменов. Так ему было комфортнее. И в этот раз он поступил как обычно.

— Ваша зачетка, молодой человек, — властная рука молодежового статного преподавателя Остроградского повисла в воздухе.

— Видите ли, Викентий Леонидович, — начал бодро Ковальский, — получилось недоразумение — я забыл ее в общежитии.

Ковальский совсем не предполагал того, что будет дальше.

— Хитрите, молодой человек. Везите свою зачетку. Все!

— Да я... это же... — огоршено начал Ковальский, вообразив, какой путь ему надо проделать, чтобы явиться со злополучной зачеткой к преподавателю!

— Никаких разговоров, умники тоже мне... «забыл»!

Огоршенный Ковальский вышел.

— Первый семестр, он добром не знает никого, кто чего. Всех гребет под одно, — бормотал вернувшийся с переговоров с Остроградским, староста Гуртаев. — Надо ехать за зачеткой. Говорил: не надо мыться и бриться перед экзаменом, не слушался...

Ковальский поехал.

Когда вернулся и зашел в аудиторию, в ней был один Остроградский. Он собирал свои вещи в маленький черный чемоданчик, который лежал на столе перед ним. Билеты лежали стопкой на краю стола.

Ковальского странно подташнивало. Обычно с утра в день экзаменов он ритуально съедал полстакана сметаны и ломтик хлеба. Этого хватало. Но сейчас... Сейчас было уже около часу дня да полтора часа дороги на трамвае... И перенервничал.

— Садитесь, берите билет, — как ни в чем не бывало произнес преподаватель, беря в руки злосчастную зачетку.

Ковальский взял самый верхний билет, почти машинально. Пошел за парту.

— Да вы садитесь ко мне, сразу и разберемся, что к чему. — Остроградский торопился.

«Не ловля блох, куда торопиться?» — чуть было не сказал язвительно Ковальский, но сдержался.

Билет был не самый трудный. Материал знаком. Но что-то мешало Ковальскому сосредоточиться. Начал он сбивчиво... Его раздражал почему-то высокий с родинкой лоб Остроградского и его жесткое постукивание кончиками пальцев по столу. Нетерпеливое и бесцеремонное. Хотелось встать и выйти. «Не мужик — павлин какой-то».

— Так, первый вопрос вы явно заваливаете, давайте не будем трогать второй. Начинайте третий: решайте задачку.

Задачка была нетрудной. Ковальский бодро начал писать.

— Стоп, стоп, а мы на практических занятиях так не решали. Вы посещали практику? Я и на лекциях давал свой вариант.

— Да, посещал, — неуверенно отвечал Ковальский. Он помнил, что как раз эти занятия он пропустил.

— Покажите ваши лекции, — ледяным тоном попросил Остроградский.

— Они в общежитии, — последовал ответ.

— Ну, батенька, вы мне надоели: то зачетки нет, то лекции забыли... Я ставлю вам «неуд»! — Он даже, кажется был рад такой оценке. С чего бы?

Первый «неуд». Это как посвящение в настоящие студенты, что там ни говори!

«Неудачи толкают к философии, говорят, а я ничего не хочу, даже думать. Черт с ним с этим сопроматом. И откуда вытащился этот с родинкой на лбу, он же получил какое-то удовольствие. И я ему в этом помог». Так размышляя, Ковальский шагал унылым длинным коридором.

— Здорово, гадкий, на тебе лица нет.

Перед ним стоял декан факультета Калашников.

— Я, Иван Максимович, сопромат завалил, — сходу проговорил Александр.

— Сейчас вот? Остроградскому?

— Да, сейчас.

— М-да, дела... — Декан поскреб указательным пальцем правый висок. Взглянул пристально: — Предмет знаешь?

— Знаю, — ответил Ковальский. А что ему было отвечать: «Не знаю?»

— Тогда, — декан глянул на часы, — через полчаса зайди в деканат, возьмешь направление на пересдачу и завтра иди на экзамен — в четвертой группе завтра он принимает.

— Но я ведь...

— Что? Трусишь? Ты же знаешь?

— Да, но всякое может быть, я же за ночь ничего не успею. А он с пристрастием...

— И не надо, — азартно ответил не по-стариковски декан. — Валяй! — И добавил свое неизменное: — Гадкий! Смотри не подведи старика.

Забрав в деканате направление, Ковальский поехал в общежитие. В комнате никого не было. Вышел на улицу, сел в трамвай, усмехнулся: «Номер-то «два»», — и, с тупым равнодушием глядя в окошко, поехал. На Куйбышевской взял билет на двухсерийный индийский фильм. Передумал. Выбросил билет и вернулся в общежитие.

Ночь спал крепко. Утром одним из первых вошел в аудиторию, где маялись жертвы из параллельной четвертой группы. На этот раз зачетка была при нем. Когда Александр назвал номер билета, Остроградский громко и отчетливо произнес:

— Клара Петровна, возьмите Ковальского к себе. Мы с ним вчера наговорились. С меня хватит.

«Снова начинается спектакль», — невольно подумал Ковальский.

Ему несказанно повезло с билетом. Он много ответил по билету и решил еще дополнительно три задачи.

— Что там у вас с Ковальским, Клара Петровна? — громко спросил Остроградский.

Все повернули головы в сторону Ковальского. Спектакль продолжался. И его режиссер, Остроградский, вел его изящно и непринужденно.

В притихшей аудитории прозвучал удивленно-торжественный голос Петроклары (как успели прозвать ее на этом потоке):

— Викентий Леонидович, ему надо ставить пятерку!

— Да ну? — удивился Виквледович. — Тогда давайте его ко мне.

Садясь рядом, Ковальский подумал с усмешкой: «Отвяжется он от меня или в дурь попрет, оглобля».

— А решите-ка вы мне вот эту задачку.

К своему немалому удивлению Ковальский сходу решил задачу. Замер, глядя, что же будет дальше. Он сам не ожидал от себя такой прыти.

А дальше произошло неожиданное.

— Молодой человек, я вам ставлю пять. И с большим удовольствием. — Голос преподавателя звучал внушительно и громко. Как на конференции.

Остроградский так крупно расписался в зачетке, что заехал сразу на две соседние строки.

Когда Александр пришел в деканат, Калашников почему-то не удивился пятерке.

— Я же говорил, чего бояться-то? На пожаре не боялся! А тут Остроградский всего лишь.

Ковальский увидел на столе декана институтскую газету «Молодой инженер» со статьей «Мужество».

— Вот ведь о вас, гадких, пишут в газете. Спасли детей, старушку. Потушили сарай. Молодцы!

— Да я случайно оказался рядом, а тут ребята бегут, я тоже... — начал Ковальский.

— Случайно ничего не бывает, понял? Может, ты и пятерку случайно получил, а?

Ковальский оглянулся, в деканате было еще две парней. Он помялся и согласился вслух.

— Да.

— Что «да»? — переспросил декан.

— Случайно получил пятерку.

— Ковальский, слышишь: не порти обедню, понял? — Декан смотрел сурово.

— Больше не буду, — отчеканил Ковальский.

— То-то!

Все четверо в деканате громко рассмеялись.

Когда на другой день он встретился на консультации с Владой, она высказалась совсем даже не двусмысленно и громко, не обращая внимания на сухонькую интеллигентную Элеонору Панфиловну — преподавателя этики и эстетики:

— Некому рога обломать этому Остроградскому, мужиков нет!

Староста Гуртаев посчитал при таком высказывании свое присутствие обязывающим внести некоторые коррективы. Тем более с учетом предмета консультации:

— Я считаю, Влада Феодосьевна, вашу позицию несколько радикальной, видите ли! — И довольный громко рассмеялся. Ему этого было вполне достаточно. Красиво же сказал!

А через две недели в институтской газете появилась статья Калашникова, в которой он излагал свои взгляды на совершенствование методики преподавания и приема экзаменов. Досталось в ней и Остроградскому за эпизод с Ковальским. «Как можно выучить сопромат за одну ночь?» — спрашивал автор. Ковальский чувствовал себя какой-то сомнительной иллюстрацией непонятной игры Калашникова и Остроградского. Оказывается, они были идейные враги и давно ревностно следили друг за другом.

Этот экзамен по сопромату сблизил Ковальского с деканом. Калашников при всякой удобной возможности заводил с ним разговоры, приглашал в деканат.

* * *

Один случай вскоре поразил Александра. Калашников поймал его за руку, когда тот проходил мимо.

— Подожди, Ковальский, проводишь меня домой.

Его спутник, седой, узкоплечий старик, вопросительно посмотрел на декана.

— Ничего, — сказал тот, — ему можно доверять, я ручаюсь.

Между стариками шел разговор. Станный и неожиданный для студента.

Как он понял потом, эти их разговоры были давнишними. Они их начинали внезапно и внезапно обрывали. Это было как бы одним многолетним диалогом. «Но зачем декану надо, чтобы я слышал, о чем они говорят?» — недоумевал Ковальский.

...— Научно-техническая революция, принеся человечеству невиданные блага, породит и неожиданные опасности. Ты согласен с этим? — сказал, как продекламировал, узкоплечий попутчик.

— Ну, кто ж будет спорить. Взять проблему загрязнения окружающей среды — она же стала глобальной. Выросла опасность деградации биосферы, показав, как все сущее взаимосвязано на планете.

— А если еще глубже? — Николай Николаевич Засекин, так звали художького профессора, испытующе смотрел на своего коллегу Калашникова.

— Нависшая над нами, — буднично продолжал Калашников, — угроза глобальной ядерной войны может одним махом лишить всех людей индивидуальной судьбы. Если хочешь, индивидуальной смерти. В один раз смети с лица земли все живое и саму землю.

— И есть ли выход?

Они подошли к скамейке в скверике и присели. Ковальский сел рядом. Такими незначительными показались его проблемы по сравнению с тем, о чем говорили эти два интеллигентных старика. Едва услышав разговор, он поразился: два профессора говорят в общем-то о том, что они с дедом Иваном не раз обсуждали. Там — на Бариновой горе, глядя сверху вниз на открывающуюся красоту. Говорили и в школе. Но не так обнажено. Не так безоглядно, ясно формулируя мысли. «На то они и ученые — эти два пожилых человека, не зря, очевидно, и не бездумно прожившие свои жизни».

— Есть ли выход? — повторил Засекин. И было видно, что он задает вопрос не только приятелю Калашникову, а и себе. И еще кому-то. Уж не всему ли человечеству? Торопящемуся, копошащемуся, увязающему, утопающему в ежедневных будничных заботах. Не замечающему, что одновременно с будничным рождается и нечто грандиозное, способное обернуться Апокалипсисом.

— Ты хочешь, чтобы я вот так сразу, как на экзамене по сопрома-ту, дал ответ? — не спеша отозвался декан. — Боюсь пуповина лопнет. — И он почти весело посмотрел на Ковальского. — Ты же знаешь, породив смятение умов, эти глобальные проблемы заставили одних упорно защищать «справедливость» и «высшую целесообразность» капитализма, иных — пытаться предлагать методы исправления отдельных его недостатков. А третьих — отрицать системы, не совместимые с принципами гуманизма, не способные обеспечивать разумное развитие. Но равнодействующая — одна.

— Я, кажется, нашел ответ. Сформулировал то, что нужно человечеству, — нетерпеливо, как первокурсник, встрепенулся Николай Николаевич.

— Ну, ты голова тогда... — иронично произнес Калашников и совсем уж по-стариковски пожевал губами: — Скажи, а то помру и не узнаю.

— Человечество должно трудиться над взаимной ответственностью людей друг перед другом на глобальном человеческом уровне. Вот моя формула.

— Николай, ты всегда был немножко идеалист, — спокойно проговорил Калашников. — Таким и останешься!

— Да нет, — горячо проговорил Засекин. — Ты же вот постоянно твердишь о совершенствовании форм обучения. Вот тебе моя идеология, я ее хорошо обдумал.

— И долго?

— Что долго? — не понял Засекин.

— Ну, думал?

— Последнее время — постоянно. Понимаешь, пришло время, когда стихийное развитие мировой экономики не рационально. Требуется плановое управление на глобальном уровне. Очевидно, через несколько десятков лет сырьевые ресурсы могут иссякнуть. Нехватка продовольствия приведет к катастрофе. Прирост населения надо будет поставить под жесткий контроль. Экономическое развитие свести к простому воспроизводству.

— Ну, ты, конечно, хватанул лишка! Как примирить цели и задачи социалистической экономики и капиталистической? Неуправляемой? Останови их, попробуй! Капиталистов. Ты же экономист и историк, должен понимать! А потом прекращение экономического роста слаборазвивающихся стран неизбежно приведет к еще большей их отсталости. Это дискриминация целых стран, голова ученая...

— Но все равно, надо развенчать в мировом масштабе иллюзию безудержного роста потребителя. Нужна социальная ответственность, понимаешь?

— Ну, батенька, ты опять хватанул через край, — вновь возразил Калашников. — Ты предлагаешь употреблять незагорающиеся спички, чтобы не допустить пожара. Так не бывает.

— Может быть, — произнес Засекин и положил свою большую красную папку на край скамьи, освободив наконец свои руки. — Смотри, — проговорил он. — Вот человек, — он сомкнул пальцы обеих своих нервных рук в одну крепенькую конструкцию. — А вокруг него все. И это все, что вокруг, зависит от того, что здесь, — он указал взглядом на свою конструкцию, внутрь ее. — Чтобы решить все, о чем мы говорили, надо решить вначале основное. Главная задача нашей эпохи — совершенствование человечеством своего качества. Изменения самосознания архиважны для решения глобальных проблем. Человеческие качества имеют здесь решающую роль. Убежденность и страстность могут творить чудеса.

— Ты полагаешь, что можно изменить общество путем совершенствования человеческих качеств?

– Да, да и да! – твердо ответил Засекин. – Если говорить о том, чем мы с тобой должны заниматься, то надо бы учить строить будущее. Не адаптироваться к уже свершившемуся, не идти по следам, но опережать.

– Николай, ведь это общие фразы.

– Обижаешь, дорогой, – не общие. Нам вот всем твердили: нужен металл, ракеты, космос... Нам не до души!

– Души? – переспросил Калашников. – Я от тебя таких слов никогда не слышал. Это новое что-то.

– Нет, не новое, я давно об этом думаю. Не говорил только... Мы затерли от частого употребления понятие «духовно-богатая личность», видя в этом только материальную суть. Но человек, я теперь, после многих лет глупостей, ясно понимаю, человек – это неразрывное единство материального, телесного и нематериального, духовного. И духовная часть не существует без материальной. А материальная без духовной.

– Засекин, ты – дуалист, – сказал Калашников.

– Да, – согласился быстро тот, не намереваясь спорить на эту тему. – Вспомни или послушай Федора Тютчева:

*Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.*

А мы с тобой всего лишь частичка природы.

– Послушай, «частичка», нас не загребут с тобой за такие речи? – Иван Максимович красноречиво осмотрелся вокруг.

– За Тютчева? – переспросил Засекин и продолжал убежденно: – Истину можно познать только в союзе науки и религии. Еще Эйнштейн говорил: «Наука хромает без религии, а религия слепа без науки». Те богословы, которые занимаются теологическими исследованиями, наверняка поддержат парадигму реализма. – Он замолчал. Побарабанил пальцами по твердой папке, лежавшей теперь у него на коленях. Начал говорить не спеша: – Мне представляется совершенно правомерным, когда в учебных программах будет записано, что их главной задачей является формирование и развитие в учащихся человеческих, душевных качеств или – формирование духовно-богатых личностей, то есть личностей, не только обладающих функциональными знаниями, но и высокой нравственностью. – Он промокнул большим сероватым носовым платком заблестевшую лысину и признался: – Я первый раз так об этом говорю, но я знаю, мне открылась истина. Путь к нравственности и преобразованию

мира идет через принятие Бога. Мы должны покаяться и вернуться к Богу.

Иван Максимович долго молчал. Потом признался:

— Я тоже думаю примерно о том же, но я так далеко еще не продвинулся. Препятствует что-то.

— Уж не комсомольское прошлое ли?

— Может быть, может быть... Не одного меня к старости... наворочали по молодости... иконы срывали со стен... материалисты рьяные...

— Видишь ли, придет время, поверь, старина, понятие души будет иметь место в материализме, да, да... он, материализм, без нее не обойдется. Но это будет без нас уже. Столько ведь надо переосмыслить... Общество не готово, разве что лет через сорок приблизится... Я написал целый трактат о душе, нравственности и бесовщине, в которую идет человечество. И не только та его часть, которая живет в капитализме. Кроме психушки этот труд мне ничего не обещает. Это я знаю точно. Но через полстолетия люди поумнеют. Не моя вина, что я уже понял это, беда скорее...

— Так что же по-твоему душа? — Калашников зорко, не стариковски взглянул на Засекина.

— Начнем с того, что психика или душа существуют без органического тела. Другими словами, реальные границы психики значительно шире границ организма. Она — неорганическая субстанция человека. С ней и надо работать, если мы хотим преобразовать мир.

— Да, но прежде всего ее надо признать, душу-то, а уж потом методологически воздействовать, верно?

— Да, конечно. Тогда только можно сформировать нравственность. При преподавании функциональных дисциплин необходимо особое внимание уделять нравственным основам реализации полученных знаний. Например, разрабатывая технологию, следует учитывать необходимость экологической чистоты последней, создавая конструкцию — ее гуманистичность, как части системы человек-машина, и так далее.

Напротив скамейки в сереньком здании раскрылась большая широкая дверь и оттуда вышли два офицера — преподаватели военной кафедры. Встали недалеко, шагах в трех, закурили. Мирно разговаривающие старички на скамейке понимающе переглянулись.

— Пройдемся, — предложил Засекин.

— Да, — согласился Калашников.

Они втроем направились в сквер театра оперы и балета. Когда пошли по тропиночке вдоль пустых скамеек, Засекин, зная, что его спут-

ник ждет продолжения разговора, порылся в папке и достал два листка, соединенных ржавой скрепкой.

— Нам всем полезно вспомнить хорошо забытое старое. Вот я отпечатал вчера: в Санкт-Петербургском Горном кадетском корпусе, который окончили выдающиеся русские металлурги Павел Петрович Аносов, Павел Матвеевич Обухов, отец великого русского композитора Ильи Петровича Чайковского в числе обязательных предметов была музыка. В уставе корпуса от 1804 года специально указывалось, я сейчас прочитаю: «Музыка особенно полезна в том отношении, что по выпуске воспитанников корпуса может приятным образом занимать их в свободное от должности время, особенно в удаленных местах Сибири, куда они службой предназначаются, и может быть, отвлечет их от вредных занятий, кои в праздности для молодых людей последствиями своими бывает гибельны». — Кончив читать, он замолчал. Но ненадолго. — Таким образом воспитывали горных инженеров двести лет тому назад. В эстетическом воспитании мне представляется явно недостаточным его ограничение лекционным курсом. Надо обеспечить овладение каким-либо видом искусства: игра на музыкальном инструменте, вокал, серьезное занятие хореографией, участие в драматических спектаклях под руководством опытных режиссеров. И надо вернуть народ в религию. Христианство в душу должно входить с рождения.

Эти два профессора не в первый раз прогуливались, мирно беседуя, по тропиночкам уютного сквера. Бывало, Калашников заходил на кафедру к доктору исторических наук Засекину. И там они подолгу говорили. Частенько они выходили на улицу, опасаясь ушей у стен. К чему испытывать судьбу.

И Ковальскому предстояло быть свидетелем продолжения таких разговоров.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

— Нужна революция в образовании, в методах формирования личности. Надо учиться у Христа, — горячо говорил профессор Засекин, понизив голос почти до шепота. Он продолжал свой неоконченный разговор, который услышал Александр в прошлый раз.

— Но надо так много сломать, чтобы вернуться назад, — сокрушенно подумал вслух декан Калашников.

— Да, мы не доживем, может, и дети наши не доживут до этого. Не в этом суть, я уже говорил.

Два профессора и Ковальский вновь в скверике около театра оперы и балета.

— А в чем, — спросил декан, — суть?

— В истине, Иван Максимович, в истине. Мы же с тобой ученые. Истина — венец всему.

— Может быть, может быть, — не торопился сразу согласиться профессор химии. — Может, смысл в истине. А может, в чем-то в другом. Но сейчас главное не это.

— Мы должны расти как нация на двух заповедях, — нетерпеливо толкал колесо разговора Засекин.

— Каких? — спросил декан.

— Они общеизвестны: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею». Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобна ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Восприятие Христа может быть различным. Я воспринимаю Христа как человека, в которого Бог вселил свою часть — душу — с информацией о правилах нравственной жизни, тем самым сделал себе подобным — Богом-сыном.

Потихоньку они вышли из сквера и дошли до огромного памятника человеку, чье имя стало названием города. Остановились.

— Вот ты говоришь, что страстный и волевой человек должен преобразовать мир. Ну, не один, а в совокупности, что ли. Вот этот наверняка не верил в Христа.

— А надобно бы верить, — возразил Засекин.

Они пошли через площадь к автобусной остановке.

Александр взглянул в упор на шагавшего слева от Калашникова Засекина и встретился с внимательным взглядом усталого, будто больного, человека.

Ковальскому отчего-то стало жаль его.

Засекин заговорил вновь:

— Когда-то Бог создал Вселенную, землю с уникальными условиями для органической жизни. Он создал человека, обладающего телом и душой, способного мыслить и чувствовать, дал ему дар творчества и свободу в выборе поведения. Сделав его тем самым богоподобным, и завещал ему «возделывать землю, из которой он взят».

— А цель человека? Он к чему призван? — отозвался Калашников.

— За человеком осталось одно — строить эту счастливую жизнь.

Ковальский, наконец, осмелился:

— У нас в деревне приятель отца рассказал на сенокосе одну притчу. Можно?

– Конечно, – отозвался Засекин, вскинув голову.

– Однажды один очень верующий человек тонул в реке. Выбившись из сил, он стал молить Бога о помощи. Мимо проплывали люди на лодке, они хотели его подобрать и протягивали руки, но он отвечал: «Я так верю в Бога, я знаю, он не оставит меня в беде, он спасет». Лодка уплыла. Человек продолжал тонуть. Появилась вторая лодка. Люди были готовы взять человека к себе, но он заявил, как и прежде: «Я верю, меня спасет Бог. Он меня не оставит!» Вторая лодка тоже уплыла. Тоже самое было и когда появилась третья лодка. Человек утонул. – Два профессора внимательно слушали студента. – И вот на том свете является человек к Богу и говорит: «Как же так? Ведь я так верил Тебе! Верил, что ты придешь мне на помощь. И я вот утонул». «Но ведь я послал целых три лодки», – последовал ответ.

Спутники Ковальского переглянулись.

– Кто этот рассказчик? – спросил, останавливаясь Засекин.

– Колюх. Инвалид войны.

– С этой историей не все так просто, как-нибудь поговорим, – сказал Засекин и продолжил: – Здесь важно что, несмотря на воинствующий атеизм, христианство и оглядка на Бога постоянно присутствуют в народе. Это все не зря. Это все когда-нибудь да прорастет. Наперекор всему нынешнему! Ростки сидят в почве и ждут своего часа.

Он замолчал. Ковальский слышал его частое дыхание. Профессор проговорил, как давно для себя сформулированное:

– Удручает детская беспечность обитателей земли. Небрежное отношение к природе – путь к глобальному Апокалипсису. Безоглядное и безрассудное сжигание топлива, загрязнение атмосферы выхлопными газами – это ведь не только дорога к парниковому эффекту. И никто не в силах прекратить это безобразие!

– Николай Николаевич, это уже, кажется, по второму кругу, – улыбнулся Калашников. – Ты в прошлый раз говорил...

– Я слишком долго об этом думал. Закомплексован. Извини, старина, – иронически произнес Засекин. И снова включил свой невидимый рычаг. – Что ведь досадно?.. И наука не торопится – ведь солнце, воздух, вода таят в себе огромные запасы энергии. – Он всплеснул руками. – Но никому же не надо этого! Никто не занимается получением энергии таким способом. А ведь нефть не на века нам дана, кончится – где другие источники энергии? Жуткий грядет Апокалипсис. И причина его в нас. Апокалипсис – в нас!

– Ну, может, не только в нас? – казалось, подумал вслух Иван Максимович. – Отчасти – да, если взять хотя бы один факт, можно го-

ворить не только в нас. За последние четыре миллиона лет в мире много изменилось. Из юной звезды Солнце переродилось в могучее светило, став на тридцать процентов горячее. Если Земля нагреется в будущем на полтора-три с половиной градуса, будет катастрофа. Лды Арктики и Антарктики, растаяв, поднимут уровень мирового океана на один метр. Южные районы Испании, Франции, Италии, Греции превратятся в пустыни. Но больше всего достанется... России. Растает вечная мерзлота...

— Послушай, может, жители иных миров вразумят нас в последний момент, раз мы такие... — Засекин помолчал и договорил неожиданно: — ...раздолбаи. — Умолк. Потом вновь продолжил: — Существует три трехмерных мира. В виде, упрощенно, трехэтажного дома. На первом этаже наши обезьяноподобные пращуры, снежный человек, например, они существуют благодаря своему атавистическому свойству. Они никогда не умирают на нашей земле. Мы с вами — на втором. Жильцы третьего этажа в своем развитии от нас чрезвычайно далеки, но они не могут, прилетев, оставить нам предостережение или практический совет. Они из другого мира. Мы сами обязаны сохранить цивилизацию.

Он так тряхнул головой, что сиротливая кучка волос на его яйцеобразной голове поднялась вверх и стала смешно торчать ярко-рыжим гребешком.

Подошел автобус, и Засекин заспешил. Махнул уже из автобуса рукой:

— Максимыч, у меня завтра только у вечерников лекции, так что до послезавтра.

— Ладно.

Когда автобус, поглотив всех с остановки, ушел, Иван Максимович сказал:

— Боюсь, сумбур теперь в твоей голове. Я поступаю, может, опрометчиво как педагог, но его надо было послушать. Непростой человек, он дальше нас многих видит. Хотя это материя такая! — Он неопределенно вскинул ладонью у своего лица и больше ничего не сказал.

Они свернули налево и пошли мимо здания Окружного дома офицеров к своей остановке.

...Когда уже ехали на трамвае, Ковальский — в общежитие, а Калашников — домой (он жил недалеко от общежития), Александр спросил:

— Иван Максимович, а Засекина вы давно знаете?

— Лет пятнадцать. А что, мы оба производим странное впечатление? Я видел, как ты слушал его.

— Да нет, — смутился Александр. — Не странное...

— А какое? — засмеялся профессор. — Непривычное?

– Ну... – не сразу нашелся Ковальский, – может, необычное...

– Его часто заносит от его экономики. Скучно ему. Он ведь и историк еще. Одно время занимался Тунгусским метеоритом. О Казанцеве, писателе и ученом, слышал?

– Да, Иван Максимович, я в школе даже доклад делал на эту тему. Штудировал все, что можно было достать в библиотеках – школьной, районной.

– Что ты говоришь! И как?

– Что «как»?

– Ну, вземная цивилизация-то существует?

– Иван Максимович, вы шутите? В трамвае эту тему развивать...

– Да, – хмыкнул профессор. – Ты прав, наверное. – Он помолчал и все-таки сказал: – А вот Засекин бы нам целую лекцию развернул. На пять остановок. Но он почти ненормальный. А мы с тобой какие надо. Кстати, та история, которую ты рассказал про тонущего, она про раввина.

Ковальский вновь смутился. Он не понял смысла сказанного. В который раз сожалея, что совсем не знает религии.

– Засекин мог бы стать выдающейся личностью, – проговорил декан.

– В Самаре уже был один известный Засекин. Воевода. Он, по моему, Самару построил.

– Да? – удивился профессор. – Хотя я и приезжий, а знать надо бы. – И чуть помедлив, профессор очень серьезно добавил: – Но это не он, не Николай Николаевич.

Они оба рассмеялись.

Ковальский не ожидал такой прыти и доступности от старого профессора. Спросил, словно извиняясь:

– Засекин серьезно интересовался и Тунгусской катастрофой?

– Он имеет свой оригинальный взгляд и на природу взрыва, прозвучавшего более десяти лет назад в районе Подкаменной Тунгуски. Раз ты занимался этой темой, тебе это, наверное, тоже интересно, – проговорил профессор и, чуть помолчав, добавил: – Хотя, я думаю, он не прав. Там много специфического. А он же историк и экономист, а не геофизик, не астрофизик... Но у него довод свой: со стороны всегда видней, и «чтобы дойти до истины – надо совершить ошибку», так он говорит.

– А в чем его теория?

– В тайге упал не гигантский Тунгусский метеорит, а произошел вулканический выброс огромнейшего количества природного газа. Он и дал мощность взрыва, равную сотням атомных бомб, сброшенных на Хирос

симу, — так считает мой друг. В отличие от многих очень умных ученых.

— Но ведь там есть несколько до сих пор необъяснимых фактов...

— Да, да, — кивнул профессор. — Вот приходи ко мне на кафедру, я приглашу Засекина и вы поговорите. Я тут дилетант...

— И вы, я заметил, не торопитесь с ним спорить.

— Я спорил с ним раньше очень много. Он спорщик еще тот, — ответил профессор. — Но на его примере я понял окончательно, что в споре нельзя одержать верх.

— Как? — удивился Ковальский.

Калашников спокойно пояснил:

— Допустим, вы победили в споре противника. Вернее, заставили его почувствовать ваше превосходство. Ну и что? Вы только разворошили его самолюбие. Ваша победа ему не нужна. Человек не согласится с вашим мнением против своей воли. Такова природа человека. Возникает озлобленное неприятие уже не только идеи, но и самого человека. Я на это наткнулся уже много раз. По молодости из-за этого терял друзей.

— Так что же делать? — невольно спросил Александр.

— Слушать и пытаться понять противника. Это, кстати, один из признаков интеллигентности. Предоставь противнику в этой борьбе все преимущества. Люди оценивают твои взгляды и принципы в системе своего миропонимания. И никак иначе.

— В этом есть что-то от пораженчества.

— Поживешь с мое, увидишь, чего в этом больше, — Калашников улыбался. А глаза его были как обычно — грустные и внимательные.

Когда около рынка прощались, декан сказал:

— Я тебе давно хочу сказать, приглядывался все. Тебе надо идти в науку. Наука — твоя планида. Поверь старику. — Посмотрел внимательно Ковальскому в глаза и произнес с расстановкой: — И еще совет один. Любимое дело, занятие — лучшее лекарство от любовных заморочек. На всю жизнь не мешало бы запомнить.

Ковальский молчал. Он не совсем понимал, о чем идет разговор.

— Думай хорошенько. Потом приходи ко мне на кафедру. Понял? Поговорим обстоятельно. Я тебе говорил уже об этом, когда ты на первом курсе был. Но ты не торопишься.

— Хорошо, спасибо, — неуверенно отозвался Ковальский.

Он уже слышал, что профессор работал в Ленинграде в лаборатории с изотопами. Там облучился. Семьи у него нет. Усыновил двух ребят, у которых не было родителей. Оба теперь учились в институте.

«Разве я похож на сироту?» — первое, что подумал Ковальский.

Он пошел к общежитию чрез Вшивый рынок — так его называли в округе. Другого названия Ковальский не знал. Пестрая толпа быстро поглотила его.

Старый профессор постоял еще чуток на перекрестке. Посмотрел задумчиво туда, где скрылся его студент, потом не спеша зашагал домой.

...Подходил в это же время к своему дому и его коллега — профессор Засекин.

Он второй день как приехал из командировки, и жена наверняка была уже дома и нетерпеливо ждала его.

Женился поздно. Выбрал ее сам. Ему было сорок, ей двадцать пять. Ядреное сочетание: глупость и красота — подвели его, как он думал, опытного холостяка. Глупости в ней с годами не убавилось, а вот красота со временем куда-то подевалась.

Она всегда желала в постели быть растерзанной, ее буйство его изматывало. Поначалу думал, что с годами у них возникнет некая гармония... Но... В последние два года, очевидно, сказывались его пятьдесят лет. После бурных ночей, особенно после командировок, он недели две приходил в себя. Работалось вяло. Отдавая свою энергию, Николай Николаевич видел каждый раз унылое однообразие в своих супружеских обязанностях. Все улетало в пустоту. Здоровье улетало в пустоту. Она, его жена, разлюбезная Ирина Матвеевна, делала его пустышкой... Организм, восстанавливая баланс, истощался. Ее энергетика была для него разрушительна.

Засекин понимал, что надолго так его не хватит. «Либо она заведет себе любовника, либо я получу инфаркт, — думал он, не зная, что хуже. — Не могу же я сам предложить ей найти любовника?» А она словно не замечала его проблем. Будто намеренно (так ему начинало казаться) загоняла его, заранее завоевывая себе безусловное право на любовника. Он понял, что ее не побороть. «Самка, — уныло думал он. — Было б какое интересное занятие у нее, дело... глядишь, сгладились бы...»

До Апокалипсиса мирового было еще далеко, а до тихой, никем не замечаемой личной драмы «почти гения» было совсем близко.

Николай Николаевич, кажется, уже угадал, кого она себе наметила в любовники. Знать, что у нее будет вообще или есть уже любовник, он уже был готов. Но встречаться по пять-шесть раз в неделю с этим уса-тым конкретным «крокодилом», в котором он угадывал ее избранника? Противного томного воздыхателя? Здороваться с ним, держать его сухую и жесткую руку в своей было выше его сил. Засекин убеждал себя, что

это не ревность. Оправдывался перед собой невнятно: «Уж больно этот новоиспеченный доктор математики – человек противный».

Профессор уже примеривался, раздумывая, не уйти ли в монахи. Но что-то его удерживало от этого шага.

У Засекиных не было детей. Это его угнетало. Он раньше сильно мечтал о сыне.

Его мучили беспечность человечества и глупость собственной жены. «Что, собственно, почти одно и то же», – думал профессор.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Они встретились неожиданно почти у самого здания института. Влада стояла одна около киоска «Союзпечать». Александр не видел ее. Она окликнула и подошла.

– Ковальский, ты куда это запропал? Всю неделю тебя не было. Говорят, то ли в Пензу ездил, то ли еще куда?

– Пускай говорят, – уклонился от ответа Александр.

*– В траве сидел кузнечик,
Совсем как человечик,
Зелененький, зелененький,
Зелененький такой.*

Ковальский, это про тебя. В травке сидишь. Притаился.

– А ты сама какого цвета? – спросил он. – Знаешь?

– Нет, не знаю, – сказала Влада. – Но глаза у меня цвета морской волны.

– Кто определил?

– Многие говорят.

– Слушай больше, глаза у тебя мышиного цвета, как и ты сама вся. Она приотстала и подпихнула его сзади коленом.

– Дикарь! Ты – дикарь! Фу!

– Я знаю, – согласился Ковальский. – Меня это устраивает. Значит, у меня все впереди. Но при чем тут мой копчик?

– Самовлюбленный самоед – вот кто ты! Гибрид ненормальный. Чудище какое-то ты – вот!

– У тебя, Влада, лексикон не богатый. Не из чего выбирать для меня определения. Подтянись.

Влада выпятила смешно нижнюю влажную губу и пропела:

*– Но вот пришла лягушка,
Прожорливое брюшко,
И съела кузнеца,*

И съела кузнеца!

— Я костлявый, — только и успел сказать Ковальский, входя в подъезд института.

Начиналась весенняя экзаменационная сессия, и он торопился на консультацию.

* * *

...Староста Анатолий Гуртаев в тайне считал посещение лекций во все не обязательным делом. Но журнал посещения, чтобы не случилось: наводнение, землетрясение, грипп или желтуха, им всегда был заполнен вовремя и скрупулезно. В том смысле, что как надо. А надо было, само собой разумеется, так, чтобы все посещали занятия на сто процентов. А если можно, то и больше, чем на сто.

Раз надо, чего уж там. Родив в институте СТЭМ — студенческий театр эстрадных миниатюр, его группа театр своих действий, так сказать, не перенесла всецело на сцену. Жизнь с ее артистизмом, эгоизмом, альтруизмом, фанатизмом, авантюризмом, глупизмом и так далее, со всякими там «измами», продолжала бурлить и в самой группе. Бурлила и была жизнь, как всегда ключом. И, как это часто бывало и, очевидно, будет — все по одному и тому же месту. И довольно иногда больно.

...— Экзамены, конечно, вещь во всех отношениях замечательная, — говорил Гуртаев, прохаживаясь в коридоре около старенького диванчика. — Они высвечивают ту непреложную истину, что на лекции надо ходить. И на лекциях надо записывать, что изрекает уважаемый преподаватель, чтобы, так сказать, потом вернуть ему это сторицей. Воздать должное. Вернуть! Но не просто так, а за приличную оценку. О неприличных оценках мы не говорим.

Староста любил говорить красиво и непонятно. Это было известно с первого курса. И любил он жестиковать. Правая рука его всегда была наготове поднята, и ее указательный палец готов в любой момент выскочить вверх и принять вид указующего перста или хорошо выпрямленного гвоздя.

— Я за вас за всех присутствовать не могу на лекциях. Поняли? — Он сделал очень серьезное, как ему казалось, лицо. — Я не о восьми головах... Вот вчера на электротехнике преподаватель спросил студента Ковальского: «Голубчик, я вас в первый раз вижу на лекциях. Вы откуда? С парашютом спустились? Я уже прочел пять лекций. Ни на одной вас не было. Я — бывший работник органов, память тренированная.

«Неуд» на экзамене я вам гарантирую». Сань, че ты ответил? – задал староста законный вполне вопрос Ковальскому.

– Он говорил, я молчал.

– Верно, ты молчал. А после лекции он меня пытался на электрический стул посадить за обман в журнале.

– Да ладно, – сказал староста третьей группы Пудель, а по записи в журнале – Аркадий Кокошин. – Я узнавал: он на экзаменах двойки не ставит вообще. Пугает только. Это у него метода такая. А лекции у него, конечно, скучные, как чужой сон.

Этот разговор происходит в правом крыле первого этажа общежития института. Все крыло, несколько комнат занимают будущие химики-технологи.

Человек пять студентов, устав от подготовки к экзаменам, вышли в коридор. Кто стоит, кто уселся на провалившийся диванчик. Слушают «горлана-главаря» – старосту группы. Все хорошо знают своего руководителя. Во время экзаменов с ним что-то там случается и он начинает «выдавать». Никогда не знаешь, что Гуртаев придумает. Лекционный материал, любой, ему дается тяжеловато. Два года в армии, год работы на заводе припорошили те части мозгового аппарата, которые отвечают за школьный курс. Кое-что подзабылось. Этот его драгоценный аппарат иногда начинает трясти. Он взбрыкивает у него...

– И все-таки экзамен – стимулирующая вещь, – говорит староста. – Он встряхивает весь организм. Настраивает его.

Слушатели, кто курит, кто просто так отдыхает. Некоторые начинают улыбаться. Многие знают: как только наступают экзамены, у старосты начинается, «извините, господа», словесное недержание. Да, да, оно самое. Гуртаев сам знает об этом. Но... удержаться не может... Зато сколько у старосты достоинств! «Хороший стратег – это умелый тактик», – в первой группе говорят, что это лозунг Гуратева. Он многоопытный, даже многоликий, староста первой группы. Этого у него не отнимешь. Многое испытал на себе.

В вестибюле первого этажа шумно. В несколько минут он наполовину заполнился народом. Включили телевизор. Сегодня «в телеке» КВН – клуб веселых и находчивых.

Под этот шумок вошел в коридор и шагнул к дивану Генка Султанчиков из параллельной группы. В руках у него преогромная штукovina, завернутая в простыню. Гуртаев озабоченно выслушал все сказанное ему на ухо шеголеватым Султаном и вельможно обронил:

– Ставь, смотреть будем. У нас свой КВН.

В простыне оказалась гипсовая женщина. Без рук и одной ноги. Метра полтора высотой. Лица у всех повернулись к ней.

— Где взял? — деловито осведомился староста.

— В мединституте был у девчат, подвернулась.

Передняя часть тела гипсовой женщины от впадины груди до низа живота была распахнута и внутренности, расцвеченные разными тонами, были доступны для изучения.

— Ну, и куда теперь эту диву девать? — спросил староста, сам поразившийся своим удачным каламбуром. — И зачем ты ее приволок?

Наступила пауза, затем находчивый Инок, пришедший «стрельнуть» лекции, спросил:

— В семнадцатой Колюнчика Хризантемы нет?

— Нет, — последовал чей-то ответ.

Они с Гуртаевым переглянулись, молча поняв друг друга. Староста тут же сказал:

— Вот мое ремюзе (он любил так произносить это слово): Мы Колюнчику в постель положим ее бедненькую, замерзшую и простыночкой прикроем, он в подпитии придет... и к ней, а? Почти Венера!

— Правильно, — согласился Султанчиков и продолжил как-то даже деловито и озабоченно: — А то ведь так девственником и закончит институт. Варварство какое!

— А вы спросили: она согласна? — поинтересовался кто-то из угла коридора.

Ковальский было засомневался, хотел протестовать против этой затеи, но его единодушно успокоили. Султанчик даже возмутился:

— Шутка классная, ты че... в духе КВН...

В отличие от старосты Колюнчик Хризантема, он же Горин Николай, не пропагандировал полезность экзаменов. Он их, не то чтобы не любил. Он готов был их, как и лекции, игнорировать. Но!.. Вот именно: куда деваться? Переползал Хризантема из семестра в семестр на троечках благополучно. Деньги ему присылали из дома. Стипендию он никогда не получал и не ожидал, что получит. Это обстоятельство давало ему возможность называть ее, стипендию, пережитком проклятого прошлого. Почему так? Кто знает? У него никто не уточнял. Почти ежедневно, исключая день экзаменов, Хризантема бывал под парами зеленого змия. С книжкой или лекциями в руках он никем и не никогда не был замечен. Обычно пропадал где-то на стороне, но ночевал всегда в своей комнате.

В дальнем углу коридора размещалась радиорубка. Горин ей заведовал. У него была колоссальная коллекция романсов, русских песен.

Вертинского он обожал и знал о нем больше всех. К его легкому безобидному характеру и мягкой свойской домашней улыбке привыкли все.

— Ничего из этого не получится, — авторитетно заявил Пудель.

— Почему? — тут же спросил нетерпеливый Султанчик.

Пудель пояснил не спеша:

— Видишь ли, дорогой мой, Колюнчик — парень горячий, а она — женщина фригидная, ну просто, каменная! И все тут. Несовпадение...

Разговорчики в строю прервал Гуртаев. Все было исполнено, как задумано первоначально.

Колюнчик появился в конце коридора внезапно.

— Отцвели уж давно хризантемы в саду, — пропел он с хрипотцой и слегка пританцовывающей походкой пошел в комнату.

Женщина, аккуратно уложенная и накрытая простыней, лежала надежно. Чтобы видней было, дверь открыли. Диван, передвинув, поставили напротив двери.

— Я вас приветствую, господа! — отметил Хризантема сразу всех взмахом еле послушной руки.

Кажется, сегодня он был в пельменной и принял хорошо. Все молчали. Ждали, что будет дальше...

Действия Колюнчика были просты и понятны. Ему очень хотелось в постель. Он довольно ловко, не обращая внимания на наблюдателей, восседающих на диване в коридоре (дверь осталась распахнутой, не он же ее открывал) разделся до майки и трусов. Его пошатывало. Мотнуло было в сторону от кровати, но Хризантема держал контроль над ситуацией. Превозмог. Одолел. И ринулся, чуть ли не бегом в кровать. Упал в нее с разбегу. Вскочил. Губа у него была рассечена. Текла кровь. Сдернул простынь... Вмиг протрезвев, все понял. И враз вычислил главного обидчика.

Выскочив в трусах в коридор, он подлетел бабочкой к Гуртаеву.

— Ты — негодяй, а вы... вы... — Хризантема не находил подходящего слова. А драться он не умел. Был не способен ударить.

— Они обыкновенные советские граждане, — подсказал староста.

— Вы... вы... дерматинные граждане — вот вы кто! — Трусы его, светлые с цветочками, что было большой редкостью среди темно-синего сонма этой продукции, сползли в самый низ живота. Он задержал их цепко левой рукой.

— Жеребцы сивые! — Выкрикнул он и замолчал, оторопев от собственного громкого голоса. Но ему показалось мало сказанного. Он добавил для крепости, очевидно: — Иноходцы. Над женщиной издеваетесь.

Над женщиной! – И всплеснув руками. – Ну почему мы, русские, такие, а?

Он не находил слов. Хризантема, оказывается, и ругаться-то не умел, не только драться. Бросившись в комнату, схватил чайник и побежал в одних трусах в другое крыло через вестибюль мимо толпы перед телевизором. Под бодрый голос ведущего Александра Маслякова. Все опешили. Никто из шутников не двинулся с места. Все будто обреченно ждали неотвратимого наказания. И оно наступило! В развевающихся трусах появился Хризантема с чайником полным воды.

– Нате вам, нате вам!.. Во время Куприна я бы вас всех на дуэль вызвал. Было же время... По-человечески хамство можно было наказать...

Он старался каждому из чайника пролить воду на голову. Это ему отчасти удавалось. И, очевидно, это действие с водой из чайника, ему казалось вершиной наказания.

Как ни странно, все как бы ждали своей очереди молча. Оцепенение царило в рядах шутников.

– Я ухожу от вас в радиорубку, – гневно объявил он, когда кончилась вода. Как был в трусах вновь устремился в другое крыло коридора.

– Ребята, мы, кажется, того, – неуверенно произнес Инок.

– Чего того-то? – Султанчик стоял рядом, потерянно глядя на него.

Все чувствовали неладное. Но до конца то ли не понимали, то ли не могли сформулировать.

– Да сволочи мы – вот и все, – сказал отчаянно Инок. – Завтра надо как-то просить его простить нас, дураков очумевших.

Все молчали, только Султанчик поинтересовался:

– Это почему же сволочи, а? Ты не с нами, что ли?

– Потому, что не понимаем, что мы сволочи, – чеканно отреагировал Иннокентий.

Султанчик было дернулся к нему, но вдруг, без чьей-либо видимой помощи, в нем что-то сломалось – он обмяк и глухо сказал:

– Ну вот: шерше ля фам! Старая история. Как всегда. Неужели из-за женщины этой гипсовой, или какой, мы так...

Все молчали. То ли сказал Султанчик непонятно, то ли все понятно было и без него...

...Хризантема, забрав наутро одежду, прожил в своей будке целую неделю. Потом молча, как бы не замечая, не видя никого, вернулся в

комнату. Ночевал в общежитии, но жил где-то на стороне своей загадочной, отдельной жизнью. Как и прежде.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

— Знаешь, я ничего не имею против сельских ребят. В большинстве они симпатичные парни. Но ты и от них отличаешься.

— Чем же, поведай, — отозвался не без иронии Ковальский.

Александр и Влада лежали на опустевшем пляже почти одни. Ребята из их группы давно ушли в общежитие. Наступил уже вечер. Теплый сентябрьский. И не хотелось расходиться. Переговаривались не спеша.

— Например, мыслишь ты всегда на свой манер.

— Хочешь сказать по-деревенски, но боишься обидеть?

— Да нет, не по-деревенски, а как-то часто все «от себя». Все пропускаешь через себя. Так можно сказать.

— А что здесь плохого? И в чем я виноват?

— А я и не говорю, что это плохо. Может, даже наоборот. Но ты не открытый. Сознательно закрываешься. Еще меня удивляет, что ты говоришь чисто и правильно. Этим отличаешься от многих. И фамилия твоя «Ковальский», и твой характер — все с какой-то загадкой. Ты упертый! Страсть! С тобой не просто. Ты рассказывал, что кругами ходил вокруг здания драмтеатра, когда приехал в город. Что в школе занимался в драмкружке. Но не хочешь идти в наш студенческий театр миниатюр. Почему? Молчишь?

— Если скажу, ты обидишься. Потому и молчу. Ты же у них там чуть не звезда.

— Нет скажи, я хочу знать!

— Я так не понял пока, кем должен быть актер — скоморохом или жрецом. Но про себя знаю: скоморохом быть не хочу. А вы там все скоморохи. Я не вписываюсь в вашу компанию.

— Сашк, — резко поднявшись с песка, сказала Влада.

— Что?

— Иди ты к черту, вот! Больно серьезный. — И она пригоршнями стала черпать остывающий песок и бросать ему на спину. — Ты так сильно загорел. Где?

— На сенокосе, где же еще. Не на сцене.

— Ты будешь меня развлекать или занудство свое нарочно демонстрировать. У нас же студенческий театр. Специфика молодежная. Понял?

– Ну да, понял, – протянул Александр и замолчал. И чуть позже добавил: – Ведь актеру сверху что-то дано, а раз сверху, свыше – то стыдно размениваться на пустячки.

Она не стала спорить. Надоело, очевидно. Махнула рукой и, притворно сопя, легла на живот, положив лицо на сложенные крест на крест руки.

– Я на тебя сердита. Понял?

– На сердитых воду возят.

– Кто сказал?

– Моя бабка. Причем, давно еще, – говоря это, он старался сделать очень серьезное лицо.

– Кóшмар какой-то, – отреагировала Влада, делая ударение в первом слове на «о». – Воспитаннице у вас, сударь!

– Такое вот, куда таперича деватца? – пожаловался он, стараясь как можно правдоподобно изобразить на лице вселенскую скорбь по поводу такого ее заключения.

«Обернется она ко мне лицом или нет?» – думал он.

Она не выдержала и обернулась.

– Там Ефим Кирьянович Григорьев – актер драматического театра с нами занимается, понял?

– У тебя имя необычное, – вместо ответа проговорил Александр, наблюдая за тем, как она изящно поправляет прическу.

– А у тебя – фамилия, – ответила она. – У нас, у обоих, часть корней – на загнивающем Западе. Моя бабка была эстонкой... Мы с тобой не тутошние...

Он смотрел на нее и видел теперь только ее говорящий рот. Эти пухлые шевелящиеся губы! Они дразнили его. Он отвел взгляд и прикрыл глаза.

– Ты даже на меня не смотришь! – неподдельно возмутилась она. – Ты же мог бы кое-что в театре перенять, понял?

Александр открыл глаза. Влада подвинулась и теперь сидела напротив него так близко, что он видел маленькую родинку на светящейся мочке ее левого уха.

– Понял, – отозвался Александр, думая о своем. Потом не спеша добавил, помня о начале разговора: – Понимаешь, все-таки воспринимать жизнь надо не чужими глазами, а такой, какой ты ее видишь. Все-таки «свое» дает человеку те свойства, которые его отличают от толпы. У вас, в вашем театре, толпа кричащих, орущих, обезьянничавших – это уже было в моем сельском клубе.

— Ковальский! Ты — самоед. Ты слишком копаешься. И в себе, и во всем. Зачем тебе это? Это же мука! Ты кто?

— А можно вопрос?

— Конечно!

— Вот почему ты блондинка, а такая, извиняюсь, умная, а?

Вместо ответа она набросилась на него с кулаками. Кулачки у нее были крепенькие и до смешного маленькие. Когда атака захлебнулась, упершись в широкую, крепкую грудь, он повернулся к ней спиной. Влада, делая обиженный вид, всхлипнула почти натурально и шумно вздохнув, подвинулась, упершись намеренно плечом в его спину. Александр даже почувствовал мелкие песчинки, которые она вдавила в его лопатку.

— Я сотру с тебя эту нарость. Это жуть, а не характер.

Влада придвинулся и всей спиной своей припечаталась к нему. Ямочкой между лопатками он почувствовал застежку ее купальника.

— Но договорить я имею право? — попытался он сохранить суверенитет.

— Как подсудимый, последнее слово имеешь. И все!

— Хорошо. Я в принципе думаю, что если человек думающий и желающий что-то в жизни сделать, то он всегда мучается. Копаются в себе. Жизнь, сама по себе, мука. Если ты о чем-то думаешь, ты постоянно вышибаешь из-под себя табуретку.

В следующий момент произошло неожиданное. Она резко, чего он никак от нее не ожидал, повернувшись, прижала его спиной к песку. Дурчась, он стал сопротивляться взяв ее за плечи. Вырываясь и желая удержать его на песке, она дернулась и... застежка на купальнике у нее расстегнулась. Купальник упал ему на грудь. Два блеснувших тугих комочка, отмеченных изящными коричневыми сосками, как клювиками, заиграли на свободе. Она ойкнула от неожиданности и подалась к Ковальскому, очевидно, инстинктивно желая попасть ими, этими выпорхнувшими из плена созданиями, в чашечки купальника. Но не тут-то было — свобода пленительна! Зачем лишаться ее? Она промахнулась. Одно из этих прекрасных созданий, как белая птичка в гнездо, попала ему в ямочку на груди. Другая притаилась под мышкой. Он сомкнул свои руки у нее на спине. Влада почти вся лежала на нем. Александр почувствовал, как по ее загорелому легкому телу пробежала дрожь. Ее пухлые губы были приоткрыты, глаза распахнуты широко, но в них не было испуга. Было, скорее, удивление и ожидание. Он левой рукой нагнул ее красивую голову и поцеловал в давно дразнившие его, губы.

Пляж был почти безлюден. Те, кто видел их, могли подумать, что это давние любовники.

...— Поехали ко мне, — шептала она ему в ухо. — Две остановочки на трамвае — и мы у меня.

— А родители... — неуверенно отвечал он.

— Они оба за границей... на два года. В Болгарии на стройке. Брат — на севере. Такая география.

— Удобная ты какая, — говорил Александр, пытаюсь понять ее до конца.

— Кончено, удобная. Но не для всех, — и она стала его целовать.

— У меня губу уже больно, — взмолился Ковальский. — Пожалей.

— Какой слабак попался, — бесцеремонно заявила она. — А я-то думала...

Они три дня не ходили на лекции, Александр в эти дни не появлялся в общежитии.

* * *

Влада удивляла его своей активностью. В мыслях, в поступках. Одна черта делала ее занудливой. Она тщательно и деловито предохранялась. И требовала от него того же. Больно была деловита в постели. «Когда она успела этому обучиться? Или это свойство характера такое, натура?» — думал Ковальский. Он понял, что их связь не надолго. Ей скоро захочется новой игрушки. Видно же. И не жалел об этом. Александр заранее воспринимал это как некий этап в своей жизни. И оттого был не столь уязвим, как мог бы быть. Он согласился уже заранее с таким развитием их отношений. Не соглашался — с другим. Не хотел принимать ее постоянную установку: будь как все.

Он видел, что многие, неосознанно стремятся а, может, и осознанно, уйти от своего «я», хотят быть как все. Раствориться в массе усредненных и быть счастливыми. И мать, и отец его часто говорили: «Слава Богу, как у всех» или «Как все, так и мы». И это было важно для них. Его это удручало. И тихо внешне, но непримиримо внутри него протестовало его «я».

Александр желал, хотел быть не меньше, чем «как все», но при этом остаться еще и самим собой. Что это значило, он четко вслух не сказал бы. Но не хотел менять свое «я» на «как все». За его «я» было очень многое. Ковальский чувствовал: за ним стояла вся его прежняя жизнь. Он не мог ее предать, эту жизнь, если бы даже захотел. Тогда бы надо было себя сломать напрочь.

Александр радовался успехам артиста Куйбышевского драматического театра Ивана Санникова – крестьянского парня из приволжского села, пробившегося на профессиональную сцену. А он, Ковальский, даже и не попытался этого сделать. А мечтал когда-то.

Артист Санников всей своей фактурой, манерой держаться, играть на сцене был, что называется, свой.

Он был в восторге от игры Гриценко, Плятта, Смоктуновского. Он понимал, что отделяет их от Санникова. И в этом «что» было очень многое. Его надо было преодолеть, покорить, не теряя того, что дано от природы.

«Я, получается, тот же Санников, но только не в театре – в жизни. Моя сцена – жизнь, сколько же будет всего у меня такого, что нужно будет превозмочь и одолеть. Я выплываю, как в детстве своем, в разлив на плоскодонке на огромный будоражащий душу простор. Санникову несказанно повезло. У него в помощниках театр, драматурги-классики, актеры. Режиссер, наконец. Это все то, что можно назвать опорой, встречным потоком, который позволяет, как Пудовкину его авиация, набирать высоту. А у меня в чем опора? Где встречный поток?»

* * *

– Пойдем сегодня на Владимира Ростовцева, – предложила Влада, когда они встретились в лаборатории коллоидной химии.

– А кто он такой? – спросил Александр. – Что за зверь? Почему не знаю?

– Психиатр, телепат.

– Я недавно был в филармонии, смотрел Вольфа Мессинга.

– А я нет. Теперь там Ростовцев. Соседи билеты отдали, не могут, а мне хочется. Сегодня в восемнадцать часов. Сходим?

...Места у них оказались в первом ряду амфитеатра. Многое было похоже на то, что показывал Мессинг.

Ковальскому важно было проверить, поддается ли он гипнозу. Влада протестовала. Она не хотела, чтобы он был на сцене и с ним проделывали, как с куклой, разные штуки. Но ему было интересно.

Когда телепат попросил вытянуть сцепленные в один кулак руки и, забыв обо всем, слушать только его, передаваемые мысленно команды, Ковальский постарался все точно исполнить. Но ничего не чувствовал. Вдруг одна из сидевших рядом с ним девочек, почти подросток, начала биться, словно от избытка полученной извне энергии и устремилась с

невидящими глазами вниз, на сцену. Руки ее по-прежнему были сцеплены в один кулак и она, похоже, не могла их расцепить. Бежала, выставив их перед собой. Ковальский с удивлением смотрел на свои — они у него вели себя безразлично к командам. Выбежавших на сцену набралось человек тридцать.

Телепат спокойно объяснил, что волноваться не следует. На сцену вышли самые поддающиеся на контакт. Он сейчас выберет половину из них, а остальных отпустит. Опыты совершенно не опасны для здоровья. Даже наоборот.

— Нинка, дура, куда ты попала, — волновалась сидевшая рядом ее подружка, оставшись одна.

Между тем, телепат отобрал пятнадцать человек и отпустив остальных, начал работать.

— Вы находитесь, — объявил он стоявшей на сцене пестрой кучке молодых людей, — на свадьбе. Рассаживайтесь и ведите себя, как всегда в таких случаях. Делайте то, что вам нравится.

Когда «свадебные гости» расселись, явилась забавная картинка. За воображаемым столом царило веселье. Сидевший самым крайним слева парень откашлялся и затянул баском:

*Когда весна придет не знаю,
Пройдут дожди... Сойдут снега...
Но ты мне, улица родная,
И в непогоду дорога.*

Нинка тоже не дремала. Она несколько раз приподнялась со стула и, дотянувшись до середины воображаемого стола, взяла что-то, потом положила в карман кофточки. Она, как после оказалось, складывала про запас шоколадные конфеты. А рядом товарищ лет сорока наливал уже не в первый раз что-то себе, очевидно, в рюмку.

— Что вы делаете? — поинтересовался телепат.

Мужчина с достоинством не спеша пояснил:

— Грешен, люблю коньячок!

Когда «свадьба» закончилась, Ростовцев взял за руки, как маленьких, Нинку и парня, который пел песню, и подвел почти к самому краю сцены. Пара повиновалась беспрекословно.

— Вы — дети, сидите в песочнице и играете вдвоем в разные игры, — объявил он.

После «свадьбы» в зале наступила, наконец, тишина.

— Как тебя звать, девочка? — ласково обратился Ростовцев к девице.

— Нинка, — отозвалась та покорно.

– Нинуля, играй в песочек.

Парень тем временем, присев, снял ботинок с ноги и держал его высоко над головой, описывая замысловатые круги.

– Что ты делаешь, мальчик? – участливо поинтересовался у него взрослый дядя гипнотизер.

– Играю в самолетики. Иду на посадку.

Нина в это время делала в песке норку. Туда должна была прибежать мышка. Так она объяснила.

Ассистентка принесла телепату что-то в салфетке.

– У меня в руке, – обратился тот к публике, – очищенная картофелина, сейчас мы предложим нашей Ниночке ее скушать. Поясню: сырой картофель ничуть не вреден. Он протянул руку с картофелем девушке. – Ниночка, на, скушай яблочко, мама твоя дала.

– У меня руки в песочке, я не могу, – резонно возразила она.

– Ничего, ты уже помыла. Видишь, они у тебя сухие.

Та покорно взяла «яблоко» и начала с хрустом есть. «Яблоко» у нее вежливо забрали, и телепат отдал его ассистентке. Оставшееся без внимания дитя у песочницы, очевидно, выпало из-под контроля... Чуть подобрав юбочку, Нинуля объявила:

– Мамочка, я хочу пи-пи... писать.

Когда она вернулась к своей подружке, та, смеясь, поинтересовалась:

– Ладно все остальное, но картошку сырую зачем есть?

– Какую картошку? – не понимая переспросила Нина. Лицо ее было бледное. Она вяло улыбалась.

Перед антрактом ассистентка объявила, что во втором отделении телепат будет угадывать желания зрителей. Необходимо всем желающим приготовить записки с заданием и сдать в наблюдательную комиссию. Наблюдатели будут выбраны из числа зрителей. Ковальский загорелся написать задание.

– Проверим, окончательно шарлатан он или все-таки телепат.

– Проверяй, проверяй! Он тебя как Нинку на сцене опозорит, – хихикнула Влада. – На весь город.

В перерыве на половинке листа из ученической тетради Ковальский написал: «Необходимо пройти в зал к ряду номер 14, место 20 и пригласить на сцену сидящего там молодого человека. На сцене налить из графина полстакана воды и предложить ему выпить. Александр Ковальский».

Он сложил вчетверо листок и сам отнес в небольшой ящичек, установленные на краю сцены. Ревностно следил, вернувшись на место, как

перед началом второго отделения ящичек забрали и передали сидящим за столами на сцене членам комиссии. Его вскрывал грузный мужчина, очевидно, избранный главным. Ковальский видел его с поднятой рукой в бельэтаже, когда создавали комиссию.

Пригласить на сцену из зала по записке, которую написал Александр, надо было Володю Типтева – земляка Ковальского, выпускника вертолетного училища, с которым он не виделся года три уже. Типтев был одноклассником брата Петра. Его Александр приметил в зале еще в начале первого отделения. В перерыве специально не пошел к нему. Эксперимент должен быть абсолютно чист: знать о задании полагалось только комиссии и Ковальскому. Ряд и место ходила узнавать Влада.

Уже по тому, как один из членов комиссии принес и поставил на стол, покрытый красной скатертью, графин с водой и несколько стаканов, Ковальский понял: его задание приняли. Он внимательно следил за кучкой записок и действиями членов комиссии. Ничего сомнительного не было.

«Но зачем столько стаканов. Нужен-то всего один. Очевидно, жюри из зрителей решило сходу запутать телепата? Это неплохо», – отметил он.

«Грузный» из жюри назвал первой фамилию Ковальского и пригласил его на сцену. «Командам сопротивляться. Не поддаваться чужой воле», – так он твердил себе, пока шел, желая проверить и себя, и Ростовцева.

Ростовцев взял Ковальского за запястье левой руки и подвел к микрофону.

– Сосредоточьтесь на задании! Думайте о задании, – тихо, но четко несколько раз повторил телепат вслух.

«Не думать, совсем не думать о задании», – мысленно приказывал себе Ковальский, видя, как заволновался около него телепат. Александр решил быть непоколебимым. Телепат совершил какие-то свои еле уловимые движения. Ковальский это чувствовал: рука Ростовцева то ослабевала у него на запястье, то наоборот сжимала еще крепче. Зал настороженно молчал.

– Вы мне мешаете работать, – шептал телепат, вглядываясь в Ковальского. – Думайте!

Ковальский старался, насколько мог, не думать о задании. Вдруг Ростовцев гневно отбросил руку Ковальского и произнес громко в микрофон:

– Вы пьяны. С вами нельзя работать!

К такому Ковальский готов не был. Он совершенно естественно возразил. Тоже громко в микрофон:

– Недели две, точно, я не брал спиртного в рот. Даже пива...

В зале зашумели. Прозвучали даже аплодисменты.

– Ну, хорошо, попробуем еще! Раз так! – Громко сказал телепат.

Телепат вновь энергично взял руку Ковальского. Они встретились взглядами и Ковальскому вдруг стало жаль Ростовцева. Ведь он, Ковальский, не выполнял самую первую свою обязанность индуктора: думать о задании.

«Надо думать, – решил он. – Я уже понял, что никакого обмана нет: я не думаю, он – не принимает сигналы. Или не воспринимает мысли по реакции моей руки. Посмотрим, что будет, если начать думать».

Александр начал твердить про себя: «Ряд четырнадцатый, место двадцатое, вызвать на сцену». Так он скомандовал мысленно два раза, сосредоточившись только на своих мыслях, не видя никого.

Угадал ли мысли телепат или он их поймал, как приемник радиоволны, но в следующий момент, увлекая Ковальского за собой, Ростовцев устремился в зал.

«Получилось, получилось, – пока они бежали в зал, думал Александр. – Он то слышит мысли, то нет. Мой эксперимент удался, он – не шарлатан, он – молодец! А я могу себя контролировать. Ведь только когда мне жаль его стало, и я сам начал неотрывно думать о задании, он тогда ожил, этот «человек-приемник».

Когда они оказались около удивленного Типтева и телепат замешкался, Ковальский мысленно четко скомандовал: «На сцену!»

Через несколько мгновений все трое уже были на сцене.

– Я правильно все сделал? – спросил Ростовцев Ковальского, приблизившись к микрофону.

– Да, – односложно подтвердил Ковальский.

В зале раздались аплодисменты. Это кольнуло самолюбие Ковальского. Он поспешил добавить:

– Но не все задание выполнено.

– Да, да, – согласился быстро телепат и сжал его кисть.

Александр подумал, что, очевидно, когда зал поддерживает сильно Ростовцева, тому работать легче. Видимо, настроение зала влияет на телепата и на него, Ковальского. Не в его пользу. Он решил думать о задании, но намеренно обрывая мысли: «Стакан, вода, стакан, вода», – повторил он про себя, намеренно не думал о том, что с ним делать, с этим стаканом дальше.

Подойдя к столу жюри, телепат начал переставлять стаканы, взяв в руки графин. Видно было, что он боится ошибиться. Будто знал, что команду специально не договаривают.

Ростовцев правой рукой держал запястье Ковальского, а левой — графин. Он попытался приблизить графин к одному из стаканов, но Ковальский четко мысленно произнес: «Не тот стакан».

Телепат тут же среагировал. Это было поразительно. Александр давно уже проникся уважением к телепату... Он еще раз скомандовал про себя: «Стакан воды». И телепат вновь засуетился.

Когда он поднес графин к третьему стакану, Ковальский сдался: «Налить воды в этот стакан и напоить земляка».

Ростовцев как-то даже поспешно, будто боялся, что Ковальский передумает, налил воды и протянул стакан Типтеву.

— Пейте! — бодро сказал он.

Типтев принял стакан. Телепат под руку привлек Ковальского к микрофону и галантно спросил:

— Я все выполнил правильно? — Голос его зазвучал звонко и уверенно. Ростовцев уже не смотрел на Ковальского так пристально, как несколько минут назад.

— Все точно, — согласился Александр. — Спасибо, — и с удовольствием пожал протянутую ему руку.

Зал аплодировал. Когда аплодисменты затихли, телепат уже в спину уходящего Ковальскому бросил:

— И вы мне не подсказывали, верно? — Он снова был хозяином положения.

Ковальскому показалась это несколько принижающим его в глазах публики. Он вернулся к микрофону и сдержанно, но внятно возразил в зал:

— Ну как же, конечно, подсказывал!

— Каким образом? — развел артистично руками телепат.

Выждав паузу, Александр ответил:

— Мысленно, конечно.

Зал шумно аплодировал.

Когда он вернулся на место, Влада искренне удивилась:

— Ну, Ковальский, ты действительно артист. Так свободно держишься на сцене! Все только на тебя и смотрели. Охотно верю, что ты был звездой в своем деревенском драмтеатре.

— Где уж нам, — отвечал Ковальский, все еще думая о чуде, к которому он только что прикоснулся.

Когда они выходили из филармонии, некоторые в толпе дружелюбно и одобрительно улыбались ему. Влада, видя это, забавно посмеивалась.

Уже на улице его кто-то легонько тронул за плечо. Он обернулся.

Перед ним стояла Ирина Гражданкина. Чуть располневшая, но такая же грациозная и улыбочивая. Они с Ковальским работали вместе на полиэтилене.

– Здравствуй, Ковальский!

– Здравствуй, Ирина!

– Смотрела на тебя, когда ты был на сцене. Ты так повзрослел!

– Ирина, знакомьтесь – Влада.

– Очень приятно. А это мой муж Виталий Зацепин, художник.

Они обменялись рукопожатиями.

«Я его, по-моему, где-то видел, – подумал Александр. – Кажется, это было на заводе».

– Не обижайтесь. Мы торопимся. Завтра Виталий рано уезжает. У него зональная выставка «Люди большой химии». Знаешь, у него есть картины о нашем цехе, где мы с тобой работали. Есть и мой портрет. Глядишь, прославимся, – Ирина непринужденно рассмеялась. – Звоните! – Она назвала номер телефона.

И они пошли к троллейбусной обстановке. Оба такие стройные и красивые.

В общежитие Влада в этот вечер Ковальского не отпустила.

– Сколько на тебя жадно смотрело, а ты – мой.

Он ночевал у нее.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

В конце февраля, неделей позже дня рождения Ковальского, к нему в общежитие пришел его дед Иван.

Он приехал из Утевки к сыну Сергею, вещи оставил у него, но, не дождавшись сына с работы, направился искать внука.

Когда Александра позвали к вахтеру, Иван Дмитриевич сидел на диване в вестибюле и дружелюбно посматривал на студентов, торчавших перед телевизором. Он был в бекеше и белых чесанках.

Александр не смог бы точно передать свои чувства, которые испытывал, когда смотрел на деда. Это было смятение чувств. Скорее всего так.

Они прошли под веселыми взглядами ребят у телевизора в комнату, где как раз все ее обитатели были в сборе. Вскоре все сидели за столом, баловались чаем. На краю стола лежал большущий кусок свиного

соленого сала, в середине стояла трехлитровая банка с яблочным вареньем. Все хвалили и сало, и варенье.

Дед зоркими глазами смотрел на друзей Ковальского, и видно было: ему невероятно интересна эта совсем другая для него жизнь. Ребята ему нравились. Это было заметно. Но по житейской своей привычке он не доверял с ходу тому, что видел. Надо было взглянуть поближе. Потрогать, понюхать, посмотреть на свет матерьял. А уж потом брать отрез и шить костюм. А тут такое дело: стремительно и смело жизнь своим водоворотом выхватила внука и тянула непомерной силой – по новым своим законам – еще неизвестно куда. Мало ли чего? Где много народу, он согласен с женой Груней, всегда большие безобразия.

Всякие мысли были в голове. Потому и приглядывался за столом к каждому.

Но ребята были открытые, веселые. И уважительные. Обращались к нему по имени-отчеству и бекешу его, попросив померить, хвалили искренне. И он успокоился. Ребята как ребята. Одно слово: молодежь.

А когда успокоился, рассказал анекдот, чего Ковальский никак от него не ожидал. Анекдот был про студента. Про того самого, который писал письмо родителям. Дед Ковальского так это изложил от имени студента: «...все у меня есть тут, деньжата тожа есть. Ничего не надо мне. А если будете посылать мне их, деньги-то, вместе с салом не кладите...»

Анекдот был старый, но все дружно смеялись. Ковальский удивлялся деду. Он оказывается был еще и такой.

– Иван Дмитриевич, – степенно обратился к гостю Гуртаев, – а вы откуда про студентов анекдот знаете? – Так спросил, больше для разговора. И получил, рыжебородый, свое.

– Э... э... видишь ли, милый ты мой... студенты... они, это, как клопы, ищю в первую империалистическую были: видывал на фронте, в окопах. Слышал всякое! Живучи они, черти!

Этот ответ подействовал сильнее, чем рассказанный анекдот. Смеялись долго. Смеялся себе в седые усы и Головачев.

Примчался дядька Сергей и потащил отца и племянника к себе домой. Они пошли на остановку трамвая. Встречные оглядывались на них. Некоторые с добродушной улыбкой, другие с кривой усмешкой. Последних Ковальский готов был чуть ли не ударить. Он безоглядно любил своего деда. Но не вписывались, не совмещались дедовы белые чесанки в галошах и его добротная бекеша с городской жизнью. Никак не совмещались. Это Ковальский видел. А Иван Дмитриевич, казалось, не замечал этого.

Они прошли несколько минут молча. Иван Дмитриевич, явно озабоченный какими-то своими мыслями, приостановился, очень сосредоточенный в себе, и спросил:

— Сергей, а вот электровоз, он как устроен?

— Да просто. Примерно, как вот этот трамвай.

— Да-а... — неопределенно произнес Головачев. — Понятно. Вишь ты, уголек, значит, не переводит...

Ковальский, проклиная себя за то, что при косых взглядах прохожих начинает стесняться своего деда, его экзотического вида, чувствовал себя то никчемным щеголем, то гордился дедовым независимым видом. Он, поддерживая в душе его простоту и независимость, сам чувствовал себя представителем крепкой и надежной породы.

Поведение деда было уверенным и прочным. Прочным, как крепко сработанные и бекеша, и чесанки. Держась уверенно, он был дружелюбен и общителен не по-городскому с посторонними. В разговоре был прямодушен. Но впросак не попадал.

* * *

— Ничего из вашего сына не выйдет, — с нескрываемой и непонятной радостью сказала Алевтина Петровна, теща Сергея, когда они, готовясь ужинать, располагались на кухне.

— Почему же не выйдет? — спокойно возразил Иван Дмитриевич. — Уже вышло: человек кончил институт. Работает на стройке мастером.

— А вот уже и не работает, — вскинулась Алевтина Петровна. — Рассчитали его вчера.

— Как так, Сергей? — удивился Иван Дмитриевич. Он даже поднялся со стула. — Ты ж недавно только стал мастером. У тебя бригада была.

— Не выдержал я, отец, понимаешь. Тяжело. Не для меня.

— Ты что, работы не выдержал? Не поверю я. На тебе пахать да пахать.

— Да не работы, а безделия не выдержал, понимаешь?

— Нет, не понимаю ничего, объясни. — Иван Дмитриевич вновь сел на приземистую табуретку, положив на край стола левую руку.

— Мой предшественник, когда наряды закрывал, всегда объем сделанной работы завышал, приписывал. Так повелось. И все привыкли. Полдня не работают, а будь добр, закрывай по полной и, понимаешь, не бояться бездельничать — все равно, знают, наряд закроют, как надо. Привыкли к припискам.

— Ну, и ты, — Иван Дмитриевич уже понял в чем дело и смотрел на Сергея, как на ребенка, — не выдержал, да?

— Да, если бы только это! Тащат все со стройки. В тот день рубероид весь растащили вдобавок. Стоят мужички в сторонке, поглядывают на меня, а я наряд отказался закрывать. Они подослали девчонку сопливую, я ее отослал назад. Смотрят нагло на меня. Потом одного отрядили ко мне, того как раз, которого я видел, как он рубероид воровал. Подошел наглец и в лоб: «Пиши, начальник, не разводи канитель, а не то сам в накладе останешься. Понял?».

— А что же ты на это?

— Не помню, как получилось, схватил последний рулон рубероида, рядом стоял и по спине наглецу. Тот спотыкался, спотыкался и мордой прямо к бабешкам в кружок под ноги.

— Луберолем так и махнул? Ну, сын, ты того... тебя-то не тронули?

— Нет, начальство объявилось: парторг и еще один там... В самый кон.

— Защитило начальство-то?

— Ага, — усмехнулся Сергей. — Парторгу как раз меня и защищать.

— А что так? Рукоприкладство, конечно, дело плохое. Но ведь за дело? — воодушевился было дед Иван.

— Ага, — вступилась жена Сергея, до того молчавшая. Перебирая в руках концы полотенца, доложила: — Как же! Он и с ним поссориться успел.

Сергей тем временем ушел в спальню и через некоторое время вышел оттуда с аккордеоном. Прошел в сени, сел на порог. Растянув меха, запел:

Бывали дни веселья,
Гулял я маладой...

— Дурашливый он у нас, прости меня Господи, — деланно запричитала теща Сергея. — С ним не соскучишься. Но и не разбогатеешь.

— А с начальством-то почему не поладил? — выдерживая строгую ноту, спросил старший Головачев.

— С начальством-то? — переспросил Сергей, положив голову на аккордеон и поглядывая юрливо на всех снизу вверх. — Я в очереди не захотел стоять.

— Скажи толком. Что горюдит чепуховину, — проявил на явную радость тещи Сергея недовольство Головачев.

— У них там очередь в партию, понимаешь, у итээр.

– Итээр? – переспросил дед Иван. – А что это за зверь такой? Не слышал.

– Это не зверь, отец, а инженерно-технический работник. Это я и есть, оказывается. Итээр, хотя из крестьян.

– Поясни толком.

– Ну что объяснять. Он меня все в партию агитировал вступить. Я обещал подумать. Полгода думал – за это время мастером стал. Пришел, когда решился. А он говорит: «Понимаешь, пришла разнарядка на одних рабочих пока, а ты у нас инженерно-технический работник. Подождать надо. Ты теперь – интеллигенция». Я не стал ждать. Сказал, что вступать не буду по разнарядке.

– Хорошо, что у моего зятяка рубероида не было под рукой, – съязвила Алевтина Петровна.

В ответ зять растянул во весь размах аккордеон и махнул кистью правой руки сразу по всем клавишам.

– Я все-таки не понимаю: кто такой интеллигент да еще технический, – рассуждал вслух Головачев. – Интеллигент – это, по-моему, тот, кто не может гвоздь забить сам, а, Шурка? А тут луберолем по спине. Какая интеллигенция?.. – Дед сощурившись смотрел на внука и тому показалось, что он полностью на стороне сына Сергея. Да вот штука какая, чтобы разлад не получился в семье надо деду деликатничать. – Тебя уволили? – спросил Головачев суховато.

– Ага, попросили быстренько по собственному желанию, чтобы скандала не получилось. И огласки. – Сергей поставил свой красивый инструмент на порог и бодро, как ни в чем не бывало, сказал: – У меня есть предложение.

– Нет возражений, – подхватил Александр.

Иван Дмитриевич одобрительно усмехнулся.

– У меня предложение: попить чайку и бай-бай. Утро вечера мудренее. Верно ведь? Уже десять часов, – продолжил Сергей.

Чуть позже дед и Сергей проводили Александра. Вышли с ним на улицу. До трамвая Александр зашагал один. Было грустно на душе. Сергей, дед – вот они, казалось бы, рядом. Но было уже ощущение разлома. Чувство потери чего-то целостного и невозвратимого. Как и в тот вечер, когда после охоты два брата Сергей и Алексей, покулив около чужого палисадника, попрощались и пошли в разные стороны. В разные дома. Алексей в то лето женился и стал жить отдельно. Тогда Шурка шел рядом с Сергеем и на глазах были слезы. И очень боялся, что Сергей с ним заговорит, а он в ответ разрыдается: рушился дедов дом.

Сейчас никого рядом не было. Прохожие, которые попадались ему, торопились по своим делам. Он уже и днем-то привык быть в городской толпе одиноким. А вечером тем более.

* * *

В одну из встреч с профессором Засекиным в лаборатории у Калашникова Ковальский осмелился:

— Николай Николаевич, вот вы в прошлый раз рассказывали об улице Арцебушевской, бывшей Ильинской. Говорили, что там жили ваш дед и прадед. И вы постоянно жили в Куйбышеве?

— Да, это мой город — Самара по старому, от века. В районе Ильинской церкви, около вокзала, когда-то бурно кипела жизнь. И мои прадед, и дед там жили, да... Тут зажиточные купцы Шихобаловы, Челышевы возводили свои дома. Ну, а рядом были попроще, деревянные с резными наличниками. Отец рассказывал: торговые лавки, баня, всякие мастерские — это дело их рук. — Он присел на стул у окошка, охотно продолжал: — На Ильинской улице во флигеле дома девяносто пять была первая подпольная типография. А там, где сейчас общежитие Медицинского института, была знаменитая самарская тюрьма. Проект этой тюрьмы делал архитектор Клейнерман. Губернская тюрьма. Самарские «Кресты» — в плане это здание имеет вид креста. В камере номер сто двадцать пять когда-то сидел Валериан Куйбышев.

— Николай Николаевич, а вот католический храм на улице Фрунзе и кирха на Куйбышевской? Как и кто их строил?

— Ну, это долго рассказывать.

— Николай Николаевич, я вот составил список мест в Самаре, где я должен побывать и побольше узнать... Хотел еще кое-что у вас спросить подробнее. Можно?

— Конечно, если смогу. А зачем тебе?

— Надо. Это первый мой город.

— Первый город? — переспросил невольно собеседник. — Ты что же их коллекционировать собираешься, города-то?

— У меня свое. Вот католический храм, поляки в Самаре...

— А-а... — неопределенно протянул профессор. — Похвально, похвально... — Потом запнулся. — Ковальский, так у тебя родители поляки? Тогда... ты вот что... у меня по вторникам два часа после четырнадцати свободные, заходи на мою кафедру. Знаешь, где она? На втором этаже, справа от лестницы. Вот там и поговорим.

Ковальский несколько раз побывал у профессора, порылся в его записках и кое-что теперь знал о «самарских» поляках.

Оказалось, что история возникновения католицизма в Самаре обязана своим рождением первым поселенцам полякам – католикам по вероисповеданию.

В конце концов результатом продолжительных войн Российского государства с поляками стало Андрусовское перемирие 1667 года. По которому в район Закамской зоны в 1668 году была переведена на поселение «Полоцкая шляхта». Группа состояла из польских дворян (шляхтичей) – 532 человека. Возглавлял ее полковник Гаврила Гаславский. Они не захотели служить польскому королю и выразили желание переселиться в Россию. В Заволжье были выделены земли для усадеб польских шляхтичей. Отведены пашни, луга и леса. Все это делалось по приказу российского царя.

К середине прошлого столетия в Самаре существовала колония польских католиков. Мятежные выступления в католической Польше, бывшей на тот момент частью Российской империи, пополнили ряды польских колонистов Самары ссыльными мятежниками. Самарские католики еще не имели своего храма. Но их влияние на жителей города было сильным.

В середине прошлого века самарский купец первой гильдии Аннаев, католик по вероисповеданию, пожертвовал на строительство католического храма необходимые деньги. Проект был заказан самарскому архитектору Николаю Николаевичу Еремееву. К 1865 году основное здание было готово. Однако, власти не разрешили открыть в Самаре католическую церковь. Это было своеобразной реакцией на очередные мятежные выступления в Польше. Почти законченный храм был передан лютеранской общине Самары.

Только 26 мая 1887 года по настоятельному требованию Министерство внутренних дел разрешило польским католикам открыть свой молитвенный дом на углу улиц Красноармейской и Фрунзе, а через несколько десятилетий было получено разрешение властей на строительство нового католического храма – костела.

Стрельчатые башни высотой сорок семь метров были возведены в период с 1902 по 1906 года по проекту петербургского архитектора Богдановича, который был признан одним из лучших в России.

С 12 февраля 1906 года стал действовать костел. Здание было построено на средства местной общины католиков. Под сводами костела звучал орган. Его привезли из Австрии за большие деньги.

При костеле работала начальная польская школа, преобразованная затем в клуб с библиотекой. В нем устраивались литературные вечера и концерты.

В годы советской власти костел был закрыт... С 1941 года там расположился областной краеведческий музей.

...Далекую историю профессор знал, но об интернированных поляках во время второй мировой у него были смутные сведения.

— Знаешь, то ли в Рязани, то ли в Тамбове формировались дивизии. Они могли стать частями 1-ой Польской армии. Но был ли твой отец там? Мог ли быть?

— А как он вообще мог попасть в Советский Союз? — допытывался Ковальский.

— Это и простой, и сложный вопрос. Видишь ли, полякам при наступлении немцев разрешили отступить вместе с русскими войсками. Они перешли границу, углубились к нам. А тут их начали кого куда рассредотачивать... Я покопаюсь кое-где. Может, что и прояснится.

* * *

В следующий раз, когда Ковальский пришел к Засекину на кафедру, он протянул ему листок с машинописным текстом.

— Вот, специально для тебя нашел, у меня второй экземпляр есть. Бери с собой. Только особо никому не показывай. Там про площадь Революции.

Александр хотел было спросить об отце, но профессор, поняв его желание, развел руками:

— Пока ничего. Не торопи!

По дороге в общежитие он прочел о площади Революции. И здесь оказалось много неожиданного.

Оказывается, на Алексеевской площади, как ее раньше называли, был единственный в Самаре памятник царю Александру II. С идеей сооружения памятника выступил во второй половине 80-х годов XIX века городской голова — Петр Алабин. Человек — необыкновенного гражданского мужества, широкой эрудиции, неукротимой организаторской энергией. С его именем в Самаре связаны строительство драматического театра, кафедрального собора, развитие публичной библиотеки и расширение краеведческого музея.

Закладка памятника императору-освободителю состоялась 8 июля 1888 года, а 30 августа 1889 года было его торжественное открытие. Воздвигнутый по проекту Шервуда памятник отражал главнейшие направ-

ления деятельности царя-реформатора. На массивном пьедестале из красного финского гранита, украшенном бронзовыми венками с царским вензелем, возвышалась бронзовая фигура в общегенеральском сюртуке и фуражке, государь левой рукой опирался на саблю. На обращенной к Волге лицевой стороне был укреплен щит с надписью: «Александр II, Царю-Освободителю. 1889 г.». На противоположной стороне пьедестала располагались щиты с перечислением основных событий и важнейших реформ его царствования. По углам пьедестала – четыре фигуры – крестьянин, в левой руке которого была хартия с надписью «19 февраля 1861 г.», напоминавшей потомкам об отмене крепостного права; фигура женщины, сбрасывавшей чадру и олицетворявшей присоединение Средней Азии; о покорении Кавказа свидетельствовал черкес, переламывавший шашку о колено; фигура молодой женщины, разрывавшей цепи и попиравшей знамя с полумесяцем, символизировала освобождение Болгарии от турецкого ига.

В двадцатые годы все фигуры демонтировали. На постаменте была установлена статуя вождя мирового пролетариата.

«А мне еще тогда, в первый раз, когда я памятник увидел, показалось, что пьедестал слишком большой, как будто на чужой забрался, – вспомнил Ковальский. – А оно так и есть».

Засекина он зауважал, несмотря на его необычный и колючий характер. Стараясь как можно чаще заглядывать к нему на кафедру, он каждый раз узнавал от него что-нибудь новое. И удивлялся: «Странный человек, двойной. Когда говорит со мной о прошлом, об истории – спокойный и педантичный, начинает рассуждать с Калашниковым о будущем – становится взъерошенным и категоричным...»

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Утром в вестибюле общежития в кармашке на «К» он обнаружил письмо от Анны. Прочел сразу. Давно Анны не видел и соскучился.

В этом письме, как и в предыдущем, ничего не было бытового. Все письмо – признание в любви и обещание любви. Но странное дело: Ковальский не первый уже раз чувствовал, что не все так светло и радостно у нее. И именно он, Ковальский, тому причина. Есть какие-то обстоятельства, которые корежат ее жизнь. Но она все выпрямляет и делает светлым. Долго так не может продолжаться...

Когда Ковальский думал об Анне, порой чувствовал себя мелким преступником. Чуть не воришкой. Он осознавал, что крадет легко и чудовищно свободно чужую жизнь и ее тратит. Чужую, не свою...

Ему вспомнился случай из детства, когда впервые узнал подобное чувство.

Это было на дальнем лесном кордоне в Моховом, куда они с дедом Иваном и бабой Груней приехали косить сено. Дед Иван и лесник, который жил на этом кордоне, были хорошими знакомыми. Лесник и пригласил Головачева к себе, разрешив накопить на зиму сена. Дед и Алексей, так звали хозяина, сразу же пошли смотреть новую делянку. Там была хорошая трава.

Хозяйка большого деревянного дома, вросшего в землю и окруженного березняком и осинником, увела бабу Груню в глубь больших, светлых комнат. Она разговаривала громко на ходу и не переставала, как и ее муж, улыбаться. Видно было, что хозяева рады приезду людей. И как не радоваться? Если целыми неделями в доме лесника никого не бывает.

Шурка сидел себе смирно на широком, красивом тесовом крыльце и, не находя пока себе серьезного дела, смотрел вокруг. Не то чтобы скучал, нет. Скоро должно было начаться-разворачиваться какое-нибудь действие: либо они начнут собираться ехать дальше, как только дед с лесником вернуться из леса, либо будут располагаться здесь, дома у лесника на несколько дней.

Он осматривал не спеша и не торопясь двор, который никак не был огорожен. Двор был частью огромного леса и ровной полянки, которая дала ему возможность прилепиться ко всему в округе. Дом с тесовой крышей, потемневшей и позеленевшей, как живое существо, похожее на медведя. Или какое другое лесное чудо. Пахло уютно сосновой хвоей. Почти полуденное солнце начинало крепко греть. Куры купались в коричнево-желтой пыли. Около новенькой баньки и калды Шурке было нормально — до него солнце не доставало.

Взгляд его упал на бельевые веревки на широкой террасе, куда он не успел подняться, задержавшись на крылечке. Там, на этих веревках, виднелись такие штуки, мимо которых нельзя было пройти просто так. Они притягивали к себе. На веревках, как мелкая рыбешка, вывешенная посушиться после засолки, висели прищепки. Алюминиевые... Не деревянные там какие, а алюминиевые. Самые надежные и форсные штуки, которыми зацепляли широченные штанины. Вернее штанину на правой ноге, чтобы ее не «забирало» в цепь, когда катаешься на велосипеде. Мечта! Эти прищепки — редкость. В Шуркином пятом классе — ни у кого таких не было.

Он не помнил, как поднялся по тесовому крылечку — его ступеньки были белые, еще не затоптанные сильно ногами — и оказался на террасе.

Их было много! Этих красивых прищепок. Он попробовал одну, крайнюю. Пружина упругая, что надо! А челюсти у прищепки – будь здоров: то место, которым она хватала веревку, – все в мелких, но четких зубцах. Как у хищной рыбины или у мелкой ножовки.

Он оглянулся на дверь, на окна – никого не было видно. Веревочек две. А прищепок так много, что Шурка не стал считать их. Он взял две крайних и сунул быстро в карман брюк. Вообще-то хватило бы и одной, надо-то всего одну штанину прищеплять. Но мало ли чего? Две взял. Их так много в этом лесу, на кордоне, кто их считает...

Не зная, что делать дальше, мучась: а вдруг кто-то увидел, как он... украл... украл... – он двигался по террасе, заглядывая во двор. Сорока стрекотала на самой вершинке осины.

– Сама ты воровка известная, – не выдержал Ковальский.

Ему показалось, что она видела, как он взял прищепки и теперь знает про него все. «Что же я сделал-то. Украл? Или просто взял? Но их так много. Никому от того, что всего-то двух не стало, никакой гибели не будет! взял и взял. Можно было бы и попросить? И наверняка дали бы! Хозяйка такая молодая, крепкая в белой чистой кофточке. Добрая – это видно сразу».

Когда она их встречала, сказала так ладно:

– Ну, хоть будет с кем пообедать, покормить кого! Мой все на разъезде. Одной без людей – маята.

– А вы бы ребеночка родили, – сказала баба Груня. – Вот и была бы радость великая.

– Не получилось у меня с первого разу-то, насадилась. Тут столько делов – выкидыш был...

– Как же ты так, бедненькая...

«Просить прищепки вроде бы неловко. А так брать – значит, своровать. Я своровал, выходит?..»

Он бесцельно прошел с террасы во двор. Отвел в тенечек мерина Карего, привязал его длинной вожжей к сосенке. И пошел, не зная зачем, в дом.

Когда Шурка вошел, женщины сидели в передней. Он было направился к ним, но голос хозяйки его остановил:

– Там, на столе, я налила в кружке молоко, хлеб рядом под утирником. Пока перекуси, мужики придут – будем обедать.

– Шура, мы тут о своих бабьих делах покалякаем, а ты – сам, – добавила баба Груня.

«Не видели они, что я взял прищепки, а то бы, разве так разговаривали со мной», – успокоился Шурка.

Он принял для себя, что все-таки это не кража. Так себе... Просто взял. Но все равно ему очень не хотелось, чтобы хозяйка заметила пропажу. «Она-то может подумать, что это кража».

Он пил молоко из большой эмалированной кружки, у которой в одном месте с наружной стороны, где дно плавно переходит в стенку, была вмятина. Эмаль отлетела и кружка, если ее поставить одной стороной была очень красивой, ладной, а если другой, когда видна вмятина, уродливой от случайного, может, удара и убогой.

Так он вертел кружку в руках и вдруг подумал: «Я, как эта кружка. С одной стороны теперь такой, какой украл, ну, взял чужое. А с другой – какой раньше был».

Шурка прислушался к ровному голосу хозяйки, доносившемуся из передней и замер. Сердце его упало.

– Все меньше и меньше их становится, каждый раз, как кто-нибудь приезжает...

«Кого? – оборвалось все у Шурки внутри. – Кого меньше?»

– Они, эти прищепки, красивые. Из города Леша привез, вот и притягивают...

– Нехорошо-то как брать чужое, – вздохнула баба Груня.

«Они видели, видели! – в ужасе и панике думал лихорадочно Шурка. Он забыл про свою большую кружку. Сидел придавленный к столу, сработанному из толстых березовых плах с темноватыми коричневыми сучками. – Баба Груня сказала «взял», а не «украл». Это она специально так? Конечно! Она же все всегда понимает. Это она не зря так! А хозяйка как сказала?» Он затаился и слушал.

– Другое дело бы: ну, взяли, а потом вернули на место и все, – как-то четко сказала хозяйка. И громковато.

«Видели, видели! – догадался Шурка. – Они и выход из положения подсказывают: незаметно повесить прищепки на место. Они знают, что я все слышу и делают надо мной опыты. Я как подопытный мышонок. Я сам себя таким сделал».

Ему стало не по себе. Обида и горечь жгли его не меньше, чем раскалившиеся, казалось, до бела прищепки в правом кармане его штанов. Он потрогал рукой эти прищепки через брюки. Они и вправду были горячими. Или показалось?

«Повесить на место», – было первое нестерпимое желание. Он шмыгнул в приоткрытую дверь на террасу, боясь, что вслед раздастся смех.

Он уже вынул и хотел повесить прищепки, но подумал, поймав надежду: «А может, они не видели, что я взял? Просто хозяйка предпо-

лагает? Когда я ходил к Карему, она выходила на террасу и увидела, что стало меньше. И сказала на всякий случай»

Шурка держал прищепки в руке. Ощерившиеся в его ладони своими зубастыми ртами, они, казалось, ждали насмешливо.

Шурка оглянулся на дверь и окна. Никто за ним не наблюдал.

«Если я повешу на место, хозяйка, хотя и не видела, как я взял... «взял», – повторил он про себя, он не хотел другого слова, – она поймет, что это сделал я. Я сам себя выдам. А если не верну и не «возьму» – тогда совсем другое дело».

Шурка пошел к своему надежному другу Карему...

...Он закопал эти прищепки под сосенкой, дав себе слово, что не возьмет их никогда.

Его тогда никто не спросил про пропажу. Но Шурка долго про это помнил. И когда баба Груня смотрела на него иногда грустными и задумчивыми глазами, ему все казалось, что она вот-вот спросит об этих проклятых и зубастых прищепках. Они своими зубами вцепились в Шурку надолго...

* * *

Мишка Лашманкин, друг детства, оказался прав. Его, Ковальского, вскоре «закрутило». Влюблялся он пылко... и каждый раз ненадолго. И сам смотрел на это с недоумением.

Связь с Анной была единственной из тех, которую он не мог прервать. Так ему казалось. Он был ею просто повязан. Был в сладком, радостном плену. Как это будет долго, он не знал.

А она от него ничего не требовала, не просила ни о чем. Но Александр чувствовал в ней какой-то надрыв. Она отличалась теперь от той Анны, которую узнал тогда, более двух лет назад; стала жестче, решительней. Но не с ним, а сама по себе – он это видел. С ним она была прежней, непринужденной. Но иногда ему казалось, что она выполняет некую свою программу. Эту линию поведения она сама себе однажды задала и ее придерживается, изо всех сил. Но зачем? В ней была уже другая жизнь, нежели прежде, а вернее, может быть, третья жизнь? В ней была глубина, которую она скрывала. Он это чувствовал. Будто огромная воронка могла вот-вот возникнуть на ровном речном потоке и поглотить очень многое. Но какая воронка и что могло по-серьезному угрожать им обоим? Ему? Ковальский терялся в догадках. Но чувствовал: нечто такое есть...

«Не муж же опасность, — думал он. — Да, я краду что-то у них обоих. У него. Но я давно готов был прекратить все отношения с ней. И не могу только потому, что она начинает плакать, когда я намекаю ей об этом. Но она и без того прибежала ко мне тайком с печальными глазами. Как случай с прищепками», — думал Ковальский.

«Лучше бы его не было? Но он есть. И с одной-то стороны у меня, как тогда, эмаль пооблетела. То, что попервоначально, надо признаться, было предметом мужской гордости, теперь оказалось грустной историей. Порвать с Анной окончательно? Это будет для нее, может, самым лучшим. Пусть все прищепки будут на месте».

Те зубастые прищепки долго в детстве кусали его, часто напоминая о том, что все-таки он украл. И сейчас было что-то похожее с ним. Александр постоянно носил в себе чувство вины перед Анной. Он не мог сформулировать четко степень этой вины. Как не знал и не понимал, что надо свершить, чтобы было все как надо. Это незнание «как надо» тяготило его.

Он решил съездить к Анне и попытаться поговорить.

...Ковальский невольно вспомнил Владу и сам себе усмехнулся.

В одну из бурных с ней встреч случилось то, что ошеломило его, и он не мог потом найти этому определения.

Александр лежал ничком, распластавшись на кровати. Истома охватила все тело, от макушки до кончиков пальцев. Он чувствовал, что засыпает. Прошло уже более получаса, а Влады все не было. Преодолевая себя, встал и пошел к ванной. Лучше бы этого не делал. Когда Ковальский открыл дверь, она сидела голая на краю ванны, широко расставив ноги. Левая рука ее была внизу живота. С закрытыми глазами она билась так, словно была в его объятиях. Еще сильнее, чем в его объятиях.

Он растерялся. Задел вешалку в углу на входе в ванную комнату, и большое полотенце с шумом упало на пол, опрокинув ведро.

Влада открыла глаза и с блаженной ленивой полуулыбкой посмотрела на него. Она словно спрашивала, вяло удивившись, одними глазами: кто ты, зачем здесь?

Александр был на грани шока. Сначала не мог ничего сказать. Слова пропали куда-то. Когда оправился, спросил:

— И давно ты этим занимаешься?

— Ну, не с утра же, ты знаешь, — она пришла в себя быстрее, чем он. Подняла с пола полотенце.

— Нет, я вообще? — выдохнул он.

– Так и будем голые стоять? Пойдем в спальню. – Уже прячась под простынь, добавила: – Это мои шалости. Моя тайна.

– Ничего себе, – вырвалось у него. – Шалости! Такое у тебя только со мной?

– Ну что ты, как танк! Успокойся, я с двенадцати лет это делаю.

Сидя рядом на кровати спиной к ней, Ковальский повел плечами. Не поворачивая лица, сказал:

– Но ты же только что была со мной? Я тебя не устраиваю? – Последние слова он сказал, делая над собой усилие.

– Ты – молодец, – скала она, нисколько не стесняясь. – Но это дает мне больше, чем вообще мужчины.

«Вообще мужчины», – эти слова, кажется, добивали его.

– И это правда?

– Еще какая!

Александр не находил слов. Она же не хотела этого замечать. Как бы спохватившись, попыталась успокоить.

– Этим занимается половина всех женщин, значит, это естественно, успокойся.

– Естественно? – выдохнул Ковальский.

– Ну да!

– Дикость какая-то, – поежился он, одевая брюки.

Влада зло смотрела, как он ищет рубашку. Он хотел было что-то уточнить, но она опередила его:

– Да иди ты! Дикарь, да еще какой! Не хочу разговаривать, раз не понимаешь.

– Я только хочу...

Она не дала ему договорить:

– Иди у черту!

– Ну, раз так, – Ковальский запнулся, не зная, как поступить.

Так ничего и не сказав, заправив рубашку в брюки, взял пиджак и вышел в коридор.

Она лежала все так же, укрывшись до подбородка простыней. Когда услышала, как гроыхнула за ним входная дверь, повернулась лицом к стене, словно отгородившись ото всех и расплакалась.

Ему было трудно представить такое.

Александр казалось, что он все понял про нее. Через недели две после того случая в ванной, он увидел ее с высоким ладным парнем. Она шагала с ним «под ручку» и что-то щебетала так, как только умела она. До этого ее недели две не было на лекциях. «Так же, как у нас с ней тогда», – отметил Ковальский.

Она не очень смутилась, когда увидела его.

— Саша, привет!

Он ответил буднично:

— Привет.

Потом после лекции, дня через три, Влада подошла к нему.

— Понимаешь, я влюбилась... это так естественно. А разговор у нас с тобой еще будет, ладно? Я тебя буду помнить долго.

Она стояла около него как всегда улыбающаяся, жизнерадостная. Большие голубые глаза смотрели ясно и, казалось, совсем невинно.

Ему не хотелось с ней говорить. Все было так ясно. Александр демонстративно в такт ее слов кивал головой. Когда вошел преподаватель, Влада и Александр, не стовариваясь, сели отдельно: она впереди около окна. Он — сзади через два ряда от нее.

Солнечные лучи касались ее красивой прически. Головка прилежно склонялась над тетрадью, а обращенная к окну завитушка светлых волос, как гирляндочка, беззаботно колыбалась около матовой мочки уха. Эти ее гирляндочки он любил, балуясь, одевать на мизинец.

Записывать то, что доносилось с кафедры не хотелось.

Встала перед глазами одна из последних встреч. «Бойся больше всего блондинок, — вспомнил он, невольно усмехнувшись, нравоучения Влады. — Таких вот, как я».

— А чего вас бояться-то? — просто так, нехотя спросил тогда Александр, запустив всю свою пятерню в ее полуразвалившуюся модную «бабетку». Она приподняла голову и волосы ее упали ему на грудь. Влада стала, дурачась, крутить головой у него под подбородком, не давая ему как следует дышать.

— Тебе повезло, что я тебе попалась такая.

— Какая такая?

— Такая вот. Удобная. И есть, где встречаться, и вообще...

— Ты говорила, через десять дней твои родители приезжают и конец нашей свободе, — ответил он.

— Ну, это еще когда. Хотя да, с тобой у нас ничего не получится серьезного. Тебя ни за две недели, ни за год не приручишь. Ты неподдающийся. Из тебя собственности не сделаешь. Ты относишься к той породе мужчин, ты еще это сам не осознал, которых пугает привязанность к одной женщине.

— Ты так уверенно говоришь? Я сам себя толком не знаю, а ты уже... — Александр замолчал, потом добавил, подняв ее голову с разлохмаченными волосами со своей груди: — Уже диагнозы ставишь?

— Потому что я блондинка, а значит, чуточку ведьма.

— Кто? — удивился Ковальский. — Ведьма?

— И еще, я — мощная энергетическая станция. Я это чувствую! Любовь мощнейшая, самая мощнейшая внутренняя энергия. Я это поняла. Ее кто-то закачивает в нас. И мы потом только подчиняемся ей.

— В блондинок больше закачивают? — поинтересовался Александр.

— Блондинки больше ведьмы, вот и все. Они привораживают чаще.

— Как? — спросил Александр. — Ты вообще всерьез говоришь эти вещи?

— Еще бы, — ответила Влада и убрала свою голову с его груди. Села рядышком на кровати. Начала поправлять рассыпающиеся волосы. Ее сверкающая сахарной белизной грудь заслонила на миг все. Он даже зажмурился.

— Я вот знаю рецепт приворотного зелья, которым отгоняют разлучницу и присушивают суженного, сказать?

— Непременно! Может, сам готовить буду для какой-нибудь, мало ли...

— У мужиков не получится.

— Почему?

— Слушай рецепт. Потом поймешь. Его знает каждая обманутая женщина. Значит так: в ста граммах сухого вина развести чайную ложку жженных волос изменника, отжать, настоять при лунном свете, нагреть на поминальной свече, обмазанной интимной женской влагой, и ему, родненькому: пей да люби, кого велено.

— Это все правда, что ли? — уже всерьез изумился Александр.

— А ты думал как, миленький? Еще случится с тобой это! Почувствуешь, что против воли любишь.

— Что ж ты мне не подсунула этой штуки, а?

— Не хочу, я — добрая блондинка. Не хочу тебя мучить. Вы мужики почти все устроены разумно. Хочешь есть — вот тебе пища, пить — вот тебе вода. Физиология успокаивается половым актом. Скушал и дальше попрыгал. Я знаю все твои связи, — безо всякого перехода проговорила Влада.

— Что? Неужели все знаешь про меня? — искренне удивился Ковальский.

— Ну, почти все. Я следила, если хочешь. Я такая.

— И надо тебе это?

— Мне — да! Вам мужикам — нет! Но я не мороженое.

— Не понял.

Она пояснила:

— Многие женщины, как мороженое: вначале холодные, потом сладкие, а уж после — липкие. Я не из таких. Но в нас женщинах всего намешано через край. Мы — ведьмы. Мы мучаемся и мучаем сами. Это нам надо.

...Лекция подходила к концу. Он сунул в сумку нераскрытую тетрадь.

* * *

К концу семестра ее провожал уже другой парень, такой же высокий и ладный. Футболист. Предыдущий был, кажется, из легкой атлетики.

Весь семестр Ковальский хандрил. Неуютные мысли размагничивали его: «Если кто-то когда-то и будет судить меня за эту мою связь с Владой, мои другие поступки, я не буду оправдываться. Мои амурные дела — мое право. Я не постоянен? Но ведь я хочу многое знать! Я еще до конца не знаю, в чем и когда надо быть постоянным. Я хочу пройти через нечто, что укрепит меня, сделает опытнее. Хочу знать жизнь! А пока бегая по ее задворкам. Много ли вообще можно познать в мои годы? В студенческие годы? Не тороплюсь ли я? Расширить знания можно путешествуя, занимаясь туризмом. Но странно, я не чувствую большой тяги к путешествиям, перемене мест. Во мне этого нет. Может, не рождается эта страсть, подспудно сдерживаемая сознанием того, что путешествовать-то не на что. Да и когда? Летом надо обязательно быть дома с отцом на сенокосе, на заготовке дров, в другое время — учеба. А стоит ли учеба длинной в пять лет того, чтобы в жертву ей приносить очень многое? Этот трамвай, мчащийся пять лет без остановок, хотя уже привычен и освоен, но он может выбросить на повороте, не сдай попробуй пару экзаменов во время. Многое тогда полетит кувырком. Все-таки, видимо, все еще впереди! Хороша студенческая пора, но что-то есть многообещающее в том времени, когда лопнет веревочка, которой ты, как теленочек, привязан к кольшку на полянке и радиус твоих действий и возможностей равен длине этой самой бечевки.

Или так будет всегда? Наступит иная, не студенческая жизнь и появятся другие бечевочки и другие кольшки? И ты опять на привязи? Все относительно? И безысходно? Тогда, где выход? И нужен ли он? Сколько надо знать жизнь? Кто определил? Сколько хочется? Сколько сможешь! Тогда нужно идти в глубину: в истину, в многослойный пирог ее...

Почему в институтах не учат философии? Философии жизни. То, что дают, это смешно. Все делают вид, что постигают что-то высшее. Высшая школа. Но ведь это не так. Не могу сказать, как должно быть. Но

не так. В студенческом научном обществе написал два реферата. И смешно: за один из них получил первую Всесоюзную премию среди студенческих философских работ. Но я же невежественен в философии, так что же? Другие еще хуже? Мне «автоматом» после этого постаивали «отлично» по философии без экзамена. Нормально!

Если сейчас сравнивать, где я получил больше опыта для понимания жизни, уверенно скажу: не в институте. Не в городе. В моем детстве, в деревне. От деда с бабкой, родителей. В той жизни, где было множество судеб, событий, переживаний. Там получил то, что теперь для меня бесценно и будет долго влиять на мою жизнь... Там – открытое небо. Здесь – аудитории. В идеале это должно бы соединиться, совместиться и дать мне многое. При моем рационализме, который я в себе культивирую, вопреки своей натуре, я мог бы кое-что, очевидно, сделать в жизни. Не зря же этот поединок веду в себе.

Счастливы люди, рано понявшие, кто они и для чего созданы, рано почувствовавшие в себе дар, страсть к чему-то. И я хочу чего-то большего для себя и значительного в жизни. Но не знаю, что это? Большое и значительное? Институтские знания – это только как общеобразовательное начало? Или это профессия на всю жизнь? Судьба?»

Мысли, мысли – они размагничивали. Порой находила необъяснимая тоска. В такие дни Александр все делал механически, машинально. Физическое в нем как бы работало, жило, а дух дремал, спрятавшись, затаившись. То ли оберегая, то ли готовясь к чему-то новому. Если бы кто знал, что на него находит такое, не поверил бы. Ковальский внешне был энергичен, деятелен и уравновешен. Хотя и был нетерпелив и порой торопился там, где этого делать, может быть, и не следовало. А может, и не так? Он считал себя рациональным, так ему хотелось, чтобы было. Но, выработав со школы привычку часто подавлять в себе эмоциональное, впадал при этом порой в рассудочность и занудливость. Он это и сам чувствовал. Но другим уже быть не мог.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Высоко над Самарой, разбросав избы на обрывистом берегу лежит, как большая кошка, поселок. Правый берег реки в этих местах крутой и возвышается на высоту птичьего полета. Берег большей частью раньше был красно-рыжего цвета и оттого-то сразу не поймешь, особенно на зорьке, отчего алеет вода в реке: от лучей ли восходящего солнца, многократно отразившихся в густых зарослях краснотала или от этого удивительного цвета берега.

Поселок называется Красная Самарка, а вся округа вверх вдоль реки Самары – Барина гора. Жил здесь когда-то особенный человек, который построил себе дом на красивом высоком месте, как раз напротив Покровской церкви, которая стоит за рекой в селе Покровка. Привез он, как говорили старые люди, в это облюбованное им место женоуцыганку красоты исключительной. Но цыганка вскоре умерла, умер и барин, так что никто теперь и вспомнить не может, когда это было. Все кануло в Лету. Осталось одно название.

Правый берег – лесистый. Смешанный лес постепенно переходит в сосновый. Чем выше, тем чаще и чаще появляются сосны. Постепенно все видимое пространство земное объединяется в сосновые, осиновые, березовые колки и перелески, уходя туда, где шумит вековечно реликтовый сосновый бор под Борском. Поселок лежит на правом берегу. Левый же берег – край степи. Лес тонкой лентой вьется вдоль левого берега, а дальше за лесом – степная напевная даль.

Вчера, опоздав на рейсовый автобус, который шел через Кряж, Домашку – в Утевку, Александр махнул на попутке домой через Мало-Мальшевку. Не раздумывая долго, пешком направился из Мало-Мальшевки до Утевки.

Этой песчаной дорогой они с дедом Иваном ездили не раз. Он любил те места, где с дедом бывали на сенокосе в Моховом. Но это было давно. А теперь пошел уже третий месяц, как дед Иван сильно заболел. Сдало сердце. К тому же глаукома делала свое дело – правый глаз у него уже почти не видел. Внук не мог к этому привыкнуть. Не мог быть долго около беспомощно лежащего деда в передней избе. Спокойствие и сдержанность, с которыми дед Иван принял свои болезни, его внезапная физическая немощь и, как понимал Александр, обреченность, убивали внука. Ему трудно было говорить с дедом. Перехватывало горло. Постоянно боялся расплакаться на глазах у больного. Чтобы не разрыдаться, быстро уходил во двор. Там плакал навзрыд, как маленький.

Александр пробовал не заходить к деду, чтобы не расстраивать его, но начинал бояться: вдруг тот подумает, что внук забыл про него. Он не знал, как поступить правильно.

А в силах ли он поступать правильно?

...Александр шел по песчаной коричневой дороге. Все было знакомо. Недалеко от кургана, который возвышался справа, когда-то Шурка тут почти целый месяц прожил с дедом на бахче в шалаше. Это здесь веселый охотник Алик, артист из драматического театра научил по-своему есть арбуз – ложкой, разрезав его напополам.

Недалеко от песчаного оврага, у поворота на Моховое в тальнике всегда водились грузди. Однажды они с дедом, возвращаясь с сенокоса, набрали целый фургон. Тогда же Шурка чуть было не поймал хромого, но юркого лисенка.

Это место с детства завораживало Ковальского.

На кургане «Человечья голова» не раз они находили наконечники стрел. Однажды попало бронзовое зеркало, человеческий череп, около которого лежал наконечник копья.

Вспомнилось, как Мишка Лашманкин рассказывал о находках на другом кургане. В нем археологи нашли тело вождя – человека ростом около двух метров. Дно могилы было засыпано слоем охры. Ученые пояснили: охра считалась у древних символом жизни. В правом углу могилы стоял огромный глиняный сосуд. В ногах – медные вещи: два ножа, топор, шило, тесло. Сбоку лежало стилетообразное орудие с железным (очевидно, метеоритным) навершием. Были и золотые серьги. Ученые позже определили «возраст» захоронения – на рубеже третьего и второго тысячелетия до новой эры. Они с дедом живо это обсуждали. Было жутковато представлять жизнь тех тысячелетий. И знать, что ты, возможно, потомок кого-то из тех, кто здесь скакал на коне...

...Когда Александр уже подходил к Крепости (так часто называли поселок Красная Самарка), захотелось посидеть у Баринова дома, как они это делали не раз с дедом и полюбоваться красотой речной и лесной дали, уходящей к поселку Гвардейцы, всем величественным пространством с белоснежными облаками на бездонном, непостижимо близком и таком далеком июльском небе, которое там вдали ласкает купол Утевского Троицкого храма. Прямо перед глазами: легкий поворот Самары в мягких песчаных берегах. Чуть поодаль плес, на котором непременно всегда плещутся на мелководье утки, чаще кряквы. А в середине всего, внизу, сразу за рекой и лесом, в середине белых, желтых, коричневых кубиков-домов и всевозможных построек, освещенный благостным светом стоит величественный старинный Покровский храм.

Отыскать Баринов дом просто. Поднимаясь по песчаной дороге от Крепости вверх вдоль Самары, надо дойти так, чтобы Покровский храм оказался на прямой перпендикулярной линии к дороге справа, тогда слева в десятке метров – место бывшей усадьбы.

Когда Александр подошел к Баринову дому, над Покровкой была тень. Он приблизился к зарослям сирени и акации, росших когда-то под чьими-то веселыми окнами. Стручки желтой акации лопались в сухом, сладком воздухе гулко и беззаботно. Как, наверное, и десятки, сотни лет назад. Александр потрогал ногой останки кирпичного фундамента,

он был еще крепок, не сыпался. Под домом был когда-то погреб, либо глубокое подполье. Яма заросла полынью. Ковальский бросил камень, оттуда вылетела бойкая пичужка и скрылась в березняке. И теперь тот был чей-то дом, и теперь здесь была жизнь. Облачко там, высоко наверху, не спеша отошло, и Покровский храм, и все село осветились. Все стало сказочно нарядно и приветливо-призывно. Александр пошел навстречу храму. Пересек дорогу, сел на правой ее обочине и долго сидел очарованный.

Ему вспомнился рассказ деда о том, как возникла Покровка.

Не так уж вроде и давно, в начале девятнадцатого века три брата Топорковы на берегу Самарки построили три бревенчатых дома. Занимались охотой, рыбалкой. Расчищали землю от деревьев для посева хлеба. К ним потянулись другие переселенцы. Когда власти узнали о поселке, он в силу своей удаленности от городов и больших поселений стал местом для ссыльных. Первыми прибыли ссыльные из Воронежской и Тамбовской губерний.

У Александра был одноклассник Виктор Топорков, который ничего не знал об этом. А дед Ковальского – знал, Ивана Дмитриевича это сильно интересовало. Передалось это и его внуку.

Чуть левее от Баринового дома, внизу, в сумрачном овраге, прикрытом зарослями высокоствольной ольхи, в окружении четырех неохватных осин бьет себе из земли родничок. Незаметный и нешумный. Он не замерзает и зимой, этот тихий, но надежный источник. Его показал Александру дед Иван Дмитриевич. Они все собирались выложить его камнями, да вот не успели.

«Надо обязательно сделать, а то заливаться начал, вода может мутнеть. Этим летом уже не успеть, а вот на следующее – надо», – подумал Ковальский и направился вверх. Темнело. «А стоит ли в темень идти, хотя и всего-то около пяти километров? Может, попроситься на ночлег к леснику Янину?» – размышлял Ковальский.

Усталость от пройденной дороги была, конечно. Но он понял и признался себе, что ему не хочется уходить сегодня от реки, хочется продлить состояние, когда каждое движение, слово, а часто и только что родившаяся мысль связаны с его дедом.

Ведь это тут однажды произнес в раздумье Иван Дмитриевич слова, которые в последнее время не давали покоя Александру. Постоянно всплывали в памяти.

Они сидели на этом же месте. Старый Головачев, как обычно вначале, долго задумчиво глядел на Покровскую церковь, на Самару, нежно проступающую внизу меж зелени нешумных берегов...

– А что, Шурка? Может, все-таки лучшее в жизни дело – украшать землю садами, чем ковырять ее буровыми вышками. Не агрономом ли тебе надо быть, садоводом? Помнишь, сад у Ионова колодца, в степи под Ветлянкой? Сравни его, особенно в весеннюю пору, с тем, что осталось от Чапавского поселка после буровиков. До сих пор земля болеет. Выбираешь не только профессию, а и судьбу...

Ковальский тогда не задумываясь ответил:

– Надо ведь кому-то и нефть добывать, верно?

– Надо-то надо, но...

Дед не договорил. Внук его привык к этому и часто обдумывал то, что дед обычно не договаривал.

...Янины приняли Ковальского с радостью. В считанные минуты на столе появилась алюминиевая чашка с молоком, в нее накрошили, как тогда, когда они приезжали с дедом, холодного, прямо из погреба, рассыпчатого творога. Подали краюху хлеба...

Изба Яниных стоит лицом к Самаре и в чем-то имеет сходство с самым молодым ее жильцом – Ленькой. Так же, как и он, по утрам таращит свои глаза-оконца на соседние села Покровку и Утевку. Там, вдали, в низине, за полоской леса, дружно дымят проснувшиеся избы, и, кажется, будто они столбами дыма держат с багряным отблеском облака. И голубые ставни, и поблескивающие на солнце избы так же смотрят удивленно и влюбленно, как и Ленька.

Утро. Через камышовую крышу погребицы, там, где слой камыша тонок и образовалось отверстие, пробиваются лучи утреннего света. Слышно, как воркуют на крыше голуби. Напротив Александра спит Ленька.

Ковальский давно проснулся, но не встает. Обостренный слух его отмечает шаркающие шаги во дворе, редкие, с металлическим отзвуком, удары и скрип. Кажется, готовят рыдван. «Надо вставать», – думает Александр.

Но о них уже вспомнили.

– Ленька, а, Ленька, проспий все царство небесное.

Это голос Ленькиной бабки – старухи Яниной. Александр выходит во двор. Старуха стоит посреди двора, созывает и кормит своих кур, шумно и сердито гоняя чужих. Свои куры все помечены для отличия красной краской. Сам Янин возится около колес рыдвана, смазывая оси дегтем и натягивая тяж.

– Алексей! – голос деда трубный и строгий. – Вставай, проспий – уедем без тебя.

Но Ленька и сам знает, что надо вставать. В такой день стыдно долго спать. А день – замечательный. Сегодня они – дед Янин, Ленька и Серега, самый младший из внуков Яниных – едут на сенокос. От сладкого предчувствия новизны жизни, появившийся в дверном проеме, Ленька еще раз напоследок блаженно потягивается и бодро отзывается:

– Сичас.

Через минуту в голубой майке, в дедовых сандалиях, спугнув по пути забравшегося на соху яркого петуха, Ленька направляется к углу погребницы и, приостановившись, шуритса на рыжее веселое солнце. Лучи солнца ласкают еще незагорелый обнаженный Ленькин живот. Из подворотни на него шипит соседский обнаглевший гусак. Но на своего давнишнего заклятого врага Ленька сейчас не обращает никакого внимания, лишь на всякий случай отодвигается подальше в глубь двора и переводит журчащую струйку на рыжий, опрокинутый вверх дном давно отслуживший таз.

Из избы, где собираются за стол, торопит Леньку нетерпеливо бабкин голос.

Струя бьет по тазу и получается звонко – от удовольствия Ленька потягивается.

– Ах ты, негодник этакий, разве ж нету другого места для этого дела. У меня же под тазом творог отжимается, – появившаяся старуха Янина всплескивает руками.

Ленька, быстро оббежав полукругом бабу, юркает в избу. Там, около деда, он уверен, она не так сильно будет ругаться. Гнев ее понятен: вчера вечером охала она над разорванным марлевым мешочком, в котором отжимался творог, зажатый между двумя сосновыми горбылями. Курица, привязанная за ногу веревкой к горбылю (эта настырная курица настойчиво желала стать наседкой, за что и была привязана – у бабки уже было две наседки), ухитрилась добраться до творога, разметав его по двору.

– Со скуки, – сказал Сережа сегодня за столом.

– В отместку, – выдохнул Ленька и тут же опасливо втянул голову в плечи.

– Нечего было мудрить, как завсегда, накунала бы ее в кадку с водой и – под кошелку. Всего делов-то... – Дед подмигивает Леньке.

...Янины обогнали Ковальского на гулком мосту через Самарку. Ленька сидел на рыдване, гордо и независимо поглядывая по сторонам. Александру показалось, что это не Ленька сидит на задке рыдвана, а он сам, Ковальский, едет с дедом на сенокос. Это его детство продолжается. Настолько все близко и понятно.

Когда Янины выехали на крутой песчаный берег и скрылись в лесу, Александр сел с краю моста на широченную деревянную плаху, опустив ноги чуть не до воды. Наблюдал, как на течении, меж урчащих воронок быстрые голавли гоняют мелочь.

Глядя на серебристую воду реки, на ее поворот там, ближе к отмели с названием Пески, он вспомнил Искровскую купалку. Так называли то место с желтым песочком и мелким осинником, где светлой лунной ночью Александр видел Анну такой, какой уже не видел потом никогда. При воспоминание об Анне у него легонько защемило в груди.

...Как много значила в жизни Ковальского эта светоносная река Самара! Так много, что он и сам бы не смог выразить...

Ковальский не пошел домой от моста напрямик, а, дойдя до озера Дубового, свернул к воде. Ему захотелось пройти вдоль старого русла Самары, от которого остались отметины – озера Дубовое, Бобровое, Латинское, Лещевое, Осинное.

Давно он здесь не был.

Каждое озеро было для него памятно. У Дубового он часто с ребятами в детстве по весне выливал сусликов. Тут же их и варили в ведре. Пировали после зимы.

Ковальский к удивлению своему обнаружил на большой поляне в старнике, темной прошлогодней траве, сурчины – небольшие холмики земли, которые сурки, жившие колониями, выбрасывали наружу. Он давно уже не видел этих красивых зверьков в желтой одежде, промышлявших обычно по утрам и вечерам на ржаном поле. Теперь вокруг стоял овес. Он прошелся по окраине поля в надежде увидеть забавных зверьков, но напрасно.

«То ли овес они не едят, то ли уже солнце жаркое и они нежатся в прохладной темноте своих нор? – размышлял он. – Отстал, многое уже воспринимаю, как чужак».

Когда добрался до озера Бобровое, сел отдохнуть напротив лесистого небольшого острова, где обычно в детстве ловили раков. Тут же часто и ночевали.

Вспомнилось, как они ловили однажды красноперку. Клевала она неплохо. Часам к двенадцати у каждого было ее по полной сумке из кирзы. Сморенные палящим солнцем, сели в кружок под ветлой, прямо напротив острова, и Мазилин рассказывал, как его отец охотился тут недалеко, на широком поле, на дудаков. Ковальский слышал его голос, будто это было вчера:

– Уже ноябрь был, да. Как раз перед праздниками пошел, значит, родитель мой на охоту. Ну, сюда вот, по озерам. А морозец, видишь

ли, ударил и накануне изморозь была, мокрота. Он их увидал вон около тех осин, на взгорке. Дудаков этих! Они с разбегу все пытались взлететь и никак. Крылья подмерзли. Смехота. По гололеду-то они и взлетать, и ходить учились, как заново. Отец изловил их, уставших, четырех. Ага! Но они тяжелые, окаянные, тогда он их всех обвязал за шею бечевкой и как на поводу повел в Утевку. Такой караван дудаков у него получился.

— Дядь Саш, — решил возразить Толя Плаксин, — это ведь как у барона Мюнхгаузена получается. Еще сильнее...

Толя не решался обидеть вопросом взрослого рассказчика, поэтому не договорил. А может, еще и потому, чтобы не перестал тот рассказывать. Ловко у Мазилина все получается. И интересно.

— Не знай там, как у барона, а вот еще разок мой родитель...

Много слышали эти ветлы, осокори и осины всяких рассказов. Много видели. Они были как живые свидетели. И это Александр чувствовал. Он и с ними готов был поговорить: «Что же я вас подзабыл. Вы же, как мои родители, — мой тыл, моя поддержка».

Здесь, около озера Бобровое, над ним, за ним, там, на той стороне, вдалеке, над поднимающимся взгорьем с Бариновым домом были такие чистые белые облака и такое ясное чистое небо, что уходить не хотелось.

Он лежал на копне золотистой соломы и любовался барашками облаков над Бариновой горой.

Между ним и Бобровым озером на песчаную дорогу выскочил всадник. Это был Колька Яндаев — вечный пастух. Ковальский сразу узнал его. Сколько помнил, никогда не видел его пешим. Казалось, тот родился всадником. Попридержав меринка чуть сбочь от дороги, Яндаев махнул приветливо рукой и хищно улыбнулся. Узкое лицо его с острым носом было черно от вечного загара. Эта его улыбка завораживала Ковальского с детства.

Всадник ускакал, а Ковальский подумал, завидуя: «Он, как дитя природы, этот Яндаев. Как часть Бобрового, Бариновой горы, вот этого леса, небес, этого всего зеленого, голубого, золотистого простора. Яндаев, наверное, и не осознает, что счастлив этой своей слитностью с природой. Счастлив цельностью, органичной связью со всем родным. Ему не надо другой жизни. Это я стучусь, рвусь в другую..., а ему она зачем? Это я сейчас между городом и деревней, между всеми и всем. Я прикован к этой земле, а пытаюсь прорваться в другую жизнь. И сколько сейчас таких, как я! Что у нас, у меня, на вооружении? Некая деревенская умелость да житейская хватка, перешедшие от деда,

мамы, других родных. А что еще? Очень мало. А другая жизнь, та, куда рвусь? Это все-таки что? — И подумав чуть, попробовал ответить: — По большому счету — технический прогресс. Но Засекин говорит, что он для человечества — мрак, гибель. Такой прогресс несет бездуховность, мировые катаклизмы. Если взять это на веру, то я и такие, как я — как связные между одним и другим. Но у этого «другого» нет будущего, если верить Засекину. Кем же будут мои дети? Если будет сын? Кем он будет? Он уже будет в той жизни, в которую стремлюсь, то есть я для него, как некий плацдарм его жизни. А ведь будущей жизни может не быть? За пределами тысяч жизненных сроков? А пока-то? Пока жизнь бурлит, и Засекин ей не указ. Вон Яндаев! Он и десять лет назад скакал по этой земле, диковато вращая белками глаз и до сих пор мчится по ней, полный уверенности в себе и нисколько не постаревший. Сейчас торопится к своему пестрому сонному стаду, которое словно сошло с какой-то старинной древней картины, вывешенной в недоступной никому комнате. Пасется себе стадо.

Я за последние годы столько увидел и передумал. А что, если дверь в эту изолированную комнату враз расшатается, раскроется и войдет то, о чем говорит Засекин: хаос и смерть? А мы пасемся себе. Пока нам хорошо еще. В нашей безопасности бессмертие Жизни? Или ее катастрофическая уязвимость?

Моему сыну будет легче или труднее? — Он был почему-то уверен, что у него обязательно когда-то будет сын. Ковальский не представлял себя без сына. — Будут у него такие проблемы и мысли, как у меня? Или нет? Если сотрут грани между городом и деревней, например? — продолжал невольно размышлять Ковальский. — Сыну повезет, конечно, больше оттого, что у него не возникнет проблем с отцом, как у меня. Наверное. А в остальном? Что будет в восьмидесятых, девяностых годах?

Иван Максимович назвал меня будущим интеллигентом в первом поколении. Сын мой будущий — второе поколение. Более удачливое? Более прямолинейное? Нет, оно должно освободиться от многих комплексов. У них, у того поколения, меньше будет уходить энергии на преодоление многих комплексов и прибавится созидательной интеллектуальной силы.

Нет... Не комплексов. Здесь что-то другое... Это... — Подбирая слово, он следил, как Яндаев выгонял свое пестрое стадо из ложбинки. Его дворняга-пес заливисто лаял. Один пестренький бычок, взбугрившись весь, пошел на лающего помощника, будто на корриде. Пес юркнул за всадника и замолчал. Ковальский, наблюдая эту сцену, улыбался. — Во мне мало установившегося. Я пока не состоявшийся. Не состоявшийся

кто? По Калашникову, не состоявшийся интеллигент. Но все должно же встать на свое место. Я чувствую в себе огромные силы. И не верю в то, что предрекает Засекин. Это игра ума. Ума, уставшего от жизни человека. Нельзя уставать! Нельзя уставать человечеству в своих надеждах, тогда оно вечно».

Взбодренный этой мыслью, он встал и пошел в село.

Когда вновь оглянулся на стадо, Яндаева около него не было.

«Нельзя быть подранком. Или – или», – тянулась мысль.

Он вспомнил усмешку Засекина там, в городе, и его слова: «И ваша хваленая химизация, безудержная, много беды принесет, может, больше, чем пользы, пока не поймут уже после нас, что и здесь, как нигде, нужна мера».

Не спеша отыскал взглядом Яндаева. Тот был уже много левее на ровной пыльной дороге.

«Яндаев останется всегда Яндаевым, это я в той жизни, в которую врываюсь, могу затеряться напрочь...»

Мысли не отпускали. Он продолжал смотреть на удаляющегося к горизонту всадника.

«Прошло пять лет, как я уехал учиться, а ничего по большому счету у таких, как Яндаев, не изменилось за это время. У таких, как Яндаев, у вечного рыбака Мишки Рогожкина, у моих родственников...

...Как рыбачил Рогожкин, так и рыбачит: весь в заботах, матюгах и рыбьей чешуе. Как вязал он веники всей семьей на том берегу Самары у Кривой ветлы, так и продолжает он этот свой старинный промысел, перемещаясь вдоль реки и оставляя на два-три года оголенные поляны для нового поколения таволги и чилиги. В этом, может, и есть его сила? Мировые события, громоздясь, наползают друг на друга, как льдины в половодье на реке, а он вяжет свои веники! И тем силен.

У него свои обороты и свой календарь.

Объявлено, что нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме! Что это значит? Будет ли Яндаев или кто другой так же скакать по степи через двадцать лет? А Рогожкин со своими сыновьями будет ли вязать веники?

Что при всеобщем достатке и благоденствии погонит их горбатиться в пыли и жаре?

Инстинкт? Какой?

И если везде так?

Если не те, кто делает сейчас самую тяжелую работу, то кто же будет вершить ее?

Кто и что даст великую силу провозглашенной программе?

Мы? Я? Мое поколение? Но мы разве готовы на такие грандиозные действия? Мы все готовы?

Технический прогресс? Может быть?! А может, технический прогресс, благодаря которому должны быть спасены все народы, — всего лишь религия? А за ней — пустота?

Химизация! Ее объявили спасителем. Плюс ко всему химизация! Она выручит!?

Но не мало ли этого плюса на всех?

Засекин твердит, что спасение — в улучшении человеческих качеств.

Но только из желания быть хорошим, веники вязать не всякий побегит...»

...А Яндаев скакал размеренной рысью к горизонту. Степь, где стремительно двигался всадник, ровная, как неохватных размеров стол, была пустынна. Трудно было найти глазами удобный и устойчивый ориентир.

Где-то там, в степи, порасселись нефтяные качалки. Как большие страшные кузнечики. Эти качалки-кузнечики при мареве в жаркую летнюю пору, в мираже превращались в огромных угрюмо шевелящихся драконов, величиной с большие дома. От этого становилось не по себе. Однажды, когда они с бабой Груней возвращались с далекого полевого стана пешком, эти драконы так напугали ее, что она крестилась, как от нечистой силы. Грозил им кулаком. Теперь их стало еще больше.

Александр долго из-под руки наблюдал за всадником. Пестрое ленивое стадо стояло в воде в конечке Бобрового озера, а он мчался в степи, в духоте к горизонту. Зачем, куда?

Зарябило в глазах, и Александр зажмурился. Потом пошел по стерне, по золотистому полю, и ему все казалось, что зря он уходит, что есть какая-то недоговоренность между ним и этим бело-синим, желтым простором. Неизреченность вот-вот нарушится. Только задержись еще немного, только прислушайся, приглядись. Улови язык, присущий этому вечному и ясному покою, и ты будешь другим. Будешь счастливым.

* * *

В тот же день, как только пришел домой, Ковальский узнал от матери, что Мишка Лашманкин собрался жениться на Олечке Козырновой. Уже подали заявление. Это удивило. Из армии Мишка пришел вытянувшимся, спортивным и ладным парнем. Пил мало. И не особо дебоширил, как остальные после службы. А вот номер выкинул. Оказывается, они все

годы его службы переписывались. В письмах и договорились. Это для Ковальского было забавно. Мишка и Козырнова? Два самолюбивых, взбалмошных существа рядом. Олечка, оказывается, эти годы держала его на привязи письмам. «Создавала себе запасной вариант, не иначе», — думал Александр. Он знал, что у нее был бурный роман на втором курсе планового института с преподавателем. Знал, что делала аборт.

«По-моему, Мишка лезет в петлю. Куда он торопится? Что-то у него будет впереди?»

* * *

— Петро чтой-та не пишет давно, — жаловалась мать вечером за ужином на своего младшего. — Как уехал, так писал каждый месяц. Теперь замолчал в своем Курске. Беды б какой не было, с аэропланами этими связался.

— Катерина, ну что ты городишь? У него авиационное училище, а не летное — какие аэропланы? Он в приборах ковыряется. Хотел летать да приземлился быстро, — возражал отец.

— Все равно, — продолжала Катерина, занятая своими мыслями. — Давно не было письма. — Она присела к столу. — И ты, Шура, только на мои письма отвечаешь, а так: не напишу я, и ты — молчок, — продолжала она.

— Мам, да и писать-то не о чем.

— Это тебе так кажется, а мы здесь не знаем, что у вас там. Всякое может быть.

— Ладно, мам, исправлюсь, — пообещал Александр и сам искренне поверил, что будет впредь чаще писать. Уж больно ему не хотелось видеть мать печальной.

После того, как брат Петро уехал из дома, стало меньше в нем смеха. Петро всегда что-нибудь да «выкусывал» — с ним не соскучишься. Александр и Петро уж больно разные. У Александра нет того беззаботного озорства, которое сидит в младшем сыне Катерины. Ковальскому иногда казалось: мать грустит еще и от того, что он такой вот «через чур» серьезный, не такой, как брат его Петька.

Он уезжал в город вечерним рейсом в субботу; поездка к Анне в Пензу не получилась. Он ее себе наметил, но на военной кафедре что-то изменилось, и в понедельник все ребята их потока отправлялись на сборы. Надо было в восемь часов быть у здания военной кафедры.

— Кто опоздает, тот, как дезертир, будет строго наказан, — так было объявлено майором Федорчуком. А Федорчук слов на ветер не бросал.

Ковальский очень жалел, что не успел увидеть Анну. Отчего-то было тревожно. Очевидно, еще и поэтому он всю дорогу так задумчиво смотрел в окно автобуса.

Знать бы ему причину...

В это время Анна тоже думала о них. Теперь в эти дни она думала о Ковальском больше, чем о сыне и дочери. В этом она себе призналась и не устыдилась.

А сегодня утром, собирая детей, боялась потерять сознание. Когда вернулась свекровь, провожавшая сына Анны Сашу в садик, сноха ее все еще сидела в коридоре на стуле, устало положив руки на колени.

Анна не работала уже около двух месяцев. Страшный диагноз и последовавшее затем лечение лишили ее сил. Она понимала, что обречена.

Муж, хотя и прекратил бражничать, но смотрел на нее маленьким хищным зверьком. Он, как ей казалось, нетерпеливо ждал развязки. Но таился и молчал. Чувствовалось, что муж догадывается: она его только терпит, у нее кто-то давно есть. Но кто?

Анна принимала сейчас спокойно его поведение. Не в силах была и не хотела никого винить ни в чем. Со всеми уже мысленно простилась.

Ей хотелось видеть теперь только Сашу... Сашеньку... Нестерпимо! И она не знала, что с этим делать.

Несколько раз Анна принималась писать письмо. И бросала. Не хватало слов. На бумаге все было не так, как она чувствовала.

Но ей надо было успеть написать. Она дала себе слово сделать это...

Поднявшись со стула, Анна прошла в спальню и легла в кровать. Руки ее дрожали, на глазах были слезы. Она лежала на кровати вверх лицом. Закрыв глаза, пыталась на время забыться. Надо было набраться сил для письма...

Весь смысл ее угасающей жизни свелся теперь к одному этому письму...

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Самое яркое событие на четвертом курсе для многих из потока химиков-технологов — это, конечно, военные сборы.

В первый же день прибывших повели на инструктаж. Капитан медицинской службы изъяснялся незамысловато, но иронично.

– Считайте, господа будущие офицеры, что, прибыв на нашу военную базу, вы попали по меньшей мере в один из курортных городов России. Может, даже в Сочи, хотя и преодолели всего две сотни километров.

– Это же превосходно! Но верится с трудом. Полдня прошло – мы и не заметили прелестей, – рослый парень с инженерно-технологического факультета пробасил из дальнего ряда скамеек. – Может, мы чего не поняли.

– Поймете, когда придете ко мне с «наградой».

– Обрато не понял? – парень развел крепкие руки и почесал пятерней в густой бороде. Она скрывала все его лицо. Он в ней был, как в засаде. – У нас тут круглые отличники есть, товарища капитан, может, они раскумекают.

Капитан ответил резонно:

– И вы, и отличники раскумекаете, как вы говорите, сполна, когда приголубите небезызвестную заразу в собственных трусах. Самый незатейливый вариант – лобковая вошь.

Публика разом притихла. Шумок пропал. Не на каждой лекции услышишь такую терминологию. Да и ошеломляюще как-то звучало – просто, без обиняков.

А франтоватый капитан, потом стала известна его фамилия – Суходольский, довольный реакцией слушателей, продолжал рисовать эпическую картину действительности:

– Ситуация с сексуальными инфекциями в населенных пунктах, которые окружают нашу базу сравнима, я думаю, разве что с той, которая сложилась после первой и второй мировых войн.

– Ну, товарищ капитан, это вы, наверное, слишком уж – служба такая, да?

Этот парень с инженерно-технологического явно был озабочен предметом разговора больше, чем остальные. Или был посмелее. Верным, как потом оказалось, было первое. Он попал все-таки в число «награжденных», через две недели. А пока? Пока капитан вел менторским тоном свой инструктаж.

– На нашей базе работает около двух сотен женщин в цехах. Контингент самый разный. Большая часть незамужние. Вы представляете, с каким нетерпением они ждут каждый год заезда студентов? – Он выдержал паузу и сам уверенно ответил: – Нет. Не представляете!

– Нет, не представляем, – согласился кто-то из сидевших в углу около дальнего окна. – А то бы...

– Товарищ капитан, да нам таких и задач не ставили, – подключился Рамазанов. – Мы не готовы! – Он сокрушенно, сверкнув озорно гла-

зами, начал покачивать головой. И прежде, чем инструктор заговорил, Рамазанов обронил уныло: — Нас семьдесят, а их двести. Это явный перекос противника. Мы не устоим. Нет!

Капитана трудно было сбить с толку, он каждый год проводил такие инструктажи. Наслушался всего и насмотрелся, и заранее знал, что говорит он зря. Никто его не послушается. Идет только подогрев. И он, как можно более унылым голосом, исполняя свои служебные обязанности, продолжал:

— К сожалению, глупое и романтическое человечество так и не отучилось ходить «налево». Вы, может быть, не самая худшая часть этого глупого вида популяции. Тем более ваш юный возраст! Надо учесть ряд обстоятельств: треть из этих местных женщин больна венерическими заболеваниями... и не лечится. Прийти к врачу с такой болезнью здесь для них хуже смерти. Дичь. Лучше раздарить. — Он внимательно посмотрел через свои массивные в роговой оправе очки на аудиторию. — Презервативов, конечно, у вас с собой нет?

— Ну, откуда, товарищ капитан? Мы думали, что будут условия, максимально приближенные к боевым, а тут — Сочи, курорт, — Рамазанов дурашливо смотрел на капитана.

— Отставить, — вяло сказал тот, не глядя даже на говорившего.

Это не устроило Рамазанова, и он добавил:

— Хотя, если хорошенько пошарить, вон Ваня Кутепов, он запасти-вый, может, где и завалялся у него в ботинке.

Он бесцеремонно указал смешно шевелящимся указательным пальцем на Кутепова. Раздался смех. Многие знали застенчивость Кутепова и его робость в отношениях с представительницами женской половины человечества.

— Нет презервативов, — констатировал капитан. — И тут их нет в радиусе километров двести. Делаем выводы! — призывно повысил он голос.

— Ну, влипли, ну, влипли, — раздалось в рядах. — Необученные!

— И не годные к строевой, — добавил кто-то в рядах.

— Еще раз отставить! И слушать дальше, — не оценил шутку капитан.

— Нам надо знать конкретно, что делать? — очень серьезно, очевидно, проникнувшись важностью темы, спросил парень в бороде.

— До того? Или после? — неожиданно изменил голос и с деланной учтивостью спросил капитан.

— И «до», и «после», — уточнил «борода». — Так сказать, план действий. Он ведь и на «гражданке» пригодится.

— Уже приготовились лечиться?

«Борода» не ответил.

— Если «до того», то надо применять правило «гильотины». Не слышали? — Все молчали. — Это правило звучит так: лучшее средство от перхоти — гильотина.

— Ничего не понял, — первым признался Рамазанов. — Отрубить, что ли, мне его, этого... под топор? Слишком радикально, — заключил он задумчиво. И вполне, казалось, интеллигентно.

Публика молчала. Очевидно, она готова была тоже возмутиться. Похоже...

— Зачем же? — тем тоном, которым говорят с не очень смысленными людьми, обронил поучительно капитан. — Имеется в виду вообще не иметь половой связи. А если иметь, то только со знакомыми, меньше опасности.

— Знакомые не болеют? — удивился долговязый парень у окна.

— А «после»? — кто-то не выдержал из задних рядов.

И «борода» добавил:

— И как узнать, что «наградили»?

— Господа офицеры! — кисло улыбнулся Суходольский и бледное и аскетическое лицо его, отчего-то слегка зарумянилось. Казалось, в нем шел независимо от темы, от присутствующих и от места действия свой диалог с кем-то еще другим. Не с этими переполненными здоровьем и молодостью ребятами. — Вы комкаете наш разговор, я был намерен вам доложить на вашу же пользу все системно. Ведь это азбука вообще для нормального мужчины. Без всякой пудры. Никто и нигде вам об этом не скажет так обнажено. Армия многому учит. — Он помолчал. Потом, глядя поверх голов, продолжал: — Через три-пять дней после заражения, но иногда бывает запаздывание на две-три недели, появляется желто-зеленоватое выделение и ощущение жжения. Если это случилось, можете себя поздравить с «наградой» — это гонорея. Обычно она обнаруживается утром. Здесь она получила свое название: «с добрым утром». Острижки были у нас и до вас. Некоторые уезжали весьма озабоченные. Шутили. Больше «до того».

Ласковое и неожиданное название «с добрым утром» аудитория отметила общим смехом.

Когда шли в казарму, Рамазанов делился опытом:

— Такие пакостные заразы, как хламидиоз, герпес, даже сифилис, могут передаваться и через поцелуй. И через общее полотенце, общую кружку. Так что это, как рулетка...

— Откуда такие познания? — не удержался Ковальский.

– Да у меня старший брат на Венцека работает в венерологическом, медик. Наслушался.

Ковальский вспомнил про несостоявшуюся драку, тогда в свой приезд в город у здания этого самого диспансера, невольно рассмеялся.

– Ты что, не веришь?

– Да нет, я так, о своем вспомнил.

– Что уже носил «награду»?

– Да иди ты к лешему! Уже надоело.

– Я заметил, ты и в аудитории нос воротил.

– Уж больно как-то откровенно смакует пакости. Непривычно.

– Чудак, это ж необходимо. А как прошибить этих наших жеребцов? Издержки есть. Но не будь слишком чистюлей – здесь в казарме иначе нельзя. У меня опыт есть. Грубее – доходчивее. А ты предпочитаешь не слышать и не знать о таких вещах.

– Может, быть лучше бы не знать, – неуверенно отозвался Ковальский.

– Ба, посмотрите на него! Да тогда ты такой же как местные девицы – туземец да и только!

Шагавший рядом Ваня Кутепов подал голос:

– Я все понял. Только вот одно слово. Ну, это, непонятное совсем...

– Какое слово? – насторожился эстет Иннокентий.

– Ну, похожее на этот, на бэкстгальтер, – объяснил простодушный Кутепов.

– Адюльтер, что ли? – спросил Иннокентий и гоготнул в удовольствие.

– Ну да, – согласился покладисто Кутепов. – Вроде того. – Он не понял, почему все, кто слышал их диалог, разразились хохотом. – Дураки, – на всякий случай отреагировал Ваня. – На вас и обжаться нельзя.

Маленький диалог Кутепова и Иннокентия имел продолжение в событии, которое произошло через день. И которое напрочь выветрило из молодых голов будущих, потенциальных, скажем так, офицеров фамилию «Кутепов» и закрепило за ним простенькую, но емкую кличку «Штаны».

Тот капитан с истовым лицом был прав: студентов здесь ждали. Танцплощадка, оборудованная столь романтично в гуще зеленой рощицы, прямо на пеньках выпиленных берез, призывно зазвучала в первый же вечер. И совсем недалеко, и на территории базы. Это вдохновляло. Те, кто побывали там, рассказывали: девчата здесь красивее, чем в Самаре. Парней местных – раз и обчелся. А тот капитан, который делал ин-

структаж, наверное, вывихнутый какой-то. Наговорил с три короба, фантазер местный!

Пятачок среди берез, освещенный развешанными гирляндами лампочек на деревьях манил, как на новогодний бал.

Но была одна маленькая сложность: в 22.45 каждый вечер старшина обязан был строить все семь десятков молодых «ореликов» в казарме для переклички строго по списку в присутствии старших офицеров. Вечерняя поверка. Она была, как кость в горле. Отсутствующего ждало строгое, но справедливое наказание.

Как совместить перекличку в 22.45 и окончание танцев в 23.00? А ведь танцы – прелюдия, основное-то после них!

Военная смекалка давала несколько возможных решений. Одно из них было опробовано с первого вечера. Проще простого. Надо было, если ты знал, что не придешь в срок, попросить кого-нибудь выкрикнуть, когда назовут твою фамилию, одну только букву: «Я!» Это был прием номер один.

Но этот простой способ требовал четкости исполнения, отсутствие ее в первый же вечер и подвело. Когда прозвучало: «Сидоренко», – откликнулись сразу двое. Перестарались ребята. Офицер четко знал, что по списку должен быть один Сидоренко, а «раз два, значит: ни одного нет».

Второй прием был понадежней первого. Надо было успеть явиться с танцев к перекличке, отметитья и суметь улизнуть назад.

В тот злополучный вечер по команде старшины строились почему-то особенно вяло, не торопясь. Левое крыло шеренги вдруг колыхнулось головами к окну. Ковальский тоже обернулся и увидел большую тень за окном. Тень за мутными стеклами махала руками.

– Давай, давай, офицеров еще нет, успеешь, – зашумели голоса.

Было понятно, что кто-то торопится отметитья на перекличке. Вариант номер два в действии.

Непонятное произошло через секунды. Метнувшаяся вдоль стены ко входу в казарму тень вдруг пропала. Потом откуда-то издалека разнесся дикий, утробный зов:

– А... а... а...

Первое, что пришло в головы: возвращающегося подкараулили местные (так уже было) и крепко ему наподдали. О, как высоко чувство отзывчивости и готовности прийти на помощь! Особенно когда «наших бьют». И когда «наших» много.

Стремительной волной ринулись «наши» в узкий проход на улицу, увлекая за собой из коридора направляющееся в казарму свое военное

начальство. А начальство в этот день было самое высокое: заведующий кафедрой щеголеватый полковник Скворцов и грузный, вальяжный командир базы полковник Подосинкин.

Ковальский оказался не самым проворным. Когда он очутился на улице, действие (его можно было считать вполне боевым) разворачивалось прямо за углом казармы. Толпа плотным кольцом окружила яму. Яма оказалась выгребной, полностью заполненной тем, что бывает в туалетах. Доски в месте пролома быстро растащили по сторонам. На удивление многих, в яме оказался ни кто иной, а Ванечка Кутепов. Открывшиеся амурные возможности на военной базе только подогрели его. И никакие предостережения капитана медслужбы не могли охладить его взбудораженных желаний. Он, очевидно, разом решил покончить, одним махом, и со своей невинностью, тяготившей его давно, и неопытностью. Поставил себе, так сказать, боевую задачу. Исходя из оперативной обстановки. Риск — благородное дело.

Иван держался стойко. Однокурсники имели возможность видеть, что один из лучших футболистов факультета еще и пловец. Размеры бывшего общественного туалета давали ему возможность показать это.

Командовали операцией Кутепова, конечно же, высшие чины. А куда им было деваться? Экстремальные условия!

Кто-то проворно раздобыл где-то с большую жердину. Ее подали терпящему бедствие. Все это делалось сосредоточенно и с какой-то прямо-таки военной слаженностью и серьезностью.

Натуженную обстановку разрядил сам Иван. Когда его, сосиской болтающегося на жердине, вытащили из ямы, он весь слипшийся и дрожащий, то ли от холода, то ли от возбуждения, очевидно, крепко помня свою цель: вернуться к танцплощадке, рванул первого попавшегося за рукав:

— Послушай, запасные штаны есть? Меня же девка ждет!

Рукав, за который Иван, не глядя, схватился был частью военного кителя заведующего военной кафедрой полковника Скворцова.

— Крепко же тебя, голубчик, заклинило, — проговорил удивленно, совсем не растерявшись, полковник. И сначала дернулись его франтоватые усы, а потом, ощерив смешно рот, он басовито хохотнул. Видать, еще не такое видал.

Это послужило как бы сигналом. Хохот веером, прошелся вокруг ямы. Одни, поджав животы пошли к стене. Другие, не надеясь, что дойдут до нее, сели тут же...

Переключку в тот вечер больше делать не пытались. А Иван Кутепов, то есть теперь Ваня «Штаны», стал чем-то вроде большого сына маленького полка — самой популярной на всю базу личностью.

А на следующую вечернюю поверку замполит части Барский и зычно объявил:

— Нужно срочно поднять идейный уровень. Нужна стенная газета. Без нее нельзя. На двух ватманских листах два раз в неделю. Без проволочек. Вы студенты народ, того, неглупый. Таков приказ! Понятно объясняю?

Все молчали. Только во втором ряду кто-то согласился:

— Так точно! Неглупый народ студенты.

— Значит, понятно, — подытожил замполит. — А сейчас, — он сделал веселое лицо, — кто может рисовать, писать плакатными перьями, сочинять всякие шутки — три шага вперед!

Рамазанов ткнул локтем Ковальского:

— Выходим!

— Да я же...

— Выходим. Это халява, я чую...

— Что? Нет желающих? — громыхнул подполковник. — Дополняю: кто будет заниматься газетой, а потом у меня есть план окультурить площадку на базе, будет частично освобожден от занятий.

— Раз от занятий, то и от экзаменов, понял? — шептал Инок. — Я пошел.

— Тебе хорошо — у тебя художественное училище.

— Не скулить, — отозвался тот и вышел из строя. За ним последовал и Ковальский.

Когда вышел еще один парень, подполковник довольно подытожил:

— Вот и ладненько. Троих, как Кукрыниксы, пока хватит, а там посмотрим.

* * *

Итак, тройка засела за газету. Сразу оказалось, что лидер среди них Инок. Через два дня творение тройки было вывешено в казарме.

Вот где проявилось умение Инока рисовать. Были здесь и стихи. Их писали совместно Ковальский и Михаил Максимов, так звали третьего члена редколлегии. Михаил оказался веселым парнем. И хотя не умел ни писать, ни рисовать, зато смеялся по любому поводу. Что ни говори — это редкое качество.

Только что сочиненные Ковальским стихи, Михаил тут же пропел под гитару на мотив «В жизни раз бывает восемнадцать лет»:

Дождичком замыло

Почтальона след.

Сердце вновь заняло:

Перевода нет.

Это исполнение так понравилось подполковнику Барскому, что он тут же предложил провести вечер студенческой песни.

– Втроем и будете петь, ну чем не «Поющие бобры»?!

Он был, оказывается, поклонником известного трио самодеятельной авторской песни из Куйбышевского авиационного института.

Смотрины первого номера газеты прошли успешно. Когда в казарму вошли перед вечерней поверкой подполковник Барский и майор Федорчук, приехавший с проверкой от кафедры, все притихли в строю.

Федорчук молодецкато постоял у ватманских листов, повернулся к подполковнику и громко, чтобы все слышали, похвалил газету.

Подполковник, который тоже впервые видел газету, чем-то был явно озабочен. Он взял под руку майора, и старший по чину что-то начал объяснять майору, кивая то на газету, то на выстроившихся будущих офицеров. И вдруг майор начал громко хохотать.

Облегченно вздохнул разом и весь строй курсантов, переживающих за членов новоявленной редколлегии. Газета называлась весьма невинно, но с учетом местных условий: «С добрым утром!»

А майор Федорчук оказался дипломатом. Уезжая, он посоветовал второму номеру газеты придумать новое название.

– Знаете ли, – говорил он, желая выглядеть серьезным, поводя замысловато пальцем около виска, – надо бы по-интеллектуальнее, но чтобы звучало боевито!

С этого дня Рамако – такой псевдоним взяли себе Рамазанов, Максимов и Ковальский, перестали ходить на «самуху» – самоподготовку к экзаменам. Подполковник Барский заверил, что с экзаменами у них все будет в порядке. В столовую теперь Рамако шагали в кедах, тогда как все остальные – в сапогах.

Когда же они взялись воплотить давнишнюю голубую мечту замполита: оформить красочно площадь посередине базы, да так, чтобы были стенды о жизни базы и большая, в пять метров высотой, фигура вождя мирового пролетариата, – их переселили на житье в гостиницу.

Фигуру вождя вырезали из одиннадцатимиллиметровой толщины металлического листа. Чтобы не нарушить покраску, это штучное изделие несли на руках пятнадцать молодых-пожарников. А дабы пыль не седи-

лась, прежде чем положено, на державный лик вождя, площадь загодя полила пожарная команда.

Всеми этими действиями руководил Инок. А Барский у него был как бы ординарцем. Такова была сила таланта и творческой фантазии художника. Она покоряла. И не одного подполковника. Замполиту очень хотелось много успеть, пока такой талантище, как Инок, на сборах. И он старался. Брюки трещали в шагу. Совсем замотался.

Иногда Инок, явно жалея его, говорил, вращая диковато своими круглыми навывкате белками:

— Товарищ подполковник, можно обратиться?

— Конечно, — отвечал тот.

— Извините, у вас ширинка, пардон, расстегнута.

— Опять? — спохватывался не в первый раз тот. И прямо на площади исправлял оплошность.

Инок с серьезным видом осматривался окрест. В его голове роились идеи.

Порой от причуд Инока у Ковальского начинал болеть живот. Они с Максимовым часто уходили в кусты отсмеяться. А Инок был суров, как Мефистофель.

Вскоре к нему приехала жена Ольга. Барский выделил супругам отдельный номер в гостинице. И строил новые планы. Он начал поговаривать, чтобы ребята остались после сборов еще на пару недель поработать. Рамазанов не торопился соглашаться. Он знал себе цену в таких делах.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Когда после сборов Ковальский зашел в деканат, ему передали письмо.

— От какой-то Ани Бочаровой, — многозначительно улыбнулась вечно околачивающаяся в деканате Алка Смирнова. Пошутила глупо, как могла: — Алименты поди требует, недели три уже валяется.

Александр схватил письмо, чуя недоброе. Вышел в коридор и на лестничной площадке, где светлее, надорвал конверт. Развернул листок из ученической тетради в клетку.

Первые же строки ударили горячей волной: «Сашенька, миленький, здравствуй! Буду писать кратко. Сашенька, так распорядилась судьба, что меня скоро не будет. У меня рак легких». Он зашатался, как от сильного удара. Бумага жгла руки: «Сделали химиотерапию, видно зря только. У меня растет сын Саша — он твой. Верь мне. Я знаю точно.

Ему три года. Я так хотела: взяла все на себя, тебя берегла и нас с тобой. Да вот жизни мало отведено мне. Я как чувствовала... торопилась... Пишу на адрес деканата, потому что боюсь, как бы письмо мое в общежитии не затерялось. Пишу, а сама все верю, что ты успеешь приехать, пока жива. Увидеть бы тебя. И боюсь, что ты успеешь — страшно, что ты увидишь меня такую. Я старухой стала в полгода. Ты — отец моего сына, понимаешь? Прости за все. Я написала моим родителям в деревню, просила, чтобы Сашу забрали к себе. Они заберут, они меня больше себя любили. Я написала им, что сын твой. Мужу не смогла сказать — тоже оставлю письмо. Живите. Так я хочу, чтобы сын вырос похожим на тебя. Он и сейчас похож, глаза только мои. Прости меня, Сашенька. Я думала жить долго. Я помню историю с твоим родным отцом. Боже мой, неужели с нашим Сашей будет еще хуже? Без матери будет расти... Не думала об этом раньше... На конверте адрес моей сестры, лучше сначала к ней, меня уже может не быть... Боже мой, как я хочу, чтобы могила моя была в Утевке...»

Ковальский не успел увидеть Анну. С сестрой ее Марией он приехал на кладбище. Около свежего холмика с жестяным памятником и дежурной звездой не выдержал и разрыдался. Слишком сразу обрушилось на него так много. Александр пьяной походкой ушел в заросли сирени, забыв положить цветы. Опустился на влажную землю и, продолжая всхлипывать, сидел долго, закрыв лицо рукой. Когда убрал руку и взглянул оттуда на ограду, ничего не увидел. Ему показалось, что он потерял зрение. Было темно в глазах... Вспомнилось, как отказал правый глаз, когда узнал о смерти Верочки...

А сестра Ани терпеливо ждала, стоя у ограды.

Когда зрение вернулось, он встал и неуверенной походкой пошел к ограде. Женщина отрешенно смотрела поверх могилы. Иконный лик ее был нездешним, будто она спустилась из-под купола храма и тут на земле долго ей тоже не быть. Словно она это знала. И не противилась. Такое смиренное лицо.

— Если поедешь к Саше в деревню, я кое-чего ему соберу из вещей. Сразу-то не взяли, — буднично проговорила она.

— Возьму, — ответил он и опять чуть не разрыдался.

«Какие странные и нелепые смерти: Верочки Рогожинской и вот теперь Анечки. Ведь это несправедливо! Будто на них и на мне рок какой и... два раза осиротел».

Упоминание Марины о сыне не тронуло его. Он видел, чувствовал, знал — только чудовищное отсутствие Ани. И с этим не мог смириться. Поверить в это не мог.

Та бесконечно радостная, прекрасная, одним только им принадлежавшая ночь, которая поделила его жизнь на две половины, когда он узнал впервые женщину — Анну, была всегда в нем. Он ее всегда помнил. Неотвратимое событие, пришедшее так рано, неожиданно, грубо, своевольно — смерть, сделало такой поворот всему. Непонятно, по какому сценарию, чьей воле. «Ведь не по Аниной же? — думал он. — Повернула к чему-то совершенно новому, прихотливо расставив все по своему». И это новое, связывающее и обязывающее, было столь весомо! Александр повторял вслух, стоя у ограды:

— Как же так все случилось, как же... И сын?! Я не готов к этому... Я не могу...

Лицо его было воспаленным, руки дрожали.

Спутница печально кивала головой:

— Да, да, понимаю... конечно... Она была моей лучшей подругой в жизни, — не сдержавшись, всхлипнув, сказала Мария. Но тут же постаралась взять себя в руки. — Пойдемте как-нибудь потихоньку к выходу...

У нее самой язык не поворачивался говорить вслух о случившемся. Им по двадцать с небольшим. Не успели они быть готовыми к тому, что произошло. Они на этом кладбище оказались, как на островке, меж двух мощных потоков, название которым жизнь и смерть. Что малый опыт их? Коль жизни всей не хватает, чтобы постичь то, что вершится под этим синим, бездонным, открытым небом...

Как сквозь сон слышал он бесцветный голос своей спутницы:

— ...муж ее, Евгений, ушел три дня назад и след простыл. Нигде нет. Как узнал про сына, что не его, запил по-черному. Он и раньше подозревал, чувствовал что-то. Она его жалела напоследок-то. Убивалась из-за своей вины перед ним.

«Сначала Верочка Рогожинская, теперь Аня... Почему так жестоко? Разве я в чем виноват? Разве они в чем виноваты? — Его покачивало из стороны в сторону. — Почему так? — В голове был шум. Хотелось сильно пить, лечь на землю и лежать. — Да, я понял, понял... понял запоздало, что, чем меньше задумываешься над тем, что и как делаешь, тем легче живется. Но расплата за подобную беспечность неотвратима, — сбивчиво размышлял Ковальский. — И еще эта развеселая жеребятина на сборах. Не к добру это веселье оказалось...»

— ...она не жила бездумно, Аня была умница...

Ковальский обернулся — спутница эти слова говорила ему. Оказывается, он думал вслух.

«Прости меня, я думала жить долго», — он вспомнил эти слова из письма Анны и у него снова потекли слезы.

Когда шли с кладбища к автобусной остановке, его спутница обронила:

— Мы совершили большой грех. Мы грешны перед Богом. Вот она и расплатилась за нас.

— Что? Какой грех? — глухо отозвался Ковальский.

— Как какой? — спокойно, даже отрешенно проговорила она. — Аня чужая жена была, а я вам обоим помогала. Жили два раза у меня на квартире. Я тоже виновата.

— Все люди грешны, тогда как же? Дикость какая-то...

— Все люди грешны первородным грехом, а тут совсем другое. По чести надо жить.

— Ты верующая? — удивился Ковальский.

— Да, — последовал спокойный ответ. Спутница посмотрела на него таким взглядом, что ему показалось, будто она его мать. — И тебе надо прийти к Богу, — сказала она спокойно.

— Что ты говоришь? Люди скоро при коммунизме будут жить, а тут такое... — Он не мог подобрать подходящее слово.

— Люди когда-нибудь поймут, им откроется, что они бездумны. Каждому в свой час.

То, что он услышал от сестры Анны, ошеломило. Когда она стала такой? Год назад он видел ее. Она была как все. Правда, тогда и не разговаривали толком ни о чем. Так, несколько обычных фраз.

— Ты остерегайся мужа Анны, грозился тебя найти. Он дурной иногда бывает. Помни: на тебе грех лежит — ты беззащитен. Я чувствую: еще одна беда будет. Он будет мстить.

«Что мне в Америку, что ли, бежать? — вяло думал он. — Жизнь Анне испортил, теперь еще мне грозит?»

— Вот возьми.

Она достала из сумочки аккуратный сверток из плотной бумаги и протянула его Ковальскому.

— Что это?

— Письма Анны, которые она писала тебе. Их там шестнадцать... — Поймав его вопросительный взгляд, пояснила: — Писала и не отправляла. Не знаю, почему. Ты поймешь, может быть.

Он нетвердыми руками принял сверток.

— Что же мне делать? — невольно вырвалось у Ковальского.

Александр взглянул в лицо собеседницы. Оно было ясно. Последовал спокойный ответ:

– Надо идти к Богу, идти в церковь. В церкви тоже бывают люди, которые не являются примерами святости. Но и через грешника может действовать благодать Божия. Сила церкви в том, что через нее говорит и действует Сам Бог.

– Скажи, Мария, если ты считаешь, что мы все: и Анна, и ты, я – совершили грех, то, значит, и сын теперь мой, трехлетний, уже грешник. На него тоже лег грех? Отвечает ли сын за грехи отца?

«Неужели она сейчас скажет «да»», – застучало в голове Ковальского.

– Ты крещеный? – спросила Мария.

– Да, в войну еще.

– Покрестите сына Александра. Нам всем легче станет. И ему тоже...

...Ковальский не чувствовал большой вины перед мужем Анны. Перед Анной – да, был виновен. Если и была вина перед ее мужем, то, по его разумению, так ничтожна в сравнении с тем, что Анна натерпелась от него. Ковальскому проще было судить: он видел одну сторону жизни Анны. Вернее даже одну грань ее. Много не мог предполагать. Мог только догадываться.

Он уехал из Пензы, где на кладбище теперь лежала Анна, в тот же день, намереваясь не останавливаться в Кубышеве, а ехать к родителям Анны – к сыну.

Надо было продолжать жить, с раздирающим душу чувством вины и горечи.

* * *

И в поезде его продолжали преследовать слова Марии, сказанные на прощание, когда он уже направлялся на вокзал:

– Христиане, чтобы преодолеть страсти и пороки, которые отрывают душу от богообщения и порождают себялюбие и гордыню, должны следовать правилам аскетике – посту, труду, молитве... Людям надо сохранить в душе мир Христов. Надо в повседневной жизни нести окружающим свет Божественной Истины. Этому стоит посвятить всю свою жизнь...

– Анна одобряла то, что ты верующая? Знала об этом? – спросил тогда Ковальский Марию.

– Анна знала, – спокойно отозвалась Мария.

– И как она к этому относилась?

– Анна была слишком земной, в ней было много чувства, – неторопливо проговорила Мария. – Но она бы обязательно пришла к Богу.

– Почему?

– Я так думаю, – ответила Мария.

Ее печальные глаза, пугающие глубиной, смотрели на него в упор.

Александр чувствовал, что тонет в их глубине, становится маленьким и беспомощным. Виноватым не только в том, что случилось, но и в чем-то еще. О чем знает и Мария, и он. Ему страшно хотелось просить у нее прощения за все, в чем мог быть виноват. Ковальский чувствовал, что готов признать вину и в том, что он не верит в Бога, а она верит. И он не разделяет этой ее веры, хотя и не осуждает ее за это.

Александр не попросил прощения. Он молчал. Слишком много сразу обрушилось на него. Ему надо было поразмыслить. По-другому не мог. Но знал: и слова Марии, и ее взгляд, и свое чувство вины – это надолго, если не навсегда, осядет в его сознании.

– Помолился бы в церкви за ее душу.

Ковальский вздрогнул, услышав эти слова, не веря, что они предназначены ему.

– Да, помолился бы, и тебе станет легче, – говоря это, она смотрела не на него. Ее скорбное лицо было опущено и глаза закрыты.

«Очевидно, это так, – думал Александр в поезде, сидя в общем вагоне, среди пестроты окружающего его люда. – Так... она верит во все то, что говорит. Мария, Анна – имена-то какие! Мария верит. Но как ей, и тем более мне, соединить эту веру с тем, как люди живут? Как я живу? Ведь я по-другому и не могу? И дорога к Богу всеми забыта. И какая она, эта дорога? И где она?»

Приехав из села, в общежитии он достал свою «производственную» тетрадь, намереваясь записать то, что пережил за эти дни. Долго сидел над ней задумавшись, глядя на чистый лист. Взял авторучку и написал, как лозунг или итог раздумий, всего два слова: «Надо жить».

Никто так и не узнает, чего ему стоили эти дни, связанные с поездкой на могилу Анны и к ее родителям. И эти письма Анны, переданные ему Марией. Он прочитал каждое письмо не один раз. Они были светлые, всепрощающие. В них не было и намека на какую-либо жертвенность... И от этого было еще больней...

И между всем этим светилось лицо сына, впервые увиденного им у стариков Бочаровых. Он не в силах был все соединить воедино. Чувства его дробились. Порой он начинал чувствовать себя в нескольких лицах...

...Через два дня он съездил на кладбище в Воскресенске, к Верочке Рогожинской. Будто в чем-то покаялся и перед ней. Он чувствовал

себя так, будто входит в новую жизнь. Непростую и нелегкую. И готовился к ней.

Его постоянно преследовали слова Марии, которые она сказала на могиле сестры. Они щемили ему сердце:

— Всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет.

Он не понимал и не принимал, не был готов к этому.

«Почему так должно быть? Почему она так покорно говорила эти слова? Я что-то не понял? Или она не договорила?»

Поражало еще одно обстоятельство: тогда, у Бобрового озера, лежа на золотистом стогу соломы, Александр думал о будущем. Думал о сыне, который возможно когда-нибудь будет. А сын уже был у него. И имя у него уже было — Саша.

Реальная жизнь обгоняла его мысли. Он отставал...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

...Темы для дипломного проектирования совмещенники получали на заводе.

В кабинете заместителя главного инженера по новой технике, который расположен на втором этаже заводоуправления, напротив диспетчерской, сидят трое студентов: Ковальский, Гуртаев и Султанчиков. Хозяин кабинета — Самарин Валентин Сафронович. Он уже более года как оставил цех по производству полиэтилена, выведенный на проектную мощность, и работал теперь в должности заместителя главного инженера.

— Я тоже когда-то получал тему своего дипломного проектирования на заводе и скажу: это очень рационально. Вы куда распределились? — проговорил Сафронов.

— Я и вот Султанчиков в Тольятти на «Синтезкаучук», а Ковальский — на Саратовский «Нитрон», — ответил солидно за всех староста группы Гуртаев.

— Отчего же в Саратов? — обратился Самарин к Ковальскому. — Вы же работали на нашем заводе, на полиэтилене. Я помню вас — неплохо работали.

— В этом году не было заявок на завод синтетического спирта, я взял в Саратов, — пояснил Ковальский.

— Странно. Ну ладно, мы еще вернемся к этому вопросу. Лучше бы, если вы делали проекты на том заводе, где собираетесь работать. Это было бы идеально. — Он посмотрел поочередно на каждого цепким взгля-

дом глубокопосаженных, слегка раскосых глаз и успокоил: – Но ничего, у меня есть темы, которые близки к производству саратовского завода и технологии получения каучука. А вот одна – исключительно хороша! Гидрирование ацетиленов. Очень перспективный и нужный процесс. Его на этих заводах нет, но я рекомендую. Очистка сырья, а сырье на заводе – среди основных составляющих.

– А какие исходные материалы есть? – поинтересовался староста. – Раз установку нигде посмотреть нельзя в натуре.

– Установка есть в Бургасе в Болгарии. Ее, конечно, не посетишь, но...

Сидевший молча Ковальский ясно почувствовал, что сейчас эта тема без материала будет предложена ему. Он стал усердно смотреть в окно на улицу, стараясь дистанцироваться от завязывающегося диалога.

Но Гуртаев был тоже не прост. Быстро сообразив, что от нее не уйти, применил испытанное средство:

– Валентин Сафронович, вот Ковальский: он и в студенческом научном обществе работает, и по всем техническим дисциплинам у него «отл» – он сможет эту тему осилить!

– Как, Ковальский? Рискнете? – улыбнувшись, спросил Самарин.

«Двух рыжих мне не победить», – усмехнулся про себя Ковальский и согласно кивнул головой.

Гуртаев, довольный тем, как ловко перевел стрелки, сидел, ухмыляясь. Его ярко-рыжая борода и щеки стали почти одного цвета – он еле сдерживался, чтобы не расхохотаться. Староста любил подобные штуки.

Когда темы были распределены окончательно, Самарин сказал, обращаясь к Ковальскому:

– Ничего, зато интересно, вот увидите. На кафедре попрошу, чтобы руководителем у вас был назначен я. Для меня эта тема важна.

– Но с чего мне начать, если нет даже нормативно-технической документации? – Ковальский пытался сходу уточнить, во что он попал.

– Для начала я позабочусь, чтобы вам выписали пропуск в местные проектные и научно-исследовательские институты. Вы там бывали? – обратился он сразу ко всем. – Никто, разумеется, не бывал. – Вот видите, будет навык на будущее. Поработаете над поиском литературы на эту тему в институтах. Там исключительные специалисты. Я дам вам фамилии и позволю им. Изучите, что есть, потом попробуете разработать свою технологическую схему установки.

Гуртаев и Ковальский переглянулись: «Ничего себе, тема».

Когда студенты вышли, Самарин пробежал взглядом по списку дипломников, который был у него на столе и отметил мысленно: «Этого Ковальского надо бы забрать на завод, он в цехе отличался и пытливостью своей и самостоятельностью. К концу практики, помню, сдал на пятый разряд аппаратчика. Допусков на рабочие места имел, кажется, три или четыре. Никто не подгонял его. Сам».

Зазвонил телефон. Валентин Сафронович взял трубку.

— Слушаю — Самарин, — напористым голосом сказал он.

Звонил Виктор Сергеевич Степашин, заместитель начальника цеха по производству полиэтилена, где еще недавно работал Самарин.

— Валентин Сафронович, извините, что внутрицеховыми вопросами отвлекаю, но индекс расплава сел, мы тут головы сломали. Серый полиэтилен пошел...

— Ничего себе внутрицеховые вопросы! Весь завод залихорадит. Ты у себя?

— Да нет, в лаборатории полиэтилена у Пелагейчевой.

Самарин мельком посмотрел на часы.

— У меня всего полчаса есть до совещания у директора, сейчас подъеду. — Он потянулся было положить трубку, но замер. — Алло, алло!

— Да, — прозвучало в трубке.

— Начальник ОТК Лунев Николай Иванович на месте?

— Должен быть, я с ним по телефону пять минут назад разговаривал.

— Пусть и он подойдет. Все будьте у Пелагейчевой.

Положив трубку, Валентин Сафронович, вернулся к мыслям о Ковальском: «Посмотрим, как будет выполнять дипломное проектирование. Может, его на полиэтилен потом и направить. Человека два-три туда сейчас надо бы молодых и грамотных. Недоработок масса. Немцы уехали, а мы все еще барахтаемся».

Вошла секретарь директора.

— Валентин Сафронович, совещание у директора переносится на четырнадцать с четвертью.

— Что так?

— Его приглашают в горком. Телефонограмма пришла.

— Спасибо. Вызовите мне, пожалуйста, машину.

— Хорошо.

Заместителю главного инженера по науке и новой технике Валентину Сафроновичу Самарину всего-то было чуть больше тридцати лет. Самый молодой главный специалист на заводе. Таких молодых на заводе не

назначали даже начальниками цехов. Он успевал многое. После того, как перешел в заводоуправление, вокруг него образовалась целая группа таких же молодых, и еще моложе, специалистов, тянувшихся к эксперименту, к новому. Таких, знания которых толкали к совершению поступков, принятию неординарных решений. Он умело ими руководил, вернее, координировал действия, и вскоре на заводе увидели, что образовался своеобразный мозговой центр.

Самарин готовился к защите кандидатской диссертации по заводской теме. Своих кандидатов наук на заводе еще не было. В начале года его утвердили на выпускающей «родной» кафедре в Политехническом институте Председателем государственной экзаменационной комиссии.

...— Ты зайди в институте к Эрнсту Адлеру, доктору химических наук, — посоветовал Ковальскому во вторую их встречу Самарин, когда они обсуждали тему более конкретно. — Я напишу ему записку.

— А пропуск?

— Позвоню, выпишут.

Ковальский понимал, что ему повезло с руководителем — это для него своеобразная, бесценная школа. Такие люди и специалисты, как Самарин, — редкие экземпляры. Это — айсберги. Но ведь и работу надо сделать. Надо будет защищать что-то.

...Султанчиков и Гуртаев уже понабрали кипы бумаг в техническом отделе, в производственном. Сходили в цеха на действующие установки, мощности которых им надо было увеличить в проектах. Раздобыли и технологические схемы процессов. А он? Только успел прорваться к своему руководителю, который постоянно занят.

Самарин всегда спокоен и уравновешен. Что это? Самонадеянность? Которая для него, Ковальского, может оказаться крахом? Либо это что-то истинное? Самое то, что отличает серьезного специалиста? Ковальский всегда тяготел к результативности. Если этого не просматривалось в том, чем занимался, его начинало корежить...

Эрнст Адлер был первым специалистом такого высокого уровня, вернее, вторым после Самарина, с которым столкнула Ковальского его работа над дипломным проектированием. Причем, обстоятельства так складывались, что эти три человека, разных поколений по-разному, но неуклонно шли своими дорогами. По-иному не могло, наверное, и быть с учетом их натур. Но уж больно изобретательна жизнь на разнообразии судеб, характеров...

Сын рабочего из Чапаевска, Самарин изумительно аккумулировал в себе и светлый разум, и академизм мышления, и простоту общения, взяв осознано и неосознанно все лучшее у своих прародителей.

И рядом Ковальский, с его беспокойной внутренней пульсирующей жизнью. Будто изначально чувствующий, подспудно угадывающий свое непростое предназначение, свою трудную самостоятельно достигаемую, но плодотворную будущность. В характере которого сейчас переплавляется и простое, и сложное. И низкое, и высокое. И сельское, и городское. Который внимательно слушает, замечает, изучает, что «кумекают» и Проняй с Синегубым, и ученые Калашников с Засекиным. И который уже догадывается, что жизнь человека – ничто, это как тополиный пух в летнюю пору. И в тоже время – это все! Что жизнь человека на земле – это самое важное, самое главное. Все вокруг – это плоды тысяч, миллионов, миллиардов, спрессованных временем жизней. И каждая человеческая жизнь, как химический атом, электрон имеет свое бессмертное место в большой всеохватывающей формуле, название которой – Жизнь на Земле.

Если бы Ковальский узнал о судьбе Адлера, он бы не сразу всему поверил. Крепенько заикленный на себе, на польском своем отце Станиславе Ковальском, он удивился бы судьбе этого ученого-химика. Жизни человека, вовлеченного, как и он, и Самарин, в общий поток, как в некий коридор. И в этом коридоре им довелось встретиться.

Доктор химических наук Эрнст Адлер родился в 1905 году в Австро-Венгрии в городке Солотвино. Его мать, еврейка, окончила в Вене консерваторию по классу фортепьяно. Будущий муж ее был на пятнадцать лет старше ее. Но не это было препятствием для брака. Его национальность – он был немец. И Максимилиан решился на неслыханное – принял иудейство. В гимназию Эрнст ходил в латанной одежде. Учился на «отлично» и поэтому деньги за обучение в гимназии не платили. В 1928 году Эрнст закончил философский факультет Венского университета. В следующем поступил на завод инженером-технологом и одновременно занимался диссертацией на кафедре Венского химико-технологического института. Защитил диссертацию в 1931 году и стал доктором философии в области химических наук. Впереди было блестящее будущее.

Все смешала большая политика. Началось тотальное давление Германии на Австрию. Витали слухи об аншлюсе, присоединении Австрии к северному соседу. Доктор Эрнст Адлер слушал даже однажды выступление канцлера Германии Адольфа Гитлера на площади австрийской столицы.

Положение евреев в Германии было ужасным. Когда Адлера в 1933 году пригласили в Советский Союз консультантом объединения «Союзхимпластмасс», он, поработав некоторое время, решил принять советское гражданство. Мать его бежала в Италию. Сестра с мужем уехали сначала в Палестину, а затем перебрались в США.

В 1938 году Адлера отправляют в Челябинскую область и фактически определяют под надзор НКВД. Он работает инженером на одном из небольших механических заводов, преподает химию и немецкий язык в средней школе. В июне 41-го, незадолго до начала войны, жена вместе с сыном Эрнстом отправилась в гости к дяде во Львов. С тех пор Адлер своих близких не видел.

В 1944 году его арестовали... за связь с международной буржуазией (мать — в Италии, сестра — в Палестине). Он получил десять лет без права переписки. Попал Адлер в лагерь под Карагандой. Выжил чудом. Доктор наук и профессор работал ассенизатором. В одном лагере с ним находился и знаменитый авиаконструктор Туполев. Ему повезло, вспомнили, что он из тех ученых, кого можно привлечь к созданию взрывчатых веществ. Так он попадает в «шарашку» в Ярославской области. Теперь уже давали работать по специальности и неплохо кормили. В то время рядом на нарах с Эрнстом Адлером находились ученые Удрнс, Кружалов, Сергеев, будущие авторы отечественной, известной во всем мире технологии получения фенола-ацетона.

Когда репрессивная система стала давать послабления, Адлер пасет коров на одном из островов, расположенном на Ангаре, чуть позже — шьет ватные штаны в промартели в глухом селе Красноярского края. Когда освободился, приехал в Москву. Друзья помогли с устройством на работу. Но квартирный вопрос? Ему так хотелось иметь свой угол. И Адлер с женой приехал в Новокуйбышевск. Здесь он проработал много лет. Его научные работы были запатентованы в США, Англии, Франции, Норвегии. Некоторые, еще со времен работы в «шарашке», носили гриф «секретно»

...— Можно войти? — Ковальский деликатно костяшками пальцев постучал в светлую приоткрытую дверь заведующего лабораторий.

— Конечно, — отозвались из глубины кабинета.

Ковальский вошел и представился. Лысоватый человек привстал и протянул руку.

— Да-да, мне передали записку Валентина Сафроновича. Я ему позвонил — сказал, что материала так мало, почти нет. Даже на уровне данных для регламента на проектирование.

Приветливое пожатие руки и не столь радостное известие, которое Ковальский услышал, все смешалось в одно.

— Вы садитесь.

Ковальский сел на стул около стола.

— Когда-то, я знаю, этим процессом занимался головной институт в Москве. Был регламент производства, кажется, на платиновом катализаторе.

В дверь без стука вошла полненькая брюнетка с яркими губами.

— Эрнест Максимильянович, вы сказали, как только данные будут готовы — несите. Я принесла!

— Аллочка, у меня молодой человек, я, собственно, занят... А, давайте, — он нетерпеливо посмотрел в протянутый раскрытый журнал. — Мы по-прежнему так небрежно пишем? Я же просил, пожалуйста...

— Я поправляюсь, Эрнест Максимильянович!

— Поправляетесь, оно и заметно.

Полненькая брюнетка, очевидно, поняла двусмысленность своей фразы и, сконфузилась, мельком глянув на Ковальского.

— Вы и сегодня, несмотря на мои предупреждения, опоздали на работу на пять минут. В который раз, кстати. Так вот вы поправляетесь? — Он говорил спокойно, между делом.

— Ой, вы знаете, я так из-за этого весь день переживаю.

— Ну, что с вами будешь делать, идите: освобожусь — мы обсудим данные, пригласите Сергея Викторовича. Заодно я вас и отругаю по настоящему.

Глаза у заведующего лабораторий улыбались, а лицо было строгое. Он кому-то еще позвонил, поручил посмотреть архивы, и они договорились, что Ковальский явится денька через два. Уже когда Александр уходил, Адлер предложил:

— А давайте-ка, я звякну главному инженеру проекта Филимонову Владимиру Игнатьевичу, у них что-то да есть в «Гипрокаучуке».

Примерно через полчаса Ковальский был уже у Филимонова.

Из проектного института Ковальский вышел если не окрыленный, то хотя бы более-менее уверенный. Ему помогли в технологическом отделе найти параметры процесса и тип катализатора. Это было уже кое-что.

Он присел на скамейку в садике, примыкавшем к площади, обдумывая ситуацию. Его жег интерес к своему проекту, хотелось быстрее войти в работу. Удивляли окружающие. Интересные люди. Институтское, рутинное, иногда занудливое ученичество, которое он всячески пытался разнообразить работой на кафедрах философии, процессов и аппаратов химической промышленности, выводило его на другое качество — на живую работу, связанную с новыми проектами, по новым научным разработкам. Взять хотя бы его проект, пусть дипломный.

«Я все-таки правильно сделал, что в свое время не пошел работать к Калашникову на кафедру неорганической химии с прицелом на аспиран-

туру. Это все-таки не так грандиозно, как может оказаться работа на заводе».

Интерес к науке у него проявился на четвертом курсе, к концу которого он сделал большую самостоятельную работу по ректификационным аппаратам на кафедре «Процессы и аппараты». Тогда же получил диплом первой степени во всесоюзном студенческом конкурсе по философии. Ему нравилось заниматься и техникой, и философией.

На том же четвертом курсе забросил окончательно занятия тяжелой атлетикой. Кандидатам в мастера спорта уже полагалось заниматься через день. Это было не для него. Он просто не успевал, не хватало времени.

...Вспомнив разговор в кабинете Адлера, полненькую брюнетку, улыбнулся. Ему понравился обаятельный профессор. Умные улыбающиеся глаза выдавали в нем большое жизнелюбие. Если бы Ковальскому рассказали о его судьбе, он бы о многом задумался.

Его начинали неудержимо интересовать люди, их судьбы.

...С обратной стороны большой записной тетради, в которой первую запись он сделал о полиэтилене, около мобилизующего «Надо жить», надписал: «Моя дорога», предполагая вести личный дневник. Но пока первый лист был чист. Дневник намеревался начать уже взрослый человек. Это, наверное, и сберегало пока чистоту листа. Дорога этому человеку предстояла непростая. Очевидно, Ковальский сам это чувствовал. Поэтому не суетился.

Александру захотелось побывать в рабочем общежитии на улице Гагарина, где когда-то он жил, работая на заводе. Интересно было встретиться с Михаилом Обориным, с заведующей общежитием, вахтершей Феней. Помнит ли Феня его мать? Но он никого не застал. Феня сменилась после ночи. Заведующая, как сказали на вахте, уехала на завод.

Он поднялся на третий этаж и постучался в комнату номер «87», где он когда-то жил.

Дверь открыли не сразу. Чуть позже парень с заспанным лицом пояснил, что Оборин недавно женился и уехал работать в Новополоцк, там ему обещали быстро выделить квартиру.

— Я в том же цехе работаю, что и он. Сегодня в ночь. Вот спал перед сменой.

В чистой и опрятной комнате было все знакомо. Даже двухпудовая гирия и та была цела. Стояла около шкафа для одежды. Он попрощался и вышел. Парню надо спать.

* * *

Когда уже в Куйбышеве шел от трамвайной остановки в общежитие, у Вшивого рынка столкнулся с Рамазановым. Иннокентий, прислонившись к углу киоска, ел беляш. Второй, большой и мясистый, он протянул Ковальскому.

— Здорово, Алекс! (Он один так его называл.) Сколько же мы не виделись!

— Больше месяца, — ответил Ковальский. — Ты хвосты-то свои сдал?

— Да сдал, сдал, — хитровато улыбаясь, ответил тот.

«Ох, и проныра, наверняка схимичил как-нибудь. Это из его репертуара», — подумал Ковальский. Вслух сказал:

— Ты в Самаре-то живешь?

— Мне некогда в Самаре бывать. Я таким сейчас делом занят! Давно хотел тебя увидеть и поговорить.

— Говори, раз дело.

— Давай вместе поработаем года три. У нас с тобой такое может получиться! Через год — я точно буду кандидатом наук. А через парутройку лет и ты им станешь. Гарантирую. Если будем, конечно, вкалывать. Я сейчас в Казани работаю у Айнштейна Виля Семеновича. Это будущее светило в советской хроматографии. Он уже сейчас доктор наук. В тридцать лет! Возьмешь у него тему и сразу будешь делать диссертацию.

— Нет, я не готов.

— Почему? — нервно засмеялся Иннокентий. — Неужели из-за Влады? Простить не можешь? У нас и было-то с ней совсем случайно. Потом разбежались сразу. Теперь — просто дружба.

«Наш пострел везде поспел», — кольнуло в самое сердце Ковальскому.

— Я уже тему для дипломного проектирования на заводе получил, — глухо ответил Ковальский, думая про Владу. «Она и мимо него не прошла? Или врет?»

— Да брось ты эту тему!

— Нет, мне без денег надоело. Я пойду на завод поработаю. Три года — это много.

— Зря ты это, — вновь нервно усмехнувшись, возразил Иннокентий. — Ты сам ее тогда оставил. Ну? А Влада она...

— Нет, я не готов, — стоял на своем Ковальский.

Они доели беляши и разошлись.

* * *

Давно уже опустела шумная лаборатория неорганической химии в левом крыле института на втором этаже. За столом двое – химик Калашников и профессор Засекин. Калашников выглядит уставшим. Идет зачетная неделя. Сегодняшний день был крепко загружен. А Засекин, как всегда, напорист:

– И все-таки я уверен: предкам человека не повезло. Оторвавшись от родных ветвей, они не смогли залезть обратно.

– Да не верю я в Дарвина, человек произошел не от обезьяны, – отозвался Калашников.

– А от кого?

– Не знаю, – охотно признался химик и, мотнув рукой, чуть было не смахнул колбу с чаем. Подхватил ее, налил себе в стакан и замолчал намеренно равнодушно, глядя в свой стакан. – Послушали бы нас наши студенты, они бы посчитали нас ненормальными. А еще преподаватели.

– Может быть, – вполне миролюбиво согласился Засекин. Но только для того, чтобы не уйти в сторону от своей важной такой для него мысли. – Почему когда-то произошло, а потом ни одна обезьяна не превратилась в человека, а? Ну... простой же вопрос? Я читал Мечникова: человек мог родиться, как необыкновенное дитя человекообразных обезьян, в какой-то свой период, когда с ним шли какие-то изменения, они нарождали своих детей с новыми признаками – наших предков.

– Что? Люди – обезьяньи выродки, что ли? – изумился ученый химик. – Ты это хочешь сказать?

– Звучит грубо, но по сути верно. Наши предки, первые люди, были «обезьяньи уроды». Это специалисты понимали.

– И что же дальше?

– А дальше выглядит все прискорбно. Предкам нашим пришлось призадуматься. Они научились варить и жарить. Они утратили свои мощные челюсти и не могут теперь обходиться без огня. Они многое перестали уметь делать. Очень многое. Какой же это прогресс в развитии. Человек представляет собой остановку развития человекообразной обезьяны. А если представить его развитие, нормальное развитие до логического конца, то оно приведет нас к совершенным разительным формам – к обезьянам.

– Ты все-таки о чем, Николай? Я же вижу: у тебя главная мысль никак не прорежется.

– Да прорезалась, не волнуйся. Вот она: все то, что мы изобрели – паровозы, самолеты, всякие механизмы, химия, нефтехимия, вот эти твои колбы, реторты – это все зигзаг развития. Это все вовсе и не развитие. Все, что изобрел, придумал человек, – только от того, что он без этого не может. Он утратил возможности, которые были у предков – обезьян. Они обходились – он не может. И моральный урон, понесенный в ходе эволюции, чрезвычайно велик. Ради того, чтобы как-то скомпенсировать его, люди придумали миф о своих необычайных умственных способностях. Глупости все это.

– Николай Николаевич, ты всерьез все это говоришь? Человек – деградированная обезьяна? По-твоему, так? Ужас!

– Я утверждаю, что человек всего лишь путник, заблудившийся на путях эволюции.

– Знаешь, почему у нас нет настоящей научной истории и экономики? – спросил, кисло усмехнувшись Калашников. И сам ответил: – Потому что умнейшие экономисты и историки вроде тебя занимаются чем угодно, но не историей.

– Да брось ты, Иван Максимович! Истории нет, потому что она перекраивается на потребу, ты знаешь это. Человечество, если не останется, погубит себя! Я об этом думал. Об этом многие умы думали. Но жизнь человеческая коротка. Голос одного, нескольких человек, слаб – человечество не слышит. А люди, понявшие суть, уходят. Приходят другие – и их не слышат. Но это – не до бесконечности. – Он нервно всплеснул руками. – Вот послушай Федора Тютчева.

*Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Все зримое опять покроют воды,
И Божий лик изобразится в них!*

Он это написал в еще 1830 году. Он понял. А обезьяны... Тютчеву открылось. Понимаешь, он гений. Он увидел то, что недоступно миллиардам. Мир погубит сам себя, вернее, люди доведут все до того, что Сам Создатель вынужден будет начать все сначала, ибо мы вышли из Его повиновения. Он переоценил Свои возможности – мы не такими получились. Мы ушли в цивилизацию. В войны, в грех – мы не оправдали Его надежды. Создатель удручен. Опыт Его не удался. И Он когда-нибудь, а это может быть скоро, начнет ставить новый опыт. С чистого листа. Ведь, если восстановить погибшего человека, очень многое, самое главное решится на Земле.

– Николай Николаевич, ты только что говорил, что мы все от обезьян произошли. Да еще от каких-то больных, – перебил его Иван Максимович. – Теперь наоборот, я что-то не пойму.

– Да это так – метафора, я хотел сказать, что не туда мы идем. К гибели. Вот и все, – спокойно пояснил Засекин.

– Ну, ты... Морочишь голову?

Калашников давно сел к торцу лабораторного стола и с серым лицом, не глядя на Засекина, слушал его. Голос до него доходил будто откуда-то издалека. И принадлежал он не Засекину, этому лысоватому, с серой бородкой, прокуренному насквозь человеку, а какому-то другому, давно знакомому, но далекому отсюда и более основательному. И все, что тот говорил, можно было бы принять за некую истину. Но отодвинутую далеко. Все могло быть, но через тысячелетия или еще позже. «Куда торопится Засекин?» – думал он. Повернув лицо к собеседнику, декан произнес:

– Николай, у меня после разговоров с тобой в последнее время все чаще болит голова. Ты полубольной и меня заразишь. Ты так все переворачиваешь. Мне такое и такими дозами не под силу. Я карлик перед тобой. Извини. Но я думаю карлик. И я думаю, что хватит об этом. Это лишает сил делать обычные рутинные дела.

– Еще Достоевский считал поиск правды главной нашей национальной чертой, – не сдавался Засекин. – Если не будем искать истину и правду, мы уже не русские.

– Хорошо, я готов поверить, что искусство, улучшение человеческих качеств способно преобразовать мир. Хорошо. Пусть так. Но у меня сомнение: без технического прогресса и красота, и искусство не способны этого сделать. Не способны. Хоть убей – не поверю.

– Верь – не верь, а дело обстоит таким образом. Мне дано понять.

– С тобой, как с юродивым, невозможно спорить. Ты вроде во всем прав. Но жизнь состоит не из одних юродивых. И не они ее вершат.

Последние слова собеседника не обидели. Даже наоборот, он смотрел сейчас на своего пожилого коллегу-профессора, как на первокурсника. Потом сказал тихо и потому еще более, казалось, убедительно:

– Человек, я понял, совсем маленький винтик в той огромной машине, которую ты называешь прогрессом. И крутится он, винтик этот, вокруг другой персоны – истинного Творца эволюции...

Слышал бы Ковальский их разговор.

* * *

Ковальский и раньше впитывал все, как губка, но сейчас его особенно привлекали к себе люди – их жизни и судьбы. Ему тесно становилось в рамках технических знаний. У него появилась на первый взгляд, может быть, странное желание: посадить вместе за один стол, на одну лужайку, лучше, в одну лодку, и пустить ее по течению – Проняя, деда своего Ивана Головачева, декана Калашникова, профессора Засекина, а вот теперь и Самарина. И послушать, что и как, и о чем они будут разговаривать!

Он уже догадывался, что скоро начнет писать. О жизни! Эта догадка обжигала. Мог быть такой замах! Но надо же крепко знать жизнь! Или ее так до конца и не узнаешь? Необъятна! Тогда надо сильно и глубоко чувствовать. И надо суметь об этом сказать. Не памятью брать, не знанием жизни, а тем, как это пропущено через тебя. Почувствовать несовершенство, несправедливость мира. Быть как бы в оппозиции к несовершенству, несправедливости мира. Но это уводит от стремления познать жизнь? «Знать, чтобы забыть, а когда надо – вспомнить» – это для ученого. А не для пишущего: знать и постоянно носить в себе, чтобы когда-нибудь высказать максимально приближенно к тому, что чувствовал. Так или нет?

...В общежитии он в своем «кармашке» обнаружил письмо от матери. Надорвал конверт. Как обычно, мать писала обо всем понемножку. Видно было, что скучала. Но домой не просила приехать. Жалела. Не хотела, чтобы маялся в дороге: на улице была осенняя слякоть. Писала бесхитростно о домашних делах, о том, что, как только ударят морозы, зарежут поросенка.

И сразу без перехода: «У ДЕДА НА ВТОРОЙ ГЛАЗ ГЛУКОМА ПИРИШЛА. НЕ ЗНАЙ ПРЯМА ЧЕГО И ДЕЛАТ. ТАКИ ДЕЛА».

В конце письма была приписка, которая, может быть, и была причиной письма: «ЭТОЙ АСЕНЬЮ ТАК МНОГО ЧТОЙТА СВАДЕБ СЛУЧИЛОСЬ. ТАМАРА ЗАРЕЧНАЯ ТОЖЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ. В ЭТО ВОСКРЕСЕНЬЕ СВАДЬБА БЫЛА БОЛЬШАЯ. ОТЕЦ ЕЕ УЖ БОЛЬНА ТОРОПИЛ ЗАМУЖ ВЫХОДИТЬ ВИДАТЬ ЧУЯЛ ЧТО ПОМРЕТ СКОРО. ЗА УЧИТЕЛЯ ТОЖА ВЫШЛА. ТИБЕ НЕ ДОЖДАЛАСЬ. ВСЕ ДУМАЛА БУДТЕ ВСТРЕЧАТЦА СПРАШИВАЛА МИНЯ В КЛУБЕ КУДА ТЫ ПРОПАЛ. ПОТОМ ПЕРЕСТАЛА СПРАШИВАТЬ. ПОНЯЛА ЧОЙТА ПРО ТЕБЯ».

Это сообщение матери его не обеспокоило. Лицо Александра, когда он читал письмо, чуть тронула улыбка.

Порадовался сообщению о Лашманкине. Она писала: «ПЕРВАЯ СВАДЬБА У МИШИ СЛАМАЛАСЬ. ЖЕНИЛСЯ ТЕПЕРЬ ОН НЕ НА КОЗЫРНОВОЙ А НА ХОРОШАЙ.

НЕ ТОЙ С КАТОРАЙ ГУЛЯЛ ДО АРМИИ ОНА НЕ ДОЖДАЛАСЬ ЕГО. УЕХАЛИ КАК ЖЕ-НИЛСЯ ДАЛЕКО КУДАЙТА ГДЕ ДЕНЬГИ БОЛЬШИЕ ЗАРАБОТАТЬ МОЖНА».

...Чтобы теперь Александр ни делал, он не переставал думать об Анне.

«Оказывается, с Анной у меня все эти годы была не любовная связь, не любовный роман — это была часть моей судьбы. Моя судьба. Оттого ли, что я сам рос без родного отца и остро чувствую это, но появление сына, который теперь без матери, да и без меня отца пока — это так теперь все изменило. Я на многое стал смотреть по-другому. Жизнь не там где-то, в будущем, а здесь, сейчас. В нас. Меж нас всех, с нами. Жизнь идет. Она неистребима. Она чревата будущим и надо с ней быть в серьезных отношениях. Зародилась, закладывается новая судьба. Судьба моего сына! И уже с такими завихрениями... А я иду где-то рядом, параллельно пока, и не в силах изменить то, что уже случилось. Только теперь и в будущем я могу что-то сделать... Но это «что-то» так теперь прихотливо зависит от того, что уже есть... сделано... Как поступать?»

Чуть позже его догнала мысль, которая никогда не приходила, пока не было сына: «Как странно получается: родился человек, — думал он, — растет, развивается, а где-то рядом или, наоборот, далеко, а может, и тут, и там растут другие люди: одни — его будущие друзья, другие — враги, третьи — просто так — знакомые. Некоторых могло и не быть. Потом все это переплетается непонятно по каким законам и всплывает из этой мешанины один, два, три человека или события, которые определяют очень многое. Как моя встреча с Анной или рождение сына. Все могло быть и не быть вовсе! Как это все и кем это все регулируется? По каким законам должен где-то появиться человек, который принесет либо горе, либо счастье другому? Как он оттеснит всех и станет главным?»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Дипломное проектирование у Ковальского вскоре стало двигаться успешно. После нескольких встреч и обсуждений в кабинете у Самарина и на кафедре окончательно сложилась технологическая схема, и Ковальский начал ее чертить на «миллиметровке». Вместе с чертежами основного оборудования получалось семь ватманских листов.

Он полагал, что на миллиметровой бумаге легче будет чертить. Так и оказалось. Потом он намеревался перенести чертежи на ватман. Делалось это просто: «миллиметровку» с изображением надо было расстелить

на большое толстое стекло, на него положить лист ватмана и подо все это поместить мощную электрическую лампу. По просвечиваемым линиям чертеж переносился легко и быстро. Техника на уровне студенческой фантастики! Такое сооружение называлось дралоскоп. Вполне даже научно.

Когда закончил всю технологическую схему на «миллиметровке», захотелось прервать чертежный марафон и махнуть домой в село.

Так Ковальский и сделал.

* * *

— Откель ей жизни-то лучше быть, коли народ становится все хуже и хуже, — говорит не спеша Синегубый, продолжая только что начатый разговор.

Он сидит около предбанника в тенечке. Синегубый приехал на своем меринке, как обычно запряженным в зеленый фургон. Привез мешок дробленки. Мешок в баньке, а старики около нее. Рядышком водичка колодезная.

Проняй примостился недалеко от Синегубого. Курит. Рядом стоит сумка из кирзы с пустыми бутылками. Он шел в «магазин», да вот завернул к Любаевым в огород.

— Это к лучшему, что хуже.

— Как так? — переспросил Синегубый.

Проняй, как бы нехотя, отвечал:

— Закон есть такой. Он есть, а делают вид, что его нету, энтова закона... А закон энто на все случаи. Им любую гайку крутануть можно, как ключом.

— Это какой же такой закон?

Ковальский рядом. Он перебирает хворост. Затеял Василий Любаев поменять крепкие еще плетни с правой стороны огорода от Лаптаева переулка на изгородь из кольев и хвороста, связанных проволокой и установленных торчком. Такая намеренно редкая изгородь, с зазорами между кольями и хворостинами, не должна была сдерживать весенний поток воды. Плотно сработанные плетни каждую весну взъерепенившаяся Утевочка валила и раскрывала огород одним махом. Вода неудержимо все сметала. Любаев давно приготовил все необходимое. Теперь дело за работниками. Василий Федорович не стал дожидаться, когда Александр вернется от Бочаровых, куда пошел повидать своего неожиданного сына. Начал один.

Работников отвлекают. И вернувшийся Шурка, и Любаев то и дело прислушиваются, о чем калякают около баньки.

А там рассуждают о самом главном – об устройстве мира. Никак не меньше! Ласковое солнышко греет старые кости старикам. Летают легонькие паутинки. На стадионе пошумливают ребятишки – наверное, урок физкультуры идет – все как всегда. Александру это не просто хорошо знакомо, привычно, но отраднo и радостно. Если бы не эти вот постоянные планы отца, был бы Ковальский сейчас на стадионе. Вечное отцовское переделывание уже сделанного, безудержное желание сделать по-другому, лучше и крепче, – не отпускает.

Александр помнит, как они вдвоем с отцом плели эти плетни, как отец учил его заделывать края, уплотнять вязку. Он так же когда-то научил Александра плести кошелки. Но теперь, наверное, кошелок уже нигде нет. Да и плетни становятся редкостью. Надолго не пригодилось Ковальскому такое ремесло. Он догадывается, что отец еще и из принципа хочет избавиться от плетней. Одно дело – дедовский плетень. А другое – стройная, высокая изгородь, какой ни у кого нет.

Любаев направился к мужикам передохнуть, но сначала двинулся к колодцу.

– Ну, как там у Бочаровых? – спросил он на ходу у Александра вполголоса. Хотел сказать «как дела у твоего сына», не решился. «У моего внука» мог бы сказать – еще более необычно. Сказал, как сказались.

– Да так, ничего, – уклончиво ответил Александр.

– А что смурной такой?

– Муж Анны чуть не погиб.

– Как так? Вот еще новость, все в одну кучу.

– По пьянке на мотоцикле под грузовик попал. Одну ногу отняли. Врачи хотят и вторую, он не дает.

– А с дочкой как же?

– Говорят, его родители уже забрали ее к себе.

– Беда, уж верно, одна не ходит, – покачал головой отец.

И, так покачивая головой, Любаев пошел к колодцу. Там нечаянно задел ногой за сумку с пустыми бутылками деда Проня.

– Не разбей, смотри, мою пушнину, – предупредил тот.

– Какую пушнину? – не понял Василий.

– Ту, что насобирал с утра. Там финансов на три буханки с лишним хлеба.

– Добытчик, – усмехнулся Любаев.

Проняй поежился при этих его словах. Он всегда говорил, что сдаст только свои. При ученом сыне в городе, как он понимал, собирать и сдавать чужие бутылки было несолидно как-то...

— Хочешь, я тебе про твои бутылки анекдот расскажу, внук вчера все донимал младший, — сказал подошедший Минька Горбачев. — А то ты все про мировые теории.

— Скажи, — согласился Проняй. — Послушаем твой анекдот, коль своих мыслей на пустой желудок не имеешь.

Минька пропустил колючку мимо себя. Как бы не понял ее. Взглянул на Ковальского, будто только что увидел, и, важничая, спросил:

— Ну, как ты там в городе-то обвык? Мать думает о сыне, а он — о дальней дороге. Помни это. Катерина говорила, ты там в совмещенниках ходишь каких-то.

— Пытаюсь, — ответил Александр.

— Давай, не ленися. — И, выдержав паузу, будто вспоминая ненароком обещанное, начал: — Дело было в самолете, — сказал он так внушительно и деловито, будто и вправду, дело это было. — Ну, ходит один мужик по самолету Ту-134 и собирает бутылки пустые. Лететь далеко, наверное, поиздержался человечешко. Насобирали, навроде тебя, Проняй, цельный рюкзак.

— В самолете-то целый рюкзак? — засомневался со знанием дела Проняй. — Я вот две улицы обошел, — забывшись, признался он, — общий двор посетил...

— Не мешай, — урезонил его спокойно Синегубый. — Это ж анекдот. Конец важнее правды в серединке.

— Да и в анекдоте должна правда быть, — вроде тоже резонно возразил Проняй.

Василий глянул пристально на Александра и усмехнулся.

Ковальский поймал этот его взгляд и вздрогнул: «Он их слушает, а думает обо мне, о моих делах. Как совместить это все: нас с Анной, ее смерть, беду ее мужа, бесшабашного Евгения, и Сашу со Светой? Где моя вина, а где чья? И как об этом всем говорить? И надо ли? И как все совмещается — трагедии, смерти. И вот эта неспешная, монотонная жизнь, которую я здесь наблюдаю? Как на другой планете! С другими оборотами. Странно».

— Ну, насобирали он цельный мешок, открыл дверцу из самолета и вышел — сдавать, значит, направился пушнину, — тянул свое Минька. — А в проходе еще один мужик с таким же рюкзаком сидит. Как расхохочется. Заливается себе, смеется. «Чего ты смеешься? — спрашивает его эта, деваха-то, которая пить подает всем. — Ты пошто не пошел с

ним?» — интересуется. А он перестал смеяться и говорит: «Я дурак, что ли? Иттить сдавать, сегодня ж понедельник — магазина на выходном дне — не работает!»

— Самолет из дурдома летел? — деловито поинтересовался Синегубый.

— Не, зачем? Ты не...

— Тогда в дурдом, — поправился с серьезным лицом Синегубый.

Все засмеялись. У Миньки лицо сделалось недовольным. Он не совсем понял, над чем смеются. Вроде б как Синегубый перешиб его анекдот? Или, наоборот, крепко подправил? Непонятно. Он так подумал и засмеялся со всеми. На всякий случай.

— Так какой же такой ты открыл закон универсальный, которым можно любую гайку подтянуть в жизни? — спросил Любаев, когда смех потихоньку затих.

— Закон не я открыл, — начал Проняй. — Законы живут промеж нас. Я не говорю о тех, которые в верхах умные головы придумывают. Эти законы самодельные, они бывают с осечками. А есть такие, которые в землю закопай, а он вылезет, в воду притопи, а он выплывет. Сами рождаются такие законы!

— Это откуда ж у тебя такая уверенность в этом деле? — удивился осторожно Горбачев.

— А я несколько раз с Граблиным, который из Покровки, разговаривал. У него ума палата, а говорить он — Москва.

— И что же он говорит?

Горбачев уже «нагрелся», это видел Проняй и не торопился. Он знал свое дело. Не одну историю за свой век рассказал. Зачем за бесценок торопиться отдавать товар. Ему красную цену могут дать, коль умеешь.

— Все дело в двигательной силе, — глубокомысленно изрек Проняй и потянулся к бадье, стоявшей на скамеечке. Ему и пить-то не очень хотелось, но надо было сделать передых. Он это чувствовал.

— Ты, ежели так будешь рассусоливать, — улыбаясь, сказал Синегубый, — кооперацию закроют, как в том самолете, сдавать некому будет.

— Она, чать, не сгниет, пушнина-то моя. Вечная материя стекло-то. — Он отошел от скамейки, сел на прежнее свое место. — Надо сперва понять, из чего состоит эта самая двигательная сила, — начал он.

— Движущая, — подсказал Александр, севший на порожке предбанника.

— Во, Сашк, молодец. А то я чувствую, какой-то сучок в слове мешает рубанком водить — разгону нет, а теперь все на месте. Ты и закон знаешь о движущей силе? — вдруг обеспокоено спросил он.

— Нет, — поторопился ответить Ковальский, делая попытку не попасть в дедову ловчую яму.

На соху колодца, откуда ни возьмись спланировав, уселась ворона. Она, наверное, когда летела за банькой, не видела мужиков. Теперь смотрела на них в упор с верхотуры, наклонив голову. Не знала, как поступить: остаться или улететь?

— Я не могу говорить далее, — удрученно сказал Проняй. — Ворона эта простая, али агент какой разведки, может, кто знает? Ведь слушает, потом понесет, куда надо и не надо. Минь, прогони ее!

Минька послушно замахал руками. Ворона не спеша, с достоинством снялась с сохи: «Чудаки какие, связываться с вами — себе дороже», — говорил ее независимый вид.

— Дед, не тyani, говори, а то дело стоит, — подтолкнул Любаев.

И Синегубый было уже встал, собираясь уходить.

— Я, чать, не корова дойная, не торопись, — урезонил слушателей Проняй и нарочито суховато сказал: — Все дело в кодексе.

— В уголовном? — уточнил Горбачев.

Синегубый присел на травку.

— Я про кодекс строителя коммунизма говорю!

— Чего? — Синегубый удивленно посмотрел на Проняя.

А тот спокойно пояснил:

— Изворотливость, предприимчивость исчезают. Купцы раньше какие махинации делали! Ум надо иметь! И дела шли в гору. А теперь нас всех власть причесывает одинаково — и никому ничего не надо. НЭП Ленин возродил от безысходности. Он голова был! Мозговитый! Чтоб жилу возродить деловую — возродил частную собственность. Сейчас-то ведь никому ничего не надо. Личной корысти нет — дела нет.

— Проняй, ты контра, что ли? — вяло как-то, для порядка будто, удивился Минька и посмотрел на всех поочередно: кто еще что скажет? Но все молчали.

А Проняй пояснил спокойно:

— По кодексу мы должны быть все, как ангелы. Вот и конец нам будет. Все будем правильные и чистенькие — с голоду помрем. Порок человеческий — движущая сила, — наконец сказал он самое главное. — А порок этот повязан правосудием должен быть. Ограничен только, а не изничтожен.

— Мудрено очень и неподъемно для ума, — определил Синегубый.

– Да где уж там! А ведь не очень все тяжело понимать, – усмехнулся Проняй. – Я тоже сначала с Витамином Граблиным спорил, а теперь все в кишках застряло. Хотя мозги уже не так, как раньше, шевелятся и мысли не сразу высекаются, но кое-чего уяснил. Если все плуты, проходимцы, взяточники пропадут, жизнь станет вялой, не нужны будут суды, не нужны исправительные колонии. Контролеры, проверяющие – не нужны. Все же будут честные. Сколько народу останется без работы: судьи, адвокаты, чиновники разные – усохнут. Честность всеобщая подрубит торговлю. Неинтересно продавать без корысти!? Обчество начнет гнить. Граблин уже сказал мне сроки. Все будут честные и... голодные. Без портков.

– Как же нет корысти? – встрепенулся понурившийся было Горбачев Миня, обрадовавшийся своей догадке. – Есть корысть, всеобщая!

– Какая? – прицелился в него насмешливым глазом Проняй. – Не понял.

– Ну, как же, ведь коммунизм строим. Счастье для всех! Вот тебе и корысть, да какая! Общечеловечья для всех! Понял, чем парень девку донял?

Ковальский старался не пропустить ни одного слова. Этот разговор имел для него особый смысл: он помнил рассуждения профессора Засекина. Их диалог с Калашниковым он помнил чуть ли не дословно.

«Ведь они говорят об одном и том же: что должно двигать в будущем обществом? Идея Засекина красивая: только улучшение человеческих качеств выведет человечество к благоденствию. У Проняя с каким-то покровским Граблиным совсем иное в их самодельной теории. Все грубее, но живучее: лишь личный интерес толкает человека к свершениям. Скажи-ка это в институте на кафедре?».

А тем временем Проняй продолжал, отмахнувшись, как от мухи, от Мини одной фразой:

– Да ну ты! Коммунизм для всех? Раздухарился. Пупок лопнет, не построишь для всех. Придут оттуда, где его нет, и всех голыми руками придушат – все же ленивые будут, но праведники.

– Проняй, ты промежду нас – Гулливер, – сказал, мелко мигая мутноватыми глазами, Миня.

Он было приосанился, готовясь еще что-то произнести важное, но вместо этого громко икнул.

– Клыкаю чтой-то с утра, – смешавшись, сказал Миня.

Синегубый пришел на помощь:

– Сходи к Пупчихе, она даст полстакана лекарства.

– У ней давалка отказала, – уныло протянул Горбачев.

— Чтой-та так вдруг?

— Не вдруг, — тянул Миня. — я ей уже за две бутылки должен. Маторию объявила. Теперь я в ее водах не пловец, а бегун.

— Какой такой бегун? — спросил Синегубый.

— Должок за мной, я и бегаю, — отозвался Миня скучноватым голосом.

И так же скучно замолчал.

— Дед, ты правда контра, — запоздало вроде бы определился Синегубый. — За капитализм, что ли? За толстосумов разных... этих...

— Опять двадцать пять. Я про Фому, а он-те — про Ерему. Балагурь почем зря. Эт-т я только недавно кое-что к старости понимать стал. А по молодости я комсомолец был заядлый.

Любаев, взяв охапку хвороста, пошел к городьбе, никак не отреагировав на последние слова Проня.

«Надо обязательно с Засекиным обсудить проняевскую движущую силу. Что он скажет? Наверное, он тоже думал о личном интересе?» — Ковальский встал и пошел к кучке хвороста. Он никак не думал, не мог предположить, что неугомонный в мыслях Засекин совсем недавно в разговоре с Калашниковым вспомнил о нем, Ковальском. И не только о Ковальском, обо всем сразу, что его окружало здесь.

— Хотим мы с вами, старина, или нет, — говорил Засекин прохаживаясь на кухне у Калашникова, — но идет сейчас особенно интенсивно, в связи с индустриализацией и вот теперь химизацией народного хозяйства, становление интеллигенции и интеллектуальной элиты в первом поколении. Выходцев из села, из крестьянской среды. Можешь не сомневаться, это действительно целое поколение. Ведь смотри, — он подошел ближе к окну, с любопытством, вытянув по-птичьей шею, посмотрел за окно на огромное пространство Волги, — вот смотри: к началу отечественной войны и после ее окончания подавляющая часть интеллектуальной элиты нашей страны, специалисты высшей квалификации — ученые, в том числе доктора наук и академики, инженеры, врачи, педагоги, руководители крупных предприятий, государственные деятели — все были выходцы из крестьянской семьи. Интеллигенты из крестьян.

— Ну, это все известно, я не возражаю, — проговорил Иван Максимович, разливая чай.

— Да ты слушай, химик, я нашел силу, которая значительно может повлиять на то, чтобы мы все не вымерли от результатов своих же достижений. Чтобы мир не вымер. Сейчас основная задача человечества — совершенствование своего качества. Я тебе уже об этом не раз говорил. Трансформация нашей цивилизации и разумное использование ее

огромного потенциала возможны лишь за счет соответствующего развития человеческих качеств и их способностей. И я это теперь под некоторым другим углом зрения вижу. Выходцы из крестьян – интеллигенты в первом поколении духовно связаны со своим деревенским прошлым, с детством и юностью, которые у них прошли в крестьянских семьях. Таков вот твой студент Ковальский. Поверь, на таких, как он, выпала особая миссия. Они не могут, как остальные, безоглядно вредить земле. У них связь с землей, природой, еще слишком остра и крепка. Пуповиной связаны. Есть надежда на них. На таких людей. Ты заметил, в твоём Ковальском есть врожденная благородная сдержанность? Откуда она у него? Даже интересно. В крови?

Калашников не ответил. Он неопределенно пожал плечами. И улыбнулся себе, вспомнив про драку Ковальского на первом курсе. Потом сказал, будто разговаривая с собой:

– Что смогут сделать такие, как Ковальский, сейчас или через десять лет? – профессор химии поставил на плиту чайник. Продолжил разговор не спеша: – Неужели можно сделать что-то такое, чтобы все оглянулись на себя, на результаты дел своих и замерли от ужаса? Этого никогда не будет, по-моему.

Брови его поползли вверх и он, откинув голову назад, посмотрел на подошедшего чуть не вплотную Засекина.

– Надо человечеству вбивать в голову, пока оно не поймет, что существуют пределы всего, что мы расточаем, – невозобновляемые природные ресурсы. Ведь гидросфера и атмосфера ограничены. Ты понимаешь: ограничены! Такие, как Ковальский, быстрее это поймут. – Слово «ограничены» Засекин выкрикнул нервно и хрипло. И махнул рукой так, что чуть было не задел приятеля по плечу. – Ведь есть внутренние пределы физических и психических способностей человека. Этого забывать нельзя. Человек станет заложником технического прогресса. Культурный прогресс волочиться будет сзади. И это будет уже и не прогресс. Я начал об этом писать статью.

– Удивишь всех только. А напечатать не дадут.

Его собеседник как будто и не слышал последних слов своего товарища:

– Настала или наступает острая необходимость поиска путей улучшения организации мирового сообщества. Надо совершенствовать управление его делами.

– Ты понимаешь, какими ты Николай Николаевич, глыбами ворочаешь и какая маленькая меж ними песчинка – один человек. Вот ты назвал Ковальского. Мне его беднягу стало даже жалко, как и любого из нас.

Они долго еще разговаривали.

Засекин сел к столу, положив свои маленькие нервные руки на скатерть и стал говорить намного спокойнее. Но вновь встал, ладонью левой руки потирая гладкую поверхность подоконника, вновь заволновался. Да так, что не заметил, как от трения рука нагрелась. Он поднял ее и стал удивленно рассматривать, как будто видел впервые.

Так разговаривали эти два человека. То видя только друг друга, то — весь мир сразу.

...Калашников и Засекин сами явились вскоре как бы доказательством (но кому?) того, что цивилизация поедает своих родителей. Мир, правда, этого не заметил.

Через год ученый-химик умрет от последствий облучения, которое он получил работая в Ленинграде. Банально.

А профессор Засекин, чуть позже, полгода спустя после смерти друга, попал под машину. Профессор всю жизнь остерегался машин. Никогда не садился за руль. Обходил машины всегда непременно сзади. Не помогло.

...А «будущий интеллигент в первом поколении», по определению Засекина, Ковальский пока, сидя в огороде у баньки все больше молчал. Но видел все зорко и запоминал надолго, если не навсегда.

Пришедшая за водой Маня Сисямкина выплеснула остатки воды из бадьи, громыхнув цепью, уронила ее в колодец.

— Я который раз уже смотрю со своего огорода: сидят — балакают. И без бутылки! Вот чудеса.

— Подкинь ее нам, будем сидеть, как надо, — Минька был здесь в своей стихии. Это не законы обсуждать, как Проняй.

— Бензопилой расхетай осины, которые к воротам волоком привезли, будет с чем посидеть.

— Мы можем, надо посмотреть. А если вот он подмогнет, тем более...

— Ну да, — отвечал Синегубый, повернув лицо к неяркому солнышку. — Своя трава сохнет, а мне чужую косить? У меня у самого два таких осокора у избы дожидаются.

Миня пошел смотреть осины. Синегубый и Проняй по тропинке тоже направились к калитке. Ковальский слышал, как Синегубый говорил:

— Удивил ты меня своими законами. А как же тогда Карл Маркс?

Проняй остановился. Вспомнил, что оставил у колодца сумку с «пушиной». Вернулся. Догнал спутника своего уже у калитки и что-то ответил ему. Синегубый посторонился, пропуская Пронюю вперед. Лицо у него было сосредоточенное.

Проняю, как и профессорам Засекину и Калашникову, небезразличны были мировые проблемы. Куда от них деться русскому человеку. Любил старик пофилософствовать. А ведь известно: чем меньше знаний, тем эта любовь сильнее.

...Когда Ковальский пришел с огорода в дом, Катерина спросила, как бы нечаянно, вскользь:

— Саша, а ты знаешь, что Маша Бочарова, сестра Анны, в монашки ушла, в монастырь?

— Как? — удивился Александр. И, чуть помолчав, добавил раздумчиво: — Разве сейчас это делают? Можно?

— Коль ушла, значит, можно.

Тут же вспомнились слова Марии, сказанные будто только сейчас, а не тогда в Пензе: «Надо нести в повседневной жизни свет божественной истины окружающим... Этому стоит посвятить всю жизнь...»

Ковальский уже не в первый раз вспомнил карие, большие, печальные глаза ее. И лик — суховатый, удлинённый. Увидел обращенный к нему, Ковальскому, ее спокойный взгляд. «Что же это за женщины такие — Анна и Мария! Что за порода? И откуда у них такая власть надо мной?» Потом, когда мать куда-то вышла, сидя один за столом, он спокойно подумал: «Значит, Мария нашла свою дорогу, поняла, какая она и где? Очевидно, она ее уже тогда знала, когда мы разговаривали у могилы Анны. Смерть Анны тому толчок. Неужели, говоря это тогда, она думала и обо мне?.. Нет, не может быть. У каждого своя дорога...»

Вернулась мать, и Александр спросил:

— Мам, а ты откуда знаешь-то? — Он поднял голову и увидел ее взгляд... и все понял. — Ты была у них, у Бочаровых?

— Конечно, что ж теперь... жить надо...

— Одна? — спросил, волнуясь.

— Пока одна. Но решили потом пойти и с отцом.

— А они мне не говорили об этом.

— Я... это, — будто не слыша последних слов сына, продолжила Катерина, — как только к ним вошла: батюшки мои — ты маленький сидишь на полу. Вылитый. Даже зализ, ну, вихорок на правом виске такой же, как у тебя. Будто теленочек волосики тронул чуток.

— И как он там? Саша?

— Да сидит среди передней избы, крепенький такой. В чистой рубашонке, светленькой и вколачивает большущие гвозди молотком в щели между половых досок. Десятка полтора шляпок торчит в линейку, аж до середины избы. Прострочил пол, как на машинке, три годка — большенький.

— А они, мам, как тебе показались?

— Что они... Дашку-то Романову я еще в девках знала, — деловая. Федька Леток гнался шибко за ней. И она вроде была не против. Погиб на фронте. Она вышла за этого молчальника Гришку Бочарова. Он с Поплавского поселка, грамотный — бухгалтер. А в Поплавский вроде бы попал из большого какого города. Отец у него был белый офицер. Погиб. — То, что сказала мать, удивило Александра. Анна об этом никогда ничего ему не говорила. — Ганя Мижавова из Тягаловки сказывала мне тогда, что Григорий-то не отцовскую фамилию носил. Таился от властей.

— А к тебе они как относятся?

— Вместе хетать будем внучка. Вот так. Григорий говорит, что внук для них радость великая. Они ему там все разрешают. Не избаловали бы. — Она примолкла, а потом не выдержала: — А я-то? Туда шла: какая-никакая. Как говорить обо всем? О тебе? А оттуда — радешенька. Внук-то какой, господи! И я вот вам — бабкой стала. Незначай! — Помолчала. Потом добавила: — Судьба-то у вас с сыном какая! Ты — без родного отца, он — без матери. И оба Сашки. И так похожи! Только у него глаза не твои, не зеленые, а голубые: то ли от матери, Ани, то ли от деда — отца твоего Станислава!

На следующий день из Утевки он уехал повеселевший. Казалось, как-то все потихоньку налаживается по-своему.

«Почему так? Я еще и не общался как следует с Сашей, а уже так сильно к нему привязан. Я даже готов говорить, что люблю его. Что это? Что-то патологическое? Оттого, что у меня с моими отцами так все? И мне хочется, чтобы у него было все нормально. Или это в природе человеческой так устроено? А может, все идет от Анны? Не знаю. Но я готов ради сына на многое. Я готов. Заранее», — так думал он теперь.

Мысли об Анне и сыне не отпускали его. И слова матери не отпускали.

— Шура, куда бы ты ни махнул, кем бы ни стал, а главное всего в жизни — дите свое поднять. Не забывай!..

* * *

...Времени до защиты дипломов оставалось немного. В общежитии кипела работа. У кого лихорадочно, у кого вальяжно, спокойно. В зависимости от темперамента и наличия материала...

Случайно встретив на Ленинградской знакомого, Александр узнал, что Синегубый лежит в больнице. Почти совсем слепой. Съездил. Приехал притихший... Спасал от невеселых дум дипломный проект.

* * *

Наступили ноябрьские праздники. Ковальский домой не поехал. За три дня закончил все семь листов чертежей и почувствовал, что дела пошли теперь совсем в гору. Защита в конце декабря, а у него уже вчерне на две трети готова и пояснительная записка.

На следующей неделе он намеревался заполучить на своих чертежах все необходимые подписи.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Прошло две недели, прежде чем на давно готовых чертежах появились подписи руководителя проекта. Заместитель главного инженера по новой технике Самарин наконец-то приехал из Москвы. Валентин Сафронич одобрил не только схемы, но и графику.

Ковальский действительно постарался. Перевод с «миллиметровки» на ватманские листы значительно все упростил. Не было помарок, переделок. Все чисто и аккуратно. Кроме того, основные потоки Александр чертил жирными, утолщенными линиями, остальные — мельче, но разной, в зависимости от потоков, толщины.

Все аппараты, а их на каждом листе набиралось до десятка, он «поднял»: нанес штриховку так, что они стали объемными и выделялись на схеме. Вместе с жирными линиями основных потоков сразу давали представление о процессе. Выглядело это, кроме всего, эстетично. Так никто из дипломников не делал. Роясь в архиве проектного института, Александр обнаружил такие схемы в заграничных записках и взял это на заметку.

Когда Самарин подписывал чертежи, в кабинет вошел кареглазый, так же подергивающий левым плечом, как и четыре года назад, когда Ковальский работал на полиэтилене, Яков Розенберг — теперь уже заместитель начальника производства.

— Я на минутку, Сафроныч, можно?

— Садись, я сейчас.

Но Розенберг не сел. Он впился взглядом в чертеж, который лежал на столе перед Самариным.

«Этот Яков, — пожившись, подумал Ковальский, — он всегда что-нибудь найдет. На экзаменах на допуск к самостоятельной работе меня трепал крепко, заставляя составлять материальный баланс чуть ли не всего цеха».

— А почему дипломный проект не по полиэтилену? Зря, что ли, мы все пересчитали в свое время, — задал он вопрос сразу обоим.

— Это же гидрирование, Яков, ты знаешь, качество этилена — наше узкое место на заводе...

— Да, — то ли соглашаясь, то ли обдумывая что-то, произнес Розенберг. И добавил внушительно: — Но чертежи делал не он. Это вообще делал не студент.

— Как? — только и произнес Ковальский.

— Так. Я был студентом. Второй год рецензирую дипломные работы. Вижу.

— Ну, Яков, — расхохотался Самарин, глядя на изменившегося в лице Ковальского, — ты парня не обижай. Он наш. Мы его заберем к себе на завод.

Зазвонил телефон. Самарин взял трубку. Звонок был из диспетчерской. Разыскивали Розенберга. Он вышел.

— Садись к столу поближе, — собирая чертежи, произнес Самарин. — Серьезный разговор будет.

Ковальский пристроил тубус в уголке между стенкой и книжным шкафом. Сел на стул около стола.

— Значит так, когда у тебя защита? Какого числа? — И не дожидаясь ответа, открыл свою записную книжку. — Четыре дня защита идет, — произнес он. — двадцать второе, двадцать третье, двадцать четвертое, двадцать пятое декабря. Так?

— Мой день — двадцать четвертое.

— Вот. А двадцать шестого приезжай ко мне часиков к одиннадцати на завод. Я буду на месте, здесь.

— Валентин Сафронович, зачем?

Самарин помедлил чуть и веско сказал:

— Я думаю, тебе надо бы у нас на заводе начать. Смысла нет ехать в Саратов. Сразу у нас никто и ничего обещать не будет тебе. Все будет зависеть от тебя самого. У тебя родители где?

— Под Нефтегорском живут.

— Ну да, я помню, но, может, переехали. Зачем тебе Саратов?

— Все-таки областной центр, — ответил нерешительно Ковальский.

Самарин прижал зашевелившиеся на краю стола чертежи и продолжал, не обращая внимания на последние слова Александра:

— Я уже говорил с главным инженером и директором. Они не против. Но двадцать шестого приезжай. Хотят на тебя посмотреть.

— Так быстро все?

— Не быстро. Я ищу варианты, как тебя перераспределить. Если уж вдруг у тебя на нашем заводе по какой-то причине дела не заладятся, тогда есть Тольятти, как запасной вариант. Там тоже сейчас серьезные дела разворачиваются. И, вообще, наша область — простор для работы нефтехимику. А ты хочешь в Саратов. Смысл какой? — Он поправил трубку на телефонном аппарате и с напором продолжал: — А нефтехимический комбинат в нашем Новокуйбышевске? Совсем недавно введен комплекс первой очереди завода по производству дивинила. В нем пятьдесят шесть технологических установок и шестьдесят вспомогательных цехов. Построили свой водозабор, свои очистные сооружения. Давай, решайся перебираться в Новокуйбышевск. Думай — раздумывай, а двадцать шестого — ко мне с решением. Если «да» — идем к директору. — И добавил: — У нас очень хорошие специалисты собрались: один Яков чего стоит, Ахмед Мазгаров в шестом цехе. Думающие все и молодые. С защитой, я думаю, все будет хорошо. Ты крепко потрудился. У тебя неплохие знания. — И безо всякого перехода спросил: — Тебе предлагали остаться работать на кафедре, ты отказался. Почему?

Ковальский ответил так, как было:

— Надоело безденежье. — И, помолчав, добавил: — Решил сделать перерыв.

— Тогда понятно. Может, это и правильно. Завод еще и большая школа. Ты уже, наверное, почувствовал. Здесь свой ритм. Мощный.

«Может, эта запойная работа над дипломом мне и помогла пережить то, что случилось с Анной и со мной? — Так откликнулись последние слова Самарина в сознании Ковальского. — А теперь, когда у меня есть сын, очевидно, и вправду не стоит уезжать в Саратов? Все таки здесь ближе... Кто знает, вдруг этот неожиданный поворот мне и нужен?»

* * *

За неделю до защиты он поехал в Утевку. Никто в группе не знал, что у него растет сын. И в Утевке, из родственников, знали, кажется, только мать и отец. Он ничего не скрывал от ребят в группе — просто не видел необходимости говорить об этом.

...К Бочаровым на этот раз они пошли с матерью, и пробыли там весь вечер допоздна.

Предстоящее перераспределение родители одобрили с радостью.

— В Новокуйбышевск я хоть разок-другой в году, а приеду, а в Саратов... такую далищу — ни в жизнь. Разве можно. А в Новокуйбышевске меня знают, — говорила мать, когда вернулись домой.

— Ага, — подхватил Василий, — знают. Тот парень, который твой кошелек вытянул, да кондуктор, у которого ты билеты съела. Вот и все.

— Да будет тебе, — не обижалась мать. — У нее их цельная катушка, хватило бы на всех попробовать этих билетов. А вот Феня, вахтер, мне очень понравилась. Она мне про жизнь свою порассказывала. Ой, какая жизненка досталась ей. А бабенка хорошая.

* * *

Защитился Ковальский на «отлично». И двадцать шестого утром был у Самарина.

Когда они вошли в кабинет директора, Ковальский сразу все вспомнил. Весь разговор в шестьдесят первом году с Анной Сергеевной, тогдашней хозяйкой этого кабинета. Все было, как и прежде. Только за столом сидел плотный человек с реденькими белыми волосами на крупной голове.

Он кивнул обоим и пригласил сесть за столик около своего большого рабочего стола, на удивление Ковальского, свободного от бумаг. «Тогда у Федотовой было все завалено и пепельница полна окурков. Этот толстяк, наверное, и не курит?»

— Вот ты какой? — произнес директор.

Ковальский не понял, чтобы это значило.

Хозяин кабинета нажал на кнопку и спросил:

— А где там Сабитов и Нарыкин.

Слышно было, как секретарь ответила:

— Идут, Александр Алексеевич. Вот в приемной уже.

Вошли два стройных, высоких человека.

— Садитесь, — пригласил директор и кивнул на дальний стол. — Они сели. — Так какое ваше общее мнение? Берем? Резван Османович, — обратился он к смуглому, резкому в движениях человеку. — Вы, как главный инженер, что скажите?

— Мы обсуждали меж собой. Берем. Нам нужны специалисты в пирозные цехи. У него толковая дипломная работа. По нашему заводу.

Ковальский смотрел на директора. На его лбу чудно шевелились длинные морщинки и притом, в это же время, он как-то странно морщил лоб. Он двигался снизу-вверх, сверху-вниз. Ковальский такое видел

впервые. И не понимал: имеет это какое-либо отношение к содержанию разговора или нет. Плохо это или хорошо?

— А на кого будем менять, Петр Андреевич, ты же знаешь: в Москве строго за этим следят.

— Есть один — Попов Вячеслав, он меня замучил с откреплением. У него родственники все в Волгоградской области. Просится — я не отпускал. У Попова и письмо есть с Волгоградского НПЗ.

— Так пусть оба пишут заявления. Отпустим одного в Саратов, другого заберем с Саратова. Письмо туда подготовьте, я подпишу. Мне Кторов не откажет. А потом надо будет ехать в Москву, к замминистра Авдеенко.

— Да, Александр Алексеевич, если письмо о согласии на обмен будет, может, все получится, — проговорил Самарин. — Я у кадровиков в министерстве узнавал.

— Надо бы, чтобы у парня сохранились права молодого специалиста, мало ли, возьмет и женится, — напомнил начальник отдела кадров Нарыкин.

— Вот так и пиши, чтобы сохранились, — согласился директор.

В кабинете Самарина Ковальский написал заявление с просьбой о перераспределении и отдал начальнику отдела кадров Нарыкину.

— Напишите адрес, где будете, и оставьте у Валентина Сафроновича. Как все уладится, мы вас найдем, — проговорил Нарыкин и ушел.

Александр стоял у стола Самарина.

— Ковальский, все! — Самарин, улыбаясь, смотрел на него.

— Все?! — удивился Александр. — Так просто?

— А что еще! Езжай к родителям. Не меньше месяца эта канитель с Москвой и Саратовом протянется. Отдыхай!

* * *

После получения диплома и всех суматошных событий, связанных с массовым отъездом новоиспеченных молодых инженеров из общежития, Ковальский остался один. И прожил так целую неделю.

Последним перед Ковальским уехал староста Гуртаев. Была на то своя причина. Вроде бы и не так уж масштабно «обмывали» выпускники дипломы. Но было дело. А потом оказалось, что пропал у Гуртаева этот самый предмет обмывания — диплом то есть.

«Непросто найти такую пропажу», — к такому малоутешительному выводу пришли искавшие. Но только не староста. Он на удивление являл собой образец хладнокровия.

Диплом так и не нашли, хотя старалась вся группа. Принесла его сухонькая старушка. Прямо в деканат, сказав, что обнаружила документ на набережной Волги. И ушла, благодетельница, не назвавшись.

А у Гуртаева и всех, кто искал бесценный документ, появился еще один повод ликовать и произносить тосты.

Задержался Ковальский из-за метелей. Все рейсы автобусов в Утевку и Нефтегорск были отменены. Он два раза ездил в поселок Кряж, надеясь поймать попутку. Но кто поедет в такую сумасшедшую январскую пургу?

Когда вернулся после второй неудачной попытки, в коридоре столкнулся с Галей Реутовой из параллельной группы.

— Ты не уехала еще? — удивился он, глядя в ее диковатые, всегда завораживающие глаза.

— Нет, сегодня вечером.

— Ты ведь к себе под Саратов распределилась? В Шиханы?

— Да, вместе с Владой. — Галина запнулась. Ковальский видел, она решается: говорить или нет? Решилась. — Влада очень жалеет, что ты перераспределился. Она из-за тебя Шиханы выбрала, потому что ты должен быть в Саратове.

— Да ладно, — махнул рукой Ковальский. — У нее таких, как я...

То, что услышал от этой обычной молчальницы Реутовой, Александр никак не ожидал:

— Не было у нее никого, кроме тебя, как вы начали дружить. Эти футболисты-хоккеисты, как манекены. Она тебя дразнила, понял?

— Нет, — досадливо выдохнул Ковальский. — Не верю.

— Не верь — твое дело. Но я сказала, что знаю. Думай!

— Где она сейчас? — почти машинально спросил Ковальский.

— Дома, где же еще? На перепутье трех дорог. Одна дорога — к тебе. — И она ушла.

Ковальский усмехнулся, направляясь к своей комнате: «Думай, не думай, а всему свое время. У меня сейчас — Анна. И ничего не надо больше. Сейчас, как никогда, Анна постоянно со мной. Я не принадлежу себе».

...А следующим вечером он был в Покровском соборе. В том самом, который построили когда-то самарские купцы Шихобаловы. Он и сам не смог бы объяснить, как решил пойти в церковь.

Александр несколько раз проходил случайно мимо собора, каждый раз вспоминая слова Марии, которые та сказала на могиле Анны: «Помогил бы за ее душу».

...Он был первый раз в действующей церкви.

Внутри Покровский храм казался намного больше, чем снаружи. Купол уходил высоко вверх. Ковальский вначале не видел его целиком. Шла служба, и Александр растерялся, не зная, как себя вести. Не решаясь идти вглубь церкви, подошел туда, где худая, седая женщина продавала свечи. Две старушки на его глазах купили по одной свече и пошли к столу, на котором стояли подсвечники.

— Можно и мне одну? — попросил Ковальский.

— Конечно, — отозвалась старушка, что-то деловито записывая отгрызком карандаша в старенькой тетрадке.

Купил одну свечу и тут же спохватился: «А Саше? Саше поставлю за здоровье».

Он купил вторую и спросил, волнуясь:

— А как поставить свечи? Одну за здоровье, другую — за упокой души?

— Направо — за здоровье. Налево — за упокой, где старушка сидит.

Он подошел вначале туда, где ставят свечи за упокой и спохватился: «Я же не умею креститься, напутаю».

Вернулся туда, где покупал свечи и виновато, конфузясь, попросил:

— Подскажите, как правильно креститься?

— А ты, миленький, пройди вон в притвор, там на стене в рамочке сказано, как вести себя в церкви, как креститься.

— Спасибо.

В притворе на стене висели «Правила благочестивого поведения в храме». Он прочел и подивился тому, как сдержано и уважительно написано.

В параграфе двадцатом нашел и как креститься: «Делаем это так: первые три пальца правой руки соединяем вместе в честь Пресвятой Троицы, два последних — безымянный и мизинец, соединяем, прикладывая к ладони, что означает две природы Христа: Он Бог и Человек. сложив правильно пальцы, мы полагаем их на лоб, затем на «чрево», потом на правое и левое плечи и только потом совершаем поклон. Крест не только пальцами должно изображать, но должны ему предшествовать сердечное расположение и полная вера».

«И полная вера, и полная вера, — волнами расходились слова в голове. — И полная вера».

Александр поставил свечи за упокой души Анны и сыну Саше — за здоровье. И у каждой свечи перекрестился с поклоном, как это понял из «Правил». Обе свечи горели спокойно и таинственно. Огонь притягивал взгляд. У свечи за здоровье он стоял дольше. Под куполом храма чув-

ствовал, что с ним происходит нечто такое, что рождает в нем новое и глубокое отношение к миру, в котором быть и ему, и его сыну.

Выходил Ковальский из церкви оглядываясь. Все казалось, что здесь оставляет то, к чему надо обязательно вернуться. Александр физически чувствовал, что прикоснулся к чему-то огромному и всепокоряющему.

«Если наши институтские деятели узнают, что был в церкви, да еще молился, наверняка поднимут шум, а может, и из комсомола исключат, — отрешенно подумал он. — Да ведь поздно, я уже не их».

Он пошел по улице Льва Толстого к Волге. Хотелось туда, где много воздуха, где нет домов, автомобилей и людей, уподобившихся маленьким копошащимся непонятым существам, оторванным от огромного бездонного неба, которое многие научились не замечать и которое он чувствовал всегда. А теперь, после того, как побывал в соборе, еще острее, чем раньше.

Что все-таки подтолкнуло пойти в храм? Только ли слова Марии? Что шептали его губы, когда он крестился первый раз в своей жизни?

Когда Александр уже почти вышел к Волге, справа из форточки второго этажа крайнего продолговатого дома полилась музыка. Это был полонез Огинского.

«Странно, будто специально для меня». Александр огляделся вокруг. Прохожих рядом не было. Музыка была не громкой, но отчетливо слышимой. Он вспомнил тот далекий день в детстве, когда неожиданно узнал, что Верочка Рогожинская, не простившись, уехала. Эти волшебные звуки тогда тоже были. Такие же свободные и величественные. Но тогда было просторнее душе. Светлее. И до конца не верилось в потери. Казалось, что впереди будут только встречи.

Странная улыбка тронула лицо. Он впервые ясно почувствовал возникшее недоверие к жизни. Такое с ним было впервые.

В задумчивости Ковальский медленно направился к реке...

* * *

Влада вошла внезапно. Розовощекая с мороза. И уверенная.

Он сидел на койке, читал газету.

Она в первую же минуту взяла инициативу на себя.

— Нелетная погода? В твоей столице аэропорт не принимает?

Вместо ответа Александр спросил вяло:

— Реутова доложила?

— Так точно, Ковальский, она!

Он встал с кровати.

— Хочешь, поставлю чайник?

— Хочу, — ответила Влада.

Ковальский пошел в другой конец коридора, где была кухня. Проходя мимо вахтера, увидел понимающую ухмылку.

Когда Александр вернулся, Влада уже сняла пальто, шапку и сидела за столом.

— Вот бирючина! Ты хоть «здравствуй» скажи!

— Здравствуй, Влада, — тут же сказал он без тени иронии и добавил: — Но ведь ты вошла без приветствия?

— Дыхание перехватило.

— Это у тебя-то? — искренне усомнился он.

— Не обольщайся, от мороза, — легонько показала коготки гостя.

И когда он проходил к койке, ловко и порывисто обхватила его обеими руками за талию.

— Так ловко, будто репетировала.

Ковальский легонько попытался освободиться. Но не тут-то было! Она встала, не отпуская его. Руки ее оказались у него под мышками.

— Хочу к тебе. Я всегда хотела иметь от тебя ребенка. Понятно?

— Ты не в себе? Что ты говоришь? — Александр вновь попытался освободиться.

Влада не отпускала.

— Нет, я знаю, чего хочу и что говорю.

— Но ты всегда так береглась.

— Это когда было? Теперь мы люди самостоятельные.

— Хочешь, чтобы мы поженились? Но я не могу. Если бы хотел вообще жениться, может быть, и женился бы на тебе, но я не могу этого сделать теперь. Мне чудно смотреть, как все наши переженились после распределения. Прямо какая-то эпидемия. Кто друг друга целых пять лет не замечал, и те бросились расписываться. Я никого не осуждаю. Просто не могу так.

— Почему ты так говоришь? — Влада наконец-то убрала руки, и он подошел к окну. — Я ведь о женитьбе не сказала ни слова.

Александр молчал.

— У тебя есть женщина? Нет? Я знаю, что сейчас нет! — Влада встала рядом, почти вплотную с ним. — Быть без женщины — для тебя просто неестественно. Я же тебя знаю.

— Я гол, как сокол. Ни кола, ни двора, — начал было Ковальский.

— Ты что, поговорки собираешь? О чем ты говоришь? У других, что? Миллионы? Если разъедемся — все, нам потом не соединиться.

«Не могу же я говорить про Анну, про сына. Не могу. Почему она не уйдет? — мучался он. — Я же ничего не могу. Мне не нужно ни женщины, ни жены, ни семьи. Все это для меня сейчас адское мученье».

Он почувствовал, что сильно заболела голова.

— Послушай, я схожу за чайником, забыл...

По коридору Александр шел нетвердой походкой. Когда вернулся, лицо Влады было злым, это он отметил сразу. Будто на что-то натыкалась, она начала сбивчиво:

— Я поняла: ты болен. Доигрался, верно? Оттого и избегал меня. Тебе надо лечиться, а тут — я, да? Я поняла.

Она закрыла глаза и долго молчала.

«Кино какое-то, вернее, театр, — неприязненно думал Ковальский. — Неужели не понимает, что это так плоско?»

Ковальский поставил горячий чайник на пол.

— Какая же я дура. Пока я мучалась, переживала, ты продолжал свои амурные похождения.

— Ты в каком месте и когда переживала? — не выдержал он. — И с кем? — Последние слова сказал, морщась, как от зубной боли, досадуя на себя за то, что говорит такое.

— У меня никого не было. Дурачилась. До тебя были, потом — нет.

— Но ведь это неправда! — непроизвольно возразил Александр. И добавил: — Правды ты никогда не скажешь.

Но она не приняла этого.

— Всю правду нельзя сказать даже себе самой.

Он посмотрел на нее недоуменно. Влада ответила на его немой вопрос:

— А ты правду о себе всю можешь рассказать? — она испытующе посмотрела на него.

Ковальский невольно смутился.

Она молча и понимающе усмехнулась.

— Влада, не надо. Давай прекратим разбирательство, — Александр пытался говорить односложно, спокойно, желая не подталкивать разговор дальше. Голос звучал глухо.

Но она не могла успокоиться.

— Эта та Майя с пединститута, да? Я знаю, ты у нее бывал. Она тебе услужила, да?

— Пусть будет она, — не выдержал Ковальский. — Она — так она.

Александр сел на кровать. Влада встала. Взяла пальто.

— Я знаю, что к тебе еще какая-то Оля Козырнова два раза приезжала...

Влада никак не могла попасть в рукав своего красивого зимнего пальто с пышным лисьим воротником. Он поднялся и помог ей.

У нее были слезы на глазах. Такой он видел ее впервые. Она начала их было вытирать кончиком пальчика своей вязаной перчатки, но махнула рукой и зарыдала. Так искренне, что он растерялся. Александр не знал, что делать. И заколебался: правильно ли поступает.

А она вдруг, решительно шагнув к двери, бросила:

– Ты страшный себялюб, с тобой с ума сойти можно. Я ухожу.

Ответить Александр не успел, да он и не был готов.

Когда дверь захлопнулась, вновь сел на кровать.

«Что это было? – вяло подумал он, будто наблюдал все со стороны. Потом снял ботинки и, не раздеваясь, лег. Ковальский не чувствовал полной уверенности, что был прав, не сказав ей правды. – Но зачем она ей, моя правда, когда все, случившееся со мной, – это мое? И ее ничего в этом нет. Нет, и не могло быть...»

Горела тускло лампочка на потолке. «Как пахнет пустотой, – подумал он. – Нет, – мысль его вернулась назад: – Как пахнет одиночеством», – поправил он себя и усомнился: можно ли так думать?

Александр смотрел на серый потолок, голые стены комнаты, самодельные полки над кроватями, на которых прежде всегда лежали книги, шахматы, разная всячина, а теперь ничего не было. Одни стены, как скалы. И ему показалось, что он находится не в комнате, а в каком-то ущелье, вернее, расселине. Между двух скал – прошлым своим студенческим и будущим.

«Я сейчас завис. Все уже разъехались – карабкаются меж скал. Одни бодро, другие вяло, по необходимости. Но все, цепляясь, карабкаясь, выходят из расселины. И в этом для всех – смысл их теперешней жизни?! Каждый надеется, что у него будет своя вершина или хотя бы равнина, но не расселина. И каждый прав».

Мысли начали путаться. Он припомнил, что такие же ощущения были, когда он узнал, что не прошел по конкурсу в институт.

Александр хотел было встать, чтобы закрыть дверь и лечь спать по-настоящему, но передумал. «Я ж почти один в общежитии, а на этаже только один, кроме вахтера». Усталость навалилась неодолимо. Хотелось скорее забыться и уснуть. Нервы истощились. Свет от лампочки на потолке стал нестерпимо ярким. Он нашарил на столе газету и положил на лицо. Стало спокойнее. Мысли путались, наплывая одна за другую, вяло соединяясь.

Ковальский вспомнил, как лежал на копне соломы у озера Бобрового совсем еще недавно: «Вот там я, наверное, был близко к тому, чтобы

понять, зачем живу. Или хотя бы поверить, в то, что знаю, зачем живу. Я, кажется, не живу, а исследую жизнь. Нет, вернее, наблюдаю ее. Хорошо это сейчас или плохо? Не знаю. Но кое-что могу попытаться уже сказать.

Этот мир будто специально создан так, что, когда человек только начинает кое-что понимать, жизнь кончается, и накопленные знания, умение уходят чаще всего не реализованными. Каждый почти заново сам постигает мир, путем ошибок и потерь. Мало кто приобретает опыт на ошибках других. Но ведь это нерационально. Человек растрчивает свой ресурс, а воплотить, постигнутое уже не хватает сил, здоровья, времени... Книги, литература – вот костыли, на которые опирается человек в своем познании. Но учишься все равно не у них, а у самой жизни – тратишь ее на постижение истин. А иной до определенной поры, а иногда и всю свою жизнь, вовсе не хочет знать никакой истины. Им владеют только страсти...

Большинство людей, за редким исключением, уходит, не привнеся ничего существенного в копилку человечества. Разве что нарожав детей и этим наметив возможность того, что потомки по-другому, глубже и раньше познают мир. Но дети повторяют те же ошибки: в них заложено природой мощное стремление сначала жить, потом думать о жизни... Так и идет все по кругу. Просто? Сложно? Мудро или глупо? Даже это не дано осознать. Некогда осознать».

Эти сбивчивые рассуждения, кажется, ослабили его совсем. Постепенно нежелание думать все больше овладевало им. Александр не противился, наоборот, чтобы отвлечься, начал медленно считать до ста.

Уже засыпая, с закрытыми глазами, увидел ясно большой иконостас и купол Покровского храма. Под куполом храма, когда он ставил свечи и впервые перекрестился, было так легко. Как никогда...

* * *

На третий раз ему повезло. У продовольственного магазина стоял грузовик с тентом. Шофер весело подтвердил:

– В Нефтегорск!

Александр с радостью забрался под тент. Веселость шофера стала понятна, когда прибежали еще двое парней, гремя бутылками. Все трое были пьяны. А трезвый в такую погоду и не решился бы ехать.

Ковальский добирался до дома почти двое суток. Дороги были занесены снегом. Ночевал в Домашке в училище механизаторов. На лацкане

пиджака был прикручен «поплавок» – знак об окончании института. А в чемодане лежал диплом инженера.

Через неделю после защиты областная газета «Волжская коммуна» напечатала интервью своего корреспондента с деканом Калашниковым и председателем Государственной экзаменационной комиссии Самариным. Ковальский был назван одним из выпускников, подающих большие надежды. Упомянут был и Инок – Иннокентий Рамазанов. Тот, как всегда, удивил всех: защитился с блеском, и комиссия особо отметила неоспоримую научную новизну его работы. Из сноба и циника он враз превратился в восходящую звезду.

Этот номер газеты лежал у Ковальского в чемодане вместе с дипломом. Лежала там и большая коричневая тетрадь.

В эти дни в ней появилась запись: «Ученый тот, кто знает очень много из всяких книг; образованный тот, кто знает все то, что теперь в ходу между людьми; просвещенный тот, кто знает, зачем он живет и что ему нужно делать».

Очевидно, прав Толстой. И все-таки я хотел бы быть сразу и тем, и другим, и третьим! Но возможно ли это? А почему нет? Ведь те, кто в жизни немало свершили, сделали это – успели сделать – сумели сделать еще и потому, что рано узнали или поняли: кто они и что надо делать. Они счастливички! А я? Я знаю, что я хочу быть и ученым, и образованным! Может, это знание и есть мой двигатель? Моя жизнь, мое дело – быть просвещенным ученым. Возможно ли это?»

Не было в чемодане писем Анны. Он хранил их в родительском доме. И они манили к себе.

...Сильно хотелось пить. Общение с пьяными, с которыми он добирался на грузовике, ночевка в школе измотали. Грузовик остался сбочь дороги в снегу – они опять сбились в метель с трассы. Парни вернулись в школу дожидаться бульдозера, он по слухам где-то уже недалеко расчищал снежные заносы...

Ковальский ушел в Утевку пешком.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

...Александр вернулся от Бочаровых поздно вечером.

– Нюра Загвоздкина принесла телеграмму тебе еще в шесть часов, когда с работы шла, – сказал отец. – Она там, на столе, в передней.

Александр, не раздеваясь, прошел к столу.

– А ты уже собрался на караул? – спросил он, беря в руки прямоугольник серой бумаги.

— Да, время-то уже одиннадцатый час, пойду, — сказал отец, а сам все топтался на кухне.

«Уважаемый Александр Станиславович Вам срочно необходимо явиться на работу Директор Устинов», — быстро прочел Ковальский. Потом отыскал глазами отправителя: Куйбышевский завод синтетического спирта.

— Все верно, пап, надо ехать. Больше месяца ждали.

— Завтра же, с утра, — отозвался Василий Федорович, — и поезжай. Это хорошее начало. Не каждого, я понимаю, на работу зовет сам директор.

Александр понимал, что это не рядовой случай, но все же сказал:

— Пап, давай поеду с двенадцатичасовым автобусом. Собраться надо. И ты только к восьми утра из клуба вернешься.

— Ну ладно, маракуйте тут с матерью, что взять, а завтра разберемся...

Когда пришла от Головачевых Екатерина Ивановна, сын уже достал чемодан. Тот самый, с которым когда-то уезжал поступать в институт. Все эти годы он лежал у него то в рабочем общежитии, то в маленькой комнатке, которую снимал с Гуртаевым в Куйбышеве, то снова в общежитии. И все время под кроватью, отчего несколько потемнел и постарел.

Мать о телеграмме уже знала. Она прошла и села, как была в фуфайке и валенках, на диван. Невольно громко вздохнула.

— Мам, — сын поднял голову от чемодана, — у меня будет все хорошо.

— Может, чемодан Петра возьмешь? Он поменьше и поновее. Он оставил прошлый раз, когда приезжал.

— Нет, мам, этот чемодан у меня, как талисман. От бед оберегает.

— Может, тогда не автобусом поедешь, а полетишь на «кукурузнике», раз уж так, — засмеялась Катерина Ивановна, — коль такой суеверный? С зеленым чемоданом, на зеленом самолетике... — Запнулась было, потом добавила почти весело: — И сам зелененький еще такой... — и похоже, чуть не всхлипнула.

— Ну, мам, ты зря разволновалась... Я ж говорю: все будет хорошо.

— Старее, видать, сынок, все мне жалко вас всех. Все разъезжаетесь из дома. И себя, и вас жалко... Чего бы тебе врачом или учителем не быть. Жил бы дома, лечил или учил людей. Всем доброе дело. И тут на тебе — завод. Польша твоя... Поосторожнее, попроще будь с людьми. Тебе легче самому будет. Ты нетерпеливый больно, не все ведь такие.

– «Кукурузники» уже не летают к нам. Володя Пудовкин пересел на Ту-154, он в Ульяновске прошлый год переучивался. Теперь летает за границу, Утевки ему мало стало, – раздумчиво сказал Александр.

– Как и тебе мало, – проговорила Катерина. – Молодые, рветесь куда-то.

...Ночью Ковальский спал беспокойно. Отчего-то все ему виделась Верочка Рогожинская. Она была в том светлом пальто и легком голубеньком воздушном шарфике, в которых он видел ее тогда, после концерта в клубе. В последний раз. То ли это был сон, то ли так ему явилось в бессоннице? Утром он так и не смог понять...

Когда складывал в чемодан вещи, споткнулся взглядом о большую царапину через все зеленое поле крышки. Сразу вспомнилась осенняя ночь, попутка и выскочивший навстречу «Белорусь». Из кювета вместе с чемоданом его вытащили ребята из домашкинской школы механизации. Шофер погиб. Неделю Ковальский провалялся у приятеля в Домашке, не доехав до дома восемнадцать километров. Когда оправился, уехал назад в город. Не захотел, чтобы мать с отцом расстраивались, глядя, как он хромает. Теперь вот на нем ни следа, а чемодан хранит отметину.

Александр неопределенно улыбнулся и опустил крышку. Казалось, в комнате с этой минуты не было ничего, кроме этого большого зеленого чемодана, на который потом, чтобы ни делали все: и Ковальский, и мать, и вернувшийся из клуба отец Александра, – обязательно натыкались взглядами. Будто мать и отец провожали Александра в первый раз.

– Мам, сходи к Бочаровым, скажи, что я уехал. Но как только можно будет – приеду, ладно? Я бы и сам ходил, да уже не успеваю.

– Ладно, и сама уж думала наведать их вечером, – согласилась Катерина. – Может, и Василия возьму с собой. Пойдешь со мной, отец? – нарочито будничным голосом спросила она.

– Проводим вот и сходим давай, – отозвался с готовностью Василий.

...Ковальский уезжал в город по ровной, расчищенной от снега магистральной на рейсовом автобусе. Много изменилось за эти пять лет в районе. А сколько событий еще впереди! И у Ковальского – тоже...

На спуске, недалеко от села Бариновка, почти перед самым автобусом дорогу перебежал заяц. Ковальский, привстав со своего места, видел, как беляк слева по ходу движения автобуса проворно перескочил через высокие снежные гребешки, образовавшиеся после чистки, и скрылся с глаз. Впереди у него было чистое поле.

— Вернуться бы нам: плохая примета, — убежденно проговорил сидевший рядом с Александром у окна сосед — старик с густой темной бородой, одетый в потертый полушубок.

— Всем вернуться? — спросил Александр недоуменно. — Вы верите в приметы?

— А как же не верить? Этот заяц — кому-то знак особый.

— Что же теперь делать и как? — беспечно улыбнувшись, пожал плечами Ковальский.

— Тот-то и оно: как? — неопределенно произнес старик. Потом добавил, отчетливо выговаривая: — У каждого свой промысел, но все в одном движении — в общем автобусе. Попробуй останови.

Он пристально посмотрел на Ковальского своими зоркими карими глазами.

Ковальский невольно отметил: «Взгляд у него такой же, как у Засекина. Будто это его глаза смотрят на меня. Как наваждение. — И чуть позже то ли вспомнил, то ли догадался: — Когда сядились в автобус, я его не видел...»

...А старик продолжал пристально смотреть на Ковальского. Будто каким-то образом наперед знал о нем самое главное. Но не решался об этом сказать...

июнь 2000 г — апрель 2002 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЭПОХИ

I

Рождение Александра Станиславовича Малиновского, как и вся его дальнейшая биография, было весьма замечательным.

Во время второй мировой немало поляков было интернировано в Россию, где расселялись они вдали от крупных городов. Так в русской глубинке, в селе Утевка Самарской области, оказался Станислав Малиновский. Появился он в селе в белой рубашке, пуловере и шляпе. Так и ходил потом по утевским улочкам, вызывая у местных жителей удивление. По всему было видно, что человек он совершенно инородный для привычного русского деревенского быта. Был он красив, черноволос и голубоглаз. К тому же отличающая его от местных интеллигентность не могла не покорить. Станислав и местная русская девушка Катя полюбили друг друга и поженились. Вскоре, когда стало формироваться Войско Польское, Станислав был призван в армию. А через несколько месяцев на центральной утевской улице в крепком деревянном доме, таком же прочном, как и вернувшийся с сибирских заработков хозяин – Иван Дмитриевич Рябцев, отец Екатерины – родился мальчик, которого нарекли Александром. Будущий писатель, академик, доктор технических наук, директор двух крупнейших нефтехимических заводов и прочая, прочая, прочая.

Может, именно от рождения, когда столько совершенно разных людей приняли в нем участие, и получилась столь обширной и разносторонней дальнейшая жизнь А. С. Малиновского.

А Станислав сгинул на войне, оставив после себя только фамилию да воспоминания о пуловере, шляпе и голубых глазах.

Вряд ли нужно подробно рассказывать, что такое послевоенная деревня. Об этом тяжелом времени написано немало. Впрочем, и по сей день сельский труд вряд ли стал много легче, но тогда тягот и невзгод было в избытке. Труд, труд и труд. Порой изматывающий, но только так добывался хлеб насущный. И как великая награда – рыбалка, охота и чтение книг. Книги тогда читались запоем, собирались в избах по несколько человек и кто-нибудь читал вслух. Молодого же Александра настолько увлекло чтение, что он прочитал все, что имела местная библиотека. И позже, когда восемнадцатилетним парнем поступил в институт, оказался намного начитаннее многих городских.

И вообще сельская закваска в уехавшем из родной деревни парне останется на всю жизнь, и именно она будет помогать выдюжить, смочь преодолеть трудные ее перипетии – в конце концов стать тем, кем стал Александр Станиславович сегодня.

Сам он о своем воспитании говорит так: «Я и сейчас считаю, что надо родиться в сельской местности и лет до шестнадцати жить там. Именно к этому возрасту у человека формируется характер, мировоззрение и он начинает вполне осознанно понимать живую душу природы. В селе и смерть, и рождение человека на виду. Так было раньше. Ничто не меняется и теперь. Детство помнится и тем, как нас воспитывали. Меня ни разу в детстве не поцеловали, но и ни разу не ударили, над нами не смеялись. Нас не воспитывали в нынешнем понимании слова, мы сами видели, кто чего стоит – дед, отец, мать, соседи».

...Но манила большая жизнь. По какому бы пути пошел тогда деревенский паренек оказавшийся в городе? Мало того, что это был грамотный, крепкий физически юноша, но и тонкая артистическая натура. Александра так и тянуло поддаться влечению природы. Очень хотелось стать артистом цирка. Потом, уже во время учебы в институте, было желание все бросить и поступить в Литературный институт. Но Александр сдерживал себя.

Тогда много писали и говорили о необходимости создания в стране «большой химии», это стало на определенном этапе главной задачей страны, и Александр пошел по тому пути, который был наиболее значим для Родины. Эти слова могут показаться кому-то сегодня высокопарными, но так было. Потому что именно так воспитывали. В 1962 году А. С. Малиновский поступил на химико-технологический факультет Куйбышевского политехнического института, а по окончании его был направлен на Куйбышевский завод синтетического спирта, где, начав рабочим, в 1984 году стал его генеральным директором. А в 1998 году возглавил еще одно крупное предприятие – Новокуйбышевский химический комбинат. И можно смело писать дальше одну линию закоренелого «технаря», написавшего десятки научных работ, имеющего несколько уникальных изобретений, ставшего доктором технических наук, академиком Российской инженерной академии, если бы постоянно не вмешивалось в жизнь Александра Станиславовича Малиновского, одно «но» – его артистическая, художественная натура.

Книги, которые увлекали с детства, не отпускали. Но сочинять самому... Писательство казалось чем-то нереальным, недостижимым. Но творчество влекло и не отпускало. Уже становилось мало только книг, хотелось какой-то еще более тесной связи с любимыми писателями. Так Александр совершает паломничество в Константиново, ошалело бродит по тем местам, где ступал Есенин, видит то, что видел великий поэт, разговаривает со стариками, которые помнят своего знаменитого земляка и даже (сейчас это уже воспринимаешь не иначе как чудо!) встречается с сестрой Есенина...

Прорвало где-то к концу института. Должно быть, сыграла свою роль городская жизнь, ее контраст с жизнью сельской. А тут как раз заговорили о «неперспективных селах» и всей душой захотелось сохранить родную Утевку, какой она есть, сказать о ней то, что теплится в душе.

Сочинял в тайне, назвать себя писателем представлялось невыносимым, невозможным. Никто из домашних и не заметил, как и когда писались первые стихи и рассказы. А они уже копились. И только после окончания института, уже работая на заводе, Александр отправил первые стихи в редакцию газеты и сразу в областную. Стихи, подкупавшие теплым деревенским светом и простодушной добротой, не могли не понравиться, и в 1969 году на страницах областной молодежной газеты «Волжский комсомолец» состоялся дебют молодого автора. Там же вскоре стали регулярно печататься и рассказы Александра Малиновского.

Но завод, ставший уже родным, и дело, за которое тоже болела душа, не дали тогда увлечься литературой. Надо было осваивать новые производства, надо было писать кандидатскую, после докторскую... И все же – что удивительно – несмотря на эти «технарские» будни, которые, кажется, должны были поглощать всего и полностью, у Александра Станиславовича всегда оставался уголок в душе, хранивший верность творчеству. Впрочем, разве изобретение уникальных технологий, кандидатская, докторская – не творчество? Просто не перестаешь удивляться всеохватности А. С. Малиновского. И даже не тому «откуда берутся силы?», а тому: «когда он все это успевает?» А ведь успевал и за заводскими буднями все складывал и складывал в папку, словно грибы в лукошко новые рассказы, новые стихи. И вот уже стало не хватать одной папки... Нет, Александр Станиславович продолжал печататься в областных газетах, в альманахах, в литературных сборниках, но папки копились...

И как это положено, переход количества в качество дал взрыв. И взрыв произошел в 1992 году, когда сразу (!) совершенно разные книги А. С. Малиновского увидели свет. Это поэтический «Светлый берег» (Издательская группа INDEX) и два сборника рассказов «Степной чай» (Самарское книжное издательство) и «Разговор с сыном» (Издательская группа INDEX). Книги сразу понравились своей чистотой, своей искренней верой в русскую деревню, в ее быт, в то, что именно там и находится кладезь народной мудрости.

В 1994 году вышел новый поэтический сборник А. С. Малиновского «Я любить не устану» (Самарское книжное издательство). Все собранное, накопленное за многие годы теперь находило отражение в стихах и прозе А. С. Малиновского.

Своеобразным итогом этого творческого этапа стал выпуск сборника лучших стихов, лирических миниатюр, рассказов «Горница». И выпущенный не где-нибудь, а в Париже издательством «CopArt editions». Так эхо русской Утевки через всю Европу докатилось до Парижа.

А то, что творчество А. С. Малиновского доходило не только до Парижа, но и до читателя по всей России говорит вот это письмо в журнал «Панорама нефтехимии»:

«Дорогая редакция! В первом номере «Панорамы нефтехимии» вы, вопреки отраслевому названию, много говорили о людях и куда меньше – о нефтехимии. И правильно сделали! Но особенно нас потряс новокуйбышевский поэт, директор завода синтетического спирта Александр Малиновский. Какие чудные стихи! Какие милые и умные новеллы! Короче! Вам нужно продолжить разговоры журнала с Малиновским. Пусть он вспоминает, рассказывает, сравнивает – мало сегодня таких директоров! Спасибо за Малиновского!

А. Баев, В. Серегина,

3-й цех, Ангарскнефтеоргсинтез, Иркутская область»

А кто знает, может как раз это пожелание «вспоминать, рассказывать, сравнивать» и подтолкнуло А. С. Малиновского к той прозе, которая и составляет этот двухтомник.

Середина 90-х – это новая ступень в творчестве А. С. Малиновского. Это уже не просто восторгающийся своими земляками, русской природой ученик, это уже человек, сам много переживший, передумавший, многим переболевший. Теперь автор и сам уже напоминает одного из своих героев, русских мужиков, на которых, собственно, и держится-то Россия, сильных своей простой мудростью и болью за любой недогляд в доме, на улице, в деревне, в стране.

В 1996 году в Самарском отделении Литературного Фонда России выходит повесть А. С. Малиновского «Черный ящик». В ней Александр Станиславович очень выверено и точно смешивает документальную прозу и художественный вымысел, создавая, таким образом, потрясающе достоверную атмосферу реальности всего происходящего в повести.

Прием «документальности» в творчестве А. С. Малиновского требует особого разговора, пока же стоит отметить, что именно тесное переплетение художественного и фактически точного, именно творческое осмысление жизненной конкретики, явленное в повести «Черной ящик», станет для Александра Станиславовича определяющим последующее творчество художественным методом.

«Черный ящик» получил огромную прессу. Трагическая судьба директора завода Виктора Сергеевича Стражникова, страстно болеющего за свой завод, за свою страну, взволновала многих, от простых читателей до ученых.

«Глубокоуважаемый Александр Станиславович! Прочитал Вашу книгу «Черный ящик» с удовольствием и, не скрою, с болью. Именно с болью за Россию, ее прошлое, настоящее и будущее». (Д. С. Чернавский, доктор наук, сектор математического моделирования развивающихся систем ФИАН)

А. С. Малиновскому, знающему не понаслышке о заботах и проблемах, отечественной экономики, удалось точно, до мельчайших деталей передать атмосферу времени и атмосферу сегодняшнего завода. Вообще можно смело сказать, что за последнее время это первая художественная проза на так называемую «производственную тему». Слова «производственная тема» взяты в кавычки потому, что у многих это вызывает воспоминание о том, как «рабочий класс мужественно преодолевает трудности, осваивает новую технику, и заодно борется со всякими тунеядцами, приписчиками и бюрократами, мешающими построению светлого будущего». Конечно, в прошлые годы бравадной халтуры на эту тему написано достаточно. Но были же и прекрасные произведения о рабочем человеке. И вот ведь что примечательно: после поворота от социализма, отказа от социалистических ценностей, в том числе и от метода социалистического реализма, рабочий человек совершенно выпал из литературы. Словно нет его и не должно быть при новом экономическом строе. Так вот, «Черный ящик» А. С. Малиновского ценен еще и тем, что вернул в литературу рабочего человека, вернул на страницы художественной прозы производство. И вернул он не в том слащавом виде, который справедливо теперь вызывает разве что ироничную улыбку, а показал реальную жизнь предприятия и реальных людей со всеми своими

бедами, тревогами и надеждами. Одни разговоры директора Стражникова с рабочими в курилке чего стоят!

Впрочем, повесть «Черный ящик» вызвала столько добрых и благодарных откликов еще и потому, что Александр Станиславович никак не мог остановиться только на производственной теме. Главный герой – не просто директор завода, поглощенный заботами предприятия, это еще и тонкий лирик, который тянется своими воспоминаниями в детство, стремится к матушке, у которой приходится бывать все реже и реже, в деревню.

И вот эта двойственность природы – с одной стороны расчетливый прагматик-производственник, с другой – чувствующий и любящий природу, свои сельские корни, лирик – и создала запоминающийся образ директора завода Виктора Стражникова.

III

Вообще А. С. Малиновский, о чем бы ни писал, всегда остается лириком, верно преданным своему родному краю, людям, которые его воспитали. И потому совсем не случайной, а, наоборот, как бы продолжающей (вернее сказать – начинающей) повесть «Черный ящик», стала следующая повесть Александра Станиславовича – «Под открытым небом», выпущенная Самарским отделением Литературного Фонда России в 1997 году. Это повесть о детстве славного паренька Шурки, который вполне возможно, когда вырастет, и станет директором завода, тем самым Виктором Стражниковым. Но пока мы окунаемся в атмосферу конца пятидесятых-начала шестидесятых годов, снова очень точно и умело воссозданную на страницах повести А. С. Малиновским.

Вот что писал об этой повести самарский прозаик Иван Никульшин:

«...Открытость предполагает не только откровенность и не столько ее, сколько сопричастие ко всему, что рядом с тобой, что тебя окружает. А еще она предполагает сопричастие чужому горю, сострадание человеку, попавшему в беду, и всей его судьбе.

Вот этим чувством сопереживания и напитана новая повесть Александра Малиновского «Под открытым небом».

Почему под «открытым»? Это объясняется просто. В наших заволжских деревнях когда-то было принято летним вечером на свой семейный ужин собираться где-нибудь на зеленой лужайке вокруг костерка с таганом; на вольном воздухе, как говорили у нас, или «под открытым небом», по выражению Шуркиной бабушки.

...В этом деревенском обычае, между прочим, тоже есть элемент открытости, а значит, и сопричастности ко всему сельскому миру. Семья, собираясь вечерять на виду у всей улицы, как бы подчеркивала этим: вот, глядите, мы люди открытые, ничего от вас не таим. А вас милости просим к нашему столу перекусить, чем Бог послал.

Со страниц повести перед нами открывается простая и естественная, как сама деревня, жизнь с ее по-старосоветски бесхитросно-совестливыми людьми.

Это и есть позиция автора и его главная правда. Не та, которой ныне ежечасно пичкают нас с голубых экранов, не бандитская правда кулака и крови, а правда непридуманного мира деревенской жизни: тихой, обыденной, подчас протекающей среди сплошной человеческой нужды и все же несмотря ни на что удивительно совестливой.

Впрочем, по иному в деревне просто и нельзя жить. Здесь все на виду, все знают друг друга, все «под открытым небом». Потому и приглядываясь к взрослой жизни, маленький Шурка постоянно думает не только о своей доле, но и о своем окружении, о своих близких.

...Сопереживать же приходится не только Шурке, но и его матери, бабке, деду, отчиму. В книге есть и другие запоминающиеся персонажи, но эти все-таки главные.

С большой любовью выписан образ Шуркиного деда, мудрого деревенского человека, вечного конюха, крестьянина до мозга костей, степняка и немного романтика. А от образа Шуркиной бабушки так и веет добротой и состраданием ко всему живому.

Все эти люди, а вернее герои, и составляют костяк того времени, о котором рассказывает автор...»

Вообще повесть «Под открытым небом» со своей немного ностальгической грустью оказалась очень близка многим читателям и довольно широко разошлась не только по нашей стране, но за рубежом. Из многочисленных откликов на эту повесть приведем, пожалуй, отрывки из письма жителя Германии А. Бурдта, пришедшего в адрес издательства:

«Я – эмигрант. Я – поволжский немец. Я – бывший житель поволжской земли.

...Не помню, как у меня оказалась маленькая серенькая книжечка, которую долго не замечал: А. Малиновский «Под открытым небом». Но как только начал читать, не мог оторваться. Поваяло чем-то родным и знакомым и имя этому родному – детство и моя первая жизнь.

Шурку полюбил сразу. Читая, мысленно с ним играл в лапту, ходил на рыбалку, танцевал, влюблялся, работал в клубе и просто жил в волжской деревне.

Кто этот Малиновский? Откуда? Какая простота и какая сила творчества!..

Оказывается, есть еще в России таланты, и это несмотря на то, что происходило и сейчас происходит в России, несмотря на то, что книжные прилавки завалены гангстерской, эротической и бульварной продукцией. Передайте г-ну Малиновскому большую благодарность и пожелания больших творческих успехов».

IV

И опять, думается, читательские письма и отклики послужили толчком для Александра Малиновского в его творчестве. А может, лишь позволили обрести уверенность, что он на правильном пути. Дело в том, что Малиновский уже задумывался над большим эпохальным полотном, которое показало бы жизнь целого поколения. Но, наверное, брала оторопь от масштабности задуманного. И тут Шурка Ковальский, отец Василий, мать Катерина, дед Головачев, да, почитай, все сельчане так полюбилися читателям, что дальнейшее жизнеописание Шурки Ковальского требовало продолжения.

В девятом и десятом номерах литературного альманаха «Русское эхо» была опубликована повесть «Зеленый чемодан», где уже повзрослевший Шурка Ковальский впервые по-настоящему соприкасается с тем, чему придется посвятить всю свою жизнь – с нефтехимией.

Надо сказать, что первая встреча оказалась не столь радостная: из неуправляемой скважины рванулся фонтан, и Шурке, ездившему поглазеть на столь невиданное в их окрестностях дело, попало на светлую рубаху жирное, нефтяное, грязное пятно. Как отметина времени.

А тут еще постоянные разговоры взрослых: нужна эта нефтехимия или нет? Что она принесет больше: вреда или пользы? Не погубит ли эта выпущенная на свет бездушная сила все живое вокруг?

Пересказывать все аргументы «за» и «против» дело неблагодарное – все это есть в повести. К тому же каждый такой взрослый спор – это и характеры людей, их отношение к жизни, их философия. Все это впитывает Шурка, замечает, сравнивает, сам просиживает в библиотеке, стараясь найти ответы в книгах и газетах.

А в передовицах газет становится модным лозунг: «Коммунизм – это советская власть плюс химизация всей страны». И все подается с такой мощью, с таким напором, что невольно захватывает, затягивает, как бурный водоворот в весеннюю воду.

А тут еще появились новые люди. Сильные, мужественные. Другая порода. Шурке все надо знать. И он, сам того не подозревая, увлекается этим мощным потоком – он едет, а точнее сказать, летит на работе – «кукурузнике» в город поступать в политехнический институт...

Продолжение рассказа о поколении, выросшем в суровые послевоенные годы, а затем с молодым задором и энергией за несколько десятков лет выведшем страну в число передовых промышленных держав, состоялось в следующей книге Александра Станиславовича Малиновского «Совмещение».

Оставили мы Шурку Ковальского улетающего из родного села в новую жизнь, «на новый материк», как он сам замечает, а встречаем его приземлившимся в аэропорту областного центра.

Вот тут и приходится Александру (это уже не Шурка теперь) называться, для многих, скорее всего, сейчас непонятным словом, «совмещенник». Правительство решило тогда, что будущие инженеры должны первое время своего студенчества отработать на производстве. Прочувствовать, так сказать, сразу, что это такое нефтехимия изнутри. Наверное, было в этом и рациональное зерно. Но Шурка оказался «совмещенником» не только потому, что пришлось совмещать работу на заводе и учебу на вечернем отделении в институте. Многое пришлось совмещать внутри себя. Городская жизнь и сельская. Один ученый говорит, что прогресс несет благо цивилизации, другой спорит с ним. И это вечное: что первичнее дух или материя?

И подошла пора любви. Влюбчив Шурка. И в тоже время остается верен одной женщине. Вот где уже не просто душевные переживания, а – душевные муки.

Малиновский пишет рассказ о поколении верно и, что очень важно, художественно выразительно передает дух шестидесятых годов.

Наверное, мы теперь вправе ждать от А. С. Малиновского продолжения биографии Шурки. Семидесятые годы, когда, судя по всему, Александр будет работать на заводе (а пока знакомство с его жизнью заканчивается для нас, когда он получает после успешного окончания института вызов на завод), тоже интересны.

А наши восьмидесятые, которые вновь удивили мир!

Нет уж, читатель не даст Малиновскому оставить так полюбившегося всем героя. А, как мы уже знаем, читатель для Малиновского – это во многом творческий двигатель. А уж душевного горячего автору не занимать.

Сейчас же эти три самостоятельных произведения – «Под открытым небом», «Зеленый чемодан» и «Совмещение» – составляют трилогию, которая впервые полностью и вошла во 2-ой том данного издания.

V

Но не только судьба Шурки Ковальского занимала нашего автора. В 1-ый том вошли еще две крупные вещи, написанные в последние годы. В 1999 году в сборнике под общим названием «Повести», изданном в Самарском отделении Литературного фонда России, вышла повесть «Отклонение». А в 2001 году московское издательство «Палей» выпустило еще один сборник прозы А. С. Малиновского, в который впервые полностью была опубликована повесть «Колки мои и перелесья». Ранее главы из этой повести публиковались в самарских и московских изданиях.

Книги эти разноплановые.

«Отклонение» соединена единым сюжетом и героями. Здесь Малиновский снова более близок к не оставляющей его равнодушным производственной теме. Хотя как можно говорить о сегодняшнем производстве и не думать о судьбе России. В этой повести автор находит новый взгляд: если раньше все его герои непосредственно работали на заводах, то здесь мы знакомимся с ушедшем на пенсию главным инженером завода Касторгиным. Человек отправлен на пенсию полный сил, энергии и открывающейся ему житейской мудрости. И вот он остался без Дела...

Касторгин одинок. Как и многие из нас, вдруг почувствовавших себя одинокими в девяностые годы. Но это вынужденное отклонение от повседневных забот неожиданно открыло для героя возможность переосмыслить и порой переоценить многое из того, что происходило в стране, на заводе, в личной жизни.

В этой книге уже больше внутренних диалогов героя. И его внутренняя напряженная работа дает плоды: Касторгин понимает, что вот таким, без сомнений, обновленным, он становится востребованным. И не это ли его обретение себя дает многим из нас веру и надежду на общую востребованность России.

«Колки мои и перелесья» как бы собранные автором в лукошко разные истории, наблюдения, приключения, каждое из которых является самостоятельным небольшим рассказом. Пожалуй, у каждого прозаика найдутся такие порой, казалось бы, незатейливые, но глубокие по смыслу, истории, незаслуженно оставшиеся за пределами крупных произведений. Достаточно вспомнить Абрамова, Белова, Крупина... Александр Станиславович не сокрыл от читателя накопленное. Ценны же такие кни-

ги в первую очередь народной мудростью и точностью мысли, доведенной до афористичности.

VI

Но, наверное, наиболее сильное впечатление в Самарской области, да и в России, произвела совсем тоненькая книжечка Малиновского «Радостная встреча». И если говорится, что мал золотник да дорог, то это как раз об этой документальной повести, имевшей необычайный резонанс.

Еще с начала 60-х годов Александр Станиславович начал собирать материал об уникальном своем земляке, жившем в конце XIX – начале XX века самоучке-иконописце Григории Журавлеве. Родившийся без рук и без ног, Григорий Журавлев писал иконы, зажав кисть в зубах. Иконы же его были весьма знамениты, они украшают и поныне Троице-Сергиеву Лавру, следы их А. С. Малиновскому удалось обнаружить в Боснии и Герцеговине, сельскому самоучке поручили в свое время расписывать главный предел Кафедрального собора в Самаре, да что там – сам царь приглашал дивного художника к себе, и тот писал портрет царской семьи. И надо же – о такой замечательной личности почти забыли. Вернее, старались забыть: все-таки иконы писал.

Но Малиновский, со своей неумемной любовью и гордостью за свой край, за своих земляков, за их веру, что сделала их такими, уже уехав в город, работая на производстве, неустанно собирал материал о великом земляке. Такова преданность родному краю этого человека!

Он отыщет несколько уникальных икон Григория Журавлева, раздобудет не менее уникальные фотографии самого художника, будет записывать воспоминания тех, кто помнил иконописца, кто говорил с ним, беседовать с батюшкой местного прихода о. Анатолием, съездить в Троице-Сергиеву Лавру и своими глазами увидит икону, писанную своим земляком из заволжской Утевки, зажав кисть в зубах.

Так создавалась эта «Радостная встреча». Но если сказать, что книга посвящена только уникальной судьбе утевского мастера-иконописца Григория Журавлева, нельзя. Вот где сработало художественное мышление автора и его творческий подход к любым точным фактам и документам. Книга представляет собой осколок той эпохи, который автор держит на ладони и, вглядываясь в него, пытается осмыслить прошлое и определить свои отношения с настоящим и будущим, понять, что значило и значит для русского человека, для становления его ха-

рактера, его судьбы – православие. Сама же книга заканчивается такими размышлениями автора:

«Огромная часть нашего народа неверующая, так вот получилось с нашим обществом. Но я, как и большинство, верю в свой народ, в будущность его. Здесь многое еще надо понять, но начинается это понимание с бережного, пристального отношения друг к другу. К нашему прошлому и настоящему».

Епископ Самарский и Сызранский Сергей благословил публикацию словами:

«Слава Богу, что в наше время восстанавливается историческая действительность и воздается должное таким талантам, как иконописец Григорий Журавлев. Рожденный с недугом, но имевший глубокую Веру и Силу Духа, он творил во имя Бога и для людей. Его иконы несли Божественный свет, помогая людям. Призываю Божие благословение на автора и на его повесть, открывающую людям путь к Свету и Правде».

Воистину сильно пастырское благословение! Сейчас по материалам, опубликованным А. С. Малиновским в книге «Радостная встреча», в музее при епархиальном училище открыта специальная экспозиция, а в самой епархии идет сбор необходимых документов для канонизации Григория Журавлева, как местночтимого святого.

А еще отыскана и приведена в Божеский вид могила Григория Журавлева...

VII

Но А. С. Малиновский не оставил и поэтический жанр. Причем пробует он себя и в новых формах. Так в 1998 году в Самарском отделении Литературного Фонда России вышел его сборник четверостиший «Звездное коромысло». От кратких по форме, но емких по содержанию четверостиший этих веет восточной мудростью и спартанским лаконизмом.

В Москве в издательстве Московской организации Союза писателей России в 2000 г. вышел сборник стихов А. С. Малиновского «Не так живем».

И вот, как некое признание поэтического творчества А. С. Малиновского в том же 2000 г. в самарском издательстве «Парус» вышел сборник песен на его стихи «Окошко с геранью». А в 2002 г. увидели свет музыкальный диск (18 песен) и аудиокассета (21 песня) с тем же названием, что и сборник песен на стихи А. С. Малиновского «Окошко с геранью».

Согласитесь, когда стихотворение становится песней и люди начинают ее петь – это признание и величайшая радость для поэта.

VIII

В заключении, наверное, имеет смысл, пусть пунктирно, но более подробно поговорить о литературном приеме, ставшем чуть ли не визитной карточкой Александра Малиновского, как писателя, а именно – о «документализме», ибо, может быть, как раз именно он в своем творчестве как никто близко откликнулся на мысль Льва Толстого, что «придет время, когда не будут сочинять литературу, а будут писать ее с жизни».

Наверное, первым документалистом в литературе можно считать, жившего два тысячелетия назад сборщика податей Матфея, если, конечно, относится к Евангелию не как к Святому писанию, а как к литературе. На Руси же первые письменные памятники стоит признать чисто документальным – это наши летописи. И вот тут стоит заметить, что летописи наши – это все-таки художественное литературное произведение, а не чисто беспристрастное перечисление фактов и документов. Почему же мы склонны относить летопись к произведениям литературы, а не к фактологическим памятникам? Известно, что порой отдельные эпизоды, описанные в летописях, не подтверждаются исторически. Дело в том, что каждый летописец, излагая те или иные факты, оставался художником по сути, со своими пристрастиями и со своим индивидуальным взглядом на происходящие события и собственной попыткой объяснения того или иного случая. Поэтому так порой и разнятся в изложении событий, скажем, киевские и новгородские летописи. Чтобы донести и свое миропонимание времени, каждый автор выстраивал имеющиеся у него факты в определенном порядке, более того, те факты, которые имели место быть, но не укладывались или мешали концепции автора, опускались вовсе, другие же факты могли получать некоторое изменение, а к большинству вообще прилагалось эмоциональное отношение автора в виде эпитетов («окаянный», например, или «милостивый» – и у читателя сразу создается определенное отношение к персонажу), а то и прямая оценка.

Суть приема «документализма» заключается не в точном фактологическом изложении материала, а в таком отборе, обработке и выстраивании имеющегося материала, который позволяет максимально выразить идею автора.

Именно к такому «документализму» все чаще и больше возвращается не только русская литература, но и мировая. Как это ни покажется странным, дело тут видится в том, что в последнее время резко усилился интерес к индивидуальной личности человека, к его личному восприятию мира. То есть индивидуальность понимается через то, как она воспринимает те или иные фактические события, происходящие в мире, и через ее реакцию на эти события. Внутренние переживания и внутренне отношение конкретного человека к происходящему могут более полно рассказать о происходящем, чем просто точное фактическое описание. Это, конечно, при некотором условии. И чем богаче внутренний мир человека, чем более сформирован он как личность, тем интереснее и познавательнее может получиться литературное произведение. Конечно, если будет творчески осуществлен, как уже говорилось, отбор, обработка и выстраивание имеющегося материала.

XX век, ставший в буквальном смысле веком земных катастроф, предоставил в распоряжение художников столько событий, сколько, пожалуй, не имела и вся предшествующая мировая история. И порой действительно ловишь себя на мысли, читая, например, «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына, или, смотря фильм М. Ромма «Обыкновенный фашизм», что никакой художественный мозг просто не в силах был выдумать это, никакому вымыслу не поднять этот материал, и Раскольников, кажется, уже лишь бледной тенью нынешних событий (правда, надо заметить, что тень эта как бы предваряет и даже предопределяет в какой-то мере весь XX век).

То есть важнейшее значение приобретает личность самого автора. Это очень похоже на «А судьи кто?», ибо действительно автор, пропуская через себя происходящие события и пересказывая их, становится судьей веку своему.

Все вышесказанное во многом относится к составившим этот двухтомник произведениям А. С. Малиновского. И если в одних повестях читатель, как бы сразу попадая, в исповедальную атмосферу произведений, невольно ассоциирует главных героев – Стражникова и Шурку – с автором и сразу верит в действительность происходившего, то в «Отклонении» автор намеренно дистанцируется от главного героя К. Кас-торгина, не смотря на множество внутренних монологов, такой исповедальной атмосферы не создается. Но автору очень важно, чтобы читатель воспринимал описанные в повести события, как фактически происходящие, и он добивается этого путем досконально точного описания мест, где происходят те или иные события, или сами события (например, приезд Высоцкого в Самару), в которых участвует и главный ге-

рой. Все это сплетается в одно целое и, если мы никак не можем отрицать действительный приезд Высоцкого в Самару и многие могут подтвердить нам, что именно так, как описано в повести, он говорил и вел себя на сцене, то уже невозможно становится отрицать и реальность пребывания Кирилла Касторгина на этом концерте и его переживания и отношение к этому событию воспринимаются читателем как реальные, то есть документальные.

Вот как сам Александр Станиславович говорит о своих произведениях:

«За каждой строкой моего рассказа – реальная жизнь. Не обязательно моя личная, ведь у меня чуть не вся страна – знакомые. Тридцать пять лет я на заводе, семнадцать из них – директором. Со столькими людьми повстречаешься, столько переслушаешь, пока сидишь, например, в ожидании совещания или приема.

Жизнь вообще великий режиссер и сценарист, так что я не трачу времени на «придумывание». Хватило бы его на художественное осмысление того, что услышал или увидел... Я понял, что суть жизни сводится к очень, казалось бы, простым вещам – к тем отношениям, которые движут человеком: кто как посмотрел, что сказал, как тронул-изуродовал душу или наоборот, помог подняться над обиденным и низменным. Поэтому хотя и мог бы я напридумывать и писать о сложных коллизиях, мне ближе эти простые вещи, показанные самой жизнью...»

Кстати, о режиссерах, в свое время Андрей Тарковский назвал идеалом киноискусства, хронику, понимая ее как особый способ достоверного запечатления реальности, восхищаясь случайно зафиксированным на пленке диалогом: «Люди разговаривали, не зная, что их записывают. Потом я прослушал запись и подумал: насколько же это гениально «написано» и «сыграно»!»

«Документализм» как явление прочно входит в нашу жизнь, не случайно хроника новостей куда больше захватывает многих, чем «мыльные оперы». Но еще раз заметим, что очень многое зависит от того, кто, что за личность выстраивает эту хронику. И оттого, что произведения этого двухтомника написаны исключительно талантливым и поразительно разносторонним человеком, уже немало сделавшим полезного и доброго в своей жизни, ценность и значение этих произведений огромна.

IX

Завершить же небольшой рассказ об удивительном человеке Александре Станиславовиче Малиновском, писателе, изобретателе, ученом, директоре крупнейших в стране предприятий, хотелось бы его же словами:

«Я пытаюсь теперь многое заново осмыслить для себя. Но, признаюсь, часто не нахожу ответа. И говорю об этом с горечью. Но я, кажется, вижу спасительную соломинку, за которую, схватившись, человек может обрести душевное равновесие. Это созидание, физическое и духовное. Это, кажется, понимают многие...

Время сейчас пришло такое, что хватит уже разбрасывать камни. Пора собирать их».

А. Громов,
член СП России